Собрание сочинений в 12-ти т. Т. 09. Анна Каренина. Роман в 8-ми ч. Ч. 5-8

1. Notice

This book was produced in EPUB format by the Internet Archive.

The book pages were scanned and converted to EPUB format automatically. This process relies on optical character recognition, and is somewhat susceptible to errors. The book may not offer the correct reading sequence, and there may be weird characters, non-words, and incorrect guesses at structure. Some page numbers and headers or footers may remain from the scanned page. The process which identifies images might have found stray marks on the page which are not actually images from the book. The hidden page numbering which may be available to your ereader corresponds to the numbered pages in the print edition, but is not an exact match; page numbers will increment at the same rate as the corresponding print edition, but we may have started numbering before the print book's visible page numbers. The Internet Archive is working to improve the scanning process and resulting books, but in the meantime, we hope that this book will be useful to you.

The Internet Archive was founded in 1996 to build an Internet library and to promote universal access to all knowledge. The Archive's purposes include offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format. The Internet Archive includes texts, audio, moving images, and software as well as archived web pages, and provides specialized services for information access for the blind and other persons with disabilities.

Created with hocr-to-epub (v.1.0.0)

толстой

я МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА>> 1975

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1975

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1975

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
том ДЕВЯТЫЙ АННА КАРЕНИНА РОМАН В ВОСЬМИ ЧАСТЯХ
МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1975

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДЕВЯТЫЙ

АННА КАРЕНИНА
РОМАН В ВОСЬМИ ЧАСТЯХ

МОСКВА

Р 1 Т 53 Примечания Э. Г. Бабаева Оформление художника И. Жихарева ^ 70301-022 1 - подписное 028(01)— 75 ^ © Издательство <(Художественная литература», примечания, 1975 г.

Р 1
Т 53

Примечания
Э. Г. Бабаева

Оформление художника
И. Жихарева

Т $\frac{70301-022}{028(01)-75}$ подписное

АННА КАРЕНИНА ЧАСТИ ПЯТАЯ - ВОСЬМАЯ

АННА КАРЕНИНА

ЧАСТИ ПЯТАЯ — ВОСЬМАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ I Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени; но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданое на две части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это, или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны. Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни; он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его Сергей Иванович, Степан Аркадьич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег, княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьич посоветовал ехать за границу. Он па все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, 7

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени; но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданое на две части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это, или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны.

Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни; он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его Сергей Иванович, Степан Аркадьич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег, княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьич посоветовал ехать за границу. Он на

ни меньше, что бы вы ни делали»,— думал оп. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будуш;ей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешаJro ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много. — Однако послушай, — сказал раз Степан Аркадьич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых, — есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу? — Нет. А что? — Без этого нельзя венчать. — Ай, ай, ай! — вскрикнул Левин. — Я ведь, кажется, уже лет девять не говел. Я и не подумал. — Хорош! — смеясь, сказал Степан Аркадьич, — а меня же называешь нигилистом! Однако ведь это нельзя. Тебе надо говеть. — Когда же? Четыре дня осталось. Степан Аркадьич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верования других людей, присутствие л участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему, размягченном і остоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь, в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадьича, нельзя ли получить свидетельство не говея, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно. — Да и что тебе стоит — два дня? И он премилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь. 8

ни меньше, что бы вы ни делали»,— думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много.

— Однако послушай,— сказал раз Степан Аркадьич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых,— есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?

— Нет. А что?

— Без этого нельзя венчать.

— Ай, ай, ай! — вскрикнул Левин.— Я ведь, кажется, уже лет девять не говел. Я и не подумал.

— Хорош! — смеясь, сказал Степан Аркадьич,— а меня же называешь нигилистом! Однако ведь это нельзя. Тебе надо говеть.

— Когда же? Четыре дня осталось.

Степан Аркадьич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верования других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему, размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь, в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадьича, нельзя ли получить свидетельство не говея, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно.

— Да и что тебе сто́ит — два дня? И он премилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты

Стоя у первой обедни, Леврш попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от шестнадцати до семнадцати лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеюш,ий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов; но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, ни смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайною живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всеногцную и вечерние правила и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в восемь часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей. Молодой дьякон, с двумя резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником, встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов: «Господи помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражения в ее руке», — думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем 9

Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от шестнадцати до семнадцати лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов; но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, ни смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее.

Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайною живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове.

Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в восемь часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди.

В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей.

Молодой дьякон, с двумя резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником, встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов: «Господи помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно

было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос», — подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. «Она взяла потом мою руку и рассматривала линии: — У тебя славная рука», — сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. «Да, теперь скоро кончится, — думал он. — Нет, кажется, опять сначала, — подумал он, прислушиваясь к молитвам. — Нет, кончается; вот уже он кланяется в землю. Зто всегда пред концом». Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге трехрублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроится»,— подумал он и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок священник, с редкою полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. — Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь, — сказал он, указывая на распятие. — Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь? — продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль. — Я сомневался, я сомневаюсь во всем, — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым владимирским на «о» говором сказал: — Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердый господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете? — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени. — Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахоя^усь в сомнении. 10

было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос»,— подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. «Она взяла потом мою руку и рассматривала линии: — У тебя славная рука»,— сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. «Да, теперь скоро кончится,— думал он.— Нет, кажется, опять сначала,— подумал он, прислушиваясь к молитвам.— Нет, кончается; вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом».

Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге трехрублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроится»,— подумал он и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок священник, с редкою полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину.

— Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь,— сказал он, указывая на распятие.— Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь? — продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль.

— Я сомневался, я сомневаюсь во всем,— проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал.

Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым владимирским на «о» говором сказал:

— Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердый господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете? — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени.

— Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомне-

— Сомнение свойственно слабости человеческой,— повторил те же слова священник. — В чем же преимущественно вы сомневаетесь? — Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании бога, — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления. — Какие же могут быть сомнения в существовании бога? — с чуть заметною улыбкой поспешно сказал он. Левин молчал. — Какое ясе вы можете иметь сомнение о творце, когды вы воззрите на творения его? — продолжал священник быстрым, привычным говором. — Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облек землю в красоту ее? Как же без творца? — сказал он, вопросительно взглянув на Левина. Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу. — Я не знаю, — сказал он. — Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что бог сотворил все? — с веселым недоумением сказал священник. — Я не понимаю ничего, — сказал Левин, краснея и чувствуя, что его слова глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении. — Молитесь богу и просите его. Даже святые отцы имели сомнения и просили бога об утверящении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь богу, просите его. Молитесь богу, — повторил он поспешно. Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись. — Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого? — прибавил он с улыбкой. — Прекрасная девица! — Да, — краснея за священника, отвечал Левин. «К чему ему нуя^но спрашивать об этом на исповеди?» — ' подумал он. И, как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему: И

— Сомнение свойственно слабости человеческой,— повторил те же слова священник.— В чем же преимущественно вы сомневаетесь?

— Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании бога, — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления.

— Какие же могут быть сомнения в существовании бога? — с чуть заметною улыбкой поспешно сказал он.

Левин молчал.

— Какое же вы можете иметь сомнение о творце, когды вы воззрите на творения его? — продолжал священник быстрым, привычным говором.— Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облек землю в красоту ее? Как же без творца? — сказал он, вопросительно взглянув на Левина.

Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу.

— Я не знаю, — сказал он.

— Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что бог сотворил все? — с веселым недоумением сказал священник.

— Я не понимаю ничего,— сказал Левин, краснея и чувствуя, что его слова глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении.

— Молитесь богу и просите его. Даже святые отцы имели сомнения и просили бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь богу, просите его. Молитесь богу,— повторил он поспешно.

Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись.

— Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого? — прибавил он с улыбкой.— Прекрасная девица!

— Да, — краснея за священника, отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» — подумал он.

— Вы собираетесь вступить в брак, и бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? — сказал он с кроткою укоризной. — Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: «Папаша! кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире, — землю, воды, солнце, цветы, травы?» Неужели вы скал^ете ему: «Я не знаю»? Вы не меняете не знать, когда господь бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: «Что ждет меня в загробной жизни?» Что вы скапаете ему, когда вы ничего не знаете? Как лvе вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо! — сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь — не потому, что ои не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов; а когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать. — Вы вступаете в пору л^изни, — продолжал священник, — когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь богу, чтоб он по своей благости помог вам и помиловал, — заключил ои. — «Господь и бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти чадо...» — И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему пе пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить. «Разумеется, не теперь, — думал Левин, — но когда-нибудь после». Левин, больше чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил 12

— Вы собираетесь вступить в брак, и бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? — сказал он с кроткою укоризной.— Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: «Папаша! кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире,— землю, воды, солнце, цветы, травы?» Неужели вы скажете ему: «Я не знаю»? Вы не можете не знать, когда господь бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: «Что ждет меня в загробной жизни?» Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо! — сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами.

Левин ничего не отвечал теперь — не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов; а когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать.

— Вы вступаете в пору жизни,— продолжал священник,— когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь богу, чтоб он по своей благости помог вам и помиловал,— заключил он.— «Господь и бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти чадо...» — И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его.

Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить.

«Разумеется, не теперь,— думал Левин,— но когда-нибудь после». Левин, больше чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто и что

в других и за которое он упрекал приятеля своего Свияшского. Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел и, объясняя Степану Аркадьичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаке, которую учили скакать через обруч и которая, поняв наконец и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна. И В день свадьбы Левин, по обычаю (на исполнении всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна), не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками: Сергей Иванович, Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. — Ведь вот, — говорил Катавасов, с привычкою, приобретенною на кафедре, растягивая свои слова, — какой был способный малый наш приятель Константин Дмитрия. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет, И науку любил тогда, по выходе из университета, и интересы имел человеческие; теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтоб обманывать себя, и другая — чтоб оправдывать этот обман. — Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал, — сказал Сергей Иванович. — Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные — содействовать их просвещению и счастию. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа. — Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь! — сказал Левин.— Пожалуйста, позовите меня на свадьбу. 13

в других и за которое он упрекал приятеля своего Свияжского.

Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел и, объясняя Степану Аркадьичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаке, которую учили скакать через обруч и которая, поняв наконец и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна.

II

В день свадьбы Левин, по обычаю (на исполнении всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна), не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками: Сергей Иванович, Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор.

— Ведь вот,— говорил Катавасов, с привычкою, приобретенною на кафедре, растягивая свои слова,— какой был способный малый наш приятель Константин Дмитрич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет. И науку любил тогда, по выходе из университета, и интересы имел человеческие; теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтоб обманывать себя, и другая — чтоб оправдывать этот обман.

— Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал,— сказал Сергей Иванович.

— Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные — содействовать их просвещению и счастию. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа.

— Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюби-

— я влюблен уже. — Да, в каракатицу. Ты знаешь,— обратился Левин к брату, — Михаил Семеныч пишет сочинение о питании и... — Ну, уж не путайте! Это все равно, о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу. — Но она не помешает вам любить жену. — Она-то не помешает, да жена помешает. — Отчего же? — А вот увидите. Вы вот хозяйство любите, охоту, — ну посмотрите! — А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в Прудном и два медведя, — сказал Чириков. — Ну, уж вы их без меня возьмете. — Вот и правда, — сказал Сергей Иванович. — Да и вперед простись с медвежьею охотой, — жена не пустит! Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей. — А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота, — сказал Чириков. Левин не хотел его разочаровывать в том, что гденибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал. — Недаром установился этот обычай прощаться с холостою жизнью, — сказал Сергей Иванович. — Как ни будь счастлив, все-таки жаль свободы. — А признайтесь, есть это чувство, как у гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть? — Наверно есть, но не признается! — сказал Катавасов и громко захохотал. — Что же, окошко открыто... Поедем сейчас в Тверь! Одна медведица, на берлогу можно идти. Право, поедем на пятичасовом! А тут как хотят, — сказал, улыбаясь, Чириков. — Ну вот ей-богу, — улыбаясь, сказал Левин,— что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе! — Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего нѳ найдете, — сказал Катавасов. — Погодите, как разберетесь немножко, то найдете! — Нет, я бы чувствовал хотя немного, что, кроме своего чувства (он не хотел сказать при нем — любви) .., 14

— Я влюблен уже.

— Да, в каракатицу. Ты знаешь,— обратился Левин к брату, — Михаил Семеныч пишет сочинение о питании и...

— Ну, уж не путайте! Это все равно, о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу.

— Но она не помешает вам любить жену.

— Она-то не помешает, да жена помешает.

— Отчего же?

— А вот увидите. Вы вот хозяйство любите, охоту,— ну посмотрите!

— А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в Прудном и два медведя,— сказал Чириков.

— Ну, уж вы их без меня возьмете.

— Вот и правда,— сказал Сергей Иванович.— Да и вперед простись с медвежьею охотой,— жена не пустит!

Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей.

— А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота,— сказал Чириков.

Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал.

— Недаром установился этот обычай прощаться с холостою жизнью,— сказал Сергей Иванович.— Как ни будь счастлив, все-таки жаль свободы.

— А признайтесь, есть это чувство, как у гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть?

— Наверно есть, но не признается! — сказал Катавасов и громко захохотал.

— Что же, окошко открыто... Поедем сейчас в Тверь! Одна медведица, на берлогу можно идти. Право, поедем на пятичасовом! А тут как хотят,— сказал, улыбаясь, Чириков.

— Ну вот ей-богу,— улыбаясь, сказал Левин,— что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе!

— Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдете,— сказал Катавасов.— Погодите, как разберетесь немножко, то найдете!

и счастия, все-таки жаль потерять свободу... Напротив, я этон-то потере свободы и рад. — Плоха! Безнадежный субъект! — сказал Катавасов.— Ну, выпьем за его исцеление или пожелаем ему только, чтоб хоть одна сотая его мечтаний сбылась. И это уж будет такое счастье, какого не бывало на земле! Вскоре после обеда гости уехали, чтоб успеть переодеться к свадьбе. Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин егце раз спросил себя: есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили? Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем свобода? Счастие только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы, — вот это счастье!» «Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» — вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем. «Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что, если опа сама не знает того, что делает? — спрашивал он себя. — Она может опомниться и, только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня». И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему. Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя! — сказал он себе с отчаянием.— Пойду к ней, спрошу, ская^у последний раз: мы свободны, и не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастие, позор, неверность!!» С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, па нее он вышел из гостиницы и поехал к ней. Никто не ждал его. Он застал ее в задних комнатах. Опа сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу. — Ах! — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. — Как ты, как же вы (до этого последнего дня она говорила ему то «ты», то «вы»)? Вот не ждала! А я разбираю мои девичьи платья, кому какое... 15

и счастия, все-таки жаль потерять свободу... Напротив, я этой-то потере свободы и рад.

— Плохо! Безнадежный субъект! — сказал Катавасов.— Ну, выпьем за его исцеление или пожелаем ему только, чтоб хоть одна сотая его мечтаний сбылась. И это уж будет такое счастье, какого не бывало на земле!

Вскоре после обеда гости уехали, чтоб успеть переодеться к свадьбе.

Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя: есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили? Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем свобода? Счастие только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы,— вот это счастье!»

«Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» — вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем.

«Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что, если она сама не знает того, что делает? — спрашивал он себя.— Она может опомниться и, только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня». И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему.

Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя! — сказал он себе с отчаянием.— Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз: мы свободны, и не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастие, позор, неверность!!» С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней.

Никто не ждал его. Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу.

— Ах! — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости.— Как ты, как же вы (до этого последнего дня

— Al это очень хорошо! — сказал он, мрачно глядя на девушку. — Уйди, Дуняша, я позову тогда, — сказала Кити.— Что с тобой? — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх. — Кити! я мучаюсь. Я не могу один мучиться, — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь пред ней и умоляюш;е глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нунцію было, чтоб она сама разуверила его.— Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить. — Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой? — То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать... то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня... Если... лучше скажи, — говорил он, не глядя на нее.— Я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят; все лучше, чем несчастье... Все лучше теперь, пока есть время... — Я не понимаю, — испуганно отвечала она,— то есть что ты хочешь отказаться... что не надо? — Да, если ты не любишь меня. — Ты с ума сошел! — вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платья с кресла, пересела ближе к нему. — Что ты думаешь? скажи все. — Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня? — Боже мой! что же я могу?.. — сказала она и заплакала. — Ах, что я сделал! — вскрикнул он и, став пред ней па колени, стал целовать ее руки. Когда княгиня через пять минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже, отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему, за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен 16

— А! это очень хорошо! — сказал он, мрачно глядя на девушку.

— Уйди, Дуняша, я позову тогда,— сказала Кити.— Что с тобой? — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх.

— Кити! я мучаюсь. Я не могу один мучиться, — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь пред ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтоб она сама разуверила его.— Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить.

— Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой?

— То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать... то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня... Если... лучше скажи,— говорил он, не глядя на нее.— Я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят; все лучше, чем несчастье... Все лучше теперь, пока есть время...

— Я не понимаю,— испуганно отвечала она,— то есть что ты хочешь отказаться... что не надо?

— Да, если ты не любишь меня.

— Ты с ума сошел! — вскрикнула она, покраснев от досады.

Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платья с кресла, пересела ближе к нему.

— Что ты думаешь? скажи все.

— Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?

— Боже мой! что же я могу?.. — сказала она и заплакала.

— Ах, что я сделал! — вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки.

Когда княгиня через пять минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже, отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему, за

любить, и что все, что он любит, все хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платья и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуняше то коричневое платье, в котором опа была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, чтоб это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое. — Как ты не понимаешь? Она брюнетка, и ей не будет идти... У меня это все рассчитано. Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно-полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Кити причесываться, так как Шарль сейчас приедет. — Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты еще ее расстраиваешь своими глупостями, — сказала она ему. — Убирайся, убирайся, любезный. Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат, Дарья Александровна и Степан Аркадьич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой, с тем чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был везти образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад... Вообще соображений, весьма сложных, было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого. Из благословенья образом ничего не вышло. Степан Аркадьич стал в комически-торжественную позу рядом с женою, взял образ и, велев Левину кланяться в землю, благословил его с доброю и насмешливою улыбкой и поцеловал его троекратно; то же сделала и Дарья Александровна и тотчас л^е заспешила ехать и опять запуталась в предначертаниях движения экипажей. — Ну, так вот что мы сделаем: ты поезжай в нашей карете за ним, а Сергей Иванович уже если бы был так добр заехать, а потом послать. — Что же, я очень рад. — А мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? — сказал Степан Аркадьич. — Отправлены, — отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.

любить, и что все, что он любит, все хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платья и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуняше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, чтоб это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое.

— Как ты не понимаешь? Она брюнетка, и ей не будет идти... У меня это все рассчитано.

Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно-полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Кити причесываться, так как Шарль сейчас приедет.

— Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты еще ее расстраиваешь своими глупостями, — сказала она ему.— Убирайся, убирайся, любезный.

Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат, Дарья Александровна и Степан Аркадьич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой, с тем чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был везти образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад... Вообще соображений, весьма сложных, было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого.

Из благословенья образом ничего не вышло. Степан Аркадьич стал в комически-торжественную позу рядом с женою, взял образ и, велев Левину кланяться в землю, благословил его с доброю и насмешливою улыбкой и поцеловал его троекратно; то же сделала и Дарья Александровна и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предначертаниях движения экипажей.

— Ну, так вот что мы сделаем: ты поезжай в нашей карете за ним, а Сергей Иванович уже если бы был так добр заехать, а потом послать.

— Что же, я очень рад.

— А мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? — сказал Степан Аркадьич.

Ill Толпа народа, в особенности женщин, окружала освещенную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в средину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки. Больше двадцати карст уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были занижены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари — все было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдеря^анный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем десять раз, и каждый раз это был или запоздавший гость или гостья, присоединявшиеся к кружку званых, направо, или зрительница, обманувшая или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе, налево. И родные и посторонние уже прошли чрез все фазы ожидания. Сначала полагали, что жених с невестой спю минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором. Протодьякон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал то дьячка, то дьякона узнать, по приехал ли жених, и сам, в лиловой рясе и шитом поясе, 18

III

Толпа народа, в особенности женщин, окружала освещенную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в средину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки.

Больше двадцати карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари — все было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем десять раз, и каждый раз это был или запоздавший гость или гостья, присоединявшиеся к кружку званых, направо, или зрительница, обманувшая или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе, налево. И родные и посторонние уже прошли чрез все фазы ожидания.

Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором.

Протодьякон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник

чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец одна из дам, взглянув на часы, сказала: «Однако это странно!» — и все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженой матерью и сестрой Львовой стояла в зале щербацкого дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь. Левин же между тем в панталонах, но без жилета и фрака ходил взад и вперед по своему нумеру, беспрестанно высовываясь в дверь и оглядывая коридор. Ио в коридоре не видно было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадыічу. — Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении! — говорил он. — Да, глупо,— подтвердил Степан Аркадьич, смягчительно улыбаясь. — Но успокойся, сейчас привезут. — Нет, как же! — со сдержанным бешенством говорил Левин. — И эти дурацкие открытые жилеты! Невозможно! — говорил он, глядя на измятый перед своей рубашки.— И что как вещи увезли уже на железную дорогу! — вскрикнул он с отчаянием. — Тогда мою наденешь. — И давно бы так надо. — Нехорошо быть смешным... Погоди! образуется. Дело было в том, что, когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было. — А рубашка! — вскрикнул Левин. — Рубашка на вас, — с спокойною улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказанье все уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто — воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу, привезли рубашку; она была невозможно широка и коротка. Послали, 19

чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец одна из дам, взглянув на часы, сказала: «Однако это странно!» — и все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженой матерью и сестрой Львовой стояла в зале щербацкого дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь.

Левин же между тем в панталонах, но без жилета и фрака ходил взад и вперед по своему нумеру, беспрестанно высовываясь в дверь и оглядывая коридор. Но в коридоре не видно было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадьичу.

— Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении! — говорил он.

— Да, глупо,— подтвердил Степан Аркадьич, смягчительно улыбаясь.— Но успокойся, сейчас привезут.

— Нет, как же! — со сдержанным бешенством говорил Левин.— И эти дурацкие открытые жилеты! Невозможно! — говорил он, глядя на измятый перед своей рубашки.— И что как вещи увезли уже на железную дорогу! — вскрикнул он с отчаянием.

— Тогда мою наденешь.

— И давно бы так надо.

— Нехорошо быть смешным... Погоди! *образуется.*

Дело было в том, что, когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было.

— А рубашка! — вскрикнул Левин.

— Рубашка на вас,— с спокойною улыбкой ответил Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказанье все уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто —

наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать. Наконец виноватый Кузьма, насилу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. — Только застал. Уж на ломового поднимали, — сказал Кузьма. Через три минуты, не глядя на часы, чтобы не растравлять раны, Левин бегом бежал по коридору. — Уж этим не поможешь, — говорил Степан Аркадьич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. — Образуется^ образуется,,, — говорю тебе. IV — Приехали! — Вот он! — Который? — Помоложе-то, что ль? — А она-то, матушка, ни жива ни мертва! — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь. Степан Аркадьич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал; он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту. Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно; но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею, и поразительно тонкую талию, и ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь, — не потому, чтоб эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому, что, несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ было все тем же ее особенным выражением невинной правдивости. — Я думала уже, что ты хотел бежать, — сказала она и улыбнулась ему. — Так глупо, что со мной случилось, совестно говорить! — сказал он, краснея, и должен был обратиться к подошедшему Сергею Ивановичу. 20

наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать.

Наконец виноватый Кузьма, насилу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой.

— Только застал. Уж на ломового поднимали,— сказал Кузьма.

Через три минуты, не глядя на часы, чтобы не растравлять раны, Левин бегом бежал по коридору.

— Уж этим не поможешь,— говорил Степан Аркадьич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним.— *Образуется, образуется...*— говорю тебе.

IV

— Приехали! — Вот он! — Который? — Помоложе-то, что ль? — А она-то, матушка, ни жива ни мертва! — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь.

Степан Аркадьич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал; он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту.

Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно; но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею, и поразительно тонкую талию, и ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь, — не потому, чтоб эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому, что, несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ было все тем же ее особенным выражением невинной правдивости.

— Я думала уже, что ты хотел бежать,— сказала она и улыбнулась ему.

— Так глупо, что́ со мной случилось, совестно говорить! — сказал он, краснея, и должен был обратиться

— Хороша твоя история с рубашкой! — сказал Сергей Иванович, покачивая головой и улыбаясь. — Да, да,— отвечал Левин, не понимая, о чем ему говорят. — Ну, Костя, теперь надо решить,— сказал Степан Аркадьич с притворно-испуганным видом, — важный вопрос. Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его. У меня спрашивают: обожя^енпые ли свечи зажечь, или необожженные? Разница десять рублей, — присовокупил он, собирая губы в улыбку. — Я решил, по боюсь, что ты не изъявишь согласия. Левин понял, что это была шутка, но не мог улыбнуться. — Так как же? необожженные или обожженные? вот вопрос. — Да, да! необожженные. — Ну, я очень рад. Вопрос решен! — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. — Однако как глупеют люди в этом положении, — сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на пего, подвинулся к невесте. — Смотри, Кити, первая стань на ковер, — сказала графиня Иордстон, подходя. — Хороши вы! — обратилась она к Левину. — Что, не страшно? — сказала Марья Дмитриевна, старая тетка. — Тебе не свежо ли? Ты бледна. Постой, нагнись! — сказала сестра Кити, Львова, и, округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкою поправила ей цветы на голове. Долли подошла, хотела сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась. Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна. Между тем церковнослужители облачились, и священник с дьяконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, что-то сказав. Левин не расслушал того, что сказал священник. — Берите за руку невесту и ведите,— сказал шафер Левину. Долго Левин не мог понять, чего от него требовали. Долго поправляли его и хотели уже бросить,— потому что он брал все не тою рукой или не за ту руку,— когда он 21

— Хороша твоя история с рубашкой! — сказал Сергей Иванович, покачивая головой и улыбаясь.

— Да, да,— отвечал Левин, не понимая, о чем ему говорят.

— Ну, Костя, теперь надо решить,— сказал Степан Аркадьич с притворно-испуганным видом,— важный вопрос. Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его. У меня спрашивают: обожженные ли свечи зажечь, или необожженные? Разница десять рублей, — присовокупил он, собирая губы в улыбку. — Я решил, но боюсь, что ты не изъявишь согласия.

Левин понял, что это была шутка, но не мог улыбнуться.

— Так как же? необожженные или обожженные? вот вопрос.

— Да, да! необожженные.

— Ну, я очень рад. Вопрос решен! — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь.— Однако как глупеют люди в этом положении,— сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на него, подвинулся к невесте.

— Смотри, Кити, первая стань на ковер,— сказала графиня Нордстон, подходя.— Хороши вы! — обратилась она к Левину.

— Что, не страшно? — сказала Марья Дмитриевна, старая тетка.

— Тебе не свежо ли? Ты бледна. Постой, нагнись! — сказала сестра Кити, Львова, и, округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкою поправила ей цветы на голове.

Долли подошла, хотела сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась.

Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна.

Между тем церковнослужители облачились, и священник с дьяконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, что-то сказав. Левин не расслушал того, что сказал священник.

— Берите за руку невесту и ведите,— сказал шафер Левину.

Долго Левин не мог понять, чего от него требовали.

понял наконец, что надо было правою рукой, но переменяя положения, взять ее за правую же руку. Когда оп наконец взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска. Старичок священник, в камилавке с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки изпод тяя^елой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналоя. Степан Аркадьич осторожно подошел к нему, пошептал что-то и, подмигнув Левину, зашел опять назад. Священник зажег две украшенные цветами свечи, держа их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно, и повернулся лицом к новоневестным. Священник был тот же самый, который исповедовал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и, выпростав из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и так же, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадило, медленно отошел от них. «Неужели это правда?» — подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, поднимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу. Вся суета рубашки, опоздания, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение — все вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно. Красивый рослый протодьякон в серебряном стихаре, со стоящими по сторонам расчесанными завитыми кудрями, бойко выступил вперед и, привычным жестом приподняв на двух пальцах орарь, остановился против священника. «Бла-го-сло-ви, вла-дыко!» — медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки. 22

понял наконец, что надо было правою рукой, не переменяя положения, взять ее за правую же руку. Когда он наконец взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска.

Старичок священник, в камилавке с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки из-под тяжелой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналоя.

Степан Аркадьич осторожно подошел к нему, пошептал что-то и, подмигнув Левину, зашел опять назад.

Священник зажег две украшенные цветами свечи, держа их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно, и повернулся лицом к новоневестным. Священник был тот же самый, который исповедовал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и, выпростав из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и так же, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадило, медленно отошел от них.

«Неужели это правда?» — подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, поднимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу.

Вся суета рубашки, опоздания, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение — все вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно.

Красивый рослый протодьякон в серебряном стихаре, со стоящими по сторонам расчесанными завитыми кудрями, бойко выступил вперед и, привычным жестом приподняв на двух пальцах орарь, остановился против священника.

«Бла-го-сло-ви, вла-дыко!» — медленно один за другим, колебля воздух, раздались торжественные

«Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков», — смиренно и певуче ответил старичок священник, продолжая перебирать что-то на аналое. И, наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновение и тихо замер полный аккорд невидимого клира. Молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о синоде, о государе; молились и о ныне обручающихся рабе божием Константине и Екатерине. «О еже ниспослатися им любве совершенней, мирней и помощи, господу помолимся», — как бы дышала вся церковь голосом протодьякона. Левин слушал слова, и они поражали его. «Как они догадались, что помощи, именно помощи? — думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. — Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, — думал он, — без помощи? Именно помощи мне нужно теперь». Когда дьякон кончил ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой: «Боже вечный, расстоящияся собравый в соединение,— читал он кротким певучим голосом,— и союз любве положивый им неразрушимый; благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый: сам благослови и рабы твоя сия, Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивый и человеколюбец бог еси, и тебе славу воссылаем, отцу, и сыну, и святому духу, ныне и присно и во веки веков». — «А-аминь», — опять разлился в воздухе невидимый хор. «Расстоящияся собравый в соединение и союз любве положивый»,— как глубокомысленны эти слова и как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту! — думал Левин. — Чувствует ли она то же, что я?» И, оглянувшись, он встретил ее взгляд. И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это была неправда; она совсем почти не понимала слрв службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их: так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе и что в продолжение всех этих шести недель радовало и мучало ее. В душе ее в тот день, как она в своем коричневом платье в зале арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему,— 23

«Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков»,— смиренно и певуче ответил старичок священник, продолжая перебирать что-то на аналое. И, наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновение и тихо замер полный аккорд невидимого клира.

Молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о синоде, о государе; молились и о ныне обручающихся рабе божием Константине и Екатерине.

«О еже ниспослатися им любве совершенней, мирней и помощи, господу помолимся»,— как бы дышала вся церковь голосом протодьякона.

Левин слушал слова, и они поражали его. «Как они догадались, что помощи, именно помощи? — думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. — Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, — думал он, — без помощи? Именно помощи мне нужно теперь».

Когда дьякон кончил ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой:

«Боже вечный, расстоящияся собравый в соединение,— читал он кротким певучим голосом,— и союз любве положивый им неразрушимый; благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый: сам благослови и рабы твоя сия, Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивый и человеколюбец бог еси, и тебе славу воссылаем, отцу, и сыну, и святому духу, ныне и присно и во веки веков».— «А-аминь», — опять разлился в воздухе невидимый хор.

«Расстоящияся собравый в соединение и союз любве положивый»,— как глубокомысленны эти слова и как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту! — думал Левин.— Чувствует ли она то же, что я?»

И, оглянувшись, он встретил ее взгляд.

И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это была неправда; она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их: так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе и что в продолжение всех этих шести недель радовало и мучало ее. В душе ее

в душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, в действительности же продолжалась старая. Эти шесть недель былл самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еш;е для нее человеке, с которым связывало ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство, а вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старою жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему: к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прелюде больше всего на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Ни думать, ни желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком; но этой новой жизни еще не было, и она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание — страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание, и неизвестность, и раскаяние в отречении от прежней жизни — все кончится, и начнется новое. Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности; но страшно или не страшно — оно уже совершилось еще шесть недель тому назад в ее душе; теперь же только освящалось то, что давно ул^е сделалось в ее душе. Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. «Обручается раб божий Константин рабе божией Екатерине». И, надев большое кольцо на розовый, маленький, л^алкий своею слабостью палец Кити, священник проговорил то же. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шепотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити большое, а Левину маленькое; опять они запутались и два раза передавали кольцо из руки в руку, и все-таки выходило не то, что требовалось. Долли, Чириков и Степан Аркадьич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыбки, но торжественно-умиленное выражение на лицах 24

в душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, в действительности же продолжалась старая. Эти шесть недель были самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке, с которым связывало ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство, а вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старою жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему: к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прежде больше всего на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Ни думать, ни желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком; но этой новой жизни еще не было, и она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание — страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание, и неизвестность, и раскаяние в отречении от прежней жизни — все кончится, и начнется новое. Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности; но страшно или не страшно — оно уже совершилось еще шесть недель тому назад в ее душе; теперь же только освящалось то, что давно уже сделалось в ее душе.

Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. «Обручается раб божий Константин рабе божией Екатерине». И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своею слабостью палец Кити, священник проговорил то же.

Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шепотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити большое, а Левину маленькое; опять они запутались и два раза передавали кольцо из руки в руку, и все-таки выходило не то, что требовалось.

Долли, Чириков и Степан Аркадьич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыб-

обручаемых не изменилось; напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде, и улыбка, с которою Степан Аркадьич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их. — «Ты бо изначала создал еси мужеский пол и женский, — читал свяіценник вслед за переменой колец, — и от тебе сочетавается мужу жена, в помош,ь и в восприятие рода человеча. Сам убо, господи боже наш, пославый истину на наследие твое и обетование твое, на рабы твоя отцы наша, в коемждо роде и роде, избранныя твоя: призри на раба твоего Константина и на рабу твою Екатерину и утверди обручение их в вере, и единомыслии, и истине, и любви...» Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, — что все это было ребячество и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним; в груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза. V В церкви была вся Москва, родные и знакомые. И во время обряда обручения, в блестящем освещении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах, не переставал прилично-тихий говор, который преимущественно затевали мужчины, между тем как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей столь всегда затрогивающего их священнодействия. В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. — Что же это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу? — говорила Корсунская. — С ее цветом лица одно спасенье... — отвечала Друбецкая.— Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу. Это купечество... — Красивее. Я тоже венчалась вечером, — отвечала Корсунская и вздохнула, вспомнив о том, как мила она 25

обручаемых не изменилось; напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде, и улыбка, с которою Степан Аркадьич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их.

— «Ты бо изначала создал еси мужеский пол и женский,— читал священник вслед за переменой колец,— и от тебе сочетавается мужу жена, в помощь и в восприятие рода человеча. Сам убо, господи боже наш, пославый истину на наследие твое и обетование твое, на рабы твоя отцы наша, в коемждо роде и роде, избранныя твоя: призри на раба твоего Константина и на рабу твою Екатерину и утверди обручение их в вере, и единомыслии, и истине, и любви...»

Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь,— что все это было ребячество и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним; в груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза.

V

В церкви была вся Москва, родные и знакомые. И во время обряда обручения, в блестящем освещении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах, не переставал прилично-тихий говор, который преимущественно затевали мужчины, между тем как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей столь всегда затрогивающего их священнодействия.

В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы.

— Что же это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу? — говорила Корсунская.

— С ее цветом лица одно спасенье...— отвечала Друбецкая.— Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу. Это купечество...

была в этот депь, как смешно был влюблен ее муж и как теперь все другое. — Говорят, что кто больше десяти раз бывает шафером, тот не женится; я хотел десятый быть, чтобы застраховаться, но место было занято, — говорил граф Синявин хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды. Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку. Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтоб опа была счастлива. — Не надо было надевать шиньона, — отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая. — Я не люблю этот фаст. Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно. — Брат ваш может гордиться. Она чудо как мила. Я думаю, вам завидно? — Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна, — отвечал он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение. Степан Аркадьич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе. — Надо поправить венок, — отвечала она, не слушая его. — Как жаль, что она так подурнела, — говорила графиня Нордстон Львовой. — А все-таки он не стоит ее пальца. Не правда ли? — Нет, он мне очень нравится. Не оттого, что он будущий beaufrère ^ — отвечала Львова. — И как он хорошо себя держит! А это так трудно держать себя хорошо в этом положении — не быть смешным. А он не смешон, не натянут, он видно, что тронут. — Кажется, вы ждали этого? — Почти. Она всегда его любила. ^ штъ (Франц.) п 26

была в этот день, как смешно был влюблен ее муж и как теперь все другое.

— Говорят, что кто больше десяти раз бывает шафером, тот не женится; я хотел десятый быть, чтобы застраховаться, но место было занято,— говорил граф Синявин хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды.

Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку.

Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтоб она была счастлива.

— Не надо было надевать шиньона,— отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая.— Я не люблю этот фаст.

Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно.

— Брат ваш может гордиться. Она чудо как мила. Я думаю, вам завидно?

— Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна,— отвечал он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение.

Степан Аркадьич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе.

— Надо поправить венок,— отвечала она, не слушая его.

— Как жаль, что она так подурнела,— говорила графиня Нордстон Львовой.— А все-таки он не стóит ее пальца. Не правда ли?

— Нет, он мне очень нравится. Не оттого, что он будущий beaufrère [1],— отвечала Львова.— И как он хорошо себя держит! А это так трудно держать себя хорошо в этом положении — не быть смешным. А он не смешон, не натянут, он видно, что тронут.

— Кажется, вы ждали этого?

— Почти. Она всегда его любила.

— Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити. — Все равно,— отвечала Львова, — мы все покорные жены, это у нас в породе. — А я так нарочно первая стала с Васильем. А вы, Долли? Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у пей в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина; возвраш;аясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияюш,его Степана Аркадьича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, по всех женщин, близких и знакомых ей; она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе которой она недавно слышала. И она также, чистая, стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что? — Ужасно странно, — проговорила она. Не одни сестры, приятельницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия; посторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение, выражение лица жениха и невесты и с досадой не отвечали и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания. — Что же так заплакана? Или поневоле идет? — Чего же поневоле за такого молодца? Князь, что ли? — А это сестра в белом атласе? Ну, слушай, как рявкнет дьякон: «Да боится своего мужа». — Чудовские? — Синодальные. — Я лакея спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в вотчину. Богат страсть, говорят. Затем и выдали. — Нет, парочка хороша. — А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят. Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором... Так, и опять этак. 27

— Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити.

— Все равно,— отвечала Львова,— мы все покорные жены, это у нас в породе.

— А я так нарочно первая стала с Васильем. А вы, Долли?

Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина; возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадьича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей; она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе которой она недавно слышала. И она также, чистая, стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что?

— Ужасно странно,— проговорила она.

Не одни сестры, приятельницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия; посторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение, выражение лица жениха и невесты и с досадой не отвечали и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания.

— Что же так заплакана? Или поневоле идет?

— Чего же поневоле за такого молодца? Князь, что ли?

— А это сестра в белом атласе? Ну, слушай, как рявкнет дьякон: «Да боится своего мужа».

— Чудовские?

— Синодальные.

— Я лакея спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в вотчину. Богат страсть, говорят. Затем и выдали.

— Нет, парочка хороша.

— А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карна-

— Экая милочка певеста-то, как овечка убранная! А как ни говорите, жалко нашу сестру. Так говорилось в толпе зрительниц, успевнших проскочить в двери церкви. VI Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель постлал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собою, и священник, оборотившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как ни часто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит па ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний и споров о том, что, по наблюдению одних, он стал прежде, по мнению других, оба вместе. После обычных вопросов о л^елапии их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучавших ответов началась новая слулчба. Кити слушала слова молитвы, л^елая понять их смысл, по не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания. Молились «о ел^е податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о ел^е возвеселитися им видением сынов и дщерей». Упоминалось о том, что бог сотворил жену из ребра Адама, и «сего ради оставит человек отца и матерь и прилепится к жене, будет два в плоть едину», и что «тайна сия велика есть»; просили, чтобы бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтоб они видели сыны сынов своих. «Все это было прекрасно, — думала Кити, слушая эти слова, — все это и не мол^ет быть иначе», — и улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице. — Наденьте совсем! — послышались советы, когда священник надел на них венцы и Щербацкий, дролеа рукою в трехпуговичной перчатке, держал высоко венец над ее головой. — Наденьте! — прошептала она, улыбаясь. Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице; и чувство это 28

— Экая милочка невеста-то, как овечка убранная! А как ни говорите, жалко нашу сестру.

Так говорилось в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви.

VI

Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель постлал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собою, и священник, оборотившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как ни часто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний и споров о том, что, по наблюдению одних, он стал прежде, по мнению других, оба вместе.

После обычных вопросов о желании их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучавших ответов началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания.

Молились «о еже податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о еже возвеселитися им видением сынов и дщерей». Упоминалось о том, что бог сотворил жену из ребра Адама, и «сего ради оставит человек отца и матерь и прилепится к жене, будет два в плоть едину», и что «тайна сия велика есть»; просили, чтобы бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтоб они видели сыны сынов своих. «Все это было прекрасно,— думала Кити, слушая эти слова,— все это и не может быть иначе»,— и улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице.

— Наденьте совсем! — послышались советы, когда священник надел на них венцы и Щербацкий, дрожа рукою в трехпуговичной перчатке, держал высоко венец над ее головой.

— Наденьте! — прошептала она, улыбаясь.

Левин оглянулся на нее и был поражен тем радост-

невольно сообщилось ему. Ему стало, так же как и ей, светло и весело. Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодьякона при последнем стихе, ожидаемый с такрім нетерпением постороннею публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой, и стало еще веселее, когда священнрік, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего «Исайе ликуй», вокруг аналоя. Щербацкий и Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Кити, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику и дьякону, так же как и ему, хотелось улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Кити, и никогда он не видал ее до сих пор такою. Она была прелестна тем новым сиянием счастия, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал: — Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа, — и взял у них из рук свечи. Левин поцеловал с осторожностью ее улыбавшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую, странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивленные и робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно. После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню. VII Вронский с Анною три месяца уже путешествовали вместе по Европе. Они объездили Венецию, Рим, Неаполь и только что приехали в небольшой итальянский город, где хотели поселиться на некоторое время. Красавец обер-кельнер с начинавшимся от шеи пробором в густых напомаженных волосах, во фраке и с широкою белою батистовою грудью рубашки, со связкой брелок над округленным брюшком, заложив руки в карманы. 29

невольно сообщилось ему. Ему стало, так же как и ей, светло и весело.

Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодьякона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением постороннею публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой, и стало еще веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего «Исаие ликуй», вокруг аналоя. Щербацкий и Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Кити, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику и дьякону, так же как и ему, хотелось улыбаться.

Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Кити, и никогда он не видал ее до сих пор такою. Она была прелестна тем новым сиянием счастия, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал:

— Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа,— и взял у них из рук свечи.

Левин поцеловал с осторожностью ее улыбавшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую, странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивленные и робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно.

После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню.

VII

Вронский с Анною три месяца уже путешествовали вместе по Европе. Они объездили Венецию, Рим, Неаполь и только что приехали в небольшой итальянский город, где хотели поселиться на некоторое время.

Красавец обер-кельнер с начинавшимся от шеи проб ором в густых напомаженных волосах, во фраке и с широ-

презрительно прищурившись, строго отвечал что-то остапозпвшемуся господину. Услыхав с другой стороны подъезда шаги, всходившие на лестницу, обер-кельнер обернулся и, увидав русского графа, занимавшего у них лучшие кохмнаты, почтительно вынул руки из карманов и, наклонившись, объяснил, что курьер был и что дело с наймом палаццо состоялось. Главный управляющий готов подписать условие. — А! Я очень рад, — сказал Вронский. — А госпожа дома или нет? — Они выходили гулять, но теперь вернулись, — отвечал кельнер. Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и отер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину. И, взглянув рассеянно на стоявшего еще и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти. — Господин этот русский и спрашивал про вас, — сказал обер-кельнер. Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых, и желаішя найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия своей жизни, Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина; и в одно и то же время у обоих просветлели глаза. — Голенищев! — Вронский! Действительно, это был Голенищев, товарищ Вронского по Пажескому корпусу. Голенищев в корпусе принадлежал к либеральной партии, из корпуса вышел гражданским чином и нигде не служил. Товарищи совсем разошлись по выходе из корпуса и встретились после только один раз. При этой встрече Вронский понял, что Голенищев избрал какую-то высокоумную либеральную деятельность и вследствие этого хотел презирать деятельность и званиз Вронского. Поэтому Вронский при встрече с Голенищевым дал ему тот холодный и гордый отпор, который он умел давать людям и смысл которого был таков: «Вам может нравиться или не нравиться мой образ жизни, по мне это совершенно все равно: вы должны уважать меня, если хотите меня знать». Голенищев же был презрительно равнодушен к тону Вронского. Эта встреча, казалось бы, еще больше должна была разобщить их. Теперь жѳ они просияли и вскрикнули от радости, узнав друг друга. 30

презрительно прищурившись, строго отвечал что-то остановившемуся господину. Услыхав с другой стороны подъезда шаги, всходившие на лестницу, обер-кельнер обернулся и, увидав русского графа, занимавшего у них лучшие комнаты, почтительно вынул руки из карманов и, наклонившись, объяснил, что курьер был и что дело с наймом палаццо состоялось. Главный управляющий готов подписать условие.

— А! Я очень рад,— сказал Вронский.— А госпожа дома или нет?

— Они выходили гулять, но теперь вернулись,— отвечал кельнер.

Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и отер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину. И, взглянув рассеянно на стоявшего еще и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти.

— Господин этот русский и спрашивал про вас,— сказал обер-кельнер.

Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых, и желания найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия своей жизни, Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина; и в одно и то же время у обоих просветлели глаза.

— Голенищев!

— Вронский!

Действительно, это был Голенищев, товарищ Вронского по Пажескому корпусу. Голенищев в корпусе принадлежал к либеральной партии, из корпуса вышел гражданским чином и нигде не служил. Товарищи совсем разошлись по выходе из корпуса и встретились после только один раз.

При этой встрече Вронский понял, что Голенищев избрал какую-то высокоумную либеральную деятельность и вследствие этого хотел презирать деятельность и звание Вронского. Поэтому Вронский при встрече с Голенищевым дал ему тот холодный и гордый отпор, который он умел давать людям и смысл которого был таков: «Вам может нравиться или не нравиться мой образ жизни, но мне это совершенно все равно: вы должны уважать меня, если хотите меня знать». Голенищев же был презрительно равнодушен к тону Вронского. Эта встреча, казалось

Вронский никак не ожидал, что он так обрадуется Голенищеву, но, вероятно, он сам не знал, как ему было скучно. Он забыл неприятное впечатление последней встречи и с открытым радостным лицом протянул руку бывшему товарищу. Такое же выражение радости заменило прежнее тревожное выражение лица Голенищева. — Как я рад тебя встретить! — сказал Вронский, выставляя дружелюбною улыбкой свои крепкие белые зубы. — А я слышу: Вронский, но который — не знал. Очень, очень рад! — Войдем же. Ну, что ты делаешь? — Я уже второй год живу здесь. Работаю. — А! — с участием сказал Вронский. — Войдем же. И по обычной привычке русских, вместо того чтоб именно по-русски сказать то, что он хотел скрыть от слуг, заговорил по-французски. — Ты знаком с Карениной? Мы вместе путешествуем. Я к ней иду,— по-французски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Голенищева. — А! Я и не знал (хотя он и знал),— равнодушно отвечал Голенищев. — Ты давно приехал? — прибавил он. — Я? Четвертый день, — ответил Вронский, еще раз внимательно вглядываясь в лицо товарища. «Да, он порядочный человек и смотрит на дело как должно, — сказал себе Вронский, поняв значение выражения лица Голенищева и перемены разговора. — Мояшо познакомить его с Анной, он смотрит как должно». Вронский в эти три месяца, которые он провел с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношения к Анне, и большею частью встречал в мужчинах какое должно понимание. Но если б его спросили и спросили тех, которые понимали «как должно», в чем состояло это понимание, и он и они были бы в большом затруднении. В сущности, понимавшие, по мнению Вронского, «как должно» никак не понимали этого, а держали себя вообще, как держат себя благовоспитанные люди относительно всех сложных и неразрешимых вопросов, со всех сторон окружающих жизнь,— держали себя прилично, избегая намеков и неприятных вопросов. Они делали вид, что вполне понимают значение и смысл положения, признают и даже одобряют его, но считают неуместным и лишним объяснять все это. S1

Вронский никак не ожидал, что он так обрадуется Голенищеву, но, вероятно, он сам не знал, как ему было скучно. Он забыл неприятное впечатление последней встречи и с открытым радостным лицом протянул руку бывшему товарищу. Такое же выражение радости заменило прежнее тревожное выражение лица Голенищева.

— Как я рад тебя встретить! — сказал Вронский, выставляя дружелюбною улыбкой свои крепкие белые зубы.

— А я слышу: Вронский, но который — не знал. Очень, очень рад!

— Войдем же. Ну, что ты делаешь?

— Я уже второй год живу здесь. Работаю.

— А! — с участием сказал Вронский.— Войдем же.

И по обычной привычке русских, вместо того чтоб именно по-русски сказать то, что он хотел скрыть от слуг, заговорил по-французски.

— Ты знаком с Карениной? Мы вместе путешествуем. Я к ней иду,— по-французски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Голенищева.

— А! Я и не знал (хотя он и знал),— равнодушно отвечал Голенищев.— Ты давно приехал? — прибавил он.

— Я? Четвертый день,— ответил Вронский, еще раз внимательно вглядываясь в лицо товарища.

«Да, он порядочный человек и смотрит на дело как должно,— сказал себе Вронский, поняв значение выражения лица Голенищева и перемены разговора.— Можно познакомить его с Анной, он смотрит как должно».

Вронский в эти три месяца, которые он провел с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношения к Анне, и большею частью встречал в мужчинах *какое должно* понимание. Но если б его спросили и спросили тех, которые понимали «как должно», в чем состояло это понимание, и он и они были бы в большом затруднении.

В сущности, понимавшие, по мнению Вронского, «как должно» никак не понимали этого, а держали себя вообще, как держат себя благовоспитанные люди относительно всех сложных и неразрешимых вопросов, со всех сторон окружающих жизнь,— держали себя прилично, избегая намеков и неприятных вопросов. Они делали вид, что вполне понимают значение и смысл положения, признают

Вронский сейчас же догадался, что Голенищев был один из таких, и потому вдвойне был рад ему. Действительно, Голенищев держал себя с Карениной, когда был введен к ней, так, как только Вронский мог желать этого. Он, очевидно, без малейшего усилия избегал всех разговоров, которые могли бы повести к неловкости. Он не знал прежде Анну и был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с которою она принимала свое положение. Она покраснела, когда Вронский ввел Голенищева, и эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского просто Алексеем и сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют палаццо. Это прямое и простое отношение к своему положению понравилось Голенищеву. Глядя на добродушно-веселую энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и Вронского, Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала: именно того, как она могла, сделав несчастие мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически-веселою и счастливою. — Он в гиде есть, — сказал Голенищев про тот палаццо, который нанимал Вронский. — Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи. — Знаете что? Погода прекрасная, пойдемте туда, еще раз взглянем, — сказал Вронский, обращаясь к Анне. — Очень рада, я сейчас пойду надену шляпу. Вы говорите, что жарко? — сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского. И опять яркая краска покрыла ее лицо. Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел. Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядам. — Нет, не очень,“- сказал он. И ей показалось, что она все поняла, главное то, что он доволен ею; и, улыбнувшись ему, она быстрою походкой вышла из двери. Приятели взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как будто Голенищев, очевид32

Вронский сейчас же догадался, что Голенищев был один из таких, и потому вдвойне был рад ему. Действительно, Голенищев держал себя с Карениной, когда был введен к ней, так, как только Вронский мог желать этого. Он, очевидно, без малейшего усилия избегал всех разговоров, которые могли бы повести к неловкости.

Он не знал прежде Анну и был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с которою она принимала свое положение. Она покраснела, когда Вронский ввел Голенищева, и эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского просто Алексеем и сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют палаццо. Это прямое и простое отношение к своему положению понравилось Голенищеву. Глядя на добродушно-веселую энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и Вронского, Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала: именно того, как она могла, сделав несчастие мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически-веселою и счастливою.

— Он в гиде есть,— сказал Голенищев про тот палаццо, который нанимал Вронский.— Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи.

— Знаете что? Погода прекрасная, пойдемте туда, еще раз взглянем,— сказал Вронский, обращаясь к Анне.

— Очень рада, я сейчас пойду надену шляпу. Вы говорите, что жарко? — сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского. И опять яркая краска покрыла ее лицо.

Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел.

Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядом.

— Нет, не очень,— сказал он.

И ей показалось, что она все поняла, главное то, что он доволен ею; и, улыбнувшись ему, она быстрою походкой вышла из двери.

но любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал и боялся того же. — Так вот как, — начал Вронский, чтобы начать какой-нибудь разговор. — Так ты поселился здесь? Так ты все занимаешься тем же? — продолжал он, вспоминая, что ему говорили, что Голенищев писал что-то... — Да, я пишу вторую часть «Двух начал», — сказал Голенищев, вспыхнув от удовольствия при этом вопросе,— то есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, но подготовляю, собираю материалы. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы. У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии, — начал он длинное, горячее объяснение. Вронскому было сначала неловко за то, что он це знал и первой статьи о «Двух началах», про которую ему говорил автор как про что-то известное. Но потом, когда Голенищев стал излагать свои мысли и Вронский мог следить за ним, то, и не зная «Двух начал», он не без интереса слушал его, так как Голенищев говорил хорошо. По Вронского удивляло и огорчало то раздраженное волнение, с которым Голенищев говорил о занимавшем его предмете. Чем дальше он говорил, тем больше у него разгорались глаза, тем поспешнее он возражал мнимым противникам и тем тревожнее и оскорбленнее становилось выражение его лица. Вспоминая Голенищева худеньким, живым, добродушным и благородным мальчиком, всегда первым учеником в корпусе, Вронский никак не мог понять причины этого раздражения и не одобрял его. В особенности ему не нравилось то, что Голенищев, человек хорошего круга, становился на одну доску с какими-то писаками, которые его раздражали, и сердился на них. Стоило ли это того? Это не нравилось Вронскому, но, несмотря на то, он чувствовал, что Голенищев несчастлив, и ему жалко было его. Несчастно, почти умопомешательство, видно было в этом подвижном, довольно красивом лице в то время, как он, не замечая далщ выхода Анны, продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли. Когда Анна вышла в шляпе и накидке и, быстрым движением красивой руки играя зонтиком, остановилась подле него, Вронский с чувством облегчения оторвался от пристально устремленных на него жалующихся глаз Голенищева и с новою любовию взглянул на свою прелестную, полную жизни и радости подругу. Голенищев с трудом

опомнился и первое время был уныл и мрачен, но 2 л. Н. Толстой, т. 9
33

но любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал и боялся того же.

— Так вот как,— начал Вронский, чтобы начать какой-нибудь разговор.— Так ты поселился здесь? Так ты все занимаешься тем же? — продолжал он, вспоминая, что ему говорили, что Голенищев писал что-то...

— Да, я пишу вторую часть «Двух начал»,— сказал Голенищев, вспыхнув от удовольствия при этом вопросе,— то есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, но подготовляю, собираю материалы. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы. У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии,— начал он длинное, горячее объяснение.

Вронскому было сначала неловко за то, что он не знал и первой статьи о «Двух началах», про которую ему говорил автор как про что-то известное. Но потом, когда Голенищев стал излагать свои мысли и Вронский мог следить за ним, то, и не зная «Двух начал», он не без интереса слушал его, так как Голенищев говорил хорошо. Но Вронского удивляло и огорчало то раздраженное волнение, с которым Голенищев говорил о занимавшем его предмете. Чем дальше он говорил, тем больше у него разгорались глаза, тем поспешнее он возражал мнимым противникам и тем тревожнее и оскорбленнее становилось выражение его лица. Вспоминая Голенищева худеньким, живым, добродушным и благородным мальчиком, всегда первым учеником в корпусе, Вронский никак не мог понять причины этого раздражения и не одобрял его. В особенности ему не нравилось то, что Голенищев, человек хорошего круга, становился на одну доску с какими-то писаками, которые его раздражали, и сердился на них. Стоило ли это того? Это не нравилось Вронскому, но, несмотря на то, он чувствовал, что Голенищев несчастлив, и ему жалко было его. Несчастие, почти умопомешательство, видно было в этом подвижном, довольно красивом лице в то время, как он, не замечая даже выхода Анны, продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли.

Когда Анна вышла в шляпе и накидке и, быстрым движением красивой руки играя зонтиком, остановилась подле него, Вронский с чувством облегчения оторвался от пристально устремленных на него жалующихся глаз Голенищева и с новою любовию взглянул на свою прелест-

Анна, ласково расположенная ко всем (какою она была это время), скоро освежила его своим простым и веселым обращением. Попытав разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой он говорил очень хорошо, и внимательно слушала его. Они дошли пешком до нанятого дома и осмотрели его. — Я очень рада одному,— сказала Анна Голенищеву, когда они уже возвращались. — У Алексея будет atelier хороший. Непременно ты возьми эту комнату, — сказала она Вронскому по-русски и говоря ему ты, так как она уже поняла, что Голенищев в их уединении сделается близким человеком и что пред ним скрываться не нужно. — Разве ты пишешь? — сказал Голенищев, быстро оборачиваясь к Вронскому. — Да, я давно занимался и теперь немного начал,— сказал Вронский, краснея. — У него большой талант,— сказала Анна с радостною у.лыбкой. — Я, разумеется, не судья! Но судьи знающие то 5ке сказали. VIII Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливою и полною радости жизни. Воспоминание несчастия мужа не отравляло ее счастия. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастие ее мужа дало ей слишком большое счастие, чтобы раскаиваться. Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни: примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощанье с сыном — все это казалось ей горячечным сном, от которого она проснулась одна с Вронским за границей. Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подоб^ ное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях. Одно успокоительное рассуждение о своем поступке пришло ей тогда, в первую минуту разрыва, и, когда она 34

Анна, ласково расположенная ко всем (какою она была это время), скоро освежила его своим простым и веселым обращением. Попытав разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой он говорил очень хорошо, и внимательно слушала его. Они дошли пешком до нанятого дома и осмотрели его.

— Я очень рада одному,— сказала Анна Голенищеву, когда они уже возвращались.— У Алексея будет atelier хороший. Непременно ты возьми эту комнату, — сказала она Вронскому по-русски и говоря ему *ты,* так как она уже поняла, что Голенищев в их уединении сделается близким человеком и что пред ним скрываться не нужно.

— Разве ты пишешь? — сказал Голенищев, быстро оборачиваясь к Вронскому.

— Да, я давно занимался и теперь немного начал,— сказал Вронский, краснея.

— У него большой талант,— сказала Анна с радостною улыбкой.— Я, разумеется, не судья! Но судьи знающие то же сказали.

VIII

Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливою и полною радости жизни. Воспоминание несчастия мужа не отравляло ее счастия. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастие ее мужа дало ей слишком большое счастие, чтобы раскаиваться. Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни: примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощанье с сыном — все это казалось ей горячечным сном, от которого она проснулась одна с Вронским за границей. Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях.

Одно успокоительное рассуждение о своем поступке

вспомнила теперь обо всем прошедшем, она вспомнила это одно рассуждение. «Я неизбежно сделала несчастие этого человека, — думала она, — но я не хочу пользоваться этим песчастием; я тоже страдаю и буду страдать: я лишаюсь того, чем я более всего дорожила, — я лишаюсь честного имени и сына. Я сделала дурно и потому не хочу счастия, не хочу развода и буду страдать позором и разлукой с сыном». Но, как ни искренно хотела Анка страдать, опа не страдала. Позора никакого не было. С тем тактом, которого так много было у обоих, они за границей, избегая русских дам, никогда не ставили себя в фальшивое положение и везде встречали людей, которые притворялись, что вполне понимали их взаимное положение гораздо лучше, чем они сами понимали его. Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучала ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у ней осталась одна эта девочка, что Анна редко вспоминала о сыне. Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна и условия жизни были так новы и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливою. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно радостно. Близость его ей всегда была приятна. Все черты его характера, который она узнавала больше и больше, были для нее невыразимо милы. Наружность его, изменившаяся в штатском платье, была для нее привлекательна, как для молодой влюбленной. Во всем, что он говорил, думал и делал, она видела что-то особенно благородное и возвышенное. Ее восхищение пред ним часто пугало ее самое: она искала и не могла найти в нем ничего непрекрасного. Она не смела показывать ему сознание своего ничтожества пред ним. Ей казалось, что он, зная это, скорее может разлюбить ее; а она ничего так не боялась теперь, хотя и не имела к тому никаких поводов, как потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарна ему за его отношение к ней и не показывать, как она ценит его. Он по ее мнению, имевший такое определенное призвание к государственной деятельности, в которой должен был играть видную роль, — он пожертвовал честолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления.

Он был, более чем прежде, любовно-почтителен к пей, и мысль о том, чтоб она никогда не почувствовала

вспомнила теперь обо всем прошедшем, она вспомнила это одно рассуждение. «Я неизбежно сделала несчастие этого человека,— думала она,—но я не хочу пользоваться этим несчастием; я тоже страдаю и буду страдать: я лишаюсь того, чем я более всего дорожила,— я лишаюсь честного имени и сына. Я сделала дурно и потому не хочу счастия, не хочу развода и буду страдать позором и разлукой с сыном». Но, как ни искренно хотела Анна страдать, она не страдала. Позора никакого не было. С тем тактом, которого так много было у обоих, они за границей, избегая русских дам, никогда не ставили себя в фальшивое положение и везде встречали людей, которые притворялись, что вполне понимали их взаимное положение гораздо лучше, чем они сами понимали его. Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучала ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у ней осталась одна эта девочка, что Анна редко вспоминала о сыне.

Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна и условия жизни были так новы и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливою. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно радостно. Близость его ей всегда была приятна. Все черты его характера, который она узнавала больше и больше, были для нее невыразимо милы. Наружность его, изменившаяся в штатском платье, была для нее привлекательна, как для молодой влюбленной. Во всем, что он говорил, думал и делал, она видела что-то особенно благородное и возвышенное. Ее восхищение пред ним часто пугало ее самое: она искала и не могла найти в нем ничего непрекрасного. Она не смела показывать ему сознание своего ничтожества пред ним. Ей казалось, что он, зная это, скорее может разлюбить ее; а она ничего так не боялась теперь, хотя и не имела к тому никаких поводов, как потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарна ему за его отношение к ней и не показывать, как она ценит его. Он по ее мнению, имевший такое определенное призвание к государственной деятельности, в которой должен был играть видную роль,— он пожертвовал честолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления. Он

неловкости своего положения, ни на минуту не покидала его. Он, столь мужественный человек, в отношении ее не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить ее желания. Іі она не могла не ценить этого, хотя эта самая напряженность его внимания к ней, эта атмосфера забот, которою он окружал ее, иногда тяготили ее. Вронский между тем, несмотря на полное осуществление того, чего он желал так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастия, которой он ожидал. Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастие осуществлением желания. Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, оп почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он по знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель. Шестнадцать часов дня надо было занять чем-нибудь, так как они жили за границей па совершенной свободе, вне того круга условий общественной жизни, который занимал время в Петербурге. Об удовольствиях холостой жизни, которые в прея^ние поездки за границу занимали Вронского, нельзя было и думать, так как одна попытка такого рода произвела иеояаіданное и не соответствующее позднему ужину с знакомыми уныние в Анне. Сношений с обществом местным и русским, при неопределенности их полоя^ения, тоясе нельзя было иметь. Осматривание достопримечательностей, не говоря о том, что все уя^е было видено, не имело для него, как для русского и умного человека, той необъяснимой значительности, которую умеют приписывать этому делу англичане. И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины. Так как смолоду у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал заниматься ею рі в нее полояшл тот незанятый запас желаний, который требовал удовлетворения. 36

неловкости своего положения, ни на минуту не покидала его. Он, столь мужественный человек, в отношении ее не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить ее желания. И она не могла не ценить этого, хотя эта самая напряженность его внимания к ней, эта атмосфера забот, которою он окружал ее, иногда тяготили ее.

Вронский между тем, несмотря на полное осуществление того, чего он желал так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастия, которой он ожидал. Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастие осуществлением желания. Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель. Шестнадцать часов дня надо было занять чем-нибудь, так как они жили за границей на совершенной свободе, вне того круга условий общественной жизни, который занимал время в Петербурге. Об удовольствиях холостой жизни, которые в прежние поездки за границу занимали Вронского, нельзя было и думать, так как одна попытка такого рода произвела неожиданное и не соответствующее позднему ужину с знакомыми уныние в Анне. Сношений с обществом местным и русским, при неопределенности их положения, тоже нельзя было иметь. Осматривание достопримечательностей, не говоря о том, что все уже было видено, не имело для него, как для русского и умного человека, той необъяснимой значительности, которую умеют приписывать этому делу англичане.

И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины.

Так как смолоду у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал заниматься ею и в нее положил тот незанятый запас жела-

у него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он но знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно, жизнью, уя^е воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать. Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным. IX Старый, запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с тяжелыми желтыми штофными гардинами на высоких окнах, вазами на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами, — палаццо этот, после того как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам — скромный художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины. Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и, познакомившись чрез посредство Голенищева с некоторыми интересными лицами, первое время оп был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи этюды с натуры и занимался средневековою итальянскою жизнью. Средневековая ытальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить по-средневековски, что очень шло к нему. 37

У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно, жизнью, уже воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать.

Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным.

IX

Старый, запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с тяжелыми желтыми штофными гардинами на высоких окнах, вазами на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами, — палаццо этот, после того как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам — скромный художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины.

Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и, познакомившись чрез посредство Голенищева с некоторыми интересными лицами, первое время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи этюды с натуры и занимался средневековою итальянскою жизнью. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила

— А мы живем и ничего не знаем, — сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру Голенигцеву. — Ты видел картину Михайлова? — сказал он, подавая ему только что полученную утром русскую газету и указывая на статью о русском художнике, жившем в том же городе и окончившем картину, о которой давно ходили слухи п которая вперед была куплена. В статье были укоры правительству и Академии за то, что замечательный художник был лишен всякого поощрения и помощи. — Видел, — отвечал Голенищев. — Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Все то же ивановско-штраусовско-ренановское отношение к Христу и религиозной живописи. — Что представляет картина? — спросила Анна. — Христос пред Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы. И, вопросом о содержании картины наведенный на одну из самых любимых тем своих, Голенищев начал излагать: — Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться. Христос уже имеет свое определенное воплощение в искусстве великих стариков. Стало быть, если они хотят изображать не бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа, Франклина, Шарлотту Корде, но только не Христа. Они берут то самое лицо, которое нельзя брать для искусства, и потом... — А что же, правда, что этот Михайлов в такой бедности? — спросил Вронский, думая, что ему, как русскому меценату, несмотря на то, хороша ли, или дурна его картина, надо бы помочь художнику. — Едва ли. Он портретист замечательный. Вы видели его портрет Васильчиковой? Но он, кажется, не хочет больше писать портретов, и потому, может быть, что и точно он в нужде. Я говорю, что... — Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны? — сказал Вронский. — Зачем мой? — сказала Анна. — После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани (так она звала свою девочку) . Вот и она, — прибавила она, выглянув в окно на красавицу итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад, и тотчас же незаметно оглянувшись на Вронского. Красавица кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины, была единственное тайное горе в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее кра38

— А мы живем и ничего не знаем,— сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру Голенищеву.— Ты видел картину Михайлова? — сказал он, подавая ему только что полученную утром русскую газету и указывая на статью о русском художнике, жившем в том же городе и окончившем картину, о которой давно ходили слухи и которая вперед была куплена. В статье были укоры правительству и Академии за то, что замечательный художник был лишен всякого поощрения и помощи.

— Видел,— отвечал Голенищев.— Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Все то же ивановско-штраусовско-ренановское отношение к Христу и религиозной живописи.

— Что представляет картина? — спросила Анна.

— Христос пред Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы.

И, вопросом о содержании картины наведенный на одну из самых любимых тем своих, Голенищев начал излагать:

— Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться. Христос уже имеет свое определенное воплощение в искусстве великих стариков. Стало быть, если они хотят изображать не бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа, Франклина, Шарлотту Корде, но только не Христа. Они берут то самое лицо, которое нельзя брать для искусства, и потом...

— А что же, правда, что этот Михайлов в такой бедности? — спросил Вронский, думая, что ему, как русскому меценату, несмотря на то, хороша ли, или дурна его картина, надо бы помочь художнику.

— Едва ли. Он портретист замечательный. Вы видели его портрет Васильчиковой? Но он, кажется, не хочет больше писать портретов, и потому, может быть, что и точно он в нужде. Я говорю, что...

— Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны? — сказал Вронский.

— Зачем мой? — сказала Анна.— После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани (так она звала свою девочку). Вот и она,— прибавила она, выглянув в окно на красавицу итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад, и тотчас же незаметно оглянувшись на Вронского. Красавица кормилица, с которой Вронский писал голо-

сотой и средневековостыо, и Анна не смела себе признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее и ее маленького сына. Вронский взглянул тоже в окно и в глаза Анны и, тотчас же оборотившись к Голенищеву, сказал: — А ты знаешь этого Михайлова? — Я его встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые d'emblée ^ воспитаны в понятиях неверия, отрицания и материализма. Прежде, бывало, — говорил Голенищев, не замечая или не желая заметить, что и Анне н Вронскому хотелось говорить, — прежде, бывало, вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства; но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слыхав даже, что были законы нравственности, религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания всего, то есть дикими. Вот он такой. Он сын, i:ажется, московского камер-лакея и не получил никакого образования. Когда он поступил в Академию и сделал себе репутацию, он, как человек неглупый, захотел образоваться. И обратился к тому, что ему казалось источником образования, — к журналам. И понимаете, в старину человек, хотевший образоваться, положим француз, стал бы изучать всех классиков: и богословов, и трагиков, к историков, и философов, и, понимаете, весь труд умственный, который бы предстоял ему. Но у нас теперь он прямо попал на отрицательную литературу, усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной, и готов. И мало того: лет двадцать тому назад он нашел бы в этой литературе признаки борьбы с авторитетами, с вековыми воззрениями, он бы из этой борьбы понял, что было что-то другое; но теперь он прямо попадает на такую, в которой даже не удостопвают спором старинные воззрения, а прямо говорят: ничего нет, évolution подбор, борьба за существование — и все. Я в своей статье... — Знаете что,— сказала Анна, уже давно осторожно переглядывавшаяся с Вронским и знавшая, что Вронского 1 сразу (Франц.). ^ эволюция (Франц.), 39

сотой и средневековостью, и Анна не смела себе признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее и ее маленького сына.

Вронский взглянул тоже в окно и в глаза Анны и, тотчас же оборотившись к Голенищеву, сказал:

— А ты знаешь этого Михайлова?

— Я его встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые d'emblée [1] воспитаны в понятиях неверия, отрицания и материализма. Прежде, бывало,— говорил Голенищев, не замечая или не желая заметить, что и Анне и Вронскому хотелось говорить, — прежде, бывало, вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства; но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слыхав даже, что были законы нравственности, религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания всего, то есть дикими. Вот он такой. Он сын, кажется, московского камер-лакея и не получил никакого образования. Когда он поступил в Академию и сделал себе репутацию, он, как человек неглупый, захотел образоваться. И обратился к тому, что ему казалось источником образования,— к журналам. И понимаете, в старину человек, хотевший образоваться, положим француз, стал бы изучать всех классиков: и богословов, и трагиков, и историков, и философов, и, понимаете, весь труд умственный, который бы предстоял ему. Но у нас теперь он прямо попал на отрицательную литературу, усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной, и готов. И мало того: лет двадцать тому назад он нашел бы в этой литературе признаки борьбы с авторитетами, с вековыми воззрениями, он бы из этой борьбы понял, что было что-то другое; но теперь он прямо попадает на такую, в которой даже не удостоивают спором старинные воззрения, а прямо говорят: ничего нет, évolution [2], подбор, борьба за существование — и все. Я в своей статье...

— Знаете что,— сказала Анна, уже давно осторожно переглядывавшаяся с Вронским и знавшая, что Вронского

не интересовало образование этого художника, а занимала только мысль помочь ему и заказать ему портрет.— Знаете что? — решительно перебила она разговорившегося Голенищева. — Поедемте к нему! Голенищев опомнился и охотно согласился. Но так как художник жил в дальнем квартале, то решили взять коляску. Через час Анна рядом с Голенищевым и с Вронским на переднем месте коляски подъехали к новому некрасивому дому в дальнем квартале. Узнав от вышедшей к ним л^ны дворника, что Михайлов пускает в свою студию, по что он теперь у себя на квартире в двух шагах, опи послали ее к нему с своими карточками, прося позволения видеть его картины. Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Голенищева. Утро он работал в студии над большою картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшею денег. — Двадцать раз тебе говорил, не входи в объяснения. Ты и так дура, а начнешь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура, — сказал он ей после долгого спора. — Так ты не запускай, я не виновата. Если б у меня были деньги... — Оставь меня в покое, ради бога! — вскрикнул со слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собою дверь. «Бестолковая!» — сказал он себе, сел за стол и, раскрыв папку, тотчас с особенным жаром принялся за начатый рисунок. Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо, и в особенности, когда он ссорился с женой. «Ах! провалиться бы куда-нибудь!» — думал он, продолжая работать. Он делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прелще; но он был недоволен им. «Нет, тот был лучше... Где он?» Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он 40

не интересовало образование этого художника, а занимала только мысль помочь ему и заказать ему портрет.— Знаете что? — решительно перебила она разговорившегося Голенищева.— Поедемте к нему!

Голенищев опомнился и охотно согласился. Но так как художник жил в дальнем квартале, то решили взять коляску.

Через час Анна рядом с Голенищевым и с Вронским на переднем месте коляски подъехали к новому некрасивому дому в дальнем квартале. Узнав от вышедшей к ним жены дворника, что Михайлов пускает в свою студию, но что он теперь у себя на квартире в двух шагах, они послали ее к нему с своими карточками, прося позволения видеть его картины.

X

Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Голенищева. Утро он работал в студии над большою картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшею денег.

— Двадцать раз тебе говорил, не входи в объяснения. Ты и так дура, а начнешь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура,— сказал он ей после долгого спора.

— Так ты не запускай, я не виновата. Если б у меня были деньги...

— Оставь меня в покое, ради бога! — вскрикнул со слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собою дверь. «Бестолковая!» — сказал он себе, сел за стол и, раскрыв папку, тотчас с особенным жаром принялся за начатый рисунок.

Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо, и в особенности, когда он ссорился с женой. «Ах! провалиться бы куда-нибудь!» — думал он, продолжая работать. Он делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде; но он был недоволен им. «Нет, тот был лучше... Где он?» Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком

все-таки взял рисунок, положил к себе иа стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть па него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками. — Так, так! — проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу. Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых опа не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такою, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна. Он осторожно доканчивал фигуру, когда ему принесли карточки. — Сейчас, сейчас! Он прошел к жене. — Ну полно, Саша, не сердись! — сказал он ей, робко и нежно улыбаясь. — Ты была виновата. Я был виноват. Я все устрою.— И, помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротничком пальто и шляпу и пошел в студию. Удавшаяся фигура уже была забыта им. Теперь его радовало и волновало посещение его студии этими важными русскими, приехавшими в коляске. О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него в глубине души было одно суждение — то, что подобной картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаелевых, но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твердо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее; но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него все-таки огромную вал^ность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтолшое, показывающее, что судьи видят хоть маленькую часть того, что 41

все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.

— Так, так! — проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу.

Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такою, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна. Он осторожно доканчивал фигуру, когда ему принесли карточки.

— Сейчас, сейчас!

Он прошел к жене.

— Ну полно, Саша, не сердись! — сказал он ей, робко и нежно улыбаясь.— Ты была виновата. Я был виноват. Я все устрою.— И, помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротничком пальто и шляпу и пошел в студию. Удавшаяся фигура уже была забыта им. Теперь его радовало и волновало посещение его студии этими важными русскими, приехавшими в коляске.

О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него в глубине души было одно суждение — то, что подобной картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаелевых, но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твердо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее; но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него все-таки огромную важность и до глубины души волнова[illegible]

он видел в этой картине, до глубины души волновало его* Судьям своим он приписывал всегда глубину понимания больше той, какую он сам имел, и всегда ждал от них чего-нибудь такого, чего он сам не видал в своей картине. II часто в сунчдениях зрителей, ему казалось, он находил это. Он подходил быстрым шагом к двери своей студии, и, несмотря на свое волнение, мягкое освещение фигуры Анны, стоявшей в тени подъезда и слушавшей горячо говорившего ей что-то Голенищева и в то же время, очевидно, желавшей оглядеть подходящего художника, поразило его. Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление, так Яіе как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его кудато, откуда он вынет его, когда понадобится. Посетители, разочарованные уже вперед рассказом Голенищева о художнике, еще более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотный, с вертлявою походкой, Михайлов, в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и узких панталонах, тогда как уже давно носили широкие, в особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания соблюсти свое достоинство, произвел неприятное впечатление. — Прошу покорно, — сказал он, стараясь иметь равнодушный вид, и, войдя в сени, достал ключ из кармана и отпер дверь. XI Войдя в студию, художник Михайлов еще раз оглянул гостей и отметил в своем воображении еще выраячениө лица Вронского, в особенности его скул. Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал, несмотря на то, что он чувствовал все большее и большее волнение оттого, что приближалась минута суя^дений о его работе, он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах. Тот (Голенищев) был здешний русский. Михайлов не помнил пи его фамилии, ни того, где встретил его и что с ним говорил. Он помнил только его лицо, как помнил все лица, которые он когда-либо видел, но он помнил тоже, что это было одно из лиц, отлон^енных в его воображении в огромный отдел фальшиво-значительных II бедных по выражению. Большие волосы и очень откры42

он видел в этой картине, до глубины души волновало его. Судьям своим он приписывал всегда глубину понимания больше той, какую он сам имел, и всегда ждал от них чего-нибудь такого, чего он сам не видал в своей картине. И часто в суждениях зрителей, ему казалось, он находил это.

Он подходил быстрым шагом к двери своей студии, и, несмотря на свое волнение, мягкое освещение фигуры Анны, стоявшей в тени подъезда и слушавшей горячо говорившего ей что-то Голенищева и в то же время, очевидно, желавшей оглядеть подходящего художника, поразило его. Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление, так же как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится. Посетители, разочарованные уже вперед рассказом Голенищева о художнике, еще более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотный, с вертлявою походкой, Михайлов, в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и узких панталонах, тогда как уже давно носили широкие, в особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания соблюсти свое достоинство, произвел неприятное впечатление.

— Прошу покорно,— сказал он, стараясь иметь равнодушный вид, и, войдя в сени, достал ключ из кармана и отпер дверь.

XI

Войдя в студию, художник Михайлов еще раз оглянул гостей и отметил в своем воображении еще выражение лица Вронского, в особенности его скул. Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал, несмотря на то, что он чувствовал все большее и большее волнение оттого, что приближалась минута суждений о его работе, он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах. Тот (Голенищев) был здешний русский. Михайлов не помнил ни его фамилии, ни того, где встретил его и что с ним говорил. Он помнил только его лицо, как помнил все лица, которые он когда-либо видел, но он помнил тоже, что это было одно из лиц, отложенных в его воображении в огромный отдел фальшиво-значительных

тый лоб давали внешнюю значительность лицу, в котором было одно маленькое детское беспокойное выражение, сосредоточившееся над узкою переносицей. Вронский и Каренина, по сообра{ениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые русские, ничего не понимающие в искусстве, как и все эти богатые русские, но прикидывавшиеся любителями и ценителями. «Верно, уже осмотрели всю старину и теперь объезжают студии новых, шарлатана немца и дурака прерафаелита англичанина, и ко мне приехали только для полноты обозрения», — думал он. Он знал очень хорошо манеру дилетантов (чем умнее они были, тем хуже) осматривать студии современных художников только с той целью, чтоб иметь право сказать, что искусство пало и что чем больше смотришь на новых, тем более видишь, как неподражаемы остались великие древние мастера. Он всего этого ждал, все это видел в их лицах, видел в той равнодушной небрежности, с которою они говорили менаду собой, смотрели на манекены и бюсты и свободно прохаживались, ожидая того, чтоб он открыл картину. Но, несмотря на это, в то время как он перевертывал свои этюды, поднимал сторы и снимал простыню, он чувствовал сильное волнение, и тем больше, что, несмотря на то, что все знатные и богатые русские должны были быть скоты и дураки в его понятии, и Вронский и в особенности Анна нравились ему. — Вот, не угодно ли? — сказал он, вертлявою походкой отходя к стороне и указывая на картину. — Это увегдание Пилатом. Матфея глава XXVII, — сказал он, чувствуя, что губы его начинают трястись от волнения. Он отошел и стал позади их. В те несколько секунд, во время которых посетители молча смотрели на картину, Михайлов тоже смотрел на нее, и смотрел равнодушным, посторонним глазом. В эти несколько секунд он вперед верил тому, что высший, справедливейший суд будет произнесен ими, именно этими посетителями, которых он так презирал минуту тому назад. Он забыл все то, что он думал о своей картине прежде, в те три года, когда он писал ее; он забыл все те ее достоинства, которые были для него несомненны, — он видел картину их равнодушным, посторонним, новым взглядом и не видел в ней ничего хорошего. Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа и на втором плане фигуры

прислужников Пилата и вглядывавшееся в то, что происходило, лицо
43

тый лоб давали внешнюю значительность лицу, в котором было одно маленькое детское беспокойное выражение, сосредоточившееся над узкою переносицей. Вронский и Каренина, по соображениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые русские, ничего не понимающие в искусстве, как и все эти богатые русские, но прикидывавшиеся любителями и ценителями. «Верно, уже осмотрели всю старину и теперь объезжают студии новых, шарлатана немца и дурака прерафаелита англичанина, и ко мне приехали только для полноты обозрения»,— думал он. Он знал очень хорошо манеру дилетантов (чем умнее они были, тем хуже) осматривать студии современных художников только с той целью, чтоб иметь право сказать, что искусство пало и что чем больше смотришь на новых, тем более видишь, как неподражаемы остались великие древние мастера. Он всего этого ждал, все это видел в их лицах, видел в той равнодушной небрежности, с которою они говорили между собой, смотрели на манекены и бюсты и свободно прохаживались, ожидая того, чтоб он открыл картину. Но, несмотря на это, в то время как он перевертывал свои этюды, поднимал сторы и снимал простыню, он чувствовал сильное волнение, и тем больше, что, несмотря на то, что все знатные и богатые русские должны были быть скоты и дураки в его понятии, и Вронский и в особенности Анна нравились ему.

— Вот, не угодно ли? — сказал он, вертлявою походкой отходя к стороне и указывая на картину.— Это увещание Пилатом. Матфея глава XXVII,— сказал он, чувствуя, что губы его начинают трястись от волнения. Он отошел и стал позади их.

В те несколько секунд, во время которых посетители молча смотрели на картину, Михайлов тоже смотрел на нее, и смотрел равнодушным, посторонним глазом. В эти несколько секунд он вперед верил тому, что высший, справедливейший суд будет произнесен ими, именно этими посетителями, которых он так презирал минуту тому назад. Он забыл все то, что он думал о своей картине прежде, в те три года, когда он писал ее; он забыл все те ее достоинства, которые были для него несомненны,— он видел картину их равнодушным, посторонним, новым взглядом и не видел в ней ничего хорошего. Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное ли-

Иоанна. Всякое лицо, с таким исканием, с такими ошибками, поправками выросшее в нем с своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им, — все это вместе теперь, глядя их глазами, казалось ему пошлостью, тысячу раз повторенною. Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное (и то даже не хорошо, — он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех бесконечных Христов Тициана, Рафаеля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было пошло, бедно и старо и даже дурно написано — пестро и слабо. Они будут правы, говоря притворно-учтивые фразы в присутствии художника и жалея его и смеясь над ним, когда останутся одни. Ему стало слишком тяжело это молчание (хотя оно продолжалось не более минуты). Чтобы прервать его и показать, что он не взволнован, он, сделав усилие над собой, обратился к Голенищеву. — Я, кажется, имел удовольствие встречаться, — сказал он ему, беспокойно оглядываясь то на Анну, то па Вронского, чтобы не проронить ни одной черты из выражения их лиц. — Как же! мы виделись у Росси, помните, на этом вечере, где декламировала эта итальянская барышня — новая Рашель, — свободно заговорил Голенищев, без малейшего сожаления отводя взгляд от картины и обращаясь к художнику. Заметив, однако, что Михайлов ждет суждения о картине, он сказал: — Картина ваша очень подвинулась с тех пор, как я последний раз видел ее. И как тогда, так и теперь меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Но мне кажется... Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания искусства Голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое заме44

Иоанна. Всякое лицо, с таким исканием, с такими ошибками, поправками выросшее в нем с своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им,— все это вместе теперь, глядя их глазами, казалось ему пошлостью, тысячу раз повторенною. Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное (и то даже не хорошо,— он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех бесконечных Христов Тициана, Рафаеля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было пошло, бедно и старо и даже дурно написано — пестро и слабо. Они будут правы, говоря притворно-учтивые фразы в присутствии художника и жалея его и смеясь над ним, когда останутся одни.

Ему стало слишком тяжело это молчание (хотя оно продолжалось не более минуты). Чтобы прервать его и показать, что он не взволнован, он, сделав усилие над собой, обратился к Голенищеву.

— Я, кажется, имел удовольствие встречаться,— сказал он ему, беспокойно оглядываясь то на Анну, то на Вронского, чтобы не проронить ни одной черты из выражения их лиц.

— Как же! мы виделись у Росси, помните, на этом вечере, где декламировала эта итальянская барышня — новая Рашель,— свободно заговорил Голенищев, без малейшего сожаления отводя взгляд от картины и обращаясь к художнику.

Заметив, однако, что Михайлов ждет суждения о картине, он сказал:

— Картина ваша очень подвинулась с тех пор, как я последний раз видел ее. И как тогда, так и теперь меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Но мне кажется...

Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни дико, он понял способность понимания искусства Го-

чание о верности выраяv’ения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхиш,ении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голешщев. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, по уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Тотчас яю вся картина его оячила пред ним со всею невыразимою сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата; но губы его непокорно тряслрісь, и он не мог выговорить. Вронский и Анна тоже что-то говорил рі тем тихим голосом, которым, отчасти чтобы не оскорбить художника, отчасти чтобы іре сказать громко глупость, которую так легко сказать, говоря об искусстве, обыкновенно говорят на выставках картин. Михайлову казалось, что картина и на них произвела впечатление. Он подошел к ним. — Как удрівительно выраженріе Христа! — сказала Анна. Из всего, что она видела, это выражение ей болыпѳ всего понраврілось, рі она чувствовала, что это цеіртр картины, и потому похвала этого будет приятна художнріку.— Видно, что ему яралко Пилата. Это было опять одно из того мріллиона верных соображений, которые моярно было найтрі в его картррне и в фигуре Христа. Она сказала, что ему я^алко Пилата. В выражении Христа должно быть и выраженріе жалости, потому что в нем есть выраженріе любви, неземного спокойстврія, готовнострі к смерти и сознанрія тщеты слов. Разумеется, есть выражение чиновнріка в Пилате и жалости в Христе, так как один олицетворение плотской, другой — духовной жизни. Все это и многое другое про-< мелькнуло в мысли Михайлова. И опять лицо его просияло восторгом. — Да, и как сделана эта фигура, сколько воздуха. Обойти моярно, — сказал Голенищев, очевидно этим замечанием показывая, что он не одобряет содержанрія и мысли фиі^уры. — Да, удрівительное мастерство! — сказал Вронский.— Как эти фигуры на заднем плане выделяются! 45

чание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимою сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата; но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить. Вронский и Анна тоже что-то говорили тем тихим голосом, которым, отчасти чтобы не оскорбить художника, отчасти чтобы не сказать громко глупость, которую так легко сказать, говоря об искусстве, обыкновенно говорят на выставках картин. Михайлову казалось, что картина и на них произвела впечатление. Он подошел к ним.

— Как удивительно выражение Христа! — сказала Анна. Из всего, что она видела, это выражение ей больше всего понравилось, и она чувствовала, что это центр картины, и потому похвала этого будет приятна художнику.— Видно, что ему жалко Пилата.

Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что ему жалко Пилата. В выражении Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нем есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов. Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе, так как один олицетворение плотской, другой — духовной жизни. Все это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова. И опять лицо его просияло восторгом.

— Да, и как сделана эта фигура, сколько воздуха. Обойти можно,— сказал Голенищев, очевидно этим замечанием показывая, что он не одобряет содержания и мысли фигуры.

— Да, удивительное мастерство! — сказал Врон-

Вот техника, — сказал он, обращаясь к Голенищеву и этрім намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику. — Да, да, удивительно! — подтвердили Голенищев и Анна. Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло иа сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насупился. Он часто слышал это слово техника п решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать іі рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку пли его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде гра^ ницы содержания. Кроме того, он видел, что если уяю говорить о технике, то нельзя было его хвалить за нее. Во всем, что он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которою он снимал покровы, и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портившие картину. — Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание... — заметил Голенищев. — Ах, я очень рад и прошу вас, — сказал Михайлов, притворно улыбаясь. — Это то, что Он у вас человекобог, а не богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели. — Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, — сказал Михайлов мрачно. — Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль... Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, п потом это мое личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос

Вот техника, — сказал он, обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику.

— Да, да, удивительно! — подтвердили Голенищев и Анна. Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насупился. Он часто слышал это слово *техника* и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания. Кроме того, он видел, что если уже говорить о технике, то нельзя было его хвалить за нее. Во всем, что он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которою он снимал покровы, и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портившие картину.

— Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание...—заметил Голенищев.

— Ах, я очень рад и прошу вас,— сказал Михайлов, притворно улыбаясь.

— Это то, что Он у вас человекобог, а не богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели.

— Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе,— сказал Михайлов мрачно.

— Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль... Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмем

степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую. — Но если это величайшая тема, которая представляется искусству? — Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующ,его и для неверующего является вопрос: бог это или не бог? и разрушает единство впечатления. — Почему же? Мне кажется, что для образованных людей,— сказал Михайлов,— спора уже не может существовать. Голенищев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли. XII Анна с Вронским уже давно переглядывались, со^калея об умной говорливости своего приятеля, и наконец Вронский перешел, не дожидаясь хозяина, к другой, небольшой картине. — Ах, какая прелесть, что за прелесть! Чудо! Какая прелесть! — заговорили они в один голос. «Что им так понравилось?» — подумал Михайлов. Оя и забыл про эту, три года назад писанную, картину. Забыл все страдания и восторги, которые он пережил с этою картиной, когда она несколько месяцев одна неотступно день и ночь занимала его, забыл, как он всегда забывал про оконченные картины. Он не любил даллЮ смотреть на нее и выставил только потому, что лщал англичанина, желавшего купить ее. — Это так, этюд давнишний,— сказал он. — Как хорошо! — сказал Голенищев, тол^е, очевидно, искренно подпавший под прелесть картины. Два мальчика в тени ракиты ловили удочками рыбу. Один, старший, только что закинул удочку и старательно выводил поплавок из-за куста, весь поглощенный этим делом; другой, помоложе, лежал в траве, облокотив спутанную белокурую голову на руки, и смотрел задумчивыми голубыми глазами на воду. О чем он думал? 47

степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую.

— Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?

— Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: бог это или не бог? и разрушает единство впечатления.

— Почему же? Мне кажется, что для образованных людей,— сказал Михайлов,— спора уже не может существовать.

Голенищев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова.

Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли.

XII

Анна с Вронским уже давно переглядывались, сожалея об умной говорливости своего приятеля, и наконец Вронский перешел, не дожидаясь хозяина, к другой, небольшой картине.

— Ах, какая прелесть, что за прелесть! Чудо! Какая прелесть! — заговорили они в один голос.

«Что им так понравилось?» — подумал Михайлов. Он и забыл про эту, три года назад писанную, картину. Забыл все страдания и восторги, которые он пережил с этою картиной, когда она несколько месяцев одна неотступно день и ночь занимала его, забыл, как он всегда забывал про оконченные картины. Он не любил даже смотреть на нее и выставил только потому, что ждал англичанина, желавшего купить ее.

— Это так, этюд давнишний,— сказал он.

— Как хорошо! — сказал Голенищев, тоже, очевидно, искренно подпавший под прелесть картины.

Два мальчика в тени ракиты ловили удочками рыбу. Один, старший, только что закинул удочку и старательно выводил поплавок из-за куста, весь поглощенный этим делом; другой, помоложе, лежал в траве, облокотив спу-

Восхищение пред этою его картиной шевельнуло в Михайлове прежнее волнение, но он боялся и не любил этого праздного чувства к прошедшему, и потому, хотя ему и радостны были эти похвалы, он хотел отвлечь посетителей к третьей картине. Но Вронский спросил, не продается ли картина. Для Михайлова теперь, взволнованного посетителями, речь о денея^ном деле была весьма неприятна. — Она выставлена для продаяш,— отвечал он, мрачно насупливаясь. Когда посетители уехали, Михайлов сел против картины Пилата и Христа и в уме своем повторял то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно: то, что имело такой вес для него, когда они были тут и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нуяшо было ему для того исключающего все другие интересы напряячения, при котором одном он мог работать. Нога Христа в ракурсе все-таки была не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, которой посетители и не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, деряба рукой простыню, блаженно улыбаясь, долго смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе. Вронский, Анна и Голенищев, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Они говорили о Михайлове и его картинах. Слово талант, под которым они разумели прирожденную, почти физическую способность, независимую от ума и сердца, и которым они хотели назвать все, что переживаемо было художником, особенно

Восхищение пред этою его картиной шевельнуло в Михайлове прежнее волнение, но он боялся и не любил этого праздного чувства к прошедшему, и потому, хотя ему и радостны были эти похвалы, он хотел отвлечь посетителей к третьей картине.

Но Вронский спросил, не продается ли картина. Для Михайлова теперь, взволнованного посетителями, речь о денежном деле была весьма неприятна.

— Она выставлена для продажи,— отвечал он, мрачно насупливаясь.

Когда посетители уехали, Михайлов сел против картины Пилата и Христа и в уме своем повторял то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно: то, что имело такой вес для него, когда они были тут и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нужно было ему для того исключающего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать.

Нога Христа в ракурсе все-таки была не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, которой посетители и не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, долго смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе.

Вронский, Анна и Голенищев, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Они говорили о Михайлове и его картинах. Слово *талант,* под которым они разумели прирожденную, почти физическую способность,

часто встречалось в их разговоре, так как оно им было необходимо, для того чтобы называть то, о чем они не имели никакого понятия, но хотели говорить. Они говорили, что в таланте ему нельзя отказать, но что талант его не мог развиться от недостатка образования — общего песчастия наших русских художников. Но картина мальчиков запала в их памяти, и нет-нет они возвращались к ней. — Что за прелесть! Как это удалось ему, и как просто! Он и не понимает, как это хорошо. Да, надо не упустить и купить ее, — говорил Вронский. XIII Михайлов продал Вронскому свою картинку и согласился делать портрет Анны. В назначенный день он пришел и начал работу. Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его. — Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, — говорил он про свой портрет, — а он посмотрел и написал. Вот что значит техника. — Это придет, — утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство. Убеждение Голенищева в таланте Вронского поддерживалось еще и тем, что ему нужно было сочувствие и похвалы Вронского его статьям и мыслям, и он чувствовал, что похвалы и поддержка должны быть взаимны. В чуяюм доме и в особенности в палаццо у Вронского Михайлов был совсем другим человеком, чем у себя в студии. Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал. Он называл Вронского — ваше сиятельство и никогда, несмотря на приглашения Анны и Вронского, не оставался обедать и не приходил иначе, как для сеансов. Анна была более, 49

часто встречалось в их разговоре, так как оно им было необходимо, для того чтобы называть то, о чем они не имели никакого понятия, но хотели говорить. Они говорили, что в таланте ему нельзя отказать, но что талант его не мог развиться от недостатка образования — общего несчастия наших русских художников. Но картина мальчиков запала в их памяти, и нет-нет они возвращались к ней.

— Что за прелесть! Как это удалось ему, и как просто! Он и не понимает, как это хорошо. Да, надо не упустить и купить ее,— говорил Вронский.

XIII

Михайлов продал Вронскому свою картинку и согласился делать портрет Анны. В назначенный день он пришел и начал работу.

Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение»,— думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его.

— Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал,— говорил он про свой портрет,— а он посмотрел и написал. Вот что значит техника.

— Это придет,— утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство. Убеждение Голенищева в таланте Вронского поддерживалось еще и тем, что ему нужно было сочувствие и похвалы Вронского его статьям и мыслям, и он чувствовал, что похвалы и поддержка должны быть взаимны.

В чужом доме и в особенности в палаццо у Вронского Михайлов был совсем другим человеком, чем у себя в студии. Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал. Он называл Вронского — ваше сиятельство и никогда, несмотря на

чем к другим, ласкова к нему и благодарна за свой портрет. Вронский был с ним более чем учтив и, очевидно, интересовался суждением художника о своей картине. Голенищев не пропускал случая внушать Михайлову настоящие понятия об искусстве. Но Михайлов оставался одинаково холоден ко всем. Анна чувствовала по его взгляду, что он любил смотреть на нее; но он избегал разговоров с нею. На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал и так же упорно молчал, когда ему показали картину Вронского, и, очевидно, тяготился разговорами Голенищева и не возражал ему. Вообще Михайлов своим сдержанным и неприятным, как бы враящебным, отношением очень не понравился им, когда они узнали его ближе. И они рады были, когда сеансы кончились, в руках их остался прекрасный портрет, а он перестал ходить. Голенищев первый высказал мысль, которую все имели, — именно, что Михайлов просто завидовал Вронскому. — Положим,, не завидует, потому что у него талант; по ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф (ведь они всё это ненавидят), без особенного труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший па это всю жизнь. Главное, образование, которого у него нет. Вронский защищал Михайлова, но в глубине души он верил этому, потому что, по его понятию, человек другого, низшего мира должен был завидовать. Портрет Анны, — одно и то я^е и писанное с натуры им и Михайловым, должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым; но он не видал ее. Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне. Картину же свою из средневековой жизни он продолжал. И он са])f, и Голенищев, и в особенности Анна находили, что она была очень хороша, потому что была гораздо более похояса на знаменитые картины, чем картина Михайлова. Михайлов между тем, несмотря на то, что портрет Анны очень увлек его, был еще более рад, чем они, когда сеансы кончились и ему не надо было больше слушать толки Голенищева об искусстве и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью; он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать, что им угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку 50

чем к другим, ласкова к нему и благодарна за свой портрет. Вронский был с ним более чем учтив и, очевидно, интересовался суждением художника о своей картине. Голенищев не пропускал случая внушать Михайлову настоящие понятия об искусстве. Но Михайлов оставался одинаково холоден ко всем. Анна чувствовала по его взгляду, что он любил смотреть на нее; но он избегал разговоров с нею. На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал и так же упорно молчал, когда ему показали картину Вронского, и, очевидно, тяготился разговорами Голенищева и не возражал ему.

Вообще Михайлов своим сдержанным и неприятным, как бы враждебным, отношением очень не понравился им, когда они узнали его ближе. И они рады были, когда сеансы кончились, в руках их остался прекрасный портрет, а он перестал ходить.

Голенищев первый высказал мысль, которую все имели,— именно, что Михайлов просто завидовал Вронскому.

— Положим, не завидует, потому что у него *талант;* но ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф (ведь они всё это ненавидят), без особенного труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший на это всю жизнь. Главное, образование, которого у него нет.

Вронский защищал Михайлова, но в глубине души он верил этому, потому что, по его понятию, человек другого, низшего мира должен был завидовать.

Портрет Анны,— одно и то же и писанное с натуры им и Михайловым, должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым; но он не видал ее. Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне. Картину же свою из средневековой жизни он продолжал. И он сам, и Голенищев, и в особенности Анна находили, что она была очень хороша, потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова.

Михайлов между тем, несмотря на то, что портрет Анны очень увлек его, был еще более рад, чем они, когда сеансы кончились и ему не надо было больше слушать толки Голенищева об искусстве и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью; он знал, что он

сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и се^т пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно. Увлечение Вронского живописью и средними веками продолжалось недолго. Он имел настолько вкуса к живописи, что не мог докончить своей картины. Картина остагшвилась. Он смутно чувствовал, что недостатки ее, мало заметные при начале, будут поразительны, если он будет продолжать. С ним случилось то же, что и с Голѳніщевым, чувствующ,им, что ему нечего сказать, ii постоянно обманываюш;им себя тем, что мысль не созрела, что он вынашивает ее и готовит материалы. Но Голенигдева это озлобило и измучало, Вронский же не мог обманывать и мучать себя и в особенности озлобляться. Он со свойственною ему решительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, перестал заниматься живописью. Но без этого занятия жизнь и его и Анны, удивлявшейся его разочарованию, показалась им так скучна в итальянском городе, палаццо вдруг стал так очевидно стар и грязен, так неприятно пригляделись пятна на гардинах, трещины на полах, отбитая штукатурка на карнизах и так скучен стал все один и тот же Голенищев, итальянский профессор и немец-путешественник, что надо было переменить жизнь. Они решили ехать в Россию, в деревню. В Петербурге Вронский намеревался сделать раздел с братом, а Анна повидать сына. Лето же они намеревались прожить в большом родовом имении Вронского. XIV Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того как он бы сам 51

сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно.

Увлечение Вронского живописью и средними веками продолжалось недолго. Он имел настолько вкуса к живописи, что не мог докончить своей картины. Картина остановилась. Он смутно чувствовал, что недостатки ее, мало заметные при начале, будут поразительны, если он будет продолжать. С ним случилось то же, что и с Голенищевым, чувствующим, что ему нечего сказать, и постоянно обманывающим себя тем, что мысль не созрела, что он вынашивает ее и готовит материалы. Но Голенищева это озлобило и измучало, Вронский же не мог обманывать и мучать себя и в особенности озлобляться. Он со свойственною ему решительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, перестал заниматься живописью.

Но без этого занятия жизнь и его и Анны, удивлявшейся его разочарованию, показалась им так скучна в итальянском городе, палаццо вдруг стал так очевидно стар и грязен, так неприятно пригляделись пятна на гардинах, трещины на полах, отбитая штукатурка на карнизах и так скучен стал все один и тот же Голенищев, итальянский профессор и немец-путешественник, что надо было переменить жизнь. Они решили ехать в Россию, в деревню. В Петербурге Вронский намеревался сделать раздел с братом, а Анна повидать сына. Лето же они намеревались прожить в большом родовом имении Вронского.

XIV

Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то,

сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, — надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это хотя и очень радостно, но очень трудно. Бывало, холостым, глядя на чуя^ую супруяческую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской я^изни не только не могло быть, по его убеящекию, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не иохоя^и на жизнь других. И вдруг вместо этого ЯчЧізнь его с я^еною не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопроверяшмую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной яшзни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастии любви. Она должна была быть любима, и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т. п. Еще бывши я^енихом, он был поражен тою определенностью, с которою она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как будто она знала что-то такое, что нужно, и, кроме своей любви, могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда, и теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала по-новому свою и его комнату, как вешала гардины, как распределяла будущее помещение для

сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, — надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это хотя и очень радостно, но очень трудно.

Бывало, холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопровержимую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастии любви. Она должна была быть любима, и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т. п. Еще бывши женихом, он был поражен тою определенностью, с которою она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как будто она знала что-то такое, что нужно, и, кроме своей любви, могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда, и теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала по-новому свою и его комнату, как веша-

гостей, для Долли, как устраивала помещение своей новой девушке, как заказывала обед старику повару, как входила в препиранья с Агафьей Pvіихайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик повар улыбался, любуясь ею и слушая ее неумелые, невозможные приказания; видел, что Агафья Михаиловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой; видел, что Кити была необыкновенно мила, когда опа, смеясь и плача, приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать ее барышней и оттого ее никто не слушает. Ему эго казалось мило, по странно, и он думал, что лучше бы было без этого. Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось капусты с квасом или конфет, и ни того, ни другого нельзя было иметь, а теперь она могла заказать, что хотела, купить груды конфет, издеря^ать сколько хотела денег и заказать какое хотела пирожное. Она теперь с радостью мечтала о приезде Долли с детьми, в особенности потому, что она для детей будет заказывать любимое каждым пирожное, а Долли оценит все ее новое устройство. Она сама не знала, зачем и для чего, ІЮ домашнее хозяйство неудержимо влекло ее к себе. Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вила, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его, и учиться, как это делать. Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастия первого времени, было одно из разочарований; и эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но пе мог не любить, было одно из новых очарований. Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и яюною могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых яю дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками. Первая эта их ссора произошла оттого, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать блия^нею дорогой и заблудился. Он ехал домой, только думая о пей, о ее любви, о своем счастье, и чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем 53

гостей, для Долли, как устраивала помещение своей новой девушке, как заказывала обед старику повару, как входила в препиранья с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик повар улыбался, любуясь ею и слушая ее неумелые, невозможные приказания; видел, что Агафья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой; видел, что Кити была необыкновенно мила, когда она, смеясь и плача, приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать ее барышней и оттого ее никто не слушает. Ему это казалось мило, но странно, и он думал, что лучше бы было без этого.

Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось капусты с квасом или конфет, и ни того, ни другого нельзя было иметь, а теперь она могла заказать, что хотела, купить груды конфет, издержать сколько хотела денег и заказать какое хотела пирожное.

Она теперь с радостью мечтала о приезде Долли с детьми, в особенности потому, что она для детей будет заказывать любимое каждым пирожное, а Долли оценит все ее новое устройство. Она сама не знала, зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло ее к себе. Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вила, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его, и учиться, как это делать.

Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастия первого времени, было одно из разочарований; и эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, было одно из новых очарований.

Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками.

Первая эта их ссора произошла оттого, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать ближнею дорогой и заблудился. Он ехал

пежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его. — Что ты? — Тебе весело...— начала она, желая быть спокойноядовитою. Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности, всего, что мучало ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль. Никогда он с такою силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее; но доказать ей вину значило еще более раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиною всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину; другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться с таiшм несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек, в полусне томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место — он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать. Они помирились. Она, сознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое, 54

нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его.

— Что ты?

— Тебе весело...— начала она, желая быть спокойно-ядовитою.

Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности, всего, что мучало ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль.

Никогда он с такою силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее; но доказать ей вину значило еще более раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиною всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину; другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек, в полусне томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место — он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать.

Они помирились. Она, сознав свою вину, не не выска-

удвоенное счастье любви. Но это не пометало тому, чтобы столкновения эти не повторялись и даже особенно часто, по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и оттого, что они не знали еще, что друг для друга важно, и оттого, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался, но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из та^ ких непонятных по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоилась. Но все-таки это первое время было тяжелое для них время. Во все это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергиванье в ту и другую сторону той цепи, которою они были связаны. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою. Только на третий месяц супружества, после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала ровнее. XV Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал. Она, в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замуяюства и нынче опять надела и которое было особенно памятно и дорого ему, сидела на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина, и шила broderie anglaise К Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие. Занятия его и хозяйством и книгой, в которой долячны были быть излоЯхсны основания нового хозяйства, не были оставлены им; ^ английской гладью (франц.). 55

удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись и даже особенно часто, по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и оттого, что они не знали еще, что друг для друга важно, и оттого, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался, но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась. Но все-таки это первое время было тяжелое для них время.

Во все это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергиванье в ту и другую сторону той цепи, которою они были связаны. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою.

Только на третий месяц супружества, после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала ровнее.

XV

Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал. Она, в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела и которое было особенно памятно и дорого ему, сидела на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина, и шила broderie anglaise[1]. Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие. Занятия его и хозяйством и книгой, в которой должны были быть изложены основания нового хозяйства, не были оставлены им;

но как прежде эти занятрія и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь, так точно неважны и малы они казались теперь в сравненріи с тою облитою ярким светом счастья предстоЯЕцею жизнью. Он продолжал своpі занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое pі что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прелюде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти ему были необходрімы, чтобы жизнь не была слрішком однообразно светла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие пробелы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти все дело. Он прісал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения поземельной собственности и лояшого направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности путрі сообіцеиия, железные дорогие, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в уш;ерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника ~ биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают, только когда на земледелие полоя^ен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере в определенные условия; что богатство страны должно расти равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелия; что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономическою, но политическою необходимостью, были преждевременны и, вместо содействия земледелию, которого ояшдали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его, и что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие одного органа

в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообще56

но как прежде эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь, так точно неважны и малы они казались теперь в сравнении с тою облитою ярким светом счастья предстоящею жизнью. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое и что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прежде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти ему были необходимы, чтобы жизнь не была слишком однообразно светла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие пробелы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти все дело. Он писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения поземельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника — биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают, только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере в определенные условия; что богатство страны должно расти равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелия; что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономическою, но политическою необходимостью, были преждевременны и, вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его, и что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие одного органа в животном помешало бы его общему развитию, так для

1ИЯ, усиление фабричной деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у настолько сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия. Между тем как он писал свое, она думала о том, как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует,— думала она. — Боя^ мой! как он мил и глуп. Он ревнует меня! Если б он знал, что они все для меня как Петр-повар, — думала она, глядя с странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею. — Хоть и жалко отрывать его от занятий (но он успеет!), надо посмотреть его лицо; почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтоб он оборотился... Хочу, ну!» — II она шире открыла глаза, я^елая этим усилить действие взгляда. — Да, они отвлекают к себе все соки и дают ложный блеск, — пробормотал он, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся. — Что? — спросил он, улыбаясь и вставая. «Оглянулся», — подумала она. — Ничего, я хотела, чтобы ты оглянулся, — сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ли ему или нет то, что она оторвала его. — Ну, ведь как хорошо нам вдвоем! Мне то есть, — сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья. — Мне так хорошо! Никуда не поеду, особенно в Москву. — А о чем ты думала? — Я? Я думала... Нет, нет, иди пиши, не развлекайся, — сказала она, морщ,а губы,— и мне надо теперь вырезать вот эти дырочки, видишь? Она взяла ножницы и стала прорезывать. — Нет, скажи же, что? — сказал он, подсаживаясь к пей и следя за кругообразным движением маленьких ножниц. — Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке. — За что именно мне такое счастье? Ненатурально. Слишком хорошо, — сказал он, целуя ее руку. — Мне, напротив, чем лучше, тем натуральнее. — А у тебя косичка, — сказал он, осторожно поворачивая ее голову. — Косичка. Видишь, вот тут. Нет, нет, мы делом занимаемся. 57

ния, усиление фабричной деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия.

Между тем как он писал свое, она думала о том, как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует,— думала она.— Боже мой! как он мил и глуп. Он ревнует меня! Если б он знал, что они все для меня как Петр-повар,— думала она, глядя с странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею.— Хоть и жалко отрывать его от занятий (но он успеет!), надо посмотреть его лицо; почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтоб он оборотился... Хочу, ну!» — И она шире открыла глаза, желая этим усилить действие взгляда.

— Да, они отвлекают к себе все соки и дают ложный блеск,— пробормотал он, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся.

— Что? — спросил он, улыбаясь и вставая.

«Оглянулся»,— подумала она.

— Ничего, я хотела, чтобы ты оглянулся,— сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ли ему или нет то, что она оторвала его.

— Ну, ведь как хорошо нам вдвоем! Мне то есть, — сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья.

— Мне так хорошо! Никуда не поеду, особенно в Москву.

— А о чем ты думала?

— Я? Я думала... Нет, нет, иди пиши, не развлекайся,— сказала она, морща губы,— и мне надо теперь вырезать вот эти дырочки, видишь?

Она взяла ножницы и стала прорезывать.

— Нет, скажи же, что? — сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц.

— Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке.

— За что именно мне такое счастье? Ненатурально. Слишком хорошо, — сказал он, целуя ее руку.

— Мне, напротив, чем лучше, тем натуральнее.

— А у тебя косичка,— сказал он, осторожно поворачивая ее голову. Косинка. Видишь, вот тут. Нет, нет

Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан. А из города приехали? — спросил Левин у Кузьмы. - — Только что приехали, разбираются. — Приходи же скорее, — сказала она ему, уходя из кабинета, — а то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть. Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, Бсе с нею же появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли; чувство, подобное раскаянию, мучало его. Что-то стыдное, изнеяюнгіое, капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. «Жить так не хорошо,— думал он. — Вот скоро три месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обьшные свои занятия — и те я почти оставил. По хозяйству — и то я почти не хожу и не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящая. А вот три месяца скоро, и я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою муя\скую независимость. А то этак мояиіо самому привыкнуть и ее приучить... Разумеется, она не виновата», — говорил он себе. Но трудно человеку недовольному не упрекать когонибудь другого, и того самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то что она сама виновата (виноватою она ни в. чем не могла быть), но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное («этот дурак Чарский: она, я знаю, хотела, но не умела остановить его»). «Да, кроме интереса к дому (это было у нее), кроме своего туалета и кроме broderie anglaise, у нее нет серьезных интересов. Ни интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена». Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который дол53

Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан.

— А из города приехали? — спросил Левин у Кузьмы.

— Только что приехали, разбираются.

— Приходи же скорее, — сказала она ему, уходя из кабинета, — а то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть.

Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, все с нею же появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли; чувство, подобное раскаянию, мучало его. Что-то стыдное, изнеженное, капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. «Жить так не хорошо,— думал он.— Вот скоро три месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обычные свои занятия — и те я почти оставил. По хозяйству — и то я почти не хожу и не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящая. А вот три месяца скоро, и я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою мужскую независимость. А то этак можно самому привыкнуть и ее приучить... Разумеется, она не виновата», — говорил он себе.

Но трудно человеку недовольному не упрекать когонибудь другого, и того самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то что она сама виновата (виноватою она ни в чем не могла быть), но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное («этот дурак Чарский: она, я знаю, хотела, но не умела остановить его»). «Да, кроме интереса к дому (это было у нее), кроме своего туалета и кроме broderie anglaise, у нее нет серьезных интересов. Ни интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена». Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что

жен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время л^ной мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьем знала это и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастия любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо. XVI Когда Левин вошел наверх, яюна его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитою ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которою они были в постоянной и частой переписке. — Вишь, посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть,— сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити. В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новою хозяйкой, отнявшею у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить, — Вот я и прочла твое письмо, — сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо. — Это от той женщины, кажется, твоего брата... — сказала она. — Я не прочла. А это от моих и от Долли. Представь! Долли возила к Сарматским на детский бал Гришу и Таню; Таня была маркизой. Но Левин не слушал ее; он, покраснев, взял письмо от Марьи Николаевны, бывшей любовницы брата Нріколая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марьи Николаевны. В первом письме Марья Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины, и с трогательною наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, а что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадет без нее по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитриевича, опять сошлась с ним в Москве и с ним поехала в губернский город, где он получил место па службе. Но что там он поссорился с начальником и поехал назад в Москву, но дорогой так заболел, что едва ли 59

жен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьем знала это и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастия любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо.

XVI

Когда Левин вошел наверх, жена его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитою ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которою они были в постоянной и частой переписке.

— Вишь, посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть,— сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити.

В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новою хозяйкой, отнявшею у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить.

— Вот я и прочла твое письмо, — сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо.— Это от той женщины, кажется, твоего брата...— сказала она.— Я не прочла. А это от моих и от Долли. Представь! Долли возила к Сарматским на детский бал Гришу и Таню; Таня была маркизой.

Но Левин не слушал ее; он, покраснев, взял письмо от Марьи Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марьи Николаевны. В первом письме Марья Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины, и с трогательною наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, а что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадет без нее по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитриевича, опять сошлась с ним в Москве и с ним поехала в губернский город, где он получил место на

встанет, — писала она. «Всё о вас поминали, да и денег больше нет». — Прочти, о тебе Долли пишет, — начала было Кити, улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа. — Что ты? Что такое? — Она мне пишет, что Николай, брат, при смерти. Я поеду. Лицо Кити вдруг переменилось. Мысли о Тане маркизой, о Долли, все это исчезло. — Когда л{е ты поедешь? — сказала она. — Завтра. — И я с тобой, можно? — сказала она. — Кити! Ну, что это? — с упреком сказал он. — Как что? — оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. — Отчего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать. Я... — Я еду потому, что мой брат умирает, — сказал Левин. — Для чего ты... — Для чего? Для того же, для чего и ты. «И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной», — подумал Левин. И эта отговорка в деле таком валшом рассердила его. — Это невозмолшо, — сказал он строго. Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала. — А я тебе говорю, что, если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду, — торопливо и гневно заговорила она. — Почему невозмолшо? Почему ты говоришь, что невозможно? — Потому, что ехать бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь, — говорил Левин, стараясь быть хладнокровным. — Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я... — Ну, уже по одному тому, что там эта женш,ина, с которою ты не мол^ешь сблилсаться. — Я ничего не знаю и знать не хочу, кто там и что. Я знаю, что брат моего мужа умирает и мул^ едет к нему, и я еду с мужем, чтобы... СО

встанет,— писала она. «Всё о вас поминали, да и денег больше нет».

— Прочти, о тебе Долли пишет,— начала было Кити, улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа.

— Что ты? Что такое?

— Она мне пишет, что Николай, брат, при смерти. Я поеду.

Лицо Кити вдруг переменилось. Мысли о Тане маркизой, о Долли, все это исчезло.

— Когда же ты поедешь? — сказала она.

— Завтра.

— И я с тобой, можно? — сказала она.

— Кити! Ну, что это? — с упреком сказал он.

— Как что? — оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. — Отчего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать. Я...

— Я еду потому, что мой брат умирает, — сказал Левин.— Для чего ты...

— Для чего? Для того же, для чего и ты.

«И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной», — подумал Левин. И эта отговорка в деле таком важном рассердила его.

— Это невозможно,— сказал он строго.

Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала.

— А я тебе говорю, что, если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду,— торопливо и гневно заговорила она.— Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?

— Потому, что ехать бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь,— говорил Левин, стараясь быть хладнокровным.

— Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я...

— Ну, уже по одному тому, что там эта женщина, с которою ты не можешь сближаться.

— Я ничего не знаю и знать не хочу, кто там и что. Я знаю, что брат моего мужа умирает и муж едет к нему,

— Кити! Не рассердись. Но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелания остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву. — Вот, ты всегда приписываешь мне дурные, подлые мысли, — заговорила она со слезами оскорбления и гнева. — Я ничего, ни слабости, ничего... Я чувствую, что мой долг быть с мужем, когда он в горе, но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать... — Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то! — вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать своей досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя. — Так зачем ты женился? Был бы свободен. Зачем, если ты раскаиваешься? — заговорила она, вскочила и побежала в гостиную. Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез. Он начал говорить, желая найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляюш,уюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку, — она все молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити!» — вдруг она опомнилась, ноплакала и примирилась. Было решено ехать завтра вместе. Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать, только чтобы быть полезною, согласился, что присутствие Марьи Николаевны при брате не представляет ничего неприличного; но в глубине души он ехал недовольный ею и собой. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно (и как странно ему было думать, что он, так недавно еще не смевший верить тому счастью, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным оттого, что она слишком любит его!), и недоволен собой за то, что не выдеря^ал характера. Еще более он был во глубине души не согласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях. V ж одно, что его я^ена, его Кити, будет в одной комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвращения и уячаса. 61

— Кити! Не рассердись. Но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелания остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву.

— Вот, ты *всегда* приписываешь мне дурные, подлые мысли, — заговорила она со слезами оскорбления и гнева. — Я ничего, ни слабости, ничего... Я чувствую, что мой долг быть с мужем, когда он в горе, но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать...

— Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то! — вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать своей досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя.

— Так зачем ты женился? Был бы свободен. Зачем, если ты раскаиваешься? — заговорила она, вскочила и побежала в гостиную.

Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез.

Он начал говорить, желая найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку, — она все молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити!» — вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась.

Было решено ехать завтра вместе. Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать, только чтобы быть полезною, согласился, что присутствие Марьи Николаевны при брате не представляет ничего неприличного; но в глубине души он ехал недовольный ею и собой. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно (и как странно ему было думать, что он, так недавно еще не смевший верить тому счастью, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным оттого, что она слишком любит его!), и недоволен собой за то, что не выдержал характера. Еще более он был во глубине души не согласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях. Уж одно, что его жена, его Кити, будет в одной комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвра-

XVII Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования, и делаются этою самою претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние; и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изобра^ жать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, ы общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе і:акая-то новая современно железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы — произвели на Левиных после их молодой жизни самое тяжелое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их. Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цепу им угодно нумер, ни одного хорошего нумера не было: один хороший нумер был занят ревизором железной дороги, другой — адвокатом из Москвы, третий княгинею Астафьевой из деревни. Оставался один грязный нумер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им нумер. — Иди, иди! — сказала опа, робким, виноватым взглядом глядя на него. Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какою он видел ее в Москве: то же шерстяное платье и голые руки и шея и то же добродушно-тупое, несколько пополневшее, рябое лицо. — Ну, что? Гіак он? что? 62

XVII

Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования, и делаются этою самою претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние; и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая современно железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы — произвели на Левиных после их молодой жизни самое тяжелое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их.

Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно нумер, ни одного хорошего нумера не было: один хороший нумер был занят ревизором железной дороги, другой — адвокатом из Москвы, третий — княгинею Астафьевой из деревни. Оставался один грязный нумер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что́ с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им нумер.

— Иди, иди! — сказала она, робким, виноватым взглядом глядя на него.

Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какою он видел ее в Москве: то же шерстяное платье и голые руки и шея и то же добродушно-тупое, несколько пополневшее, рябое лицо.

Очень плохо. Ке встают. Они все ждали вас. Они... Бы... с супругой. Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему. — Я уйду, я на кухню пойду, — выговорила она.— Они рады будут. Они слышали, и их знают и помнят за границей. Левин понял, что она разумела его жену, и не знал, что ответить. — Пойдемте, пойдемте! — сказал он. Но только что он двинулся, дверь его нумера отвори-^ лась, и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение; но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез и, ухватив обеими руками копцы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать. Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину; но это продолжалось только одно мгновение. — Ну что же? Что же он? — обратилась она к мужу и потом к ней. — Да нельзя же в коридоре разговаривать! — сказал Левин, с досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору. — Ну, так войдите, — сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне; но, заметив испуганное лицо мужа,— или идите, идите и пришлите за мной, — сказала она и вернулась в нумер. Левин пошел к брату. Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманыванья, которое, он слыхал, так часто бывает у чахоточных и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, большую слабость, большую худобу, но все-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертию, которое он испытал тогда, но только в большей степени. И он готовился на это; но нашел совсем другое. В маленьком грязном нумере, заплеванном по раскрашенным панно стен, за тонкою перегородкой которого

— Очень плохо. Не встают. Они все ждали вас. Они... Вы... с супругой.

Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему.

— Я уйду, я на кухню пойду,— выговорила она.— Они рады будут. Они слышали, и их знают и помнят за границей.

Левин понял, что она разумела его жену, и не знал, что ответить.

— Пойдемте, пойдемте! — сказал он.

Но только что он двинулся, дверь его нумера отворилась, и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение; но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать.

Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину; но это продолжалось только одно мгновение.

— Ну что же? Что же он? — обратилась она к мужу и потом к ней.

— Да нельзя же в коридоре разговаривать! — сказал Левин, с досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору.

— Ну, так войдите,— сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне; но, заметив испуганное лицо мужа,— или идите, идите и пришлите за мной, — сказала она и вернулась в нумер. Левин пошел к брату.

Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманыванья, которое, он слыхал, так часто бывает у чахоточных и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, бóльшую слабость, бóльшую худобу, но все-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертию, которое он испытал тогда, но только в большей степени. И он готовился на это; но нашел совсем другое.

слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком па подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб. «Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай», — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье. Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось. — Ты не ожидал меня найти таким, — с трудом выговорил оп. — Да... нет, — говорил Левин, путаясь в словах. — Как же ты не дал знать прежде, то есть во время еще моей свадьбы? Я наводил справки везде. Надо было говорить, чтобы не молчать, а он не знал, что говорить, тем более что брат ничего не отвечал, а только смотрел не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каячщого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал чтото говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он все еще надеялся. Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет приведет жену.

слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб.

«Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай»,— подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат.

Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье.

Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось.

— Ты не ожидал меня найти таким,— с трудом выговорил он.

— Да... нет,— говорил Левин, путаясь в словах.— Как же ты не дал знать прежде, то есть во время еще моей свадьбы? Я наводил справки везде.

Надо было говорить, чтобы не молчать, а он не знал, что говорить, тем более что брат ничего не отвечал, а только смотрел не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он все еще надеялся.

Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства

— Ну, хорошо, а я велю подчистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша! убери здесь, — с трудом сказал больной.— Да как уберешь, сама уйди,— прибавил он, вопросительно глядя на брата. Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену, но теперь, дав себѳ отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтоб она не ходила к больному. «За что ей мучаться, как я?» — подумал он. — Ну, что? как? — с испуганным лицом спросила Кити. — Ах, это ужасно, ужасно! Зачем ты приехала? — сказал Левин. Кпти помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа; потом подошла и обеими руками взялась за его локоть. — Костя! сведи меня к нему, нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, сведи меня, пожалуйста, и уйди, — заговорила она. — Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь! — умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого. Левин должен был согласиться, и, оправившись и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату. Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мулса и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтоб ему по нунцію было поворачивать головы, тотчас те взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той, только жепш,инам свойственною, не оскорбляющею и сочувствующею тихою оживленностью начала говорить с ним. — Мы встречались, но не были знакомы, в Содене,— сказала она. — Вы не думали, что я буду ваша сестра. — Вы бы не узнали меня? — сказал он с просиявшею при ее входе улыбкой. — Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать! Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился. 3 л, Н. Толстой, т. 9 65

— Ну, хорошо, а я велю подчистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша! убери здесь,— с трудом сказал больной.— Да как уберешь, сама уйди,— прибавил он, вопросительно глядя на брата.

Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену, но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтоб она не ходила к больному. «За что ей мучаться, как я?» — подумал он.

— Ну, что? как? — с испуганным лицом спросила Кити.

— Ах, это ужасно, ужасно! Зачем ты приехала? — сказал Левин.

Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа; потом подошла и обеими руками взялась за его локоть.

— Костя! сведи меня к нему, нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, сведи меня, пожалуйста, и уйди,— заговорила она.— Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь! — умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого.

Левин должен был согласиться, и, оправившись и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату.

Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтоб ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той, только женщинам свойственною, не оскорбляющею и сочувствующею тихою оживленностью начала говорить с ним.

— Мы встречались, но не были знакомы, в Содене,— сказала она.— Вы не думали, что я буду ваша сестра.

— Вы бы не узнали меня? — сказал он с просиявшею при ее входе улыбкой.

— Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что да-

Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое укоризненное выражение зависти умирающего к живому. — Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо, — сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату.— Надо будет спросить у хозяина другую комнату, — сказала она мужу, — и потом чтобы нам ближе быть. XVIII Левин не мог спокойно смотреть на брата, не мог быть сам естествен и спокоен в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок и мучительное положение и стоны и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там, под одеялом, это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострецы, спина и нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления я^изнii, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможною, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним. Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса II гадливости, которое она произвела в ее мул^е, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что опа должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание. 66

Но оживление больного продолжалось недолго.

Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое укоризненное выражение зависти умирающего к живому.

— Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо, — сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату.— Надо будет спросить у хозяина другую комнату,— сказала она мужу,— и потом чтобы нам ближе быть.

XVIII

Левин не мог спокойно смотреть на брата, не мог быть сам естествен и спокоен в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок и мучительное положение и стоны и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там, под одеялом, это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострецы, спина и нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможною, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним.

Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приво-

Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марью Николаевну месть, стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала под одеяло. Что-то по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой нумер, не обраш,ая внимания на проходивших ей навстречу господ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенцы, рубашки. Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз с сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнить ее приказания, так как она с такою ласковою настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего; он не верил, чтоб из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился, вообще же как будто интересовался тем, что опа над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками п торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону; но больной застонал, и она быстро направилась к нему. — Скорее же, — сказала она. — Да не ходите, — проговорил сердито больной,— я сам... — Что говорите? — переспросила Марья Николаевна. Ко Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней. — Я не смотрю, не смотрю! — сказала она, поправляя руку.— Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте, — прибавила она. — Поди, нояіалуйста, у меня в маленьком мешочке стклянючку, — обратилась она к мужу, — знаешь, в боковом карманчике, принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем. Вернувшись со стклянкой, Левин нашел уже больного улонхтнным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами. 3* 67

Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марью Николаевну месть, стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала под одеяло. Что-то по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой нумер, не обращая внимания на проходивших ей навстречу господ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенцы, рубашки.

Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз с сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнить ее приказания, так как она с такою ласковою настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего; он не верил, чтоб из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился, вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону; но больной застонал, и она быстро направилась к нему.

— Скорее же,— сказала она.

— Да не ходите,— проговорил сердито больной,— я сам...

— Что говорите? — переспросила Марья Николаевна.

Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней.

— Я не смотрю, не смотрю! — сказала она, поправляя руку.— Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте,— прибавила она.

— Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке стклянночку,— обратилась она к мужу,— знаешь, в боковом карманчике, принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем.

Вернувшись со стклянкой, Левин нашел уже больного

который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно, под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стклянки, графин и сложено было нужное белье и работа broderie anglaise Кити. На другом столе, у кровати больного, было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити. Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарство и с особенною подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом — какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату; но Левин расслышал только последние слова: «твоя Катя», по взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее. — Мне гораздо уж лучше, — сказал он. — Вот с вами я бы давно выздоровел. Как хорошо! — Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее. — Теперь переложите меня на левую сторону и идите спать, — проговорил он. Никто не расслышал того, что он сказал, одна Кити поняла. Она понимала, потому что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было. — На другую сторону,— сказала она мужу,— он спит всегда на той. Переложи его, неприятно звать слуг. Я не могу. А вы не можете? — обратилась она к Марье Николаевне. — Я боюсь, — отвечала Марья Николаевна. Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странною тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею обнятою 68

который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно, под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стклянки, графин и сложено было нужное белье и работа broderie anglaise Кити. На другом столе, у кровати больного, было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити.

Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарство и с особенною подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом — какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату; но Левин расслышал только последние слова: «твоя Катя», по взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее.

— Мне гораздо уж лучше, — сказал он. — Вот с вами я бы давно выздоровел. Как хорошо! — Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее.

— Теперь переложите меня на левую сторону и идите спать,— проговорил он.

Никто не расслышал того, что он сказал, одна Кити поняла. Она понимала, потому что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было.

— На другую сторону,— сказала она мужу,— он спит всегда на той. Переложи его, неприятно звать слуг. Я не могу. А вы не можете? — обратилась она к Марье Николаевне.

— Я боюсь,— отвечала Марья Николаевна.

Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странною тяжестью этих изможденных тле-

огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса, опять прилипшие на виске. Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты. XIX «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным». Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер. Левин думал о евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как ни различны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать. Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорби69

огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса, опять прилипшие на виске.

Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты.

XIX

«Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным». Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер.

Левин думал о евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как ни различны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с бóльшим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать.

тельным, нельзя; говорить о смерти, о мрачном — тоже нельзя. Молчать — тоже нельзя. «Смотреть — он подумает, что я изучаю его, боюсь; не смотреть — он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках — он будет недоволен; на всю ногу — совестно». Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе; она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило хорошо; стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что, кроме физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава богу, причастили, соборовали, дай бот каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться. Вернувшись от больного на ночь в свои два нумера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться жа ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женою не мог: ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цону и то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам. Все дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что нумер стал похож на дом, на ее комна-^ ты: постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы. Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его 70

тельным, нельзя; говорить о смерти, о мрачном — тоже нельзя. Молчать — тоже нельзя. «Смотреть — он подумает, что я изучаю его, боюсь; не смотреть — он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках — он будет недоволен; на всю ногу — совестно». Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе; она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило хорошо; стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что, кроме физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава богу, причастили, соборовали, дай бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться.

Вернувшись от больного на ночь в свои два нумера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женою не мог: ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам.

Все дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что нумер стал похож на дом, на ее комнаты: постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы.

Левин находил, что непростительно есть, спать, гово-

было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала все это так, что ничего в этом оскорбительного не было. Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать. — Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться, — говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребном мягкие душистые волосы.— Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении. — Неужели ты думаешь, что он может выздороветь? — сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки. — Я спрашивала доктора: он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве они могут знать? Я всетаки очень рада, что уговорила его,— сказала она, косясь на мужа из-за волос. — Все может быть, — прибавила она с тем особенным, нескольке хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии. После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Носмотря на его уверения в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про broderie anglaise: будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и т. п. — Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого,— сказал Левин,- И... должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что... — Он взял ее руку и не поцеловал (целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным), а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза. — Тебе бы так мучительно было одному, — сказала она и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их.— Нет,— продолжала она,— она не знала... Я, к счастию, научилась многому в Содене, — Неужели там такие же были больные? — Хуже. 71

было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала все это так, что ничего в этом оскорбительного не было.

Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать.

— Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться,— говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы.— Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении.

— Неужели ты думаешь, что он может выздороветь? — сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки.

— Я спрашивала доктора: он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве они могут знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его,— сказала она, косясь на мужа из-за волос.— Все может быть,— прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии.

После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверения в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про broderie anglaise: будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и т. п.

— Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого,— сказал Левин.— И... должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что... — Он взял ее руку и не поцеловал (целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным), а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза.

— Тебе бы так мучительно было одному, — сказала она и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их.— Нет,— продолжала она,— она не знала... Я, к счастию, научилась многому в Содене.

Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым... Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда. — Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны были с ним, — сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза. - Да были бы, — сказал он грустно. — Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира. — Однако нам много предстоит дней, надо ложиться, — сказала Кити, взглянув на свои крошечные часы. XX СМЕРТЬ На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еш,е тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей; он знал, что неверие его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верования, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той л^е мысли, но было только временное, корыстное, с безумною надеждой исцеления. Левин знал тоже, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к богу: «Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек (ведь это самое повторялось много раз), и ты спасешь его и меня». 72

— Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым... Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда.

— Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны *были* с ним, — сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза.

— Да *были бы*,— сказал он грустно.— Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира.

— Однако нам много предстоит дней, надо ложиться,— сказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.

XX

СМЕРТЬ

На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еще тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей; он знал, что неверие его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верования, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той же мысли, но было только временное, корыстное, с безумною надеждой исцеления. Левин знал тоже, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к богу: «Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек (ведь это самое повторялось много раз),

После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжение часа, улыбался, целовал руки Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил еш,е котлету. Как ни безнадежен он был, как ни очевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь, Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении. — Лучше. — Да, гораздо. — Удивительно. — Ничего нет удивительного. — Все-таки лучше, — говорили они шепотом, улыбаясь друг другу. Обольп^ение это было непродолжительно. Больной заснул спокойно, но чрез полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его, и в нем самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном. Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтоб ему дали йоду для вдыхания в стклянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которою он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что вдыхания йода производят чудеса. — Что, Кати нет? — прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. — Нет, так можно сказать... Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. Вот этому я верю,— сказал он и, слшмая стклянку костлявой рукой, стал дышать над ней. В восьмом часу вечера Левин с женою пил чай в своем нумере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали. — Умирает! — прошептала она. — Я боюсь, сейчас умрет. Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой, на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову. — Что ты чувствуешь? — спросил шепотом Левин после молчания. 73

После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжение часа, улыбался, целовал руки Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил еще котлету. Как ни безнадежен он был, как ни очевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь, Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении.

— Лучше. — Да, гораздо. — Удивительно. — Ничего нет удивительного. — Все-таки лучше, — говорили они шепотом, улыбаясь друг другу.

Обольщение это было непродолжительно. Больной заснул спокойно, но чрез полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его, и в нем самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном.

Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтоб ему дали йоду для вдыхания в стклянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которою он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что вдыхания йода производят чудеса.

— Что, Кати нет? — прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора.— Нет, так можно сказать... Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. Вот этому я верю,— сказал он и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать над ней.

В восьмом часу вечера Левин с женою пил чай в своем нумере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали.

— Умирает! — прошептала она.— Я боюсь, сейчас умрет.

Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой, на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.

— Чувствую, что отправляюсь,— с трудом, но с чрезвычайною определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николаи. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата. — Катя, уйди! — проговорил он еще. Левин вскочил и повелительным шепотом заставил ее выйти. — Отправляюсь, — сказал он опять. — Почему ты думаешь? — сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь. — Потому, что отправляюсь, — как будто полюбив это выражение, повторил он. — Конец. Марья Николаевна подошла к нему. — Вы бы легли, вам легче, — сказала она. — Скоро буду лежать тихо, — проговорил он, — мертвый, — сказал он насмешливо, сердито. — Ну, положите, коли хотите. Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем, но, несмотря на все усилия мысли, чтоб идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется и уясняется то, что все так же темно остается для Левина. — Да, да, так, — с расстановкой, медленно проговорил умирающий. — Постойте. — Опять он помолчал. — Так! — вдруг успокоительно протянул он, как будто все разрешилось для него. — О господи! — проговорил он и тяжело вздохнул. Марья Николаевна пощупала его ноги. — Холодеют, — прошептала она. Долго, очень долго, как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он все еще был жив и изредка вздыхал. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что, несмотря на все напряжение мысли, он не мог понять то, что было так. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уя^е думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас, придется ему делать: закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И, странное дело, он чувствовал себя совершенно холодным и не испытывал ни 74

— Чувствую, что отправляюсь,— с трудом, но с чрезвычайною определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата.— Катя, уйди! — проговорил он еще.

Левин вскочил и повелительным шепотом заставил ее выйти.

— Отправляюсь,— сказал он опять.

— Почему ты думаешь? — сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь.

— Потому, что отправляюсь,— как будто полюбив это выражение, повторил он.— Конец.

Марья Николаевна подошла к нему.

— Вы бы легли, вам легче,— сказала она.

— Скоро буду лежать тихо,— проговорил он,— мертвый, — сказал он насмешливо, сердито. — Ну, положите, коли хотите.

Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем, но, несмотря на все усилия мысли, чтоб идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется и уясняется то, что все так же темно остается для Левина.

— Да, да, так,— с расстановкой, медленно проговорил умирающий.— Постойте.— Опять он помолчал. — Так! — вдруг успокоительно протянул он, как будто все разрешилось для него. — О господи! — проговорил он и тяжело вздохнул.

Марья Николаевна пощупала его ноги.

— Холодеют,— прошептала она.

Долго, очень долго, как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он все еще был жив и изредка вздыхал. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что, несмотря на все напряжение мысли, он не мог понять то, что было так. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уже думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас, придется ему делать: закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И, странное дело, он чув-

горя, ни потери, ни еще меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь. Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца. Но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтоб остановить ее. Но в то время как он вставал, он услыхал движение мертвеца. — Не уходи, — сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтоб она ушла. С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем нумере, свой ли дом у доктора. Ему захотелось есть и спать. Он осторожно выпростал руку и ощупал ноги. Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал: — Не уходи. . . Рассвело; положение больного было то же. Левин, потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришел в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть, стал говорить и опять перестал говорить о смерти, опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался еще раздражительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат, ни Кити, не могли успокоить его. Он на всех сердился и всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтоб ему привезли знаменитого доктора из Москвы. На все вопросы, которые ему делали о том, как он себя чувствует, он отвечал одинаково с выражением злобы и упрека: — Страдаю, ужасно, невьшосимо! Больной страдал все больше и больше, в особенности от пролежней, которые нельзя уже было залечить, и все больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всем и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его; но все было напрасно, и Левин видел, что она сама и физически и нравственно была измучена, хотя и не признавалась в этом. То чувство смерти, которое было вызвано во всех его прощанием с жизнью в ту ночь, 75

горя, ни потери, ни еще меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь.

Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца. Но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтоб остановить ее. Но в то время как он вставал, он услыхал движение мертвеца.

— Не уходи,— сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтоб она ушла.

С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем нумере, свой ли дом у доктора. Ему захотелось есть и спать. Он осторожно выпростал руку и ощупал ноги. Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал:

— Не уходи.

. . . . . .

Рассвело; положение больного было то же. Левин, потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришел в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть, стал говорить и опять перестал говорить о смерти, опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался еще раздражительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат, ни Кити, не могли успокоить его. Он на всех сердился и всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтоб ему привезли знаменитого доктора из Москвы. На все вопросы, которые ему делали о том, как он себя чувствует, он отвечал одинаково с выражением злобы и упрека:

— Страдаю, ужасно, невыносимо!

Больной страдал все больше и больше, в особенности от пролежней, которые нельзя уже было залечить, и все больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всем и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его; но все было напрасно, и Левин видел, что она сама и физически и нравственно была измучена, хотя

когда он призвал брата, было разрушено. Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв ул^е. Все одного только желали — чтоб он как молено скорее умер, и все, скрывая это, давали ему из стклянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга. Все это была лол^ь, гадкая, оскорбительная и кощунственная лолчж. И эту ложь, и по свойству своего характера и потому, что он больше всех любил умирающего, Левин особенно больно чувствовал. Левин, которого давно занимала мысль о том, чтобы помирить братьев хотя пред смертью, писал брату Сергею Ивановичу и, получив от него ответ, прочел это письмо больному. Сергей Иванович писал, что не может сам приехать, но в трогательных выражениях просил прощения у брата. Больной ничего не сказал. — Что же мне написать ему? — спросил Левин. — Надеюсь, ты не сердишься на него? — Нет, нисколько! — с досадой на этот вопрос отвечал Николай. — Напиши ему, чтоб он прислал ко мне-доктора. Прошли еще мучительные три дня; больной был все в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его: и .лакеи гостиницы, и хозяин ее, и все постояльцы, и доктор, и Марья Николаевна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а, напротив, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжал принимать лекарство и говорил о жизни. Только в редкие минуты, когда опиум заставлял его на мгновение забыться от непрестанных страданий, он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других, было в его душе: «Ах, хоть бы один конец!» Или: «Когда это кончится!» Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которую бы он забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучали его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания — все это было для него только мучительно. Окружающие чувствовал^! это и бессознательно не позволяли себе при нем ни свободных движений, ни разговоров, ни выражения своих 76

когда он призвал брата, было разрушено. Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв уже. Все одного только желали — чтоб он как можно скорее умер, и все, скрывая это, давали ему из стклянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга. Все это была ложь, гадкая, оскорбительная и кощунственная ложь. И эту ложь, и по свойству своего характера и потому, что он больше всех любил умирающего, Левин особенно больно чувствовал.

Левин, которого давно занимала мысль о том, чтобы помирить братьев хотя пред смертью, писал брату Сергею Ивановичу и, получив от него ответ, прочел это письмо больному. Сергей Иванович писал, что не может сам приехать, но в трогательных выражениях просил прощения у брата.

Больной ничего не сказал.

— Что же мне написать ему? — спросил Левин.— Надеюсь, ты не сердишься на него?

— Нет, нисколько! — с досадой на этот вопрос отвечал Николай.— Напиши ему, чтоб он прислал ко мне доктора.

Прошли еще мучительные три дня; больной был все в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его: и лакеи гостиницы, и хозяин ее, и все постояльцы, и доктор, и Марья Николаевна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а, напротив, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжал принимать лекарство и говорил о жизни. Только в редкие минуты, когда опиум заставлял его на мгновение забыться от непрестанных страданий, он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других, было в его душе: «Ах, хоть бы один конец!» Или: «Когда это кончится!»

Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которую бы он забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучали его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания — все это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно не позволяли себе при нем ни сво-

желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желания избавиться от него. В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастие. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение; но теперь лишение и страдание не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание. И потому все желания сливались в одно — желание избавиться от всех страданий и их источника, тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены. «Переложите меня на другой бок», — говорил он и тотчас после требовал, чтобы его положили, как прежде. «Дайте бульону. Унесите бульон. Расскажите чтонибудь, что вы молчите». И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость, равнодушие и отвращение. На десятый день после приезда в город Кити заболела. У нее сделалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать с постели. Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения, и предписал ей душевное спокойствие. После обеда, однако, Кити встала и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал. “ Как вы себя чувствуете? — спросила она его. — Хуже, — с трудом выговорил он. — Больно! — Где больно? -- Везде. — Нынче кончится, посмотрите, — сказала Марья Николаевна хотя и шепотом, но так, что больной, очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же укоризненный и напряженный. — Отчего вы думаете? — спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор. 77

желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желания избавиться от него.

В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастие. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение; но теперь лишение и страдание не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание. И потому все желания сливались в одно — желание избавиться от всех страданий и их источника, тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены. «Переложите меня на другой бок»,— говорил он и тотчас после требовал, чтобы его положили, как прежде. «Дайте бульону. Унесите бульон. Расскажите что-нибудь, что вы молчите». И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость, равнодушие и отвращение.

На десятый день после приезда в город Кити заболела. У нее сделалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать с постели.

Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения, и предписал ей душевное спокойствие.

После обеда, однако, Кити встала и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она его.

— Хуже,— с трудом выговорил он.— Больно!

— Где больно?

— Везде.

— Нынче кончится, посмотрите, — сказала Марья Николаевна хотя и шепотом, но так, что больной, очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же укоризненный и напряженный.

— Стал обирать себя,— сказала Марья Николаевна. — Как обирать? — Вот так,— сказала она, обдергивая складки своего шерстяиого платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать что-то. Предсказание Марьи Николаевны было верно. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним, так, чтоб он мог их видеть, он так же смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную. Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никакого признака жизни; глаза были закрыты. Левин, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза. Священник, окончив молитву, приложил к холодному лбу крест, потом медленно завернул его в епитрахиль и, постояв еще молча минуты две, дотронулся до похолодевшей и бескровной огромной руки. — Кончился, — сказал священник и хотел отойти; но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определенно резкие звуки: — Не совсем... Скоро. И через минуту лицо просветлело, под усами выступила улыбка, и собравшиеся женщины озабоченно принялись убирать покойника. Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса пред неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости я^ены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище. Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла дру78

— Стал обирать себя,— сказала Марья Николаевна.

— Как обирать?

— Вот так,— сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать что-то.

Предсказание Марьи Николаевны было верно. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним, так, чтоб он мог их видеть, он так же смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную.

Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никакого признака жизни; глаза были закрыты. Левин, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза. Священник, окончив молитву, приложил к холодному лбу крест, потом медленно завернул его в епитрахиль и, постояв еще молча минуты две, дотронулся до похолодевшей и бескровной огромной руки.

— Кончился, — сказал священник и хотел отойти; но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определенно резкие звуки:

— Не совсем... Скоро.

И через минуту лицо просветлело, под усами выступила улыбка, и собравшиеся женщины озабоченно принялись убирать покойника.

Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса пред неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище.

гая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни. Доктор подтвердил свои предцоложения насчет Кити, Нездоровье ее была беременность. XXI С той минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений с Бетси и со Степаном Аркадьичем, что от него требовалось только того, чтоб он оставил свою жену в покое, не утруждая ее своим присутствием, и что сама жена его желала этого, он почувствовал себя столь потерянным, что не мог ничего сам решить, не знал сам, чего он хотел теперь, и, отдавшись в руки тех, которые с таким удовольствием занимались его делами, на все отвечал согласием. Только когда Анна уже уехала из его дома и англичанка прислала спросить его, должна ли она обедать с ним, или отдельно, он в первый раз понял ясно свое положение и ужаснулся ему. Труднее всего в этом положении было то, что он ни-' как не мог соединить и примирить своего прошедшего с тем, что теперь было. Не то прошедшее, когда он счастливо жил с женою, емупгало его. Переход от того прошедшего к знанию о неверности жены он страдальчески пережил уже; состояние это было тяжело, но было понятно ему. Если бы жена тогда, объявив о своей неверности, ушла от него, оп был бы огорчен, несчастлив, но он не был бы в том для самого себя безвыходном непонятном положении, в каком он чувствовал себя теперь. Он не мог теперь никак примирить свое недавнее прощение, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за все это, оп теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми іфөзираемый. Первые два дня после отъезда жены Алексей Александрович принимал просителей, правителя дел, ездил в комитет и выходил обедать в столовую, как и обыкновенно. Не отдавая себе отчета, для чего он это делает, он все силы своей души напрягал в эти два дня только на то, чтоб иметь вид споісойный и даже равнодушный. Отвечая на вопросы о том, как распорядиться с вещами и комнатами Анны Аркадьевны, он делал величайшие усилия над собой, чтоб иметь вид человека, для которого случившееся 79

гая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни.

Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность.

XXI

С той минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений с Бетси и со Степаном Аркадьичем, что от него требовалось только того, чтоб он оставил свою жену в покое, не утруждая ее своим присутствием, и что сама жена его желала этого, он почувствовал себя столь потерянным, что не мог ничего сам решить, не знал сам, чего он хотел теперь, и, отдавшись в руки тех, которые с таким удовольствием занимались его делами, на все отвечал согласием. Только когда Анна уже уехала из его дома и англичанка прислала спросить его, должна ли она обедать с ним, или отдельно, он в первый раз понял ясно свое положение и ужаснулся ему.

Труднее всего в этом положении было то, что он никак не мог соединить и примирить своего прошедшего с тем, что теперь было. Не то прошедшее, когда он счастливо жил с женою, смущало его. Переход от того прошедшего к знанию о неверности жены он страдальчески пережил уже; состояние это было тяжело, но было понятно ему. Если бы жена тогда, объявив о своей неверности, ушла от него, он был бы огорчен, несчастлив, но он не был бы в том для самого себя безвыходном непонятном положении, в каком он чувствовал себя теперь. Он не мог теперь никак примирить свое недавнее прощение, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за все это, он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый.

Первые два дня после отъезда жены Алексей Александрович принимал просителей, правителя дел, ездил в комитет и выходил обедать в столовую, как и обыкновенно. Не отдавая себе отчета, для чего он это делает, он все силы своей души напрягал в эти два дня только на то, чтоб иметь вид спокойный и даже равнодушный. Отвечая на вопросы о том, как распорядиться с вещами и комна-

событие не было непредвиденным и не имеет в себе ничего выходящего из ряда обыкновенных событий, и он достигал своей цели: никто не мог заметить в нем признаков отчаяния. Но на второй день после отъезда, когда Корней подал ему счет из модного магазина, который забыла заплатить Анна, и доложил, что приказчик сам тут, Алексей Александрович велел позвать приказчика. — Извините, ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но если прикажете обратиться к ее превосходительству, то не благоволите ли сообщить их адрес. Алексей Александрович задумался, как показалось приказчику, и вдруг, повернувшись, сел к столу. Опустив голову на руки, он долго сидел в этом положении, несколько раз пытался заговорить и останавливался. Поняв чувства барина, Корней попросил приказчика прийти в другой раз. Оставшись опять один, Алексей Александрович понял, что он не в силах более выдерживать роль твердости и спокойствия. Он велел отложить дожидавшуюся карету, никого не велел принимать и не вышел обедать. Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и Корнея, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвратить от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не оттого, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но оттого, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он чувствовал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую от боли собаку. Он знал, что единственное спасение от людей — скрыть от них свои раны, и он это бессознательно пытался делать два дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту неравную борьбу. Отчаяние его еще усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать все, что испытывал, кто бы пожалел его не как высшего чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека; но и нигде у него не было такого человека. 80

событие не было непредвиденным и не имеет в себе ничего выходящего из ряда обыкновенных событий, и он достигал своей цели: никто не мог заметить в нем признаков отчаяния. Но на второй день после отъезда, когда Корней подал ему счет из модного магазина, который забыла заплатить Анна, и доложил, что приказчик сам тут, Алексей Александрович велел позвать приказчика.

— Извините, ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но если прикажете обратиться к ее превосходительству, то не благоволите ли сообщить их адрес.

Алексей Александрович задумался, как показалось приказчику, и вдруг, повернувшись, сел к столу. Опустив голову на руки, он долго сидел в этом положении, несколько раз пытался заговорить и останавливался.

Поняв чувства барина, Корней попросил приказчика прийти в другой раз. Оставшись опять один, Алексей Александрович понял, что он не в силах более выдерживать роль твердости и спокойствия. Он велел отложить дожидавшуюся карету, никого не велел принимать и не вышел обедать.

Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и Корнея, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвратить от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не оттого, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но оттого, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он чувствовал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую от боли собаку. Он знал, что единственное спасение от людей — скрыть от них свои раны, и он это бессознательно пытался делать два дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту неравную борьбу.

Отчаяние его еще усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать все, что испытывал, кто бы пожалел его не как высшего чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека; но и нигде у него не было такого

Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их. Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тотчас стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительіго отдался служебному честолюбию. Ни в. гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. Брат был самый близкий ему цо душе человек, но он служил по министерству иностранных дел, жил всегда за границей, где он и умер скоро после женитьбы Алексея Александровича. Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго іюлебался. Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который бы заставил его изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предлоя^ение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен. Та привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердечных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него пе было никого близкого. У него много было того, что называется связями; но дружеских отношений не было. Было у Алексея Александровича много таких людей, которых он мог позвать к себе обедать, попросить об участии в интересовавшем его деле, о протекции какомунибудь искателю, с которыми мог обсуждать откровенно действия других лиц и высшего правительства; но отношения к этим лицам были заключены в одну твердо определенную обычаем и привычкой область, из которой невозможно было выйти. Был один университетский товарищ, с которым он сблизился после и с которым он мог бы поговорить о личном горе; но товарищ этот был попечителем в дальнем учебном округе. Из лиц же, бывших 81

Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их.

Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тотчас стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительно отдался служебному честолюбию. Ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. Брат был самый близкий ему по душе человек, но он служил по министерству иностранных дел, жил всегда за границей, где он и умер скоро после женитьбы Алексея Александровича.

Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который бы заставил его изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен.

Та привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердечных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него не было никого близкого. У него много было того, что называется связями; но дружеских отношений не было. Было у Алексея Александровича много таких людей, которых он мог позвать к себе обедать, попросить об участии в интересовавшем его деле, о протекции какому-нибудь искателю, с которыми мог обсуждать откровенно действия других лиц и высшего правительства; но отношения к этим лицам были заключены в одну твердо определенную обычаем и привычкой область, из которой невозможно было выйти. Был один университетский товарищ, с которым он сблизился после и с которым он мог

в Петербурге, ближе и возможнее всех были правитель канцелярии и доктор. Михаил Васильевич Слюдин, правитель дел, был умный, добрый и нравственный человек, и в нем Алексей Александрович чувствовал личное к себе расположение; но пятилетняя служебная их деятельность положила между ними преграду для душевных объяснений. Алексей Александрович, окончив подписку бумаг, долго молчал., взглядывая на Михаила Васильевича, и несколько раз пытался, но не мог заговорить. Он приготовил уже фразу: «Вы слышали о моем горе?» Но кончил тем, что сказал, как и обыкновенно: i<Так вы это приготовите мне», — и с тем отпустил его. Другой человек был доктор, который тоже был хорошо расположен к нему; но между ними уже давно было молчаливым соглашением признано, что оба завалены делом и обоим надо торопиться. О женских своих друзьях и о первейшем из них, о графине Лидии Ивановне, Алексей Александрович не думал. Все женщины, просто как женщины, были страшны и противны ему. XXII Алексей Александрович забыл о графине Лидии Ивановне, но она не забыла его. В эту самую тяжелую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет. Она застала его в том положении, в котором он сидел, опершись головой на обе руки. — J’ai forcé la consigne сказала она, входя быстрым шагом и тяжело дыша от волнения и быстрого движения. — Я все слышала! Алексей Александрович! Друг мой} — продолжала она, крепко обеими руками пожимая его руку и глядя ему в глаза своими прекрасными задумчивыми глазами. Алексей Александрович, хмурясь, привстал и, выпростав от нее руку, подвинул ей стул. — Не угодно ли, графиня? Я не принимаю, потому что я болен, графиня, — сказал он, и губы его задрожали. — Друг мой! — повторила графиня Лидия Ивановна, не спуская с него глаз, и вдруг брови ее поднялись внут^ Я нарушила запрет (Франц,), 82

в Петербурге, ближе и возможнее всех были правитель канцелярии и доктор.

Михаил Васильевич Слюдин, правитель дел, был умный, добрый и нравственный человек, и в нем Алексей Александрович чувствовал личное к себе расположение; но пятилетняя служебная их деятельность положила между ними преграду для душевных объяснений.

Алексей Александрович, окончив подписку бумаг, долго молчал, взглядывая на Михаила Васильевича, и несколько раз пытался, но не мог заговорить. Он приготовил уже фразу: «Вы слышали о моем горе?» Но кончил тем, что сказал, как и обыкновенно: «Так вы это приготовите мне»,— и с тем отпустил его.

Другой человек был доктор, который тоже был хорошо расположен к нему; но между ними уже давно было молчаливым соглашением признано, что оба завалены делом и обоим надо торопиться.

О женских своих друзьях и о первейшем из них, о графине Лидии Ивановне, Алексей Александрович не думал. Все женщины, просто как женщины, были страшны и противны ему.

XXII

Алексей Александрович забыл о графине Лидии Ивановне, но она не забыла его. В эту самую тяжелую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет. Она застала его в том положении, в котором он сидел, опершись головой на обе руки.

— J'ai forcé la consigne [1],— сказала она, входя быстрым шагом и тяжело дыша от волнения и быстрого движения.— Я все слышала! Алексей Александрович! Друг мой! — продолжала она, крепко обеими руками пожимая его руку и глядя ему в глаза своими прекрасными задумчивыми глазами.

Алексей Александрович, хмурясь, привстал и, выпростав от нее руку, подвинул ей стул.

— Не угодно ли, графиня? Я не принимаю, потому что я болен, графиня, — сказал он, и губы его задрожали.

— Друг мой! — повторила графиня Лидия Ивановна, не спуская с него глаз, и вдруг брови ее поднялись внут-

ренними сторонами, образуя треугольник на лбу; некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее; но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. И на него нашло умиление: он схватил ее пухлую руку и стал целовать ее. — Друг мой! — сказала она прерывающимся от волнения голосом. — Вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение. — Я разбит, я убит, я не человек более! — сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза. — Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу точки опоры. — Вы найдете опору, ищите ее не во мне, хотя прошу вас верить в мою дружбу,— сказала она со вздохом.— Опора наша есть любовь, та любовь, которую Он завещал нам. Бремя Его легко, — сказала она с тем восторженным взглядом, который так знал Алексей Александрович. — Он поддержит вас и поможет вам. Несмотря на то, что в этих словах было то умиление пред своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею Александровичу излишним, новое, восторженное, недавно распространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь. — Я слаб. Я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю. — Друг мой, — повторяла Лидия Ивановна. — Не потеря того, чего нет теперь, не это, — продолжал Алексей Александрович. — Я не жалею. Но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором я нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу. — Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но Он, обитая в вашем сердце, — сказала графиня Лидия Ивановна, восторженно поднимая глаза,— и потому вы не можете стыдиться своего поступка. Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами. — Надо знать все подробности, — сказал он тонким голосом.— Силы человека имеют пределы, графиня, и я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжения, распоряжения по дому, вытекавшие (он налег на слово вытекавшие) из моего нового, 83

ренними сторонами, образуя треугольник на лбу; некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее; но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. И на него нашло умиление: он схватил ее пухлую руку и стал целовать ее.

— Друг мой! — сказала она прерывающимся от волнения голосом. — Вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение.

— Я разбит, я убит, я не человек более! — сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза.— Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу точки опоры.

— Вы найдете опору, ищите ее не во мне, хотя прошу вас верить в мою дружбу,— сказала она со вздохом.— Опора наша есть любовь, та любовь, которую Он завещал нам. Бремя Его легко,— сказала она с тем восторженным взглядом, который так знал Алексей Александрович.— Он поддержит вас и поможет вам.

Несмотря на то, что в этих словах было то умиление пред своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею Александровичу излишним, новое, восторженное, недавно распространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь.

— Я слаб. Я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю.

— Друг мой,— повторяла Лидия Ивановна.

— Не потеря того, чего нет теперь, не это, — продолжал Алексей Александрович.— Я не жалею. Но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором я нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу.

— Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но Он, обитая в вашем сердце,— сказала графиня Лидия Ивановна, восторженно поднимая глаза,— и потому вы не можете стыдиться своего поступка.

Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами.

— Надо знать все подробности,— сказал он тонким голосом.— Силы человека имеют пределы, графиня, и я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был

одинокого положения. Прислуга, гувернантка, счеты... Этот мелкий огонь сжег меня, я не в силах был выдержать. За обедом... я вчера едва не ушел от обеда. Я не мог перенести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить, и я не мог выдержать этого взгляда. Он боялся смотреть на меня, но этого мало... Алексей Александрович хотел упомянуть про счет, который принесли ему, но голос его задрожал, и он остановился. Про этот счет, на синей бумаге, за шляпку, ленты он не мог вспомнить без жалости к самому себе. — Я понимаю, друг мой,— сказала графиня Лидия Ивановна. — Я все понимаю. Помощь и утешение вы найдете не во мне, но я все-таки приехала только затем, чтобы помочь вам, если могу. Если б я могла снять с вас все эти мелкие унижающие заботы... Я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне? Алексей Александрович молча и благодарно пожал ее руку— Мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах. Но я возьмусь, я буду ваша экономка. Не благодарите меня. Я делаю это не сама... — Я не могу не благодарить. — Но, друг мой, не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили, — стыдиться того, что есть высшая высота христианина: кто унижает себя, тот возвысится, И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить Его и просить Его о помощи. В Нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь, — сказала она и, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по ее молчанию. Алексей Александрович слушал ее теперь, и те выражения, которые прежде не то что были неприятны ему, а казались излишними, теперь показались естественны и утешительны. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух. Он был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле, а новое учение, позволявшее себе некоторые новые толкования, потому именно, что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было неприятно ему. Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению и с графиней Лидией Ивановной, увлекавшеюся им, никогда не спорил, а старательно обходил мол64

одинокого положения. Прислуга, гувернантка, счеты... Этот мелкий огонь сжег меня, я не в силах был выдержать. За обедом... я вчера едва не ушел от обеда. Я не мог перенести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить, и я не мог выдержать этого взгляда. Он боялся смотреть на меня, но этого мало...

Алексей Александрович хотел упомянуть про счет, который принесли ему, но голос его задрожал, и он остановился. Про этот счет, на синей бумаге, за шляпку, ленты он не мог вспомнить без жалости к самому себе.

— Я понимаю, друг мой,— сказала графиня Лидия Ивановна.— Я все понимаю. Помощь и утешение вы найдете не во мне, но я все-таки приехала только затем, чтобы помочь вам, если могу. Если б я могла снять с вас все эти мелкие унижающие заботы... Я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне?

Алексей Александрович молча и благодарно пожал ее руку.

— Мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах. Но я возьмусь, я буду ваша экономка. Не благодарите меня. Я делаю это не сама...

— Я не могу не благодарить.

— Но, друг мой, не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили,— стыдиться того, что есть высшая высота христианина: *кто унижает себя, тот возвысится.* И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить Его и просить Его о помощи. В Нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь,— сказала она и, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по ее молчанию.

Алексей Александрович слушал ее теперь, и те выражения, которые прежде не то что были неприятны ему, а казались излишними, теперь показались естественны и утешительны. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух. Он был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле, а новое учение, позволявшее себе некоторые новые толкования, потому именно, что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было неприятно ему. Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению и с графиней Лидией Ивановной, увлекав-

чанием ее вызовы. Теперь же в первый раз он слушал ее слова с удовольствием и внутренне не возражал им. — Я очень, очень благодарен вам и за дела и за слова ваши, — сказал он, когда она кончила молиться. Графиня Лидия Ивановна еще раз пожала обе руки своего друга. — Теперь я приступаю к делу, — сказала она с улыбкой, помолчав и отирая с лица остатки слез.— Я иду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам. — И она встала и вышла. Графиня Лидия Ивановна пошла на половину Сережи и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла. Графиня Лидия Ивановна исполнила свое обещание. Она действительно взяла на себя все заботы по устройству и ведению дома Алексея Александровича. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна в практических делах. Все ее распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы, и изменялись они Корнеем, камердинером Алексея Александровича, который незаметно для всех повел теперь весь дом Каренина и спокойно и осторожно во время одеванья барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь Лидии Ивановны все-таки была в высшей степени действительна: она дала нравственную опору Алексею Александровичу в сознании ее любви и уважения к нему и в особенности в том, что, как ей утешительно было думать, она почти обратила его в христианство, то есть из равнодушно и лениво верующего обратила его в горячего и твердого сторонника того нового объяснения христианского учения, которое распространилось в последнее время в Петербурге. Алексею Александровичу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрения, был вовсе лишен глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительны, что требуют соответствия с другими представлениями и с действительностью. Он пе видел ничего невозможного и несообразного в представлении о том, что смерть, существующая для неверующих, 85

чанием ее вызовы. Теперь же в первый раз он слушал ее слова с удовольствием и внутренно не возражал им.

— Я очень, очень благодарен вам и за дела и за слова ваши,— сказал он, когда она кончила молиться.

Графиня Лидия Ивановна еще раз пожала обе руки своего друга.

— Теперь я приступаю к делу,— сказала она с улыбкой, помолчав и отирая с лица остатки слез.— Я иду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам.— И она встала и вышла.

Графиня Лидия Ивановна пошла на половину Сережи и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла.

Графиня Лидия Ивановна исполнила свое обещание. Она действительно взяла на себя все заботы по устройству и ведению дома Алексея Александровича. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна в практических делах. Все ее распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы, и изменялись они Корнеем, камердинером Алексея Александровича, который незаметно для всех повел теперь весь дом Каренина и спокойно и осторожно во время одеванья барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь Лидии Ивановны все-таки была в высшей степени действительна: она дала нравственную опору Алексею Александровичу в сознании ее любви и уважения к нему и в особенности в том, что, как ей утешительно было думать, она почти обратила его в христианство, то есть из равнодушно и лениво верующего обратила его в горячего и твердого сторонника того нового объяснения христианского учения, которое распространилось в последнее время в Петербурге. Алексею Александровичу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрения, был вовсе лишен глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительны, что требуют соответствия с другими представлениями и с действительностью. Он не

для него не существует, и что так как он обладает полнейшею верой, судьей меры которой он сам, то и греха уже нет в его душе, и он испытывает здесь, на земле, уже полное спасение. Правда, что легкость и ошибочность этого представления о своей вере смутно чувствовалась Алексею Александровичу, и он знал, что когда он, вовсе не думая о том, что его прощение есть действие высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, он испытал больше счастья, чем когда он, как теперь, каждую минуту думал, что в его душе живет Христос, и что, подписывая бумаги, он исполняет его волю; но для Алексея Александровича было необходимо так думать, ему было так необходимо в его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную высоту, с которой он, презираемый всеми, мог бы презирать других, что он держался, как за спасение, за свое мнимое спасение. XXIII Графиня Лидия Ивановна очень молодою восторженною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака. На второй месяц муж бросил ее и на восторженные ее уверения в нежности отвечал только насмешкой и даже враждебностью, которую люди, знавшие и доброе сердце графа и не видевшие никаких недостатков в восторженной Лидии, никак не могли объяснить себе. С тех пор, хотя они не были в разводе, они жили врозь, и когда муж встречался с женою, то всегда относился к ней с неизменною ядовитою насмешкой, причину которой нельзя было понять. Графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюбленною в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюбленною в кого-нибудь. Она бывала влюблена в нескольких вдруг, и в мужчин и в женщин; она бывала влюблена во всех почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. Она была влюблена во всех новых принцесс и принцев, вступавших в родство с царскою фамилией, была влюблена в одного митрополита, одного втарного и одного священника. Была влюблена в одного журналиста, в трех славян, в Комисарова; в одного министра, одного доктора, одного английского миссионера и в Каренина. Все эти любви, то ослабевая, то усиливаясь, напол86

для него не существует, и что так как он обладает полнейшею верой, судьей меры которой он сам, то и греха уже нет в его душе, и он испытывает здесь, на земле, уже полное спасение.

Правда, что легкость и ошибочность этого представления о своей вере смутно чувствовалась Алексею Александровичу, и он знал, что когда он, вовсе не думая о том, что его прощение есть действие высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, он испытал больше счастья, чем когда он, как теперь, каждую минуту думал, что в его душе живет Христос, и что, подписывая бумаги, он исполняет его волю; но для Алексея Александровича было необходимо так думать, ему было так необходимо в его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную высоту, с которой он, презираемый всеми, мог бы презирать других, что он держался, как за спасение, за свое мнимое спасение.

XXIII

Графиня Лидия Ивановна очень молодою восторженною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака. На второй месяц муж бросил ее и на восторженные ее уверения в нежности отвечал только насмешкой и даже враждебностью, которую люди, знавшие и доброе сердце графа и не видевшие никаких недостатков в восторженной Лидии, никак не могли объяснить себе. С тех пор, хотя они не были в разводе, они жили врозь, и когда муж встречался с женою, то всегда относился к ней с неизменною ядовитою насмешкой, причину которой нельзя было понять.

Графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюбленною в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюбленною в кого-нибудь. Она бывала влюблена в нескольких вдруг, и в мужчин и в женщин; она бывала влюблена во всех почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. Она была влюблена во всех новых принцесс и принцев, вступавших в родство с царскою фамилией, была влюблена в одного митрополита, одного викарного и одного священника. Была влюблена в одного журналиста, в трех славян, в Комисарова; в одного министра, одного доктора, одного английского миссионера и в Каре-

няли ее сёрдце, давали ей занятие и не метали ей в ведении самых распространенных и сложных придворных и светских отношений. Но с тех пор как она, после несчастия, постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство, с тех пор как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие, а что она истинно влюблена теперь в одного Каренина. Чувство, которое она теперь испытывала к нему, казалось ей сильнее всех прежних чувств. Анализуя свое чувство и сравнивая его с прежними, она ясно видела, что не была бы влюблена в Комисарова, если б он не спас жизни государю, не была бы влюблена в Ристич-Куджицкого, если бы не было славянского вопроса, но что Каренина она любила за него самого, за его высокую непонятую душу, за милый для нее тонкий звук его голоса с его протяжными интонациями, за его усталый взгляд, за его характер и мягкие белые руки с напухшими жилами. Она не только радовалась встрече с ним, но она искала на его лице признаков того впечатления, которое она производила на него. Она хотела нравиться ему не только речами, но и всею своею особою. Она для него занималась теперь своим туалетом больше, чем когда-нибудь прежде. Она заставала себя на мечтаниях о том, что было бы, если б она не была замужем и он был бы свободен. Она краснела от волнения, когда он входил в комнату, она не могла удержать улыбку восторга, когда он говорил ей приятное. Yme несколько дней графиня Лидия Ивановна находилась в сильнейшем волнении. Она узнала, что Анна с Вронским в Петербурге. Надо было спасти Алексея Александровича от свидания с нею, надо было спасти его даже от мучительного знания того, что эта ужасная женщина находится в одном городе с ним и что он каждую минуту может встретить ее. Лидия Ивановна через своих знакомых разведывала о том, что намерены делать эти отвратительные люди, как она называла Анну с Вронским, и старалась руководить в эти дни всеми движениями своего друга, чтоб он не мог встретить их. Молодой адъютант, приятель Вронского, через которого она получала сведения и который через графиню Лидию Ивановну надеялся получить концессию, сказал ей, что они кончили свои дела и уезжают на другой день. Лидия Ивановна уже стала успокоиваться, как 87

няли ее сердце, давали ей занятие и не мешали ей в ведении самых распространенных и сложных придворных и светских отношений. Но с тех пор как она, после несчастия, постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство, с тех пор как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие, а что она истинно влюблена теперь в одного Каренина. Чувство, которое она теперь испытывала к нему, казалось ей сильнее всех прежних чувств. Анализуя свое чувство и сравнивая его с прежними, она ясно видела, что не была бы влюблена в Комисарова, если б он не спас жизни государю, не была бы влюблена в Ристич-Куджицкого, если бы не было славянского вопроса, но что Каренина она любила за него самого, за его высокую непонятую душу, за милый для нее тонкий звук его голоса с его протяжными интонациями, за его усталый взгляд, за его характер и мягкие белые руки с напухшими жилами. Она не только радовалась встрече с ним, но она искала на его лице признаков того впечатления, которое она производила на него. Она хотела нравиться ему не только речами, но и всею своею особою. Она для него занималась теперь своим туалетом больше, чем когда-нибудь прежде. Она заставала себя на мечтаниях о том, что было бы, если б она не была замужем и он был бы свободен. Она краснела от волнения, когда он входил в комнату, она не могла удержать улыбку восторга, когда он говорил ей приятное.

Уже несколько дней графиня Лидия Ивановна находилась в сильнейшем волнении. Она узнала, что Анна с Вронским в Петербурге. Надо было спасти Алексея Александровича от свидания с нею, надо было спасти его даже от мучительного знания того, что эта ужасная женщина находится в одном городе с ним и что он каждую минуту может встретить ее.

Лидия Ивановна через своих знакомых разведывала о том, что намерены делать эти *отвратительные люди,* как она называла Анну с Вронским, и старалась руководить в эти дни всеми движениями своего друга, чтоб он не мог встретить их. Молодой адъютант, приятель Вронского, через которого она получала сведения и который через графиню Лидию Ивановну надеялся получить концессию,

на другое же утро ей принесли записку, почерк которой она с ужасом узнала. Это был почерк Анны Карениной. Конверт был из толстой, как лубок, бумаги; на продолговатой желтой бумаге была огромная монограмма, и от письма пахло прекрасно. — Кто принес? — Комиссионер из гостиницы. Графиня Лидия Ивановна долго не могла сесть, чтобы прочесть письмо. У ней от волнения сделался припадок одышки, которой она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующ^ее французское письмо: «Madame Ia Comtesse \ — христианские чувства, которые наполняют ваше сердце, дают мне, я чувствую, непростительную смелость писать вам. Я несчастна от разлуки с сыном. Я умоляю о позволении видеть его один раз пред моим отъездом. Простите меня, что я напоминаю вам о себе. Я обращаюсь к вам, а не к Алексею Александровичу только потому, что не хочу заставить страдать этого великодушного человека воспоминанием о себе. Зная вашу дружбу к нему, вы поймете меня. Пришлете ли вы Сережу ко мне, или мне приехать в дом в известный, назначенный час, или вы мне дадите знать, когда и где я могу его видеть вне дома? Я не предполагаю отказа, зная великодушие того, от кого это зависит. Вы не можете себе представить ту жажду его видеть, которую я испытываю, и потому не можете представить ту благодарность, которую во мне возбудит ваша помощь. Анна». Все в этом письме раздражило графиню Лидию Ивановну: и содержание, и намек на великодушие, и в особенности развязный, как ей показалось, тон. — Скажи, что ответа не будет, — сказала графиня Лидия Ивановна и тотчас, открыв бювар, написала Алексею Александровичу, что надеется видеть его в первом часу на поздравлении во дворце. «Мне нужно переговорить с вами о важном и грустном деле. Там мы условимся, где. Лучше всего у меня, где я велю приготовить ваш чай. Необходимо. Он налагает крест. Он дает и силы», — прибавила она, чтобы хоть немного приготовить его. ^ Графиня (Франц.). 88.

на другое же утро ей принесли записку, почерк которой она с ужасом узнала. Это был почерк Анны Карениной. Конверт был из толстой, как лубок, бумаги; на продолговатой желтой бумаге была огромная монограмма, и от письма пахло прекрасно.

— Кто принес?

— Комиссионер из гостиницы.

Графиня Лидия Ивановна долго не могла сесть, чтобы прочесть письмо. У ней от волнения сделался припадок одышки, которой она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующее французское письмо:

«Madame la Comtesse [1],— христианские чувства, которые наполняют ваше сердце, дают мне, я чувствую, непростительную смелость писать вам. Я несчастна от разлуки с сыном. Я умоляю о позволении видеть его один раз пред моим отъездом. Простите меня, что я напоминаю вам о себе. Я обращаюсь к вам, а не к Алексею Александровичу только потому, что не хочу заставить страдать этого великодушного человека воспоминанием о себе. Зная вашу дружбу к нему, вы поймете меня. Пришлете ли вы Сережу ко мне, или мне приехать в дом в известный, назначенный час, или вы мне дадите знать, когда и где я могу его видеть вне дома? Я не предполагаю отказа, зная великодушие того, от кого это зависит. Вы не можете себе представить ту жажду его видеть, которую я испытываю, и потому не можете представить ту благодарность, которую во мне возбудит ваша помощь.

Анна».

Все в этом письме раздражило графиню Лидию Ивановну: и содержание, и намек на великодушие, и в особенности развязный, как ей показалось, тон.

— Скажи, что ответа не будет,— сказала графиня Лидия Ивановна и тотчас, открыв бювар, написала Алексею Александровичу, что надеется видеть его в первом часу на поздравлении во дворце.

«Мне нужно переговорить с вами о важном и грустном деле. Там мы условимся, где. Лучше всего у меня, где я велю приготовить *ваш* чай. Необходимо. Он налагает крест. Он дает и силы»,— прибавила она, чтобы хоть немного приготовить его.

Графиня Лидия Ивановна писала обыкновенно по две и по три записки в день Алексею Александровичу. Она любила этот процесс сообщения с ним, имеющий в себе элегантность и таинственность, каких недоставало в ее личных сношениях. XXIV Поздравление кончалось. Уезжавшие, встречаясь, переговаривались о последней новости дня, вновь полученных наградах и перемещении важных служащих. — Как бы графине Марье Борисовне — военное министерство, а начальником бы штаба — княгиню Ватковскую,— говорил, обращаясь к высокой красавице фрейлине, спрашивавшей у него о перемещении, седой старичок в расшитом золотом мундире. — А меня в адъютанты,— отвечала фрейлина, улыбаясь. — Вам уж есть назначение. Вас по духовному ведомству. И в помощники вам — Каренина. — Здравствуйте, князь! — сказал старичок, пожимая руку подошедшему. — Что вы про Каренина говорили? — сказал князь. — Он и Путятов Александра Невского получили. — Я думал, что у него уж есть. — Нет. Вы взгляните на него,— сказал старичок, указывая расшитою шляпой на остановившегося в дверях залы с одним из влиятельных членов Государственного совета Каренина в придворном мундире с новою красною лентою через плечо. — Счастлив и доволен, как медный грош,— прибавил он, останавливаясь, чтобы пожать руку атлетически сложенному красавцу камергеру. — Нет, он постарел, — сказал камергер. — От забот. Он теперь все проекты пишет. Он теперь не отпустит несчастного, пока не изложит все по пунктам. — Как постарел? И fait des passions Ч Я думаю, графиня Лидия Ивановна ревнует его теперь к жене. — Ну, что! Про графиню Лидию Ивановну, пожалуйста, не говорите дурного. — Да разве это дурно, что она влюблена в Каренина? — А правда, что Каренина здесь? ^ Он имеет успех (франц.). 89

Графиня Лидия Ивановна писала обыкновенно по две и по три записки в день Алексею Александровичу. Она любила этот процесс сообщения с ним, имеющий в себе элегантность и таинственность, каких недоставало в ее личных сношениях.

XXIV

Поздравление кончалось. Уезжавшие, встречаясь, переговаривались о последней новости дня, вновь полученных наградах и перемещении важных служащих.

— Как бы графине Марье Борисовне — военное министерство, а начальником бы штаба — княгиню Ватковскую,— говорил, обращаясь к высокой красавице фрейлине, спрашивавшей у него о перемещении, седой старичок в расшитом золотом мундире.

— А меня в адъютанты,— отвечала фрейлина, улыбаясь.

— Вам уж есть назначение. Вас по духовному ведомству. И в помощники вам — Каренина.

— Здравствуйте, князь! — сказал старичок, пожимая руку подошедшему.

— Что вы про Каренина говорили? — сказал князь.

— Он и Путятов Александра Невского получили.

— Я думал, что у него уж есть.

— Нет. Вы взгляните на него,— сказал старичок, указывая расшитою шляпой на остановившегося в дверях залы с одним из влиятельных членов Государственного совета Каренина в придворном мундире с новою красною лентою через плечо.— Счастлив и доволен, как медный грош,— прибавил он, останавливаясь, чтобы пожать руку атлетически сложенному красавцу камергеру.

— Нет, он постарел,— сказал камергер.

— От забот. Он теперь все проекты пишет. Он теперь не отпустит несчастного, пока не изложит все по пунктам.

— Как постарел? Il fait des passions [1]. Я думаю, графиня Лидия Ивановна ревнует его теперь к жене.

— Ну, что! Про графиню Лидию Ивановну, пожалуйста, не говорите дурного.

— Да разве это дурно, что она влюблена в Каренина?

— А правда, что Каренина здесь?

— То есть не здесь, во дворце, а в Петербурге. Я вчера встретил их, с Алексеем Вронским, bras dessus, bras dessous \ на Морской. — C’est un homme qui n’a pas... ^ — начал было камергер, но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе царской фамилии. Так не переставая говорили об Алексее Александровиче, осуждая его и смеясь над ним, между тем как он, заступив дорогу пойманному им члену Государственного совета и ни на минуту не прекращая своего изложения, чтобы не упустить его, по пунктам излагал ему финансовый проект. Почти в одно и то же время, как жена ушла от Алексея Александровича, с ним случилось и самое горькое для служащего человека событие — прекращение восходящего служебного движения. Прекращение это совершилось, и все ясно видели это, но сам Алексей Александрович не сознавал еще того, что карьера его кончена. Столкновение ли со Стремовым, несчастие ли с женой, или просто то, что Алексей Александрович дошел до предела, который ему был предназначен, но для всех в нынешнем году стало очевидно, что служебное поприще его кончено. Он ещѳ занимал важное место, он был членом многих комиссий и комитетов; но он был человеком, который весь вышел и от которого ничего более не ждут. Что бы он ни говорил, что бы ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он предлагает, давно уже известно и есть то самое, что не нужно. Но Алексей Александрович не чувствовал этого и, напротив того, будучи устранен от прямого участия в правительственной деятельности, яснее чем прежде видел теперь недостатки и ошибки в деятельности других и считал своим долгом указывать на средства к исправлению их. Вскоре после своей разлуки с женой он начал писать свою первую записку о новом суде из бесчисленного ряда никому не нужных записок по всем отраслям управления, которые было сунщено написать ему. Алексей Александрович не только не замечал своего безнадежного положения в служебном мире и не только не огорчался им, но больше чем когда-нибудь был доволен своею деятельностью. ^ noji^руКу (Франц.). ^ Это человек, у которого нет... (франц.) 90

— То есть не здесь, во дворце, а в Петербурге. Я вчера встретил их, с Алексеем Вронским, bras dessus, bras dessous [1], на Морской.

— C'est un homme qui n'a pas... [2] — начал было камергер, но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе царской фамилии.

Так не переставая говорили об Алексее Александровиче, осуждая его и смеясь над ним, между тем как он, заступив дорогу пойманному им члену Государственного совета и ни на минуту не прекращая своего изложения, чтобы не упустить его, по пунктам излагал ему финансовый проект.

Почти в одно и то же время, как жена ушла от Алексея Александровича, с ним случилось и самое горькое для служащего человека событие — прекращение восходящего служебного движения. Прекращение это совершилось, и все ясно видели это, но сам Алексей Александрович не сознавал еще того, что карьера его кончена. Столкновение ли со Стремовым, несчастие ли с женой, или просто то, что Алексей Александрович дошел до предела, который ему был предназначен, но для всех в нынешнем году стало очевидно, что служебное поприще его кончено. Он еще занимал важное место, он был членом многих комиссий и комитетов; но он был человеком, который весь вышел и от которого ничего более не ждут. Что бы он ни говорил, что бы ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он предлагает, давно уже известно и есть то самое, что не нужно.

Но Алексей Александрович не чувствовал этого и, напротив того, будучи устранен от прямого участия в правительственной деятельности, яснее чем прежде видел теперь недостатки и ошибки в деятельности других и считал своим долгом указывать на средства к исправлению их. Вскоре после своей разлуки с женой он начал писать свою первую записку о новом суде из бесчисленного ряда никому не нужных записок по всем отраслям управления, которые было суждено написать ему.

Алексей Александрович не только не замечал своего безнадежного положения в служебном мире и не только не огорчался им, но больше чем когда-нибудь был доволен своею деятельностью.

«Женатый заботится о мирском, как угодить жене, неженатый заботится о господнем, как угодить господу»,— говорит апостол Павел, и Алексей Александрович, во всех делах руководившийся теперь писанием, часто вспоминал этот текст. Ему казалось, что с тех пор, как оп остался без жены, он этими самыми проектами более служил господу, чем прежде. Очевидное нетерпение члена Совета, желавшего уйти от него, не смущало Алексея Александровича; он перестал излагать, только когда член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него. Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли, потом рассеянно оглянулся и пошел к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Ивановну. «И как они все сильны и здоровы физически, — думал Алексей Александрович, глядя на могучего с расчесанными душистыми бакенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти.— Справедливо сказано, что все в мире есть зло»,— подумал он, косясь еще раз на икры камергера. Неторопливо передвигая ноги, Алексей Александрович с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нем, и, глядя в дверь, отыскивал глазами графиню Лидию Ивановну. — А! Алексей Александрович! — сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склошіл голову. — Я вас еще не поздравил, — сіихзал он, указывая на его новополученпую ленту. — Благодарю вас, — ответил Алексей Александрович.- Какой нынче прекрасный день,— прибавил он, по своей привычке особенно налегая на слове «прекрасный». Что они смеялись над ним, ом знал это, но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности; он уже привык к этому. Увидав воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны, вышедшей в дверь, и зовущие к себе прекрасные задумчивые глаза ее, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувядающие белые зубы, и подошел к ней. Туалет Лидии Ивановны стоил ей большого труда, как и все ее туалеты в это последнее время. Цель ее туалета 9і

«Женатый заботится о мирском, как угодить жене, неженатый заботится о господнем, как угодить господу»,— говорит апостол Павел, и Алексей Александрович, во всех делах руководившийся теперь писанием, часто вспоминал этот текст. Ему казалось, что с тех пор, как он остался без жены, он этими самыми проектами более служил господу, чем прежде.

Очевидное нетерпение члена Совета, желавшего уйти от него, не смущало Алексея Александровича; он перестал излагать, только когда член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него.

Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли, потом рассеянно оглянулся и пошел к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Ивановну.

«И как они все сильны и здоровы физически,— думал Алексей Александрович, глядя на могучего с расчесанными душистыми бакенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти.— Справедливо сказано, что все в мире есть зло»,— подумал он, косясь еще раз на икры камергера.

Неторопливо передвигая ноги, Алексей Александрович с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нем, и, глядя в дверь, отыскивал глазами графиню Лидию Ивановну.

— А! Алексей Александрович! — сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склонил голову.— Я вас еще не поздравил,— сказал он, указывая на его новополученную ленту.

— Благодарю вас,— ответил Алексей Александрович.— Какой нынче *прекрасный* день,— прибавил он, по своей привычке особенно налегая на слове «прекрасный».

Что они смеялись над ним, он знал это, но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности; он уже привык к этому.

Увидав воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны, вышедшей в дверь, и зовущие к себе прекрасные задумчивые глаза ее, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувядающие белые зубы, и подошел к ней.

Туалет Лидии Ивановны стоил ей большого труда, как

была теперь совсем обратная той, которую она преследовала тридцать лет тому назад. Тогда ей хотелось украсить себя чем-нибудь, и чем больше, тем лучше. Теперь, напротив, она обязательно была так несоответственно годам и фигуре разукрашена, что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого и казалась ему привлекательною. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которое окружало его. Проходя сквозь строй насмешливых взглядов, он естественно тянулся к ее влюбленному взгляду, как растение к свету. — Поздравляю вас,— сказала она ему, указывая глазами на ленту. Сдерживая улыбку удовольствия, он пожал плечами, закрыв глаза, как бы говоря, что это не может радовать его. Графиня Лидия Ивановна знала хорошо, что это одна из его главных радостей, хотя он никогда и не признается в этом. — Что наш ангел? — сказала графиня Лидия Ивановна, подразумевая Сережу. — Не могу сказать, чтоб я был вполне доволен им,— поднимая брови и открывая глаза, сказал Алексей Александрович. — И Ситников недоволен им. (Ситников был педагог, которому было поручено светское воспитание Сережи.) Как я говорил вам, есть в нем какая-то холодность к тем самым главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка,— начал излагать свои мысли Алексей Александрович по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу,— воспитанию сына. Когда Алексей Александрович с помош;ыо Лидии Ивановны вновь вернулся к жизни и деятельности, он почувствовал своею обязанностью запяться воспитанием оставшегося на его руках сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитания, Алексей Александрович посвятил несколько времени на теоретическое изучение предмета. И прочтя много книг антропологии, педагогики и дидактики, Алексей Александрович составил себе план воспитания и, пригласив лучшего петербургского педагога для руководства, приступил к делу. И дело это постоянно занимало его. 92

была теперь совсем обратная той, которую она преследовала тридцать лет тому назад. Тогда ей хотелось украсить себя чем-нибудь, и чем больше, тем лучше. Теперь, напротив, она обязательно была так несоответственно годам и фигуре разукрашена, что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого и казалась ему привлекательною. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которое окружало его.

Проходя сквозь строй насмешливых взглядов, он естественно тянулся к ее влюбленному взгляду, как растение к свету.

— Поздравляю вас,— сказала она ему, указывая глазами на ленту.

Сдерживая улыбку удовольствия, он пожал плечами, закрыв глаза, как бы говоря, что это не может радовать его. Графиня Лидия Ивановна знала хорошо, что это одна из его главных радостей, хотя он никогда и не признается в этом.

— Что наш ангел? — сказала графиня Лидия Ивановна, подразумевая Сережу.

— Не могу сказать, чтоб я был вполне доволен им,— поднимая брови и открывая глаза, сказал Алексей Александрович.— И Ситников недоволен им. (Ситников был педагог, которому было поручено светское воспитание Сережи.) Как я говорил вам, есть в нем какая-то холодность к тем самым главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка,— начал излагать свои мысли Алексей Александрович по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу,— воспитанию сына.

Когда Алексей Александрович с помощью Лидии Ивановны вновь вернулся к жизни и деятельности, он почувствовал своею обязанностью заняться воспитанием оставшегося на его руках сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитания, Алексей Александрович посвятил несколько времени на теоретическое изучение предмета. И прочтя много книг антропологии, педагогики и дидактики, Алексей Александрович составил себе план воспитания и, пригласив лучшего петербургского педагога для руководства, приступил к делу. И дело это посто-

— Да, но сердце? Я вижу в нем сердце отца, и с таким сердцем ребенок не может быть дурен, — сказала графиня Лидия Ивановна с восторгом. — Да, может быть... Что до меня, то я исполняю свой долг, — все, что я могу сделать. — Вы приедете ко мне, — сказала графиня Лидия Ивановна, помолчав, — нам надо поговорить о грустном для вас деле. Я все бы дала, чтоб избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от нее письмо. Она здесь, в Петербурге. Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но тотчас же на лице его установилась та мертвая неподвижность, которая выражала совершенную беспомощность в этом деле. — Я ждал этого, — сказал он. Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза. XXV Когда Алексей Александрович вошел в маленький, уставленный старинным фарфором и увешанный портретами, уютный кабинет графини Лидии Ивановны, самой хозяйки еще не было. Она переодевалась. На круглом столе была накрыта скатерть и стоял китайский прибор и серебряный спиртовой чайник. Алексей Александрович рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшее на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его. — Ну вот, теперь мы сядем спокойно, — сказала графиня Лидия Ивановна, с взволнованною улыбкой поспешно пролезая между столом и диваном, — и поговорим за нашим чаем. После нескольких слов приготовления графиня Лидия Ивановна, тяжело дыша и краснея, передала в руки Алексея Александровича полученное ею письмо. Прочтя письмо, он долго молчал. — Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей, — сказал он робко, подняв глаза. — Друг мой! Вы ни в ком не видите зла! — Я, напротив, вижу, что все есть зло. Но справедливо ли это?.. 93

— Да, но сердце? Я вижу в нем сердце отца, и с таким сердцем ребенок не может быть дурен, — сказала графиня Лидия Ивановна с восторгом.

— Да, может быть... Что до меня, то я исполняю свой долг,— все, что я могу сделать.

— Вы приедете ко мне,— сказала графиня Лидия Ивановна, помолчав,— нам надо поговорить о грустном для вас деле. Я все бы дала, чтоб избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от *нее* письмо. *Она* здесь, в Петербурге.

Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но тотчас же на лице его установилась та мертвая неподвижность, которая выражала совершенную беспомощность в этом деле.

— Я ждал этого,— сказал он.

Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза.

XXV

Когда Алексей Александрович вошел в маленький, уставленный старинным фарфором и увешанный портретами, уютный кабинет графини Лидии Ивановны, самой хозяйки еще не было. Она переодевалась.

На круглом столе была накрыта скатерть и стоял китайский прибор и серебряный спиртовой чайник. Алексей Александрович рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшее на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его.

— Ну вот, теперь мы сядем спокойно, — сказала графиня Лидия Ивановна, с взволнованною улыбкой поспешно пролезая между столом и диваном,— и поговорим за нашим чаем.

После нескольких слов приготовления графиня Лидия Ивановна, тяжело дыша и краснея, передала в руки Алексея Александровича полученное ею письмо.

Прочтя письмо, он долго молчал.

— Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей,— сказал он робко, подняв глаза.

— Друг мой! Вы ни в ком не видите зла!

в лице его была нерешительность и искание совета, поддержки и руководх^тва в деле, для него непонятном. — Нет,— перебила его графиня Лидия Ивановна.— Есть предел всему. Я понимаю безнравственность,— не совсем искренно сказала опа, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности,— но я не понимаю жестокости, к кому же? к вамі Как оставаться в том городе, где вы? Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и ее низость. — А кто бросит камень? — сказал Алексей Александрович, очевидно довольный своею ролью.— Я все простил и потому я не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нее — любви к сыну... — Но любовь ли, друг мой? Искренно ли это? Положим, вы простили, вы прощаете... но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает ее умершею. Он молится за нее и просит бога простить ее грехи... И так лучше. А тут что он будет думать? — Я не думал этого,— сказал Алексей Александрович, очевидно соглашаясь. Графиня Лидия Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась. — Если вы спрашиваете моего совета, — сказала она, помолившись и открывая лицо, — то я не советую вам делать этого. Разве я не вижу, как вы страдаете, как это раскрыло все ваши раны? Но, положим, вы, как всегда, забываете о себе. Но к чему же это может повести? К новым страданиям с вашей стороны, к мучениям для ребенка? Если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. Нет, я, не колеблясь, не советую, и, если вы разрешаете мне, я напишу к ней. И Алексей Александрович согласился, и графиня Лидия написала следующее французское письмо: «Милостивая государыня. Воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, но вложив в душу ребенка духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу попять отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу всевышнего о милосердии к вам. Графиня Лидия»» 91

В лице его была нерешительность и искание совета, поддержки и руководства в деле, для него непонятном.

— Нет,— перебила его графиня Лидия Ивановна.— Есть предел всему. Я понимаю безнравственность,— не совсем искренно сказала она, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности,— но я не понимаю жестокости, к кому же? к вам! Как оставаться в том городе, где вы? Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и ее низость.

— А кто бросит камень? — сказал Алексей Александрович, очевидно довольный своею ролью.— Я все простил и потому я не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нее — любви к сыну...

— Но любовь ли, друг мой? Искренно ли это? Положим, вы простили, вы прощаете... но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает ее умершею. Он молится за нее и просит бога простить ее грехи... И так лучше. А тут что он будет думать?

— Я не думал этого,— сказал Алексей Александрович, очевидно соглашаясь.

Графиня Лидия Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась.

— Если вы спрашиваете моего совета,— сказала она, помолившись и открывая лицо,— то я не советую вам делать этого. Разве я не вижу, как вы страдаете, как это раскрыло все ваши раны? Но, положим, вы, как всегда, забываете о себе. Но к чему же это может повести? К новым страданиям с вашей стороны, к мучениям для ребенка? Если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. Нет, я, не колеблясь, не советую, и, если вы разрешаете мне, я напишу к ней.

И Алексей Александрович согласился, и графиня Лидия написала следующее французское письмо:

«Милостивая государыня,

Воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу всевышнего о милосердии к вам.

Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну. С своей стороны, Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которое он чувствовал прежде. Воспоминание о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которою он так был свят, как справедливо говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было бы смущать его; но он не был спокоен; он не мог понимать книги, которую он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминание о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности (то в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль), как раскаяние» мучало его. Также мучало его воспоминание о письме, которое он написал ей; в особенности его прощение, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием. И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая все свое прошедшее с нею и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение. «Но в чем же я виноват?» — говорил он себе. И этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос — о том, иначе ли чувствуют, иначе ли любят, иначе ли женятся эти другие люди, эти Вронские, Облонские... эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, не сомневающихся людей, которые невольно всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли, он старался убеждать себя, что он живет не для здешней, временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь. Но то, что он в этой временной, ничтожной жизни сделал, как ему казалось, некоторые ничтожные ошибки, мучало его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это продолжалось недолго, и скоро опять в душе Алексея Александровича восстановилось то спокойствие и та высота, благодаря которым си мог забывать о том, чего не хотел помнить. 95

Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну.

С своей стороны, Алексей Александрэвич, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которое он чувствовал прежде.

Воспоминание о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которою он так был свят, как справедливо говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было бы смущать его; но он не был спокоен; он не мог понимать книги, которую он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминание о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности (то в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль), как раскаяние, мучало его. Также мучало его воспоминание о письме, которое он написал ей; в особенности его прощение, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием.

И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая все свое прошедшее с нею и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение.

«Но в чем же я виноват?» — говорил он себе. И этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос — о том, иначе ли чувствуют, иначе ли любят, иначе ли женятся эти другие люди, эти Вронские, Облонские... эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, не сомневающихся людей, которые невольно всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли, он старался убеждать себя, что он живет не для здешней, временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь. Но то, что он в этой временной, ничтожной жизни сделал, как ему казалось, некоторые ничтожные ошибки, мучало его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это продолжалось недолго, и скоро опять в душе Алексея Александровича

XXVÏ — Ну что, Капитоныч? — сказал Сережа, румяный и веселый возвратившись с гулянья накануне дня своего рождения и отдавая свою сборчатую поддевку высокому, улыбающемуся на маленького человека с высоты своего роста, старому швейцару. — Что, был нынче подвязанный чиновник? Принял папа? — Приняли. Только правитель вышли, я и доложил, — весело подмигнув, сказал швейцар. — Пожалуйте, я сниму. — Сережа! — сказал славянин-гувернер, остановись в дверях, ведших во внутренние комнаты. — Сами снимите. Но Сережа, хотя и слышал слабый голос гувернера, не обратил на него внимания. Он стоял, держась рукой за перевязь швейцара, и смотрел ему в лицо. — Что ж, и сделал для него папа, что надо? Швейцар утвердительно кивнул головой. Подвязанный чиновник, ходивший уже семь раз о чем-то просить Алексея Александровича, интересовал и Сережу и швейцара. Сережа застал его раз в сенях и слышал, как он жалостно просил швейцара доложить о себе, говоря, что ему с детьми умирать приходится. С тех пор Сережа, другой раз встретив чиновника в сенях, заинтересовался им. — Что ж, очень рад был? — спрашивал он. — Как же не рад! Чуть не прыгает пошел отсюда. — А что-нибудь принесли? — спросил Сережа, помолчав. — Ну, сударь, — покачивая головой, шепотом сказал швейцар, — есть от графини. Сережа тотчас понял, что то, о чем говорил швейцар, был подарок от графини Лидии Ивановны к его рожденью. — Что ты говоришь? Где? К папе Корней внес. Должно, хороша штучка! — Как велико? Этак будет? — Поменьше, да хороша. — Книжка? — Нет, штука. Идите, идите. Василий Лукич зовет, — сказал швейцар, слыша приближавшиеся шаги гувернера и осторожно расправляя ручку в до половины снятой перчатке, державшую его за перевязь, и, подмигивая, показывал головой на Вунича. 96

XXVI

— Ну что, Капитоныч? — сказал Сережа, румяный и веселый возвратившись с гулянья накануне дня своего рождения и отдавая свою сборчатую поддевку высокому, улыбающемуся на маленького человека с высоты своего роста, старому швейцару. — Что, был нынче подвязанный чиновник? Принял папа?

— Приняли. Только правитель вышли, я и доложил,— весело подмигнув, сказал швейцар.— Пожалуйте, я сниму.

— Сережа! — сказал славянин-гувернер, остановясь в дверях, ведших во внутренние комнаты. — Сами снимите.

Но Сережа, хотя и слышал слабый голос гувернера, не обратил на него внимания. Он стоял, держась рукой за перевязь швейцара, и смотрел ему в лицо.

— Что ж, и сделал для него папа, что надо?

Швейцар утвердительно кивнул головой.

Подвязанный чиновник, ходивший уже семь раз о чем-то просить Алексея Александровича, интересовал и Сережу и швейцара. Сережа застал его раз в сенях и слышал, как он жалостно просил швейцара доложить о себе, говоря, что ему с детьми умирать приходится.

С тех пор Сережа, другой раз встретив чиновника в сенях, заинтересовался им.

— Что ж, очень рад был? — спрашивал он.

— Как же не рад! Чуть не прыгает пошел отсюда.

— А что-нибудь принесли? — спросил Сережа, помолчав.

— Ну, сударь,— покачивая головой, шепотом сказал швейцар, — есть от графини.

Сережа тотчас понял, что то, о чем говорил швейцар, был подарок от графини Лидии Ивановны к его рожденью.

— Что ты говоришь? Где?

— К папе Корней внес. Должно, хороша штучка!

— Как велико? Этак будет?

— Поменьше, да хороша.

— Книжка?

— Нет, штука. Идите, идите. Василий Лукич зовет, — сказал швейцар, слыша приближавшиеся шаги гувернера и осторожно расправляя ручку в до половины снятой перчатке, державшую его за перевязь, и подмигивая, пока-

— Василий Лукич, сию минуточку! — отвечал Сережа с тою веселою и любящею улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича. Сереже было слитком весело, слитком все было счастливо, чтоб он мог не поделиться со своим другом швейцаром еще семейною радостью, про которую он узнал на гулянье в Летнем саду от племянницы графини Лидии Ивановны. Радость эта особенно важна казалась ему по совпадению с радостью чиновника и своей радостью о том, что принесли игрушки. Сереже казалось, что нынче такой день, в который все должны быть рады и веселы. — Ты знаешь, папа получил Александра Невского? ~ Как не знать! Уж приезжали поздравлять. — Что ж, он рад? — Как царской милости не радоваться! Значит, заслужил,— сказал швейцар строго и серьезно. Сережа задумался, вглядываясь в изученное до малейших подробностей лицо швейцара, в особенности в подбородок, висевший между седыми бакенбардами, который никто не видал, кроме Сережи, смотревшего на него всегда не иначе, как снизу. — Ну, а твоя дочь давно была у тебя? Дочь швейцара была балетная танцовщица. — Когда же ходить по будням? У них тоже ученье. И вам ученье, сударь, идите. Придя в комнату, Сережа, вместо того чтобы сесть за уроки, рассказал учителю свое предположение о том, что то, что принесли, должно быть машина. — Вы как думаете? — спросил он. Но Василий Лукич думал только о том, что надо готовить урок из грамматики для учителя, который придет в два часа. — Нет, вы мне только скажите, Василий Лукич,— спросил он вдруг, уже сидя за рабочим столом и держа в руках книгу,— что больше Александра Невского? Вы знаете, папа получил Александра Невского? Василий Лукич отвечал, что больше Александра Невского есть Владимир. — А выше? — А выше всего Андрей Первозванный. — А выше еще Андрея? — Я не знаю. — Как, и вы не знаете? — И Сережа, облокотившись на руки, углубился в размышления. 4 л. Н. Толстой, т. 9 97

— Василий Лукич, сию минуточку! — отвечал Сережа с тою веселою и любящею улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича.

Сереже было слишком весело, слишком все было счастливо, чтоб он мог не поделиться со своим другом швейцаром еще семейною радостью, про которую он узнал на гулянье в Летнем саду от племянницы графини Лидии Ивановны. Радость эта особенно важна казалась ему по совпадению с радостью чиновника и своей радостью о том, что принесли игрушки. Сереже казалось, что нынче такой день, в который все должны быть рады и веселы.

— Ты знаешь, папа получил Александра Невского?

— Как не знать! Уж приезжали поздравлять.

— Что ж, он рад?

— Как царской милости не радоваться! Значит, заслужил,— сказал швейцар строго и серьезно.

Сережа задумался, вглядываясь в изученное до малейших подробностей лицо швейцара, в особенности в подбородок, висевший между седыми бакенбардами, который никто не видал, кроме Сережи, смотревшего на него всегда не иначе, как снизу.

— Ну, а твоя дочь давно была у тебя?

Дочь швейцара была балетная танцовщица.

— Когда же ходить по будням? У них тоже ученье. И вам ученье, сударь, идите.

Придя в комнату, Сережа, вместо того чтобы сесть за уроки, рассказал учителю свое предположение о том, что то, что принесли, должно быть машина.— Вы как думаете? — спросил он.

Но Василий Лукич думал только о том, что надо готовить урок из грамматики для учителя, который придет в два часа.

— Нет, вы мне только скажите, Василий Лукич,— спросил он вдруг, уже сидя за рабочим столом и держа в руках книгу,— что больше Александра Невского? Вы знаете, папа получил Александра Невского?

Василий Лукич отвечал, что больше Александра Невского есть Владимир.

— А выше?

— А выше всего Андрей Первозванный.

— А выше еще Андрея?

— Я не знаю.

Размышления его были самые сложные и разнообразные. Он соображал о том, как отец его получит вдруг и Владимира и Андрея, и как он вследствие этого нынче на уроке будет гораздо добрее, и как он сам, когда будет большой, получит все ордена и то, что выдумают выше Андрея. Только что выдумают, а он заслуяшт. Они еш;е выше выдумают, а он сейчас и заслужит. В таких размышлениях прошло время, и, когда учитель пришел, урок об обстоятельствах времени и места и образа действия был не готов, и учитель был не только недоволен, но и огорчен. Это огорчение учителя тронуло Сережу. Он чувствовал себя невиноватым за то, что не выучил урока; но как бы он ни старался, он решительно не мог этого сделать: покуда учитель толковал ему, он верил и как будто понимал, но как только он оставался один, он решительно не мог вспомнить и понять, что коротенькое и такое понятное слово «вдруг» есть обстоятельство образа действия. Но все-таки ему жалко было то, что он огорчил учителя, и хотелось утешить его. Он выбрал минуту, когда учитель молча смотрел в книгу. — Михаил Иваныч, когда бывают ваши именины? — спросил он вдруг. — Вы бы лучше думали о своей работе, а именины никакого значения не имеют для разумного суш;ества. Такой же день, как и другие, в которые надо работать. Сережа внимательно посмотрел на учителя, на его редкую бородку, на очки, которые спустились ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не слыхал из того, что ему объяснял учитель. Он понимал, что учитель не думает того, что говорит, он это чувствовал по тону, которым это было сказано. «Но для чего они все сговорились это говорить всё одним манером, всё самое скучное и ненужное? Зачем он отталкивает меня от себя, за что он не любит меня?» — спрашивал он себя с грустью и не мог придумать ответа. XXVII После учителя был урок отца. Пока отец не приходил, Сережа сел к столу, играя ножичком, и стал думать. В числе любимых занятий Сережи было отыскивание своей матери во время гулянья. Он не верил в смерть 98

Размышления его были самые сложные и разнообразные. Он соображал о том, как отец его получит вдруг и Владимира и Андрея, и как он вследствие этого нынче на уроке будет гораздо добрее, и как он сам, когда будет большой, получит все ордена и то, что выдумают выше Андрея. Только что выдумают, а он заслужит. Они еще выше выдумают, а он сейчас и заслужит.

В таких размышлениях прошло время, и, когда учитель пришел, урок об обстоятельствах времени и места и образа действия был не готов, и учитель был не только недоволен, но и огорчен. Это огорчение учителя тронуло Сережу. Он чувствовал себя невиноватым за то, что не выучил урока; но как бы он ни старался, он решительно не мог этого сделать: покуда учитель толковал ему, он верил и как будто понимал, но как только он оставался один, он решительно не мог вспомнить и понять, что коротенькое и такое понятное слово «вдруг» есть *обстоятельство образа действия*. Но все-таки ему жалко было то, что он огорчил учителя, и хотелось утешить его.

Он выбрал минуту, когда учитель молча смотрел в книгу.

— Михаил Иваныч, когда бывают ваши именины? — спросил он вдруг.

— Вы бы лучше думали о своей работе, а именины никакого значения не имеют для разумного существа. Такой же день, как и другие, в которые надо работать.

Сережа внимательно посмотрел на учителя, на его редкую бородку, на очки, которые спустились ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не слыхал из того, что ему объяснял учитель. Он понимал, что учитель не думает того, что говорит, он это чувствовал по тону, которым это было сказано. «Но для чего они все сговорились это говорить всё одним манером, всё самое скучное и ненужное? Зачем он отталкивает меня от себя, за что он не любит меня?» — спрашивал он себя с грустью и не мог придумать ответа.

XXVII

После учителя был урок отца. Пока отец не приходил, Сережа сел к столу, играя ножичком, и стал думать. В числе любимых занятий Сережи было отыскивание

вообще и в особенности в ее смерть, несмотря на то, что Лидия Ивановна сказала ему и отец подтвердил это, и потому и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал ее. Всякая женщина, полная, грациозная, с темными волосами, была его мать. При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо, как он раз вечером лег ей в ноги и она щекотала его, а он хохотал и кусал ее белую с кольцами руку. Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его не умерла, и отец с Лидией Ивановной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехорошая (чему он уже никак не мог верить, потому что любил ее), он точно так же отыскивал и ждал ее. Нынче в Летнем саду была одна дама в лиловом вуале, за которой он с замиранием сердца, ожидая, что это она, следил, в то время как она подходила к ним по дорожке. Дама эта не дошла до них и куда-то скрылась. Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись, ожидая отца, изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя пред собой и думая о ней. — Папа идет! — развлек его Василий Лукич. Сережа вскочил, подошел к отцу и, поцеловав его руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаков радости в получении Александра Невского. — Ты гулял хорошо? — сказал Алексей Александрович, садясь на свое кресло, придвигая к себе книгу Ветхого завета и открывая ее. Несмотря на то, что Алексей Александрович не раз говорил Сереже, что всякий христианин должен знать твердо священную историю, он сам в Ветхом завете часто справлялся с книгой, и Серен^а заметил это. — Да, очень весело было, папа,— сказал Сережа, садясь боком на стул и качая его, что было запрещено.— Я видел Наденьку (Наденька была воспитывавшаяся у Лидии Ивановны ее племянница). Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа? — Во-первых, не качайся, пожалуйста, — сказал Алексей Александрович.— А во-вторых, дорога не награда, а труд. И я желал бы, чтобы ты понимал это. Вот если 4* 99

вообще и в особенности в ее смерть, несмотря на то, что Лидия Ивановна сказала ему и отец подтвердил это, и потому и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал ее. Всякая женщина, полная, грациозная, с темными волосами, была его мать. При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо, как он раз вечером лег ей в ноги и она щекотала его, а он хохотал и кусал ее белую с кольцами руку. Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его не умерла, и отец с Лидией Ивановной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехорошая (чему он уже никак не мог верить, потому что любил ее), он точно так же отыскивал и ждал ее. Нынче в Летнем саду была одна дама в лиловом вуале, за которой он с замиранием сердца, ожидая, что это она, следил, в то время как она подходила к ним по дорожке. Дама эта не дошла до них и куда-то скрылась. Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись, ожидая отца, изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя пред собой и думая о ней.

— Папа идет! — развлек его Василий Лукич.

Сережа вскочил, подошел к отцу и, поцеловав его руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаков радости в получении Александра Невского.

— Ты гулял хорошо? — сказал Алексей Александрович, садясь на свое кресло, придвигая к себе книгу Ветхого завета и открывая ее. Несмотря на то, что Алексей Александрович не раз говорил Сереже, что всякий христианин должен знать твердо священную историю, он сам в Ветхом завете часто справлялся с книгой, и Сережа заметил это.

— Да, очень весело было, папа,— сказал Сережа, садясь боком на стул и качая его, что было запрещено.— Я видел Наденьку (Наденька была воспитывавшаяся у Лидии Ивановны ее племянница). Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа?

— Во-первых, не качайся, пожалуйста,— сказал Алексей Александрович. — А во-вторых, дорога не награ-

ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить гіаграду, то труд тебе покажется тяжел; но когда ты трудишься (говорил Алексей Александрович, вспоминая, как он поддерживал себя сознанием долга при скучном труде нынешнего утра, состоявшем в подписании ста восемнадцати бумаг), любя труд, ты в нем найдешь для себя награду. Блестяш,ие нежностью и весельем глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним — так чувствовал Сережа,— как будто он обраш;ался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком. — Ты понимаешь это, я надеюсь? — сказал отец. — Да, папа, — отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком. Урок состоял в выучении наизусть нескольких стихов из Евангелия и повторении начал Ветхого завета. Стихи из Евангелия Серел^а знал порядочно, но в ту минуту, как он говорил их, он загляделся на кость лба отца, которая загибалась так круто у виска, что он запутался и конец одного стиха на одинаком слове переставил к началу другого. Для Алексея Александровича было очевидно, что он не понимал того, что говорил, и это раздражило его. Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог запомнить, потому что слишком ясно понимал — вроде того, что «вдруг» есть обстоятельство образа действия. Сережа испуганным взглядом смотрел на отца и думал только об одном: заставит или нет отец повторить то, что он сказал, как это бывало иногда. И эта мысль так пугала Сережу, что он уже ничего не понимал. Но отец не заставил повторить и перешел к уроку из Ветхого завета. Сережа рассказал хорошо самые события, но, когда надо было отвечать на вопросы о том, что прообразовали некоторые события, он ничего не знал, несмотря на то, что был уже наказан за этот урок. Место же, где он уже ничего не мог сказать и мялся, и резал стол, и качался на стуле, было то, где ему надо было сказать о допотопных патриархах. Из них он никого не знал, кроме Еноха, взятого живым на небо. 100

ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжел; но когда ты трудишься (говорил Алексей Александрович, вспоминая, как он поддерживал себя сознанием долга при скучном труде нынешнего утра, состоявшем в подписании ста восемнадцати бумаг), любя труд, ты в нем найдешь для себя награду.

Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним — так чувствовал Сережа,— как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком.

— Ты понимаешь это, я надеюсь? — сказал отец.

— Да, папа,— отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком.

Урок состоял в выучении наизусть нескольких стихов из Евангелия и повторении начал Ветхого завета. Стихи из Евангелия Сережа знал порядочно, но в ту минуту, как он говорил их, он загляделся на кость лба отца, которая загибалась так круто у виска, что он запутался и конец одного стиха на одинаком слове переставил к началу другого. Для Алексея Александровича было очевидно, что он не понимал того, что говорил, и это раздражило его.

Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог запомнить, потому что слишком ясно понимал — вроде того, что «вдруг» есть обстоятельство образа действия. Сережа испуганным взглядом смотрел на отца и думал только об одном: заставит или нет отец повторить то, что он сказал, как это бывало иногда. И эта мысль так пугала Сережу, что он уже ничего не понимал. Но отец не заставил повторить и перешел к уроку из Ветхого завета. Сережа рассказал хорошо самые события, но, когда надо было отвечать на вопросы о том, что прообразовали некоторые события, он ничего не знал, несмотря на то, что был уже наказан за этот урок. Место же, где он уже ничего не мог сказать и мялся, и резал стол, и качался на стуле, было то, где ему надо было сказать о допотопных патриархах. Из них

Прежде он помнил имена, но теперь забыл совсем, в особенности потому, что Енох был любимое его лицо изо всего Ветхого завета, и ко взятию Еноха живого на небо в голове его привязывался целый длинный ход мысли, которому он и предался теперь, остановившимися глазами глядя на цепочку часов отца и до половины застегнутую пуговицу жилета. В смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. Это было для него совершенно невозможно и непонятно. Но ему говорили, что все умрут; он спрашивал даже людей, которым верил, и те подтверждали это; няня тоя^е говорила, хотя и неохотно. Но Енох не умер, стало быть, не все умирают. «И почему же и всякий не может так же заслужить пред богом и быть взят живым на небо?» — думал Сережа. Дурные, то есть те, которых Сережа не любил, те могли умереть, но хорошие все могут быть как Енох. — Ну, так какие же патриархи? — Енох, Енос. — Да уж это ты говорил. Дурно, Сережа, очень дурно. Если ты не стараешься узнать того, что нужнее всего для христианина,— сказал отец, вставая, — то что же может занимать тебя? Я недоволен тобой, и Петр Игнатьич (это был главный педагог) недоволен тобой... Я должен наказать тебя. Отец и педагог были оба недовольны Сережей, и действительно, он учился очень дурно. Но никак нельзя было сказать, чтоб он был неспособный мальчик. Напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример Сереже. С точки зрения отца, он не хотел учиться тому, чему его учили. В суіцности же, он не мог этому учиться. Он не мог потому, что в душе его были требования, более для него обязательные, чем те, которые заявляли отец и педагог. Эти требования были в противоречии, и он прямо боролся с своими воспитателями. Ему было девять лет, он был ребенок; но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу. Воспитатели его жаловались, что он не хотел учиться, а душа его была переполнена жаждой познания, И он учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василия Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отец 101

Прежде он помнил имена, но теперь забыл совсем, в особенности потому, что Енох был любимое его лицо изо всего Ветхого завета, и ко взятию Еноха живого на небо в голове его привязывался целый длинный ход мысли, которому он и предался теперь, остановившимися глазами глядя на цепочку часов отца и до половины застегнутую пуговицу жилета.

В смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. Это было для него совершенно невозможно и непонятно. Но ему говорили, что все умрут; он спрашивал даже людей, которым верил, и те подтверждали это; няня тоже говорила, хотя и неохотно. Но Енох не умер, стало быть, не все умирают. «И почему же и всякий не может так же заслужить пред богом и быть взят живым на небо?» — думал Сережа. Дурные, то есть те, которых Сережа не любил, те могли умереть, но хорошие все могут быть как Енох.

— Ну, так какие же патриархи?

— Енох, Енос.

— Да уж это ты говорил. Дурно, Сережа, очень дурно. Если ты не стараешься узнать того, что нужнее всего для христианина,— сказал отец, вставая,— то что же может занимать тебя? Я недоволен тобой, и Петр Игнатьич (это был главный педагог) недоволен тобой... Я должен наказать тебя.

Отец и педагог были оба недовольны Сережей, и действительно, он учился очень дурно. Но никак нельзя было сказать, чтоб он был неспособный мальчик. Напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример Сереже. С точки зрения отца, он не хотел учиться тому, чему его учили. В сущности же, он не мог этому учиться. Он не мог потому, что в душе его были требования, более для него обязательные, чем те, которые заявляли отец и педагог. Эти требования были в противоречии, и он прямо боролся с своими воспитателями.

Ему было девять лет, он был ребенок; но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу. Воспитатели его жаловались, что он не хотел учиться, а душа его была переполнена жаждой познания. И он учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Васи-

ш педагог ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала в другом месте. Отец наказал Сережу, не пустив его к Наденьке, племяннице Лидии Ивановны; но это наказание оказалось к счастию для Сережи. Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветряные мельницы. Целый вечер прошел за работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтобы на ней вертеться: схватиться руками за крылья или привязать себя — и вертеться. О матери Сережа не думал весь вечер, но, уложившись в постель, он вдруг вспомнил о ней и помолился своими словами о том, чтобы мать его завтра, к его рожденью, перестала скрываться и пришла к нему. — Василий Лукич, знаете, о чем я лишнее, не в счет, помолился? — Чтобы учиться лучше? — Нет. — Игрушки? — Нет. Не угадаете. Отличное, но секрет! Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали? — Нет, я не угадаю. Вы скажите, — сказал Василий Лукич, улыбаясь, что с ним редко бывало. — Ну, ложитесь, я тушу свечку. — А мне без свечки виднее то, что я вижу и о чем я молился. Вот чуть было не сказал секрет! — весело засмеявшись, сказал Сережа. Когда унесли свечу, Сережа слышал и чувствовал мать. Она стояла над ним и ласкала его любовным взглядом. Но явились мельницы, ножик, все смешалось, и он заснул. XXVIII Приехав в Петербург, Вронский с Анной остановились в одной из лучших гостиниц. Вронский отдельно, в нижнем этаже, Анна наверху с ребенком, кормилицей и девушкой, в большом отделении, состояш,ем из четырех комнат. В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно; они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же, на другой день приехав утром к Вронскому, 102

и педагог ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала в другом месте.

Отец наказал Сережу, не пустив его к Наденьке, племяннице Лидии Ивановны; но это наказание оказалось к счастию для Сережи. Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветряные мельницы. Целый вечер прошел за работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтобы на ней вертеться: схватиться руками за крылья или привязать себя — и вертеться. О матери Сережа не думал весь вечер, но, уложившись в постель, он вдруг вспомнил о ней и помолился своими словами о том, чтобы мать его завтра, к его рожденью, перестала скрываться и пришла к нему.

— Василий Лукич, знаете, о чем я лишнее, не в счет, помолился?

— Чтобы учиться лучше?

— Нет.

— Игрушки?

— Нет. Не угадаете. Отличное, но секрет! Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали?

— Нет, я не угадаю. Вы скажите,— сказал Василий Лукич, улыбаясь, что с ним редко бывало.— Ну, ложитесь, я тушу свечку.

— А мне без свечки виднее то, что я вижу и о чем я молился. Вот чуть было не сказал секрет! — весело засмеявшись, сказал Сережа.

Когда унесли свечу, Сережа слышал и чувствовал мать. Она стояла над ним и ласкала его любовным взглядом. Но явились мельницы, ножик, все смешалось, и он заснул.

XXVIII

Приехав в Петербург, Вронский с Анной остановились в одной из лучших гостиниц. Вронский отдельно, в нижнем этаже, Анна наверху с ребенком, кормилицей и девушкой, в большом отделении, состоящем из четырех комнат.

В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно; они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Ан-

сам спросил его о ней, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак; что он надеется устроить развод и тогда женится на ней, а до тех пор считает ее такою же своею женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене. — Если свет не одобряет этого, то мне все равно, — сказал Вронский, — но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моею женой. Старший брат, всегда уважавший суждения меньшего, не знал хорошенько, прав ли он, или нет, до тех пор, пока свет не решил этого вопроса; сам же, с своей стороны, ничего не имел против этого и вместе с Алексеем пошел к Анне. Вронский при брате говорил, как и при всех, Анне вы и обраш;ался с нею как с близкою знакомой, но было подразумеваемо, что брат знает их отношения, и говорилось о том, что Анна едет в имение Вронского. Несмотря на всю свою светскую опытность, Вронский, вследствие того нового положения, в котором он находился, был в странном заблуждении. Казалось, ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Анной; но теперь в голове его родились какие-то неясные соображения, что так было только в старину, а что теперь, при быстром прогрессе (он незаметно для себя теперь был сторонником всякого прогресса), что теперь взгляд обпдества изменился и что вопрос о том, будут ли они приняты в общество, еще не решен. «Разумеется, — думал он, — свет придворный не примет ее, но люди близкие могут и должны понять это как следует». Можно просидеть несколько часов сряду, поджав ноги, в одном и том же положении, если знаешь, что ничто пе помешает переменить положение; но если человек знает, что он должен сидеть так с поджатыми ногами, то сделаются судороги, ноги будут дергаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их. Это самое испытывал Вронский относительно света. Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробовал, не изменится ли теперь свет и не примут ли их. Но он очень скоро заметил, что хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред Анной. 103

сам спросил его о ней, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак; что он надеется устроить развод и тогда женится на ней, а до тех пор считает ее такою же своею женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене.

— Если свет не одобряет этого, то мне все равно,— сказал Вронский,— но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моею женой.

Старший брат, всегда уважавший суждения меньшего, не знал хорошенько, прав ли он, или нет, до тех пор, пока свет не решил этого вопроса; сам же, с своей стороны, ничего не имел против этого и вместе с Алексеем пошел к Анне.

Вронский при брате говорил, как и при всех, Анне *вы* и обращался с нею как с близкою знакомой, но было подразумеваемо, что брат знает их отношения, и говорилось о том, что Анна едет в имение Вронского.

Несмотря на всю свою светскую опытность, Вронский, вследствие того нового положения, в котором он находился, был в странном заблуждении. Казалось, ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Анной; но теперь в голове его родились какие-то неясные соображения, что так было только в старину, а что теперь, при быстром прогрессе (он незаметно для себя теперь был сторонником всякого прогресса), что теперь взгляд общества изменился и что вопрос о том, будут ли они приняты в общество, еще не решен. «Разумеется,— думал он,— свет придворный не примет ее, но люди близкие могут и должны понять это как следует».

Можно просидеть несколько часов сряду, поджав ноги, в одном и том же положении, если знаешь, что ничто не помешает переменить положение; но если человек знает, что он должен сидеть так с поджатыми ногами, то сделаются судороги, ноги будут дергаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их. Это самое испытывал Вронский относительно света. Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробовал, не изменится ли теперь свет и не примут ли их. Но он очень скоро заметил, что хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред

Одна из первых дам петербургского света, которую увидел Вронский, была его кузина Бетси. — Наконец! — радостно встретила она его.— А Анна? Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вапіего прелестного путепіествия вам ужасен наш Петербург; я воображаю ваш медовый месяц в Риме. Что развод? Всё это сделали? Вронский заметил, что восхиш.ение Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода еш,е не было. — В меня кинут камень, я знаю,— сказала она,— но я приеду к Анне; да, я непременно приеду. Вы не долго піюбудете здесь? И действительно, она в тот же день приехала к Анне; но тон ее был уже совсем не тот, как прежде. Она, очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтоб Анна оценила верность ее дружбы. Она пробыла не более десяти минут, разговаривая о светских новостях, и при отъезде сказала: — Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут вас бить холодом, пока вы не женитесь. И это так просто теперь. Ça se fait^ Так вы в пятницу едете? Жалко, что мы больше не увидимся. По тону Бетси Вронский мог бы понять, чего ему надо издать от света; но он сделал егце попытку в своем семействе. На мать свою он не надеялся. Он знал, что мать, так восхип^авшаяся Анной во время своего первого знакомства, теперь была неумолима к ней за то, что она была причиной расстройства карьеры сына. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. Ему казалось, что она не бросит камня и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее. На другой же день по своем приезде Вронский поехал к ней и, застав одну, прямо высказал свое желание. — Ты знаешь, Алексей,— сказала она, выслушав его, — как я люблю тебя и как готова все для тебя сделать; но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезною, — сказала она, особенно старательно выговорив «Анна Аркадьевна». — Не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда; может быть, я на ее месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить в подробности, — говорила она, робко * Это обычно ((рранц.). 104

Одна из первых дам петербургского света, которую увидел Вронский, была его кузина Бетси.

— Наконец!— радостно встретила она его.— А Анна? Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург; я воображаю ваш медовый месяц в Риме. Что развод? Всё это сделали?

Вронский заметил, что восхищение Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода еще не было.

— В меня кинут камень, я знаю,— сказала она,— но я приеду к Анне; да, я непременно приеду. Вы не долго пробудете здесь?

И действительно, она в тот же день приехала к Анне; но тон ее был уже совсем не тот, как прежде. Она, очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтоб Анна оценила верность ее дружбы. Она пробыла не более десяти минут, разговаривая о светских новостях, и при отъезде сказала:

— Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут вас бить холодом, пока вы не женитесь. И это так просто теперь. Ça se fait[1]. Так вы в пятницу едете? Жалко, что мы больше не увидимся.

По тону Бетси Вронский мог бы понять, чего ему надо ждать от света; но он сделал еще попытку в своем семействе. На мать свою он не надеялся. Он знал, что мать, так восхищавшаяся Анной во время своего первого знакомства, теперь была неумолима к ней за то, что она была причиной расстройства карьеры сына. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. Ему казалось, что она не бросит камня и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее.

На другой же день по своем приезде Вронский поехал к ней и, застав одну, прямо высказал свое желание.

— Ты знаешь, Алексей,— сказала она, выслушав его,— как я люблю тебя и как готова все для тебя сделать; но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезною,— сказала она, особенно старательно выговорив «Анна Аркадьевна».— Не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда; может быть, я на ее месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить в подробности,— говорила она, робко

взглядывая на его мрачное лицо. — Но надо называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала бы ее и тем реабилитировала бы ее в обществе; но ты пойми, что я не могу этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа. Ну, я приеду к Анне Аркадьевне; она поймет, что я ее не могу звать к себе или должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе; это ее же оскорбит. Я не могу поднять ее... — Да я не считаю, чтоб она упала более, чем сотни женщин, которых вы принимаете! — еще мрачнее перебил ее Вронский и молча встал, поняв, что решение невестки неизменно. — Алексей! Не сердись на меня. Пожалуйста, пойми, что я не виновата, — заговорила Варя, с робкою улыбкой глядя на него. Я не сержусь на тебя, — сказал он так же мрачно,— но мне больно вдвойне. Мне больно еще то, что это разрывает нашу дружбу. Положим, не разрывает, но ослабляет. Ты понимаешь, что и для меня это не может быть иначе. И с этим он вышел от нее. Вронский понял, что дальнейшие попытки тщетны и что надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблениям, которые были так мучительны для него. Одна из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Алексей Александрович и его имя, казалось, были везде. Нельзя было ни о чем начать говорить, чтобы разговор не свернулся на Алексея Александровича; никуда нельзя было поехать, чтобы не встретить его. Так по крайней мере казалось Вронскому, как кажется человеку с больным пальцем, что он, как нарочно, обо все задевает этим самым больным пальцем. Пребывание в Петербурге казалось Вронскому еще тем тяжелее, что все это время он видел в Анне какое-то новое, непонятное для него настроение. То она была как будто влюблена в него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Она чем-то мучалась и чтото скрывала от него п как будто не замечала тех оскорблений, которые отравляли его жизнь и для нее, с ее тонкостью понимания, должны были быть еще мучительнее. 105

взглядывая на его мрачное лицо.— Но надо называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала бы ее и тем реабилитировала бы ее в обществе; но ты пойми, что я *не могу* этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа. Ну, я приеду к Анне Аркадьевне; она поймет, что я ее не могу звать к себе или должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе; это ее же оскорбит. Я не могу поднять ее...

— Да я не считаю, чтоб она упала более, чем сотни женщин, которых вы принимаете! — еще мрачнее перебил ее Вронский и молча встал, поняв, что решение невестки неизменно.

— Алексей! Не сердись на меня. Пожалуйста, пойми, что я не виновата,— заговорила Варя, с робкою улыбкой глядя на него.

— Я не сержусь на тебя, — сказал он так же мрачно,— но мне больно вдвойне. Мне больно еще то, что это разрывает нашу дружбу. Положим, не разрывает, но ослабляет. Ты понимаешь, что и для меня это не может быть иначе.

И с этим он вышел от нее.

Вронский понял, что дальнейшие попытки тщетны и что надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблениям, которые были так мучительны для него. Одна из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Алексей Александрович и его имя, казалось, были везде. Нельзя было ни о чем начать говорить, чтобы разговор не свернулся на Алексея Александровича; никуда нельзя было поехать, чтобы не встретить его. Так по крайней мере казалось Вронскому, как кажется человеку с больным пальцем, что он, как нарочно, обо все задевает этим самым больным пальцем.

Пребывание в Петербурге казалось Вронскому еще тем тяжелее, что все это время он видел в Анне какое-то новое, непонятное для него настроение. То она была как будто влюблена в него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Она чем-то мучалась и что-то скрывала от него и как будто не замечала тех оскорблений, которые отравляли его жизнь и для нее, с ее тонкостью понимания, должны были быть еще мучи-

XXIX Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе; но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обіществе, и она поняла, что устроить свидание было трудно. Она уж два дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала ее, но она егде не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить в сношения с мужем ей было мучительно и подумать: она могла быть спокойна, только когда не думала о муже. Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда он выходит, ей было мало: она так готовилась к этому свиданию, ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, целовать его. Старая няня Сережи могла помочь ей и научить ее. Но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и в разыскиваньях няни прошло два дня. Узнав о близких отношениях Алексея Александровича к графине Лидии Ивановне, Анна на третий день решилась написать ей стоившее ей большого труда письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушия мужа. Опа знала, что, если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушия, не откажет ей. Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный ею ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженною, как в ту минуту, когда, призвав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дожидался и как потом ему сказали: «Ответа никакого не будет». Анна чувствовала себя униженною, оскорбленною, но она видела, что с своей точки зрения графиня Лидия Ивановна права. Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Опа 106

XXIX

Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе; но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обществе, и она поняла, что устро́ить свидание было трудно.

Она уж два дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала ее, но она еще не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить в сношения с мужем ей было мучительно и подумать: она могла быть спокойна, только когда не думала о муже. Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда он выходит, ей было мало: она так готовилась к этому свиданию, ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, целовать его. Старая няня Сережи могла помочь ей и научить ее. Но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и в разысканьях няни прошло два дня.

Узнав о близких отношениях Алексея Александровича к графине Лидии Ивановне, Анна на третий день решилась написать ей стоившее ей большого труда письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушия мужа. Она знала, что, если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушия, не откажет ей.

Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный ею ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженною, как в ту минуту, когда, призвав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дожидался и как потом ему сказали: «Ответа никакого не будет». Анна чувствовала себя униженною, оскорбленною, но она видела, что с своей точки зрения графиня Лидия Ивановна права. Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко.

знала, что для него, несмотря на то, что он был главною причиной ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страданья; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него все, что касалось сына. Просидев дома целый день, она придумывала средства для свиданья с сыном и остановилась на решении написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидии Ивановны. Молчание графини смирило и покорило ее, но письмо, все то, что она прочла между его строками, так раздражило ее, так ей возмутительна показалась эта злоба в сравнении с ее страстною законною нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя. «Эта холодность — притворство чувства! — говорила она себе. — Им нужно только оскорбить меня и измучатъ ребенка, а я стану покоряться им! Ни за что! Она хуже меня. Я не лгу по крайней мере». И тут же она решила, что завтра же, в самый день рожденья Сережи, она поедет прямо в дом к мужу, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы то ни стало увидит сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка. Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в восемь часов, когда Алексей Александрович еще, верно, не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею, с тем чтоб они пустили ее, и, не поднимая вуаля, скажет, что она от крестного отца Сережи приехала поздравить и что ей поручено поставить игрушки у кровати. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать. На другой день, в восемь часов утра, Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома. — Поди посмотри, чего надо. Какая-то барыня, — сказал Капитоныч, еще не одетый, в пальто и калошах, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери. Помощник швейцара, незнакомый Анне молодой малый, только что отворил ей дверь, как она уже вошла 107

знала, что для него, несмотря на то, что он был главною причиной ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страданья; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него все, что касалось сына.

Просидев дома целый день, она придумывала средства для свиданья с сыном и остановилась на решении написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидии Ивановны. Молчание графини смирило и покорило ее, но письмо, все то, что она прочла между его строками, так раздражило ее, так ей возмутительна показалась эта злоба в сравнении с ее страстною законною нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя.

«Эта холодность — притворство чувства! — говорила она себе.— Им нужно только оскорбить меня и измучать ребенка, а я стану покоряться им! Ни за что! Она хуже меня. Я не лгу по крайней мере». И тут же она решила, что завтра же, в самый день рожденья Сережи, она поедет прямо в дом к мужу, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы то ни стало увидит сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка.

Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в восемь часов, когда Алексей Александрович еще, верно, не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею, с тем чтоб они пустили ее, и, не поднимая вуаля, скажет, что она от крестного отца Сережи приехала поздравить и что ей поручено поставить игрушки у кровати. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать.

На другой день, в восемь часов утра, Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома.

— Поди посмотри, чего надо. Какая-то барыня,— сказал Капитоныч, еще не одетый, в пальто и калошах, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери.

Помощник швейцара, незнакомый Анне молодой ма-

в нее и, вынув из муфты трехрублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку. — Сережа... Сергей Алексеич,— проговорила она и пошла было вперед. Осмотрев бумая^ку, помощник швейцара остановил ее у другой стеклянной двери, — Вам кого надо? — спросил он. Она не слышала его слов и ничего не отвечала. Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно. — От князя Скородумова к Сергею Алексеичу,— проговорила она. — Они не встали еще, — внимательно приглядываясь к ней, сказал швейцар. Анна никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся, обстановка передней того дома, где она жила девять лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим, воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновенье забыла, зачем она здесь. — Подождать изволите? — сказал Капитоныч, снимая с нее шубку. Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей. — Пожалуйте, ваше превосходительство, — сказал он ей. Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки; с виноватою мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. — Учитель там, может, раздет. Я доложу. Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик. — Сюда, налево пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь в прея^ней диванной, — отпыхиваясь, говорил швейцар. — Позвольте повременить, ваше превосходительство, я загляну,— говорил он и, обогнав ее, приотворил Гіысокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая. — Только проснулись, — сказал швейцар, опять выходя из двери. И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зеванья. По одному голосу этого зо103

в нее и, вынув из муфты трехрублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку.

— Сережа... Сергей Алексеич,— проговорила она и пошла было вперед. Осмотрев бумажку, помощник швейцара остановил ее у другой стеклянной двери.

— Вам кого надо? — спросил он.

Она не слышала его слов и ничего не отвечала.

Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно.

— От князя Скородумова к Сергею Алексеичу,— проговорила она.

— Они не встали еще,— внимательно приглядываясь к ней, сказал швейцар.

Анна никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся, обстановка передней того дома, где она жила девять лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим, воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновенье забыла, зачем она здесь.

— Подождать изволите? — сказал Капитоныч, снимая с нее шубку.

Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, — сказал он ей.

Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки; с виноватою мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее.

— Учитель там, может, раздет. Я доложу.

Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик.

— Сюда, налево пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь в прежней диванной,— отпыхиваясь, говорил швейцар.— Позвольте повременить, ваше превосходительство, я загляну,— говорил он и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая.— Только проснулись,— сказал швейцар, опять выходя из двери.

И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услы-

ванья она узнала сына и как живого увидала его пред собою. — Пусти, пусти, поди! — заговорила опа и вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этою улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад. — Сережа! — прошептала она, неслышно подходя к нему. Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который она испытывала все это последнее время, она воображала его четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его; он еп^е дальше стал от четырехлетнего, епі,е вырос и похудел. Что это! Как худо его лицо, как коротки его волосы! Как длинны руки! Как изменился он с тех пор, как она оставила его! Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкою шейкой и широкими плечиками. — Сережа! — повторила она над са^мым ухом ребенка. Он поднялся опять на локоть, поводил спутанною головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слипающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам. — Сережа! Мальчик мой милый! — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело. — Мама! — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук. Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи. — Я знал,— открывая глаза, сказал он. — Нынче мое рожденье. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас. И, говоря это, он засыпал. Анна жадно оглядывала его; она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствие. Она узнавала и не узнава109

ванья она узнала сына и как живого увидала его пред собою.

— Пусти, пусти, поди! — заговорила она и вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этою улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад.

— Сережа! — прошептала она, неслышно подходя к нему.

Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который она испытывала все это последнее время, она воображала его четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его; он еще дальше стал от четырехлетнего, еще вырос и похудел. Что это! Как худо его лицо, как коротки его волосы! Как длинны руки! Как изменился он с тех пор, как она оставила его! Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкою шейкой и широкими плечиками.

— Сережа! — повторила она над самым ухом ребенка.

Он поднялся опять на локоть, поводил спутанною головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слипающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам.

— Сережа! Мальчик мой милый! — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.

— Мама! — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук.

Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи.

— Я знал,— открывая глаза, сказал он.— Нынче мое рожденье. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас.

И, говоря это, он засыпал.

ла его голые, такие большие теперь, ноги, выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти похуделые ш,еки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в который она так часто целовала его. Она ош,упывала все это и не могла ничего говорить; слезы душили ее. — О чем же ты плачешь, мама? — сказал он, совершенно проснувшись. — Мама, о чем ты плачешь? — прокричал он плаксивым голосом. — Я? не буду плакать... Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду,— сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. — Ну, тебе одеваться теперь,— оправившись, прибавила она, помолчав, и, не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье. — Как ты одеваешься без меня? Как... — хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась. — Я не моюсь холодною водой, папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье! — И Сережа расхохотался. Она посмотрела на него и улыбнулась. — Мама, душечка, голубушка! — закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь только, увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось.— Это не надо, — говорил он, снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее. — Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла? — Никогда не верил. — Не верил, друг мой? — Я знал, я знал! — говорил он свою любимую фразу и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее. XXX Василий Лукич между тем, не понимавший сначала, кто была эта дама, и узнав из разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа и которую он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении, войти ли ему, или нет, или сообш;ить Алексею Александровичу. Сообразив наконец то, что его обязанность состоит

ла его голые, такие большие теперь, ноги, выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в который она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить; слезы душили ее.

— О чем же ты плачешь, мама? — сказал он, совершенно проснувшись. — Мама, о чем ты плачешь? — прокричал он плаксивым голосом.

— Я? не буду плакать... Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду,— сказала она, глотая слезы и отворачиваясь.— Ну, тебе одеваться теперь,— оправившись, прибавила она, помолчав, и, не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье.

— Как ты одеваешься без меня? Как...— хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась.

— Я не моюсь холодною водой, папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье! — И Сережа расхохотался.

Она посмотрела на него и улыбнулась.

— Мама, душечка, голубушка! — закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь только, увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось.— Это не надо,— говорил он, снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее.

— Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?

— Никогда не верил.

— Не верил, друг мой?

— Я знал, я знал! — говорил он свою любимую фразу и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.

XXX

Василий Лукич между тем, не понимавший сначала, кто была эта дама, и узнав из разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа и которую он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении, войти ли ему, или нет, или сообщить Алексею Александ-

в том, чтобы поднимать Сережу в определенный час и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошел к двери и отворил ее. Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили,— все это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еш;е десять минут»,— сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы. Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня, и что Капитоныч пустил ее, и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в девятом часу сам заходит в детскую, и все понимали, что встреча супругов невозможна и что надо помешать ей. Корней, камердинер, сойдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил ее, и, узнав, что Капитоныч принял и проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует;, Капитоныч подскочил к нему и, замахав руками пред лицом Корнея, заговорил: — Да, вот ты бы не впустил! Десять лет служил, кроме милости, ничего не видал, да ты бы пошел теперь да п сказал: пожалуйте, мол, вон! Ты политику-то тонко понимаешь! Так-то! Ты бы про себя помнил, как барина обирать да енотовые шубы таскать! — Солдат! — презрительно сказал Корней и повернулся ко входившей няне.— Вот судите, Марья Ефимовна: впустил, никому не сказал,— обратился к ней Корней. — Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую. — Дела, дела! — говорила няня.— Вы бы. Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барина-то, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела! Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившись с горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо и игру выражения, ощушіала его руку, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить, надо было оставить его,— только одно это и думала и чувствовала она. Опа слышала и шаги Василия Лукича, подходившего к двери и кашлявшего, слышала и шаги подходившей няни; но сидела, как окаменелая, не в силах ни начать говорить, ни встать. 111

в том, чтобы поднимать Сережу в определенный час и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошел к двери и отворил ее.

Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили,— все это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еще десять минут»,— сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы.

Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня, и что Капитоныч пустил ее, и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в девятом часу сам заходит в детскую, и все понимали, что встреча супругов невозможна и что надо помешать ей. Корней, камердинер, сойдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил ее, и, узнав, что Капитоныч принял и проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует, Капитоныч подскочил к нему и, замахав руками пред лицом Корнея, заговорил:

— Да, вот ты бы не впустил! Десять лет служил, кроме милости, ничего не видал, да ты бы пошел теперь да и сказал: пожалуйте, мол, вон! Ты политику-то тонко понимаешь! Так-то! Ты бы про себя помнил, как барина обирать да енотовые шубы таскать!

— Солдат! — презрительно сказал Корней и повернулся ко входившей няне.— Вот судите, Марья Ефимовна: впустил, никому не сказал,— обратился к ней Корней.— Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую.

— Дела, дела! — говорила няня.— Вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барина-то, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела!

Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившись с горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо и игру выражения, ощущала его руку, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить, надо было оставить его,— только одно это и думала и чувствовала она. Она слышала и шаги Василия Лукича, подходившего к двери и кашлявшего,

— Барыня, голубушка! — заговорила няня, подходя к Анне и целуя ее руки и плечи. — Вот бог привел радость имяниннику. Ничего-то вы не переменились. — Ах, няня, милая, я не знала, что вы в доме, — на минуту очнувшись, сказала Анна. — Я не живу, я с дочерью живу, я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка! Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку. Сережа, сияя глазами и улыбкой и держась одною рукой за мать, другою за няню, топотал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищенье. — Мама! Она часто ходит ко мне, и когда придет...—* начал было он, но остановился, заметив, что няня шепотом что-то сказала матери и что на лице матери выразились испуг и что-то похожее на стыд, что так не шло к матери. Она подошла к нему. — Милый мой! — сказала она. Она не могла сказать прощай^ но выражение ее лица сказало это, и он понял.— Милый, милый Кутик! — проговорила она имя, которым звала его маленьким, — ты ne забудешь меня? Ты... — но больше она не могла говорить. Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему! А теперь она ничего не умела и не могла сказать. Но Сережа понял все, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шепотом говорила няня. Он слышал слова: «Всегда в девятом часу», и он понял, что это говорилось про отца и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал, но одного он не мог понять: почему на ее лице показались испуг и стыд?.. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он хотел сделать вопрос, который разъяснил бы ему это сомнение, но не смел этого сделать: он видел, что она страдает, и ему было жаль ее. Он молча прижался к ней и шепотом сказал: — Еще не уходи. Он не скоро придет. Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы спрашивал ее, как ему надо об отце думать. 112

— Барыня, голубушка! — заговорила няня, подходя к Анне и целуя ее руки и плечи.— Вот бог привел радость имянинник у. Ничего-то вы не переменились.

— Ах, няня, милая, я не знала, что вы в доме,— на минуту очнувшись, сказала Анна.

— Я не живу, я с дочерью живу, я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка!

Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку.

Сережа, сияя глазами и улыбкой и держась одною рукой за мать, другою за няню, топотал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищенье.

— Мама! Она часто ходит ко мне, и когда придет...— начал было он, но остановился, заметив, что няня шепотом что-то сказала матери и что на лице матери выразились испуг и что-то похожее на стыд, что так не шло к матери.

Она подошла к нему.

— Милый мой! — сказала она.

Она не могла сказать *прощай,* но выражение ее лица сказало это, и он понял.— Милый, милый Кутик! — проговорила она имя, которым звала его маленьким,— ты не забудешь меня? Ты... — но больше она не могла говорить.

Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему! А теперь она ничего не умела и не могла сказать. Но Сережа понял все, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шепотом говорила няня. Он слышал слова: «Всегда в девятом часу», и он понял, что это говорилось про отца и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал, но одного он не мог понять: почему на ее лице показались испуг и стыд?.. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он хотел сделать вопрос, который разъяснил бы ему это сомнение, но не смел этого сделать: он видел, что она страдает, и ему было жаль ее. Он молча прижался к ней и шепотом сказал:

— Еще не уходи. Он не скоро придет.

Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы

— Сережа, друг мой,— сказала она,— люби его, он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь. — Лучше тебя нетi..— с отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками. — Душечка, маленький мой! — проговорила Анна и заплакала так же слабо, по-детски, как плакал он. В это время дверь отворилась, вошел Василий Лукич. У другой двери послышались шаги, и няня испуганным шепотом сказала: — Идет,— и подала шляпу Анне. Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову. Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбея^ала из комнаты. Она не успела и вынуть и так и привезла домой те игрушки, которые она с такой любовью и грустью выбирала вчера в лавке. XXXI Как ни сильно желала Анна свиданья с сыном, как ни давно думала о том и готовилась к тому, она никак не оншдала, чтоб это свидание так сильно подействовало на нее. Вернувшись в свое одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. «Да, все это кончено, и я опять одна», — сказала она себе и, не снимая шляпы, села на стоявшее у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать. Девушка-француженка, привезенная из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на нее и сказала: — После. Лакей предложил кофе. — После, — сказала она. 113

— Сережа, друг мой,— сказала она,— люби его, он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.

— Лучше тебя нет!..— с отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками.

— Душечка, маленький мой! — проговорила Анна и заплакала так же слабо, по-детски, как плакал он.

В это время дверь отворилась, вошел Василий Лукич. У другой двери послышались шаги, и няня испуганным шепотом сказала:

— Идет,— и подала шляпу Анне.

Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову.

Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбежала из комнаты.

Она не успела и вынуть и так и привезла домой те игрушки, которые она с такой любовью и грустью выбирала вчера в лавке.

XXXI

Как ни сильно желала Анна свиданья с сыном, как ни давно думала о том и готовилась к тому, она никак не ожидала, чтоб это свидание так сильно подействовало на нее. Вернувшись в свое одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. «Да, все это кончено, и я опять одна», — сказала она себе и, не снимая шляпы, села на стоявшее у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать.

Девушка-француженка, привезенная из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на нее и сказала:

— После.

Лакей предложил кофе.

Кормилица-итальянка, убрав девочку, вошла с нею и поднесла ее Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями книзу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала как рыба поплавками, загребать ручонками, шурша ими по крахмаленым складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку, нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом; нельзя было не подставить ей губу, которую она, в виде поцелуя, забрала в ротик. И все это сделала Анна, и взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щ;ечку и оголенные локотки, но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. Все в этой девочке было мило, но все это почему-то не забирало за сердце. На первого ребенка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения; девочка была рождена в самых тяжелых условиях, и на нее не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке все было егде ожидания, а Сережа был уже почти человек, и любимый человек; в нем уже боролись мысли, чувства; он понимал, он любил, он судил ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было. Она отдала девочку кормилице, отпустила ее и открыла медальон, в котором был портрет Сережи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала и, сняв шляпу, взяла на столике альбом, в котором были фотографические карточки сына в других возрастах. Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она,

вынув карточку, бывшую рядом (это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой шляпе и с длин114

Кормилица-итальянка, убрав девочку, вошла с нею и поднесла ее Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями книзу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала как рыба поплавками, загребать ручонками, шурша ими по крахмаленым складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку, нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом; нельзя было не подставить ей губу, которую она, в виде поцелуя, забрала в ротик. И все это сделала Анна, и взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щечку и оголенные локотки, но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. Все в этой девочке было мило, но все это почему-то не забирало за сердце. На первого ребенка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения; девочка была рождена в самых тяжелых условиях, и на нее не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке все было еще ожидания, а Сережа был уже почти человек, и любимый человек; в нем уже боролись мысли, чувства; он понимал, он любил, он судил ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было.

Она отдала девочку кормилице, отпустила ее и открыла медальон, в котором был портрет Сережи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала и, сняв шляпу, взяла на столике альбом, в котором были фотографические карточки сына в других возрастах. Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе,

ными волосами), ею вытолкнула карточку сына. «Да, вот он!» — сказала опа, взглянув па карточку Вронского, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем все это утро. Но теперь вдруг, увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему. «Да где же он? Как же он оставляет меня одну с моими страданиями?» — вдруг с чувством упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала от него все, касавшееся сына. Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же; с замиранием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения его любви, которые утешат ее, она ждала его. Посланный вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет и приказал спросить, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. «Не один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня, — подумала она, — не так придет, чтоб я могла все высказать ему, а придет с Яшвиным». И вдруг ей пришла странная мысль: что, если он разлюбил ее? И, перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли: и то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, чтоб они в Петербурге остановились врознь, и то, что он даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свиданья с глазу на глаз. «Но он должен сказать мне это. Мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю», — говорила она себе, не в силах представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее, она чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбужденною. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней. Она услыхала звонок прежде, чем была готова. Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил се взглядом. Он рассматривал карточки ее сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на нее. — Мы знакомы, — сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося (что так странно 115

ными волосами), ею вытолкнула карточку сына. «Да, вот он!» — сказала она, взглянув на карточку Вронского, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем все это утро. Но теперь вдруг, увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему.

«Да где же он? Как же он оставляет меня одну с моими страданиями?» — вдруг с чувством упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала от него все, касавшееся сына. Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же; с замиранием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения его любви, которые утешат ее, она ждала его. Посланный вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет и приказал спросить, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. «Не один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня, — подумала она,— не так придет, чтоб я могла все высказать ему, а придет с Яшвиным». И вдруг ей пришла странная мысль: что, если он разлюбил ее?

И, перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли: и то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, чтоб они в Петербурге остановились врозь, и то, что он даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свиданья с глазу на глаз.

«Но он должен сказать мне это. Мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю»,— говорила она себе, не в силах представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее, она чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбужденною. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней.

Она услыхала звонок прежде, чем была готова.

Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил ее взглядом. Он рассматривал карточки ее сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на нее.

— Мы знакомы, — сказала она, кладя свою маленькую

было при его громадном росте и грубом лице) Яшвина. — Знакомы с прошлого года, на скачках. Дайте, — сказала она, быстрым движением отбирая от Вронского карточки сына, которые он смотрел, и значительно блестящими глазами взглядывая на него. — Нынешний год хороши были скачки? Вместо этих я смотрела скачки на Корсо в Риме. Вы, впрочем, не любите заграничной жизни, — сказала она, ласково улыбаясь. — Я вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалась с вами. — Это мне очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурные,— сказал Яшвин, закусывая свой левый ус. Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, долго ли она пробудет еще в Петербурге, и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи. — Кажется, недолго, — сказала она с замешательством, взглянув на Вронского. — Так и не увидимся больше? — сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому.— Где ты обедаешь? — Приезжайте обедать ко мне, — решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснея, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение. — Обед здесь не хорош, но по крайней мере вы увидитесь с ним. Алексей изо всех полковых никого не любит, как вас. — Очень рад,— сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему. Яшвин раскланялся и вышел, Вронский остался позади. — Ты тоже едешь? — сказала она ему. — Я уже опоздал, — отвечал он.— Иди! Я сейчас догоню тебя, — крикнул он Яшвину. Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, что бы сказать, чтоб удержать его. — Постой, мне кое-что надо сказать, — и, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее. — Да, ничего, что я позвала его обедать? — Прекрасно сделала, — сказал он со спокойной улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку. — Алексей, ты не изменился ко мне? — сказала она, обеими руками сжимая его руку. — Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем? 116

было при его громадном росте и грубом лице) Яшвина. — Знакомы с прошлого года, на скачках. Дайте,— сказала она, быстрым движением отбирая от Вронского карточки сына, которые он смотрел, и значительно блестящими глазами взглядывая на него.— Нынешний год хороши были скачки? Вместо этих я смотрела скачки на Корсо в Риме. Вы, впрочем, не любите заграничной жизни,— сказала она, ласково улыбаясь.— Я вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалась с вами.

— Это мне очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурные,— сказал Яшвин, закусывая свой левый ус.

Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, долго ли она пробудет еще в Петербурге, и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи.

— Кажется, недолго,— сказала она с замешательством, взглянув на Вронского.

— Так и не увидимся больше? — сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому.— Где ты обедаешь?

— Приезжайте обедать ко мне,— решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснея, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение.— Обед здесь не хорош, но по крайней мере вы увидитесь с ним. Алексей изо всех полковых никого не любит, как вас.

— Очень рад,— сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему.

Яшвин раскланялся и вышел, Вронский остался позади.

— Ты тоже едешь? — сказала она ему.

— Я уже опоздал,— отвечал он.— Иди! Я сейчас догоню тебя, — крикнул он Яшвину.

Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, что бы сказать, чтоб удержать его.

— Постой, мне кое-что надо сказать,— и, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее.— Да, ничего, что я позвала его обедать?

— Прекрасно сделала,— сказал он со спокойной улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку.

— Алексей, ты не изменился ко мне? — сказала она, обеими руками сжимая его руку.— Алексей, я измучи-

— Скоро^ скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь, — сказал он и потянул свою руку. — Ну, иди, иди! — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него. XXXП Когда Вронский вернулся домой, Анны не было еще дома. Вскоре после него, как ему сказали, к ней приехала какая-то дама, и она с нею вместе уехала. То, что она уехала, не сказав куда, то, что ее до сих пор не было, то, что она утром еще ездила куда-то, ничего не сказав ему, — все это, вместе со странно возбулщенным выражением ее лица нынче утром и с воспоминанием того враждебного тона, с которым она при Яшвине почти вырвала из его рук карточки сына, заставило его задуматься. Он решил, что необходимо объясниться с ней. И он ждал ее в ее гостиной. Но Анна вернулась не одна, а привезла с собой свою тетку, старую деву, княжну Облонскую. Это была та самая, которая приезл^ала утром и с которою Анна ездила за покупками. Анна как будто не замечала Еырал^ения лица Вронского, озабоченного и вопросительного, и весело рассказывала ему, что она купила нынче утром. Он видел, что в ней происходило что-то особенное: в блестящих глазах, когда они мельком останавливались на нем, было напряженное внимание, и в речи и двил^ениях была та нервная быстрота и грация, которые в первое время их сближения так прельщали его, а теперь тревожили и пугали. Обед был накрыт на четырех. Все уже собрались, чтобы выйти в маленькую столовую, как приехал еще Туші:евич с поручением к Анне от княгини Бетси. Княгиня Бетси просила извинить, что она не приехала проститься; она была нездорова, но просила Анну приехать к ней діежду половиной седьмого и девятью часами. Вронский взглянул на Анну при этом определении времени, показывавшем, что были приняты меры, чтоб она никого не встретила; но Анна как будто и не заметила этого. — Очень жалко, что я именно не могу между половиной седьмого и девятью, — сказала она, чуть улыбаясь. — Княгиня очень будет жалеть. — И я тоже. — Вы, верно, едете слушать Патти? — сказал Тушкевич. 117

— Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь,— сказал он и потянул свою руку.

— Ну, иди, иди! — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.

XXXII

Когда Вронский вернулся домой, Анны не было еще дома. Вскоре после него, как ему сказали, к ней приехала какая-то дама, и она с нею вместе уехала. То, что она уехала, не сказав куда, то, что ее до сих пор не было, то, что она утром еще ездила куда-то, ничего не сказав ему,— все это, вместе со странно возбужденным выражением ее лица нынче утром и с воспоминанием того враждебного тона, с которым она при Яшвине почти вырвала из его рук карточки сына, заставило его задуматься. Он решил, что необходимо объясниться с ней. И он ждал ее в ее гостиной. Но Анна вернулась не одна, а привезла с собой свою тетку, старую деву, княжну Облонскую. Это была та самая, которая приезжала утром и с которою Анна ездила за покупками. Анна как будто не замечала выражения лица Вронского, озабоченного и вопросительного, и весело рассказывала ему, что она купила нынче утром. Он видел, что в ней происходило что-то особенное: в блестящих глазах, когда они мельком останавливались на нем, было напряженное внимание, и в речи и движениях была та нервная быстрота и грация, которые в первое время их сближения так прельщали его, а теперь тревожили и пугали.

Обед был накрыт на четырех. Все уже собрались, чтобы выйти в маленькую столовую, как приехал еще Тушкевич с поручением к Анне от княгини Бетси. Княгиня Бетси просила извинить, что она не приехала проститься; она была нездорова, но просила Анну приехать к ней между половиной седьмого и девятью часами. Вронский взглянул на Анну при этом определении времени, показывавшем, что были приняты меры, чтоб она никого не встретила; но Анна как будто и не заметила этого.

— Очень жалко, что я именно не могу между половиной седьмого и девятью,— сказала она, чуть улыбаясь.

— Княгиня очень будет жалеть.

— И я тоже.

Вы, верно, опять играть? — сказал Тушкевич

— Патти? Вы мне даете мысль. Я поехала бы, если бы можно было достать ложу. — Я могу достать, — вызвался Тушкевич. — Я бы очень, очень была вам благодарна, — сказала Анна. — Да не хотите ли с нами обедать? Вронский пожал чуть заметно плечами. Он решительно не понимал, что делала Анна. Зачем она привезла эту старую княжну, зачем оставляла обедать Тушкевича и, удивительнее всего, зачем посылала его за ложей? Разве возможно было думать, чтобы в ее положении ехать в абонемент Патти, где будет весь ей знакомый свет? Он серьезным взглядом посмотрел на нее, но она ответила ему тем же вызываюпі,им, не то веселым, не то отчаянным взглядом, значение которого он не мог понять. За обедом Анна была наступательно весела: она как будто кокетничала с Тушкевичем и Яшвиным. Когда встали от обеда и Тушкевич поехал за ложей, а Яшвин пошел курить, Вронский сошел с ним вместе к себе. Посидев несколько времени, он взбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шелковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытою грудью, и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявптм ее лицо и особенно выгодно выставлявшим ее яркую красоту. — Вы точно поедете в театр? — сказал он, стараясь не смотреть на нее. — Отчего же вы так испуганно спрашиваете? — вновь оскорбленная тем, что он не смотрел на нее, сказала она. — Отчего же мне не ехать? Она как будто не понимала значения его слов. — Разумеется, нет никакой причины, — нахмурившись, сказал он. — Вот это самое я и говорю,— сказала она, умышленно не понимая иронии его тона и спокойно заворачивая длинную душистую перчатку. — Анна, ради бога! что с вами? — сказал он, будя ее, точно так же как говорил ей когда-то ее муж. — Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. — Вы знаете, что нельзя ехать. — Отчего? Я поеду не одна. Княжна Варвара поехала одеваться, она поедет со мной. Он пожал плечами с видом недоумения и отчаяния. — Но разве вы не знаете... — начал было он. — Да я не хочу знать! — почти вскрикнула она. — Не хочу. Раскаиваюсь я в том, что сделала? Нет, нет и нет. Н8

— Патти? Вы мне даете мысль. Я поехала бы, если бы можно было достать ложу.

— Я могу достать,— вызвался Тушкевич.

— Я бы очень, очень была вам благодарна,— сказала Анна.— Да не хотите ли с нами обедать?

Вронский пожал чуть заметно плечами. Он решительно не понимал, что делала Анна. Зачем она привезла эту старую княжну, зачем оставляла обедать Тушкевича и, удивительнее всего, зачем посылала его за ложей? Разве возможно было думать, чтобы в ее положении ехать в абонемент Патти, где будет весь ей знакомый свет? Он серьезным взглядом посмотрел на нее, но она ответила ему тем же вызывающим, не то веселым, не то отчаянным взглядом, значение которого он не мог понять. За обедом Анна была наступательно весела: она как будто кокетничала с Тушкевичем и Яшвиным. Когда встали от обеда и Тушкевич поехал за ложей, а Яшвин пошел курить, Вронский сошел с ним вместе к себе. Посидев несколько времени, он взбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шелковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытою грудью, и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявшим ее лицо и особенно выгодно выставлявшим ее яркую красоту.

— Вы точно поедете в театр? — сказал он, стараясь не смотреть на нее.

— Отчего же вы так испуганно спрашиваете? — вновь оскорбленная тем, что он не смотрел на нее, сказала она.— Отчего же мне не ехать?

Она как будто не понимала значения его слов.

— Разумеется, нет никакой причины,— нахмурившись, сказал он.

— Вот это самое я и говорю,— сказала она, умышленно не понимая иронии его тона и спокойно заворачивая длинную душистую перчатку.

— Анна, ради бога! что с вами? — сказал он, будя ее, точно так же как говорил ей когда-то ее муж.

— Я не понимаю, о чем вы спрашиваете.

— Вы знаете, что нельзя ехать.

— Отчего? Я поеду не одна. Княжна Варвара поехала одеваться, она поедет со мной.

Он пожал плечами с видом недоумения и отчаяния.

— Но разве вы не знаете...— начал было он.

— Да я не хочу знать! — почти вскрикнула она.— Не

и если б опять то же, то было бы опять то же. Для нас, для меня и для вас, важно только одно: любим ли мы друг друга. А других нет соображений. Для чего мы живем здесь врозь и не видимся? Почему я не могу ехать? Я тебя люблю, и мне все равно, — сказала она по-русски, с особенным, непонятным ему блеском глаз взглянув на него, — если ты не изменился. Отчего же ты не смотришь на меня? Он посмотрел на нее. Он видел всю красоту ее лица и наряда, всегда так шедшего к ней. Но теперь именно красота и элегантность ее были то самое, что раздражало -его. — Чувство мое не может измениться, вы знаете, но я прошу не ездить, умоляю вас, — сказал он опять пофранцузски с нежною мольбой в голосе, но с холодностью во взгляде. Она не слышала слов, но видела холодность взгляда и с раздражением отвечала: — А я прошу вас объявить, почему я не должна ехать. — Потому, что это может причинить вам то... — Он замялся. — Ничего не понимаю. Яшвин n’est pas compromettant ^ и княжна Варвара ничем не хуже других. А вот и опа. XXXIII Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы за ее умышленное непонимание своего положения. Чувство это усиливалось еще тем, что он не мог выразить ей причину своей досады. Если б он сказал ей прямо то, что он думал, то он сказал бы: «В этом наряде, с известной всем княжной появиться в театре — значило не только пріізнать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него». Он не мог сказать ей это. «Но как она может не понимать этого, и что в пей делается?» — говорил он себе. Он чувствовал, как в одно и то же время уважение его к ней уменьшалось и увеличивалось сознание ее красоты. Нахмуренный вернулся он в свой номер и, подсев к Яшвину, вытянувшему свои длинные ноги на стул ^ не может компрометировать (франц.). 119

И если б опять то же, то было бы опять то же. Для нас, для меня и для вас, важно только одно: любим ли мы друг друга. А других нет соображений. Для чего мы живем здесь врозь и не видимся? Почему я не могу ехать? Я тебя люблю, и мне все равно, — сказала она по-русски, с особенным, непонятным ему блеском глаз взглянув на него, — если ты не изменился. Отчего же ты не смотришь на меня?

Он посмотрел на нее. Он видел всю красоту ее лица и наряда, всегда так шедшего к ней. Но теперь именно красота и элегантность ее были то самое, что раздражало его.

— Чувство мое не может измениться, вы знаете, но я прошу не ездить, умоляю вас,— сказал он опять по-французски с нежною мольбой в голосе, но с холодностью во взгляде.

Она не слышала слов, но видела холодность взгляда и с раздражением отвечала:

— А я прошу вас объявить, почему я не должна ехать.

— Потому, что это может причинить вам то...— Он замялся.

— Ничего не понимаю. Яшвин n'est pas compromettant[1], и княжна Варвара ничем не хуже других. А вот и она.

XXXIII

Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы за ее умышленное непонимание своего положения. Чувство это усиливалось еще тем, что он не мог выразить ей причину своей досады. Если б он сказал ей прямо то, что он думал, то он сказал бы: «В этом наряде, с известной всем княжной появиться в театре — значило не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него».

Он не мог сказать ей это. «Но как она может не понимать этого, и что в ней делается?» — говорил он себе. Он чувствовал, как в одно и то же время уважение его к ней уменьшалось и увеличивалось сознание ее красоты.

Нахмуренный вернулся он в свой номер и, подсев к Яшвину, вытянувшему свои длинные ноги на стул

и пившему коньяк о сельтерской водой, велел себе подать того же. — Ты говоришь, Могучий Ланковского. Это лошадь хорошая, и я советую тебе купить, — сказал Яшвин, оглянув мрачное лицо товаріща. — У него вислозадина, но ноги и голова — желать лучше нельзя. — Я думаю, что возьму, — отвечал Вронский. Разговор о лошадях занимал его, но ни на минуту он не забывал Анны, невольно прислушивался к звукам шагов по коридору и поглядывал на часы на камине. — Анна Аркадьевна приказала доложить, что они поехали в театр. Яшвин, опрокинув еш,е рюмку коньяку в шипящую воду, выпил и встал, застегиваясь. — Что ж поедем,— сказал он, чуть улыбаясь под усами и показывая этою улыбкой, что понимает причину мрачности Вронского, но не придает ей значения. — Я не поеду, — мрачно отвечал Вронский. — А мне надо, я обещал. Ну, до свиданья. А то приезжай в кресла, Красинского кресло возьми, — прибавил Яшвин, выходя. — Нет, мне дело есть. «С женой забота, с не-женою еще хуже», — подумал Яшвин, выходя из гостиницы. Вронский, оставшись один, встал со стула и принялся ходить по комнате. «Да нынче что? Четвертый абонемент... Егор с женою там и мать, вероятно. Это значит — весь Петербург там. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свет. Тушкевич, Яшвин, княяша Варвара... — представлял он себе.— Что ж я-то? Или я боюсь, или передал покровительство над ней Тушкевичу? Как ни смотри — глупо, глупо... И зачем она ставит меня в это положение?» — сказал он, махнув рукой. Этим движением он зацепил столик, на котором стояла бутылка сельтерской воды и графин с коньяком, и чуть не столкнул его. Он хотел подхватить, уронил и с досады толкнул ногой стол и позвонил. — Если ты хочешь служить у меня,— сказал он вошедшему камердинеру, — то помни свое дело. Чтоб этого не было. Ты должен убрать. Камердинер, чувствуя себя ни в чем не виноватым, хотел оправдываться, но, взглянув на барина, понял по, его лицу, что надо только молчать, и, поспешно извива120

и пившему коньяк с сельтерской водой, велел себе подать того же.

— Ты говоришь, Могучий Ланковского. Это лошадь хорошая, и я советую тебе купить,— сказал Яшвин, оглянув мрачное лицо товарища.— У него вислозадина, но ноги и голова — желать лучше нельзя.

— Я думаю, что возьму,— отвечал Вронский.

Разговор о лошадях занимал его, но ни на минуту он не забывал Анны, невольно прислушивался к звукам шагов по коридору и поглядывал на часы на камине.

— Анна Аркадьевна приказала доложить, что они поехали в театр.

Яшвин, опрокинув еще рюмку коньяку в шипящую воду, выпил и встал, застегиваясь.

— Что ж поедем,— сказал он, чуть улыбаясь под усами и показывая этою улыбкой, что понимает причину мрачности Вронского, но не придает ей значения.

— Я не поеду,— мрачно отвечал Вронский.

— А мне надо, я обещал. Ну, до свиданья. А то приезжай в кресла, Красинского кресло возьми,— прибавил Яшвин, выходя.

— Нет, мне дело есть.

«С женой забота, с не-женою еще хуже», — подумал Яшвин, выходя из гостиницы.

Вронский, оставшись один, встал со стула и принялся ходить по комнате.

«Да нынче что? Четвертый абонемент... Егор с женою там и мать, вероятно. Это значит — весь Петербург там. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свет. Тушкевич, Яшвин, княжна Варвара...— представлял он себе.— Что ж я-то? Или я боюсь, или передал покровительство над ней Тушкевичу? Как ни смотри — глупо, глупо... И зачем она ставит меня в это положение?» — сказал он, махнув рукой.

Этим движением он зацепил столик, на котором стояла бутылка сельтерской воды и графин с коньяком, и чуть не столкнул его. Он хотел подхватить, уронил и с досады толкнул ногой стол и позвонил.

— Если ты хочешь служить у меня,— сказал он вошедшему камердинеру, — то помни свое дело. Чтоб этого не было. Ты должен убрать.

Камердинер, чувствуя себя ни в чем не виноватым, хотел оправдываться, но, взглянув на барина, понял по

ясъ, опустился на ковер и стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки. — Это не твое дело, пошли лакея убирать и приготовь мне фрак. Вронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер-старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал «ваше сиятельство» и предложил не брать нумерка, а просто крикнуть Федора. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из-за притворенной двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женскрго голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплесканий из-за двери, что каданс кончился. Когда он вошел в ярко освеш,енную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум еще продолжался. На сцене певица, блестя обнаженными плечами и бриллиантами^ нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты и подходила к господину с рядом посередине блестевших помадой волос, тянувшемуся длинными руками через рампу с какою-то вещью, — и вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче менее, чем когда-нибудь, обратил он внимание на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре. Те же, как всегда, были но ложам какие-то дамы с какими-то офицерами в задах лож; те же, бог знает кто, разноцветные женщины, и мундиры, и сюртуки; та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе, в ложах и в первых рядах были человек сорок настоящих мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание и с ними тотчас же вошел в сношение. 121

ясь, опустился на ковер и стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки.

— Это не твое дело, пошли лакея убирать и приготовь мне фрак.

Вронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер-старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал «ваше сиятельство» и предложил не брать нумерка, а просто крикнуть Федора. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из-за притворенной двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женского голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплесканий из-за двери, что каданс кончился. Когда он вошел в ярко освещенную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум еще продолжался. На сцене певица, блестя обнаженными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты и подходила к господину с рядом посередине блестевших помадой волос, тянувшемуся длинными руками через рампу с какою-то вещью,— и вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче менее, чем когда-нибудь, обратил он внимание на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре.

Те же, как всегда, были по ложам какие-то дамы с какими-то офицерами в задах лож; те же, бог знает кто, разноцветные женщины, и мундиры, и сюртуки; та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе, в ложах и в первых рядах были человек сорок *настоящих* мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил

Акт кончился, когда он вошел, и потому он, не заходя в ложу брата, прошел до первого ряда и остановился у рампы с Серпуховским, который, согнув колено и постукивая каблуком в рампу и издалека увидав его, подозвал к себе улыбкой. Вронский еще не видал Анны, он нарочно не смотрел в ее сторону. Но он знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал ее; ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. Иа его счастье, Алексея Александровича нынешний раз не было в театре. — Как в тебе мало осталось военного! — сказал ему Серпуховской. — Дипломат, артист, вот этакое что-то. — Да, я как домой вернулся, так надел фрак,— отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль. — Вот в этом я, признаюсь, тебе завидую. Я когда возвращаюсь из-за границы и надеваю это, — он тронул эксельбанты, — мне жалко свободы. Серпуховской уже давно махнул рукой на служебную деятельность Вронского, но любил его по-прежнему и теперь был с ним особенно любезен. — Жалко, ты опоздал к первому акту. Вронский, слушая одним ухом, переводил бинокль с бенуара на бельэтаж и оглядывал ложи. Подле дамы в тюрбане и плешивого старичка, сердито мигавшего в стекле подвигавшегося бинокля, Вронский вдруг увидал голову Анны, гордую, поразительно красивую и улыбающуюся в рамке кружев. Она была в пятом бенуаре, в двадцати шагах от него. Сидела она спереди и, слегка оборотившись, говорила что-то Яшвину. Постанов ее головы на красивых и широких плечах и сдержанно-возбужденное сияние ее глаз и всего лица напомнили ему ее такою совершенно, какою он увидел ее на бале в Москве. Но он совсем ипаче теперь ощущал эту красоту. В чувстве его к ней теперь не было ничего таинственного, и потому красота ее, хотя и сильнее, чем прежде, привлекала его, вместе с те^м теперь оскорбляла его. Она не смотрела в его сторону, но Вронский чувствовал, что она уже видела его. Когда Вронский опять навел в ту сторону бинокль, он заметил, что кпяя^на Варвара особенно красна, неестественно смеется и беспрестанно оглядывается на соседнюю ложу; Анна л^е, сложив веер и постукивая им по красно122

Акт кончился, когда он вошел, и потому он, не заходя в ложу брата, прошел до первого ряда и остановился у рампы с Серпуховским, который, согнув колено и постукивая каблуком в рампу и издалека увидав его, подозвал к себе улыбкой.

Вронский еще не видал Анны, он нарочно не смотрел в ее сторону. Но он знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал ее; ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. На его счастье, Алексея Александровича нынешний раз не было в театре.

— Как в тебе мало осталось военного!— сказал ему Серпуховской. — Дипломат, артист, вот этакое что-то.

— Да, я как домой вернулся, так надел фрак,— отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль.

— Вот в этом я, признаюсь, тебе завидую. Я когда возвращаюсь из-за границы и надеваю это,— он тронул эксельбанты,— мне жалко свободы.

Серпуховской уже давно махнул рукой на служебную деятельность Вронского, но любил его по-прежнему и теперь был с ним особенно любезен.

— Жалко, ты опоздал к первому акту.

Вронский, слушая одним ухом, переводил бинокль с бенуара на бельэтаж и оглядывал ложи. Подле дамы в тюрбане и плешивого старичка, сердито мигавшего в стекле подвигавшегося бинокля, Вронский вдруг увидал голову Анны, гордую, поразительно красивую и улыбающуюся в рамке кружев. Она была в пятом бенуаре, в двадцати шагах от него. Сидела она спереди и, слегка оборотившись, говорила что-то Яшвину. Постанов ее головы на красивых и широких плечах и сдержанно-возбужденное сияние ее глаз и всего лица напомнили ему ее такою совершенно, какою он увидел ее на бале в Москве. Но он совсем иначе теперь ощущал эту красоту. В чувстве его к ней теперь не было ничего таинственного, и потому красота ее, хотя и сильнее, чем прежде, привлекала его, вместе с тем теперь оскорбляла его. Она не смотрела в его сторону, но Вронский чувствовал, что она уже видела его.

Когда Вронский опять навел в ту сторону бинокль, он заметил, что княжна Варвара особенно красна, неестественно смеется и беспрестанно оглядывается на соседнюю

му бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней лол^е. На лице Яшвина было то выражение, которое бывало на нем, когда он проигрывал. Он, насупившись, засовывал все глубже и глубже в рот свой левый ус и косился на ту же соседнюю ложу. В ложе этой, слева, были Картасовы. Вронский знал их и знал, что Анна с ними была знакома. Картасова, худая, маленькая лшнпі,ипа, стояла в своей ложе и, спріЕой оборотившись к Анне, надевала накидку, подаваемую ей мужем. Лицо ее было бледно и сердито, и она что-то взволнованно говорила. Картасов, толстый, плешивый господин, беспрестанно оглядываясь на Анну, старался успокоить жену. Когда жена вышла, муж долго медлил, отыскивая глазами взгляда Анны и, видимо, желая ей поклониться. Но Анна, очевидно нарочно не замечая его, оборотившись назад, что-то говорила нагнувшемуся к ней стриженою головой Яшвину. Картасов вышел, не поклонившись, и ложа осталась пустою. Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло что-то унизительное для Анны. Он понял это и по тому, что видел, и более всего по лицу Анны, которая, он знал, собрала свои последние силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль. И эта роль внешнего спокойствия вполне удавалась ей. Кто не знал ее и ее круга, не слыхал всех выражений соболезнования, негодования и удивления 7кенщин, что она позволила себе показаться в свете и показаться так заметно в своем кружевном уборе рі со своей красотой, те любовались спокойствием и красотой этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставляемого у позорного столба. Зная, что что-то случилось, но не зная, что именно, Вронский испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать что-нибудь, пошел в ложу брата. Нарочно выбрав противоположный от ложи Анны пролет партера, он, выходя, столкнулся с бывшим полковым командиром своим, говорившим с двумя знакомыми. Вронский слышал, как было произнесено имя Каренріной, и заметил, как поспешил полковой командир громко назвать Вронского, значительно взглянув на говоривших. — А, Вронский! Когда же в полк? Мы тебя не можем отпустить без пира. Ты самый коренной наш,— сказал полковой командир. 123

му бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе. На лице Яшвина было то выражение, которое бывало на нем, когда он проигрывал. Он, насупившись, засовывал все глубже и глубже в рот свой левый ус и косился на ту же соседнюю ложу.

В ложе этой, слева, были Картасовы. Вронский знал их и знал, что Анна с ними была знакома. Картасова, худая, маленькая женщина, стояла в своей ложе и, спиной оборотившись к Анне, надевала накидку, подаваемую ей мужем. Лицо ее было бледно и сердито, и она что-то взволнованно говорила. Картасов, толстый, плешивый господин, беспрестанно оглядываясь на Анну, старался успокоить жену. Когда жена вышла, муж долго медлил, отыскивая глазами взгляда Анны и, видимо, желая ей поклониться. Но Анна, очевидно нарочно не замечая его, оборотившись назад, что-то говорила нагнувшемуся к ней стриженою головой Яшвину. Картасов вышел, не поклонившись, и ложа осталась пустою.

Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло что-то унизительное для Анны. Он понял это и по тому, что видел, и более всего по лицу Анны, которая, он знал, собрала свои последние силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль. И эта роль внешнего спокойствия вполне удавалась ей. Кто не знал ее и ее круга, не слыхал всех выражений соболезнования, негодования и удивления женщин, что она позволила себе показаться в свете и показаться так заметно в своем кружевном уборе и со своей красотой, те любовались спокойствием и красотой этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставляемого у позорного столба.

Зная, что что-то случилось, но не зная, что именно, Вронский испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать что-нибудь, пошел в ложу брата. Нарочно выбрав противоположный от ложи Анны пролет партера, он, выходя, столкнулся с бывшим полковым командиром своим, говорившим с двумя знакомыми. Вронский слышал, как было произнесено имя Карениной, и заметил, как поспешил полковой командир громко назвать Вронского, значительно взглянув на говоривших.

— А, Вронский! Когда же в полк? Мы тебя не можем отпустить без пира. Ты самый коренной наш, — сказал

-- Не успею, очень жалко, до другого раза, — сказал Вронский и побежал вверх по лестнице в ложу брата. Старая графиня, мать Вронского, со своими стальными букольками, была в ложе брата. Варя с княжной Сорокиной встретились ему в коридоре бельэтажа. Проводив княжну Сорокину до матери. Варя подала руку деверю и тотчас же начала говорить с ним о том, что интересовало его. Она была взволнована так, как он редко видал ее. — Я нахожу, что это низко и гадко, и madame Картасова не имела никакого права. Madame Каренина... — начала она. — Да что? Я не знаю. — Как, ты не слышал? — Ты понимаешь, что я последний об этом услышу. — Есть ли злее существо, как эта Картасова? — Да что она сделала? — Мне муж рассказал... Она оскорбила Каренину. Муж ее через ложу стал говорить с ней, а Картасова сделала ему сцену. Она, говорят, громко сказала что-то оскорбительное и вышла. — Граф, вас ваша maman зовет, — сказала княжна Сорокина, выглядывая из двери ложи. — А я тебя все жду, — сказала ему мать, насмешливо улыбаясь. — Тебя совсем не видно. Сын видел, что она не могла удержать улыбку радости. — Здравствуйте, maman. Я шел к вам,— сказал он холодно. — Что же ты не идешь faire Ia cour à madame Karénine? ^ — прибавила она, когда княжна Сорокина отошла. — Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle — Maman, я вас просил не говорить мне про это, — отвечал он, хмурясь. — Я говорю то, что говорят все. Вронский ничего не ответил и, сказав несколько слов княжне Сорокиной, вышел. В дверях он встретил брата. — А, Алексей! — сказал брат.— Какая гадость! Дура, больше ничего... Я сейчас хотел к ней идти. Пойдем вместе. ‘ ухаживать за Карениной? (франц.) ^ Она производит сенсацию. Из-за нее забывают о Патти (Франц.). 124

— Не успею, очень жалко, до другого раза, — сказал Вронский и побежал вверх по лестнице в ложу брата.

Старая графиня, мать Вронского, со своими стальными букольками, была в ложе брата. Варя с княжной Сорокиной встретились ему в коридоре бельэтажа.

Проводив княжну Сорокину до матери, Варя подала руку деверю и тотчас же начала говорить с ним о том, что интересовало его. Она была взволнована так, как он редко видал ее.

— Я нахожу, что это низко и гадко, и madame Картасова не имела никакого права. Madame Каренина... — начала она.

— Да что? Я не знаю.

— Как, ты не слышал?

— Ты понимаешь, что я последний об этом услышу.

— Есть ли злее существо, как эта Картасова?

— Да что она сделала?

— Мне муж рассказал... Она оскорбила Каренину. Муж ее через ложу стал говорить с ней, а Картасова сделала ему сцену. Она, говорят, громко сказала что-то оскорбительное и вышла.

— Граф, вас ваша maman зовет,— сказала княжна Сорокина, выглядывая из двери ложи.

— А я тебя все жду,— сказала ему мать, насмешливо улыбаясь.— Тебя совсем не видно.

Сын видел, что она не могла удержать улыбку радости.

— Здравствуйте, maman. Я шел к вам,— сказал он холодно.

— Что же ты не идешь faire la cour à madame Karenine? [1] — прибавила она, когда княжна Сорокина отошла. — Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle [2].

— Maman, я вас просил не говорить мне про это, — отвечал он, хмурясь.

— Я говорю то, что говорят все.

Вронский ничего не ответил и, сказав несколько слов княжне Сорокиной, вышел. В дверях он встретил брата.

— А, Алексей! — сказал брат.— Какая гадость! Дура, больше ничего... Я сейчас хотел к ней идти. Пойдем вместе.

---

[1] ухаживать за Карениной? *(франц.)*

[2] Она производит сенсацию. Из-за нее забывают о Патти

Вронский не слушал его. Он быстрыми тагами потел вниз; он чувствовал, что ему надо что-то сделать, но не знал что. Досада на нее за то, что она ставила себя и его в такое фальшивое положение, вместе с жалостью к ней за ее страдания волновали его. Он сошел вниз в партер и направился прямо к бенуару Анны. У бенуара стоял Стремов и разговаривал с нею: — Теноров нет больше. Le moule en est brisé K Вронский поклонился ей и остановился, здороваясь со Стремовым. — Вы, кажется, поздно приехали и не слыхали лучшей арии, — сказала Анна Вронскому, насмешливо, как ему показалось, взглянув на него. — Я плохой ценитель, — сказал он, строго глядя на нее. — Как князь Яшвин,— сказала она, улыбаясь, — который находит, что Патти поет слишком громко. — Благодарю вас, ~~ сказала она, взяв в маленькую руку в длинной перчатке поднятую Вронским афишу, и вдруг в это мгновение красивое лицо ее вздрогнуло. Она встала и пошла в глубь ложи. Заметив, что на следующий акт ложа ее осталась пустою, Вронский, возбуждая шиканье затихшего при звуках каватины театра, вышел из партера и поехал домой. Анна уже была дома. Когда Вронский вошел к ней, она была одна в том самом наряде, в котором она была в театре. Она сидела на первом у стены кресле и смотрела пред собой. Она взглянула на него и тотчас же приняла прежнее положение. — Анна, — сказал он. — Ты, ты виноват во всем! — вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе, вставая. — Я просил, я умолял тебя не ездить, я знал, что тебе будет неприятно... — Неприятно! •— вскрикнула она.— Ужасно! Сколько бы я ни жила, я не забуду этого. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной. — Слова глупой женщины, — сказал он, — но для чего рисковать, вызывать... — Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня... ^ Они перевелись (франц,). 125

Вронский не слушал его. Он быстрыми шагами пошел вниз: он чувствовал, что ему надо что-то сделать, но не знал что. Досада на нее за то, что она ставила себя и его в такое фальшивое положение, вместе с жалостью к ней за ее страдания волновали его. Он сошел вниз в партер и направился прямо к бенуару Анны. У бенуара стоял Стремов и разговаривал с нею:

— Теноров нет больше. Le moule en est brisé [1].

Вронский поклонился ей и остановился, здороваясь со Стремовым.

— Вы, кажется, поздно приехали и не слыхали лучшей арии,— сказала Анна Вронскому, насмешливо, как ему показалось, взглянув на него.

— Я плохой ценитель,— сказал он, строго глядя на нее.

— Как князь Яшвин,— сказала она, улыбаясь,— который находит, что Патти поет слишком громко.

— Благодарю вас, — сказала она, взяв в маленькую руку в длинной перчатке поднятую Вронским афишу, и вдруг в это мгновение красивое лицо ее вздрогнуло. Она встала и пошла в глубь ложи.

Заметив, что на следующий акт ложа ее осталась пустою, Вронский, возбуждая шиканье затихшего при звуках каватины театра, вышел из партера и поехал домой.

Анна уже была дома. Когда Вронский вошел к ней, она была одна в том самом наряде, в котором она была в театре. Она сидела на первом у стены кресле и смотрела пред собой. Она взглянула на него и тотчас же приняла прежнее положение.

— Анна,— сказал он.

— Ты, ты виноват во всем! — вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе, вставая.

— Я просил, я умолял тебя не ездить, я знал, что тебе будет неприятно...

— Неприятно! — вскрикнула она.— Ужасно! Сколько бы я ни жила, я не забуду этого. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной.

— Слова глупой женщины,— сказал он,— но для чего рисковать, вызывать...

— Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня...

— Анна! К чему тут вопрос о моей любви..* — Да, если бы ты любил меня, как я, если бы ты мучался, как я...— сказала она, с выражением испуга взглядывая на него. Ему жалко было ее и все-таки досадно. Он уверял ее в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить ее, и не упрекал ее словами, но в душе своей он упрекал ее. И те уверения в любви, которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их, она впивала в себя и понемногу успокаивалась. На другой день после этого, совершенно примиренные, они уехали в деревню.

— Анна! К чему тут вопрос о моей любви...

— Да, если бы ты любил меня, как я, если бы ты мучался, как я...— сказала она, с выражением испуга взглядывая на него.

Ему жалко было ее и все-таки досадно. Он уверял ее в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить ее, и не упрекал ее словами, но в душе своей он упрекал ее.

И те уверения в любви, которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их, она впивала в себя и понемногу успокаивалась. На другой день после этого, совершенно примиренные, они уехали в деревню.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ I Дарья Александровна проводила лето с детьми в Покровском, у сестры Кити Левиной. В ее именье дом совсем развалился, и Левин с женой уговорили ее провести лето у них. Степан Аркадьич очень одобрил это устройство. Он говорил, что очень сожалеет, что служба мешает ему провести с семейством лето в деревне, что для него было бы высшим счастьем, и, оставаясь в Москве, приезжал изредка в деревню на день и два. Кроме Облонских со всеми детьми и гувернанткой, в это лето гостила у Левиных еще старая княгиня, считавшая своим долгом следить за неопытною дочерью, находившеюся в таком положении, Кроме того, Варенька, заграничная приятельница Кити, исполнила свое обещание приехать к ней, когда Кити будет замужем, и гостила у своего друга. Все это были родные и друзья жены Левина. И хотя он всех их любил, ему немного жалко было своего левинского мира и порядка, который был заглушаем этим наплывом «щербацкого элемента», как он говорил себе. Из его родных гостил в это лето у них один Сергей Иванович, но и тот был не левинского, а кознышевского склада человек, так что левинский дух совершенно уничтожался. В ленинском давно пустынном доме теперь было так много народа, что почти все комнаты были заняты, и почти каждый день старой княгине приходилось, садясь за стол, пересчитывать всех и отсаживать тринадцатого внука или внучку за особенный столик. И для Кити, старательно занимавшейся хозяйством, было немало хлопот о приобретении кур, индюшек, уток, которых при летних аппетитах гостей и детей выходило очень много. Все семейство сидело за обедом. Дети Долли с гувернанткой и Варенькой делали планы о том, куда идти за грибами. Сергей Иванович, пользовавшийся между всеми 127

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Дарья Александровна проводила лето с детьми в Покровском, у сестры Кити Левиной. В ее именье дом совсем развалился, и Левин с женой уговорили ее провести лето у них. Степан Аркадьич очень одобрил это устройство. Он говорил, что очень сожалеет, что служба мешает ему провести с семейством лето в деревне, что́ для него было бы высшим счастьем, и, оставаясь в Москве, приезжал изредка в деревню на день и два. Кроме Облонских со всеми детьми и гувернанткой, в это лето гостила у Левиных еще старая княгиня, считавшая своим долгом следить за неопытною дочерью, находившеюся в *таком положении*. Кроме того, Варенька, заграничная приятельница Кити, исполнила свое обещание приехать к ней, когда Кити будет замужем, и гостила у своего друга. Все это были родные и друзья жены Левина. И хотя он всех их любил, ему немного жалко было своего левинского мира и порядка, который был заглушаем этим наплывом «щербацкого элемента», как он говорил себе. Из его родных гостил в это лето у них один Сергей Иванович, но и тот был не левинского, а кознышевского склада человек, так что левинский дух совершенно уничтожался.

В левинском давно пустынном доме теперь было так много народа, что почти все комнаты были заняты, и почти каждый день старой княгине приходилось, садясь за стол, пересчитывать всех и отсаживать тринадцатого внука или внучку за особенный столик. И для Кити, старательно занимавшейся хозяйством, было немало хлопот о приобретении кур, индюшек, уток, которых при летних аппетитах гостей и детей выходило очень много.

Все семейство сидело за обедом. Дети Долли с гувер-

гостями уважением к его уму и учености, доходившим почти до поклонения, удивил всех, вмешавшись в разговор о грибах. — И меня возьмите с собой. Я очень люблю ходить за грибами, — сказал он, глядя на Вареньку,— я нахожу, что это очень хорошее занятие. — Что ж, мы очень рады, — покраснев, отвечала Варенька. Кити значительно переглянулась с Долли. Предложение ученого и умного Сергея Ивановича идти за грибами с Варенькой подтверждало некоторые предположения Кити, в последнее время очень ее занимавшие. Она поспешила заговорить с матерью, чтобы взгляд ее не был замечен. После обеда Сергей Иванович сел со своею чашкой кофе у окна в гостиной, продолжая начатый разговор с братом и поглядывая на дверь, из которой должны были выйти дети, собиравшиеся за грибами. Левин присел на окне возле брата. Кити стояла подле мужа, очевидно дожидаясь конца неинтересовавшего разговора, чтобы сказать ему что-то. — Ты во многом переменился с тех пор, как женился, и к лучшему,— сказал Сергей Иванович, улыбаясь Кити и, очевидно, мало интересуясь начатым разговором, — но остался верен своей страсти защиш;ать самые парадоксальные темы. — Катя, тебе не хорошо стоять, — сказал ей муж, подвигая ей стул и значительно глядя на нее. — Ну, да, впрочем, и некогда,— прибавил Сергей Иванович, увидав выбегавших детей. Впереди всех боком, галопом, в своих натянутых чулках, махая корзинкой и шляпой Сергея Ивановича, прямо на него бежала Таня. Смело подбежав к Сергею Ивановичу и блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца, она подала Сергею Ивановичу его шляпу и сделала вид, что хочет надеть на него, робкою и нежною улыбкой смягчая свою вольность. — Варенька ждет, — сказала она, осторожно надевая на него шляпу, по улыбке Сергея Ивановича увидав, что это было можно. Варенька стояла в дверях, переодетая в желтое ситцевое платье, с повязанным на голове белым платком. — Иду, иду, Варвара Андреевна, — сказал Сергей Иванович, допивая из чашки кофей и разбирая по карманам платок и сигарочницу. 123

гостями уважением к его уму и учености, доходившим почти до поклонения, удивил всех, вмешавшись в разговор о грибах.

— И меня возьмите с собой. Я очень люблю ходить за грибами,— сказал он, глядя на Вареньку,— я нахожу, что это очень хорошее занятие.

— Что ж, мы очень рады,— покраснев, отвечала Варенька. Кити значительно переглянулась с Долли. Предложение ученого и умного Сергея Ивановича идти за грибами с Варенькой подтверждало некоторые предположения Кити, в последнее время очень ее занимавшие. Она поспешила заговорить с матерью, чтобы взгляд ее не был замечен. После обеда Сергей Иванович сел со своею чашкой кофе у окна в гостиной, продолжая начатый разговор с братом и поглядывая на дверь, из которой должны были выйти дети, собиравшиеся за грибами. Левин присел на окне возле брата.

Кити стояла подле мужа, очевидно дожидаясь конца неинтересовавшего разговора, чтобы сказать ему что-то.

— Ты во многом переменился с тех пор, как женился, и к лучшему,— сказал Сергей Иванович, улыбаясь Кити и, очевидно, мало интересуясь начатым разговором,— но остался верен своей страсти защищать самые парадоксальные темы.

— Катя, тебе не хорошо стоять, — сказал ей муж, подвигая ей стул и значительно глядя на нее.

— Ну, да, впрочем, и некогда,— прибавил Сергей Иванович, увидав выбегавших детей.

Впереди всех боком, галопом, в своих натянутых чулках, махая корзинкой и шляпой Сергея Ивановича, прямо на него бежала Таня.

Смело подбежав к Сергею Ивановичу и блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца, она подала Сергею Ивановичу его шляпу и сделала вид, что хочет надеть на него, робкою и нежною улыбкой смягчая свою вольность.

— Варенька ждет,— сказала она, осторожно надевая на него шляпу, по улыбке Сергея Ивановича увидав, что это было можно.

Варенька стояла в дверях, переодетая в желтое ситцевое платье, с повязанным на голове белым платком.

— Иду, иду, Варвара Андреевна,— сказал Сергей

— А что за прелесть моя Варенька! А? — сказала Кити мужу, как только Сергей Иванович встал. Она сказала это так, что Сергей Иванович мог слышать ее, чего она, очевидно, хотела. — И как она красива, благородно красива! Варенька! — прокричала Кити, — вы будете в мельничном лесу? Мы приедем к вам. — Ты решительно забываешь свое положение, Кити,— проговорила старая княгиня, поспешно выходя из двери. — Тебе нельзя так кричать. Варенька, услыхав зов Кити и выговор ее матери, быстро, легкими шагами подошла к Кити. Быстрота движений, краска, покрывавшая оживленное лицо, — все показывало, что в ней происходило что-то необыкновенное. Кити знала, что было это необыкновенное, и внимательно следила за ней. Она теперь позвала Вареньку только затем, чтобы мысленно благословить ее на то важное событие, которое, по мысли Кити, должно было совершиться нынче после обеда в лесу. — Варенька, я очень счастлива, но я могу быть еще счастливее, если случится одна вещь, — шепотом сказала она, целуя ее. — А вы с нами пойдете? — смутившись, сказала Варенька Левину, делая вид, что не слыхала того, что ей было сказано. — Я пойду, но только до гумна, и там останусь. — Ну что тебе за охота? — сказала Кити. — Нужно новые фуры взглянуть и учесть, — сказал Левин. — А ты где будешь? — На террасе. II На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вязанья свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по новой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Кити вводила эту новую методу, употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, все-таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе; она была уличена в этом, и теперь 5 л. Н. Толстой, т. 9 129

— А что за прелесть моя Варенька! А? — сказала Кити мужу, как только Сергей Иванович встал. Она сказала это так, что Сергей Иванович мог слышать ее, чего она, очевидно, хотела.— И как она красива, благородно красива! Варенька! — прокричала Кити,— вы будете в мельничном лесу? Мы приедем к вам.

— Ты решительно забываешь свое положение, Кити,— проговорила старая княгиня, поспешно выходя из двери.— Тебе нельзя так кричать.

Варенька, услыхав зов Кити и выговор ее матери, быстро, легкими шагами подошла к Кити. Быстрота движений, краска, покрывавшая оживленное лицо,— все показывало, что в ней происходило что-то необыкновенное. Кити знала, что́ было это необыкновенное, и внимательно следила за ней. Она теперь позвала Вареньку только затем, чтобы мысленно благословить ее на то важное событие, которое, по мысли Кити, должно было совершиться нынче после обеда в лесу.

— Варенька, я очень счастлива, но я могу быть еще счастливее, если случится одна вещь,— шепотом сказала она, целуя ее.

— А вы с нами пойдете? — смутившись, сказала Варенька Левину, делая вид, что не слыхала того, что ей было сказано.

— Я пойду, но только до гумна, и там останусь.

— Ну что тебе за охота? — сказала Кити.

— Нужно новые фуры взглянуть и учесть,— сказал Левин. — А ты где будешь?

— На террасе.

II

На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вязанья свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по новой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Кити вводила эту новую методу, употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, все-таки налила воды в клубнику и земляничку, утверждая, что это

варилась малина при всех, и Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо. Агафья Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, спутанными волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтоб она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, как на главную советницу по варке малины, должен быть направлен гнев Агафьи Михайловны, старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной, говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жаровню. — Я на дешевом товаре всегда платья девушкам покупаю сама, — говорила княгиня, продолжая начатый разговор... — Не снять ли теперь пенки, голубушка? — прибавила она, обращаясь к Агафье Михайловне. — Совсем тебе не нужно это делать самой, и жарко, — остановила она Кити. — Я сделаю, — сказала Долли и, встав, осторожно стала водить ложкой по пенящемуся сахару, изредка, чтоб отлепить от ложки приставшее к ней, постукивая ею по тарелке, покрытой уже разноцветными, желто-розовыми, с подтекающими кровяным сиропом, пенками. «Как они будут это лизать с чаем!» — думала она о своих детях, вспоминая, как она сама, бывши ребенком, удивлялась, что большие не едят самого лучшего — пенок. — Стива говорит, что гораздо лучше давать деньги, — продолжала между тем Долли начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить людей, — но... — Как можно деньги! — в один голос заговорили княгиня и Кити. — Они ценят это. — Ну, я, например, в прошлом году купила нашей Матрене Семеновне не поплин, а вроде этого, — сказала княгиня. — Я помню, она в ваши именины в нем была. — Премиленький узор; так просто и благородно. Я сама хотела себе сделать, если бы у нее не было. Вроде как у Вареньки. Как мило и дешево. — Ну, теперь, кажется, готово, — сказала Долли, спуская сироп с ложки. — Когда крендельками, тогда готово. Еще поварите, Агафья Михайловна. 130

варилась малина при всех, и Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо.

Агафья Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, спутанными волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтоб она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, как на главную советницу по варке малины, должен быть направлен гнев Агафьи Михайловны, старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной, говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жаровню.

— Я на дешевом товаре всегда платья девушкам покупаю сама,— говорила княгиня, продолжая начатый разговор...— Не снять ли теперь пенки, голубушка? — прибавила она, обращаясь к Агафье Михайловне.— Совсем тебе не нужно это делать самой, и жарко,— остановила она Кити.

— Я сделаю,— сказала Долли и, встав, осторожно стала водить ложкой по пенящемуся сахару, изредка, чтоб отлепить от ложки приставшее к ней, постукивая ею по тарелке, покрытой уже разноцветными, желто-розовыми, с подтекающими кровяным сиропом, пенками. «Как они будут это лизать с чаем!» — думала она о своих детях, вспоминая, как она сама, бывши ребенком, удивлялась, что большие не едят самого лучшего — пенок.

— Стива говорит, что гораздо лучше давать деньги,— продолжала между тем Долли начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить людей,— но...

— Как можно деньги! — в один голос заговорили княгиня и Кити.— Они ценят это.

— Ну, я, например, в прошлом году купила нашей Матрене Семеновне не поплин, а вроде этого,— сказала княгиня.

— Я помню, она в ваши именины в нем была.

— Премиленький узор; так просто и благородно. Я сама хотела себе сделать, если бы у нее не было. Вроде как у Вареньки. Как мило и дешево.

— Ну, теперь, кажется, готово,— сказала Долли, спуская сироп с ложки.

— Когда крендельками, тогда готово. Еще поварите,

— Эти мухи! — сердито сказала Агафья Михайловна. — Все то я{е будет, — прибавила она. ■— Ах, как он мил, не пугайте его! — неожиданно сказала Кити, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стерженек малины, стал клевать его. — Да, но ты бы подальше от жаровни, — сказала мать. — A propos de Варенька ^ — сказала Кити по-французски, как они и все время говорили, чтоб Агафья Михайловна не понимала их. — Вы знаете, maman, что я нынче почему-то жду решения. Вы понимаете какое. Как бы хорошо было! — Ѳднако какова мастерица сваха! — сказала Долили. — Как она осторожно и ловко сводит их... — - Нет, скажите, maman, что вы думаете? — Да что же думать? Он (они разумели Сергея Ивановича) мог всегда сделать первую партию в России; теперь он уж не так молод, но все-таки, я знаю, за него и теперь пошли бы многие... Она очень добрая, но он мог бы... — Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нео лучше нельзя придумать. Первое — она прелесть! — сказала Кити, загнув один палец. — Она очень нравится ему, это верно,— подтвердила Долли. — Потом второе: он такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его я^ены совершенно не нуя^ны. Ему нужно одно — хорошую, милую я^ену, спокойную. — Да, уж с ней можно быть спокойным, — подтвердила Долли. — Третье, чтоб она его любила. И это есть... То есть это так бы хорошо было!.. Жду, что вот они явятся из леса, и все решится. Я сейчас увия^у по глазам. Я бы так рада была! Как ты думаешь, Долли? — Да ты не волнуйся. Тебе совсем не нужно волноваться,— сказала мать. — Да я не волнуюсь, мама. Мне каяттся, что он нынче сделает предложение. — Ах, это так странно, как и когда муя^чпна делает предложение... Есть какая-то преграда, и вдруг она про^ Кстати о Вареньке (франц.), 5* 131

— Эти мухи! — сердито сказала Агафья Михайловна.— Все то же будет,— прибавила она.

— Ах, как он мил, не пугайте его! — неожиданно сказала Кити, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стерженек малины, стал клевать его.

— Да, но ты бы подальше от жаровни,— сказала мать.

— A propos de Варенька [1], — сказала Кити по-французски, как они и все время говорили, чтоб Агафья Михайловна не понимала их. — Вы знаете, maman, что я нынче почему-то жду решения. Вы понимаете какое. Как бы хорошо было!

— Однако какова мастерица сваха! — сказала Долли. — Как она осторожно и ловко сводит их...

— Нет, скажите, maman, что вы думаете?

— Да что же думать? Он (они разумели Сергея Ивановича) мог всегда сделать первую партию в России; теперь он уж не так молод, но все-таки, я знаю, за него и теперь пошли бы многие... Она очень добрая, но он мог бы...

— Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нее лучше нельзя придумать. Первое — она прелесть! —сказала Кити, загнув один палец.

— Она очень нравится ему, это верно,— подтвердила Долли.

— Потом второе: он такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его жены совершенно не нужны. Ему нужно одно — хорошую, милую жену, спокойную.

— Да, уж с ней можно быть спокойным,— подтвердила Долли.

— Третье, чтоб она его любила. И это есть... То есть это так бы хорошо было!.. Жду, что вот они явятся из леса, и все решится. Я сейчас увижу по глазам. Я бы так рада была! Как ты думаешь, Долли?

— Да ты не волнуйся. Тебе совсем не нужно волноваться,— сказала мать.

— Да я не волнуюсь, мама. Мне кажется, что он нынче сделает предложение.

— Ах, это так странно, как и когда мужчина делает предложение... Есть какая-то преграда, и вдруг она про-

рвется, — сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаном Аркадыічем. — Мама, как вам папа сделал предложение? — вдруг спросила Кити. — Ничего необыкновенного не было, очень просто, — отвечала княгиня, но лицо ее все просияло от этого воспоминания. — Нет, но как? Вы все-таки его любили, прежде чем вам позволили говорить? Кити испытывала особенную прелесть в том, что она с матерью теперь могла говорить, как с равною, об этих самых главных вопросах в жизни женщины. — Разумеется, любила; он ездил к нам в деревню. — Но как решилось? Мама? — Ты думаешь, верно, что вы что-нибудь новое выдумали? Вое одно: решилось глазами, улыбками... — Как вы это хорошо сказали, мама! Именно глазами и улыбками, — подтвердила Долли. — Но какие слова он говорил? — Какие тебе Костя говорил? — Он писал мелом. Это было удивительно... Как это мне давно кажется! — сказала она. И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание. Ей вспомнилась вся эта последняя пред ее замужеством зима и ее увлечение Вронским. — Одно... это прежняя пассия Вареньки, — сказала она, по естественной связи мысли вспомнив об этом. — >1 хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу, приготовить его. Они, все мужчины, — прибавила она, — ужасно ревнивы к нашему прошедшему. — Не все, — сказала Долли. — Ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучается воспоминанием о Вронском. Да? Правда ведь? — Правда, — задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити. — Только я не знаю, — вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью, — какое же твое прошедшее могло его беспокоить? Что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждою девушкой. — Ну, да не про это мы говорим, — покраснев, сказала Кити. — Нет, позволь, — продолжала мать, — и потом ты сама не хотела мне позволить переговорить с Вронским. Помнишь? 132

рвется, — сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаном Аркадьичем.

— Мама, как вам папа сделал предложение? — вдруг спросила Кити.

— Ничего необыкновенного не было, очень просто,— отвечала княгиня, но лицо ее все просияло от этого воспоминания.

— Нет, но как? Вы все-таки его любили, прежде чем вам позволили говорить?

Кити испытывала особенную прелесть в том, что она с матерью теперь могла говорить, как с равною, об этих самых главных вопросах в жизни женщины.

— Разумеется, любила; он ездил к нам в дѐревню.

— Но как решилось? Мама?

— Ты думаешь, верно, что вы что-нибудь новое выдумали? Все одно: решилось глазами, улыбками...

— Как вы это хорошо сказали, мама! Именно глазами и улыбками,— подтвердила Долли.

— Но какие слова он говорил?

— Какие тебе Костя говорил?

— Он писал мелом. Это было удивительно... Как это мне давно кажется! — сказала она.

И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание. Ей вспомнилась вся эта последняя пред ее замужеством зима и ее увлечение Вронским.

— Одно... это прежняя пассия Вареньки,— сказала она, по естественной связи мысли вспомнив об этом. — Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу, приготовить его. Они, все мужчины, — прибавила она, — ужасно ревнивы к нашему прошедшему.

— Не все,— сказала Долли.— Ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучается воспоминанием о Вронском. Да? Правда ведь?

— Правда,—задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити.

— Только я не знаю,— вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью,— какое же твое прошедшее могло его беспокоить? Что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждою девушкой.

— Ну, да не про это мы говорим,— покраснев, сказала Кити.

— Нет, позволь, — продолжала мать, — и потом ты сама не хотела мне позволить переговорить с Вронским

Ах, мама! — с выражением страдания сказала Кити. — Теперь вас не удержишь... Отношения твои и не могли зайти дальше, чем должно; я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся. — Я совершенно спокойна, maman. — Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна, — сказала Долли, — и как несчастливо для нее. Вот именно наоборот, — прибавила она, пораженная своею мыслью.— Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Как совсем наоборот! Я часто о ней думаю. — Есть о ком думать! Гадкая, отвратительная я«еніті.ина, без сердца, — сказала мать, не могшая забыть, что Кити вышла не за Вронского, а за Левина. — Что за охота про это говорить, — с досадой сказала Кити, — я об этом не думаю и не хочу думать... И не хочу думать,— повторила она, прислушиваясь к знакомым шагам мужа по лестнице террасы. — О чем это: и не хочу думать? — спросил Левин, входя на террасу. Но никто не ответил ему, и он не повторил вопроса. — Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство, — сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чем-то таком, чего бы не стали говорить при нем. На секунду он почувствовал, что разделяет чувство Агафьи Михайловны, недовольство на то, что варят малику без воды, и вообще на чуждое щербацкое влияние. Он улыбнулся, однако, и подошел к Кити. — Ну, что? — спросил он ее, с тем самым выражением глядя на нее, с которым теперь все обращались к ней. — Ничего, прекрасно, — улыбаясь, сказала Кити, — а у тебя как? — Да втрое больше везут, чем телега. Так ехать за детьми? Я велел закладывать. — Что ж, ты хочешь Кити на линейке везти? — с упреком сказала мать. — Да ведь шагом, княгиня. Левин никогда не называл княгиню maman, как это делают зятья, и это было неприятно княгине. Но Левин, 133

— Ах, мама! — с выражением страдания сказала Кити.

— Теперь вас не удержишь... Отношения твои и не могли зайти дальше, чем должно; я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся.

— Я совершенно спокойна, maman.

— Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна,— сказала Долли,— и как несчастливо для нее. Вот именно наоборот,— прибавила она, пораженная своею мыслью.— Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Как совсем наоборот! Я часто о ней думаю.

— Есть о ком думать! Гадкая, отвратительная женщина, без сердца,— сказала мать, не могшая забыть, что Кити вышла не за Вронского, а за Левина.

— Что за охота про это говорить,— с досадой сказала Кити,— я об этом не думаю и не хочу думать... И не хочу думать,— повторила она, прислушиваясь к знакомым шагам мужа по лестнице террасы.

— О чем это: и не хочу думать? — спросил Левин, входя на террасу.

Но никто не ответил ему, и он не повторил вопроса.

— Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство,— сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чем-то таком, чего бы не стали говорить при нем.

На секунду он почувствовал, что разделяет чувство Агафьи Михайловны, недовольство на то, что варят малину без воды, и вообще на чуждое щербацкое влияние. Он улыбнулся, однако, и подошел к Кити.

— Ну, что? — спросил он ее, с тем самым выражением глядя на нее, с которым теперь все обращались к ней.

— Ничего, прекрасно, — улыбаясь, сказала Кити, — а у тебя как?

— Да втрое больше везут, чем телега. Так ехать за детьми? Я велел закладывать.

— Что ж, ты хочешь Кити на линейке везти? — с упреком сказала мать.

— Да ведь шагом, княгиня.

несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери, называть ее так. — Поедемте с нами, maman, — сказала Кити. — Не хочу я смотреть на это безрассудство. — Ну, я пешком пойду. Ведь мне здорово.— Кити встала, подошла к мужу и взяла его за руку. — Здорово, но все в меру, — сказала княгиня. — Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье? — сказал Левин, улыбаясь Агафье Михайловне и желая развеселить ее. — Хорошо по-новому? — Должно быть, хорошо. По-нашему, переварено. — Оно и лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет, а то у нас лед теперь уж растаял, а беречь негде, — сказала Кити, тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обраш;аясь к старухе. — Зато ваше соленье такое, что мама говорит, никогда такого не едала, — прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку. Агафья Михайловна посмотрела на Кити сердито. — Вы меня не утешайте, барыня. Я вот посмотрю на вас с ним, мне и весело, — сказала она, и это грубое выражение с ним, а не с ними тронуло Кити. — Поедемте с нами за грибами, вы нам места покажете. — Агафья Михайловна улыбнулась, покачала головой, как бы говоря: «И рада бы посердиться на вас, да нельзя». — Сделайте, пожалуйста, по моему совету, — сказала старая княгиня, — сверху положите бумажку и ромом намочите: и безо льда никогда плесени не будет. III Кити была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, как тень огорчения пробежала на его так живо все отражающем лицо в ту минуту, как он вошел на террасу и спросил, о чем говорили, и ему не ответили. Когда они пошли пешком вперед других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала ее к себе. Он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не 134

несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери, называть ее так.

— Поедемте с нами, maman, — сказала Кити.

— Не хочу я смотреть на это безрассудство.

— Ну, я пешком пойду. Ведь мне здорово.— Кити встала, подошла к мужу и взяла его за руку.

— Здорово, но все в меру, — сказала княгиня.

— Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье? — сказал Левин, улыбаясь Агафье Михайловне и желая развеселить ее.— Хорошо по-новому?

— Должно быть, хорошо. По-нашему, переварено.

— Оно и лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет, а то у нас лед теперь уж растаял, а беречь негде, — сказала Кити, тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе.— Зато ваше соленье такое, что мама говорит, никогда такого не едала,— прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку.

Агафья Михайловна посмотрела на Кити сердито.

— Вы меня не утешайте, барыня. Я вот посмотрю на вас с ним, мне и весело,— сказала она, и это грубое выражение *с ним,* а не *с ними* тронуло Кити.

— Поедемте с нами за грибами, вы нам места́ покажете.— Агафья Михайловна улыбнулась, покачала головой, как бы говоря: «И рада бы посердиться на вас, да нельзя».

— Сделайте, пожалуйста, по моему совету, — сказала старая княгиня,— сверху положите бумажку и ромом намочите: и безо льда никогда плесени не будет.

III

Кити была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, как тень огорчения пробежала на его так живо все отражающем лице в ту минуту, как он вошел на террасу и спросил, о чем говорили, и ему не ответили.

Когда они пошли пешком вперед других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала ее к себе. Он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал те-

покидала его, то, еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук ее голоса, так же как и взгляд, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом. — Так ты не устанешь? Упирайся больше, — сказал он. Нет, я так рада случаю побыть с тобою наедине, и, признаюсь, как мне ни хорошо с ними, жалко наших зимних вечеров вдвоем. — То было хорошо, а это еще лучше. Оба лучше, — сказал он, прижимая ее руку. — Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошел? — Про варенье? — Да, и про варенье; но потом о том, как делают предложение. — А! — сказал Левин, более слушая звук ее голоса, чем слова, которые она говорила, все время думая о дороге, которая шла теперь лесом, и обходя те места, где бы она могла неверно ступить. — И о Сергее Иваныче и Вареньке. Ты заметил?.. Я очень л^елаю этого, — продолжала она. — Как ты об этом думаешь? — И она заглянула ему в лицо. — Не знаю, что думать, — улыбаясь, отвечал Левин. — Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я ведь рассказывал... — Да, что он был влюблен в эту девушку, которая умерла... — Это было, когда я был ребенком; я знаю это по преданиям. Я помню его тогда. Он был удивительно мил. Но с тех пор я наблюдаю его с женщинами: он любезен, некоторые ему нравятся, но чувствуешь, что они для него просто люди, а не женщины. — Да, но теперь с Варенькой... Кажется, что-то есть... — Может быть, и есть... Но его надо знать... Он особенный, удивительный человек. Он живет одною духовною жизнью. Он слишком чистый и высокой души человек. — Как? Разве это унизит его? 135

покидала его, то, еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук ее голоса, так же как и взгляд, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом.

— Так ты не устанешь? Упирайся больше,— сказал он.

— Нет, я так рада случаю побыть с тобою наедине, и, признаюсь, как мне ни хорошо с ними, жалко наших зимних вечеров вдвоем.

— То было хорошо, а это еще лучше. Оба лучше,— сказал он, прижимая ее руку.

— Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошел?

— Про варенье?

— Да, и про варенье; но потом о том, как делают предложение.

— А! — сказал Левин, более слушая звук ее голоса, чем слова, которые она говорила, все время думая о дороге, которая шла теперь лесом, и обходя те места, где бы она могла неверно ступить.

— И о Сергее Иваныче и Вареньке. Ты заметил?.. Я очень желаю этого,— продолжала она.— Как ты об этом думаешь? —И она заглянула ему в лицо.

— Не знаю, что думать,—улыбаясь, отвечал Левин.— Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я ведь рассказывал...

— Да, что он был влюблен в эту девушку, которая умерла...

— Это было, когда я был ребенком; я знаю это по преданиям. Я помню его тогда. Он был удивительно мил. Но с тех пор я наблюдаю его с женщинами: он любезен, некоторые ему нравятся, но чувствуешь, что они для него просто люди, а не женщины.

— Да, но теперь с Варенькой... Кажется, что-то есть...

— Может быть, и есть... Но его надо знать... Он особенный, удивительный человек. Он живет одною духовною жизнью. Он слишком чистый и высокой души человек.

— Нет, но он так привык жить одною духовною жизнью, что не может примириться с действительностью, а Варенька все-таки действительность. Левин уже привык теперь сліело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова; он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать, с намека, и она поняла его. — Да, но в ней нет этой действительности, как во мне; я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил. Она вся духовная... — Ну нет, он тебя так любит, и мне это всегда так приятно, что мои тебя любят... — Да, он ко мне добр, но... — Но не так, как с Николенькой покойным... вы полюбили друг друга, — докончил Левин. — Отчего не говорить? — прибавил он. — Я иногда упрекаю себя: кончится тем, что забудешь. Ах, какой был ужасный и прелестный человек... Да, так о чем же мы говорили? — помолчав, сказал Левин. — Ты думаешь, что он не моя^ет влюбиться, — переводя на свой язык, сказала Кити. — Не то что не может влюбиться, — улыбаясь, сказал Левин, — но у него нет той слабости, которая нужна... Я всегда завидовал ему, и теперь даже, когда я так счастлив, все-таки завидую. — Завидуешь, что он не может влюбиться? — Я завидую тому, что он лучше меня, — улыбаясь, сказал Левин. — Он жітвет не для себя. У него вся жизнь подчинена долгу. И потому он может быть спокоен и доволен. — А ты? — с насмешливою, любовною улыбкой сказала Кити. Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял ее улыбаться; но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше, — она любила это в нем и потому улыбалась. — А ты? Чем же ты недоволен? — спросила она с тою ;ке улыбкой. 136

— Нет, но он так привык жить одною духовною жизнью, что не может примириться с действительностью, а Варенька все-таки действительность.

Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова; он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать, с намека, и она поняла его.

— Да, но в ней нет этой действительности, как во мне; я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил. Она вся духовная...

— Ну нет, он тебя так любит, и мне это всегда так приятно, что мои тебя любят...

— Да, он ко мне добр, но...

— Но не так, как с Николенькой покойным... вы полюбили друг друга, — докончил Левин. — Отчего не говорить? — прибавил он. — Я иногда упрекаю себя: кончится тем, что забудешь. Ах, какой был ужасный и прелестный человек... Да, так о чем же мы говорили? — помолчав, сказал Левин.

— Ты думаешь, что он не может влюбиться,— переводя на свой язык, сказала Кити.

— Не то что не может влюбиться,— улыбаясь, сказал Левин,— но у него нет той слабости, которая нужна... Я всегда завидовал ему, и теперь даже, когда я так счастлив, все-таки завидую.

— Завидуешь, что он не может влюбиться?

— Я завидую тому, что он лучше меня,— улыбаясь, сказал Левин.— Он живет не для себя. У него вся жизнь подчинена долгу. И потому он может быть спокоен и доволен.

— А ты? — с насмешливою, любовною улыбкой сказала Кити.

Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял ее улыбаться; но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше,— она любила это в нем и потому улыбалась.

— А ты? Чем же ты недоволен? — спросила она с тою

Ее недоверие к его недовольству собой радовало его, п он бессознательно вызывал ее на то, чтоб она высказала причины своего недоверия. — Я счастлив, но недоволен собой... — сказал он. — Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив? — То есть как тебе сказать?.. Я по душе ничего не л\'елаіо, кроме того, чтобы вот ты не споткнулась. Ах, да ведь нельзя же так прыгать! — прервал он свой разговор упреком за то, что она сделала слишком быстрое двия^ение, переступая через лежавший на тропинке сук. — Но когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с другими, особенно с братом, я чувствую, что я плох. — Да чем же? — с тою же улыбкой продолжала Кити.— Разве ты тоже не делаешь для других? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга? — Нет, я чувствую и особенно теперь: ты виновата, — сказал он, прижав ее руку, — что это не то. Я делаю это так, слегка. Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя... а то я последнее время делаю, как заданный урок. — Ну, что ты скажешь про папа? — спросила Кити. — Что ж, и он плох, потому что ничего не делал для общего дела? — Он? — нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец, а у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь. Все это ты наделала. Когда тебя не было и еще не было этого, — сказал он со взглядом на ее живот, который она поняла, — я все свои силы клал на дело; а теперь не могу, и мне совестно; я делаю именно как заданный урок, я притворяюсь... — Ну, а захотел бы ты сейчас променяться с Сергей Иванычем? — сказала Кити. — Захотел бы ты делать это общее дело и любить этот заданный урок, как он, и только? — Разумеется, нет, — сказал Левин. — Впрочем, я так счастлив, что ничего не понимаю. А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? — прибавил он, помолчав. — И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется. Вот постой. — Она нагнулась и сорвала на краю дороги дикую ромашку. — Ну, считай: сделает, не сделает предложение,— сказала она, подавая ему цветок. 137

Ее недоверие к его недовольству собой радовало его, и он бессознательно вызывал ее на то, чтоб она высказала причины своего недоверия.

— Я счастлив, но недоволен собой...— сказал он.

— Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив?

— То есть как тебе сказать?.. Я по душе ничего не желаю, кроме того, чтобы вот ты не споткнулась. Ах, да ведь нельзя же так прыгать! — прервал он свой разговор упреком за то, что она сделала слишком быстрое движение, переступая через лежавший на тропинке сук.— Но когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с другими, особенно с братом, я чувствую, что я плох.

— Да чем же? — с тою же улыбкой продолжала Кити.— Разве ты тоже не делаешь для других? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга?

— Нет, я чувствую и особенно теперь: ты виновата,— сказал он, прижав ее руку,— что это не то. Я делаю это так, слегка. Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя... а то я последнее время делаю, как заданный урок.

— Ну, что ты скажешь про папа? — спросила Кити.— Что ж, и он плох, потому что ничего не делал для общего дела?

— Он? — нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец, а у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь. Все это ты наделала. Когда тебя не было и еще не было *этого,*— сказал он со взглядом на ее живот, который она поняла,— я все свои силы клал на дело; а теперь не могу, и мне совестно; я делаю именно как заданный урок, я притворяюсь...

— Ну, а захотел бы ты сейчас променяться с Сергей Иванычем? — сказала Кити.— Захотел бы ты делать это общее дело и любить этот заданный урок, как он, и только?

— Разумеется, нет,— сказал Левин.— Впрочем, я так счастлив, что ничего не понимаю. А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? — прибавил он, помолчав.

— И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется. Вот постой.— Она нагнулась и сорвала на краю дороги дикую

— Сделает, не сделает, — говорил Левин, обрывая белые узкие продороженные лепестки. — Нет, нет! — схватив его за руку, остановила его Кити, с волнением следившая за его пальцами.— Ты два оторвал. — Иу, зато вот этот маленький не в счет, — сказал Левин, срывая коротенький недоросший лепесток.— Вот и линейка догнала нас. — Не устала ли ты, Кити? — прокричала княгиня. — Нисколько. — А то садись, если лошади смирны, и шагом. Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком. IV Варенька в своем белом платке на черных волосах, окруженная детьми, добродушно и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей мужчиною, была очень привлекательна. Сергей Иванович ходил рядом с ней и не переставая любовался ею. Глядя на нее, он вспоминал все те милые речи, которые он слышал от нее, все, что знал про нее хорошего, и все более и более сознавал, что чувство, которое он испытывает к ней, есть что-то особенное, испытанное им давно.-давпо и один только раз, в первой молодости. Чувство радости от близости к ней, все усиливаясь, дошло до того, что, подавая ей в ее корзинку найденный им огромный на тонком корне с завернувшимися краями березовый гриб, он взглянул ей в глаза и, заметив краску радостного и испуганного волнения, покрывшую ее лицо, сам смутился и улыбнулся ей молча такою улыбкой, которая слишком много говорила. «Если так, — сказал он себе, — я должен обдумать и решить, а не отдаваться, как мальчик, увлеченью минуты». — Пойду теперь независимо от всех собирать грибы, а то мои приобретения незаметны, — сказал он и пошел один с опушки леса, где они ходили по шелковистой низкой траве между редкими старыми березами, в середину леса, где между белыми березовыми стволахМи серели стволы осины и темнели кусты орешника. Отойдя шагов сорок и зайдя за куст бересклета в полном цвету с его розово-красными сережками, Сергей Иванович, зная, что 133

— Сделает, не сделает, — говорил Левин, обрывая белые узкие продороженные лепестки.

— Нет, нет! — схватив его за руку, остановила его Кити, с волнением следившая за его пальцами.— Ты два оторвал.

— Ну, зато вот этот маленький не в счет,— сказал Левин, срывая коротенький недоросший лепесток.— Вот и линейка догнала нас.

— Не устала ли ты, Кити? — прокричала княгиня.

— Нисколько.

— А то садись, если лошади смирны, и шагом.

Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.

IV

Варенька в своем белом платке на черных волосах, окруженная детьми, добродушно и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей мужчиною, была очень привлекательна. Сергей Иванович ходил рядом с ней и не переставая любовался ею. Глядя на нее, он вспоминал все те милые речи, которые он слышал от нее, все, что знал про нее хорошего, и все более и более сознавал, что чувство, которое он испытывает к ней, есть что-то особенное, испытанное им давно-давно и один только раз, в первой молодости. Чувство радости от близости к ней, все усиливаясь, дошло до того, что, подавая ей в ее корзинку найденный им огромный на тонком корне с завернувшимися краями березовый гриб, он взглянул ей в глаза и, заметив краску радостного и испуганного волнения, покрывшую ее лицо, сам смутился и улыбнулся ей молча такою улыбкой, которая слишком много говорила.

«Если так,— сказал он себе,— я должен обдумать и решить, а не отдаваться, как мальчик, увлеченью минуты».

— Пойду теперь независимо от всех собирать грибы, а то мои приобретения незаметны, — сказал он и пошел один с опушки леса, где они ходили по шелковистой низкой траве между редкими старыми березами, в середину леса, где между белыми березовыми стволами серели стволы осины и темнели кусты орешника. Отойдя шагов сорок и зайдя за куст бересклета в полном цвету с его

его не видят, остановился. Вокруг него было совершенно тихо. Только вверху берез, под которыми он стоял, как рой пчел, неумолкаемо шумели мухи, и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко с края леса прозвучал контральтовый голос Вареньки, звавший Гришу, и радостная улыбка выступила на лицо Сергея Ивановича. Сознав эту улыбку, Сергей Иванович покачал неодобрительно головой на свое состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку о ствол березы. Нежная пленка белой коры облепляла фосфор, и огонь тух. Наконец одна из спичек загорелась, и пахучий дым сигары колеблющеюся широкою скатертью определенно потянулся вперед и вверх над кустом под спускавшиеся ветки березы. Следя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошел тихим шагом, обдумывая свое состояние. «Отчего же и нет? — думал он. — Если б это была вспышка или страсть, если б я испытывал только это влечение — это взаимное влечение (я могу сказать взаимное), но чувствовал бы, что оно идет вразрез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу... но этого нет. Одно, что я могу сказать против, это то, что, потеряв Marie, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства... Это важно»,— говорил себе Сергей Иванович, чувствуя вместе с тем, что это соображение для него лично не могло иметь никакой важности, а разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. «Но, кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, что бы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше». Сколько он ни вспоминал женщин и девушек, которых он знал, он не мог вспомнить девушки, которая бы до такой степени соединяла все, именно все качества, которые он, холодно рассуждая, желал видеть в своей жене. Она имела всю прелесть и свежесть молодости, но не была ребенком, и если любила его, то любила сознательно, как должна любить женщина: это было одно. Другое: она была не только далека от светскости, но, очевидно, имела отвращение к свету, а вместе с тем знала свет и имела все те приемы женщины хорошего общества, без которых для Сергея Ивановича была немыслима подруга жизни. 139

его не видят, остановился. Вокруг него было совершенно тихо. Только вверху берез, под которыми он стоял, как рой пчел, неумолкаемо шумели мухи, и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко с края леса прозвучал контральтовый голос Вареньки, звавший Гришу, и радостная улыбка выступила на лицо Сергея Ивановича. Сознав эту улыбку, Сергей Иванович покачал неодобрительно головой на свое состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку о ствол березы. Нежная пленка белой коры облепляла фосфор, и огонь тух. Наконец одна из спичек загорелась, и пахучий дым сигары колеблющеюся широкою скатертью определенно потянулся вперед и вверх над кустом под спускавшиеся ветки березы. Следя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошел тихим шагом, обдумывая свое состояние.

«Отчего же и нет? — думал он.— Если б это была вспышка или страсть, если б я испытывал только это влечение — это взаимное влечение (я могу сказать *взаимное),* но чувствовал бы, что оно идет вразрез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу... но этого нет. Одно, что я могу сказать против, это то, что, потеряв Marie, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства... Это важно»,— говорил себе Сергей Иванович, чувствуя вместе с тем, что это соображение для него лично не могло иметь никакой важности, а разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. «Но, кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, что бы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше».

Сколько он ни вспоминал женщин и девушек, которых он знал, он не мог вспомнить девушки, которая бы до такой степени соединяла все, именно все качества, которые он, холодно рассуждая, желал видеть в своей жене. Она имела всю прелесть и свежесть молодости, но не была ребенком, и если любила его, то любила сознательно, как должна любить женщина: это было одно. Другое: она была не только далека от светскости, но, очевидно, имела отвращение к свету, а вместе с тем знала свет и имела

Третье: она была религиозна, и не как ребенок безотчетно религиозна и добра, какою была, например, Кити; но жизнь ее была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей Сергей Иванович находил в ней все то, чего он желал от жены: она была бедна и одинока, так что она не приведет с собой кучу родных и их влияние в дом мужа, как это он видел на Кити, а будет всем обязана мужу, чего он тоже всегда желал для своей будуii?,ей семейной жизни. И эта девушка, соединявшая в себе все эти качества, любила его. Он был скромен, но не мог но видеть этого. И он любил ее. Одно соображение против — были его года. Но его порода долговечна, у него не было ни одного седого волоса, ему никто не давал сорока лет, и он помнил, что Варенька говорила, что только в России люди в пятьдесят лет считают себя стариками, а что во Франции пятидесятилетний человек считает себя dans Ia force de Tage \ a сорокалетний — un jeune homme^. Но что значил счет годов, когда он чувствовал себя молодым душой, каким он был двадцать лет тому назад? Разве не молодость было то чувство, которое он испытывал теперь, когда, выйдя с другой стороны опять на край леса, он увидел на ярком свете косых лучей солнца грациозную фигуру Вареньки, в желтом платье и с корзинкой шедшей легким шагом мимо ствола старой березы, и когда это впечатление вида Вареньки слилось в одно с поразившим его своею красотой видом облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля и за полем далекого старого леса, испещренного желтизною, тающего в синей дали? Сердце его радостно сжалось. Чувство умиления охватило его. Он почувствовал, что решился. Варенька, только что присевшая, чтобы поднять гриб, гибким движением поднялась и оглянулась. Бросив сигару, Сергей Иванович решительными шагами направился к ней. V «Варвара Андреевна, когда еще я был очень молод, я составил себе идеал женщины, которую я полюблю и которую я буду счастлив назвать своею женой. Я про^ в расцвете лет (франц.). ^ молодым человеком (франц.). 140

Третье: она была религиозна, и не как ребенок безотчетно религиозна и добра, какою была, например, Кити; но жизнь ее была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей Сергей Иванович находил в ней все то, чего он желал от жены: она была бедна и одинока, так что она не приведет с собой кучу родных и их влияние в дом мужа, как это он видел на Кити, а будет всем обязана мужу, чего он тоже всегда желал для своей будущей семейной жизни. И эта девушка, соединявшая в себе все эти качества, любила его. Он был скромен, но не мог не видеть этого. И он любил ее. Одно соображение против — были его года. Но его порода долговечна, у него не было ни одного седого волоса, ему никто не давал сорока лет, и он помнил, что Варенька говорила, что только в России люди в пятьдесят лет считают себя стариками, а что во Франции пятидесятилетний человек считает себя dans la force de l'âge [1], а сорокалетний — un jeune homme [2]. Но что значил счет годов, когда он чувствовал себя молодым душой, каким он был двадцать лет тому назад? Разве не молодость было то чувство, которое он испытывал теперь, когда, выйдя с другой стороны опять на край леса, он увидел на ярком свете косых лучей солнца грациозную фигуру Вареньки, в желтом платье и с корзинкой шедшей легким шагом мимо ствола старой березы, и когда это впечатление вида Вареньки слилось в одно с поразившим его своею красотой видом облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля и за полем далекого старого леса, испещренного желтизною, тающего в синей дали? Сердце его радостно сжалось. Чувство умиления охватило его. Он почувствовал, что решился. Варенька, только что присевшая, чтобы поднять гриб, гибким движением поднялась и оглянулась. Бросив сигару, Сергей Иванович решительными шагами направился к ней.

V

«Варвара Андреевна, когда еще я был очень молод, я составил себе идеал женщины, которую я полюблю и которую я буду счастлив назвать своею женой. Я про-

жил длинную жизнь и теперь в первый раз встретил в вас то, чего искал. Я люблю вас и предлагаю вам руку». Сергей Иванович говорил себе это в то время, как он был уже в десяти шагах от Вареньки. Опустившись на колени и заіцищ,ая руками гриб от Гриши, она звала маленькую Машу. — Сюда, сюда! Маленькие! Много! — своим милым грудным голосом говорила она. Увидав подходившего Сергея Ивановича, она не поднялась и не переменила положения; но все говорило ему, что она чувствует его приближение и радуется ему. — Что, вы нашли что-нибудь? — спросила она, из-за белого платка поворачивая к нему свое красивое, тихо улыбающееся лицо. — Ни одного, — сказал Сергей Иванович. — А вы? Она не отвечала ему, занятая детьми, которые окружали ее. — Еще этот, подле ветки, — указала она маленькой Маше маленькую сыроежку, перерезанную поперек своей упругой розовой шляпки сухою травинкой, из-под которой она выдиралась. Она встала, когда Маша, разломив на две белые половинки, подняла сыроежку. — Это мне детство напоминает, — прибавила она, отходя от детей рядом с Сергеем Ивановичем. Они прошли молча несколько шагов. Варенька видела, что он хотел говорить; она догадывалась о чем и замирала от волнения радости и страха. Они отошли так далеко, что никто уже не мог бы слышать их, но он все еще не начинал говорить. Вареньке лучше было молчать. После молчания можно было легче сказать то, что они хотели сказать, чем после слов о грибах; но против своей воли, как будто нечаянно, Варенька сказала: — Так вы ничего не нашли? Впрочем, в середине леса всегда меньше. Сергей Иванович вздохнул и ничего не отвечал. Ему было досадно, что она заговорила о грибах. Он хотел воротить ее к первым словам, которые она сказала о своем детстве; но, как бы против воли своей, помолчав несколько времени, сделал замечание на ее последние слова. — Я слышал только, что белые бывают преимущественно на краю, хотя я и не умею отличить белого. Прошло еще несколько минут, они отошли еще дальше от детей и были совершенно одни. Сердце Вареньки 141

жил длинную жизнь и теперь в первый раз встретил в вас то, чего искал. Я люблю вас и предлагаю вам руку».

Сергей Иванович говорил себе это в то время, как он был уже в десяти шагах от Вареньки. Опустившись на колени и защищая руками гриб от Гриши, она звала маленькую Машу.

— Сюда, сюда! Маленькие! Много! — своим милым грудным голосом говорила она.

Увидав подходившего Сергея Ивановича, она не поднялась и не переменила положения; но все говорило ему, что она чувствует его приближение и радуется ему.

— Что, вы нашли что-нибудь? — спросила она, из-за белого платка поворачивая к нему свое красивое, тихо улыбающееся лицо.

— Ни одного,— сказал Сергей Иванович.— А вы?

Она не отвечала ему, занятая детьми, которые окружали ее.

— Еще этот, подле ветки,— указала она маленькой Маше маленькую сыроежку, перерезанную поперек своей упругой розовой шляпки сухою травинкой, из-под которой она выдиралась. Она встала, когда Маша, разломив на две белые половинки, подняла сыроежку.— Это мне детство напоминает,— прибавила она, отходя от детей рядом с Сергеем Ивановичем.

Они прошли молча несколько шагов. Варенька видела, что он хотел говорить; она догадывалась о чем и замирала от волнения радости и страха. Они отошли так далеко, что никто уже не мог бы слышать их, но он все еще не начинал говорить. Вареньке лучше было молчать. После молчания можно было легче сказать то, что они хотели сказать, чем после слов о грибах; но против своей воли, как будто нечаянно, Варенька сказала:

— Так вы ничего не нашли? Впрочем, в середине леса всегда меньше.

Сергей Иванович вздохнул и ничего не отвечал. Ему было досадно, что она заговорила о грибах. Он хотел воротить ее к первым словам, которые она сказала о своем детстве; но, как бы против воли своей, помолчав несколько времени, сделал замечание на ее последние слова.

— Я слышал только, что белые бывают преимущественно на краю, хотя я и не умею отличить белого.

билось так, что она слышала удары его и чувствовала, что краснеет, бледнеет и опять краснеет. Быть женой такого человека, как Кознышев, после своего положения у госпожи Шталь представлялось ей верхом счастья. Кроме того, она почти была уверена, что она влюблена в него. И сейчас это должно было решиться. Ей страшно было. Страшно было и то, что он скажет, и то, что он не скажет. Теперь или никогда надо было объясниться; это чувствовал и Сергей Иванович. Все, во взгляде, в румянце, в опущ,енных глазах Вареньки, показывало болезненное ожидание. Сергей Иванович видел это и жалел ее. Он чувствовал даже то, что ничего не сказать теперь значило оскорбить ее. Он быстро в уме своем повторял себе все доводы в пользу своего решения. Он повторял себе и слова, которыми он хотел выразить свое предложение; но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он вдруг спросил: — Какая же разница между белым и березовым? Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила: — В шляпке нет разницы, но в корне. И как только эти слова были сказаны, и он и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано, и волнение их, дошедшее пред этим до высшей степени, стало утихать. — Березовый гриб — корень его напоминает двухдневную небритую бороду брюнета, — сказал уже покойно Сергей Иванович. — Да, это правда, — улыбаясь, отвечала Варенька, и невольно направление их прогулки изменилось. Они стали приближаться к детям. Вареньке было и больно и стыдно, но вместе с тем она испытывала и чувство облегчения. Возвращаясь домой и перебирая доводы, Сергей Иванович нашел, что он рассуждал неправильно. Он не мог изменить памяти Marie. — Тише, дети, тише! — даже сердито закричал Левин на детей, становясь пред женой, чтобы защитить ее, когда толпа детей с визгом радости разлетелась им навстречу. После детей вышли из лесу и Сергей Иванович с Варенькой. Кити не нужно было спрашивать Вареньку; она 142

билось так, что она слышала удары его и чувствовала, что краснеет, бледнеет и опять краснеет.

Быть женой такого человека, как Кознышев, после своего положения у госпожи Шталь представлялось ей верхом счастья. Кроме того, она почти была уверена, что она влюблена в него. И сейчас это должно было решиться. Ей страшно было. Страшно было и то, что он скажет, и то, что он не скажет.

Теперь или никогда надо было объясниться; это чувствовал и Сергей Иванович. Все, во взгляде, в румянце, в опущенных глазах Вареньки, показывало болезненное ожидание. Сергей Иванович видел это и жалел ее. Он чувствовал даже то, что ничего не сказать теперь значило оскорбить ее. Он быстро в уме своем повторял себе все доводы в пользу своего решения. Он повторял себе и слова, которыми он хотел выразить свое предложение; но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он вдруг спросил:

— Какая же разница между белым и березовым?

Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила:

— В шляпке нет разницы, но в корне.

И как только эти слова были сказаны, и он и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано, и волнение их, дошедшее пред этим до высшей степени, стало утихать.

— Березовый гриб — корень его напоминает двухдневную небритую бороду брюнета, — сказал уже покойно Сергей Иванович.

— Да, это правда, — улыбаясь, отвечала Варенька, и невольно направление их прогулки изменилось. Они стали приближаться к детям. Вареньке было и больно и стыдно, но вместе с тем она испытывала и чувство облегчения.

Возвращаясь домой и перебирая доводы, Сергей Иванович нашел, что он рассуждал неправильно. Он не мог изменить памяти Marie.

— Тише, дети, тише! — даже сердито закричал Левин на детей, становясь пред женой, чтобы защитить ее, когда толпа детей с визгом радости разлетелась им навстречу.

После детей вышли из лесу и Сергей Иванович с Ва-

по спокойным и несколько пристыженным выражениям обоих лиц поняла, что планы ее не сбылись. — Ну, что? — спросил ее муж, когда они опять возвращались домой. — Не берет, — сказала Кити, улыбкой и манерой говорить напоминая отца, что часто с удовольствием замечал в ней Левин. — Как не берет? — Вот так,— сказала она, взяв руку мужа, поднося ее ко рту и дотрагиваясь до нее нераскрытыми губами — Как у архиерея руку целуют. — У кого же не берет? — сказал он, смеясь. — У обоих. А надо, чтобы вот так... — Мужики едут... — Нет, они не видали. VI Во время детского чая большие сидели на балконе и разговаривали так, как будто ничего не случилось, хотя все, и в особенности Сергей Иванович и Варенька, очень хорошо знали, что случилось хотя и отрицательное, но очень важное обстоятельство. Они испытывали оба одинаковое чувство, подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена, оставшись в том же классе или навсегда исключенный из заведения. Все присутствующие, чувствуя тоже, что что-то случилось, говорили оживленно о посторонних предметах. Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. И что они были счастливы своею любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, которые того же хотели и не могли, — и им было совестно. — Попомните мое слово: Alexandre не приедет, — сказала старая княгиня. Нынче вечером ждали с поезда Степана Аркадьича, и старый князь писал, что, может быть, и он приедет. — Ия знаю отчего, — продолжала княгиня, — он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время. — Да папа и так нас оставил. Мы его не видали, — сказала Кити. — И какие же мы молодые? Мы уже такие старые. — Только если он не приедет, и я прощусь с вами, дети, — грустно вздохнув, сказала княгиня. 143

по спокойным и несколько пристыженным выражениям обоих лиц поняла, что планы ее не сбылись.

— Ну, что? — спросил ее муж, когда они опять возвращались домой.

— Не берет, — сказала Кити, улыбкой и манерой говорить напоминая отца, что часто с удовольствием замечал в ней Левин.

— Как не берет?

— Вот так,— сказала она, взяв руку мужа, поднося ее ко рту и дотрагиваясь до нее нераскрытыми губами. — Как у архиерея руку целуют.

— У кого же не берет? — сказал он, смеясь.

— У обоих. А надо, чтобы вот так...

— Мужики едут...

— Нет, они не видали.

VI

Во время детского чая большие сидели на балконе и разговаривали так, как будто ничего не случилось, хотя все, и в особенности Сергей Иванович и Варенька, очень хорошо знали, что случилось хотя и отрицательное, но очень важное обстоятельство. Они испытывали оба одинаковое чувство, подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена, оставшись в том же классе или навсегда исключенный из заведения. Все присутствующие, чувствуя тоже, что что-то случилось, говорили оживленно о посторонних предметах. Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. И что они были счастливы своею любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, которые того же хотели и не могли, — и им было совестно.

— Попомните мое слово: Alexandre не приедет,— сказала старая княгиня.

Нынче вечером ждали с поезда Степана Аркадьича, и старый князь писал, что, может быть, и он приедет.

— И я знаю отчего,— продолжала княгиня,— он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время.

— Да папа и так нас оставил. Мы его не видали,— сказала Кити.— И какие же мы молодые? Мы уже такие старые.

— Иу, что вам, мама! — напали на нее обе дочери. — Ты подумай, ему-то каково? Ведь теперь... И вдруг совершенно неожиданно голос старой княгини задрожал. Дочери замолчали и переглянулись. «Maman всегда найдет себе что-нибудь грустное», — сказали они этим взглядом. Они не знали, что, как ни хорошо было княгине у дочери, как она ни чувствовала себя нужною тут, ей было мучительно грустно и за себя и за мужа с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь и гнездо совсем опустело. — Что вам, Агафья Михайловна? — спросила вдруг Кити остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафью Михайловну. — Насчет ужина. — Ну вот и прекрасно, — сказала Долли,-— ты поди распоряжайся, а я пойду с Гришей повторю его урок. А то он нынче ничего не делал. — Это мне урок! Нет, Долли, я пойду, — вскочив, проговорил Левин. Гриша, уже поступивший в гимназию, летом долн^еп был повторять уроки. Дарья Александровна, еще в Москве учившаяся с сыном вместе латинскому языку, приехав к Левиным, за правило себе поставила повторять с ним, хоть раз в день, уроки самые трудные из арифметики и латинского. Левин вызвался заменить ее; но мать услыхав раз урок Левина и заметив, что это делается не так, как в Москве репетировал учитель, конфузясь и стараясь не оскорбить Левина, решительно высказала ему, что надо проходить по книге так, как учитель, и что она лучше будет опять сама это делать. Левину досадно было и на Степана Аркадьича за то, что по его беспечности не он, а мать занималась наблюдением за преподаванием, в котором она ничего не понимала, и на учителей за то, что они так дурно учат детей; но свояченице он обещался вести учение, как она этого хотела. И он продолжал заниматься с Гришей уже не по-своему, а по книге, а потому неохотно и часто забывая время урока. Так было и нынче. — Нет, я пойду, Долли, ты сиди, — сказал он.— Мы все сделаем по порядку, по книжке. Только вот, как Стива приедет, мы на охоту уедем, тогда уж пропущу. И Левин пошел к Грише. То же самое сказала Варенька Кити. Варенька и в счастливом благоустроенном доме Левиных сумела быть полезною. 144

— Ну, что вам, мама! — напали на нее обе дочери.

— Ты подумай, ему-то каково? Ведь теперь...

И вдруг совершенно неожиданно голос старой княгини задрожал. Дочери замолчали и переглянулись. «Maman всегда найдет себе что-нибудь грустное»,— сказали они этим взглядом. Они не знали, что, как ни хорошо было княгине у дочери, как она ни чувствовала себя нужною тут, ей было мучительно грустно и за себя и за мужа с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь и гнездо совсем опустело.

— Что вам, Агафья Михайловна? — спросила вдруг Кити остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафью Михайловну.

— Насчет ужина.

— Ну вот и прекрасно,— сказала Долли,— ты поди распоряжайся, а я пойду с Гришей повторю его урок. А то он нынче ничего не делал.

— Это мне урок! Нет, Долли, я пойду,—вскочив, проговорил Левин.

Гриша, уже поступивший в гимназию, летом должен был повторять уроки. Дарья Александровна, еще в Москве учившаяся с сыном вместе латинскому языку, приехав к Левиным, за правило себе поставила повторять с ним, хоть раз в день, уроки самые трудные из арифметики и латинского. Левин вызвался заменить ее; но мать услыхав раз урок Левина и заметив, что это делается не так, как в Москве репетировал учитель, конфузясь и стараясь не оскорбить Левина, решительно высказала ему, что надо проходить по книге так, как учитель, и что она лучше будет опять сама это делать. Левину досадно было и на Степана Аркадьича за то, что по его беспечности не он, а мать занималась наблюдением за преподаванием, в котором она ничего не понимала, и на учителей за то, что они так дурно учат детей; но свояченице он обещался вести учение, как она этого хотела. И он продолжал заниматься с Гришей уже не по-своему, а по книге, а потому неохотно и часто забывая время урока. Так было и нынче.

— Нет, я пойду, Долли, ты сиди,— сказал он.—Мы все сделаем по порядку, по книжке. Только вот, как Стива приедет, мы на охоту уедем, тогда уж пропущу.

И Левин пошел к Грише.

То же самое сказала Варенька Кити. Варенька и в счастливом благоустроенном доме Левиных сумела быть

— я закажу ужин, а вы сидите,— сказала она и встала к Агафье Михайловне. — Да, да, верно, цыплят не нашли. Тогда своих... — сказала Кити. — Мы рассудим с Агафьей Михайловной. — И Варенька скрылась с нею. — Какая милая девушка! — сказала княгиня. — Не милая, тцтпап, а прелесть такая, каких не бывает. — Так вы нынче ждете Степана Аркадыіча? — сказал Сергей Иванович, очевидно не желая продолжать разговор о Вареньке. — Трудно найти двух свояков, менее похожих друг на друга, как ваши мужья, — сказал он с тонкою улыбкой. — Один подвижной, живущий только в обществе, как рыба в воде; другой, наш Костя, живой, быстрый, чуткий на все, но, как только в обществе, так или замирает, или бьется бестолково, как рыба на земле. — Да, он легкомыслен очень, — сказала княгиня, обращаясь к Сергею Ивановичу. — Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, Кити, невозможно оставаться здесь, а непременно надо приехать в Москву. Он говорит, выписать доктора... — Maman, он все сделает, он на все согласен, — с досадой на мать за то, что она призывает в этом деле судьей Сергея Ивановича, сказала Кити. В середине их разговора в аллее послышалось фырканье лошадей и звук колес по щебню. Не успела еще Долли встать, чтоб идти навстречу мужу, как внизу, из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гришу. — Это Стива! — из-под балкона крикнул Левин. — Мы кончили, Долли, не бойся! — прибавил он и, как мальчик, пустился бежать навстречу экипажу. — Is, ea, id, ejus, ejus, ejus \ — кричал Гриша, подпрыгивая по аллее. — И еще кто-то. Верно, папа! — прокричал Левин, остановившись у входа в аллею. — Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом. Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске с Облонским, за старого князя. Когда он приблизился ‘ Он, она, оно, его, ее, его (лат.), 145

— Я закажу ужин, а вы сидите,— сказала она и встала к Агафье Михайловне.

— Да, да, верно, цыплят не нашли. Тогда своих...— сказала Кити.

— Мы рассудим с Агафьей Михайловной.— И Варенька скрылась с нею.

— Какая милая девушка! — сказала княгиня.

— Не милая, maman, а прелесть такая, каких не бывает.

— Так вы нынче ждете Степана Аркадьича? — сказал Сергей Иванович, очевидно не желая продолжать разговор о Вареньке.— Трудно найти двух свояков, менее похожих друг на друга, как ваши мужья, — сказал он с тонкою улыбкой.— Один подвижной, живущий только в обществе, как рыба в воде; другой, наш Костя, живой, быстрый, чуткий на все, но, как только в обществе, так или замирает, или бьется бестолково, как рыба на земле.

— Да, он легкомыслен очень,— сказала княгиня, обращаясь к Сергею Ивановичу.— Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, Кити, невозможно оставаться здесь, а непременно надо приехать в Москву. Он говорит, выписать доктора...

— Maman, он все сделает, он на все согласен,— с досадой на мать за то, что она призывает в этом деле судьей Сергея Ивановича, сказала Кити.

В середине их разговора в аллее послышалось фырканье лошадей и звук колес по щебню.

Не успела еще Долли встать, чтоб идти навстречу мужу, как внизу, из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гришу.

— Это Стива! — из-под балкона крикнул Левин.— Мы кончили, Долли, не бойся! — прибавил он и, как мальчик, пустился бежать навстречу экипажу.

— Is, ea, id, ejus, ejus, ejus [1],— кричал Гриша, подпрыгивая по аллее.

— И еще кто-то. Верно, папа! — прокричал Левин, остановившись у входа в аллею.— Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом.

Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске с Облонским, за старого князя. Когда он приблизился

к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьичем не князя, а красивого полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент назади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких,— петербургско-московский блестящий молодой человек, «отличнейший малый и страстный охотник», как его представил Степан Аркадьич. Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через пойнтера, которого вез с собой Степан Аркадьич. Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил, и на то, что явился этот Васенька Весловский, человек совершенно чужой и лишний. Он показался ему еще тем более чуждым и лишним, что, когда Левин подошел к крыльцу, у которого собралась вся оживленная толпа больших и детей, он увидал, что Васенька Весловский с особенно ласковым и галантным видом целует руку Кити. — А мы cousins ^ с вашей женой, да и старые знакомые, — сказал Васенька Весловский, опять крепко-крепко пожимая руку Левина. — Ну что, дичь есть? — обратился к Левину Степан Аркадьич, едва поспевавший каждому сказать приветствие. — Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения. Как же, , maman, они с тех пор не были в Москве. Ну, Таня, вот тебе! Достань, пожалуйста, в коляске сзади, — на все стороны говорил он. — Как ты посвежела, Долленька,— говорил он жене, еще раз целуя ее руку, удерживая ее в своей и потрепливая сверху другую. Левин, за минуту тому назад бывший в самом веселом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и все ему не нравилось. «Кого он вчера целовал этими губами?» — думал он, глядя на нежности Степана Аркадьича с женой. Он посмотрел на Долли, и она тоже не понравилась ему. «Ведь она не верит его любви. Так чему же она так рада? Отвратительно!» — думал Левин. Он посмотрел на княгиню, которая так мила была минуту тому назад, и ему не понравилась та манера, с кото^ родственники (франц.). 146

к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьичем не князя, а красивого полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент назади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких,— петербургско-московский блестящий молодой человек, «отличнейший малый и страстный охотник», как его представил Степан Аркадьич.

Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через пойнтера, которого вез с собой Степан Аркадьич.

Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил, и на то, что явился этот Васенька Весловский, человек совершенно чужой и лишний. Он показался ему еще тем более чуждым и лишним, что, когда Левин подошел к крыльцу, у которого собралась вся оживленная толпа больших и детей, он увидал, что Васенька Весловский с особенно ласковым и галантным видом целует руку Кити.

— А мы cousins [1] с вашей женой, да и старые знакомые,— сказал Васенька Весловский, опять крепко-крепко пожимая руку Левина.

— Ну что, дичь есть? — обратился к Левину Степан Аркадьич, едва поспевавший каждому сказать приветствие.— Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения. Как же, maman, они с тех пор не были в Москве. Ну, Таня, вот тебе! Достань, пожалуйста, в коляске сзади,— на все стороны говорил он.— Как ты посвежела, Долленька,— говорил он жене, еще раз целуя ее руку, удерживая ее в своей и потрепливая сверху другую.

Левин, за минуту тому назад бывший в самом веселом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и все ему не нравилось.

«Кого он вчера целовал этими губами?» — думал он, глядя на нежности Степана Аркадьича с женой. Он посмотрел на Долли, и она тоже не понравилась ему.

«Ведь она не верит его любви. Так чему же она так рада? Отвратительно!» — думал Левин.

Он посмотрел на княгиню, которая так мила была минуту тому назад, и ему не понравилась та манера, с кото-

рою она, как к себе в дом, приветствовала этого Васеньку с его лептами. Даже Сергей Иванович, который тоже вышел на крыльцо, показался ему неприятен тем притворным дружелюбием, с которым он встречал Степана Аркадъича, тогда как Левин знал, что брат его не любил и не уважал Облонского. И Варенька, и та ему была противна тем, как она с своим видом sainte nitouche ^ знакомилась с этим господином, тогда как только и думала о том, как бы ей выйти замуж. И противнее всех была Кити тем, как она поддалась тому тону веселья, с которым этот господин, как на праздник для себя и для всех, смотрел на свой приезд в деревню, и в особенности неприятна была тою особенною улыбкой, которою она отвечала на его улыбки. Шумно разговаривая, все пошли в дом; но как только все уселись, Левин повернулся и вышел. Кити видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела улучить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. «Им там все праздник, — думал он, — а тут дела не праздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя». VII Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити с Агафьей Михайловной, совещаясь о винах к ужину. *— Да что вы такой fuss^ делаете? Подай, что обыкновенно. — Нет, Стива не пьет... Костя, подожди, что с тобой? — заговорила Кити, поспевая за ним, но он безжалостно, не дожидаясь ее, ушел большими шагами в столовую и тотчас же вступил в общий оживленный разговор, который поддерживали там Васенька Весловский и Степан Аркадьич. — Ну что же, завтра едем на охоту? — сказал Степан Аркадьич. ^ с^тошvi (Франц,), * суматоху (англ.), 147

рою она, как к себе в дом, приветствовала этого Васеньку с его лентами.

Даже Сергей Иванович, который тоже вышел на крыльцо, показался ему неприятен тем притворным дружелюбием, с которым он встречал Степана Аркадьича, тогда как Левин знал, что брат его не любил и не уважал Облонского.

И Варенька, и та ему была противна тем, как она с своим видом sainte nitouche [1] знакомилась с этим господином, тогда как только и думала о том, как бы ей выйти замуж.

И противнее всех была Кити тем, как она поддалась тому тону веселья, с которым этот господин, как на праздник для себя и для всех, смотрел на свой приезд в деревню, и в особенности неприятна была тою особенною улыбкой, которою она отвечала на его улыбки.

Шумно разговаривая, все пошли в дом; но как только все уселись, Левин повернулся и вышел.

Кити видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела улучить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. «Им там все праздник,— думал он,— а тут дела не праздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя».

VII

Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити с Агафьей Михайловной, совещаясь о винах к ужину.

— Да что вы такой fuss [2] делаете? Подай, что обыкновенно.

— Нет, Стива не пьет... Костя, подожди, что с тобой? — заговорила Кити, поспевая за ним, но он безжалостно, не дожидаясь ее, ушел большими шагами в столовую и тотчас же вступил в общий оживленный разговор, который поддерживали там Васенька Весловский и Степан Аркадьич.

— Ну что же, завтра едем на охоту? — сказал Степан Аркадьич.

— Пожалуйста, поедем, — сказал Весловский, пересаживаясь боком на другой стул и поджимая под себя ишрную ногу. — Я очень рад, поедем. А вы уже охотились нынешний год? — сказал Левин Весловскому, внимательно оглядывая его ногу, но с притворною приятностью, которую так знала в нем Кити и которая так не шла ему. — Дупелей, не знаю, найдем ли, а бекасов много. Только надо охать рано. Вы не устанете? Ты не устал, Стива? — Я устал? Никогда еиде не уставал. Давайте не спать всю ночь! Пойдемте гулять. “ В самом деле, давайте не спать! отлично! — подтвердил Весловский. — О, в этом мы уверены, что ты можешь не спать и другим не давать, — сказала Долли мужу с тою чуть заметною иронией, с которою она теперь почти всегда откосилась к своему мужу. — А по-моему, уж теперь пора... Я пойду, я не ужинаю. — Нет, ты посиди, Долленька, — сказал он, переходя на ее сторону за большим столом, на котором ужинали. — Я тебе еще сколько расскажу! — Верно, ничего. — А ты знаешь, Весловский был у Анны. И он опять к ним едет. Ведь они всего в семидесяти верстах от вас. И я тоже непременно съезжу. Весловский, поди сюда! Васенька перешел к дамам и сел рядом с Кити. — Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у нее? Как опа? — обратилась к нему Дарья Александровна. Левин остался на другом конце стола и, не переставая разговаривать с княгиней и Варенькой, видел, что между Долли, Кити и Весловским шел оживленный и таинственный разговор. Мало того, что шел таинственный разговор, он видел в лице своей жены выражение серьезного чувства, когда она, не спуская глаз, смотрела в красивое лицо Васеньки, что-то оживленно рассказывавшего. — Очень у них хорошо, — рассказывал Васенька про Вронского и Анну. — Я, разумеется, не беру на себя судить, но в их доме чувствуешь себя в семье. — Что ÎK они намерены делать? — Кажется, на зиму хотят ехать в Москву. — Как бы хорошо нам вместе съехаться у них! Ti>i когда поедешь? — спросил Степан Аркадьич у Васеньки. 148

— Пожалуйста, поедем,— сказал Весловский, пересаживаясь боком на другой стул и поджимая под себя жирную ногу.

— Я очень рад, поедем. А вы уже охотились нынешний год? — сказал Левин Весловскому, внимательно оглядывая его ногу, но с притворною приятностью, которую так знала в нем Кити и которая так не шла ему.— Дупелей, не знаю, найдем ли, а бекасов много. Только надо ехать рано. Вы не устанете? Ты не устал, Стива?

— Я устал? Никогда еще не уставал. Давайте не спать всю ночь! Пойдемте гулять.

— В самом деле, давайте не спать! отлично! — подтвердил Весловский.

— О, в этом мы уверены, что ты можешь не спать и другим не давать,— сказала Долли мужу с тою чуть заметною иронией, с которою она теперь почти всегда относилась к своему мужу.— А по-моему, уж теперь пора... Я пойду, я не ужинаю.

— Нет, ты посиди, Долленька,— сказал он, переходя на ее сторону за большим столом, на котором ужинали.— Я тебе еще сколько расскажу!

— Верно, ничего.

— А ты знаешь, Весловский был у Анны. И он опять к ним едет. Ведь они всего в семидесяти верстах от вас. И я тоже непременно съезжу. Весловский, поди сюда!

Васенька перешел к дамам и сел рядом с Кити.

— Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у нее? Как она? — обратилась к нему Дарья Александровна.

Левин остался на другом конце стола и, не переставая разговаривать с княгиней и Варенькой, видел, что между Долли, Кити и Весловским шел оживленный и таинственный разговор. Мало того, что шел таинственный разговор, он видел в лице своей жены выражение серьезного чувства, когда она, не спуская глаз, смотрела в красивое лицо Васеньки, что-то оживленно рассказывавшего.

— Очень у них хорошо,— рассказывал Васенька про Вронского и Анну.— Я, разумеется, не беру на себя судить, но в их доме чувствуешь себя в семье.

— Что ж они намерены делать?

— Кажется, на зиму хотят ехать в Москву.

— Как бы хорошо нам вместе съехаться у них! Ты

— я проведу у них июль. — А ты поедешь? — обратился Степан Аркадьич к жене. — Я давно хотела и непременно поеду, — сказала Долли. — Мне ее жалко, и я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я поеду одна, когда ты уедешь, и никого этим нѳ стесню. И даже лучше без тебя. — И прекрасно, — сказал Степан Аркадьич. — А ты, Кити? — Я? Зачем я поеду? — вся вспыхнув, сказала Кити. И оглянулась на мужа. — А вы знакомил с Анною Аркадьевной? — спросил ее Весловский. — Она очень привлекательная женщина. — Да, — еще более краснея, отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу. — Так ты завтра едешь на охоту? — сказала она. Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл ее щеки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их уже понимал по-своему. Как ни странно было ему потом вспоминать об этом, теперь ему казалось ясно, что если она спрашивает его, едет ли он на охоту, то это интересует ее только для того, чтобы узнать, доставит ли он это удовольствие Васеньке Весловскому, в которого она, по его понятию, уже была влюблена. — Да, я поеду,— ненатуральным, самому себе противным голосом отвечал он ей. — Нет, лучше пробудьте завтра день, а то Долли нѳ видала мужа совсем, а послезавтра поезжайте, — сказала Кити. Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так: «Не разлучай меня с ним. Что ты уедешь — это мне все равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека». — Ах, если ты хочешь, то мы завтра пробудем, — с особенной приятностью отвечал Левин. Васенька между тем, нисколько и не подозревая всего того страдания, которое причинялось его присутствием, вслед за Кити встал от стола и, следя за ней улыбающимся, ласковым взглядом, пошел за нею. Левин видел этот взгляд. Он побледнел и с минуту но мог перевести дыхания. «Как позволить себе смотреть так на мою жену!» — кипело в нем. 149

— Я проведу у них июль.

— А ты поедешь? — обратился Степан Аркадьич к жене.

— Я давно хотела и непременно поеду,— сказала Долли.— Мне ее жалко, и я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я поеду одна, когда ты уедешь, и никого этим не стесню. И даже лучше без тебя.

— И прекрасно,— сказал Степан Аркадьич.— А ты, Кити?

— Я? Зачем я поеду? — вся вспыхнув, сказала Кити. И оглянулась на мужа.

— А вы знакомы с Анною Аркадьевной? — спросил ее Весловский.— Она очень привлекательная женщина.

— Да,— еще более краснея, отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу.

— Так ты завтра едешь на охоту? — сказала она.

Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл ее щеки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их уже понимал по-своему. Как ни странно было ему потом вспоминать об этом, теперь ему казалось ясно, что если она спрашивает его, едет ли он на охоту, то это интересует ее только для того, чтобы узнать, доставит ли он это удовольствие Васеньке Весловскому, в которого она, по его понятию, уже была влюблена.

— Да, я поеду,— ненатуральным, самому себе противным голосом отвечал он ей.

— Нет, лучше пробудьте завтра день, а то Долли не видала мужа совсем, а послезавтра поезжайте, — сказала Кити.

Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так: «Не разлучай меня с *ним*. Что ты уедешь — это мне все равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека».

— Ах, если ты хочешь, то мы завтра пробудем,— с особенной приятностью отвечал Левин.

Васенька между тем, нисколько и не подозревая всего того страдания, которое причинялось его присутствием, вслед за Кити встал от стола и, следя за ней улыбающимся, ласковым взглядом, пошел за нею.

Левин видел этот взгляд. Он побледнел и с минуту не

— Так завтра? Поедем, пожалуйста,— сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке. Ревность Левина еще дальше ушла. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобства й^изии и удовольствия... Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра. На счастье Левина, старая княгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Кити идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина. Прощаясь с хозяйкой, Васенька опять хотел поцеловать ее руку, но Кити, покраснев, с наивной грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстранив руку: — Это у нас не принято. В глазах Левина она была виновата в том, что она допустила такие отношения, и еще больше виновата в том, что так неловко показала, что они ей не нравятся. — Ну что за охота спать! — сказал Степан Аркадьич, после выпитых за ужином нескольких стаканов вина приіпедший в свое самое милое и поэтическое настроение. — Смотри, смотри, Кити, — говорил он, указывая на поднимавшуюся из-за лип луну, — что за прелесть! Весловский, вот когда серенаду. Ты знаешь, у него славный голос. Мы с ним спелись дорогой. Он привез с собою прекрасные романсы, новые два. С Варварой Андреевной бы спеть. Когда все разошлись, Степан Аркадьич еще долго ходил с Весловским по аллее, и слышались их певавшиеся на новом романсе голоса. Слушая эти голоса, Левин насупившись сидел на кресле в спальне жены и упорно молчал на ее вопросы о том, что с ним; но когда наконец она сама, робко улыбаясь, спросила: «Уж не что ли нибудь не понравилось тебе с Весловским?» — его прорвало, и он высказал все; то, что он высказывал, оскорбляло его и потому еще больше его раздражало. Он стоял пред ней с страшно блестевшими из-под насупленных бровей глазами и прижимал к груди сильные руки, как будто напрягая все силы свои, чтоб удержать себя. Выражение лица его было бы сурово и даже жестоко, 150

— Так завтра? Поедем, пожалуйста,— сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке.

Ревность Левина еще дальше ушла. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобства жизни и удовольствия... Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра.

На счастье Левина, старая княгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Кити идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина. Прощаясь с хозяйкой, Васенька опять хотел поцеловать ее руку, но Кити, покраснев, с наивной грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстранив руку:

— Это у нас не принято.

В глазах Левина она была виновата в том, что она допустила такие отношения, и еще больше виновата в том, что так неловко показала, что они ей не нравятся.

— Ну что за охота спать! — сказал Степан Аркадьич, после выпитых за ужином нескольких стаканов вина пришедший в свое самое милое и поэтическое настроение.— Смотри, смотри, Кити,— говорил он, указывая на поднимавшуюся из-за лип луну, — что за прелесть! Весловский, вот когда серенаду. Ты знаешь, у него славный голос. Мы с ним спелись дорогой. Он привез с собою прекрасные романсы, новые два. С Варварой Андреевной бы спеть.

Когда все разошлись, Степан Аркадьич еще долго ходил с Весловским по аллее, и слышались их певавшиеся на новом романсе голоса.

Слушая эти голоса, Левин насупившись сидел на кресле в спальне жены и упорно молчал на ее вопросы о том, что с ним; но когда наконец она сама, робко улыбаясь, спросила: «Уж не что ли нибудь не понравилось тебе с Весловским?» — его прорвало, и он высказал все; то, что он высказывал, оскорбляло его и потому еще больше его раздражало.

Он стоял пред ней с страшно блестевшими из-под насупленных бровей глазами и прижимал к груди сильные руки, как будто напрягая все силы свои, чтоб удержать

если б оно вместе с тем не выражало страдания, которое трогало ее. Скулы его тряслись, и голос обрывался. — Ты пойми, что я не ревную: это мерзкое слово. Я не могу ревновать и верить, чтоб... Я не могу сказать, что я чувствую, но это ужасно... Я не ревную, но я оскорблен, унижен тем, что кто-нибудь смеет думать, смеет смотреть на тебя такими глазами... — Да какими глазами? — говорила Кити, стараясь как можно добросовестнее вспомнить все речи и жесты нынешнего вечера и все их оттенки. Во глубине души она находила, что было что-то именно в ту минуту, как он перешел за ней на другой конец стола, но не смела признаться в этом даже самой себе, тем более не решалась сказать это ему и усилить этим его страдание. — И что ню может быть привлекательного во мне, какая я?.. — Ах! — вскрикнул он, хватаясь за голову. — Ты бы не говорила!.. Значит, если бы ты была привлекательна... — Да нет, Костя, да постой, да послушай! — говорила она, с страдальчески-соболезнующим выражением глядя на него.— Ну, что же ты можешь думать? Когда для меня нет людей, нету, нету!.. Ну, хочешь ты, чтоб я никого не видала? В первую минуту ей была оскорбительна его ревность; ей было досадно, что малейшее развлечение, и самое невинное, было ей запреш,ено; но теперь она охотно пожертвовала бы и не такими пустяками, а всем для его спокойствия, чтоб избавить его от страдания, которое он испытывал. — Ты пойми ужас и комизм моего положения, — продолжал он отчаянным шепотом, — что он у меня в доме, что он ничего неприличного, собственно, ведь не сделал, кроме этой развязности и поджимания ног. Он считает это самым хорошим тоном, и потому я должен быть любезен с ним. — Но, Костя, ты преувеличиваешь,— говорила Кити, в глубине души радуясь той силе любви к ней, которая выражалась теперь в его ревности. — Ужаснее всего то, что ты — какая ты всегда, и теперь, когда ты такая святыня для меня, мы так счастливы, так особенно счастливы, и вдруг такая дрянь... Не дрянь, зачем я его браню? Мне до него дела нет. Но за ^то мое, твое счастье?..

если б оно вместе с тем не выражало страдания, которое трогало ее. Скулы его тряслись, и голос обрывался.

— Ты пойми, что я не ревную: это мерзкое слово. Я не могу ревновать и верить, чтоб... Я не могу сказать, что я чувствую, но это ужасно... Я не ревную, но я оскорблен, унижен тем, что кто-нибудь смеет думать, смеет смотреть на тебя такими глазами...

— Да какими глазами? — говорила Кити, стараясь как можно добросовестнее вспомнить все речи и жесты нынешнего вечера и все их оттенки.

Во глубине души она находила, что было что-то именно в ту минуту, как он перешел за ней на другой конец стола, но не смела признаться в этом даже самой себе, тем более не решалась сказать это ему и усилить этим его страдание.

— И что же может быть привлекательного во мне, какая я?..

— Ах! — вскрикнул он, хватаясь за голову.— Ты бы не говорила!.. Значит, если бы ты была привлекательна...

— Да нет, Костя, да постой, да послушай! — говорила она, с страдальчески-соболезнующим выражением глядя на него.— Ну, что же ты можешь думать? Когда для меня нет людей, нету, нету!.. Ну, хочешь ты, чтоб я никого не видала?

В первую минуту ей была оскорбительна его ревность; ей было досадно, что малейшее развлечение, и самое невинное, было ей запрещено; но теперь она охотно пожертвовала бы и не такими пустяками, а всем для его спокойствия, чтоб избавить его от страдания, которое он испытывал.

— Ты пойми ужас и комизм моего положения, — продолжал он отчаянным шепотом,— что он у меня в доме, что он ничего неприличного, собственно, ведь не сделал, кроме этой развязности и поджимания ног. Он считает это самым хорошим тоном, и потому я должен быть любезен с ним.

— Но, Костя, ты преувеличиваешь,— говорила Кити, в глубине души радуясь той силе любви к ней, которая выражалась теперь в его ревности.

— Ужаснее всего то, что ты — какая ты всегда, и теперь, когда ты такая святыня для меня, мы так счастливы, так особенно счастливы, и вдруг такая дрянь... Не дрянь, зачем я его браню? Мне до него дела нет. Но за

— Знаешь, я понимаю, отчего это сделалось, — начала Кити. — Отчего? отчего? — Я видела, как ты смотрел, когда мы говорили за ужином. — Ну да, ну да! — испуганно сказал Левин. Она рассказала ему, о чем они говорили. И, рассказывая это, она задыхалась от волнения. Левин помолчал, потом пригляделся к ее бледному, испуганному лицу и вдруг схватился за голову. — Катя, я измучил тебя! Голубчик, прострі меня! Это сумасшествие! Катя, я кругом виноват. И молшо ли было из такой глупости так мучаться? — Нет, мне тебя жалко. — Меня? Меня? Что я? Сумасшедший!.. А тебя за что? Это ужасно думать, что всякий человек чужой может расстроить наше счастье. — Разумеется, это-то и оскорбительно... — Нет, так я, напротив, оставлю его нарочно у нас все лето и буду рассыпаться с ним в любезностях, — говорил Левин, целуя ее руки.— Вот увидишь. Завтра... Да, правда, завтра мы едем. VIII На другой день, дамы еще не вставали, как охотничьи два экипажа, катки и тележка, стояли у подъезда, и Ласка, еш,е с утра понявшая, что едут на охоту, навизжавшись и напрыгавшись досыта, сидела на катках подле кучера, взволнованно и неодобрительно за промедление глядя на дверь, из которой все еще не выходили охотники. Первый вышел Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зеленой блузе, подпоясанной новым, пахнущим кожей патронташем, и в своем колпачке с лентами, и с английским новеньким руяжем без антапок и перевязи. Ласка подскочила к нему, поприветствовала его, попрыгав, спросила у него по-своему, скоро ли выйдут те, но, не получив от него ответа, вернулась на свой пост ожидания и опять замерла, повернув набок голову и насторожив одно ухо. Наконец дверь с грохотом отворилась, вылетел, кружась и повертываясь на воздухе, Крак, половопегий пойнтер Степана Аркадьича, и вышел сам Степан Аркадьич с ружьем в руках и с сигарой во рту. «Тубо, тубо. 152

— Знаешь, я понимаю, отчего это сделалось,— начала Кити.

— Отчего? отчего?

— Я видела, как ты смотрел, когда мы говорили за ужином.

— Ну да, ну да! — испуганно сказал Левин.

Она рассказала ему, о чем они говорили. И, рассказывая это, она задыхалась от волнения. Левин помолчал, потом пригляделся к ее бледному, испуганному лицу и вдруг схватился за голову.

— Катя, я измучил тебя! Голубчик, прости меня! Это сумасшествие! Катя, я кругом виноват. И можно ли было из такой глупости так мучаться?

— Нет, мне тебя жалко.

— Меня? Меня? Что я? Сумасшедший!.. А тебя за что? Это ужасно думать, что всякий человек чужой может расстроить наше счастье.

— Разумеется, это-то и оскорбительно...

— Нет, так я, напротив, оставлю его нарочно у нас все лето и буду рассыпаться с ним в любезностях,— говорил Левин, целуя ее руки.— Вот увидишь. Завтра... Да, правда, завтра мы едем.

VIII

На другой день, дамы еще не вставали, как охотничьи два экипажа, катки и тележка, стояли у подъезда, и Ласка, еще с утра понявшая, что едут на охоту, навизжавшись и напрыгавшись досыта, сидела на катках подле кучера, взволнованно и неодобрительно за промедление глядя на дверь, из которой все еще не выходили охотники. Первый вышел Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зеленой блузе, подпоясанной новым, пахнущим кожей патронташем, и в своем колпачке с лентами, и с английским новеньким ружьем без антапок и перевязи. Ласка подскочила к нему, поприветствовала его, попрыгав, спросила у него по-своему, скоро ли выйдут те, но, не получив от него ответа, вернулась на свой пост ожидания и опять замерла, повернув набок голову и насторожив одно ухо. Наконец дверь с грохотом отворилась, вылетел, кружась и повертываясь на воздухе, Крак, половопегий пойнтер Степана Аркадьича, и вышел сам Степан Аркадьич

Крак!» — покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на живот и грудь, цепляясь ими за ягдташ. Степан Аркадьич был одет в поршни и подверт]ai, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и ягдташ и патронташ, хотя истасканные, были наилучшей доброты. Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства — быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьича, в этих отрепках сиявшего своею элегантною, откормленною и веселою барскою фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. — Ну, а хозяин наш что? — спросил он. — Молодая жена, — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич. — Да, и такая прелестная. — Он уже был одет. Верно, опять побежал к ней. Степан Аркадьич угадал. Левин забея^ал опять к жене спросить у нее еще раз, простила ли она его за вчерашнюю глупость, и еще затем, чтобы попросить ее, чтобы она, ради Христа, была осторожнее. Главное, от детей была бы дальше,— они всегда могут толкнуть. Потом надо было еще раз получить от нее подтверждение, что она не сердится на него за то, что он уезя^ает на два дня, и еіце просить ее непременно прислать ему записку завтра с верховым, написать хоть только два слова, только чтоб он мог знать, что она благополучна. Кити, как всегда, больно было на два дня расставаться с мужем, но, увидав его оживленную фигуру, казавшуюся особенно большою и сильною в охотничьих сапогах и белой блузе, и какое-то непонятное для нее сияние охотничьего возбуждения, она из-за его радости забыла свое огорчение и весело простилась с ним. — Виноват, господа! — сказал он, выбегая на крыльцо. — Завтрак полояшли? Зачем рыжего направо? Ну, все равно. Ласка, брось, пошла сидеть! — Пусти в холостое стадо, — обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о валушках. — Виноват, вот еще злодей идет. Левин соскочил с катков, на которые он уя^е сел было, к рядчику-плотнику, с саженью шедшему к крыльцу.

Крак!» — покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на живот и грудь, цепляясь ими за ягдташ. Степан Аркадьич был одет в поршни и подвертки, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и ягдташ и патронташ, хотя истасканные, были наилучшей доброты.

Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства — быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьича, в этих отрепках сиявшего своею элегантною, откормленною и веселою барскою фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится.

— Ну, а хозяин наш что? — спросил он.

— Молодая жена,— улыбаясь, сказал Степан Аркадьич.

— Да, и такая прелестная.

— Он уже был одет. Верно, опять побежал к ней.

Степан Аркадьич угадал. Левин забежал опять к жене спросить у нее еще раз, простила ли она его за вчерашнюю глупость, и еще затем, чтобы попросить ее, чтобы она, ради Христа, была осторожнее. Главное, от детей была бы дальше,— они всегда могут толкнуть. Потом надо было еще раз получить от нее подтверждение, что она не сердится на него за то, что он уезжает на два дня, и еще просить ее непременно прислать ему записку завтра с верховым, написать хоть только два слова, только чтоб он мог знать, что она благополучна.

Кити, как всегда, больно было на два дня расставаться с мужем, но, увидав его оживленную фигуру, казавшуюся особенно большою и сильною в охотничьих сапогах и белой блузе, и какое-то непонятное для нее сияние охотничьего возбуждения, она из-за его радости забыла свое огорчение и весело простилась с ним.

— Виноват, господа! — сказал он, выбегая на крыльцо.— Завтрак положили? Зачем рыжего направо? Ну, все равно. Ласка, брось, пошла сидеть!

— Пусти в холостое стадо,— обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о валушках.— Виноват, вот еще злодей идет.

Левин соскочил с катков, на которые он уже сел было, к рядчику-плотнику, с саженью, шедшему к

— Вот вчера не пришел в контору, теперь меня задерживаешь. Ну, что? — Прикажите еш,е поворот сделать. Всего три ступеньки прибавить. И пригоним в самый раз. Много покойнее будет. — Ты бы слушал меня, — с досадой отвечал Левин. — Я говорил, установи тетивы и потом ступени врубай. Теперь не поправишь. Делай, как я велел, ■— руби новую. Дело было в том, что в строягдемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли покатые, когда ее поставили на место. Теперь рядчик хотел, оставив ту же лестницу, прибавить три ступени. — Много лучше будет. — Да куда же она у тебя выйдет с тремя ступенями? — Помилуйте-с, — с презрительной улыбкой сказал плотник. — В самую тахту выйдет. Как, значит, возьмется снизу, — с убедительным жестом сказал он, — пойдетъ, пойдетъ и придетъ. — Ведъ три ступеньки и в длину прибавят... Куда ж она придет? — Так она, значит, снизу как пой деть, так и придать, — упорно и убедительно говорил рядчик. — Под потолок и в стену она придет. — Помилуйте. Ведь снизу пойдетъ. Пойдетъ, пойдетъ и придетъ. Левин достал шомпол и стал по пыли рисовать ему лестницу. — Ну, видишь? — Как прикажете, — сказал плотник, вдруг просветлев глазами и, очевидно, поняв наконец дело. — Видно, приходится новую рубитъ. — Ну, так так и делай, как велено! — крикнул Левин, садясь на катки. — Пошел! Собак держи, Филипп! Левин испытывал теперь, оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, такое сильное чувство радости яшзныо и ояшданъя, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает всякий охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том, найдут ли они что в Колпенском болоте, о том, какова окажется Ласка в сравне154

— Вот вчера не пришел в контору, теперь меня задерживаешь. Ну, что?

— Прикажите еще поворот сделать. Всего три ступеньки прибавить. И пригоним в самый раз. Много покойнее будет.

— Ты бы слушал меня, — с досадой отвечал Левин. — Я говорил, установи тетивы и потом ступени врубай. Теперь не поправишь. Делай, как я велел, — руби новую.

Дело было в том, что в строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли покатые, когда ее поставили на место. Теперь рядчик хотел, оставив ту же лестницу, прибавить три ступени.

— Много лучше будет.

— Да куда же она у тебя выйдет с тремя ступенями?

— Помилуйте-с,— с презрительной улыбкой сказал плотник. — В самую тахту выйдет. Как, значит, возьмется снизу,— с убедительным жестом сказал он,— пойдеть, пойдеть и придеть.

— Ведь три ступеньки и в длину прибавят... Куда ж она придет?

— Так она, значит, снизу как пойдеть, так и придеть,— упорно и убедительно говорил рядчик.

— Под потолок и в стену она придет.

— Помилуйте. Ведь снизу пойдеть. Пойдеть, пойдеть и придеть.

Левин достал шомпол и стал по пыли рисовать ему лестницу.

— Ну, видишь?

— Как прикажете,— сказал плотник, вдруг просветлев глазами и, очевидно, поняв наконец дело. — Видно, приходится новую рубить.

— Ну, так так и делай, как велено! — крикнул Левин, садясь на катки.— Пошел! Собак держи, Филипп!

Левин испытывал теперь, оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, такое сильное чувство радости жизнью и ожиданья, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает всякий охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том, найдут ли они что в Кол-

НИИ с Ираком и как-то самому ему удастся стрелять нынче. Как бы не осрамиться ему пред новым человеком? Как бы Облонский не обстрелял его? — тоже приходило ему в голову. Облонский испытывал подобное же чувство и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский не переставая весело разговаривал. Теперь, слушая его, Левину совестно было вспоминать, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левин сошелся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздшшное отношение к я^изни и какая-то развязность элегантности. Как будто он считал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длинные ногти, и шапочка, и остальное соответствующее; но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира. Васеньке чрезвычайно понравилась степная донская лошадь на левой пристяя^ке. Он все восхищался ею. — Как хорошо верхом на степной лошади скакать по степи. А? Не правда ли? — говорил он. Что-то такое он представлял себе в езде на степной лошади дикое, поэтическое, из которого ничего не выходило; но наивность его, в особенности в соединении с его красотой, милою улыбкой и грацией движений, была очень привлекательна. Оттого ли, что натура его была симпатична Левину, или потому, что Левин старался в искупление вчерашнего греха найти в нем все хорошее, Левину было приятно с ним. Отъехав три версты, Весловский вдруг хватился сигар и бумажника и не знал, потерял ли он их или оставил на столе. В бумаяшике было триста семьдесят рублей, и потому нельзя было так оставить этого. — Знаете что, Левин, я на этой донской пристяжной поскачу домой. Это будет отлично. А? — говорил он, уже готовясь влезать. — Нет, зачем же? — отвечал Левин, рассчитавший, что в Васеньке должно быть не менее шести пудов веса.— Я кучера пошлю. Кучер поехал на пристяжной, а Левин стал сам править карой.

нии с Краком и как-то самому ему удастся стрелять нынче. Как бы не осрамиться ему пред новым человеком? Как бы Облонский не обстрелял его? — тоже приходило ему в голову.

Облонский испытывал подобное же чувство и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский не переставая весело разговаривал. Теперь, слушая его, Левину совестно было вспоминать, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левин сошелся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элегантности. Как будто он считал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длинные ногти, и шапочка, и остальное соответствующее; но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира.

Васеньке чрезвычайно понравилась степная донская лошадь на левой пристяжке. Он все восхищался ею.

— Как хорошо верхом на степной лошади скакать по степи. А? Не правда ли? — говорил он.

Что-то такое он представлял себе в езде на степной лошади дикое, поэтическое, из которого ничего не выходило; но наивность его, в особенности в соединении с его красотой, милою улыбкой и грацией движений, была очень привлекательна. Оттого ли, что натура его была симпатична Левину, или потому, что Левин старался в искупление вчерашнего греха найти в нем все хорошее, Левину было приятно с ним.

Отъехав три версты, Весловский вдруг хватился сигар и бумажника и не знал, потерял ли он их или оставил на столе. В бумажнике было триста семьдесят рублей, и потому нельзя было так оставить этого.

— Знаете что, Левин, я на этой донской пристяжной поскачу домой. Это будет отлично. А? — говорил он, уже готовясь влезать.

— Нет, зачем же? — отвечал Левин, рассчитавший, что в Васеньке должно быть не менее шести пудов веса.— Я кучера пошлю.

IX — Ну, какой же наш маршрут? Расскажи-ка хорошенько, — сказал Степан Аркадьич. — План следующ,ий: теперь мы едем до Гвоздева. В Гвоздеве болото дупелиное по сю сторону, а за Гвоздевым идут чудные бекасиные болота, и дупеля бывают. Теперь жарко, и мы к вечеру (двадцать верст) приедем и возьмем вечернее поле; переночуем, а уже завтра в большие болота. — А дорогой разве ничего нет? — Есть; но задержимся, и жарко. Есть славные два местечка, да едва ли есть что. Левину самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были от дома близкие, он всегда мог взять их, и местечки были маленькие, — троим негде стрелять. И потому он кривил душой, говоря, что едва ли есть что. Поравнявшись с маленьким болотцем, Левин хотел проехать мимо, но опытный охотничий глаз Степана Аркадьича тотчас же рассмотрел видную с дороги мочежину. — Не заедем ли? — сказал он, указывая на болотце. — Левин, пожалуйста! как отлично! — стал просить Васенька Весловский, и Левин не мог не согласиться. Не успели остановиться, как собаки, перегоняя одна другую, уже летели к болоту. — Крак! Ласка!.. Собаки вернулись. — Втроем тесно будет. Я побуду здесь, — сказал Левин, надеясь, что они ничего не найдут, кроме чибисов, которые поднялись от собак и, перекачиваясь на лету, жалобно плакали над болотом. — Нет! Пойдемте, Левин, пойдем вместе! — звал Весловский. — Право, тесно. Ласка, назад! Ласка! Ведь вам не нужно другой собаки? Левин остался у линейки и с завистью смотрел па охотников. Охотники прошли все болотце. Кроме курочки и чибисов, из которых одного убил Васенька, ничего по было в болоте. — Ну вот видите, что я не жалел болота, — сказал Левин, — только время терять. — Нет, все-таки весело. Вы видели? — говорил Васенька Весловский, неловко влезая на катки с ружьем 156

IX

— Ну, какой же наш маршрут? Расскажи-ка хорошенько,— сказал Степан Аркадьич.

— План следующий: теперь мы едем до Гвоздева. В Гвоздеве болото дупелиное по сю сторону, а за Гвоздевым идут чудные бекасиные болота, и дупеля бывают. Теперь жарко, и мы к вечеру (двадцать верст) приедем и возьмем вечернее поле; переночуем, а уже завтра в большие болота.

— А дорогой разве ничего нет?

— Есть; но задержимся, и жарко. Есть славные два местечка, да едва ли есть что.

Левину самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были от дома близкие, он всегда мог взять их, и местечки были маленькие,— троим негде стрелять. И потому он кривил душой, говоря, что едва ли есть что. Поравнявшись с маленьким болотцем, Левин хотел проехать мимо, но опытный охотничий глаз Степана Аркадьича тотчас же рассмотрел видную с дороги мочежину.

— Не заедем ли? — сказал он, указывая на болотце.

— Левин, пожалуйста! как отлично! — стал просить Васенька Весловский, и Левин не мог не согласиться.

Не успели остановиться, как собаки, перегоняя одна другую, уже летели к болоту.

— Крак! Ласка!..

Собаки вернулись.

— Втроем тесно будет. Я побуду здесь, — сказал Левин, надеясь, что они ничего не найдут, кроме чибисов, которые поднялись от собак и, перекачиваясь на лету, жалобно плакали над болотом.

— Нет! Пойдемте, Левин, пойдем вместе! — звал Весловский.

— Право, тесно. Ласка, назад! Ласка! Ведь вам не нужно другой собаки?

Левин остался у линейки и с завистью смотрел на охотников. Охотники прошли все болотце. Кроме курочки и чибисов, из которых одного убил Васенька, ничего не было в болоте.

— Ну вот видите, что я не жалел болота,— сказал Левин,— только время терять.

— Нет, все-таки весело. Вы видели? — говорил Ва-

и чибисом в руках.-“ Как я славно убил этого! Не правда ли? Ну, скоро ли мы приедем на настоящее? Вдруг лошади рванулись, Левин ударился гологой о ствол чьего-то ружья, и раздался выстрел. Выстрел, собственно, раздался прежде, но так показалось Левину. Дело было в том, что Васенька Весловский, спуская курки, жал одну гашетку, а придерживал другой курок. Заряд влетел в землю, никому не сделав вреда. Степан Аркадьич покачал головой и посмеялся укоризненно Весловскому. Но Левин не имел духа выговорить ему. Во-первых, всякий упрек показался бы вызванным миновавшею опасностью и шишкой, которая вскочила у Левина па лбу; а во-вторых, Весловский был так наивно огорчен сначала и потом так смеялся добродушно и увлекательно их общему переполоху, что нельзя было самому не смеяться. Когда подъехали ко второму болоту, которое было довольно велико и должно было взять много времени, Левин уговаривал не выходить, но Весловский опять упросил его. Опять, так как болото было узко, Левин, как гостеприимный хозяин, остался у экипажей. Прямо с прихода Крак потянул к кочкам. Васенька Весловский первый побежал за собакой. И не успел Степан Аркадыіч подойти, как уж вылетел дупель. Весловский сделал промах, и дупель пересел в некошеный луг. Весловскому предоставлен был этот дупель. Крак опять нашел его, стал, и Весловский убил его и вернулся к экипажам. — Теперь идите вы, а я побуду с лошадьми, — сказал он. Левина начинала разбирать охотничья зависть. Он передал вожят Весловскому и пошел в болото. Ласка, уже давно жалобно визн^авшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась вперед, прямо к надежному, знакомому Левину кочкарнику, в который не заходил еще Крак. — Что ж ты ее не остановишь? — крикнул Степан Аркадыіч. — Она не спугнет, — отвечал Левин, радуясь на собаку и спеша за нею. В поиске Ласки, чем ближе и ближе она подходила к знакомым кочкам, становилось больше и больше серьезности. Маленькая болотная птичка только на мгновенье 157

и чибисом в руках.— Как я славно убил этого! Не правда ли? Ну, скоро ли мы приедем на настоящее?

Вдруг лошади рванулись, Левин ударился головой о ствол чьего-то ружья, и раздался выстрел. Выстрел, собственно, раздался прежде, но так показалось Левину. Дело было в том, что Васенька Весловский, спуская курки, жал одну гашетку, а придерживал другой курок. Заряд влетел в землю, никому не сделав вреда. Степан Аркадьич покачал головой и посмеялся укоризненно Весловскому. Но Левин не имел духа выговорить ему. Во-первых, всякий упрек показался бы вызванным миновавшею опасностью и шишкой, которая вскочила у Левина на лбу; а во-вторых, Весловский был так наивно огорчен сначала и потом так смеялся добродушно и увлекательно их общему переполоху, что нельзя было самому не смеяться.

Когда подъехали ко второму болоту, которое было довольно велико и должно было взять много времени, Левин уговаривал не выходить, но Весловский опять упросил его. Опять, так как болото было узко, Левин, как гостеприимный хозяин, остался у экипажей.

Прямо с прихода Крак потянул к кочкам. Васенька Весловский первый побежал за собакой. И не успел Степан Аркадьич подойти, как уж вылетел дупель. Весловский сделал промах, и дупель пересел в некошеный луг. Весловскому предоставлен был этот дупель. Крак опять нашел его, стал, и Весловский убил его и вернулся к экипажам.

— Теперь идите вы, а я побуду с лошадьми,— сказал он.

Левина начинала разбирать охотничья зависть. Он передал вожжи Весловскому и пошел в болото.

Ласка, уже давно жалобно визжавшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась вперед, прямо к надежному, знакомому Левину кочкарнику, в который не заходил еще Крак.

— Что ж ты ее не остановишь? — крикнул Степан Аркадьич.

— Она не спугнет,— отвечал Левин, радуясь на собаку и спеша за нею.

В поиске Ласки, чем ближе и ближе она подходила

развлекла ее. Она сделала один круг пред кочками, начала другой и вдруг вздрогнула и замерла. — Иди, иди, Стива! — крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него начинает сильнее биться и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвинулась в его напряженном слухе, все звуки, потеряв меру расстояния, беспорядочно, но ярко стали поражать его. Он слышал шаги Степана Аркадьича, принимая их за дальний топот лошадей, слышал хрупкий звук оторвавшегося с кореньями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полет дупеля. Слышал тоже сзади недалеко какое-то странное шлепанье по воде, в котором он не мог дать себе отчета. Выбирая место для ноги, он подвигался к собаке. — Пиль! Не дупель, а бекас вырвался из-под собаки. Левин повел ружьем, но в то самое время как он целился, тот самый звук шлепанья по воде усилился, приблизился, и к нему присоединился голос Весловского, что-то странно громко кричавшего. Левин видел, что он берет ружьем сзади бекаса, но все-таки выстрелил. Убедившись в том, что сделан промах, Левин оглянулся и увидал, что лошади с катками уже не на дороге, а в болоте. Весловский, желая видеть стрельбу, заехал в болото и увязил лошадей. — И черт его носит! — проговорил про себя Левин, возвраш;аясь к завязшему экипажу.— Зачем вы поехали? — сухо сказал он ему и, кликнув кучера, принялся выпрастывать лошадей. Левину было досадно и то, что ему помешали стрелять, и то, что увязили его лошадей, и то, главное, что, для того чтобы выпростать лошадей, отпречь их, пн Степан Аркадьич, ни Весловский не помогали ему и кучеру, так как не имели ни тот, ни другой ни малейшего понятия, в чем состоит запряжка. Ни слова не отвечая Васеньке на его уверения, что тут было совсем сухо, Левин молча работал с кучером, чтобы выпростать лошадей. Но потом, разгоревшись работой и увидав, как старательно, усердно Весловский тащил катки за крыло, так что даже отломил его, Левин упрекнул себя за то, что он под влиянием вчерашнего чувства был слишком холоден к Весловскому, и постарался особенною любезностию загладить свою сухость. Когда все было приведено в порядок и экипанш выведены на дорогу, Левин велел достать завтрак. 153

развлекла ее. Она сделала один круг пред кочками, начала другой и вдруг вздрогнула и замерла.

— Иди, иди, Стива! — крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него начинает сильнее биться и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвинулась в его напряженном слухе, все звуки, потеряв меру расстояния, беспорядочно, но ярко стали поражать его. Он слышал шаги Степана Аркадьича, принимая их за дальний топот лошадей, слышал хрупкий звук оторвавшегося с кореньями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полет дупеля. Слышал тоже сзади недалеко какое-то странное шлепанье по воде, в котором он не мог дать себе отчета.

Выбирая место для ноги, он подвигался к собаке.

— Пиль!

Не дупель, а бекас вырвался из-под собаки. Левин повел ружьем, но в то самое время как он целился, тот самый звук шлепанья по воде усилился, приблизился, и к нему присоединился голос Весловского, что-то странно громко кричавшего. Левин видел, что он берет ружьем сзади бекаса, но все-таки выстрелил.

Убедившись в том, что сделан промах, Левин оглянулся и увидал, что лошади с катками уже не на дороге, а в болоте.

Весловский, желая видеть стрельбу, заехал в болото и увязил лошадей.

— И черт его носит! — проговорил про себя Левин, возвращаясь к завязшему экипажу.— Зачем вы поехали? — сухо сказал он ему и, кликнув кучера, принялся выпрастывать лошадей.

Левину было досадно и то, что ему помешали стрелять, и то, что увязили его лошадей, и то, главное, что, для того чтобы выпростать лошадей, отпречь их, ни Степан Аркадьич, ни Весловский не помогали ему и кучеру, так как не имели ни тот, ни другой ни малейшего понятия, в чем состоит запряжка. Ни слова не отвечая Васеньке на его уверения, что тут было совсем сухо, Левин молча работал с кучером, чтобы выпростать лошадей. Но потом, разгоревшись работой и увидав, как старательно, усердно Весловский тащил катки за крыло, так что даже отломил его, Левин упрекнул себя за то, что он под влиянием вчерашнего чувства был слишком холоден к Весловскому, и постарался особенною любезностию загладить свою сухость. Когда все было приведено в порядок и эки-

— Bon appétit — bonne conscience! Ce poulet va tomber jusqu’au fond de mes bottes \ — говорил французскую прибауточку опять повеселевший Васенька, доедая второго цыпленка. — Ну, теперь бедствия наши кончились; теперь пойдет все благополучно. Только уж за свою вину я теперь обязан сидеть на козлах. Не правда ли? А? Нет, нет, я Автомедон. Посмотрите, как я вас довезу! — отвечал он, не выпуская вожжи, когда Левин просил его пустить кучера.— Нет, я должен свою вину искупить, и мне прекрасно на козлах. — И он поехал. Левин боялся немного, что он замучает лошадей, особенно левого, рыжего, которого он не умел держать; но невольно он подчинялся его веселью, слушал романсы, которые Весловский, сидя на козлах, распевал всю дорогу, или рассказы и представления в лицах, как надо править по-английски four in hand 2; и они все после завтрака в самом веселом расположении духа доехали до Гвоздевского болота. X Васенька так шибко гнал лошадей, что они приехали к болоту слишком рано, так что было еіце жарко. Подъехав к серьезному болоту, главной цели поездки, Левин невольно подумывал о том, как бы ему избавиться от Васеньки и ходить без помехи. Степан Аркадьич, очевидно, желал того же, и на его лице Левин видел выражение озабоченности, которое всегда бывает у настоящего охотника пред началом охоты, и некоторой свойственной ему добродушной хитрости. — Как же мы пойдем? Болото отличное, я вижу, и ястреба, — сказал Степан Аркадьич, указывая на двух вившихся над осокой больших птиц. — Где ястреба, там наверно есть. — Ну вот видите ли, господа, — сказал Левин, с несколько мрачным выражением подтягивая сапоги и осматривая пистоны на ружье. — Видите эту осоку? — Он указал на темневший черною зеленью островок в огромном, раскинувшемся по правую сторону реки, до половины скошенном мокром луге. — Болото начинается * Хороший аппетит — значит, совесть чиста! Этот цыпленок проникает до глубины моей души (франц.). ^ четверкой (англ.). 159

— Bon appétit — bonne conscience! Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes [1],— говорил французскую прибауточку опять повеселевший Васенька, доедая второго цыпленка.— Ну, теперь бедствия наши кончились; теперь пойдет все благополучно. Только уж за свою вину я теперь обязан сидеть на козлах. Не правда ли? А? Нет, нет, я Автомедон. Посмотрите, как я вас довезу! — отвечал он, не выпуская вожжи, когда Левин просил его пустить кучера.— Нет, я должен свою вину искупить, и мне прекрасно на козлах.— И он поехал.

Левин боялся немного, что он замучает лошадей, особенно левого, рыжего, которого он не умел держать; но невольно он подчинялся его веселью, слушал романсы, которые Весловский, сидя на козлах, распевал всю дорогу, или рассказы и представления в лицах, как надо править по-английски four in hand [2]; и они все после завтрака в самом веселом расположении духа доехали до Гвоздевского болота.

X

Васенька так шибко гнал лошадей, что они приехали к болоту слишком рано, так что было еще жарко.

Подъехав к серьезному болоту, главной цели поездки, Левин невольно подумывал о том, как бы ему избавиться от Васеньки и ходить без помехи. Степан Аркадьич, очевидно, желал того же, и на его лице Левин видел выражение озабоченности, которое всегда бывает у настоящего охотника пред началом охоты, и некоторой свойственной ему добродушной хитрости.

— Как же мы пойдем? Болото отличное, я вижу, и ястреба́,— сказал Степан Аркадьич, указывая на двух вившихся над осокой больших птиц. — Где ястреба́, там наверно есть.

— Ну вот видите ли, господа,— сказал Левин, с несколько мрачным выражением подтягивая сапоги и осматривая пистоны на ружье.— Видите эту осоку? — Он указал на темневший черною зеленью островок в огромном, раскинувшемся по правую сторону реки, до половины скошенном мокром луге.— Болото начинается

---

[1] Хороший аппетит — значит, совесть чиста! Этот цыпленок провалится до глубины моей души (франц.).

вот здесь, прямо пред нами, видите — где зеленее. Отсюда оно идет направо, где лошади ходят; там кочки, дупеля бывают; и кругом этой осоки вон до того ольшаника и до самой мельницы. Вон там, видишь, где залив. Это лучшее место. Там я раз семнадцать бекасов убил. Мы разойдемся с двумя собаками в разные стороны и там у мельницы сойдемся. — Ну, кто ж направо, кто палево? — сказал Степан Аркадьич. — Направо шире, идите вы вдвоем, а я налево, — беззаботно как будто сказал он. — Прекрасно! мы его обстреляем. Ну, пойдем, пойдем! — подхватил Васенька. Левину нельзя было не согласиться, и они разошлись. Только что они вошли в болото, обе собаки вместе заискали и потянули к ржавчине. Левин знал этот поиск Ласки, осторожный и неопределенный; он знал и место и ждал табунка бекасов. — Весловский, рядом, рядом идите! — замирающим голосом проговорил он плескавшемуся сзади по воде товарищу, направление ружья которого после нечаянного выстрела на Колпенском болоте невольно интересовало Левина. — Нет, я вас не буду стеснять, вы обо мне не думайте. Но Левин невольно думал и вспоминал слова Кити, когда она отпускала его: «Смотрите, не застрелите друг друга». Ближе и ближе подходили собаки, минуя одна другую, каждая ведя свою нить; ожидание бекаса было так сильно, что чмоканье своего каблука, вытаскиваемого изо ржавчины, представлялось Левину криком бекаса, и он схватывал и сжимал приклад рун^ья. Бац! Бац! — раздалось у него над ухом. Это Васенька выстрелил в стадо уток, которые вились над болотом и далеко не в меру налетели в это время на охотников. Не успел Левин оглянуться, как уж чмокнул один бекас, другой, третий, и еще штук восемь поднялось один за другим. Степан Аркадьич срезал одного в тот самый момент, как он собирался начать свои зигзаги, и бекас комочком упал в трясину. Облонский неторопливо повел за другим, еще низом летевшим к осоке, и вместе со звуком выстрела и этот бекас упал; и видно было, как он выпрыгивал из скошенной осоки, биясь уцелевшим белым снизу крылом. IGO

вот здесь, прямо пред нами, видите — где зеленее. Отсюда оно идет направо, где лошади ходят; там кочки, дупеля бывают; и кругом этой осоки вон до того ольшаника и до самой мельницы. Вон там, видишь, где залив. Это лучшее место. Там я раз семнадцать бекасов убил. Мы разойдемся с двумя собаками в разные стороны и там у мельницы сойдемся.

— Ну, кто ж направо, кто налево? — сказал Степан Аркадьич.— Направо шире, идите вы вдвоем, а я налево, — беззаботно как будто сказал он.

— Прекрасно! мы его обстреляем. Ну, пойдем, пойдем! — подхватил Васенька.

Левину нельзя было не согласиться, и они разошлись.

Только что они вошли в болото, обе собаки вместе заискали и потянули к ржавчине. Левин знал этот поиск Ласки, осторожный и неопределенный; он знал и место и ждал табунка бекасов.

— Весловский, рядом, рядом идите! — замирающим голосом проговорил он плескавшемуся сзади по воде товарищу, направление ружья которого после нечаянного выстрела на Колпенском болоте невольно интересовало Левина.

— Нет, я вас не буду стеснять, вы обо мне не думайте.

Но Левин невольно думал и вспоминал слова Кити, когда она отпускала его: «Смотрите, не застрелите друг друга». Ближе и ближе подходили собаки, минуя одна другую, каждая ведя свою нить; ожидание бекаса было так сильно, что чмоканье своего каблука, вытаскиваемого изо ржавчины, представлялось Левину криком бекаса, и он схватывал и сжимал приклад ружья.

Бац! Бац! — раздалось у него над ухом. Это Васенька выстрелил в стадо уток, которые вились над болотом и далеко не в меру налетели в это время на охотников. Не успел Левин оглянуться, как уж чмокнул один бекас, другой, третий, и еще штук восемь поднялось один за другим.

Степан Аркадьич срезал одного в тот самый момент, как он собирался начать свои зигзаги, и бекас комочком упал в трясину. Облонский неторопливо повел за другим, еще низом летевшим к осоке, и вместе со звуком выстрела и этот бекас упал; и видно было, как он выпрыгивал из скошенной осоки, биясь уцелевшим белым снизу

Левин не был так счастлив: он ударил первого бекаса слишком близко и промахнулся; повел за ним, когда уже сн стал подниматься, но в это время вылетел еще один из-под ног и развлек его, и он сделал другой промах. Покуда заряжали ружья, поднялся еще бекас, и Весловский, успевший зарядить другой раз, пустил по воде еще два заряда мелкой дроби. Степан Аркадьич подобрал своих бекасов и блестящими глазами взглянул на Левина. — Ну, теперь расходимся, — сказал Степан Аркадьич и, прихрамывая на левую ногу и держа ружье наготове и посвистывая собаке, пошел в одну сторону. Левин с Весловским пошли в другую. С Левиным всегда бывало так, что, когда первые выстрелы были неудачны, он горячился, досадовал и стрелял целый день дурно. Так было и нынче. Бекасов оказалось очень много. Из-под собаки, из-под ног охотников беспрестанно вылетали бекасы, и Левин мог бы поправиться; но чем больше он стрелял, тем больше срамился пред Весловским, весело палившим в меру и не в меру, ничего не убивавшим и нисколько этим не смущавшимся. Левин торопился, не выдерживал, горячился все больше п больше и дошел до того уя^е, что, стреляя, почти не надеялся, что убьет. Казалось, и Ласка понимала это. Она ленивее стала искать и точно с недоумением или укоризною оглядывалась на охотников. Выстрелы следовали за выстрелами. Пороховой дым стоял вокруг охотников, а в большой, просторной сетке ягдташа были только три легонькие, маленькие бекаса. И то один из них был убит Весловским и один общий. Между тем по другой стороне болота слышались не частые, но, как Левину казалось, значительные выстрелы Степана Аркадьича, причем почти за каждым следовало: «Крак, Крак, апорт!» Это еще более волновало Левина. Бекасы не переставая вилрісь в воздухе над осокой. Чмоканье по земле и карканье в вышине не умолкая были слышны со всех сторон; поднятые прежде и носившиеся в воздухе бекасы садились пред охотниками. Вместо двух ястребов теперь десятки их с писком вилрісь над болотом. Пройдя большую половину болота, Левин с Весловским добрались до того места, по которому длинными полосками, упирающимися в осоку, был разделен муяшцкий покос, отмеченный где протоптанными полосками, где б л. Н. Толстой, т. 9

Левин не был так счастлив: он ударил первого бекаса слишком близко и промахнулся; повел за ним, когда уже он стал подниматься, но в это время вылетел еще один из-под ног и развлек его, и он сделал другой промах.

Покуда заряжали ружья, поднялся еще бекас, и Весловский, успевший зарядить другой раз, пустил по воде еще два заряда мелкой дроби. Степан Аркадьич подобрал своих бекасов и блестящими глазами взглянул на Левина.

— Ну, теперь расходимся,— сказал Степан Аркадьич и, прихрамывая на левую ногу и держа ружье наготове и посвистывая собаке, пошел в одну сторону. Левин с Весловским пошли в другую.

С Левиным всегда бывало так, что, когда первые выстрелы были неудачны, он горячился, досадовал и стрелял целый день дурно. Так было и нынче. Бекасов оказалось очень много. Из-под собаки, из-под ног охотников беспрестанно вылетали бекасы, и Левин мог бы поправиться; но чем больше он стрелял, тем больше срамился пред Весловским, весело палившим в меру и не в меру, ничего не убивавшим и нисколько этим не смущавшимся. Левин торопился, не выдерживал, горячился все больше и больше и дошел до того уже, что, стреляя, почти не надеялся, что убьет. Казалось, и Ласка понимала это. Она ленивее стала искать и точно с недоумением или укоризною оглядывалась на охотников. Выстрелы следовали за выстрелами. Пороховой дым стоял вокруг охотников, а в большой, просторной сетке ягдташа были только три легонькие, маленькие бекаса. И то один из них был убит Весловским и один общий. Между тем по другой стороне болота слышались не частые, но, как Левину казалось, значительные выстрелы Степана Аркадьича, причем почти за каждым следовало: «Крак, Крак, апорт!»

Это еще более волновало Левина. Бекасы не переставая вились в воздухе над осокой. Чмоканье по земле и карканье в вышине не умолкая были слышны со всех сторон; поднятые прежде и носившиеся в воздухе бекасы садились пред охотниками. Вместо двух ястребов теперь десятки их с писком вились над болотом.

Пройдя бóльшую половину болота, Левин с Весловским добрались до того места, по которому длинными по-

прокошенным рядком. Половина из этих полос была уже скошена. Хотя по нескошенному было мало надежды найт і столько же, сколько по скошенному, Левин обещал Степану Аркадьичу сойтись с ним и пошел со свопм спутником дальше по прокошенным и непрокошепным полосам. — Ей, охотники! — прокричал им один из мужиков, сидевших у отпряя^енной телеги, — иди с нами полудновать! Вино пить! Левин оглянулся. — Иди, ннчаво! — прокричал с красным лицом веселый бородатый мужик, осклабляя белые зубы и поднимая зеленоватый, блестящий на солнце штоф. — Qu’est ce qu’ils disent? ^ — спросил Весловский. — Зовут водку пить. Они, верно, луга делили. Я бы выпил, — не без хитрости сказал Левин, надеясь, что Весловский соблазнится водкой и уйдет к ним. — Зачем же они угощают? — Так, веселятся. Право, подойдите к ним. Вам интересно. — - Allons, c’est curieux 2. — Идите, идите, вы найдете дорогу па мельницу! — крикнул Левин и, оглянувшись, с удовольствием увидел, что Весловский, нагнувшись и спотыкаясь усталыми ногами и деряба руяхже в вытянутой руке, выбирался из болота к мужикам. — Иди и ты! — кричал мужик па Левина. — Иябось! Закусишь пирожка! Во! Левину сильно хотелось выпить водки и съесть кусок хлеба. Он ослабел и чувствовал, что насилу выдирает заплетающиеся ноги из трясины, и он па минуту был в сомненье. Но собака стала. И тотчас вся усталость исчезла, и он легко пошел по трясине к собаке. Из-под ног его вылетел бекас; он ударил и убил, — собака продолжала стоять. «Пиль!» Из-под собаки поднялся другой. Левин выстрелил. Но день был несчастный; он промахнулся, и когда пошел искать убитого, то не нашел и его. On излазил всю осоку, но Ласка не верила, что он убил, и, когда он посылал ее искать, притворялась, что ищет, во не искала. ^ Что они говорят? (франц.) ^ Пойдемте, это любопытно (франц.). 162

прокошенным рядком. Половина из этих полос была уже скошена.

Хотя по нескошенному было мало надежды найти столько же, сколько по скошенному, Левин обещал Степану Аркадьичу сойтись с ним и пошел со своим спутником дальше по прокошенным и непрокошенным полосам.

— Ей, охотники! — прокричал им один из мужиков, сидевших у отпряженной телеги,— иди с нами полудновать! Вино пить!

Левин оглянулся.

— Иди, ничаво! — прокричал с красным лицом веселый бородатый мужик, осклабляя белые зубы и поднимая зеленоватый, блестящий на солнце штоф.

— Qu'est ce qu'ils disent? [1] — спросил Весловский.

— Зовут водку пить. Они, верно, луга делили. Я бы выпил,— не без хитрости сказал Левин, надеясь, что Весловский соблазнится водкой и уйдет к ним.

— Зачем же они угощают?

— Так, веселятся. Право, подойдите к ним. Вам интересно.

— Allons, c'est curieux [2].

— Идите, идите, вы найдете дорогу на мельницу! — крикнул Левин и, оглянувшись, с удовольствием увидел, что Весловский, нагнувшись и спотыкаясь усталыми ногами и держа ружье в вытянутой руке, выбирался из болота к мужикам.

— Иди и ты! — кричал мужик на Левина.— Нябось! Закусишь пирожка! Во!

Левину сильно хотелось выпить водки и съесть кусок хлеба. Он ослабел и чувствовал, что насилу выдирает заплетающиеся ноги из трясины, и он на минуту был в сомненье. Но собака стала. И тотчас вся усталость исчезла, и он легко пошел по трясине к собаке. Из-под ног его вылетел бекас; он ударил и убил,— собака продолжала стоять. «Пиль!» Из-под собаки поднялся другой. Левин выстрелил. Но день был несчастный; он промахнулся, и когда пошел искать убитого, то не нашел и его. Он излазил всю осоку, но Ласка не верила, что он убил, и, когда он посылал ее искать, притворялась, что ищет, но не искала.

---

[1] Что они говорят? (*франц.*)

и без Васеньки, которого Левин упрекал в своей неудаче, дело не поправилось. Бекасов было много и тут, но Левин делал промах за промахом. Косые лучи солнца были еще жарки; платье, насквозь промокшее от пота, липло к телу; левый сапог, полный воды, был тяжел и чмокал; по испачканному пороховым осадком лицу каплями скатывался пот; во рту была горечь, в носу запах пороха и ржавчины, в ушах перестаiощее чмоканье бекасов; до стволов нельзя было дотронуться, так они разгорелись; сердце стучало быстро и коротко; руки тряслись от волнения, и усталые ноги спотыкались и переплетались по кочкам и трясине; но он все ходил и стрелял. Наконец, сделав постыдный промах, он бросил наземь ружье и шляпу. «Нет, надо опомниться!» — сказал он себе. Он поднял ружье и шляпу, подозвал к ноге Ласку н вышел из болота. Выйдя на сухое, он сел на кочку, разулся, вылил воду из сапога, потом подошел к болоту, напился со ржавым вкусом воды, помочил разгоревшиеся стволы и обмыл себе лицо и руки. Освежившись, он двинулся опять к тому месту, куда пересел бекас, с твердым намерением не горячиться. Он хотел быть спокойным, но было то же. Палец его прижимал гашетку прежде, чем он брал На цель птицу. Все шло хуже и хуже. У него было пять штук в ягдташе, когда он вышел к ольшанику, где должен был сойтись со Степаном Аркадьичем. Прежде чем увидать Степана Аркадьича, он увидал его собаку. Из-за вывороченного корня ольхи выскочил Ирак, весь черный от вонючей болотной тины, и с видом победителя обнюхался с Лаской. За Краком показалась в тени ольх и статная фигура Степана Аркадьича. Он шел навстречу красный, распотевший, с расстегнутым воротом, все так же прихрамывая. — Иу, что? Вы палили много! — сказал он, весело улыбаясь. — А ты? — спросил Левин. Но спрашивать было не нужно, потому что он уже видел полный ягдташ. — Да ничего. У него было четырнадцать штук. — Славное болото! Тебе, верно, Весловский мешал. Двум с одною собакой неловко, — сказал Степан Аркадьич, смягчая свое торжество.

И без Васеньки, которого Левин упрекал в своей неудаче, дело не поправилось. Бекасов было много и тут, но Левин делал промах за промахом.

Косые лучи солнца были еще жарки; платье, насквозь промокшее от пота, липло к телу; левый сапог, полный воды, был тяжел и чмокал; по испачканному пороховым осадком лицу каплями скатывался пот; во рту была горечь, в носу запах пороха и ржавчины, в ушах неперестающее чмоканье бекасов; до стволов нельзя было дотронуться, так они разгорелись; сердце стучало быстро и коротко; руки тряслись от волнения, и усталые ноги спотыкались и переплетались по кочкам и трясине; но он все ходил и стрелял. Наконец, сделав постыдный промах, он бросил наземь ружье и шляпу.

«Нет, надо опомниться!» — сказал он себе. Он поднял ружье и шляпу, подозвал к ноге Ласку и вышел из болота. Выйдя на сухое, он сел на кочку, разулся, вылил воду из сапога, потом подошел к болоту, напился со ржавым вкусом воды, помочил разгоревшиеся стволы и обмыл себе лицо и руки. Освежившись, он двинулся опять к тому месту, куда пересел бекас, с твердым намерением не горячиться.

Он хотел быть спокойным, но было то же. Палец его прижимал гашетку прежде, чем он брал на цель птицу. Все шло хуже и хуже.

У него было пять штук в ягдташе, когда он вышел к ольшанику, где должен был сойтись со Степаном Аркадьичем.

Прежде чем увидать Степана Аркадьича, он увидал его собаку. Из-за вывороченного корня ольхи выскочил Крак, весь черный от вонючей болотной тины, и с видом победителя обнюхался с Лаской. За Краком показалась в тени ольх и статная фигура Степана Аркадьича. Он шел навстречу красный, распотевший, с расстегнутым воротом, все так же прихрамывая.

— Ну, что? Вы палили много! — сказал он, весело улыбаясь.

— А ты? — спросил Левин. Но спрашивать было не нужно, потому что он уже видел полный ягдташ.

— Да ничего.

У него было четырнадцать штук.

— Славное болото! Тебе, верно, Весловский мешал.

XI Когда Левин со Степаном Аркадыічем пришли в избу мужика, у которого всегда останавливался Левин, Весловский уже был там. Он сидел в средине избы и, держась обеими руками за лавку, с которой его стаскивал солдат, брат хозяйки, за облитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно-веселым смехом. — Я только что пришел. Ils ont été charmants К Представьте себе, напоили меня, накормили. Какой хлеб, это чудо! Délicieux! ^ М водка — я никогда вкуснее не пил! И ни за что не хотели взять деньги. И всё говорили: «не обсудись», как-то. — Зачем же деньги брать? Они вас, значит, поштовали. Разве у них продажная водка? — сказал солдат, стащив наконец с почерневшим чулком замокший сапог. Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и грязными, облизывавшимися собаками, на болотный и пороховой запах, которым она наполнилась, и на отсутствие поящей и вилок, охотники напились чаю и поужинали с таким вкусом, как едят только на охоте. Умытые и чистые, они пошли в подметенный сенной сарай, где кучера приготовили господам постели. Хотя уж смерилось, никому из охотников не хотелось спать. Поколебавшись между воспоминаниями и рассказами о стрельбе, о собаках, о прежних охотах, разговор напал на заинтересовавшую всех тему. По случаю несколько раз уя^е повторенных вырая^енпй восхищения Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сена, о прелести сломанной телеги (ему она казалась сломанною, потому что была снята с передков), о добродушии мужиков, напоивших его водкой, о собаках, лежавших каждая у ног своего хозяина, Облонский рассказал про прелесть охоты у Мальтуса, на которой он был прошлым летом. Мальтус был известный железнодороя^ный богач. Степан Аркадьпч рассказал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губернии откуплены болота, и как сберея^ены, и о том, какие экипажи, догкарты, подвезли охотников, и какая палатка с завтраком была раскинута у болота. ^ Они были восхитительны (франц.), “ Прелестно! (фралц.) 164

XI

Когда Левин со Степаном Аркадьичем пришли в избу мужика, у которого всегда останавливался Левин, Весловский уже был там. Он сидел в средине избы и, держась обеими руками за лавку, с которой его стаскивал солдат, брат хозяйки, за облитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно-веселым смехом.

— Я только что пришел. Ils ont été charmants[1]. Представьте себе, напоили меня, накормили. Какой хлеб, это чудо! Délicieux![2] И водка — я никогда вкуснее не пил! И ни за что не хотели взять деньги. И всё говорили: «не обсудись», как-то.

— Зачем же деньги брать? Они вас, значит, поштовали. Разве у них продажная водка? — сказал солдат, стащив наконец с почерневшим чулком замокший сапог.

Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и грязными, облизывавшимися собаками, на болотный и пороховой запах, которым она наполнилась, и на отсутствие ножей и вилок, охотники напились чаю и поужинали с таким вкусом, как едят только на охоте. Умытые и чистые, они пошли в подметенный сенной сарай, где кучера приготовили господам постели.

Хотя уж смерклось, никому из охотников не хотелось спать.

Поколебавшись между воспоминаниями и рассказами о стрельбе, о собаках, о прежних охотах, разговор напал на заинтересовавшую всех тему. По случаю несколько раз уже повторенных выражений восхищения Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сена, о прелести сломанной телеги (ему она казалась сломанною, потому что была снята с передков), о добродушии мужиков, напоивших его водкой, о собаках, лежавших каждая у ног своего хозяина, Облонский рассказал про прелесть охоты у Мальтуса, на которой он был прошлым летом. Мальтус был известный железнодорожный богач. Степан Аркадьич рассказал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губернии откуплены болота, и как сбережены, и о том, какие экипажи, догкарты, подвезли охотников, и какая палатка с завтраком была раскинута у болота.

— Не понимаю тебя, — сказал Левин, поднимаясь на своем сене, — как тебе не противны эти люди. Я понимаю, что завтрак с лафитом очень приятен, но неужели тебе не противна именно эта роскошь? Все эти люди, как наши откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презренье людей, пренебрегают этим презреньем, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего презренья. — Совершенно справедливо! — отозвался Васенька Весловский. — Совершенно! Разумеется, Облонский делает это из bonhomie \ а другие говорят: «Облонский ездит...» — Нисколько, — Левин слышал, что Облонский улыбался, говоря это, — я просто не считаю его нисколько не более бесчестным, чем кого бы то ни было из богатых купцов и дворян. И те и эти нажили одинаково трудом, умом. — Да, но каким трудом? Разве это труд, чтобы добыть концессию и перепродать? — Разумеется, труд. Труд в том смысле, что если бы не было его или других ему подобных, то и дорог бы не было. — Но труд не такой, как труд муишка или ученого. — Положим, но труд в том смысле, что деятельность его дает результат — дорогу. Но ведь ты находишь, что дороги бесполезны. — Нет, это другой вопрос; я готов признать, что они полезны. Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, нечестно. — Да кто ж определит соответствие? — Приобретение нечестным путем, хитростью, — сказал Левин, чувствуя, что он не умеет ясно определить черту между честным и бесчестным, — так, как приобретение банкирских контор, — продолжал он. — Это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах, только переменило форму. Le roi est mort, vive le roi! Только успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки: тоже нажива без труда. — Да, это все, может быть, верно и остроумно... Лежать, Крак! — крикнул Степан Аркадьич на чесавшуюся и ворочавшую все сено собаку, очевидно уверенный ^ добродушия (Франц.), ^ Король умер, да здравствует король! (франц.)

— Не понимаю тебя,— сказал Левин, поднимаясь на своем сене,— как тебе не противны эти люди. Я понимаю, что завтрак с лафитом очень приятен, но неужели тебе не противна именно эта роскошь? Все эти люди, как наши откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презренье людей, пренебрегают этим презреньем, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего презренья.

— Совершенно справедливо! — отозвался Васенька Весловский. — Совершенно! Разумеется, Облонский делает это из bonhomie [1], а другие говорят: «Облонский ездит...»

— Нисколько,— Левин слышал, что Облонский улыбался, говоря это,— я просто не считаю его нисколько не более бесчестным, чем кого бы то ни было из богатых купцов и дворян. И те и эти нажили одинаково трудом, умом.

— Да, но каким трудом? Разве это труд, чтобы добыть концессию и перепродать?

— Разумеется, труд. Труд в том смысле, что если бы не было его или других ему подобных, то и дорог бы не было.

— Но труд не такой, как труд мужика или ученого.

— Положим, но труд в том смысле, что деятельность его дает результат — дорогу. Но ведь ты находишь, что дороги бесполезны.

— Нет, это другой вопрос; я готов признать, что они полезны. Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, нечестно.

— Да кто ж определит соответствие?

— Приобретение нечестным путем, хитростью,— сказал Левин, чувствуя, что он не умеет ясно определить черту между честным и бесчестным,— так, как приобретение банкирских контор,— продолжал он.— Это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах, только переменило форму. Le roi est mort, vive le roi! [2] Только успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки: тоже нажива без труда.

— Да, это все, может быть, верно и остроумно... Лежать, Крак! — крикнул Степан Аркадьич на чесавшуюся и ворочавшую все сено собаку, очевидно уверенный

в справедливости своей темы и потому спокойно и неторопливо. — Но ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно? — Я не знаю. — Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а наш хозяин мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника и что Мальтус получает больше дорожного мастера. Напротив, я вижу какоето враждебное, ни на чем не основанное отношение общества к этим людям, и мне кажется, что тут зависть... — Нет, это несправедливо,— сказал Весловский,— зависти не может быть, а что-то есть нечистое в этом деле. — Нет, позволь, — продолжал Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но... — Оно в самом деле. За что мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде?— сказал Васенька, очевидно в первый раз ясно подумав об этом и потому вполне искренно. — Да, ты чувствуешь, но ты пе отдашь ему свое именье, — сказал Степан Аркадыіч, как будто нарочно задиравший Левина. В последнее время между двумя свояками установилось как бы тайное враждебное отношение: как будто с тех пор, как они были женаты на сестрах, между ними возникло соперничество в том, кто лучше устроил свою жизнь, и теперь эта враждебность выражалась в начавшем принимать личный оттенок разговоре. — Я не отдаю потому, что никто этого от меня пе требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать,— отвечал Левин, — и некому. — Отдай этому мужику; он не откажется. — Да, но как я^е я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую? — Я не зпаю; но если ты убежден, что ты не имеешь права... — Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что пе имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье. т

в справедливости своей темы и потому спокойно и неторопливо.— Но ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

— Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а наш хозяин мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника и что Мальтус получает больше дорожного мастера. Напротив, я вижу какое-то враждебное, ни на чем не основанное отношение общества к этим людям, и мне кажется, что тут зависть...

— Нет, это несправедливо,— сказал Весловский,— зависти не может быть, а что-то есть нечистое в этом деле.

— Нет, позволь,— продолжал Левин.— Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Оно в самом деле. За что мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде?— сказал Васенька, очевидно в первый раз ясно подумав об этом и потому вполне искренно.

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь ему свое именье,— сказал Степан Аркадьич, как будто нарочно задиравший Левина.

В последнее время между двумя свояками установилось как бы тайное враждебное отношение: как будто с тех пор, как они были женаты на сестрах, между ними возникло соперничество в том, кто лучше устроил свою жизнь, и теперь эта враждебность выражалась в начавшем принимать личный оттенок разговоре.

— Я не отдаю потому, что никто этого от меня не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать,— отвечал Левин,— и некому.

— Отдай этому мужику; он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю; но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?.. — Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною п нм. — Нет уя{, извини меня; это парадокс. — Да, это что-то софистическое объяснение, — подтвердил Весловский. — А! хозяин, — сказал он мужику, который, скрипя воротами, входил в сарай. — Что, не спишь еще? — Нет, какой сон! Я думал, господа паши спят, да слышу, гуторят. Мне крюк взять тута. Не укусит она? — прибавил он, осторожно ступая босыми ногами. — А ты где же спать будешь? — Мы в ночное. — Ах, какая ночь! — сказал Весловский, глядя на видневшиеся при слабом свете зари в большой раме отворенных теперь ворот край избы и отпряженных катков. — Да слушайте, это женские голоса поют, и, право, недурно. Это кто поет, хозяин? — А это дворовые девки, тут рядом. — Пойдемте погуляем! Ведь не заснем. Облонский, пойдем! — Как бы это и лежать и пойти, — потягиваясь, отвечал Облонский. — Лежать отлично. — Ну, я один пойду, — живо вставая и обуваясь, сказал Весловский. До свиданья, господа. Если весело, я вас позову. Вы меня дичью угощали, и я вас не забуду. — Не правда ли, славный малый? — сказал Облонский, когда Весловский ушел и мужик за ним затворил ворота. — Да, славный,— ответил Левин, продолжая думать о предмете только что бывшего разговора. Ему казалось, что он, насколько умел, ясно высказал свои мысли и чувства, а между тем оба они, люди неглупые и искренние, в один голос сказали, что он утешается софизмами. Это смущало его. — Так так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием. 167

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?..

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет уж, извини меня; это парадокс.

— Да, это что-то софистическое объяснение, — подтвердил Весловский. — А! хозяин, — сказал он мужику, который, скрипя воротами, входил в сарай. — Что, не спишь еще?

— Нет, какой сон! Я думал, господа наши спят, да слышу, гуторят. Мне крюк взять тута. Не укусит она? — прибавил он, осторожно ступая босыми ногами.

— А ты где же спать будешь?

— Мы в ночное.

— Ах, какая ночь! — сказал Весловский, глядя на видневшиеся при слабом свете зари в большой раме отворенных теперь ворот край избы и отпряженных катков. — Да слушайте, это женские голоса поют, и, право, недурно. Это кто поет, хозяин?

— А это дворовые девки, тут рядом.

— Пойдемте погуляем! Ведь не заснем. Облонский, пойдем!

— Как бы это и лежать и пойти,— потягиваясь, отвечал Облонский.— Лежать отлично.

— Ну, я один пойду, — живо вставая и обуваясь, сказал Весловский. До свиданья, господа. Если весело, я вас позову. Вы меня дичью угощали, и я вас не забуду.

— Не правда ли, славный малый? — сказал Облонский, когда Весловский ушел и мужик за ним затворил ворота.

— Да, славный,— ответил Левин, продолжая думать о предмете только что бывшего разговора. Ему казалось, что он, насколько умел, ясно высказал свои мысли и чувства, а между тем оба они, люди неглупые и искренние, в один голос сказали, что он утешается софизмами. Это смущало его.

— Так так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что

— Нет, если бы это было несправедливо, ты бы пе мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы. Мне, главное, надо чувствовать, что я пе виноват. — А что, в самом деле, не пойти ли? — сказал Степан Лркадьич, очевидно устав от напряжения мысли.— Ведь не заснем. Право, пойдем! Левин не отвечал. Сказанное ими в разговоре слого о том, что он действует справедливо только в отрицательном смысле, занимало его. «Неужели только отрицательно мояшо быть справедливым?» — спрашивал он себя. — Однако как сильно пахнет свежее сено! — сказал Степан Аркадьич, приподнимаясь. — Не засну ни за что. Васенька что-то затеял там. Слышишь хохот и его голос? Не пойти ли? Пойдем! — Нет, я не пойду, — отвечал Левин. — Неужели ты это тоже из принципа? — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич, отыскивая в темноте свою фуражку. — Не из принципа, а зачем я пойду? — А знаешь, ты себе наделаешь бед, — сказал ои, найдя фуражку и вставая. — Отчего? — Разве я пе вижу, как ты себя поставил с женой? Я слышал, как у вас вопрос первой важности — поедешь ли ты или нет на два дня на охоту. Все это хорошо как идиллия, но па целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим, у него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужествен, — сказал Облонский, отворяя ворота. — То есть что же? Пойти ухаживать за дворовыми девками? — спросил Левин. — Отчего же и не пойти, если весело. Ça ne tire pas à censéquence ^ Жене моей от этого не хуже будет, а мне будет весело. Главное дело — блюди святыню дома. В доме чтобы ничего не было. А рук себе не завязывай. — Может быть, — сухо сказал Левин и повернулся па бок. — Завтра рано надо идти, и я не бужу никого, а иду на рассвете. ^ Это не будет иметь никаких последствий (фраиц.). 168

— Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы. Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.

— А что, в самом деле, не пойти ли? — сказал Степан Аркадьич, очевидно устав от напряжения мысли.— Ведь не заснем. Право, пойдем!

Левин не отвечал. Сказанное ими в разговоре слово о том, что он действует справедливо только в отрицательном смысле, занимало его. «Неужели только отрицательно можно быть справедливым?» — спрашивал он себя.

— Однако как сильно пахнет свежее сено! — сказал Степан Аркадьич, приподнимаясь.— Не засну ни за что. Васенька что-то затеял там. Слышишь хохот и его голос? Не пойти ли? Пойдем!

— Нет, я не пойду,— отвечал Левин.

— Неужели ты это тоже из принципа? — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич, отыскивая в темноте свою фуражку.

— Не из принципа, а зачем я пойду?

— А знаешь, ты себе наделаешь бед, — сказал он, найдя фуражку и вставая.

— Отчего?

— Разве я не вижу, как ты себя поставил с женой? Я слышал, как у вас вопрос первой важности — поедешь ли ты или нет на два дня на охоту. Все это хорошо как идиллия, но на целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим, у него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужествен,— сказал Облонский, отворяя ворота.

— То есть что же? Пойти ухаживать за дворовыми девками? — спросил Левин.

— Отчего же и не пойти, если весело. Ça ne tire pas à censéquence [1]. Жене моей от этого не хуже будет, а мне будет весело. Главное дело — блюди святыню дома. В доме чтобы ничего не было. А рук себе не завязывай.

— Может быть,— сухо сказал Левин и повернулся на бок.— Завтра рано надо идти, и я не бужу никого, а иду на рассвете.

— Messieurs, venez vite! ^ — послышался голос возвратившегося Весловского. — Charmante! ^ Это я открыл. Charmante, совершенная Гретхен, и мы с ней уж познакомились. Право, прехорошенькая! — рассказывал он с таким одобряіош;им видом, как будто именно для него сделана она была хорошенькою, и он был доволен тем, кто приготовил это для него. Левин притворился спяш;им, а Облонский, надев туфли и закурив сигару, пошел из сарая, и скоро голоса их затихли. Левин долго не мог спать. Он слышал, как его лошади жевали сено, потом как хозяин со старшим малым собирался и уехал в ночное; потом слышал, как солдат укладывался спать с другой стороны сарая с племянником, маленьким сыном хозяина; слышал, как мальчик тоненьким голоском сообщил дяде свое впечатление о собаках, которые казались мальчику страшными и огромными; потом как мальчик расспрашивал, кого будут ловить эти собаки, и как солдат хриплым и срнным голосом говорил ему, что завтра охотники пойдут в болото и будут палить из ружей, и как потом, чтоб отделаться от вопросов мальчика, он сказал: «Спи, Васька, спи, а то смотри», и скоро сам захрапел, и все затихло; только слышно было ржание лошадей и каркание бекаса. «Неужели только отрицательно? — повторил он себе. — Ну и что ж? Я не виноват». И он стал думать о завтрашнем дне. «Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горячиться. Бекасов пропасть. И дупеля есть. А приду домой, будет записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, и прав: я не мужествен с нею, я обабился... Но что ж делать! Опять отрицательно!» Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьича. Он на мгновенье открыл глаза: луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадьич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком, и чтото Весловскип, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно сказанные ему мужиком слова: «Ты своей как можно домогайся!» Левин сквозь сон проговорил: — - Господа, завтра чем свет! — и заснул. ^ Господа, идите скорее! (фралц.) ^ Восхитительна! (франц.) 169

— Messieurs, venez vite! [1] — послышался голос возвратившегося Весловского. — Charmante! [2] Это я открыл. Charmante, совершенная Гретхен, и мы с ней уж познакомились. Право, прехорошенькая! — рассказывал он с таким одобряющим видом, как будто именно для него сделана она была хорошенькою, и он был доволен тем, кто приготовил это для него.

Левин притворился спящим, а Облонский, надев туфли и закурив сигару, пошел из сарая, и скоро голоса их затихли.

Левин долго не мог спать. Он слышал, как его лошади жевали сено, потом как хозяин со старшим малым собирался и уехал в ночное; потом слышал, как солдат укладывался спать с другой стороны сарая с племянником, маленьким сыном хозяина; слышал, как мальчик тоненьким голоском сообщил дяде свое впечатление о собаках, которые казались мальчику страшными и огромными; потом как мальчик расспрашивал, кого будут ловить эти собаки, и как солдат хриплым и сонным голосом говорил ему, что завтра охотники пойдут в болото и будут палить из ружей, и как потом, чтоб отделаться от вопросов мальчика, он сказал: «Спи, Васька, спи, а то смотри», и скоро сам захрапел, и все затихло; только слышно было ржание лошадей и каркание бекаса. «Неужели только отрицательно? — повторил он себе.— Ну и что ж? Я не виноват». И он стал думать о завтрашнем дне.

«Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горячиться. Бекасов пропасть. И дупеля есть. А приду домой, будет записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, и прав: я не мужествен с нею, я обабился... Но что ж делать! Опять отрицательно!»

Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьича. Он на мгновенье открыл глаза: луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадьич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком, и что-то Весловский, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно сказанные ему мужиком слова: «Ты своей как можно домогайся!» Левин сквозь сон проговорил:

— Господа, завтра чем свет! — и заснул.

XII проснувшись на ранней заре, Левин попробовал будить товарищей. Васенька, лежа на животе и вытянув одну ногу в чулке, спал так крепко, что нельзя было от него добиться ответа. Облонский сквозь сон отказался идти так рано. Даже и Ласка, спавшая, свернувшись кольцом, в краю сена, неохотно встала и лениво, одну за другой, вытягивала и расправляла своп задние ноги. Обувшись, взяв ружье II осторожно отворив' скрипучую дверь сарая, Левин вышел на улицу. Кучера спали у экипажей, лошади дремали. Одна только лениво ела овес, раскидывая его храпом по колоде. На дворе еще было серо. — - Что рано так поднялся, касатик? — дружелюбно, как к старому доброму знакомому, обратилась к нему вышедшая из избы старуха хозяйка. — Да на охоту, тетушка. Тут пройду на болото? — Прямо задами; нашими гумнами, милый человек, да коноплями; стежка там. Осторожно шагая босыми загорелыми ногами, старуха проводила Левина и откинула ему загородку у гумна. — Прямо так и стеганешь в болото. Наши ребята туда вечор погнали. Ласка весело бежала впереди по тропинке; Левин шел за нею быстрым, легким шагом, беспрестанно поглядывая на небо. Ему хотелось, чтобы солнце не встало прежде, чем он дойдет до болота. Но солнце не мешкало. Месяц, еще светивший, когда он выходил, теперь только блестел, как кусок ртути; утреннюю зарницу, которую прежде нельзя было не видеть, теперь надо было искать; прежде неопределенные пятна на дальнем поле теперь уже ясно были видны. Это были ржаные копны. Невидная еще без солнечного света роса в душистой высокой конопле, из которой выбраны были уже замашки, мочила ноги и блузу Левина выше пояса. В прозрачной тишине утра слышны были малейшие звуки. Пчелка со свистом пули пролетела мимо уха Левина. Он пригляделся и увидел еще другую и третью. Все они вылетали из-за плетня пчельника и над коноплей скрывались по направлению к болоту. Стежка вывела прямо в болото. Болото можно было узнать по парам, которые поднимались из него где гуще, где реже, так что осока и ракитовые кустики, как островки, колебались на этом паре. На краю болота и дороги мальчишки и мужики, стерегшие ночное, лежали и пред 170

XII

Проснувшись на ранней заре, Левин попробовал будить товарищей. Васенька, лежа на животе и вытянув одну ногу в чулке, спал так крепко, что нельзя было от него добиться ответа. Облонский сквозь сон отказался идти так рано. Даже и Ласка, спавшая, свернувшись кольцом, в краю сена, неохотно встала и лениво, одну за другой, вытягивала и расправляла свои задние ноги. Обувшись, взяв ружье и осторожно отворив скрипучую дверь сарая, Левин вышел на улицу. Кучера спали у экипажей, лошади дремали. Одна только лениво ела овес, раскидывая его храпом по колоде. На дворе еще было серо.

— Что рано так поднялся, касатик? — дружелюбно, как к старому доброму знакомому, обратилась к нему вышедшая из избы старуха хозяйка.

— Да на охоту, тетушка. Тут пройду на болото?

— Прямо задами; нашими гумнами, милый человек, да коноплями; стежка там.

Осторожно шагая босыми загорелыми ногами, старуха проводила Левина и откинула ему загородку у гумна.

— Прямо так и стеганешь в болото. Наши ребята туда вечор погнали.

Ласка весело бежала впереди по тропинке; Левин шел за нею быстрым, легким шагом, беспрестанно поглядывая на небо. Ему хотелось, чтобы солнце не встало прежде, чем он дойдет до болота. Но солнце не мешкало. Месяц, еще светивший, когда он выходил, теперь только блестел, как кусок ртути; утреннюю зарницу, которую прежде нельзя было не видеть, теперь надо было искать; прежде неопределенные пятна на дальнем поле теперь уже ясно были видны. Это были ржаные копны. Невидная еще без солнечного света роса в душистой высокой конопле, из которой выбраны были уже замашки, мочила ноги и блузу Левина выше пояса. В прозрачной тишине утра слышны были малейшие звуки. Пчелка со свистом пули пролетела мимо уха Левина. Он пригляделся и увидел еще другую и третью. Все они вылетали из-за плетня пчельника и над коноплей скрывались по направлению к болоту. Стежка вывела прямо в болото. Болото можно было узнать по парáм, которые поднимались из него где гуще, где реже, так что осока и ракитовые кустики, как островки, колебались на этом паре. На краю болота и дороги

зарей все спали под кафтанами. Недалеко от них ходили три спутанные лошади. Одна из них гремела кандалами. Ласка шла рядом с хозяином, просясь вперед и оглядываясь. Пройдя спавших мужиков и поравнявшись с первою мочежиЕкой, Левин осмотрел пистоны и пустил собаку. Одна из лошадей, сытый бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся и, подняв хвост, фыркнул. Остальные лошади тоже испугались и, спутанными ногами шлепая по воде и производя вытаскиваемыми из густой глины копытами звук, подобный хлопанью, запрыгали из болота. Ласка остановилась, насмешливо посмотрев на лошадей и вопросительно на Левина. Левин погладил Ласку и посвистал в знак того, что можно начинать. Ласка весело и озабоченно побежала по колеблющ,ейся под нею трясине. Вбежав в болото. Ласка тотчас же среди знакомых ей запахов кореньев, болотных трав, ржавчины и чуждого запаха лошадиного помета почувствовала рассеянный по всему этому месту запах птицы, той самой пахучей птицы, которая более всех других волновала ее. Кое-где по моху и лопушкам болотным запах этот был очень силен, но нельзя было решить, в какую сторону он усиливался и ослабевал. Чтобы найти направление, надо было отойти дальше под ветер. Не чувствуя движения своих ног, Ласка напряженным галопом, таким, что при каждом прыжке она могла остановиться, если встретится необходимость, поскакала направо прочь от дувшего с востока предрассветного ветерка и повернулась на ветер. Вдохнув в себя воздух расширенными ноздрями, она тотчас же почувствовала, что не следы только, а они сами были тут, пред нею, и не один, а много. Ласка уменьшила быстроту бега. Они были тут, но где именно, она не могла еще определить. Чтобы найти это самое место, она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее. «Ласка! тут!» — сказал он, указывая ей в другую сторону. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать, как она начала, но он повторил приказанье сердитым голосом, показывая в залитый водою кочкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, излазила кочкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их. Теперь, когда он не мешал ей, она знала, что делать, и, не глядя себе под ноги и с досадой спотыкаясь по высоким кочкам и попадая в воду, но справляясь гибкими, 171

зарей все спали под кафтанами. Недалеко от них ходили три спутанные лошади. Одна из них гремела кандалами. Ласка шла рядом с хозяином, просясь вперед и оглядываясь. Пройдя спавших мужиков и поравнявшись с первою мочежинкой, Левин осмотрел пистоны и пустил собаку. Одна из лошадей, сытый бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся и, подняв хвост, фыркнул. Остальные лошади тоже испугались и, спутанными ногами шлепая по воде и производя вытаскиваемыми из густой глины копытами звук, подобный хлопанью, запрыгали из болота. Ласка остановилась, насмешливо посмотрев на лошадей и вопросительно на Левина. Левин погладил Ласку и посвистал в знак того, что можно начинать.

Ласка весело и озабоченно побежала по колеблющейся под нею трясине.

Вбежав в болото, Ласка тотчас же среди знакомых ей запахов кореньев, болотных трав, ржавчины и чуждого запаха лошадиного помета почувствовала рассеянный по всему этому месту запах птицы, той самой пахучей птицы, которая более всех других волновала ее. Кое-где по моху и лопушкам болотным запах этот был очень силен, но нельзя было решить, в какую сторону он усиливался и ослабевал. Чтобы найти направление, надо было отойти дальше под ветер. Не чувствуя движения своих ног, Ласка напряженным галопом, таким, что при каждом прыжке она могла остановиться, если встретится необходимость, поскакала направо прочь от дувшего с востока предрассветного ветерка и повернулась на ветер. Вдохнув в себя воздух расширенными ноздрями, она тотчас же почувствовала, что не следы только, а *они* сами были тут, пред нею, и не один, а много. Ласка уменьшила быстроту бега. Они были тут, но где именно, она не могла еще определить. Чтобы найти это самое место, она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее. «Ласка! тут!» — сказал он, указывая ей в другую сторону. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать, как она начала, но он повторил приказанье сердитым голосом, показывая в залитый водою кочкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, излазила кочкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их. Теперь, когда он не мешал ей, она знала, что делать,

сильными ногами, начала круг, который все должен был объяснить ей. Запах их все сильнее и сильнее, определеннее и определеннее поражал ее, и вдруг ей вполне стало ясно, что один из них тут, за этою кочкой, в пяти шагах пред нею, и она остановилась и замерла всем телом. На своих низких ногах она ничего не могла видеть пред собой, но она по запаху знала, что он сидел не далее пяти шагов. Она стояла, все больше и больше ош;уш;ая его и наслаждаясь ожиданием. Напрул^енный хвост ее был вытянут и вздрагивал только в самом кончике. Рот ее был слегка раскрыт, уши приподняты. Одно ухо заворотилось еще на бегу, и она тяжело, но осторожно дышала и еще осторожнее оглянулась, больше глазами, чем головой, на хозяина. Он, с его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами, шел, спотыкаясь, по кочкам, и необыкновенно тихо, как ей казалось. Ей казалось, что он шел тихо, а он бежал. Заметив тот особенный поиск Ласки, когда она прижималась вся к земле, как будто загребала большими шагами задними ногами, и слегка раскрывала рот, Левин понял, что она тянула по дупелям, и, в душе помолившись богу, чтобы был успех, особенно на первую птицу, подбежал к ней. Подойдя к ней вплоть, он стал с своей высоты смотреть пред собою и увидал глазами то, что она видела носом. В проулочке между кочками на одной виднелся дупель. Повернув голову, он прислушивался. Потом, чуть расправив и опять сложив крылья, он, неловко вильнув задом, скрылся за угол. — Пиль, пі^ль, — крикнул Левин, толкнув ее в зад. «Но я не могу идти, — думала Ласка. — Куда я пойду? Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперед, я ничего не пойму, где они и кто они». Но вот он толкнул ее коленом и взволнованным шепотом проговорил: «Пиль, Ласочка, пиль!» «Ну, так если он хочет этого, я сделаю, но я за себя уже не отвечаю теперь», — подумала она и со всех ног рванулась вперед между кочек. Она ничего уже не чуяла теперь и только видела и слышала, ничего не понимая. В десяти шагах от прежнего места с жирным хорканьем и особенным дупелиным выпуклым звуком крыльев поднялся один дупель. И вслед за выстрелом тяжело шлепнулся белою грудью о мокрую трясину. Другой не дождался и сзади Левина поднялся без собаки. 172

сильными ногами, начала круг, который все должен был объяснить ей. Запах *их* все сильнее и сильнее, определеннее и определеннее поражал ее, и вдруг ей вполне стало ясно, что один из них тут, за этою кочкой, в пяти шагах пред нею, и она остановилась и замерла всем телом. На своих низких ногах она ничего не могла видеть пред собой, но она по запаху знала, что он сидел не далее пяти шагов. Она стояла, все больше и больше ощущая его и наслаждаясь ожиданием. Напруженный хвост ее был вытянут и вздрагивал только в самом кончике. Рот ее был слегка раскрыт, уши приподняты. Одно ухо заворотилось еще на бегу, и она тяжело, но осторожно дышала и еще осторожнее оглянулась, больше глазами, чем головой, на хозяина. Он, с его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами, шел, спотыкаясь, по кочкам, и необыкновенно тихо, как ей казалось. Ей казалось, что он шел тихо, а он бежал.

Заметив тот особенный поиск Ласки, когда она прижималась вся к земле, как будто загребала большими шагами задними ногами, и слегка раскрывала рот, Левин понял, что она тянула по дупелям, и, в душе помолившись богу, чтобы был успех, особенно на первую птицу, подбежал к ней. Подойдя к ней вплоть, он стал с своей высоты смотреть пред собою и увидал глазами то, что она видела носом. В проулочке между кочками на одной виднелся дупель. Повернув голову, он прислушивался. Потом, чуть расправив и опять сложив крылья, он, неловко вильнув задом, скрылся за угол.

— Пиль, пиль,— крикнул Левин, толкнув ее в зад.

«Но я не могу идти,— думала Ласка.— Куда я пойду? Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперед, я ничего не пойму, где они и кто они». Но вот он толкнул ее коленом и взволнованным шепотом проговорил: «Пиль, Ласочка, пиль!»

«Ну, так если он хочет этого, я сделаю, но я за себя уже не отвечаю теперь»,—подумала она и со всех ног рванулась вперед между кочек. Она ничего уже не чуяла теперь и только видела и слышала, ничего не понимая.

В десяти шагах от прежнего места с жирным хорканьем и особенным дупелиным выпуклым звуком крыльев поднялся один дупель. И вслед за выстрелом тяжело

Когда Левин повернулся к нему, он был уже далеко. Но выстрел достал его. Пролетев шагов двадцать, второй дупель поднялся кверху колом и кубарем, как брошенный мячик, тяжело упал на сухое место. «Вот это будет толк! — думал Левин, запрятывая Б ягдташ теплых и я^ирных дупелей. — А, Ласочка, будет толк?» Когда Левин, зарядив ружье, тронулся дальше, солнце, хотя еіце и не видное за тучками, уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко, белел на небе; звезд не видно было уя^е ни одной. Мочежинки, прежде серебрившиеся росой, теперь золотились. Ржавчина была вся янтарная. Синева трав перешла в желтоватую зелень. Болотные птички копошились на блестящих росою и клавших длинную тень кустиках у ручья. Ястреб проснулся п сидел на копне, с боку на бок поворачивая голову, недовольно глядя на болото. Галки летели в поле, и босоногий мальчишка уже подгонял лошадей к поднявшемуся изпод кафтана и почесывавшемуся старику. Дым от выстрелов, как молоко, белел по зелени травы. Один из мальчишек подбежал к Левину. — Дяденька, утки вчера туто были! — прокричал он ему и пошел за ним издалека. И Левину, в виду этого мальчика, выражавшего свое одобрение, было вдвойне приятно убить еще тут же раз за разом трех бекасов. XIII Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, оказалась справедливою. Усталый, голодный, счастливый, Левин в десятом часу утра, исходив верст тридцать, с девятнадцатью штуками красной дичи и одною уткой, которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в ягдташ, вернулся на квартиру. Товарищи его уже давно проснулись и успели проголодаться и позавтракать. — Постойте, постойте, я знаю, что девятнадцать, — говорил Левин, пересчитывая во второй раз не имеющих того значительного вида, какой они имели, когда вылетали, скрючившихся и ссохшихся, с запекшеюся кровью, со свернутыми набок головами дупелей и бекасов. 173

Когда Левин повернулся к нему, он был уже далеко. Но выстрел достал его. Пролетев шагов двадцать, второй дупель поднялся кверху колом и кубарем, как брошенный мячик, тяжело упал на сухое место.

«Вот это будет толк! — думал Левин, запрятывая в ягдташ теплых и жирных дупелей.— А, Ласочка, будет толк?»

Когда Левин, зарядив ружье, тронулся дальше, солнце, хотя еще и не видное за тучками, уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко, белел на небе; звезд не видно было уже ни одной. Мочежинки, прежде серебрившиеся росой, теперь золотились. Ржавчина была вся янтарная. Синева трав перешла в желтоватую зелень. Болотные птички копошились на блестящих росою и клавших длинную тень кустиках у ручья. Ястреб проснулся и сидел на копне, с боку на бок поворачивая голову, недовольно глядя на болото. Галки летели в поле, и босоногий мальчишка уже подгонял лошадей к поднявшемуся из-под кафтана и почесывавшемуся старику. Дым от выстрелов, как молоко, белел по зелени травы.

Один из мальчишек подбежал к Левину.

— Дяденька, утки вчера туто были! — прокричал он ему и пошел за ним издалека.

И Левину, в виду этого мальчика, выражавшего свое одобрение, было вдвойне приятно убить еще тут же раз за разом трех бекасов.

XIII

Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, оказалась справедливою.

Усталый, голодный, счастливый, Левин в десятом часу утра, исходив верст тридцать, с девятнадцатью штуками красной дичи и одною уткой, которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в ягдташ, вернулся на квартиру. Товарищи его уже давно проснулись и успели проголодаться и позавтракать.

— Постойте, постойте, я знаю, что девятнадцать,— говорил Левин, пересчитывая во второй раз не имеющих того значительного вида, какой они имели, когда вылетали, скрючившихся и ссохшихся, с запекшеюся кровью

Счет был верен, и зависть Степана Аркадьича была приятна Левину. Приятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру, он застал уже приехавшего посланного от Киты с запиской. «Я совсем здорова и весела. Если ты за меня боишься, то можешь быть еще более спокоен, чем прежде. У меня новый телохранитель, Марья Власьевна (это была акушерка, новое, важное лицо в семейной жизни Левина). Она приехала меня проведать. Нашла меня совершенно здоровою, и мы оставили ее до твоего приезда. Все веселы, здоровы, и ты, пожалуйста, не торопись, а если охота хороша, оставайся еще день». Эти две радости, счастливая охота и записка от жены, были так велики, что две случившиеся после этого маленькие неприятности прошли для Левина легко. Одна состояла в том, что рыжая пристяя^ная, очевидно переработавшая вчера, не ела корма и была скучна. Кучер говорил, что она надорвана. — Вчера загнали, Константин Дмитрии, — говорил он. — Как же, десять верст непутем гнали! Другая неприятность, расстроившая в первую минуту его хорошее располоя^ение духа, но над которою он после много смеялся, состояла в том, что из всей провизирі, отпущенной Кити в таком изобилии, что, казалось, нельзя было ее доесть в неделю, ничего не осталось. Возвращаясь усталый и голодный с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уя^е слышал запах и вкус их во рту, как Ласка чуяла дичь, и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было. — Ну уж аппетит! — сказал Степан Аркадыіч, смеясь, указывая на Васеньку Весловского.— Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно... — Mais c’était délicieux \ — похвалил Весловский съеденную им говядину. — Ну, что ж делать! — сказал Левин, мрачно глядя па Весловского. — Филипп, так говядины дай. — Говядину скушали, я кость собакам отдал,— отвечал Филипп. Левину было так обидно, что он с досадой сказал: — Хоть бы чего-нибудь мне оставили! — и ему захотелось плакать. ^ Но это было прелестно (франц.)^ 174

Счет был верен, и зависть Степана Аркадьича была приятна Левину. Приятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру, он застал уже приехавшего посланного от Кити с запиской.

«Я совсем здорова и весела. Если ты за меня боишься, то можешь быть еще более спокоен, чем прежде. У меня новый телохранитель, Марья Власьевна (это была акушерка, новое, важное лицо в семейной жизни Левина). Она приехала меня проведать. Нашла меня совершенно здоровою, и мы оставили ее до твоего приезда. Все веселы, здоровы, и ты, пожалуйста, не торопись, а если охота хороша, оставайся еще день».

Эти две радости, счастливая охота и записка от жены, были так велики, что две случившиеся после этого маленькие неприятности прошли для Левина легко. Одна состояла в том, что рыжая пристяжная, очевидно переработавшая вчера, не ела корма и была скучна. Кучер говорил, что она надорвана.

— Вчера загнали, Константин Дмитрич,— говорил он.— Как же, десять верст непутем гнали!

Другая неприятность, расстроившая в первую минуту его хорошее расположение духа, но над которою он после много смеялся, состояла в том, что из всей провизии, отпущенной Кити в таком изобилии, что, казалось, нельзя было ее доесть в неделю, ничего не осталось. Возвращаясь усталый и голодный с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус их во рту, как Ласка чуяла дичь, и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было.

— Ну уж аппетит! — сказал Степан Аркадьич, смеясь, указывая на Васеньку Весловского.— Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно...

— Mais c'était délicieux [1],— похвалил Весловский съеденную им говядину.

— Ну, что ж делать! — сказал Левин, мрачно глядя на Весловского.— Филипп, так говядины дай.

— Говядину скушали, я кость собакам отдал,— отвечал Филипп.

Левину было так обидно, что он с досадой сказал:

— Хоть бы чего-нибудь мне оставили! — и ему захотелось плакать.

— Так выпотроши же дичь, — сказал он дрожащим голосом Филиппу, стараясь не смотреть на Васеньку,— и наложи крапивы. А мне спроси хоть молока. Уже потом, когда он наелся молока, ему стало совестно за то, что он высказал досаду чужому человеку, и он стал смеяться над своим голодным озлоблением. Вечером еще сделали поле, в которое и Весловскии убил несколько штук, и в ночь вернулись домой. Обратный путь был так же весел, как и путь туда. Весловский то пел, то вспоминал с наслаждением свои похождения у мул^иков, угостивших его водкой п сказавших ему: «Не обсудись»; то свои ночные похождения с орешками и дворовою девушкой и мужиком, который спрашивал его, женат ли он, и, узнав, что он не женат, сказал ему: «А ты на чужих жен не зарься, а пуще всего домогайся, как бы свою завести». Эти слова особенно смешили Весловского. — Вообще я ужасно доволен нашею поездкой. А вы, Левин? — Я очень доволен, — искренно говорил Левин, которому особенно радостно было не только не чувствовать той враждебности, которую он испытал дома к Васеньке Весловскому, но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение. XIV На другой день, в десять часов, Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька. — Entrez прокричал ему Весловский.— Вы меня извините, я еще только мои ablutions ^ кончил, — сказал он, улыбаясь, стоя пред ним в одном белье. — Не стесняйтесь, пожалуйста. — Левин присел к окну. — Вы хорошо спали? — Как убитый. А день какой нынче для охоты! — Да. Вы чай или кофе? — Ни то, ни другое. Я завтракаю. Мне, право, совестно. Дамы, я думаю, уже встали? Пройтись теперь отлично. Вы мне покажите лошадей. ^ Войдите (франц.). ^ обливания (франц.).

— Так выпотроши же дичь,— сказал он дрожащим голосом Филиппу, стараясь не смотреть на Васеньку,— и наложи крапивы. А мне спроси хоть молока.

Уже потом, когда он наелся молока, ему стало совестно за то, что он высказал досаду чужому человеку, и он стал смеяться над своим голодным озлоблением.

Вечером еще сделали поле, в которое и Весловский убил несколько штук, и в ночь вернулись домой.

Обратный путь был так же весел, как и путь туда. Весловский то пел, то вспоминал с наслаждением свои похождения у мужиков, угостивших его водкой и сказавших ему: «Не обсудись»; то свои ночные похождения с орешками и дворовою девушкой и мужиком, который спрашивал его, женат ли он, и, узнав, что он не женат, сказал ему: «А ты на чужих жен не зарься, а пуще всего домогайся, как бы свою завести». Эти слова особенно смешили Весловского.

— Вообще я ужасно доволен нашею поездкой. А вы, Левин?

— Я очень доволен,— искренно говорил Левин, которому особенно радостно было не только не чувствовать той враждебности, которую он испытал дома к Васеньке Весловскому, но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение.

XIV

На другой день, в десять часов, Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька.

— Entrez [1],— прокричал ему Весловский.— Вы меня извините, я еще только мои ablutions [2] кончил,— сказал он, улыбаясь, стоя пред ним в одном белье.

— Не стесняйтесь, пожалуйста.— Левин присел к окну.— Вы хорошо спали?

— Как убитый. А день какой нынче для охоты!

— Да. Вы чай или кофе?

— Ни то, ни другое. Я завтракаю. Мне, право, совестно. Дамы, я думаю, уже встали? Пройтись теперь отлично. Вы мне покажите лошадей.

Пройдясь по саду, побывав в конюшне и даже поделав вместе гимнастику на баррах, Левин вернулся с своим гостем домой и вошел с ним в гостиную. — Прекрасно поохотились и сколько впечатлений! — сказал Весловский, подходя к Кити, которая сидела за самоваром. — Как жалко, что дамы лишены этих удовольствий! «Ну, что же, надо же ему как-нибудь говорить с хозяйкой дома», — сказал себе Левин. Ему опять что-то показалось в улыбке, в том победительном выражении, с которым гость обратился к Кити... Княгиня, сидевшая с другой стороны стола с Марьей Власьевной и Степаном Аркадыічем, подозвала к себе Левина и завела с ним разговор о переезде в Москву для родов Кити и приготовлении квартиры. Для Левина как при свадьбе были неприятны всякие приготовления, оскорбляюш,ие своим ничтожеством величие совершаюп];егося, так еще более оскорбительны казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам. Он старался все время не слышать этих разговоров о способе пеленания будущего ребенка, старался отворачиваться и не видеть каких-то таинственных бесконечных вязаных полос, каких-то полотняных треугольничков, которым приписывала особенную важность Долли, и т. п. Событие рождения сына (он был уверен, что сын), которое ему обещали, но в которое он не мог верить,— так оно казалось необыкновенно,— представлялось ему, с одной стороны, столь огромным и потому невозможным счастьем, с другой стороны — столь таинственным событием, что это воображаемое знание того, что будет, и вследствие того приготовление как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно. Но княгиня не понимала его чувств и объясняла его неохоту думать и говорить про это легкомыслием и равнодушием, а потому не давала ему покоя. Она поручала Степану Аркадыічу посмотреть квартиру и теперь позвала к себе Левина. — Я ничего не знаю, княгиня. Делайте, как хотите,— говорил он. — Надо решить, когда вы переедете. — Я, право, не знаю. Я знаю, что родятся детей миллионы без Москвы и докторов... отчего же... — Да если так... 176

Пройдясь по саду, побывав в конюшне и даже поделав вместе гимнастику на баррах, Левин вернулся с своим гостем домой и вошел с ним в гостиную.

— Прекрасно поохотились и сколько впечатлений! — сказал Весловский, подходя к Кити, которая сидела за самоваром.— Как жалко, что дамы лишены этих удовольствий!

«Ну, что же, надо же ему как-нибудь говорить с хозяйкой дома»,— сказал себе Левин. Ему опять что-то показалось в улыбке, в том победительном выражении, с которым гость обратился к Кити...

Княгиня, сидевшая с другой стороны стола с Марьей Власьевной и Степаном Аркадьичем, подозвала к себе Левина и завела с ним разговор о переезде в Москву для родов Кити и приготовлении квартиры. Для Левина как при свадьбе были неприятны всякие приготовления, оскорбляющие своим ничтожеством величие совершающегося, так еще более оскорбительны казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам. Он старался все время не слышать этих разговоров о способе пеленания будущего ребенка, старался отворачиваться и не видеть каких-то таинственных бесконечных вязаных полос, каких-то полотняных треугольничков, которым приписывала особенную важность Долли, и т. п. Событие рождения сына (он был уверен, что сын), которое ему обещали, но в которое он не мог верить,— так оно казалось необыкновенно,— представлялось ему, с одной стороны, столь огромным и потому невозможным счастьем, с другой стороны — столь таинственным событием, что это воображаемое знание того, что будет, и вследствие того приготовление как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно.

Но княгиня не понимала его чувств и объясняла его неохоту думать и говорить про это легкомыслием и равнодушием, а потому не давала ему покоя. Она поручала Степану Аркадьичу посмотреть квартиру и теперь позвала к себе Левина.

— Я ничего не знаю, княгиня. Делайте, как хотите,— говорил он.

— Надо решить, когда вы переедете.

— Я, право, не знаю. Я знаю, что родятся детей мил-

— Да нет, как Кити хочет. — С Кити нельзя про это говорить! Что ж ты хочешь, чтобы я напугала ее? Вот нынче весной Натали Голицына умерла от дурного акушера. — Как вы скажете, так я сделаю, — сказал он мрачно. Княгиня начала говорить ему, но он не слушал ее. Хотя разговор с княгиней и расстраивал его, он сделался мрачен не от этого разговора, но от того, что он видел у самовара. «Нет, это невозможно», — думал он, изредка взглядывая на перегнувшегося к Кити Васеньку, с своею красивою улыбкой говорившего ей что-то, и на нее, красневшую II взволнованную. Было нечистое что-то в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке. Левин видел даже что-то нечистое и в позе и во взгляде Кити. И опять свет померк в его глазах. Опять, как вчера, вдруг, без малейшего перехода, он почувствовал себя сброшенным с высоты счастья, спокойствия, достоинства в бездну отчаяния, злобы и унижения. Опять все и всё стали противны ему. — Так и сделайте, княгиня, как хотите,— сказал он, опять оглядываясь. — Тяжела шапка Мономаха! — сказал ему шутя Степан Аркадьич, намекая, очевидно, не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, которое он заметил.— Как ты нынче поздно, Долли! Все встали встретить Дарью Александровну. Васенька встал на минуту только и со свойственным новым молодым людям отсутствием вежливости к дамам чуть поклонился и опять продолжал разговор, засмеявшись чему-то. — Меня замучала Маша. Она дурно спала и капризна нынче ужасно,— сказала Долли. Разговор, затеянный Васенькой с Кити, шел опять о вчерашнем, об Анне и о том, может ли любовь стать выше условий света. Кити неприятен был этот разговор, п он волновал ее и самим содержанием, и тем тоном, которым он был веден, и в особенности тем, что она знала уж, как это подействует на мужа. Но она слишком была проста и невинна, чтоб уметь прекратить этот разговор, и даже для того, чтобы скрыть то внешнее удовольствие, которое доставляло ей очевидное внимание этого молодого человека. Она хотела прекратить этот разговор, но она не знала, что ей сделать. Все, что бы она ни сделала, она знала, будет замечено мужем, и все перетолковано в дур177

— Да нет, как Кити хочет.

— С Кити нельзя про это говорить! Что ж ты хочешь, чтобы я напугала ее? Вот нынче весной Натали Голицына умерла от дурного акушера.

— Как вы скажете, так я сделаю,— сказал он мрачно.

Княгиня начала говорить ему, но он не слушал ее. Хотя разговор с княгиней и расстраивал его, он сделался мрачен не от этого разговора, но от того, что он видел у самовара.

«Нет, это невозможно»,— думал он, изредка взглядывая на перегнувшегося к Кити Васеньку, с своею красивою улыбкой говорившего ей что-то, и на нее, красневшую и взволнованную.

Было нечистое что-то в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке. Левин видел даже что-то нечистое и в позе и во взгляде Кити. И опять свет померк в его глазах. Опять, как вчера, вдруг, без малейшего перехода, он почувствовал себя сброшенным с высоты счастья, спокойствия, достоинства в бездну отчаяния, злобы и унижения. Опять все и всё стали противны ему.

— Так и сделайте, княгиня, как хотите,— сказал он, опять оглядываясь.

— Тяжела шапка Мономаха! — сказал ему шутя Степан Аркадьич, намекая, очевидно, не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, которое он заметил.— Как ты нынче поздно, Долли!

Все встали встретить Дарью Александровну. Васенька встал на минуту только и со свойственным новым молодым людям отсутствием вежливости к дамам чуть поклонился и опять продолжал разговор, засмеявшись чему-то.

— Меня замучала Маша. Она дурно спала и капризна нынче ужасно,— сказала Долли.

Разговор, затеянный Васенькой с Кити, шел опять о вчерашнем, об Анне и о том, может ли любовь стать выше условий света. Кити неприятен был этот разговор, и он волновал ее и самим содержанием, и тем тоном, которым он был веден, и в особенности тем, что она знала уж, как это подействует на мужа. Но она слишком была проста и невинна, чтоб уметь прекратить этот разговор, и даже для того, чтобы скрыть то внешнее удовольствие, которое доставляло ей очевидное внимание этого молодого человека. Она хотела прекратить этот разговор, но она не

пую сторону, и действительно, когда опа спросила у Долли, что с Машей, и Васенька, ожидая, когда кончится этот скучный для него разговор, принялся равнодушію смотреть на Долли, этот вопрос показался Левину ненатуральною, отвратительною хитростью. — Что же, поедем нынче за грибами? — спросила Долли. — Поедемте, пожалуйста, и я поеду, — сказала Кити и покраснела. Опа хотела спросить Васеньку из учтивости, поедет ли он, и не спросила. — Ты куда. Костя? — спросила она с виноватым видом мужа, когда он решительным шагом проходил мимо нее. Это виноватое выражение подтвердило все его сомнения. — Без меня приехал машинист, я еще не видал его, — сказал он, не глядя на нее. Он сошел вниз, но не успел еще выйти из кабинета, как услыхал знакомые шаги жены, неосторожно быстро идущей к нему. — Что ты? — сказал он ей сухо. — Мы заняты. — Извините меня, — обратилась она к машиниступемцу, мне несколько слов сказать мужу. Немец хотел уйти, но Левин сказал ему: — Не беспокойтесь. — Поезд в три? — спросил немец. — Как бы не опоздать. Левин не ответил ему и сам вышел с л^еной. — Ну, что вы мне имеете сказать? — проговорил он по-французски. Он не смотрел на ее лицо и не хотел видеть, что она, в ее положении, дрожала всем лицом и имела жалкий, уничтоженный вид. — Я... я хочу сказать, что так нельзя жить, что это мученье... — проговорила она. — Люди тут в буфете, — сказал он сердито, — не делайте сцен. — Ну, пойдем сюда! Они стояли в проходной комнате. Она хотела войти в соседнюю. Но там англичанка учила Таню. — Ну, пойдем в сад! В саду они наткнулись на мужика, чистившего дорожку. И уже не думая о том, что мужик видит ее заплаканное, его взволнованное лицо, не думая о том, что они имеют вид людей, убегающих от какого-то несчастия, они быстрым шагом шли вперед, чувствуя, что им надо выска178

пую сторону. И действительно, когда она спросила у Долли, что с Машей, и Васенька, ожидая, когда кончится этот скучный для него разговор, принялся равнодушно смотреть на Долли, этот вопрос показался Левину ненатуральною, отвратительною хитростью.

— Что же, поедем нынче за грибами? — спросила Долли.

— Поедемте, пожалуйста, и я поеду,— сказала Кити и покраснела. Она хотела спросить Васеньку из учтивости, поедет ли он, и не спросила.— Ты куда, Костя? — спросила она с виноватым видом мужа, когда он решительным шагом проходил мимо нее. Это виноватое выражение подтвердило все его сомнения.

— Без меня приехал машинист, я еще не видал его,— сказал он, не глядя на нее.

Он сошел вниз, но не успел еще выйти из кабинета, как услыхал знакомые шаги жены, неосторожно быстро идущей к нему.

— Что ты? — сказал он ей сухо.— Мы заняты.

— Извините меня,— обратилась она к машинисту-немцу, мне несколько слов сказать мужу.

Немец хотел уйти, но Левин сказал ему:

— Не беспокойтесь.

— Поезд в три? — спросил немец.— Как бы не опоздать.

Левин не ответил ему и сам вышел с женой.

— Ну, что вы мне имеете сказать? — проговорил он по-французски.

Он не смотрел на ее лицо и не хотел видеть, что она, в ее положении, дрожала всем лицом и имела жалкий, уничтоженный вид.

— Я... я хочу сказать, что так нельзя жить, что это мученье...— проговорила она.

— Люди тут в буфете,— сказал он сердито,— не делайте сцен.

— Ну, пойдем сюда!

Они стояли в проходной комнате. Она хотела войти в соседнюю. Но там англичанка учила Таню.

— Ну, пойдем в сад!

В саду они наткнулись на мужика, чистившего дорожку. И уже не думая о том, что мужик видит ее заплаканное, его взволнованное лицо, не думая о том, что они

заться п разубедить друг друга, побыть одним вместе и избавиться этим от того мучения, которое оба испытывали. — Этак нельзя жить, это мученье! Я страдаю, ты страдаешь. За что? — сказала она, когда они добрались наконец до уединенной лавочки на углу липовой аллеи. — Но ты одно скажи мне: было в его тоне неприличное, нечистое, унизительно-ужасное? — говорил он, становясь пред ней опять в ту же позу, с кулаками пред грудью, как он тогда ночью стоял пред ней. — Было, — сказала она дрожапі;им голосом. — Но, Костя, ты веришь, что я не виновата? Я с утра хотела такой топ взять, по эти люди... Зачем он приехал? Как мы счастливы были! — говорила она, задыхаясь от рыданий, которые поднимали все ее пополневшее тело. Садовник с удивлением видел, несмотря на то, что ничего не гналось за ними, и что бежать не от чего было, и что ничего они особенно радостного не могли найти на лавочке,— садовник видел, что они вернулись домой мимо него с успокоенными, сияющими лицами. XV Проводив жену наверх, Левин пошел на половину Долли. Дарья Александровна с своей стороны была в этот день в большом огорчении. Она ходила по комнате и сердито говорила стоявшей в углу и ревущей девочке: — И будешь стоять в углу весь день, и обедать будешь одна, и ни одной куклы не увидишь, и платья тебе нового не сошью, — говорила она, не зная уже, чем наказать ее. ~ Нет, это гадкая девочка! — обратилась она к Левину. — Откуда берутся у нее эти мерзкие наклонности? — Да что же она сделала? — довольно равнодушно сказал Левин, которому хотелось посоветоваться о своем деле и поэтому досадно было, что он попал некстати. — Она с Гришей ходила в малину и там... я не могу да5ке сказать, что опа делала. Вот какие гадости. Тысячу раз пожалеешь miss Elliot. Эта ни за чем не смотрит, машина... Figurez vous, qu’elle... ^ ^ Представьте себе, что она... (франц.) 179

заться и разубедить друг друга, побыть одним вместе и избавиться этим от того мучения, которое оба испытывали.

— Этак нельзя жить, это мученье! Я страдаю, ты страдаешь. За что? — сказала она, когда они добрались наконец до уединенной лавочки на углу липовой аллеи.

— Но ты одно скажи мне: было в его тоне неприличное, нечистое, унизительно-ужасное? — говорил он, становясь пред ней опять в ту же позу, с кулаками пред грудью, как он тогда ночью стоял пред ней.

— Было,— сказала она дрожащим голосом.—Но, Костя, ты веришь, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди... Зачем он приехал? Как мы счастливы были! — говорила она, задыхаясь от рыданий, которые поднимали все ее пополневшее тело.

Садовник с удивлением видел, несмотря на то, что ничего не гналось за ними, и что бежать не от чего было, и что ничего они особенно радостного не могли найти на лавочке,— садовник видел, что они вернулись домой мимо него с успокоенными, сияющими лицами.

XV

Проводив жену наверх, Левин пошел на половину Долли. Дарья Александровна с своей стороны была в этот день в большом огорчении. Она ходила по комнате и сердито говорила стоявшей в углу и ревущей девочке:

— И будешь стоять в углу весь день, и обедать будешь одна, и ни одной куклы не увидишь, и платья тебе нового не сошью, — говорила она, не зная уже, чем наказать ее.

— Нет, это гадкая девочка! — обратилась она к Левину. — Откуда берутся у нее эти мерзкие наклонности?

— Да что же она сделала? — довольно равнодушно сказал Левин, которому хотелось посоветоваться о своем деле и поэтому досадно было, что он попал некстати.

— Она с Гришей ходила в малину и там... я не могу даже сказать, что она делала. Вот какие гадости. Тысячу раз пожалеешь miss Elliot. Эта ни за чем не смотрит, машина... Figurez vous, qu'elle... [1]

и Дарья Александровна рассказала преступление Маши. — Это ничего не доказывает, это совсем не гадкие наклонности, а просто шалость, — успокоивал ее Левин. — Но ты что-то расстроен? Ты зачем пришел? — спросила Долли. — Что там делается? И в тоне этого вопроса Левин слышал, что ему легко будет сказать то, что он был намерен сказать. — Я не был там, я был один в саду с Кити. Мы поссорились второй раз с тех пор, как... Стива приехал. Долли смотрела на него умными, понимаюндими глазами. — Ну скажи, руку на сердце, был ли... не в Кити, а в этом господине такой тон, который может быть неприятен, не неприятен, а ужасен, оскорбителен для мужа? — То есть как тебе сказать... Стой, стой в углу! — обратилась она к Магне, которая, увидав чуть заметную улыбку па лице матери, повернулась было.— Светское мнение было бы то, что он ведет себя, как ведут себя все молодые люди. H fait Ia cour à une jeune et jolie femme \ а муж светский только моя^ет быть полыцен этим. — Да, да, — мрачно сказал Левин,— но ты заметила? — Не только я, но Стива заметил. Он прямо после чая мне сказал: je crois que Весловский fait un petit brin de cour à Кити — Ну и прекрасно, теперь я спокоен. Я прогоню его, — сказал Левин. — Что ты, с ума сошел? — с ужасом вскрикнула Долли. — Что ты. Костя, опомнись! — смеясь, сказала она. — Ну, моя^ешь идти теперь к Фанни,— сказала она Маше. — Нет, уж если ты хочешь, то я скажу Стиве. Он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообш,е он нам не к дому. — Нет, нет, я сам. — Но ты поссоришься?.. — Нисколько. Мне так это весело будет, — действительно весело блестя глазами, сказал Левин. — Ну, прости ее, Долли! Она не будет, — сказал он про маленькую преступницу, которая не пошла к Фанни и нерешительно стояла против матери, исподлобья ожидая и ища ее взгляда. ^ Он ухаживает за молодой и красивой женщиной (франц.). ” я думаю, что Весловский слегка волочится за Кити (франц.). 180

И Дарья Александровна рассказала преступление Маши.

— Это ничего не доказывает, это совсем не гадкие наклонности, а просто шалость,— успокоивал ее Левин.

— Но ты что-то расстроен? Ты зачем пришел? — спросила Долли.— Что там делается?

И в тоне этого вопроса Левин слышал, что ему легко будет сказать то, что он был намерен сказать.

— Я не был там, я был один в саду с Кити. Мы поссорились второй раз с тех пор, как... Стива приехал.

Долли смотрела на него умными, понимающими глазами.

— Ну скажи, руку на сердце, был ли... не в Кити, а в этом господине такой тон, который может быть неприятен, не неприятен, а ужасен, оскорбителен для мужа?

— То есть как тебе сказать... Стой, стой в углу! — обратилась она к Маше, которая, увидав чуть заметную улыбку на лице матери, повернулась было.— Светское мнение было бы то, что он ведет себя, как ведут себя все молодые люди. Il fait la cour à une jeune et jolie femme [1], а муж светский только может быть польщен этим.

— Да, да,— мрачно сказал Левин,— но ты заметила?

— Не только я, но Стива заметил. Он прямо после чая мне сказал: je crois que Весловский fait un petit brin de cour à Кити [2].

— Ну и прекрасно, теперь я спокоен. Я прогоню его,— сказал Левин.

— Что ты, с ума сошел? — с ужасом вскрикнула Долли. — Что ты, Костя, опомнись! — смеясь, сказала она. — Ну, можешь идти теперь к Фанни,— сказала она Маше.— Нет, уж если ты хочешь, то я скажу Стиве. Он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще он нам не к дому.

— Нет, нет, я сам.

— Но ты поссоришься?..

— Нисколько. Мне так это весело будет,— действительно весело блестя глазами, сказал Левин.— Ну, прости ее, Долли! Она не будет,— сказал он про маленькую преступницу, которая не пошла к Фанни и нерешительно стояла против матери, исподлобья ожидая и ища ее взгляда.

---

1 Он ухаживает за молодой и красивой женщиной (*франц.*).

Мать взглянула на нее. Девочка разрыдалась, зарылась лицом в коленях матери, и Долли положила ей на голову свою худую нежную руку. «И что общего между нами и им?» — подумал Левин и пошел отыскивать Весловского. Проходя через переднюю, он велел закладывать коляску, чтобы ехать на станцию. — Вчера рессора сломалась, — отвечал лакей. — Ну так тарантас, но скорее. Где гость? — Они прошли в свою комнату. Левин застал Васеньку в то время, как тот, разобрав свои вещи из чемодана и разложив новые романсы, примеривал краги, чтоб ездить верхом. Было ли в лице Левина что-нибудь особенное, или сам Васенька почувствовал, что ce petit brin de cour \ который он затеял, неуместен в этой семье, но он был несколько (сколько может быть светский человек) смущен входом Левина. — Вы в крагах верхом ездите? — Да, это гораздо чище, — сказал Васенька, ставя жирную ногу на стул, застегивая нижний крючок и весело, добродушно улыбаясь. Он был несомненно добрый малый, и Левину жалко стало его и совестно за себя, хозяина дома, когда он подметил робость во взгляде Васеньки. На столе лежал обломок палки, которую они нынче утром вместе сломали на гимнастике, пробуя поднять забухшие барры. Левин взял в руки этот обломок и начал обламывать расщепившийся конец, не зная, как начать. — Я хотел... — Он замолчал было, но вдруг, вспомнив Кити и все, что было, решительно глядя ему в глаза, сказал: — Я велел вам заложить лошадей. — То есть как? — начал с удивлением Васенька. — Куда же ехать? — Вам, на железную дорогу, — мрачно сказал Левин, щипля конец палки. — Вы уезжаете или что-нибудь случилось? — Случилось, что я жду гостей, — сказал Левин, быстрее и быстрее обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. — И не жду гостей, и ничего не случилось, а я прошу вас уехать. Вы можете объяснять как хотите мою неучтивость. ^ этот маленький флирт (франц.). 181

Мать взглянула на нее. Девочка разрыдалась, зарылась лицом в коленях матери, и Долли положила ей на голову свою худую нежную руку.

«И что общего между нами и им?» — подумал Левин и пошел отыскивать Весловского.

Проходя через переднюю, он велел закладывать коляску, чтобы ехать на станцию.

— Вчера рессора сломалась,— отвечал лакей.

— Ну так тарантас, но скорее. Где гость?

— Они прошли в свою комнату.

Левин застал Васеньку в то время, как тот, разобрав свои вещи из чемодана и разложив новые романсы, примеривал краги, чтоб ездить верхом.

Было ли в лице Левина что-нибудь особенное, или сам Васенька почувствовал, что ce petit brin de cour [1], который он затеял, неуместен в этой семье, но он был несколько (сколько может быть светский человек) смущен входом Левина.

— Вы в крагах верхом ездите?

— Да, это гораздо чище,— сказал Васенька, ставя жирную ногу на стул, застегивая нижний крючок и весело, добродушно улыбаясь.

Он был несомненно добрый малый, и Левину жалко стало его и совестно за себя, хозяина дома, когда он подметил робость во взгляде Васеньки.

На столе лежал обломок палки, которую они нынче утром вместе сломали на гимнастике, пробуя поднять забухшие барры. Левин взял в руки этот обломок и начал обламывать расщепившийся конец, не зная, как начать.

— Я хотел...— Он замолчал было, но вдруг, вспомнив Кити и все, что было, решительно глядя ему в глаза, сказал: — Я велел вам заложить лошадей.

— То есть как? — начал с удивлением Васенька.— Куда же ехать?

— Вам, на железную дорогу, — мрачно сказал Левин, щипля конец палки.

— Вы уезжаете или что-нибудь случилось?

— Случилось, что я жду гостей,— сказал Левин, быстрее и быстрее обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки.— И не жду гостей, и ничего не случилось, а я прошу вас уехать. Вы можете объяснять как хотите мою неучтивость.

Васенька выпрямился. — Я прошу вас объяснить мне... — с достоинством сказал он, поняв наконец. — Я не могу вам объяснить, — тихо и медленно, стараясь скрыть дрожание своих скул, заговорил Левин. — И лучше вам не спрашивать. И так как расш;епившиеся концы были уже все отломаны, Левин зацепился пальцами за толстые концы, разодрал палку и старательно поймал падавший конец. Вероятно, вид этих нервно напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов. Он, пожав плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился. — Нельзя ли мне видеть Облонского? Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. «Что ж ему больше остается делать?» — подумал он. — Я сейчас пришлю его вам. — Что это за бессмыслица! — говорил Степан Аркадыіч, узнав от приятеля, что его выгоняют из дома, и найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. — Mais c’est ridicule! ^ Какая тебя муха укусила? Mais c’est du dernier ridicule! ^ Что же тебе показалось, если молодой человек... Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьич хотел объяснить причину, и поспешно перебил его: — Пожалуйста, не объясняй причины! Я не могу иначе! Мне очень совестно пред тобой и пред ним. Но ему, я думаю, не будет большого горя уехать, а мне и моей }кене его присутствие неприятно. — Но ему оскорбительно! Et puis c’est ridicule — А мне и оскорбительно и мучительно! И я ни в чем не виноват, и мне незачем страдать! — Ну, уж этого я не ждал от тебя! On peut être jaloux, mais à ce point, c’est du dernier ridicule! Левин быстро повернулся и ушел от него в глубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он * Ведь это смешно! (франц.) ^ Ведь это в высшей степени смешно! (франц.) ® И потом это смешно (франц.). Можно быть ревнивым, но в такой мере — это в высшей степени смешно! (франц.) 182

Васенька выпрямился.

— Я прошу *вас* объяснить мне...— с достоинством сказал он, поняв наконец.

— Я не могу вам объяснить,— тихо и медленно, стараясь скрыть дрожание своих скул, заговорил Левин. — И лучше вам не спрашивать.

И так как расщепившиеся концы были уже все отломаны, Левин зацепился пальцами за толстые концы, разодрал палку и старательно поймал падавший конец.

Вероятно, вид этих нервно напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов. Он, пожав плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился.

— Нельзя ли мне видеть Облонского?

Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. «Что ж ему больше остается делать?» — подумал он.

— Я сейчас пришлю его вам.

— Что это за бессмыслица! — говорил Степан Аркадьич, узнав от приятеля, что его выгоняют из дома, и найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя.— Mais c'est ridicule! [1] Какая тебя муха укусила? Mais c'est du dernier ridicule! [2] Что же тебе показалось, если молодой человек...

Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьич хотел объяснить причину, и поспешно перебил его:

— Пожалуйста, не объясняй причины! Я не могу иначе! Мне очень совестно пред тобой и пред ним. Но ему, я думаю, не будет большого горя уехать, а мне и моей жене его присутствие неприятно.

— Но ему оскорбительно! Et puis c'est ridicule [3].

— А мне и оскорбительно и мучительно! И я ни в чем не виноват, и мне незачем страдать!

— Ну, уж этого я не ждал от тебя! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule! [4]

Левин быстро повернулся и ушел от него в глубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он

---

[1] Ведь это смешно! *(франц.)*

[2] Ведь это в высшей степени смешно! *(франц.)*

[3] И потом это смешно *(франц.)*.

услыхал грохот тарантаса п увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене (на беду, не было сиденья в тарантасе) в своей шотландской шапочке, подпрыгивая по толчкам, проехал по аллее. «Это что еш;е?» — подумал Левин, когда лакей, выбежав из дома, остановил тарантас. Это был машинист, про которого совсем забыл Левин. Машинист, раскланиваясь, что-то говорил Весловскому; потом влез в тарантас, п они вместе уехали. Степан Аркадыіч и княгиня были возмущены поступком Левина. И он сам чувствовал себя не только ridicule * в высшей степени, по и виноватым кругом п опозоренным; но, вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он, спрашивая себя, как бы он поступил в другой раз, отвечал себе, что точно так же. Несмотря на все это, к концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшей этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказанья или большие после тяжелого официального приема, так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие. И Долли, имевшая от отца дар смешно рассказывать, заставляла падать от смеха Вареньку, когда она в третий и четвертый раз, все с новыми юмористическими прибавлениями, рассказывала, как она, только что собралась надеть новые бантики для гостя и выходила уж. в гостиную, вдруг услыхала грохот колымаги. И кто же в колымаге? — сам Васенька, и с шотландскою шапочкой, и с романсами, и с крагами, сидит на сене. — Хоть бы ты карету велел запрячь! Нет, и потом слышу: «Постойте!» Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого немца и повезли... И бантики мои пропали!.. XVI Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное ее мужу; она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским; но она считала своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения. ^ смешным (Франц.),

услыхал грохот тарантаса и увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене (на беду, не было сиденья в тарантасе) в своей шотландской шапочке, подпрыгивая по толчкам, проехал по аллее.

«Это что еще?» — подумал Левин, когда лакей, выбежав из дома, остановил тарантас. Это был машинист, про которого совсем забыл Левин. Машинист, раскланиваясь, что-то говорил Весловскому; потом влез в тарантас, и они вместе уехали.

Степан Аркадьич и княгиня были возмущены поступком Левина. И он сам чувствовал себя не только ridicule [1] в высшей степени, но и виноватым кругом и опозоренным; но, вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он, спрашивая себя, как бы он поступил в другой раз, отвечал себе, что точно так же.

Несмотря на все это, к концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшей этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказанья или большие после тяжелого официального приема, так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие. И Долли, имевшая от отца дар смешно рассказывать, заставляла падать от смеха Вареньку, когда она в третий и четвертый раз, все с новыми юмористическими прибавлениями, рассказывала, как она, только что собралась надеть новые бантики для гостя и выходила уж в гостиную, вдруг услыхала грохот колымаги. И кто же в колымаге? — сам Васенька, и с шотландскою шапочкой, и с романсами, и с крагами, сидит на сене.

— Хоть бы ты карету велел запрячь! Нет, и потом слышу: «Постойте!» Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого немца и повезли... И бантики мои пропали!..

XVI

Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное ее мужу; она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским; но она считала своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения.

Чтобы не зависеть от Левиных в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять лошадей; но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором. — Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка? Да если бы мне и было это неприятно, то тем более мне неприятно, что ты не берешь моих лошадей,— говорил он. — Ты мне ни разу не сказала, что ты решительно едешь. А нанимать на деревне, во-первых, неприятно для меня, а главное, они возьмутся, но не довезут. У меня лошади есть. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моих. Дарья Александровна должна была согласиться, и в назначенный день Левин приготовил для свояченицы четверню лошадей и подставу, собрав ее из рабочих и верховых, очень некрасивую, но которая могла довезти Дарью Александровну в один день. Теперь, когда лошади нужны были и для уезжавшей княгйни и для акушерки, это было затруднительно для Левина, по по долгу гостеприимства он не мог допустить Дарью Александровну нанимать из его дома лошадей и, кроме того, знал, что двадцать рублей, которые просили с Дарьи Александровны за эту поездку, были для нее очень важны; а денежные дела Дарьи Александровны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались Левиным как свои собственные. Дарья Александровна по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бежали хорошо, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик вместо лакея, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна задремала и проснулась, только подъезя^ая уже к постоялому двору, где надо было переменять лошадей. Напившись чаю у того самого богатого мужика-хозяина, у которого останавливался Левин в свою поездку к Свияя^скому, и побеседовав с бабами о детях и со стариком о графе Вронском, которого тот очень хвалил, Дарья Александровна в десять часов поехала дальше. Дома ей, за заботами о детях, никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь, на этом четырехчасовом переезде, все прежде задеря^анные мысли вдруг столпились в ее голове, и она передумала всю свою жизнь, как никогда прежде, U с самых разных сторон. Ей самой странны были ее мысли. Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное, Кити (она па нее больше надеялась), обещала за ними смотреть, опа все-таки беспокоилась. 184

Чтобы не зависеть от Левиных в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять лошадей; но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором.

— Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка? Да если бы мне и было это неприятно, то тем более мне неприятно, что ты не берешь моих лошадей,— говорил он.— Ты мне ни разу не сказала, что ты решительно едешь. А нанимать на деревне, во-первых, неприятно для меня, а главное, они возьмутся, но не довезут. У меня лошади есть. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моих.

Дарья Александровна должна была согласиться, и в назначенный день Левин приготовил для свояченицы четверню лошадей и подставу, собрав ее из рабочих и верховых, очень некрасивую, но которая могла довезти Дарью Александровну в один день. Теперь, когда лошади нужны были и для уезжавшей княгини и для акушерки, это было затруднительно для Левина, но по долгу гостеприимства он не мог допустить Дарью Александровну нанимать из его дома лошадей и, кроме того, знал, что двадцать рублей, которые просили с Дарьи Александровны за эту поездку, были для нее очень важны; а денежные дела Дарьи Александровны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались Левиным как свои собственные.

Дарья Александровна по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бежали хорошо, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик вместо лакея, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна задремала и проснулась, только подъезжая уже к постоялому двору, где надо было переменять лошадей.

Напившись чаю у того самого богатого мужика-хозяина, у которого останавливался Левин в свою поездку к Свияжскому, и побеседовав с бабами о детях и со стариком о графе Вронском, которого тот очень хвалил, Дарья Александровна в десять часов поехала дальше. Дома ей, за заботами о детях, никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь, на этом четырехчасовом переезде, все прежде задержанные мысли вдруг столпились в ее голове, и она передумала всю свою жизнь, как никогда прежде, и с самых разных сторон. Ей самой странны были ее мысли. Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное, Кити (она на нее больше надеялась)

< Как бы Маша опять не начала шалить, Гришу как бы по ударила лошадь, да и желудок Лили как бы еще больше не расстроился». Но потом вопросы настоящего стали сменяться вопросами ближайшего будущего. Она стала думать о том, как в Москве надо на нынешнюю зиму взять новую квартиру, переменить мебель в гостином и сделать шубку старшей дочери. Потом стали представляться ей вопросы более отдаленного будущего: как опа выведет детей в люди. «Девочек еще ничего, — думала она, — но мальчики? Хорошо, я занимаюсь с Гришей теперь, но ведь это только оттого, что сама я теперь свободна, не рожаю. На Стиву, разумеется, нечего рассчитывать. И я с помощью добрых людей выведу их; но если опять роды...» И ей пришла мысль о том, как несправедливо сказано, что проклятие наложено на женщину, чтобы в муках родить чада. «Родить ничего, но носить — вот что мучительно», — подумала она, представив себе свою последнюю беременность и смерть этого последнего ребенка. И ей вспомнился разговор с молодайкой на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодайка весело отвечала: — Была одна девочка, да развязал бог, постом похоронила. — Что ж, тебе очень жалко ее? — спросила Дарья Александровна. — Чего жалеть? У старика внуков и так много. Только забота. Ни тебе работать, пи что. Только связа одна. Ответ этот показался Дарье Александровне отвратителен, несмотря на добродушную миловидность молодайки, но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих цинических словах была и доля правды. «Да и вообще,— думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою л^изнь за эти пятнадцать лет замужества,— беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и, главное, безобразие. Кити, молоденькая, хорошенькая Кити, и та как подурнела, а я беременная делаюсь безобразна, я знаю. Роды, страдания, безобразные страдания, эта последняя минута... потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные...» Дарья Александровна вздрогнула от одного воспоминашія о боли треснувших сосков, которую она испытыва185

«Как бы Маша опять не начала шалить, Гришу как бы не ударила лошадь, да и желудок Лили как бы еще больше не расстроился». Но потом вопросы настоящего стали сменяться вопросами ближайшего будущего. Она стала думать о том, как в Москве надо на нынешнюю зиму взять новую квартиру, переменить мебель в гостиной и сделать шубку старшей дочери. Потом стали представляться ей вопросы более отдаленного будущего: как она выведет детей в люди. «Девочек еще ничего,— думала она,— но мальчики?

Хорошо, я занимаюсь с Гришей теперь, но ведь это только оттого, что сама я теперь свободна, не рожаю. На Стиву, разумеется, нечего рассчитывать. И я с помощью добрых людей выведу их; но если опять роды...» И ей пришла мысль о том, как несправедливо сказано, что проклятие наложено на женщину, чтобы в муках родить чада. «Родить ничего, но носить — вот что мучительно», — подумала она, представив себе свою последнюю беременность и смерть этого последнего ребенка. И ей вспомнился разговор с молодайкой на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодайка весело отвечала:

— Была одна девочка, да развязал бог, постом похоронила.

— Что ж, тебе очень жалко ее? — спросила Дарья Александровна.

— Чего жалеть? У старика внуков и так много. Только забота. Ни тебе работать, ни что. Только связа одна.

Ответ этот показался Дарье Александровне отвратителен, несмотря на добродушную миловидность молодайки, но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих циничесих словах была и доля правды.

«Да и вообще,— думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать лет замужества,— беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и, главное, безобразие. Кити, молоденькая, хорошенькая Кити, и та как подурнела, а я беременная делаюсь безобразна, я знаю. Роды, страдания, безобразные страдания, эта последняя минута... потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные...»

л а почти с каждым ребенком. «Потом болезни детей, этот страх вечный; потом воспитание, гадкие наклонности (она вспомнила преступление маленькой Маши в малине) , ученье, латынь — все это так непонятно и трудно. И сверх всего — смерть этих же детей». И опять в воображении ее возникло вечно гнетуш,ее ее материнское сердце жестокое воспомипапие смерти последнего, грудного мальчика, умершего крупом, его похороны, всеобщее равнодушие пред этим маленьким розовым гробиком и своя разрывающая сердце одинокая боль пред бледным лобиком с вьющимися височками, пред раскрытым и удивленным ротиком, видневшимся из гроба в ту минуту, как его закрывали розовою крышечкой с галунным крестом. «И все это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь и вырастут несчастные, дурно воспитанные и нищие дети. И теперь, если бы не лето у Левиных, я не знаю, как бы мы прожили. Разумеется, Костя и Кити так деликатны, что почти незаметно; но это не может продоля\аться. Пойдут у них дети, им нельзя будет помогать; они и теперь стеснены. Что ж, папа, который себе почти ничего не оставил, будет помогать? Так что и вывести-то детей я не могу сама, а разве с помощью других, с унижением. Ну, да если предположим самое счастливое: дети не будут больше умирать, и я кое-как воспитаю их. В самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот все, чего я могу желать. Из-за всего этого сколько мучений, трудов... Загублена вся жизнь!» Ей опять вспомнилось то, что сказала молодайка, и опять ей гадко было вспомнить про это; но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды. — Что, далеко ли, Михайла? — спросила Дарья Александровна у конторщика, чтобы развлечься от пугавших ее мыслей. — От этой деревни, сказывают, семь верст. Коляска по улице деревни съезжала на мостик. По мосту, звонко и весело переговариваясь, шла толпа веселых баб со свитыми свяслами за плечами. Бабы приостановились на мосту, любопытно оглядывая коляску. Все обращенные к ней лица показались Дарье Александровне здоровыми, веселыми, дразнящими ее радостью жизни. 186

ла почти с каждым ребенком. «Потом болезни детей, этот страх вечный; потом воспитание, гадкие наклонности (она вспомнила преступление маленькой Маши в малине), ученье, латынь — все это так непонятно и трудно. И сверх всего — смерть этих же детей». И опять в воображении ее возникло вечно гнетущее ее материнское сердце жестокое воспоминание смерти последнего, грудного мальчика, умершего крупом, его похороны, всеобщее равнодушие пред этим маленьким розовым гробиком и своя разрывающая сердце одинокая боль пред бледным лобиком с вьющимися височками, пред раскрытым и удивленным ротиком, видневшимся из гроба в ту минуту, как его закрывали розовою крышечкой с галунным крестом.

«И все это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь и вырастут несчастные, дурно воспитанные и нищие дети. И теперь, если бы не лето у Левиных, я не знаю, как бы мы прожили. Разумеется, Костя и Кити так деликатны, что почти незаметно; но это не может продолжаться. Пойдут у них дети, им нельзя будет помогать; они и теперь стеснены. Что ж, папа, который себе почти ничего не оставил, будет помогать? Так что и вывести-то детей я не могу сама, а разве с помощью других, с унижением. Ну, да если предположим самое счастливое: дети не будут больше умирать, и я кое-как воспитаю их. В самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот все, чего я могу желать. Из-за всего этого сколько мучений, трудов... Загублена вся жизнь!» Ей опять вспомнилось то, что сказала молодайка, и опять ей гадко было вспомнить про это; но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды.

— Что, далеко ли, Михайла? — спросила Дарья Александровна у конторщика, чтобы развлечься от пугавших ее мыслей.

— От этой деревни, сказывают, семь верст.

Коляска по улице деревни съезжала на мостик. По мосту, звонко и весело переговариваясь, шла толпа веселых баб со свитыми свяслами за плечами. Бабы приостановились на мосту, любопытно оглядывая коляску. Все обращенные к ней лица показались Дарье Александровне

«Все живут, все наслаждаются жизнью, —продолжала думать Дарья Александровна, миновав баб, выехав в гору и опять на рыси приятно покачиваясь на мягких рессорах старой коляски, — а я, как из тюрьмы, выпущенная из î,inpa, убивающего меня заботами, только теперь опомнилась на мгновение. Все живут: и эти бабы, и сестра Натали, и Варенька, и Анна, к которой я еду, только не я. А они нападают на Анну. За что? Что же, разве я лучше? У меня по крайней мере есть муж, которого я люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не любила своего? В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. Очень может быть, что и я бы сделала тоже. И я до сих пор не знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я не увая^аю его. Он мне нужен, — думала она про мужа, — и я его терплю. Разве это лучше? Я тогда еще могла нравиться, у меня оставалась моя красота», — продолжала думать Дарья Александровна, и ей хотелось посмотреться в зеркало. У ней было дорожное зеркальце в мешочке, и ей хотелось достать его; но, посмотрев на спины кучера и покачивавшегося конторщика, она почувствовала, что ей будет совестно, если кто-нибудь из них оглянется, и не стала доставать зеркала. Но и не глядясь в зеркало, она думала, что и теперь еще не поздно, и она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго Туровцына, который вместе с ней ухаживал за ее детьми во время скарлатины и был влюблен в нее. И еще был один совсем молодой человек, который, как ей шутя сказал муж, находил, что она красивее всех сестер. И самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александровне. «Анна прекрасно поступила, и у>к я никак не стану упрекать ее. Она счастлива, делает счастье человека и не забита, как я, а верно, так же, как всегда, свежа, умна, открыта ко всему»,— думала Дарья Александровна, и плутовская довольная улыбка морщила ее губы, в особенности потому, что, думая о романе Анны, параллельно с ним Дарья Александровна воображала себе свой почти такой же роман с воображаемым собирательным мужчиной, который был влюблен в нее. Она, так же как Анна, признавалась во всем мужу. И удивление 187

«Все живут, все наслаждаются жизнью,—продолжала думать Дарья Александровна, миновав баб, выехав в гору и опять на рыси приятно покачиваясь на мягких рессорах старой коляски,— а я, как из тюрьмы, выпущенная из мира, убивающего меня заботами, только теперь опомнилась на мгновение. Все живут: и эти бабы, и сестра Натали, и Варенька, и Анна, к которой я еду, только не я.

А они нападают на Анну. За что? Что же, разве я лучше? У меня по крайней мере есть муж, которого я люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не любила своего? В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. Очень может быть, что и я бы сделала тоже. И я до сих пор не знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я не уважаю его. Он мне нужен,— думала она про мужа,— и я его терплю. Разве это лучше? Я тогда еще могла нравиться, у меня оставалась моя красота», — продолжала думать Дарья Александровна, и ей хотелось посмотреться в зеркало. У ней было дорожное зеркальце в мешочке, и ей хотелось достать его; но, посмотрев на спины кучера и покачивавшегося конторщика, она почувствовала, что ей будет совестно, если кто-нибудь из них оглянется, и не стала доставать зеркала.

Но и не глядясь в зеркало, она думала, что и теперь еще не поздно, и она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго Туровцына, который вместе с ней ухаживал за ее детьми во время скарлатины и был влюблен в нее. И еще был один совсем молодой человек, который, как ей шутя сказал муж, находил, что она красивее всех сестер. И самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александровне. «Анна прекрасно поступила, и уж я никак не стану упрекать ее. Она счастлива, делает счастье человека и не забита, как я, а верно, так же, как всегда, свежа, умна, открыта ко всему»,— думала Дарья Александровна, и плутовская довольная улыбка морщила ее губы, в особенности потому, что, думая о романе Анны, параллельно с ним Дарья Александровна воображала себе свой почти такой же роман с воображаемым собиратель-

и замешательство Степана Аркадьича при этом известии заставляло ее улыбаться. В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги, ведшему в Воздвиженское. XVII Кучер остановил четверню и оглянулся направо, на ржаное поле, на котором у телеги сидели мужики. Конторщик хотел было соскочить, но потом раздумал и повелительно крикнул на мужика, маня его к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились; слепни облепили сердито отбивавшихся от них потных лошадей. Металлический, доносившийся от телеги звон отбоя по косе затих. Один из мужиков поднялся и пошел к коляске. — Ишь рассохся! — сердито крикнул конторщик на медленно ступавшего по колчам ненаезженной сухой дороги босыми ногами мужика. — Иди, что ль! Курчавый старик, повязанный по волосам лычком, с темною от пота горбатою спиной, ускорив шаг, подошел к коляске и взялся загорелою рукой за крыло коляски. — Воздвиженское, на барский двор? к графу? — повторил он. — Вот только изволок выедешь. Налево поверток. Прямо по пришiтекту, так и воткнешься. Да вам кого? самого? — А что, дома они, голубчик? — неопределенно сказала Дарья Александровна, не зная, даже у мужика как спросить про Анну. — Должно, дома, — сказал мужик, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный след ступни с пятью пальцами. — Должно, дома, — повторил он, видимо я^елая разговориться. — Вчера гости еще приехали. Гостей — страсть... Чего ты? — Он обернулся к кричавшему ему что-то от телеги парню.— И то! Даве тут проехали все верхами жнею смотреть. Теперь, должно, дома. А вы чьи будете?.. — Мы дальние,— сказал кучер, взлезая на козлы, — Так недалече? — Говорю, тут и есть. Как выедешь... — говорил он, перебирая рукой по крылу коляски. Молодой, здоровый, коренастый парень подошел тон^е. — Что, работы нет ли насчет уборки? — спросил он. 188

и замешательство Степана Аркадьича при этом известии заставляло ее улыбаться.

В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги, ведшему в Воздвиженское.

XVII

Кучер остановил четверню и оглянулся направо, на ржаное поле, на котором у телеги сидели мужики. Конторщик хотел было соскочить, но потом раздумал и повелительно крикнул на мужика, маня его к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились; слепни облепили сердито отбивавшихся от них потных лошадей. Металлический, доносившийся от телеги звон отбоя по косе затих. Один из мужиков поднялся и пошел к коляске.

— Ишь рассохся! — сердито крикнул конторщик на медленно ступавшего по колчам ненаезженной сухой дороги босыми ногами мужика.— Иди, что ль!

Курчавый старик, повязанный по волосам лычком, с темною от пота горбатою спиной, ускорив шаг, подошел к коляске и взялся загорелою рукой за крыло коляски.

— Воздвиженское, на барский двор? к графу? — повторил он.— Вот только изволок выедешь. Налево поверток. Прямо по пришпекту, так и воткнешься. Да вам кого? самого?

— А что, дома они, голубчик? — неопределенно сказала Дарья Александровна, не зная, даже у мужика как спросить про Анну.

— Должно, дома, — сказал мужик, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный след ступни с пятью пальцами.— Должно, дома,— повторил он, видимо желая разговориться.— Вчера гости еще приехали. Гостей — страсть... Чего ты? — Он обернулся к кричавшему ему что-то от телеги парню.— И то! Даве тут проехали все верхами жнею смотреть. Теперь, должно, дома. А вы чьи будете?..

— Мы дальние,— сказал кучер, взлезая на козлы.— Так недалече?

— Говорю, тут и есть. Как выедешь...— говорил он, перебирая рукой по крылу коляски.

— Не знаю, голубчик. — Как, значит, возьмешь влево, так ты и упрешься,— говорил мужик, видимо неохотно отпуская проезжающих п желая поговорить. Кучер тронул, но только что они заворотили, как мужик закричал: — Стой! Эй, милой! Постой! — кричали два голоса. Кучер остановился. — Сами едут! Вон они! — прокричал мужик. — Вишь, заваливают! — проговорил он, указывая на четверых верховых и двух в шарабане, ехавших по дороге. Это были Вронский с жокеем, Весловский и Анна верхами и княжна Варвара с Свияжским в шарабане. Они ездили кататься и смотреть действие вновь привезенных жатвенных машин. Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впереди ехала Анна рядом с Весловским. Анна ехала спокойным шагом на невысоком плотном английском кобѳ со стриженою гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли. В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом. С представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи Александровны соединялось представление молодого легкого кокетства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны; но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховою ездой. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней. Рядом с Анной на серой разгоряченной кавалерийской лошади, вытягивая толстые ноги вперед pi, очевидно, любуясь собой, ехал Васенька Весловский в шотландском колпачке с развевающимися лентами, и Дарья Александровна не могла удержать веселую улыбку, узнав его. Сзади их ехал Вронский. Под ним была кровная темно-гнедая лошадь, очевидно разгорячившаяся на галопе. Он, сдерживая ее, работал поводом. За ним ехал маленький человек в жокейском костюме. Свияжский с княжной в новеньком шарабане на крупном вороном рысаке догоняли верховых. Лицо Анны в ту минуту, как она в маленькой, прижавшейся в углу старой коляски фигуре узнала Долли, 189

— Не знаю, голубчик.

— Как, значит, возьмешь влево, так ты и упрешься,— говорил мужик, видимо неохотно отпуская проезжающих и желая поговорить.

Кучер тронул, но только что они заворотили, как мужик закричал:

— Стой! Эй, милой! Постой! — кричали два голоса.

Кучер остановился.

— Сами едут! Вон они! — прокричал мужик.— Вишь, заваливают! — проговорил он, указывая на четверых верховых и двух в шарабане, ехавших по дороге.

Это были Вронский с жокеем, Весловский и Анна верхами и княжна Варвара с Свияжским в шарабане. Они ездили кататься и смотреть действие вновь привезенных жатвенных машин.

Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впереди ехала Анна рядом с Весловским. Анна ехала спокойным шагом на невысоком плотном английском кобе со стриженою гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли.

В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом. С представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи Александровны соединялось представление молодого легкого кокетства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны; но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховою ездой. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней.

Рядом с Анной на серой разгоряченной кавалерийской лошади, вытягивая толстые ноги вперед и, очевидно, любуясь собой, ехал Васенька Весловский в шотландском колпачке с развевающимися лентами, и Дарья Александровна не могла удержать веселую улыбку, узнав его. Сзади их ехал Вронский. Под ним была кровная темно-гнедая лошадь, очевидно разгорячившаяся на галопе. Он, сдерживая ее, работал поводом.

За ним ехал маленький человек в жокейском костюме. Свияжский с княжной в новеньком шарабане на крупном вороном рысаке догоняли верховых.

вдруг просияло радостною улыбкой. Она вскрикнула, дрогнула на седле и тронула лошадь галопом. Подъехав к коляске, она без помош;и соскочила и, поддерживая амазонку, подбея^ала навстречу Долли. — Я так и думала и не смела думать. Вот радость! Ты не можешь представить себе мою радость! — говорила она, то прижимаясь лицом к Долли и целуя ее, то отстраняясь и с улыбкой оглядывая ее. — Вот радость, Алексей! — сказала она, оглянувшись на Вронского, сошедшего с лошади п подходившего к ним. Вронский, сняв серую высокую шляпу, подошел к Долли. — Вы не поверите, как мы рады вашему приезду, — сказал он, придавая особенное значение произносимым словам и улыбкой открывая свои крепкие белые зубы. Васенька Весловский, не слезая с лошади, снял свою тапочку и, приветствуя гостью, радостно замахал ей лентами над головой. — Это княжна Варвара, — отвечала Анна на вопросительный взгляд Долли, когда подъехал шарабан. — А! — сказала Дарья Александровна, и лицо ее невольно выразило неудовольствие. Княжна Варвара была тетка ее мужа, и она давно знала ее и не уважала. Она знала, что княжна Варвара всю жизнь свою провела приживалкой у богатых родственников; но то, что она жила теперь у Вронского, у чужого ей человека, оскорбило ее за родню мужа. Анна заметила выражение лица Долли и смутилась, покраснела, выпустила из рук амазонку и спотыкнулась на нее. Дарья Александровна подошла к остановившемуся шарабану и холодно поздоровалась с княжной Варварой. Свияжский был тоже знакомый. Он спросил, как пояшвает его чудак-приятель с молодою женой, и, осмотрев беглым взглядом непаристых лошадей и с заплатанными крыльями коляску, предложил дамам ехать в шарабане. — А я поеду в этом вегикуле, — сказал он. — Лошадь смирная, и княжна отлично правит. — Нет, оставайтесь как вы были, — сказала подошедшая Анна, — а мы поедем в коляске, — и, взяв под руку Долли, увела ее. У Дарьи Александровны разбегались глаза на этот элегантный, невиданный ею экипая^, па этих прекрасных

вдруг просияло радостною улыбкой. Она вскрикнула, дрогнула на седле и тронула лошадь галопом. Подъехав к коляске, она без помощи соскочила и, поддерживая амазонку, подбежала навстречу Долли.

— Я так и думала и не смела думать. Вот радость! Ты не можешь представить себе мою радость! — говорила она, то прижимаясь лицом к Долли и целуя ее, то отстраняясь и с улыбкой оглядывая ее.

— Вот радость, Алексей! — сказала она, оглянувшись на Вронского, сошедшего с лошади и подходившего к ним.

Вронский, сняв серую высокую шляпу, подошел к Долли.

— Вы не поверите, как мы рады вашему приезду,— сказал он, придавая особенное значение произносимым словам и улыбкой открывая свои крепкие белые зубы.

Васенька Весловский, не слезая с лошади, снял свою шапочку и, приветствуя гостью, радостно замахал ей лентами над головой.

— Это княжна Варвара,— отвечала Анна на вопросительный взгляд Долли, когда подъехал шарабан.

— А! — сказала Дарья Александровна, и лицо ее невольно выразило неудовольствие.

Княжна Варвара была тетка ее мужа, и она давно знала ее и не уважала. Она знала, что княжна Варвара всю жизнь свою провела приживалкой у богатых родственников; но то, что она жила теперь у Вронского, у чужого ей человека, оскорбило ее за родню мужа. Анна заметила выражение лица Долли и смутилась, покраснела, выпустила из рук амазонку и спотыкнулась на нее.

Дарья Александровна подошла к остановившемуся шарабану и холодно поздоровалась с княжной Варварой. Свияжский был тоже знакомый. Он спросил, как поживает его чудак-приятель с молодою женой, и, осмотрев беглым взглядом непаристых лошадей и с заплатанными крыльями коляску, предложил дамам ехать в шарабане.

— А я поеду в этом вегикуле, — сказал он. — Лошадь смирная, и княжна отлично правит.

— Нет, оставайтесь как вы были,— сказала подошедшая Анна,— а мы поедем в коляске,— и, взяв под руку Долли, увела ее.

У Дарьи Александровны разбегались глаза на этот

лошадей, па эти элегантные блестящие лица, окружавшие ее. Но более всего ее поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне. Другая женщина, менее внимательная, не знавшая Анны прежде и в особенности не думавшая тех мыслей, которые думала Дарья Александровна дорогой, II не заметила бы ничего особенного в Анне. Но теперь Долли была поражена тою временною красотой, которая только в минуты любви бывает на женщинах и которую она застала теперь на лице Анны. Все в ее лице: определенность ямочек щек и подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица, блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, даже манера, с которою она сердито^ласково ответила Весловскому, спрашивавшему у нее позволения сесть на ее коба, чтобы выучить его галопу с правой ноги, — все было особенно привлекательно, и, казалось, она сама знала это и радовалась этому. Когда обе женщины сели в коляску, на обеих вдруг нашло смущение. Анна смутилась от того внимательно-вопросительного взгляда, которым смотрела на нее Долли; Долли — оттого, что после слов Свияжского о вегикуле ей невольно стало совестно за грязную старую коляску, в которую села с нею Анна. Кучер Филипп и конторщик испытывали то же чувство. Конторщик, чтобы скрыть свое смущение, суетился, подсаживая дам, но Филиппкучер сделался мрачен и вперед готовился не подчиниться этому внешнему превосходству. Он иронрічески улыбнулся, поглядев на вороного рысака и уже решив в своем уме, что этот вороной в шарабане хорош только на проминаж и не пройдет сорока верст в жару в одну упряжку. Мужики все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели па встречу гостьи, делая свои замечания. — Тоже рады, давно не видались, — сказал курчавый старик, повязанный лычком. — Вот, дядя Герасим, вороного жеребца бы снопы возить, живо бы! — Глянь-ка. Энта в портках женщина? — сказал один из них, указывая на садившегося на дамское седло Васеньку Весловского. — Не, мужик. Вишь, как сигнул ловко! — Что, ребята, спать, видно, не будем? — Какой сон пынче! — сказал старик, искосись поглядев на солнце. — Полдни, смотри, прошли! Берн крюки, заходи! 191

лошадей, на эти элегантные блестящие лица, окружавшие ее. Но более всего ее поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне. Другая женщина, менее внимательная, не знавшая Анны прежде и в особенности не думавшая тех мыслей, которые думала Дарья Александровна дорогой, и не заметила бы ничего особенного в Анне. Но теперь Долли была поражена тою временною красотой, которая только в минуты любви бывает на женщинах и которую она застала теперь на лице Анны. Все в ее лице: определенность ямочек щек и подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица, блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, даже манера, с которою она сердито-ласково ответила Весловскому, спрашивавшему у нее позволения сесть на ее коба, чтобы выучить его галопу с правой ноги, — все было особенно привлекательно, и, казалось, она сама знала это и радовалась этому.

Когда обе женщины сели в коляску, на обеих вдруг нашло смущение. Анна смутилась от того внимательно-вопросительного взгляда, которым смотрела на нее Долли; Долли — оттого, что после слов Свияжского о вегикуле ей невольно стало совестно за грязную старую коляску, в которую села с нею Анна. Кучер Филипп и конторщик испытывали то же чувство. Конторщик, чтобы скрыть свое смущение, суетился, подсаживая дам, но Филипп-кучер сделался мрачен и вперед готовился не подчиниться этому внешнему превосходству. Он иронически улыбнулся, поглядев на вороного рысака и уже решив в своем уме, что этот вороной в шарабане хорош только *на проминаж* и не пройдет сорока верст в жару в одну упряжку.

Мужики все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели на встречу гостьи, делая свои замечания.

— Тоже рады, давно не видались,— сказал курчавый старик, повязанный лычком.

— Вот, дядя Герасим, вороного жеребца бы снопы возить, живо бы!

— Глянь-ка. Энта в портках женщина? — сказал один из них, указывая на садившегося на дамское седло Васеньку Весловского.

— Не, мужик. Вишь, как сигнул ловко!

— Что, ребята, спать, видно, не будем?

— Какой сон нынче! — сказал старик, искосясь по-

XVIII Анна смотрела на худое, измученное, с засыпавшеюся в морш,инки пылью лицо Долли и хотела сказать то, что она думала, — именно, что Долли похудела; но вспомнив, что она сама похорошела и что взгляд Долли сказал ей это, она вздохнула и заговорила о себе. — Ты смотришь на меня, — сказала она,— и думаешь, могу ли я быть счастлива в моем положении? Ну, и что ж! Стыдно признаться; но я... я непростительно счастлива. Со мной случилось что-то волшебное, как сон, когда сделается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет. Я проснулась. Я пережила мучительное, страшное и теперь уже давно, особенно с тех пор, как мы здесь, так счастлива!.. — сказала она, с робкою улыбкой вопроса глядя на Долли. — Как я рада! — улыбаясь, сказала Долли, невольно холоднее, чем она хотела. — Я очень рада за тебя. Отчего ты не писала мне? — Отчего?.. Оттого, что я не смела... ты забываешь мое положение... — Мне? Не смела? Если бы ты знала, как я... Я считаю... Дарья Александровна хотела сказать свои мысли нынешнего утра, но почему-то ей теперь это показалось не у места. — Впрочем, об этом после. Это что же эти все строения? — спросила она, желая переменить разговор и указывая на красные и зеленые крыши, видневшиеся из-за зелени живых изгородей акации и сирени. — Точно городок. Но Анна не отвечала ей. — Нет, нет! Что же ты считаешь о моем положении, что ты думаешь, что? — спросила она. — Я полагаю... — начала было Дарья Александровна, но в это время Васенька Весловский, наладив коба на галоп с правой ноги, грузно шлепаясь в своей коротенькой жакетке о замшу дамского седла, прогалопировал мимо них. — Идет, Анна Аркадьевна! — прокричал он. Анна даже и не взглянула на него; но опять Дарье Александровне показалось, что в коляске неудобно начинать этот длинный разговор, и потому она сократила свою мысль. 192

XVIII

Анна смотрела на худое, измученное, с засыпавшеюся в морщинки пылью лицо Долли и хотела сказать то, что она думала,— именно, что Долли похудела; но вспомнив, что она сама похорошела и что взгляд Долли сказал ей это, она вздохнула и заговорила о себе.

— Ты смотришь на меня,— сказала она,— и думаешь, могу ли я быть счастлива в моем положении? Ну, и что ж! Стыдно признаться; но я... я непростительно счастлива. Со мной случилось что-то волшебное, как сон, когда сделается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет. Я проснулась. Я пережила мучительное, страшное и теперь уже давно, особенно с тех пор, как мы здесь, так счастлива!.. — сказала она, с робкою улыбкой вопроса глядя на Долли.

— Как я рада! — улыбаясь, сказала Долли, невольно холоднее, чем она хотела.— Я очень рада за тебя. Отчего ты не писала мне?

— Отчего?.. Оттого, что я не смела... ты забываешь мое положение...

— Мне? Не смела? Если бы ты знала, как я... Я считаю...

Дарья Александровна хотела сказать свои мысли нынешнего утра, но почему-то ей теперь это показалось не у места.

— Впрочем, об этом после. Это что же эти все строения? — спросила она, желая переменить разговор и указывая на красные и зеленые крыши, видневшиеся из-за зелени живых изгородей акации и сирени. — Точно городок.

Но Анна не отвечала ей.

— Нет, нет! Что же ты считаешь о моем положении, что ты думаешь, что? — спросила она.

— Я полагаю...— начала было Дарья Александровна, но в это время Васенька Весловский, наладив коба на галоп с правой ноги, грузно шлепаясь в своей коротенькой жакетке о замшу дамского седла, прогалопировал мимо них.

— Идет, Анна Аркадьевна! — прокричал он.

Анна даже и не взглянула на него; но опять Дарье Александровне показалось, что в коляске неудобно начи-

— я ничего не считаю, — сказала она, — а всегда любила тебя, а если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтоб он был. Анна, отведя глаза от лица друга и согцурившись (это была новая привычка, которой не знала за ней Долли), задумалась, желая вполне понять значение этих слов. И, очевидно, поняв их так, как хотела, она взглянула на Долли. — Если у тебя есть грехи, — сказала опа, — они все простились бы тебе за твой приезд и эти слова. И Долли видела, что слезы выступили ей на глаза. Она молча пожала руку Анны. — Так что ж эти строения? Как их много! — после минуты молчания повторила она свой вопрос. — Это дома служащих, завод, конюшни, — отвечала Анна. — А это парк начинается. Все это было запущено, но Алексей все возобновил. Он очень любит это именье, и, чего я никак не ожидала, он страстно увлекся хозяйством. Впрочем, это такая богатая натура! За что ни возьмется, он все делает отлично. Он не только не скучает, но он со страстью занимается. Он — каким я его знаю,— он сделался расчетливый, прекрасный хозяин, он даже скуп в хозяйстве. Но только в хозяйстве. Там, где дело идет о десятках тысяч, он не считает, — говорила она с тою радостно-хитрою улыбкой, с которою часто говорят женщины о тайных, ими одними открытых свойствах любимого человека. — Вот видишь это большое строение? Это новая больница. Я думаю, что это будет стоить больше ста тысяч. Это его dada ^ теперь. И знаешь, отчего это взялось? Мужики у него просили уступить им дешевле луга, кажется, и он отказал, и я упрекнула его в скупости. Разумеется, не от этого, но все вместе, — он начал эту больницу, чтобы показать, понимаешь, как он не скуп. Если хочешь, c’est une petitesse; ^ но я еще больше его люблю за это. А вот сейчас ты увидишь дом. Это еще дедовский дом, и он ничего не изменен снаружи. — Как хорош! — сказала Долли, с невольным удивлением глядя на прекрасный с колоннами дом, выступающий из разноцветной зелени старых деревьев сада. — Не правда ли, хорош? И из дома, сверху, вид удивительный. ^ конек (Франц.), ® это мелочь (фрапц.). 7 Л. Н. Толстой, т. 9 193

— Я ничего не считаю, — сказала она, — а всегда любила тебя, а если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтоб он был.

Анна, отведя глаза от лица друга и сощурившись (это была новая привычка, которой не знала за ней Долли), задумалась, желая вполне понять значение этих слов. И, очевидно, поняв их так, как хотела, она взглянула на Долли.

— Если у тебя есть грехи, — сказала она, — они все простились бы тебе за твой приезд и эти слова.

И Долли видела, что слезы выступили ей на глаза. Она молча пожала руку Анны.

— Так что ж эти строения? Как их много! — после минуты молчания повторила она свой вопрос.

— Это дома служащих, завод, конюшни,— отвечала Анна.— А это парк начинается. Все это было запущено, но Алексей все возобновил. Он очень любит это именье, и, чего я никак не ожидала, он страстно увлекся хозяйством. Впрочем, это такая богатая натура! За что ни возьмется, он все делает отлично. Он не только не скучает, но он со страстью занимается. Он — каким я его знаю,— он сделался расчетливый, прекрасный хозяин, он даже скуп в хозяйстве. Но только в хозяйстве. Там, где дело идет о десятках тысяч, он не считает,— говорила она с тою радостно-хитрою улыбкой, с которою часто говорят женщины о тайных, ими одними открытых свойствах любимого человека. — Вот видишь это большое строение? Это новая больница. Я думаю, что это будет стоить больше ста тысяч. Это его *dada* [1] теперь. И знаешь, отчего это взялось? Мужики у него просили уступить им дешевле луга, кажется, и он отказал, и я упрекнула его в скупости. Разумеется, не от этого, но все вместе, — он начал эту больницу, чтобы показать, понимаешь, как он не скуп. Если хочешь, c'est une petitesse; [2] но я еще больше его люблю за это. А вот сейчас ты увидишь дом. Это еще дедовский дом, и он ничего не изменен снаружи.

— Как хорош! — сказала Долли, с невольным удивлением глядя на прекрасный с колоннами дом, выступающий из разноцветной зелени старых деревьев сада.

— Не правда ли, хорош? И из дома, сверху, вид удивительный.

Они въехали в усыпанный щебнем и убранный цветником двор, на котором два работника обкладывали взрыхленную цветочную клумбу необделанными ноздреватыми камнями, и остановились в крытом подъезде. — А, они уже приехали! — сказала Анна, глядя на верховых лошадей, которых только что отводили от крыльца.— Не правда ли, хороша эта лошадь? Это коб. Моя любимая. Подведи ее сюда, и дайте сахару. Граф где? — спросила она у выскочивших двух парадных лакеев. — А, вот и он! — сказала она, увидев выходившего навстречу Вронского с Весловским. — Где вы поместите княгиню? — сказал Вронский пофранцузски, обращаясь к Анне, и, не дождавшись ответа, еще раз поздоровался с Дарьей Александровной и теперь поцеловал ее руку. — Я думаю, в большой балконной? — О нет, это далеко! Лучше в угловой, мы больше будем видеться. Ну, пойдем, — сказала Анна, дававшая вынесенный ей лакеем сахар любимой лошади. — Et vous oubliez votre devoir', — сказала она вышедшему тоже на крыльцо Весловскому. — Pardon, j'en ai tout plein les poches — улыбаясь, отвечал он, опуская пальцы в жилетный карман. — Mais vous venez trop tard \ — сказала она, обтирая платком руку, которую ей намочила лошадь, бравшая сахар. Анна обратилась к Долли: — Ты надолго ли? На один день? Это невозможно! — Я так обещала, и дети...— сказала Долли, чувствуя себя смущенною и оттого, что ей надо было взять мешочек из коляски, и оттого, что она знала, что лицо ее должно быть очень запылено. — Нет, Долли, душенька... Ну, увидим. Пойдем, пойдем! — И Анна повела Долли в ее комнату. Комната эта была не та парадная, которую предлагал Вронский, а такая, за которую Анна сказала, что Долли извинит ее. И эта комната, за которую надо было извинять, была преисполнена роскоши, в какой никогда не жила Долли и которая напомнила ей лучшие гостиницы за границей. — Ну, душенька, как я счастлива! — на минутку присев в своей амазонке подле Долли, сказала Анна.— Рас^ Вы забываете вашу обязанность (франц.). ^ Простите, у меня его полные карманы (франц.)* ® Но вы являетесь слишком поздно (франц.). 1С4

Они въехали в усыпанный щебнем и убранный цветником двор, на котором два работника обкладывали взрыхленную цветочную клумбу необделанными ноздреватыми камнями, и остановились в крытом подъезде.

— А, они уже приехали! — сказала Анна, глядя на верховых лошадей, которых только что отводили от крыльца.— Не правда ли, хороша эта лошадь? Это коб. Моя любимая. Подведи ее сюда, и дайте сахару. Граф где? — спросила она у выскочивших двух парадных лакеев.— А, вот и он! — сказала она, увидев выходившего навстречу Вронского с Весловским.

— Где вы поместите княгиню? — сказал Вронский по-французски, обращаясь к Анне, и, не дождавшись ответа, еще раз поздоровался с Дарьей Александровной и теперь поцеловал ее руку.— Я думаю, в большой балконной?

— О нет, это далеко! Лучше в угловой, мы больше будем видеться. Ну, пойдем,— сказала Анна, дававшая вынесенный ей лакеем сахар любимой лошади.

— Et vous oubliez votre devoir [1], — сказала она вышедшему тоже на крыльцо Весловскому.

— Pardon, j'en ai tout plein les poches [2], — улыбаясь, отвечал он, опуская пальцы в жилетный карман.

— Mais vous venez trop tard [3],— сказала она, обтирая платком руку, которую ей намочила лошадь, бравшая сахар. Анна обратилась к Долли: — Ты надолго ли? На один день? Это невозможно!

— Я так обещала, и дети...— сказала Долли, чувствуя себя смущенною и оттого, что ей надо было взять мешочек из коляски, и оттого, что она знала, что лицо ее должно быть очень запылено.

— Нет, Долли, душенька... Ну, увидим. Пойдем, пойдем! — И Анна повела Долли в ее комнату.

Комната эта была не та парадная, которую предлагал Вронский, а такая, за которую Анна сказала, что Долли извинит ее. И эта комната, за которую надо было извинять, была преисполнена роскоши, в какой никогда не жила Долли и которая напомнила ей лучшие гостиницы за границей.

— Ну, душенька, как я счастлива! — на минутку присев в своей амазонке подле Долли, сказала Анна.— Рас-

---

[1] Вы забываете вашу обязанность *(франц.)*.

скажи же мне про своих. Стиву я видела мельком. Но он и не мол^ет рассказать про детей. Что моя любимица Таня? Большая девочка, я думаю? — Да, очень большая,— коротко отвечала Дарья Александровна, сама удивляясь, что она так холодно отвечает о своих детях. — Мы прекрасно живем у Левиных,— прибавила она. — Вот если бы я знала, — сказала Анна, — что ты меня не презираешь... Вы бы все приехали к нам. Ведь Стива старый и большой друг с Алексеем, — прибавила она и вдруг покраснела. — Да, но мы так хорошо... — смутясь, отвечала Долли. — Да впрочем, это я от радости говорю глупости. Одно, душенька, как я тебе рада! — сказала Анна, опять целуя ее. — Ты мне еш;е не сказала, как и что ты думаешь обо мне, а я все хочу знать. Но я рада, что ты меня увидишь, какая я есть. Мне, главное, не хотелось бы, чтобы думали, что я что-нибудь хочу доказать. Я ничего не хочу доказывать, я просто хочу жить; никому не делать зла, кроме себя. Это я имею право, не правда ли? Впрочем, это длинный разговор, и мы еш;е обо всем хорошо переговорим. Теперь пойду одеваться, а тебе пришлю девушку. XIX Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом хозяйки осмотрела свою комнату. Все, что она видела, подъезжая к дому и проходя через него, и теперь в своей комнате, все производило в ней впечатление изобилия и щегольства и той новой европейской роскоши, про которые она читала только в английских романах, но никогда не видала еще в России и в деревне. Все было ново, начиная от французских новых обой до ковра, которым была обтянута вся комната. Постель была пружинная с матрасиком и с особенным изголовьем и канаусовыми наволочками на маленьких подушках. Мраморный умывальник, туалет, кушетка, столы, бронзовые часы на камине, гардины и портьеры — все это было дорогое и новое. Пришедшая предложить свои услуги франтиха-горничная, в прическе и платье моднее, чем у Долли, была такая же новая и дорогая, как и вся комната. Дарье Александровне были приятны ее учтивость, опрятность 7* 195

скажи же мне про своих. Стиву я видела мельком. Но он и не может рассказать про детей. Что моя любимица Таня? Большая девочка, я думаю?

— Да, очень большая,— коротко отвечала Дарья Александровна, сама удивляясь, что она так холодно отвечает о своих детях.— Мы прекрасно живем у Левиных,— прибавила она.

— Вот если бы я знала, — сказала Анна, — что ты меня не презираешь... Вы бы все приехали к нам. Ведь Стива старый и большой друг с Алексеем, — прибавила она и вдруг покраснела.

— Да, но мы так хорошо...— смутясь, отвечала Долли.

— Да впрочем, это я от радости говорю глупости. Одно, душенька, как я тебе рада! — сказала Анна, опять целуя ее.— Ты мне еще не сказала, как и что ты думаешь обо мне, а я все хочу знать. Но я рада, что ты меня увидишь, какая я есть. Мне, главное, не хотелось бы, чтобы думали, что я что-нибудь хочу доказать. Я ничего не хочу доказывать, я просто хочу жить; никому не делать зла, кроме себя. Это я имею право, не правда ли? Впрочем, это длинный разговор, и мы еще обо всем хорошо переговорим. Теперь пойду одеваться, а тебе пришлю девушку.

XIX

Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом хозяйки осмотрела свою комнату. Все, что она видела, подъезжая к дому и проходя через него, и теперь в своей комнате, все производило в ней впечатление изобилия и щегольства и той новой европейской роскоши, про которые она читала только в английских романах, но никогда не видала еще в России и в деревне. Все было ново, начиная от французских новых обой до ковра, которым была обтянута вся комната. Постель была пружинная с матрасиком и с особенным изголовьем и канаусовыми наволочками на маленьких подушках. Мраморный умывальник, туалет, кушетка, столы, бронзовые часы на камине, гардины и портьеры — все это было дорогое и новое.

Пришедшая предложить свои услуги франтиха-горничная, в прическе и платье моднее, чем у Долли, была

и услужливость, но было неловко с пей; было совестно пред ней за свою, как на беду, по ошибке уложенную ей заплатанную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и заштопанные места, которыми она так гордилась дома. Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре аршина нансуку по шестьдесят пять копеек, что составляло больше пятнадцати рублей, кроме отделки и работы, и эти пятнадцать рублей были выгаданы. Но пред горничной было не то что стыдно, а неловко. Дарья Александровна почувствовала большое облегчение, когда в комнату вошла давнишняя ее знакомая, Аннушка. Франтиха-горничная требовалась к барыне, и Аннушка осталась с Дарьей Александровной. Аннушка была, очевидно, очень рада приезду барыни и без умолку разговаривала. Долли заметила, что ей хотелось высказать свое мнение насчет положения барыни, в особенности насчет любви и преданности графа к Анне Аркадьевне, но Долли старательно останавливала ее, как только та начинала говорить об этом. — Я с Анной Аркадьевной выросла, они мне дороже всего. Что ж, не нам судить. А уя^ так, калюется, любить... — Так, пожалуйста, отдай вымыть, если можно, — перебивала ее Дарья Александровна. — Слушаю-с. У нас на постирушечки две женш,ины приставлены особо, а белье все машиной. Граф сами до всего доходят. Уж какой муж... Долли была рада, когда Анна вошла к ней и своим приходом прекратила болтовню Аннушки. Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота. — Старая знакомая, — сказала Анна на Аннушку. Анна теперь уже не смуіцалась. Она была совершенно свободна Рі спокойна. Долли видела, что она теперь вполне уже оправилась от того впечатления, которое произвел на нее приезд, и взяла на себя тот поверхностный, равнодушный тон, при котором как будто дверь в тот отдел, где находились ее чувства и задушевные мысли, была заперта. — Пу, а что твоя девочка, Анна? — спросила Долли. — Ани? (Так звала она дочь свою Анну.) Здорова. Очень поправилась. Ты хочешь видеть ее? Пойдем, я тебе 19(3

и услужливость, но было неловко с ней; было совестно пред ней за свою, как на беду, по ошибке уложенную ей заплатанную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и заштопанные места, которыми она так гордилась дома. Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре аршина нансуку по шестьдесят пять копеек, что составляло больше пятнадцати рублей, кроме отделки и работы, и эти пятнадцать рублей были выгаданы. Но пред горничной было не то что стыдно, а неловко.

Дарья Александровна почувствовала большое облегчение, когда в комнату вошла давнишняя ее знакомая, Аннушка. Франтиха-горничная требовалась к барыне, и Аннушка осталась с Дарьей Александровной.

Аннушка была, очевидно, очень рада приезду барыни и без умолку разговаривала. Долли заметила, что ей хотелось высказать свое мнение насчет положения барыни, в особенности насчет любви и преданности графа к Анне Аркадьевне, но Долли старательно останавливала ее, как только та начинала говорить об этом.

— Я с Анной Аркадьевной выросла, они мне дороже всего. Что ж, не нам судить. А уж так, кажется, любить...

— Так, пожалуйста, отдай вымыть, если можно,— перебивала ее Дарья Александровна.

— Слушаю-с. У нас на постирушечки две женщины приставлены особо, а белье все машиной. Граф сами до всего доходят. Уж какой муж...

Долли была рада, когда Анна вошла к ней и своим приходом прекратила болтовню Аннушки.

Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота.

— Старая знакомая,— сказала Анна на Аннушку.

Анна теперь уже не смущалась. Она была совершенно свободна и спокойна. Долли видела, что она теперь вполне уже оправилась от того впечатления, которое произвел на нее приезд, и взяла на себя тот поверхностный, равнодушный тон, при котором как будто дверь в тот отдел, где находились ее чувства и задушевные мысли, была заперта.

— Ну, а что твоя девочка, Анна? — спросила Долли.

— Ани? (Так звала она дочь свою Анну.) Здорова.

покажу ее. Ужасно много было хлопот, ^ начала она рас-» сказывать, — с нянями. У нас итальянка была кормилицей. Хорошая, но так глупа! Мы ее хотели отправить, по девочка так привыкла к ней, что все еще держим. — Но как же вы устроились?.. — начала было Долли вопрос о том, какое имя будет носить девочка; но, заметив вдруг нахмурившееся лицо Анны, она переменила смысл вопроса. — Как же вы устроили? отняли ее уже? Но Анна поняла. — Ты не то хотела спросить? Ты хотела спросить про ее имя? Правда? Это мучает Алексея. У ней пет имени. То есть она Каренина,— сказала Анна, сощурив глаза так, что только видны были сошедшиеся ресницы. — Впрочем, — вдруг просветлев лицом, — об этом мы всё переговорим после. Пойдем, я тебе покажу ее. Elle est très gentille К Она ползает уже. В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну, еще больнее поразила ее. Тут были и тележечки, выписанные из Англии, и инструменты для обучения ходить, и нарочно устроенный диван вроде бильярда, для ползания, и качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное и добротное и, очевидно, очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и светлая. Когда они вошли, девочка в одной рубашечке сидела в креслице у стола и обедала бульоном, которым она облила себе всю грудку. Девочку кормила и, очевидно, с ней вместе сама ела девушка русская, прислуживавшая в детской. Ни кормилицы, ни няни не было; они были в соседней комнате, и оттуда слышался пх говор на странном французском языке, на котором они только и могли меящу собой изъясняться. Услыхав голос Анны, нарядная, высокая, с неприятным лицом и нечистым выражением англичанка, поспешлîо потряхивая белокурыми буклями, вошла в дверь и тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чем пе обвиняла ее. На каждое слово Анны англичанка поспешно несколько раз приговаривала: «Yes, my lady» Чернобровая, черноволосая, румяная девочка, с крепеньким, обтянутым куриною кожей, красным тельцем, несмотря на суровое выраящнпе, с которым она носмотре‘ Она очень мила (франц.). ^ Да, сударыня (англ.). 197

покажу ее. Ужасно много было хлопот, — начала она рассказывать,— с нянями. У нас итальянка была кормилицей. Хорошая, но так глупа! Мы ее хотели отправить, но девочка так привыкла к ней, что все еще держим.

— Но как же вы устроились?..— начала было Долли вопрос о том, какое имя будет носить девочка; но, заметив вдруг нахмурившееся лицо Анны, она переменила смысл вопроса.— Как же вы устроили? отняли ее уже?

Но Анна поняла.

— Ты не то хотела спросить? Ты хотела спросить про ее имя? Правда? Это мучает Алексея. У ней нет имени. То есть она Каренина,— сказала Анна, сощурив глаза так, что только видны были сошедшиеся ресницы.— Впрочем,— вдруг просветлев лицом,— об этом мы всё переговорим после. Пойдем, я тебе покажу ее. Elle est très gentille [1]. Она ползает уже.

В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну, еще больнее поразила ее. Тут были и тележечки, выписанные из Англии, и инструменты для обучения ходить, и нарочно устроенный диван вроде бильярда, для ползания, и качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное и добротное и, очевидно, очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и светлая.

Когда они вошли, девочка в одной рубашечке сидела в креслице у стола и обедала бульоном, которым она облила себе всю грудку. Девочку кормила и, очевидно, с ней вместе сама ела девушка русская, прислуживавшая в детской. Ни кормилицы, ни няни не было; они были в соседней комнате, и оттуда слышался их говор на странном французском языке, на котором они только и могли между собой изъясняться.

Услыхав голос Анны, нарядная, высокая, с неприятным лицом и нечистым выражением англичанка, поспешно потряхивая белокурыми буклями, вошла в дверь и тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чем не обвиняла ее. На каждое слово Анны англичанка поспешно несколько раз приговаривала: «Yes, my lady» [2].

Чернобровая, черноволосая, румяная девочка, с крепеньким, обтянутым куриною кожей, красным тельцем, несмотря на суровое выражение, с которым она посмотре-

ла на новое лицо, очень понравилась Дарье Александровне; она даже позавидовала ее здоровому виду. То, как ползала эта девочка, тоже очень понравилось ей. Ни один из ее детей так не ползал. Эта девочка, когда ее посадили на ковер и подоткнули сзади платьице, была удивительно мила. Она, как зверок, оглядываясь на больших своими блестящими черными глазами, очевидно радуясь тому, что ею любуются, улыбаясь и боком держа ноги, энергически упиралась на руки и быстро подтягивала весь задок и опять вперед перехватывала ручонками. Но общий дух детской и в особенности англичанка очень не понравились Дарье Александровне. Только тем, что в такую неправильную семью, как Аннина, не пошла бы хорошая, Дарья Александровна и объяснила себе то, что Анна, с своим знанием людей, могла взять к своей девочке такую несимпатичную, нереспектабельпую англичанку. Кроме того, тотчас же по нескольким словам Дарья Александровна поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе и что посещение матерью было дело необычное. Анна хотела достать девочке ее игрушку и не могла найти ее. Удивительнее же всего было то, что па вопрос о том, сколько у ней зубов, Анна ошиблась и совсем не знала про два последние зуба. — Мне иногда тяжело, что я как лишняя здесь, — сказала Анна, выходя из детской и занося свой шлейф, чтобы миновать стоявшие у двери игрушки. — Не то было с первым. — Я думала, напротив, — робко сказала Дарья Александровна. — О нет! Ведь ты знаешь, я его видела, Сережу,— сказала Анна, сощурившись, точно вглядываясь во что-то далекое. — Впрочем, это мы переговорим после. Ты не поверишь, я как голодный, которому вдруг поставили полный обед, и он не знает, за что взяться. Полный обед — это ты и предстоящие мне разговоры с тобой, которых я ни с кем не могла иметь, и я не знаю, за какой разговор прежде взяться. Mais je ne vous ferai grâce de rien Ч Мне все надо высказать. Да, надо тебе сделать очерк того общества, которое ты найдешь у нас, — начала опа.— Начинаю с дам. Княжна Варвара. Ты знаешь ее, и я знаю твое мнение и Стивы о ней. Стива говорит, что вся цель ^ Но я тебя висколько не пощажу (франц.)^ 198

ла на новое лицо, очень понравилась Дарье Александровне; она даже позавидовала ее здоровому виду. То, как ползала эта девочка, тоже очень понравилось ей. Ни один из ее детей так не ползал. Эта девочка, когда ее посадили на ковер и подоткнули сзади платьице, была удивительно мила. Она, как зверок, оглядываясь на больших своими блестящими черными глазами, очевидно радуясь тому, что ею любуются, улыбаясь и боком держа ноги, энергически упиралась на руки и быстро подтягивала весь задок и опять вперед перехватывала ручонками.

Но общий дух детской и в особенности англичанка очень не понравились Дарье Александровне. Только тем, что в такую неправильную семью, как Аннина, не пошла бы хорошая, Дарья Александровна и объяснила себе то, что Анна, с своим знанием людей, могла взять к своей девочке такую несимпатичную, нереспектабельную англичанку. Кроме того, тотчас же по нескольким словам Дарья Александровна поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе и что посещение матерью было дело необычное. Анна хотела достать девочке ее игрушку и не могла найти ее.

Удивительнее же всего было то, что на вопрос о том, сколько у ней зубов, Анна ошиблась и совсем не знала про два последние зуба.

— Мне иногда тяжело, что я как лишняя здесь,— сказала Анна, выходя из детской и занося свой шлейф, чтобы миновать стоявшие у двери игрушки.— Не то было с первым.

— Я думала, напротив,— робко сказала Дарья Александровна.

— О нет! Ведь ты знаешь, я его видела, Сережу,— сказала Анна, сощурившись, точно вглядываясь во что-то далекое. — Впрочем, это мы переговорим после. Ты не поверишь, я как голодный, которому вдруг поставили полный обед, и он не знает, за что взяться. Полный обед — это ты и предстоящие мне разговоры с тобой, которых я ни с кем не могла иметь, и я не знаю, за какой разговор прежде взяться. Mais je ne vous ferai grâce de rien [1]. Мне все надо высказать. Да, надо тебе сделать очерк того общества, которое ты найдешь у нас,— начала она.— Начинаю с дам. Княжна Варвара. Ты знаешь ее, и я знаю твое мнение и Стивы о ней. Стива говорит, что вся цель

ее жизни состоит в том, чтобы доказать свое преимущество над тетушкой Катериной Павловной; это все правда; но она добрая, и я ей так благодарна. В Петербурге была минута, когда мне был необходим un chaperon ^ Тут она подвернулась. Но, право, она добрая. Она много мне облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения... там, в Петербурге, — прибавила она. — Здесь я совершенно спокойна и счастлива. Ну, да это после. Надо перечислить. Потом Свияжский, — он предводитель, и он очень порядочный человек, но ему что-то нужно от Алексея. Ты понимаешь, с его состоянием, теперь, как мы поселились в деревне, Алексей может иметь большое влияние. Потом Тушкевич, — ты его видела, он был ppрі Бетси. Теперь его отставили, и он приехал к нам. Он, как Алексей говорит, один из тех людей, которые очень приятны, если их принимать за то, чем они хотят казаться, et puis, comme il faut^, как говорит княжна Варвара. Потом Весловский... этого ты знаешь. Очень милый мальчик, — сказала она, и плутовская улыбка сморщила ее губы. — Что это за дикая история с Левиным? Весловский рассказывал Алексею, и мы не верим. П est très gentil et naïf — сказала она опять с тою же улыбкой. — Мужчинам нужно развлечение, и Алексею нужна публика, поэтому я дорожу всем этим обществом. Надо, чтоб у нас было оживленно и весело и чтоб Алексей не желал ничего нового. Потом управляющий, немец, очень хороший и знает свое дело. Алексей очень ценит его. Потом доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом... но очень хороший доктор. Потом архитектор... Une petite cour XX — Ну вот вам и Долли, княжна, вы так хотели ее видеть,— сказала Анна, вместе с Дарьей Александровной выходя на большую каменную террасу, на которой в тени, за пяльцами, вышивая кресло для графа Алексея Кирилловича, сидела княжна Варвара. — Она говорит, что ‘ компаньонка (франц.). ^ и потом, он порядочен (франц.). ® Он очень мил и простодушен (франц.)* ^ Млпопьшй jißop (франц.). 199

ее жизни состоит в том, чтобы доказать свое преимущество над тетушкой Катериной Павловной; это все правда; но она добрая, и я ей так благодарна. В Петербурге была минута, когда мне был необходим un chaperon [1]. Тут она подвернулась. Но, право, она добрая. Она много мне облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения... там, в Петербурге,— прибавила она.— Здесь я совершенно спокойна и счастлива. Ну, да это после. Надо перечислить. Потом Свияжский,— он предводитель, и он очень порядочный человек, но ему что-то нужно от Алексея. Ты понимаешь, с его состоянием, теперь, как мы поселились в деревне, Алексей может иметь большое влияние. Потом Тушкевич,— ты его видела, он был при Бетси. Теперь его отставили, и он приехал к нам. Он, как Алексей говорит, один из тех людей, которые очень приятны, если их принимать за то, чем они хотят казаться, et puis, comme il faut [2], как говорит княжна Варвара. Потом Весловский... этого ты знаешь. Очень милый мальчик,— сказала она, и плутовская улыбка сморщила ее губы.— Что это за дикая история с Левиным? Весловский рассказывал Алексею, и мы не верим. Il est très gentil et naïf [3], — сказала она опять с тою же улыбкой.— Мужчинам нужно развлечение, и Алексею нужна публика, поэтому я дорожу всем этим обществом. Надо, чтоб у нас было оживленно и весело и чтоб Алексей не желал ничего нового. Потом управляющий, немец, очень хороший и знает свое дело. Алексей очень ценит его. Потом доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом... но очень хороший доктор. Потом архитектор... Une petite cour [4].

XX

— Ну вот вам и Долли, княжна, вы так хотели ее видеть,— сказала Анна, вместе с Дарьей Александровной выходя на большую каменную террасу, на которой в тени, за пяльцами, вышивая кресло для графа Алексея Кирилловича, сидела княжна Варвара. — Она говорит, что

---

[1] компаньонка *(франц.)*.

[2] и потом, он порядочен *(франц.)*.

ничего не хочет до обеда, по вы велите подать завтракать, а я пойду сыщу Алексея и приведу их всех. Княжна Варвара ласково и несколько покровительственно приняла Долли и тотчас же начала объяснять ей, что она поселилась у Анны потому, что всегда любила ее больше, чем ее сестра, Катерина Павловна, та самая, которая воспитывала Анну, и что теперь, когда все бросили Анну, она считала своим долгом помочь ей в этот переходный, самый тяжелый период. — Муж даст ей развод, и тогда я опять уеду в свое уединение, а теперь я могу быть полезна и исполняю свой долг, как мне это ни тяжело, не так, как другие. И как ты мила, как хорошо сделала, что приехала! Они живут совершенно как самые лучшие супруги; их будет судить бог, а не мы. А разве Бирюзовский и Авеньева... А сам Никандров, а Васильев с Мамоновой, а Лиза Нептунова... Ведь никто же ничего не говорил? И кончилось тем, что все их принимали. И потом, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare \ Всякий делает что хочет до обеда. Обед в семь часов. Стива очень хорошо сделал, что прислал тебя. Ему надо держаться их. Ты знаешь, он через свою мать и брата все может сделать. Потом они делают много добра. Он не говорил тебе про свою больницу? Ce sera admirable — все из Парижа. Разговор их был прерван Анной, нашедшею общество мужчин в бильярдной и с ними вместе возвращавшеюся на террасу. До обеда еще оставалось много времени, погода была прекрасная, и потому было предложено несколько различных способов провести эти остающиеся два часа. Способов проводить время было очень много в Воздвиженском, и все были не те, какие употреблялись в Покровском. — Une partie de Iалvп tennis — улыбаясь своею красивою улыбкой, предложил Весловский. — Мы опять с вами, Анна Аркадьевна. — Нет, жарко; лучше пройти по саду и в лодке прокатиться, показать Дарье Александровне берега, — предложил Вронский. * Это такой милый п порядочный дом. Совсем по-английски. Сходятся за утренним завтраком и потом расходятся (франц.), ^ Это будет восхитительно (франц.). ® Партию в теннис (франц.). 200

ничего не хочет до обеда, но вы велите подать завтракать, а я пойду сыщу Алексея и приведу их всех.

Княжна Варвара ласково и несколько покровительственно приняла Долли и тотчас же начала объяснять ей, что она поселилась у Анны потому, что всегда любила ее больше, чем ее сестра, Катерина Павловна, та самая, которая воспитывала Анну, и что теперь, когда все бросили Анну, она считала своим долгом помочь ей в этот переходный, самый тяжелый период.

— Муж даст ей развод, и тогда я опять уеду в свое уединение, а теперь я могу быть полезна и исполняю свой долг, как мне это ни тяжело, не так, как другие. И как ты мила, как хорошо сделала, что приехала! Они живут совершенно как самые лучшие супруги; их будет судить бог, а не мы. А разве Бирюзовский и Авеньева... А сам Никандров, а Васильев с Мамоновой, а Лиза Нептунова... Ведь никто же ничего не говорил? И кончилось тем, что все их принимали. И потом, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare [1]. Всякий делает что хочет до обеда. Обед в семь часов. Стива очень хорошо сделал, что прислал тебя. Ему надо держаться их. Ты знаешь, он через свою мать и брата все может сделать. Потом они делают много добра. Он не говорил тебе про свою больницу? Ce sera admirable [2],— все из Парижа.

Разговор их был прерван Анной, нашедшею общество мужчин в бильярдной и с ними вместе возвращавшеюся на террасу. До обеда еще оставалось много времени, погода была прекрасная, и потому было предложено несколько различных способов провести эти остающиеся два часа. Способов проводить время было очень много в Воздвиженском, и все были не те, какие употреблялись в Покровском.

— Une partie de lawn tennis [3],— улыбаясь своею красивою улыбкой, предложил Весловский.— Мы опять с вами, Анна Аркадьевна.

— Нет, жарко; лучше пройти по саду и в лодке прокатиться, показать Дарье Александровне берега,— предложил Вронский.

---

[1] Это такой милый и порядочный дом. Совсем по-английски. Сходятся за утренним завтраком и потом расходятся *(франц.)*.

[2] Это будет восхитительно *(франц.)*.

— я на все согласен,— сказал Свішжский. — Я думаю, что Долли приятнее всего пройтись, не правда ли? А потом уже в лодке, — сказала Анна. Так и было решено. Весловский и Тушкевич пошли в купальню и там обеш,али приготовить лодку и подождать. Двумя парами пошли по дорожке, Анна с Свияжским, Долли с Вронским. Долли была несколько смущена и озабочена тою совершенно новою для нее средой, в которой она очутилась. Отвлеченно, теоретически, она не только оправдывала, но даже одобряла поступок Анны. 1\ак вообще нередко безукоризненно нравственные женщины, уставшие от однообразия нравственной я^изни, опа издалека не только извиняла преступную любовь, но даже завидовала ей. Кроме того, опа сердцем любила Анну. Но в действительности, увидав ее в среде этих чуждых для нее людей, с их новым для Дарьи Александровны хорошим тоном, ей было неловко. В особенности неприятно ей было видеть княя^шу Варвару, все прощавшую им за те удобства, которыми она пользовалась. Вообще, отвлеченно, Долли одобряла поступок Анны, но видеть того человека, для которого был сделан этот поступок, было ей неприятно. Кроме того, Вронский никогда не нравился ей. Она считала его очень гордым и не видела в нем ничего такого, чем он мог бы гордиться, кроме богатства. Но, против своей воли, он здесь, у себя дома, еще более импонировал ей, чем прежде, и она не могла быть с ним свободна. Она испытывала с ним чувство, подобное тому, которое она испытывала с горничной за кофточку. Как пред горничной ей было не то что стыдно, а неловко за заплатки, так и с ним ей было постоянно не то что стыдно, а неловко за самое себя. Долли чувствовала себя смущенною и искала предмета разговора. Хотя она и считала, что с его гордостью ему долячЧіы быть неприятны похвалы его дома и сада, она, не находя другого предмета разговора, все-таки сказала ему, что ей очень поправился его дом. — Да, это очень красивое строение и в хорошем старинном стиле,— сказал он. — Мне очень понравился двор пред крыльцом. Это было так? — О нет! — сказал он, и лицо его просияло от удовольствия,— Если бы вы видели этот двор нынче весной! 201

— Я на все согласен,— сказал Свияжский.

— Я думаю, что Долли приятнее всего пройтись, не правда ли? А потом уже в лодке,— сказала Анна.

Так и было решено. Весловский и Тушкевич пошли в купальню и там обещали приготовить лодку и подождать.

Двумя парами пошли по дорожке, Анна с Свияжским, Долли с Вронским. Долли была несколько смущена и озабочена тою совершенно новою для нее средой, в которой она очутилась. Отвлеченно, теоретически, она не только оправдывала, но даже одобряла поступок Анны. Как вообще нередко безукоризненно нравственные женщины, уставшие от однообразия нравственной жизни, она издалека не только извиняла преступную любовь, но даже завидовала ей. Кроме того, она сердцем любила Анну. Но в действительности, увидав ее в среде этих чуждых для нее людей, с их новым для Дарьи Александровны хорошим тоном, ей было неловко. В особенности неприятно ей было видеть княжну Варвару, все прощавшую им за те удобства, которыми она пользовалась.

Вообще, отвлеченно, Долли одобряла поступок Анны, но видеть того человека, для которого был сделан этот поступок, было ей неприятно. Кроме того, Вронский никогда не нравился ей. Она считала его очень гордым и не видела в нем ничего такого, чем он мог бы гордиться, кроме богатства. Но, против своей воли, он здесь, у себя дома, еще более импонировал ей, чем прежде, и она не могла быть с ним свободна. Она испытывала с ним чувство, подобное тому, которое она испытывала с горничной за кофточку. Как пред горничной ей было не то что стыдно, а неловко за заплатки, так и с ним ей было постоянно не то что стыдно, а неловко за самое себя.

Долли чувствовала себя смущенною и искала предмета разговора. Хотя она и считала, что с его гордостью ему должны быть неприятны похвалы его дома и сада, она, не находя другого предмета разговора, все-таки сказала ему, что ей очень понравился его дом.

— Да, это очень красивое строение и в хорошем старинном стиле,— сказал он.

— Мне очень понравился двор пред крыльцом. Это было так?

— О нет! — сказал он, и лицо его просияло от удо-

и on стал, сначала осторожно, а потом более и более увлекаясь, обращать ее внимание на разные подробности украшения дома и сада. Видно было, что, посвятив много труда на улучшение и украшение своей усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред новым лицом и от души радовался похвалам Дарьи Александровны. — Если вы хотите взглянуть на больницу и не устали, то это недалеко. Пойдемте, — сказал он, заглянув ей в лицо, чтоб убедиться, что ей точно было не скучно. — Ты пойдешь, Анна? — обратился он к ней. — Мы пойдем. Не правда ли? — обратилась она к Свияжскому.— Mais il ne faut pas laisser le pauvre Весловский et Тушкевич se morfondre là dans le bateau Ч Надо послать им сказать. Да, это памятник, который он оставит здесь,— сказала Анна, обращаясь к Долли с тою же хитрою, знающею улыбкой, с которою она прежде говорила о больнице. — О, капитальное дело! — сказал Свияжский. Но, чтобы не показаться поддакивающим Вронскому, он тотчас же прибавил слегка осудительное замечание. — Я удивляюсь, однако, граф,— сказал он, — как вы, так много делая в санитарном отношении для народа, так равнодушны к школам. — C’est devenu tellement commun, les écoles ^,— сказал Вронский. — Вы понимаете, не от этого, но так, я увлекся. Так сюда надо в больницу,— обратился он к Дарье Александровне, указывая на боковой выход из аллеи. Дамы раскрыли зонтики и вышли на боковую дорожку. Пройдя несколько поворотов и выйдя из калитки, Дарья Александровна увидала пред собой на высоком месте большое красное, затейливой формы, уже почти оконченное строение. Еще не окрашенная железная крыша ослепительно блестела на ярком солнце. Подле оконченного строения выкладывалось другое, окруженное лесами, и рабочие в фартуках на подмостках клали кирпичи и заливали из шаек кладку и ровняли правилами. — Как быстро идет у вас работа! — сказал Свияжский. — Когда я был в последний раз, еще крыши не было. ^ Ио не следует заставлять бедного Весловского и Тушкевича томиться в .лодке (франц.), * Школы стали слишком обычным делом (франц 202

И он стал, сначала осторожно, а потом более и более увлекаясь, обращать ее внимание на разные подробности украшения дома и сада. Видно было, что, посвятив много труда на улучшение и украшение своей усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред новым лицом и от души радовался похвалам Дарьи Александровны.

— Если вы хотите взглянуть на больницу и не устали, то это недалеко. Пойдемте,— сказал он, заглянув ей в лицо, чтоб убедиться, что ей точно было не скучно.

— Ты пойдешь, Анна? — обратился он к ней.

— Мы пойдем. Не правда ли? — обратилась она к Свияжскому.— Mais il ne faut pas laisser le pauvre Весловский et Тушкевич se morfondre là dans le bateau [1]. Надо послать им сказать. Да, это памятник, который он оставит здесь,— сказала Анна, обращаясь к Долли с тою же хитрою, знающею улыбкой, с которою она прежде говорила о больнице.

— О, капитальное дело! — сказал Свияжский. Но, чтобы не показаться поддакивающим Вронскому, он тотчас же прибавил слегка осудительное замечание. — Я удивляюсь, однако, граф,— сказал он, — как вы, так много делая в санитарном отношении для народа, так равнодушны к школам.

— C'est devenu tellement commun, les écoles [2],— сказал Вронский. — Вы понимаете, не от этого, но так, я увлекся. Так сюда надо в больницу,— обратился он к Дарье Александровне, указывая на боковой выход из аллеи.

Дамы раскрыли зонтики и вышли на боковую дорожку. Пройдя несколько поворотов и выйдя из калитки, Дарья Александровна увидала пред собой на высоком месте большое красное, затейливой формы, уже почти оконченное строение. Еще не окрашенная железная крыша ослепительно блестела на ярком солнце. Подле оконченного строения выкладывалось другое, окруженное лесами, и рабочие в фартуках на подмостках клали кирпичи и заливали из шаек кладку и ровняли правилами.

— Как быстро идет у вас работа! — сказал Свияжский. — Когда я был в последний раз, еще крыши не было.

---

[1] Но не следует заставлять бедного Весловского и Тушкевича томиться в лодке. (*Франц.*)

— к осени будет все готово. Внутри уже почти все отделано, — сказала Анна. — А это что же новое? — Это помещение для доктора и аптеки,— отвечал Вронский, увидав подходившего к нему в коротком пальто архитектора, и, извинившись перед дамами, пошел ему навстречу. Обойдя творило, из которого рабочие набирали известку, он остановился с архрітектором и что-то горячо стал говорить. — Фронтон все выходит ниже, — ответил он Анне, которая спросила, в чем дело. — Я говорила, что надо было фундамент поднять, — сказала Анна. — Да, разумеется, лучше бы было, Анна Аркадьевна, — сказал архитектор, — да уж упущено. — Да, я очень интересуюсь этим, — отвечала Анна Свияжскому, выразившему удивление к ее знаниям по архитектуре. — Надо, чтобы новое строение соответствовало больнице. А оно придумано после и начато без плана* Окончив разговор с архитектором, Вронский присоединился к дамам и повел их внутрь больницы. Несмотря на то, что снаружи еще доделывали карнизы и в нижнем этаже красили, в верху уже почти все было отделано. Пройдя по широкой чугунной лестнице на площддку, они вошли в первую большую комнату. Стены были оштукатурены под мрамор, огромные цельные окна были уже вставлены, только паркетный пол был еще не кончен, и столяры, строгавшие поднятый квадрат, оставили работу, чтобы, сняв тесемки, придерживавшие их волоса, поздороваться с господами. — Это приемная,— сказал Вронский.— Здесь будет пюпитр, стол, шкаф и больше ничего. — Сюда, здесь пройдемте. Не подходи к окну, — сказала Анна, пробуя, высохла ли краска. — Алексей, краска уже высохла, — прибавила она. РІз приемной они прошли в коридор. Здесь Вронский показал им устроенную вентиляцию новой системы. Потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами. Потом показал одну за другою палаты, кладовую, комнату для белья, потом печи нового устройства, потом тачки, такие, которые не будут производить шума, подвозя по коридору нужные вещи, и много другого. Свияжский оценивал все, как человек, знающий 203

— К осени будет все готово. Внутри уже почти все отделано,— сказала Анна.

— А это что же новое?

— Это помещение для доктора и аптеки,— отвечал Вронский, увидав подходившего к нему в коротком пальто архитектора, и, извинившись перед дамами, пошел ему навстречу.

Обойдя творило, из которого рабочие набирали известку, он остановился с архитектором и что-то горячо стал говорить.

— Фронтон все выходит ниже,— ответил он Анне, которая спросила, в чем дело.

— Я говорила, что надо было фундамент поднять,— сказала Анна.

— Да, разумеется, лучше бы было, Анна Аркадьевна, — сказал архитектор, — да уж упущено.

— Да, я очень интересуюсь этим,— отвечала Анна Свияжскому, выразившему удивление к ее знаниям по архитектуре. — Надо, чтобы новое строение соответствовало больнице. А оно придумано после и начато без плана.

Окончив разговор с архитектором, Вронский присоединился к дамам и повел их внутрь больницы.

Несмотря на то, что снаружи еще доделывали карнизы и в нижнем этаже красили, в верху уже почти все было отделано. Пройдя по широкой чугунной лестнице на площадку, они вошли в первую большую комнату. Стены были оштукатурены под мрамор, огромные цельные окна были уже вставлены, только паркетный пол был еще не кончен, и столяры, строгавшие поднятый квадрат, оставили работу, чтобы, сняв тесемки, придерживавшие их волоса, поздороваться с господами.

— Это приемная,— сказал Вронский.— Здесь будет пюпитр, стол, шкаф и больше ничего.

— Сюда, здесь пройдемте. Не подходи к окну, — сказала Анна, пробуя, высохла ли краска. — Алексей, краска уже высохла, — прибавила она.

Из приемной они прошли в коридор. Здесь Вронский показал им устроенную вентиляцию новой системы. Потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами. Потом показал одну за другою палаты, кладовую, комнату для белья, потом печи нового устройства, потом тачки, такие, которые не будут производить шума, подвозя по коридорам нужные вещи, и много

все новые усовершенствования. Долли просто удивлялась не виданному ею до сих пор и, желая все понять, обо всем подробно спрашивала, что доставляло очевидное удовольствие Вронскому. — Да, я думаю, что это будет в России единственная вполне правильно устроенная больница, — сказал Свияжский. — А не будет у вас родильного отделения? — спросила Долли. — Это так нужно в деревне. Я часто... Несмотря на свою учтивость, Вронский перебил ее. — Это не родильный дом, но больница, и назначается для всех болезней, кроме заразительных, — сказал он. — Л вот это взгляните... — и он подкатил к Дарье Александровне вновь выписанное кресло для выздоравливающих. — Вы посмотрите. — Он сел в кресло и стал двигать его. — Он не может ходить, слаб еще или болезнь ног, но ему нужен воздух, и он ездит, катается... Дарья Александровна всем интересовалась, все ей очень правилось, но более всего ей нравился сам Вронский с этим натуральным наивным увлечением. «Да, это очень милый, хороший человек», — думала она иногда, не слушая его, а глядя на него и вникая в его выражение и мысленно переносясь в Анну. Он так ей нравился теперь в своем оживлении, что она понимала, как Анна могла влюбиться в него. XXI — Нет, я думаю, княгиня устала, и лошади ее не интересуют, — сказал Вронский Анне, предложившей пройти до конного завода, где Свпяжский хотел видеть нового жеребца. — Вы подите, а я провожу княгиню домой, и мы поговорим, — сказал он, — если вам приятно, — обратился он к ней. — В лошадях я ничего не понимаю, и я очень рада, — сказала несколько удивленная Дарья Александровна. Она видела по лицу Вронского, что ему чего-то нужно было от нее. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна, и, убедившись, что она не может ни слышать, ни видеть их, начал: — Вы угадали, что мне хотелось поговорить с вами? — сказал он, смеющимися глазами глядя на нее. —

все новые усовершенствования. Долли просто удивлялась не виданному ею до сих пор и, желая все понять, обо всем подробно спрашивала, что доставляло очевидное удовольствие Вронскому.

— Да, я думаю, что это будет в России единственная вполне правильно устроенная больница,— сказал Свияжский.

— А не будет у вас родильного отделения? — спросила Долли.— Это так нужно в деревне. Я часто...

Несмотря на свою учтивость, Вронский перебил ее.

— Это не родильный дом, но больница, и назначается для всех болезней, кроме заразительных,— сказал он.— А вот это взгляните... — и он подкатил к Дарье Александровне вновь выписанное кресло для выздоравливающих.— Вы посмотрите.— Он сел в кресло и стал двигать его. — Он не может ходить, слаб еще или болезнь ног, но ему нужен воздух, и он ездит, катается...

Дарья Александровна всем интересовалась, все ей очень нравилось, но более всего ей нравился сам Вронский с этим натуральным наивным увлечением. «Да, это очень милый, хороший человек»,— думала она иногда, не слушая его, а глядя на него и вникая в его выражение и мысленно переносясь в Анну. Он так ей нравился теперь в своем оживлении, что она понимала, как Анна могла влюбиться в него.

XXI

— Нет, я думаю, княгиня устала, и лошади ее не интересуют,— сказал Вронский Анне, предложившей пройти до конного завода, где Свияжский хотел видеть нового жеребца.— Вы подите, а я провожу княгиню домой, и мы поговорим,— сказал он,— если вам приятно,— обратился он к ней.

— В лошадях я ничего не понимаю, и я очень рада,— сказала несколько удивленная Дарья Александровна.

Она видела по лицу Вронского, что ему чего-то нужно было от нее. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна, и, убедившись, что она не может ни слышать, ни видеть их, начал:

— Вы угадали, что мне хотелось поговорить с ва-

я не ошибаюсь, что вы друг Анны. — Он снял шляпу и, достав платок, отер им свою плешивевшую голову. Дарья Александровна ничего не ответила и только испуганно поглядела на него. Когда она осталась с ним наедине, ей вдруг сделалось страшно: смеюш,иеся глаза и строгое выражение лица пугали ее. Самые разнообразные предположения того, о чем он сбирается говорить с нею, промелькнули у нее в голове: «Он станет просить меня переехать гостить к ним, с детьми, и я должна буду отказать ему; или о том, чтобы я в Москве составила круг для Анны... Или не о Васеньке ли Весловском и его отношениях к Анне? А молчет быть, о Кити, о том, что он чувствует себя виноватым?» Она предвидела все только неприятное, но не угадала того, о чем он хотел говорить с ней. — Вы имеете такое влияние на Анну, она так любит вас, — сказал он, — помогите мне. Дарья Александровна вопросительно-робко смотрела на его энергическое лицо, которое то все, то местами выходило на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалось тенью, и ожидала того, что он скажет дальше, но он, цепляя тростью за іцебень, молча шел подле нее. — Если вы приехали к нам, вы, единственная л^*еніцина из прежних друзей Анны, — я не считаю княжну Варвару, — то я понимаю, что вы сделали это не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому, что БЫ, понимая всю тяжесть этого положения, все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял? — спросил он, оглянувшись на нее. — О да,— складывая зонтик, ответила Дарья Александровна,- но... — Нет, — перебил он и невольно, забывшись, что он этим ставит в неловкое положение свою собеседницу, остановился, так что и она должна была остановиться. — Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно, если вы делаете мне честь считать меня за человека, имеюпд.его сердце. Я причиной этого положения, и потому я чувствую его. — Я понимаю, — сказала Дарья Александровна, невольно любуясь им, как он искренно и твердо сказал это. — Но именно потому, что вы себя чувствуете причиной, вы преувеличиваете, я боюсь, — сказала она. — Положение ее тяжело в свете, я понимаю.

Я не ошибаюсь, что вы друг Анны. — Он снял шляпу и, достав платок, отер им свою плешивевшую голову.

Дарья Александровна ничего не ответила и только испуганно поглядела на него. Когда она осталась с ним наедине, ей вдруг сделалось страшно: смеющиеся глаза и строгое выражение лица пугали ее.

Самые разнообразные предположения того, о чем он сбирается говорить с нею, промелькнули у нее в голове: «Он станет просить меня переехать гостить к ним, с детьми, и я должна буду отказать ему; или о том, чтобы я в Москве составила круг для Анны... Или не о Васеньке ли Весловском и его отношениях к Анне? А может быть, о Кити, о том, что он чувствует себя виноватым?» Она предвидела все только неприятное, но не угадала того, о чем он хотел говорить с ней.

— Вы имеете такое влияние на Анну, она так любит вас,— сказал он,— помогите мне.

Дарья Александровна вопросительно-робко смотрела на его энергическое лицо, которое то все, то местами выходило на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалось тенью, и ожидала того, что он скажет дальше, но он, цепляя тростью за щебень, молча шел подле нее.

— Если вы приехали к нам, вы, единственная женщина из прежних друзей Анны,— я не считаю княжну Варвару,— то я понимаю, что вы сделали это не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому, что вы, понимая всю тяжесть этого положения, все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял? — спросил он, оглянувшись на нее.

— О да,— складывая зонтик, ответила Дарья Александровна,— но...

— Нет,— перебил он и невольно, забывшись, что он этим ставит в неловкое положение свою собеседницу, остановился, так что и она должна была остановиться.— Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно, если вы делаете мне честь считать меня за человека, имеющего сердце. Я причиной этого положения, и потому я чувствую его.

— Я понимаю,— сказала Дарья Александровна, невольно любуясь им, как он искренно и твердо сказал это.— Но именно потому, что вы себя чувствуете причи-

— в свете это ад! — мрачно нахмурившись, быстро проговорил он. — Нельзя представить себе моральных мучений хуже тех, которые она пережила в две недели в Петербурге... и я прошу вас верить этому. — Да, но здесь, до тех пор, пока ни Анна... ни вы не чувствуете нужды в свете... — Свет! — с презрением сказал он.— Какую я могу иметь нужду в свете? — До тех пор — а это может быть всегда — вы счастливы и спокойны. Я вижу по Анне, что она счастлива, совершенно счастлива, она успела уже сообщить мне, — сказала Дарья Александровна, улыбаясь; и невольно, говоря это, она теперь усумнилась в том, действительно ли Анна счастлива. Но Вронский, казалось, не сомневался в этом. — Да, да, — сказал он. — Я знаю, что она ожила после всех ее страданий; она счастлива. Она счастлива настоящим. Но я?., я боюсь того, что ожидает нас... Виноват, вы хотите идти? — Нет, все равно. — Ну, так сядемте здесь. Дарья Александровна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился пред ней. — Я вижу, что она счастлива, — повторил он, и сомнение в том, счастлива ли она, еще сильнее поразило Дарью Александровну. — Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы поступили, это другой вопрос; но жребий брошен,— сказал он, переходя с русского на французский язык, — и мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для нас узами любви. У нас есть ребенок, у пас могут быть еще дети. Но закон и все условия нашего полоя^ения таковы, что являются тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть. И это понятно. Но я не могу не видеть. Моя дочь по закону — не моя дочь, а Каренина. Я не хочу этого обмана! — сказал он с энергическим жестом отрицания и мрачно-вопросительно посмотрел на Дарью Александровну. Она ничего не отвечала и только смотрела на него. Он продолжал: — И завтра родится сын, мой сын, и он по закону — Каренин, он не наследник ни моего имени, ни моего состояния, и как бы мы счастливы ни были в семье 206

— В свете это ад! — мрачно нахмурившись, быстро проговорил он.— Нельзя представить себе моральных мучений хуже тех, которые она пережила в две недели в Петербурге... и я прошу вас верить этому.

— Да, но здесь, до тех пор, пока ни Анна... ни вы не чувствуете нужды в свете...

— Свет! — с презрением сказал он.— Какую я могу иметь нужду в свете?

— До тех пор — а это может быть всегда — вы счастливы и спокойны. Я вижу по Анне, что она счастлива, совершенно счастлива, она успела уже сообщить мне,— сказала Дарья Александровна, улыбаясь; и невольно, говоря это, она теперь усумнилась в том, действительно ли Анна счастлива.

Но Вронский, казалось, не сомневался в этом.

— Да, да,— сказал он.— Я знаю, что она ожила после всех ее страданий; она счастлива. Она счастлива настоящим. Но я?.. я боюсь того, что ожидает нас... Виноват, вы хотите идти?

— Нет, все равно.

— Ну, так сядемте здесь.

Дарья Александровна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился пред ней.

— Я вижу, что она счастлива,— повторил он, и сомнение в том, счастлива ли она, еще сильнее поразило Дарью Александровну.— Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы поступили, это другой вопрос; но жребий брошен,— сказал он, переходя с русского на французский язык,— и мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для нас узами любви. У нас есть ребенок, у нас могут быть еще дети. Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть. И это понятно. Но я не могу не видеть. Моя дочь по закону — не моя дочь, а Каренина. Я не хочу этого обмана! — сказал он с энергическим жестом отрицания и мрачно-вопросительно посмотрел на Дарью Александровну.

Она ничего не отвечала и только смотрела на него. Он продолжал:

— И завтра родится сын, мой сын, и он по закону — Каренин, он не наследник ни моего имени, ни моего со-

и сколько бы у нас ни было детей, между мною и ими нет связи. Они Каренины. Вы поймите тягость и ужас этого положения! Я пробовал говорить про это Анне. Это раз^ дражает ее. Она не понимает, и я не могу ей высказать все. Теперь посмотрите с другой стороны. Я счастлив ее любовью, но я должен иметь занятия. Я нашел это занятие, и горжусь этим занятием, и считаю его более благородным, чем занятия моих бывших товарищей при дворе и по службе. И уже, без сомнения, не променяю этого дела на их дело. Я работаю здесь, сидя на месте, и я счастлив, доволен, и нам ничего более не нужно для счастья. Я люблю эту деятельность. Cela n'est pas un pis-aller ^ напротив... Дарья Александровна заметила, что в этом месте своего объяснения он путал, и не понимала хорошенько этого отступления, но чувствовала, что, раз начав говорить о своих задушевных отношениях, о которых он не мог говорить с Анной, он теперь высказывал все и что вопрос о его деятельности в деревне находился в том же отделе задушевных мыслей, как и вопрос о его отношениях к Анне. — Итак, я продолжаю, — сказал он очнувшись. — Главное же то, что, работая, необходимо иметь убеждение, что дело мое не умрет со мной, что у меня будут наследники, — а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперед, что дети его и любимой им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно! Он замолчал, очевидно, в сильном волнении. — Да, разумеется, я это понимаю. Но что же может Анна? — сказала Дарья Александровна. — Да, это приводит меня к цели моего разговора, — сказал он, с усилием успокоиваясь. — Анна может, это зависит от нее... Даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это зависит от Анны. Муж ее согласен был на развод — тогда ваш муж совсем устроил это. И теперь, я знаю, он не отказал бы. Стоило бы только Анне написать ему. Он прямо отвечал тогда, что если она выразит желание, он не откажет. Разумеется, — сказал он мрачно,— это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердца. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нем, и, зная ее, требует от нее письма. Я по^ И не потому, что нет лучшей (франц.)^ 207

и сколько бы у нас ни было детей, между мною и ими нет связи. Они Каренины. Вы поймите тягость и ужас этого положения! Я пробовал говорить про это Анне. Это раздражает ее. Она не понимает, и я не могу *ей* высказать все. Теперь посмотрите с другой стороны. Я счастлив ее любовью, но я должен иметь занятия. Я нашел это занятие, и горжусь этим занятием, и считаю его более благородным, чем занятия моих бывших товарищей при дворе и по службе. И уже, без сомнения, не променяю этого дела на их дело. Я работаю здесь, сидя на месте, и я счастлив, доволен, и нам ничего более не нужно для счастья. Я люблю эту деятельность. Cela n'est pas un pis-aller [1], напротив...

Дарья Александровна заметила, что в этом месте своего объяснения он путал, и не понимала хорошенько этого отступления, но чувствовала, что, раз начав говорить о своих задушевных отношениях, о которых он не мог говорить с Анной, он теперь высказывал все и что вопрос о его деятельности в деревне находился в том же отделе задушевных мыслей, как и вопрос о его отношениях к Анне.

— Итак, я продолжаю,— сказал он очнувшись.— Главное же то, что, работая, необходимо иметь убеждение, что дело мое не умрет со мной, что у меня будут наследники,— а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперед, что дети его и любимой им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно!

Он замолчал, очевидно, в сильном волнении.

— Да, разумеется, я это понимаю. Но что же может Анна? — сказала Дарья Александровна.

— Да, это приводит меня к цели моего разговора,— сказал он, с усилием успокоиваясь.— Анна может, это зависит от нее... Даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это зависит от Анны. Муж ее согласен был на развод — тогда ваш муж совсем устроил это. И теперь, я знаю, он не отказал бы. Стоило бы только Анне написать ему. Он прямо отвечал тогда, что если она выразит желание, он не откажет. Разумеется,— сказал он мрачно,— это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердца. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нем, и, зная ее, требует от нее письма. Я по-

нимаю, что ей мучительно. Но причины так важны, что надо passer par dessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de Fexistence d'Anne et de ses enfants F Я О себе не говорю, хотя мне тяжело, очень тяжело, — сказал он с выражением угрозы кому-то за то, что ему было тяжело. — Так вот, княгиня, я за вас бессовестно хватаюсь, как за якорь спасения. Помогите мне уговорить ее писать ему и требовать развода! — Да, разумеется, — задумчиво сказала Дарья Александровна, вспомнив 5КИВО свое последнее свидание с Алексеем Александровичем. — Да, разумеется, — сказала она решительно, вспомнив Анну. — Употребите ваше влияние на нее, сделайте, чтоб она написала. Я не хочу и почти не могу говорить с нею про это. — Хорошо, я поговорю. Но как же она сама не думает? — сказала Дарья Александровна, вдруг почему-то при этом вспоминая странную новую привычку Анны щуриться. И ей вспомнилось, что Анна щурилась, именно когда дело касалось задушевных сторон я^изни. «Точно она па свою жизнь щурится, чтобы не все видеть», — подумала Долли. — Непременно, я для себя и для нее буду говорить с ней,— отвечала Дарья Александровна на его вырая^ениѳ благодарности. Они встали и пошли к дому. XXII Застав Долли уя?е вернувшеюся, Анна внимательно посмотрела ей в глаза, как бы спрашивая о том разговоре, который она имела с Вронским, но не спросила словами. — Кажется, уя^ пора к обеду,— сказала она.— Совсем мы не видались еще. Я рассчитываю на вечер. Теперь надо идти одеваться. Я думаю, и ты тоя^е. Мы все испачкались на постройке. Долли пошла в свою комнату, и ей стало смешно. Одеваться ей было не во что, потому что она уже надела лучшее платье; но, чтоб ознаменовать чем-нибудь свое приготовление к обеду, она попросила горничную обчистить ей платье, переменила рукавчики и бантик и надела кружева на голову. ‘ перешагнуть через все эти тонкости чувства. Дело идет о счастье и о судьбе Анны и ее детей (франц.). 208

нимаю, что ей мучительно. Но причины так важны, что надо passer par dessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses enfants[1]. Я о себе не говорю, хотя мне тяжело, очень тяжело,— сказал он с выражением угрозы кому-то за то, что ему было тяжело.— Так вот, княгиня, я за вас бессовестно хватаюсь, как за якорь спасения. Помогите мне уговорить ее писать ему и требовать развода!

— Да, разумеется, — задумчиво сказала Дарья Александровна, вспомнив живо свое последнее свидание с Алексеем Александровичем.— Да, разумеется, — сказала она решительно, вспомнив Анну.

— Употребите ваше влияние на нее, сделайте, чтоб она написала. Я не хочу и почти не могу говорить с нею про это.

— Хорошо, я поговорю. Но как же она сама не думает? — сказала Дарья Александровна, вдруг почему-то при этом вспоминая странную новую привычку Анны щуриться. И ей вспомнилось, что Анна щурилась, именно когда дело касалось задушевных сторон жизни. «Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть»,— подумала Долли.— Непременно, я для себя и для нее буду говорить с ней,— отвечала Дарья Александровна на его выражение благодарности.

Они встали и пошли к дому.

XXII

Застав Долли уже вернувшеюся, Анна внимательно посмотрела ей в глаза, как бы спрашивая о том разговоре, который она имела с Вронским, но не спросила словами.

— Кажется, уж пора к обеду,— сказала она.— Совсем мы не видались еще. Я рассчитываю на вечер. Теперь надо идти одеваться. Я думаю, и ты тоже. Мы все испачкались на постройке.

Долли пошла в свою комнату, и ей стало смешно. Одеваться ей было не во что, потому что она уже надела лучшее платье; но, чтоб ознаменовать чем-нибудь свое приготовление к обеду, она попросила горничную обчистить ей платье, переменила рукавчики и бантик и надела кружева на голову.

---

[1] перешагнуть через все эти тонкости чувства. Дело идет

— Вот все, что я могла сделать, — улыбаясь, сказала она Анне, которая в третьем, опять в чрезвычайно простом, платье вышла к ней. — Да, мы здесь очень чопорны, — сказала она, как бе»і извиняясь за свою нарядность. — Алексей доволен твоим приездом, как он редко бывает чем-нибудь. Он решительно влюблен в тебя, — прибавила она. — А ты пеустала? До обеда не было времени говорить о чехм-нибудь. Войдя в гостиную, они застали там уже княжну Варвару и мужчин в черных сюртуках. Архитектор был во фраке. Вронский представил гостье доктора и управляюгдего. Архитектора он познакомил с нею еще в больнице. Толстый дворецкий, блестя іфуглым бритым лицом и крахмаленым бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово, и дамы поднялись. Вронский попросил Свияжского подать руку Анне Аркадьевне, а сам подошел к Долли. Весловский прежде Тушкевича подал руку княжне Варваре, так что Тушкевич с управляющим и доктором пошли одни. Обед, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но, казалось, были еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь и, как хозяйка, ведущая дом, — хотя и не надеясь ничего из виденного применить к своему дому, так это все по роскоши было далеко выше ее образа жизни, — невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос, кто и как это все сделал. Васенька Весловский, ее муж и даже Свияжский и много людей, которых она знала, никогда не думали об этом, а верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает дать почувствовать своим гостям, именно, что все, что так хорошо у него устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чье-нибудь усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича, как он оглядел стол, и как сделал знак головой дворецкому, и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все это делается и поддерживается заботами самого хозяина. От Анны, очевидно, зависело все это не более, как II от Весловского. Она, Свияжский, княжна и Веслов209

— Вот все, что я могла сделать,— улыбаясь, сказала она Анне, которая в третьем, опять в чрезвычайно простом, платье вышла к ней.

— Да, мы здесь очень чопорны,— сказала она, как бы извиняясь за свою нарядность.— Алексей доволен твоим приездом, как он редко бывает чем-нибудь. Он решительно влюблен в тебя, — прибавила она. — А ты неустала?

До обеда не было времени говорить о чем-нибудь. Войдя в гостиную, они застали там уже княжну Варвару и мужчин в черных сюртуках. Архитектор был во фраке. Вронский представил гостье доктора и управляющего. Архитектора он познакомил с нею еще в больнице.

Толстый дворецкий, блестя круглым бритым лицом и крахмаленым бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово, и дамы поднялись. Вронский попросил Свияжского подать руку Анне Аркадьевне, а сам подошел к Долли. Весловский прежде Тушкевича подал руку княжне Варваре, так что Тушкевич с управляющим и доктором пошли одни.

Обед, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но, казалось, были еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь и, как хозяйка, ведущая дом,— хотя и не надеясь ничего из виденного применить к своему дому, так это все по роскоши было далеко выше ее образа жизни,— невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос, кто и как это все сделал. Васенька Весловский, ее муж и даже Свияжский и много людей, которых она знала, никогда не думали об этом, а верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает дать почувствовать своим гостям, именно, что все, что так хорошо у него устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чье-нибудь усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича, как он оглядел стол, и как сделал знак головой дворецкому, и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все это делается и поддерживается заботами самого хозяина. От Анны, очевидно, зависело все это не более

ский были одинаково гости, весело пользуюидиеся тем, что для них было приготовлено. Анна была хозяйкой только по ведению разговора. И этот разговор, весьма трудный для хозяйки дома при небольшом столе, при лицах, как управляющий и архитектор, лицах совершенно другого мира, старающихся не робеть пред непривычною роскошью и не могущих принимать долгого участия в общем разговоре; этот трудный разговор Анна вела со своим обычным тактом, естественностью и дая^е удовольствием, как замечала Дарья Александровна. Разговор зашел о том, как Тушкевич с Весловским одни ездили в лодке, и Тушкевич стал рассказывать про последние гонки в Петербурге в Яхт-клубе. Но Анна, выждав перерыв, тотчас же обратилась к архитектору, чтобы вывести его из молчания. — Николай Иваныч был поражен,— сказала она про Свияжского, — как выросло новое строение с тех пор, как он был здесь последний раз; но я сама каждый день бываю II кая^дый день удивляюсь, как скоро идет. — С его сиятельством работать хорошо,— сказал с улыбкой архитектор (он был с сознанием своего достоинства, почтительный и спокойный человек). — Не то что иметь дело с губернскими властями. Где бы стопу бумаги исписали, я графу доложу, потолкуем, и в трех словах. — Американские приемы, — сказал Свияжский, улыбаясь. — Да-с, там воздвигаются здания рационально... Разговор перешел на злоупотребления властей в Соединенных Штатах, но Анна тотчас те перевела его на другую тему, чтобы вызвать управляющего из молчания. — Ты видела когда-нибудь жатвенные машины? — обратилась она к Дарье Александровне. — Мы ездили смотреть, когда тебя встретили. Я сама в первый раз видела. — Как же они действуют? — спросила Долли. — Совершенно как ножницы. Доска и много маленьких ножниц. Вот этак. Анна взяла своими красивыми, белыми, покрытыми кольцами руками ножик и вилку и стала показывать. Она, очевидно, видела, что из ее объяснения ничего не поймется, по, зная, что она говорит приятно и что руки ее красивы, она продолжала объяснение. 210

ский были одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них было приготовлено.

Анна была хозяйкой только по ведению разговора. И этот разговор, весьма трудный для хозяйки дома при небольшом столе, при лицах, как управляющий и архитектор, лицах совершенно другого мира, старающихся не робеть пред непривычною роскошью и не могущих принимать долгого участия в общем разговоре; этот трудный разговор Анна вела со своим обычным тактом, естественностью и даже удовольствием, как замечала Дарья Александровна.

Разговор зашел о том, как Тушкевич с Весловским одни ездили в лодке, и Тушкевич стал рассказывать про последние гонки в Петербурге в Яхт-клубе. Но Анна, выждав перерыв, тотчас же обратилась к архитектору, чтобы вывести его из молчания.

— Николай Иваныч был поражен,—сказала она про Свияжского,— как выросло новое строение с тех пор, как он был здесь последний раз; но я сама каждый день бываю и каждый день удивляюсь, как скоро идет.

— С его сиятельством работать хорошо,— сказал с улыбкой архитектор (он был с сознанием своего достоинства, почтительный и спокойный человек).— Не то что иметь дело с губернскими властями. Где бы стопу бумаги исписали, я графу доложу, потолкуем, и в трех словах.

— Американские приемы,— сказал Свияжский, улыбаясь.

— Да-с, там воздвигаются здания рационально...

Разговор перешел на злоупотребления властей в Соединенных Штатах, но Анна тотчас же перевела его на другую тему, чтобы вызвать управляющего из молчания.

— Ты видела когда-нибудь жатвенные машины? — обратилась она к Дарье Александровне.— Мы ездили смотреть, когда тебя встретили. Я сама в первый раз видела.

— Как же они действуют?— спросила Долли.

— Совершенно как ножницы. Доска и много маленьких ножниц. Вот этак.

Анна взяла своими красивыми, белыми, покрытыми кольцами руками ножик и вилку и стала показывать. Она, очевидно, видела, что из ее объяснения ничего не поймется, но, зная, что она говорит приятно и что руки ее

>— Скорее ножички перочинные, зейгрывая, сказал Весловский, не спускавший с нее глаз. Анна чуть заметно улыбнулась, но не отвечала ему. — Не правда ли, Карл Федорыч, что как ножницы? — обратилась она к управляющему. — О ja, — отвечал немец. — Es ist ein ganz einfaches Ding ^ — и начал объяснять устройство машины. — Жалко, что она не вяжет. Я видел па Венской выставке, вяжет проволокой,— сказал Свияжский.— Те выгоднее бы были. — Es kom,mt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden — И немец, вызванный из молчанья, обратился к Вронскому: — Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht ^ — Немец уже взялся было за карман, где у него был карандаш в книжечке, в которой он все вычислял, но, вспомнив, что он сидит за обедом, и заметив холодный взгляд Вронского, воздержался.— Zu complicirt, imacht zu viel Klopot — заключил он. — Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots^, — сказал Васенька Весловский, подтрунивая над немцем. — J'adore l'allemand — обратился он опять с той же улыбкой к Анне. — Cessez — сказала она ему шутливо-строго. — А мы думали вас застать на поле, Василий Семеныч, — обратилась она к доктору, человеку болезненному, — вы были там? — Я был там, но улетучился,— с мрачною шутливостью отвечал доктор. — Стало быть, вы хороший моцион сделали. — Великолепный! — Ну, а как здоровье старухи? надеюсь, что не тиф? — Тиф не тиф, а не в авантаже обретается. — Как жаль! — сказала Анна и, отдав таким образом дань учтивости домочадцам, обратилась к своим. — А все-таки, по вашему рассказу, построить машину трудно было бы, Анна Аркадьевна, — шутя сказал Свияжский. ^ О да. Это совсем просто (нем.). ^ Все сводится к тому... Нужно подсчитать цену проволоки (нем.). ^ Это можно подсчитать, ваше сияте.льство (нем.). ^ Слишком сложно, будет очень много хлопот (нем.). ^ Кто хочет иметь go]mji;bi, тот должен иметь хлопоты (нем.). ® Обожаю немецкий язык (франг^.)^ ^ Перестаньте (франц.).

— Скорее ножички перочинные,— заигрывая, сказал Весловский, не спускавший с нее глаз.

Анна чуть заметно улыбнулась, но не отвечала ему.

— Не правда ли, Карл Федорыч, что как ножницы? — обратилась она к управляющему.

— O ja, — отвечал немец. — Es ist ein ganz einfaches Ding [1], — и начал объяснять устройство машины.

— Жалко, что она не вяжет. Я видел на Венской выставке, вяжет проволокой,— сказал Свияжский.— Те выгоднее бы были.

— Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden [2]. — И немец, вызванный из молчанья, обратился к Вронскому:— Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht [3]. — Немец уже взялся было за карман, где у него был карандаш в книжечке, в которой он все вычислял, но, вспомнив, что он сидит за обедом, и заметив холодный взгляд Вронского, воздержался.— Zu complicirt, macht zu viel Klopot [4], — заключил он.

— Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots [5], — сказал Васенька Весловский, подтрунивая над немцем. — J'adore l'allemand [6], — обратился он опять с той же улыбкой к Анне.

— Cessez [7], — сказала она ему шутливо-строго.

— А мы думали вас застать на поле, Василий Семеныч, — обратилась она к доктору, человеку болезненному, — вы были там?

— Я был там, но улетучился,— с мрачною шутливостью отвечал доктор.

— Стало быть, вы хороший моцион сделали.

— Великолепный!

— Ну, а как здоровье старухи? надеюсь, что не тиф?

— Тиф не тиф, а не в авантаже обретается.

— Как жаль! — сказала Анна и, отдав таким образом дань учтивости домочадцам, обратилась к своим.

— А все-таки, по вашему рассказу, построить машину трудно было бы, Анна Аркадьевна,— шутя сказал Свияжский.

---

[1] О да. Это совсем просто *(нем.)*.

[2] Все сводится к тому... Нужно подсчитать цену проволоки *(нем.)*.

[3] Это можно подсчитать, ваше сиятельство *(нем.)*.

[4] Слишком сложно, будет очень много хлопот *(нем.)*.

[5] Кто хочет иметь доходы, тот должен иметь хлопоты *(нем.)*.

“ Пет, отчего же? — сказала Айна с улыбкой, которая говорила, что она знала, что в ее толковании устройства машины было что-то милое, замеченное и Свияжским. Эта новая черта молодого кокетства неприятно поразила Долли. — Ио зато в архитектуре знания Анны Аркадьевны удивительны,— сказал Тушкевич. — Как же, я слышал, вчера Анна Аркадьевна говорила: в стробу и плинтусы, — сказал Весловский. — Так я говорю? — Ничего удивительного нет, когда столько видишь и слышишь, — сказала Анна. — А вы, верно, не знаете даже, из чего делают дома? Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между нею и Весловским, но сама невольно впадала в него. Вронский поступал в этом случае совсем не так, как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощрял эти шутки. — Да ну скажите, Весловский, чем соединяют камни? — Разумеется, цементом. — Браво! А что такое цемент? — Так, вроде размазни... нет, замазки, — возбуждая общий хохот, сказал Весловский. Разговор между обедавшими, за исключением погруженных в мрачное молчание доктора, архитектора и управляющего, не умолкал, где скользя, где цепляясь и задевая кого-нибудь за живое. Один раз Дарья Александровна была задета за живое и так разгорячилась, что даже покраснела, и потом уже вспоминала, не сказано ли его чего-нибудь лишнего и неприятного. Свияя^ский заговорил о Левине, рассказывая его странные суждения о том, что машины только вредны в русском хозяйстве. — Я не имею удовольствия знать этого господина Левина, — улыбаясь, сказал Вронский,— но, вероятно, он никогда не видал тех машин, которые он осуждает. А если видел и испытывал, то кое-как, и не заграничную, а какую-нибудь русскую. А какие я^е тут могут быть взгляды? — Вообще турецкие взгляды, — обратясь к Анне, с улыбкой сказал Весловский. — Я не могу защищать его суждений, — вспыхнув, сказала Дарья Александровна, — но я могу сказать, что 212

— Нет, отчего же? — сказала Анна с улыбкой, которая говорила, что она знала, что в ее толковании устройства машины было что-то милое, замеченное и Свияжским. Эта новая черта молодого кокетства неприятно поразила Долли.

— Но зато в архитектуре знания Анны Аркадьевны удивительны,— сказал Тушкевич.

— Как же, я слышал, вчера Анна Аркадьевна говорила: в стробу и плинтусы, — сказал Весловский. — Так я говорю?

— Ничего удивительного нет, когда столько видишь и слышишь, — сказала Анна. — А вы, верно, не знаете даже, из чего делают дома?

Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между нею и Весловским, но сама невольно впадала в него.

Вронский поступал в этом случае совсем не так, как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощрял эти шутки.

— Да ну скажите, Весловский, чем соединяют камни?

— Разумеется, цементом.

— Браво! А что такое цемент?

— Так, вроде размазни... нет, замазки,— возбуждая общий хохот, сказал Весловский.

Разговор между обедавшими, за исключением погруженных в мрачное молчание доктора, архитектора и управляющего, не умолкал, где скользя, где цепляясь и задевая кого-нибудь за живое. Один раз Дарья Александровна была задета за живое и так разгорячилась, что даже покраснела, и потом уже вспоминала, не сказано ли ею чего-нибудь лишнего и неприятного. Свияжский заговорил о Левине, рассказывая его странные суждения о том, что машины только вредны в русском хозяйстве.

— Я не имею удовольствия знать этого господина Левина,— улыбаясь, сказал Вронский,— но, вероятно, он никогда не видал тех машин, которые он осуждает. А если видел и испытывал, то кое-как, и не заграничную, а какую-нибудь русскую. А какие же тут могут быть взгляды?

— Вообще турецкие взгляды,— обратясь к Анне, с улыбкой сказал Весловский.

— Я не могу защищать его суждений,— вспыхнув,

он очень образованный человек, и если б он был тут, он бы вам знал, что ответить, но я не умею. — Я его очень люблю, и мы с ним большие приятели, — добродушно улыбаясь, сказал Свияжский. — Mais pardon, il est un petit peu toque: ^ например, он утверждает, что и земство, и мировые суды — все не нужно, и ни в чем не хочет участвовать. — Это наше русское равнодушие, — сказал Вронский, наливая воду из ледяного графина в тонкий стакан па ножке, — не чувствовать обязанностей, которые налагают на нас наши права, и потому отрицать эти обязанности. — Я не знаю человека более строгого в исполнении своих обязанностей, — сказала Дарья Александровна, раздраженная этим тоном превосходства Вронского. — Я, напротив, — продолжал Вронский, очевидно почему-то затронутый за лживое этим разговором,— я, напротив, каким вы меня видите, очень благодарен за честь, которую мне сделали, вот благодаря Николаю Иванычу (он указал на Свияжского), избрав меня почетным мировым судьей. Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд, обсул^дать дело мул^ика о лошади так л^е важна, как и все, что я могу сделать. И буду за честь считать, если меня выберут гласным. Я этим только могу отплатить за те выгоды, которыми я пользуюсь как землевладелец. К несчастию, не понимают того значения, которое должны иметь в государстве крупные землевладельцы. Дарье Александровне странно было слушать, как он был спокоен в своей правоте у себя за столом. Опа вспомнила, как Левин, думающ;ий противоположное, был так же решителен в своих суждениях у себя за столом. Но она любила Левина и потому была на его стороне. — Так мы можем рассчитывать на вас, граф, на следуюіций съезд? — сказал Свияжский.— Но надо ехать раньше, чтобы восьмого уже быть там. Если бы вы мне сделали честь приехать ко мне? — А я немного согласна с твоим beau-frère, — сказала Анна. — Только не так, как он, — прибавила она с улыбкой.— Я боюсь, что в последнее время у нас слишком много этих общественных обязанностей. Как прежде чиновников было так много, что для всякого дела нужен был чиновник, так теперь всё общественные деятели. ^ Но, простите, он немного с причудами (франц.). 213

он очень образованный человек, и если б он был тут, он бы вам знал, что ответить, но я не умею.

— Я его очень люблю, и мы с ним большие приятели, — добродушно улыбаясь, сказал Свияжский. — Mais pardon, il est un petit peu toque:[1] например, он утверждает, что и земство, и мировые суды — все не нужно, и ни в чем не хочет участвовать.

— Это наше русское равнодушие,— сказал Вронский, наливая воду из ледяного графина в тонкий стакан на ножке,— не чувствовать обязанностей, которые налагают на нас наши права, и потому отрицать эти обязанности.

— Я не знаю человека более строгого в исполнении своих обязанностей,— сказала Дарья Александровна, раздраженная этим тоном превосходства Вронского.

— Я, напротив,— продолжал Вронский, очевидно почему-то затронутый за живое этим разговором,— я, напротив, каким вы меня видите, очень благодарен за честь, которую мне сделали, вот благодаря Николаю Иванычу (он указал на Свияжского), избрав меня почетным мировым судьей. Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд, обсуждать дело мужика о лошади так же важна, как и все, что я могу сделать. И буду за честь считать, если меня выберут гласным. Я этим только могу отплатить за те выгоды, которыми я пользуюсь как землевладелец. К несчастию, не понимают того значения, которое должны иметь в государстве крупные землевладельцы.

Дарье Александровне странно было слушать, как он был спокоен в своей правоте у себя за столом. Она вспомнила, как Левин, думающий противоположное, был так же решителен в своих суждениях у себя за столом. Но она любила Левина и потому была на его стороне.

— Так мы можем рассчитывать на вас, граф, на следующий съезд? — сказал Свияжский.— Но надо ехать раньше, чтобы восьмого уже быть там. Если бы вы мне сделали честь приехать ко мне?

— А я немного согласна с твоим beau-frère, — сказала Анна. — Только не так, как он, — прибавила она с улыбкой.— Я боюсь, что в последнее время у нас слишком много этих общественных обязанностей. Как прежде чиновников было так много, что для всякого дела нужен был чиновник, так теперь всё общественные деятели.

Алексей теперь здесь шесть месяцев, и он уж член, кажется, пяти или шести разных обпдественных учреждений — попечительство, судья, гласный, присяжный, конской что-то. Du train que cela va ^ все время уйдет на это. И я боюсь, что при таком множестве этих дел это только форма. Вы скольких мест член, Николай Иваныч? — обратилась она к Свияжскому. — Кажется, больше двадцати? Анна говорила шутливо, но в тоне ее чувствовалось раздражение. Дарья Александровна, внимательно наблюдавшая Анну и Вронского, тотчас те заметила это. Она заметила тояче, что лицо Вронского при этом разговоре тотчас же приняло серьезное и упорное выражение. Заметив это и то, что княжна Варвара тотчас же, чтобы переменить разговор, поспешно заговорила о петербургских знакомых, и, вспомнив то, что некстати говорил Вронский в саду о своей деятельности, Долли поняла, что с этим вопросом об общ,ественной деятельности связывалась какая-то интимная ссора между Анной и Вронским. Обед, вина, сервировка — все было очень хорошо, но все это было такое, какое видела Дарья Александровна на званых больших обедах и балах, от которых она отвыкла, и с тем я^е характером безличности и напряженности; и потому в обыкновенный день и в маленьком кружке все это произвело на нее неприятное впечатление. После обеда посидели на террасе. Потом стали играть в lawn tennis. Игроки, разделившись па две партии, расстановились на тщательно выровненном и убитом крокетграунде, по обе стороны натянутой сетки с золочеными столбиками. Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, а когда поняла, то так устала, что села с княжной Варварой и только смотрела на играющих. Партнер ее Тушкевич тоже отстал; но остальные долго продолжали игру. Свияжский и Вронский оба играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за кидаемым к ним мячом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и, метко и верно поддавая мяч ракетой, перекрідывали за сетку. Весловский играл хуже других. Он слишком горячился, но зато весельем своим одушевлял играющих. Его смех и крики не умолкали. Он снял, как и другие мужчины, с разрешения дам, сюртук, и крупная красивая фигура ^ Благодаря такому образу жизни (франц.). 214

Алексей теперь здесь шесть месяцев, и он уж член, кажется, пяти или шести разных общественных учреждений — попечительство, судья, гласный, присяжный, конской что-то. Du train que cela va[1] все время уйдет на это. И я боюсь, что при таком множестве этих дел это только форма. Вы скольких мест член, Николай Иваныч? — обратилась она к Свияжскому.— Кажется, больше двадцати?

Анна говорила шутливо, но в тоне ее чувствовалось раздражение. Дарья Александровна, внимательно наблюдавшая Анну и Вронского, тотчас же заметила это. Она заметила тоже, что лицо Вронского при этом разговоре тотчас же приняло серьезное и упорное выражение. Заметив это и то, что княжна Варвара тотчас же, чтобы переменить разговор, поспешно заговорила о петербургских знакомых, и, вспомнив то, что некстати говорил Вронский в саду о своей деятельности, Долли поняла, что с этим вопросом об общественной деятельности связывалась какая-то интимная ссора между Анной и Вронским.

Обед, вина, сервировка — все было очень хорошо, но все это было такое, какое видела Дарья Александровна на званых больших обедах и балах, от которых она отвыкла, и с тем же характером безличности и напряженности; и потому в обыкновенный день и в маленьком кружке все это произвело на нее неприятное впечатление.

После обеда посидели на террасе. Потом стали играть в lawn tennis. Игроки, разделившись на две партии, расстановились на тщательно выровненном и убитом *крокет-граунде,* по обе стороны натянутой сетки с золочеными столбиками. Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, а когда поняла, то так устала, что села с княжной Варварой и только смотрела на играющих. Партнер ее Тушкевич тоже отстал; но остальные долго продолжали игру. Свияжский и Вронский оба играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за кидаемым к ним мячом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и, метко и верно поддавая мяч ракетой, перекидывали за сетку. Весловский играл хуже других. Он слишком горячился, но зато весельем своим одушевлял играющих. Его смех и крики не умолкали. Он снял, как и другие мужчины, с разрешения дам, сюртук, и крупная красивая фигура

его в белых рукавах рубашки, с румяным потным лицом и порывистые движения так и врезывались в память. Когда Дарья Александровна в эту ночь легла спать, как только она закрывала глаза, она видела метавшегося по крокетграунду Васеньку Весловского. Во время же игры Дарье Александровне было невесело. Ей не нравилось продолжавшееся при этом игривое Отношение между Васенькой Весловским и Анной и та обіцая ненатуральность больших, когда они одни, без детей, играют в детскую игру. Но, чтобы не расстроить других и как-нибудь провести время, она, отдохнув, опять присоединилась к игре и притворилась, что ей весело. Весь этот день ей все казалось, что она играет на театре С лучшими, чем она, актерами и что ее плохая игра портит все дело. Она приехала с намерением пробыть два дня, если поживется. Но вечером же, во время игры, она решила, что уедет завтра. Те мучительные материнские заботы, которые она так ненавидела дорогой, теперь, после дня, проведенного без них, представлялись ей уже в другом свете и тянули ее к себе. Когда после вечернего чая и ночной прогулки в лодке Дарья Александровна вошла одна в свою комнату, сняла платье и села убирать свои жидкие волосы на ночь, опа почувствовала большое облегчение. Ей даже неприятно было думать, что Анна сейчас придет к ней. Ей хотелось побыть одной с своими мыслями. XXIII Долли уже хотела ложиться, когда Анна в ночном костюме вошла к ней. В продолжение дня несколько раз Анна начинала разговоры о задушевных делах и каждый раз, сказав несколько слов, останавливалась. «После, наедине все переговорим. Мне столько тебе нужно сказать», — говорила она. Теперь они были наедине, и Анна не знала, о чем говорить. Она сидела у окна, глядя на Долли и перебирая в памяти все те, казавшиеся неистощимыми, запасы задушевных разговоров, и не находила ничего. Ей казалось в эту минуту, что все уже было сказано, 215

его в белых рукавах рубашки, с румяным потным лицом и порывистые движения так и врезывались в память.

Когда Дарья Александровна в эту ночь легла спать, как только она закрывала глаза, она видела метавшегося по *крокетграунду* Васеньку Весловского.

Во время же игры Дарье Александровне было невесело. Ей не нравилось продолжавшееся при этом игривое отношение между Васенькой Весловским и Анной и та общая ненатуральность больших, когда они одни, без детей, играют в детскую игру. Но, чтобы не расстроить других и как-нибудь провести время, она, отдохнув, опять присоединилась к игре и притворилась, что ей весело. Весь этот день ей все казалось, что она играет на театре с лучшими, чем она, актерами и что ее плохая игра портит все дело.

Она приехала с намерением пробыть два дня, если поживется. Но вечером же, во время игры, она решила, что уедет завтра. Те мучительные материнские заботы, которые она так ненавидела дорогой, теперь, после дня, проведенного без них, представлялись ей уже в другом свете и тянули ее к себе.

Когда после вечернего чая и ночной прогулки в лодке Дарья Александровна вошла одна в свою комнату, сняла платье и села убирать свои жидкие волосы на ночь, она почувствовала большое облегчение.

Ей даже неприятно было думать, что Анна сейчас придет к ней. Ей хотелось побыть одной с своими мыслями.

XXIII

Долли уже хотела ложиться, когда Анна в ночном костюме вошла к ней.

В продолжение дня несколько раз Анна начинала разговоры о задушевных делах и каждый раз, сказав несколько слов, останавливалась. «После, наедине все переговорим. Мне столько тебе нужно сказать», — говорила она.

Теперь они были наедине, и Анна не знала, о чем говорить. Она сидела у окна, глядя на Долли и перебирая в памяти все те, казавшиеся неистощимыми, запасы задушевных разговоров, и не находила ничего. Ей казалось

— Ну, что КитиV — сказала она, тяжело вздохнув ц виновато глядя на Долли. — Правду скажи мне, Долли, не сердится она на меня? — Сердится? Нет,— улыбаясь, сказала Дарья Александровна. — Но ненавидит, презирает? — О нет! Но ты знаешь, это не прощается. — Да, да,— отвернувшись и глядя в открытое окно, сказала Анна. — Но я не была виновата. И кто виноват? Что такое виноват? Разве могло быть иначе? Ну, как ты думаешь? Могло ли быть, чтобы ты была не жена Стивы? — Право, не знаю. Но вот что ты мне скажи... — Да, да, но мы не кончили про Кити. Она счастлива? Он прекрасный человек, говорят. — Это мало сказать, что прекрасный. Я не знаю лучше человека. — Ах, как я рада! Я очень рада! Мало сказать, что прекрасный человек, — повторила она. Долли улыбнулась. — Но ты мне скалки про себя. Мне с тобой длинный разговор. И мы говорили с... — Долли не знала, как его назвать. Ей было неловко называть его графом и Алексей]\ириллычем. — С Алексеем,— сказала Анна, — я знаю, что вы говорили. Но я хотела спросить тебя прямо, что ты думаешь обо мне, о моей жизни? — I\ак так вдруг сказать? Я, право, не знаю. — Нет, ты мне все-таки скажи... Ты видишь мою ?кизнь. Но ты не забудь, что ты нас видишь летом, когда ты приехала, и мы не одни... Но мы приехали ранііею весной, илили совершенно одни и будем жить одни, и лучше этого я ничего не желаю. Но представь себе, что я живу одна без него, одна, а это будет... Я по всему вижу, что это часто будет повторяться, что он половину времени будет вне дома, — сказала она, вставая и присаллівяясь ближе к Долли. — Разумеется, — перебила она Долли, хотевшую возразить, — разумеется,— я насильно не удерл^у его. Я и не держу. Нынче скачки, его лошади скачут, он едет, и я очень рада. Но ты подумай обо мне, представь себе мое положение... Да что говорить про это! — Она улыбнулась. — Так о чем же он говорил с тобой? — Он говорил о том, о чем я са?via хочу говорить, и мне легко быть его адвокатом: о том, нет лк возмож216

— Ну, что Кити? — сказала она, тяжело вздохнув и виновато глядя на Долли. — Правду скажи мне, Долли, не сердится она на меня?

— Сердится? Нет,— улыбаясь, сказала Дарья Александровна.

— Но ненавидит, презирает?

— О нет! Но ты знаешь, это не прощается.

— Да, да,— отвернувшись и глядя в открытое окно, сказала Анна.— Но я не была виновата. И кто виноват? Что такое виноват? Разве могло быть иначе? Ну, как ты думаешь? Могло ли быть, чтобы ты была не жена Стивы?

— Право, не знаю. Но вот что ты мне скажи...

— Да, да, но мы не кончили про Кити. Она счастлива? Он прекрасный человек, говорят.

— Это мало сказать, что прекрасный. Я не знаю лучше человека.

— Ах, как я рада! Я очень рада! Мало сказать, что прекрасный человек,— повторила она.

Долли улыбнулась.

— Но ты мне скажи про себя. Мне с тобой длинный разговор. И мы говорили с...— Долли не знала, как его назвать. Ей было неловко называть его графом и Алексей Кириллычем.

— С Алексеем,— сказала Анна,— я знаю, что вы говорили. Но я хотела спросить тебя прямо, что ты думаешь обо мне, о моей жизни?

— Как так вдруг сказать? Я, право, не знаю.

— Нет, ты мне все-таки скажи... Ты видишь мою жизнь. Но ты не забудь, что ты нас видишь летом, когда ты приехала, и мы не одни... Но мы приехали раннею весной, жили совершенно одни и будем жить одни, и лучше этого я ничего не желаю. Но представь себе, что я живу одна без него, одна, а это будет... Я по всему вижу, что это часто будет повторяться, что он половину времени будет вне дома, — сказала она, вставая и присаживаясь ближе к Долли.

— Разумеется,— перебила она Долли, хотевшую возразить,— разумеется,— я насильно не удержу его. Я и не держу. Нынче скачки, его лошади скачут, он едет, и я очень рада. Но ты подумай обо мне, представь себе мое положение... Да что говорить про это! — Она улыбнулась.— Так о чем же он говорил с тобой?

— Он говорил о том, о чем я сама хочу говорить,

ности и нельзя ли...— Дарья Александровна запнулась,— исправить, улучшить твое положение... Ты знаешь, как я смотрю... Но все-таки, если возможно, надо выйти замуж... — То есть развод? — сказала Анна. — Ты знаешь, единственная женщина, которая приехала ко мне в Петербурге, это была Бетси Тверская? Ты ведь ее знаешь? Au fond c'est ia femme la pius dépravée qui existe K Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа. И она мне сказала, что она меня знать не хочет, пока мое положение будет неправильно. Не думай, чтобы я сравнивала... Я знаю тебя, душенька моя. Но я невольно вспомнила... Ну, так что же он сказал тебе? — повторила она. — Он сказал, что страдает за тебя и за себя. Может быть, ты скажешь, что это эгоизм, но такой законный и благородный эгоизм! Ему хочется, во-первых, узаконить свою дочь и быть твоим мужем, иметь право на тебя. — Какая жена, раба, может быть до такой степени рабой, как я, в моем положении? — мрачно перебила она. — Главное же, чего он хочет... хочет, чтобы ты не страдала. — Это невозможно! Ну? — Ну, и самое законное — он хочет, чтобы дети ваши имели имя. — Какие же дети? — не глядя на Долли и щурясь, сказала Анна. — Ани и будущие... — Это он может быть спокоен, у меня не будет больше детей. — Как же ты можеяіь сказать, что не будет?.. — Не будет, потому что я этого не хочу. И, несмотря на все свое волнение, Анна улыбнулась, заметив наивное выражение любопытства, удивления к ужаса па лице Долли. — Мне доктор сказал после моей болезни . . . . — Не может быть! — широко открыв глаза, сказала Долли. Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать. ^ В сущности — это развратнейшая женщина (Франц.), 217

ности и нельзя ли...— Дарья Александровна запнулась,— исправить, улучшить твое положение... Ты знаешь, как я смотрю... Но все-таки, если возможно, надо выйти замуж...

— То есть развод? — сказала Анна. — Ты знаешь, единственная женщина, которая приехала ко мне в Петербурге, это была Бетси Тверская? Ты ведь ее знаешь? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe[1]. Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа. И она мне сказала, что она меня знать не хочет, пока мое положение будет неправильно. Не думай, чтобы я сравнивала... Я знаю тебя, душенька моя. Но я невольно вспомнила... Ну, так что же он сказал тебе? — повторила она.

— Он сказал, что страдает за тебя и за себя. Может быть, ты скажешь, что это эгоизм, но такой законный и благородный эгоизм! Ему хочется, во-первых, узаконить свою дочь и быть твоим мужем, иметь право на тебя.

— Какая жена, раба, может быть до такой степени рабой, как я, в моем положении? — мрачно перебила она.

— Главное же, чего он хочет... хочет, чтобы ты не страдала.

— Это невозможно! Ну?

— Ну, и самое законное — он хочет, чтобы дети ваши имели имя.

— Какие же дети? — не глядя на Долли и щурясь, сказала Анна.

— Ани и будущие...

— Это он может быть спокоен, у меня не будет больше детей.

— Как же ты можешь сказать, что не будет?..

— Не будет, потому что я этого не хочу.

И, несмотря на все свое волнение, Анна улыбнулась, заметив наивное выражение любопытства, удивления и ужаса на лице Долли.

— Мне доктор сказал после моей болезни . . . .

. . . . . .

— Не может быть! — широко открыв глаза, сказала Долли. Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать.

Открытие это, вдруг объяснившее для нее все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка, вызвало в ней столько мыслей, соображений и противоречивых чувств, что она ничего не умела сказать и только широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на Анну. Это было то самое^ о чем она мечтала еще нынче дорогой, но теперь, узнав, что это возможно, она ужаснулась. Она чувствовала, что это было слишком простое решение слишком сложного вопроса. — N'est ce pas immoral? ^ — только сказала она, помолчав. — Отчего? Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа, все равно мужа, — умышленно поверхностным и легкомысленным тоном сказала Анна. — Иу да, ну да,— говорила Дарья Александровна, слушая те самые аргументы, которые она сама себе приводила, и не находя в них более прежней убедительности. — Для тебя, для других, — говорила Анна, как будто угадывая ее мысли, — еще может быть сомнение; но для меня... Ты пойми, я не жена; он любит меня до тех пор, пока любит. И что ж, чем же я поддержу его любовь? Вот этим? Она вытянула белые руки пред животом. С необыкновенною быстротой, как это бывает в минуты волнения, мысли п воспоминания толпились в голове Дарьи Александровны. «Я, — думала она,— не привлекала к себе Стиву; он ушел от меня к другим, и та первая, для которой он изменил мне, не удержала его тем, что она была всегда красива и весела. Он бросил ту и взял другую. И неужели Анна этим привлечет и удержит графа Вронского? Если он будет искать этого, то найдет туалеты и манеры еще более привлекательные и веселые. И как ни белы, как ни прекрасны ее обнаженные руки, как ни красив весь ее полный стан, ее разгоряченное лицо из-за этих черных волос, он найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж». Долли ничего не отвечала и только вздохнула. Анна заметила этот вздох, выказывавший несогласие, и продолжала. В запасе у ней были еще аргументы, уже столь сильные, что отвечать на них ничего нельзя было. ^ Разве это не безнравственно? (франц.) 218

Открытие это, вдруг объяснившее для нее все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка, вызвало в ней столько мыслей, соображений и противоречивых чувств, что она ничего не умела сказать и только широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на Анну. Это было то самое, о чем она мечтала еще нынче дорогой, но теперь, узнав, что это возможно, она ужаснулась. Она чувствовала, что это было слишком простое решение слишком сложного вопроса.

— N'est ce pas immoral? [1] — только сказала она, помолчав.

— Отчего? Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа, все равно мужа,— умышленно поверхностным и легкомысленным тоном сказала Анна.

— Ну да, ну да,— говорила Дарья Александровна, слушая те самые аргументы, которые она сама себе приводила, и не находя в них более прежней убедительности.

— Для тебя, для других,— говорила Анна, как будто угадывая ее мысли,— еще может быть сомнение; но для меня... Ты пойми, я не жена; он любит меня до тех пор, пока любит. И что ж, чем же я поддержу его любовь? Вот этим?

Она вытянула белые руки пред животом.

С необыкновенною быстротой, как это бывает в минуты волнения, мысли и воспоминания толпились в голове Дарьи Александровны. «Я,— думала она,— не привлекала к себе Стиву; он ушел от меня к другим, и та первая, для которой он изменил мне, не удержала его тем, что она была всегда красива и весела. Он бросил ту и взял другую. И неужели Анна этим привлечет и удержит графа Вронского? Если он будет искать этого, то найдет туалеты и манеры еще более привлекательные и веселые. И как ни белы, как ни прекрасны ее обнаженные руки, как ни красив весь ее полный стан, ее разгоряченное лицо из-за этих черных волос, он найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж».

Долли ничего не отвечала и только вздохнула. Анна заметила этот вздох, выказывавший несогласие, и продолжала. В запасе у ней были еще аргументы, уже столь сильные, что отвечать на них ничего нельзя было.

— Ты говорить, что это нехорошо? Но надо рассуй дить, — продолжала она.— Ты забываешь мое положение. Как я могу желать детей? Я не говорю про страдания, я их не боюсь. Подумай, кто будут мои дети? Несчастные дети, которые будут носить чужое имя. По самому своему рождению они будут поставлены в необходимость стыдиться матери, отца, своего рождения. — Да ведь для этого-то и нужен развод. Но Анна не слушала ее. Ей хотелось договорить те самые доводы, которыми она столько раз убеждала себя. — Зачем же мне дан разум, если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных? Она посмотрела на Долли, но, не дождавшись ответа, продолжала: — Я бы всегда чувствовала себя виноватою пред этими несчастными детьми, — сказала она. — Если их нет, то они не несчастны по крайней мере, а если они несчастны, то я одна в этом виновата. Это были те самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себе; но теперь она слушала и не понимала их. «Как быть виноватою пред суш;ествами не суп];ествующ;ими?» — думала она. И вдруг ей пришла мысль: могло ли быть в каком-нибудь случае лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не суш;ествовал? И это ей показалось так дико, так странно, что она помотала головой, чтобы рассеять эту путаницу крул^агцихся сумасшедших мыслей. — Нет, я не знаю, это не хорошо, — только сказала опа с выражением гадливости на лице. — Да, но ты не забудь, что ты и что я... И кроме того,— прибавила Анна, несмотря на богатство своих доводов и на бедность доводов Долли, как будто все-таки сознаваясь, что это не хорошо, — ты не забудь главное, что я теперь нахожусь не в том положении, как ты. Для тебя вопрос: желаешь ли ты не иметь более детей, а для меня: желаю ли иметь я их. И это большая разница. Понимаешь, что я не могу этого желать в моем полоя^ении. Дарья Александровна не возражала. Она вдруг почувствовала, что стала уж так далека от Анны, что мея^ду ними существуют вопросы, в которых они никогда не сойдутся и о которых лучше не говорить. 219

— Ты говоришь, что это нехорошо? Но надо рассудить, — продолжала она.— Ты забываешь мое положение. Как я могу желать детей? Я не говорю про страдания, я их не боюсь. Подумай, кто будут мои дети? Несчастные дети, которые будут носить чужое имя. По самому своему рождению они будут поставлены в необходимость стыдиться матери, отца, своего рождения.

— Да ведь для этого-то и нужен развод.

Но Анна не слушала ее. Ей хотелось договорить те самые доводы, которыми она столько раз убеждала себя.

— Зачем же мне дан разум, если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных?

Она посмотрела на Долли, но, не дождавшись ответа, продолжала:

— Я бы всегда чувствовала себя виноватою пред этими несчастными детьми,— сказала она.— Если их нет, то они не несчастны по крайней мере, а если они несчастны, то я одна в этом виновата.

Это были те самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себе; но теперь она слушала и не понимала их. «Как быть виноватою пред существами не существующими?» — думала она. И вдруг ей пришла мысль: могло ли быть в каком-нибудь случае лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не существовал? И это ей показалось так дико, так странно, что она помотала головой, чтобы рассеять эту путаницу кружащихся сумасшедших мыслей.

— Нет, я не знаю, это не хорошо,— только сказала она с выражением гадливости на лице.

— Да, но ты не забудь, что́ ты и что́ я... И кроме того,— прибавила Анна, несмотря на богатство своих доводов и на бедность доводов Долли, как будто все-таки сознаваясь, что это не хорошо,— ты не забудь главное, что я теперь нахожусь не в том положении, как ты. Для тебя вопрос: желаешь ли ты не иметь более детей, а для меня: желаю ли иметь я их. И это большая разница. Понимаешь, что я не могу этого желать в моем положении.

Дарья Александровна не возражала. Она вдруг почувствовала, что стала уж так далека от Анны, что между ними существуют вопросы, в которых они никогда не сойдутся и о которых лучше не говорить.

XXIV — Так тем более тебе надо устроить свое положение, если возможно,— сказала Долли. — Да, если возмоялio, — сказала Анна вдруг совершенно другим, тихим и грустным голосом. — Разве невозмоншн развод? Мне говорили, что муя« твой согласен. — Долли! Мне не хочется говорить про это. — Ну, не будем,— поспешила сказать Дарья Александровна, заметив выран^ение страдания на лице Анны. — Я только вижу, что ты слишком мрачно смотришь. — Я? Нисколько. Я очень весела ii довольна. Ты видела, je fais des passions К Весловский... — Да, если правду сказать, мне не понравился топ Весловского, — сказала Дарья Александровна, я^елая переменить разговор. — Ах, нисколько! Это щекотит Алексея и больше ничего; по он мальчик и весь у меня в руках; ты понимаешь, я им управляю, как хочу. Он все равно, что твой Гриша... Долли! — вдруг переменила она речь, — ты говоришь, что я мрачно смотрю. Ты не моя^ешь понимать. Это слишком ужасно. Я стараюсь вовсе не смотреть. — Но, мне кажется, надо. Надо сделать все, что можно. — Но что я^е можно? Ничего. Ты говоришь, выйти замуж за Алексея и что я не думаю об этом. Я не думаю об этом!! — повторила она, и краска выступила ей на лицо. Опа встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула и стала ходить своею легкою походкой взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь. — Я не думаю? Нет дня, часа, когда бы я не думала и не упрекала себя за то, что думаю... потому что мысли об этом могут с ума свести. С ума свести, — повторила она. — Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина. Но хорошо. Будем говорить спокойно. Мне говорят — развод. Во-первых, он не даст мне его. Он теперь под влиянием графини Лидии Ивановны. Дарья Александровна, прямо вытянувшись на стуле, со страдальчески-сочувствующим лицом следила, поворачивая голову, за ходившею Анной. — Надо попытаться, — тихо сказала она. ^ я имею усиех (франц.). 220

— Так тем более тебе надо устроить свое положение, если возможно,— сказала Долли.

— Да, если возможно,— сказала Анна вдруг совершенно другим, тихим и грустным голосом.

— Разве невозможен развод? Мне говорили, что муж твой согласен.

— Долли! Мне не хочется говорить про это.

— Ну, не будем,— поспешила сказать Дарья Александровна, заметив выражение страдания на лице Анны. — Я только вижу, что ты слишком мрачно смотришь.

— Я? Нисколько. Я очень весела и довольна. Ты видела, je fais des passions [1]. Весловский...

— Да, если правду сказать, мне не понравился тон Весловского,— сказала Дарья Александровна, желая переменить разговор.

— Ах, нисколько! Это щекотит Алексея и больше ничего; но он мальчик и весь у меня в руках; ты понимаешь, я им управляю, как хочу. Он все равно, что твой Гриша... Долли! — вдруг переменила она речь,— ты говоришь, что я мрачно смотрю. Ты не можешь понимать. Это слишком ужасно. Я стараюсь вовсе не смотреть.

— Но, мне кажется, надо. Надо сделать все, что можно.

— Но что же можно? Ничего. Ты говоришь, выйти замуж за Алексея и что я не думаю об этом. Я не думаю об этом!! — повторила она, и краска выступила ей на лицо. Она встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула и стала ходить своею легкою походкой взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь.— Я не думаю? Нет дня, часа, когда бы я не думала и не упрекала себя за то, что думаю... потому что мысли об этом могут с ума свести. С ума свести,— повторила она.— Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина. Но хорошо. Будем говорить спокойно. Мне говорят — развод. Во-первых, *он* не даст мне его. *Он* теперь под влиянием графини Лидии Ивановны.

Дарья Александровна, прямо вытянувшись на стуле, со страдальчески-сочувствующим лицом следила, поворачивая голову, за ходившею Анной.

— Надо попытаться,— тихо сказала она.

— Положим, попытаться. Что это значит? — сказала она, очевидно мысли, тысячу раз передуманные и наизусть заученные. — Это значит, мне, ненавидящей его, но все-таки признающей себя виноватою пред ним,— и я считаю его великодушным,— мне унизиться писать ему... Ну, положим, я сделаю усилие, сделаю это. Или я получу оскорбительный ответ, или согласие. Хорошо, я получила согласие...— Анна в это время была в дальнем конце комнаты и остановилась там, что-то делая с гардиной окна. — Я получу согласие, а сы... сын? Ведь они мне не отдадут его. Ведь он вырастет, презирая меня, у отца, которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоих больше себя, два существа — Сережу и Алексея. Она вышла на середину комнаты и остановилась пред Долли, сжимая руками грудь. В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и исподлобья смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую, худенькую и жалкую в своей штопаной кофточке и ночном чепчике, всю дрожавшую от волнения Долли. — Только эти два существа я люблю, и одно исключает другое. Я не могу их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет, то все равно. Все, все равно. И как-нибудь кончится, и потому я не могу, не люблю говорить про это. Так ты не упрекай меня, не суди меня ни в чем. Ты не можешь со своею чистотой понять всего того, чем я страдаю. Она подошла, села рядом с Долли и, с виноватым выражением вглядываясь в ее лицо, взяла ее за руку. — Что ты думаешь? Что ты думаеіпь обо мне? Ты не презирай меня. Я не стою презрения. Я именно несчастна. Если кто несчастен, так это я,— выговорила она и, отвернувшись от нее, заплакала. Оставшись одна, Долли помолилась богу и легла в постель. Ей всею душой было жалко Анну в то время, как она говорила с ней; но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминания о доме и детях с особенною, новою для нее прелестью, в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она пи за что не хотела вне его провести лишний день и решила, что завтра непременно уедет. 221

— Положим, попытаться. Что это значит? — сказала она, очевидно мысли, тысячу раз передуманные и наизусть заученные. — Это значит, мне, ненавидящей его, но все-таки признающей себя виноватою пред ним,— и я считаю его великодушным,— мне унизиться писать ему... Ну, положим, я сделаю усилие, сделаю это. Или я получу оскорбительный ответ, или согласие. Хорошо, я получила согласие...— Анна в это время была в дальнем конце комнаты и остановилась там, что-то делая с гардиной окна. — Я получу согласие, а сы... сын? Ведь они мне не отдадут его. Ведь он вырастет, презирая меня, у отца, которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоих больше себя, два существа — Сережу и Алексея.

Она вышла на середину комнаты и остановилась пред Долли, сжимая руками грудь. В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и исподлобья смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую, худенькую и жалкую в своей штопаной кофточке и ночном чепчике, всю дрожавшую от волнения Долли.

— Только эти два существа я люблю, и одно исключает другое. Я не могу их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет, то все равно. Все, все равно. И как-нибудь кончится, и потому я не могу, не люблю говорить про это. Так ты не упрекай меня, не суди меня ни в чем. Ты не можешь со своею чистотой понять всего того, чем я страдаю.

Она подошла, села рядом с Долли и, с виноватым выражением вглядываясь в ее лицо, взяла ее за руку.

— Что ты думаешь? Что ты думаешь обо мне? Ты не презирай меня. Я не стою презрения. Я именно несчастна. Если кто несчастен, так это я,— выговорила она и, отвернувшись от нее, заплакала.

Оставшись одна, Долли помолилась богу и легла в постель. Ей всею душой было жалко Анну в то время, как она говорила с ней; но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминания о доме и детях с особенною, новою для нее прелестью, в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести лишний день и решила, что завтра

Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, успокоенная, с спокойным и веселым духом пошла в спальню. Когда она вошла в спальню, Вронский внимательно посмотрел на нее. Он искал следов того разговора, который, он знал, она, так долго оставаясь в комнате Долли, должна была иметь с нею. Но в ее выражении, возбужденно-сдержанном и что-то скрывающем, он ничего не нашел, кроме хотя и привычной ему, но все еще пленяющей его красоты, сознания ее и я^елания, чтоб она на него действовала. Он не хотел спросить ее о том, что они говорили, но надеялся, что она сама скажет что-нибудь. Но она сказала только: — Я рада, что тебе понравилась Долли. Не правда ли? — Да ведь я ее давно знаю. Она очень добрая, кажется, mais excessivement terre-à-terre К Но все-таки я ей очень был рад. Он взял руку Анны и посмотрел ей вопросительно в глаза. Ока, иначе поняв этот взгляд, улыбнулась ему. На другое утро, несмотря на упрашивания хозяев, Дарья Александровна собралась ехать. Кучер Левина в своем не новом кафтане и полуямской шляпе, на разномастных лошадях, в коляске с заплатанными крыльями мрачно и решительно въехал в крытый, усыпанный песком подъезд. Прощание с княжной Варварой, с муяшинами было неприятно Дарье Александровне. Пробыв день, и она и хозяева ясно чувствовали, что они не подходят друг к другу и что лучше им не сходиться. Одной Анне было грустно. Она знала, что теперь, с отъездом Долли, никто уже не растревожит в ее душе те чувства, которые поднялись в ней при этом свидании. Тревожить эти чувства ей было больно, но она все-таки знала, что это была самая лучшая часть ее души и что эта часть ее души быстро зарастала в той лшзни, которую она вела. Выехав в поле, Дарья Александровна испытала приятное чувство облегчения, и ей хотелось спросить у людей. ^ но слишком прозаична (франц.). 222

Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, успокоенная, с спокойным и веселым духом пошла в спальню.

Когда она вошла в спальню, Вронский внимательно посмотрел на нее. Он искал следов того разговора, который, он знал, она, так долго оставаясь в комнате Долли, должна была иметь с нею. Но в ее выражении, возбужденно-сдержанном и что-то скрывающем, он ничего не нашел, кроме хотя и привычной ему, но все еще пленяющей его красоты, сознания ее и желания, чтоб она на него действовала. Он не хотел спросить ее о том, что они говорили, но надеялся, что она сама скажет что-нибудь. Но она сказала только:

— Я рада, что тебе понравилась Долли. Не правда ли?

— Да ведь я ее давно знаю. Она очень добрая, кажется, mais excessivement terre-à-terre [1]. Но все-таки я ей очень был рад.

Он взял руку Анны и посмотрел ей вопросительно в глаза.

Она, иначе поняв этот взгляд, улыбнулась ему.

На другое утро, несмотря на упрашивания хозяев, Дарья Александровна собралась ехать. Кучер Левина в своем не новом кафтане и полуямской шляпе, на разномастных лошадях, в коляске с заплатанными крыльями мрачно и решительно въехал в крытый, усыпанный песком подъезд.

Прощание с княжной Варварой, с мужчинами было неприятно Дарье Александровне. Пробыв день, и она и хозяева ясно чувствовали, что они не подходят друг к другу и что лучше им не сходиться. Одной Анне было грустно. Она знала, что теперь, с отъездом Долли, никто уже не растревожит в ее душе те чувства, которые поднялись в ней при этом свидании. Тревожить эти чувства ей было больно, но она все-таки знала, что это была самая лучшая часть ее души и что эта часть ее души быстро зарастала в той жизни, которую она вела.

Выехав в поле, Дарья Александровна испытала приятное чувство облегчения, и ей хотелось спросить у людей,

как им понравилось у Вронского, как вдруг кучер Филипп сам заговорил: — Богачи-то богачи, а овса всего три меры дали. До петухов дочиста подобрали. Что ж три меры? только закусить. Ныне овес у дворников сорок пять копеек. У нас небось приезжим сколько съедят, столько дают. — Скупой барин, — подтвердил конторщик. — Ну, а лошади их понравились тебе? — спросила Долли. — Лошади — одно слово. Н пища хороша. А так мне скучно что-то показалось, Дарья Александровна, не знаю, как вам, ~ сказал он, обернув к ней свое красивое и доброе лицо. — Да и мне тоже. Что ж, к вечеру доедем? — Надо доехать. Вернувшись домой и найдя всех вполне благополучными и особенно милыми, Дарья Александровна с большим оживлением рассказывала про свою поездку, про то, как ее хорошо принимали, про роскошь и хороший вкус жизни Вронских, про их увеселения и не давала никому слова сказать против них. — Надо знать Анну и Вронского — я его больше узнала теперь,— чтобы понять, как они милы и трогательны, — теперь совершенно искренно говорила она, забыв то неопределенное чувство недовольства и неловкости, которое она испытывала там. XXV Вронский и Анна, все в тех же условиях, так же не принимая никаких мер для развода, прожили все лето и часть осени в деревне. Было между ними решено, что они никуда не поедут; по оба чувствовали, чем долее они жили одни, в особенности осенью и без гостей, что они не выдержат этой жизни и что придется изменить ее. Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя: был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия. Анна без гостей все так же занималась собою и очень много занималась чтением — и романов и серьезных книг, какие были в моде. Она выписывала все те книги, о которых с похвалой упоминалось в получаемых ею иностранных газетах и журналах, и с тою внимательностью к читаемому, которая бывает только 223

как им понравилось у Вронского, как вдруг кучер Филипп сам заговорил:

— Богачи-то богачи, а овса всего три меры дали. До петухов дочиста подобрали. Что ж три меры? только закусить. Ныне овес у дворников сорок пять копеек. У нас небось приезжим сколько съедят, столько дают.

— Скупой барин,— подтвердил конторщик.

— Ну, а лошади их понравились тебе? — спросила Долли.

— Лошади — одно слово. И пища хороша. А так мне скучно что-то показалось, Дарья Александровна, не знаю, как вам, — сказал он, обернув к ней свое красивое и доброе лицо.

— Да и мне тоже. Что ж, к вечеру доедем?

— Надо доехать.

Вернувшись домой и найдя всех вполне благополучными и особенно милыми, Дарья Александровна с большим оживлением рассказывала про свою поездку, про то, как ее хорошо принимали, про роскошь и хороший вкус жизни Вронских, про их увеселения и не давала никому слова сказать против них.

— Надо знать Анну и Вронского — я его больше узнала теперь,— чтобы понять, как они милы и трогательны,— теперь совершенно искренно говорила она, забыв то неопределенное чувство недовольства и неловкости, которое она испытывала там.

XXV

Вронский и Анна, все в тех же условиях, так же не принимая никаких мер для развода, прожили все лето и часть осени в деревне. Было между ними решено, что они никуда не поедут; но оба чувствовали, чем долее они жили одни, в особенности осенью и без гостей, что они не выдержат этой жизни и что придется изменить ее.

Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя: был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия. Анна без гостей все так же занималась собою и очень много занималась чтением — и романов и серьезных книг, какие были в моде. Она выписывала все те книги, о которых с похвалой упоминалось в получаемых ею иностранных газетах и журналах, и

в уединении, прочитывала их. Кроме того, все предметы, которыми занимался Вронский, она изучала по книгам и специальным журналам, так что часто он обращался прямо к ней с агрономическими, архитектурными, даже иногда коннозаводческимрі и спортсменскими вопросами. Он удивлялся ее знанию, памяти и сначала, сомневаясь, желал подтверждения; и она находила в книгах то, о чем он спрашивал, и показывала ему. Устройство больницы тоже занимало ее. Она не только помогала, но многое и устраивала и придумывала сама. Но главная забота ее все-таки была она сама — она сама, насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить для него все, что он оставил. Вронский ценил это, сделавшееся единственною целью ее жизни, желание пе только нравиться, но служить ему, но вместе с тем и тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его. Чем больше проходило времени, чем чаще он видел себя опутанным этими сетями, тем больше ему хотелось не то что выйти из них, но попробовать, не мешают ли они его свободе. Если бы не это все усиливающееся желание быть свободным, не иметь сцены каждый раз, как ему надо было ехать в город на съезд, на бега, Вронский был бы вполне доволен своею жизнью. Роль, которую он избрал, роль богатого землевладельца, из каких должно состоять ядро русской аристократии, не только пришлась ему вполне по вкусу, но теперь, после того как он прожил так полгода, доставляла ему все возрастающее удовольствие. И дело его, все больше и больше занимая и втягивая его, шло прекрасно. Несмотря на огромные деньги, которых ему стоила больница, машины, выписанные из Швейцарии коровы іі многое другое, он был уверен, что он не расстраивал, а увеличивал свое состояние. Там, где дело шло до доходов, продажи лесов, хлеба, шерсти, отдачи земель, Вронский был крепок, как кремень, и умел выдерживать цену. В делах большого хозяйства и в этом и в других имениях он держался самых простых, нерискованных приемов и был в высшей степени бережлив и расчетлив на хозяйственные мелочи. Несмотря на всю хитрость и ловкость немца, втягивавшего его в покупки и выставлявшего всякий расчет так, что нужно было сначала гораздо больше, но, сообразив, можно было сделать то же и дешевле и тотчас же получить выгоду,

Вронский не поддавался ему. Он выслушивал управляющего, расспрашивал и соглашался с ним, только

в уединении, прочитывала их. Кроме того, все предметы, которыми занимался Вронский, она изучала по книгам и специальным журналам, так что часто он обращался прямо к ней с агрономическими, архитектурными, даже иногда коннозаводческими и спортсменскими вопросами. Он удивлялся ее знанию, памяти и сначала, сомневаясь, желал подтверждения; и она находила в книгах то, о чем он спрашивал, и показывала ему.

Устройство больницы тоже занимало ее. Она не только помогала, но многое и устраивала и придумывала сама. Но главная забота ее все-таки была она сама — она сама, насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить для него все, что он оставил. Вронский ценил это, сделавшееся единственною целью ее жизни, желание не только нравиться, но служить ему, но вместе с тем и тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его. Чем больше проходило времени, чем чаще он видел себя опутанным этими сетями, тем больше ему хотелось не то что выйти из них, но попробовать, не мешают ли они его свободе. Если бы не это все усиливающееся желание быть свободным, не иметь сцены каждый раз, как ему надо было ехать в город на съезд, на бега, Вронский был бы вполне доволен своею жизнью. Роль, которую он избрал, роль богатого землевладельца, из каких должно состоять ядро русской аристократии, не только пришлась ему вполне по вкусу, но теперь, после того как он прожил так полгода, доставляла ему все возрастающее удовольствие. И дело его, все больше и больше занимая и втягивая его, шло прекрасно. Несмотря на огромные деньги, которых ему стоила больница, машины, выписанные из Швейцарии коровы и многое другое, он был уверен, что он не расстраивал, а увеличивал свое состояние. Там, где дело шло до доходов, продажи лесов, хлеба, шерсти, отдачи земель, Вронский был крепок, как кремень, и умел выдерживать цену. В делах большого хозяйства и в этом и в других имениях он держался самых простых, нерискованных приемов и был в высшей степени бережлив и расчетлив на хозяйственные мелочи. Несмотря на всю хитрость и ловкость немца, втягивавшего его в покупки и выставлявшего всякий расчет так, что нужно было сначала гораздо больше, но, сообразив, можно было сделать то же и дешевле и тотчас же получить выгоду, Вронский не поддавался ему. Он выслушивал

когда выписываемое или устраиваемое было самое новое, в России еще неизвестное, могущее возбудить удивление. Кроме того, on решался на большой расход только тогда, когда были лишние деньги, и, делая этот расход, доходил до всех подробностей и настаивал на том, чтоб иметь самое лучшее за свои деньги. Так что по тому, как он повел дела, было ясно, что он не расстроил, а увеличил свое состояние. В октябре месяце были дворянские выборы в Кашинской губернии, где были имения Вронского, Свияжского, Кознышева, Облонского и маленькая часть Левина. Выборы эти, по многим обстоятельствам и лицам, участвовавшим в них, обращали на себя общественное внимание. О них много говорили и к ним готовились. Московские, петербургские и заграничные жители, никогда не бывавшие на выборах, съехались на эти выборы. Вронский давно уже обещал Свияжскому ехать па них. Пред выборами Свияжский, часто навещавший Воздвиженское, заехал за Вронским. Накануне еще этого дня между Вронским и Анной произошла почти ссора за эту предполагаемую поездку. Было самое тяжелое, скучное в деревне осеннее время, и потому Вронский, готовясь к борьбе, со строгим и холодным выражением, как он никогда прежде не говорил с Анной, объявил ей о своем отъезде. Но, к его удивлению, Анна приняла это известие очень спокойно и спросила только, когда он вернется. Он внимательно посмотрел на нее, не понимая этого спокойствия. Она улыбнулась на его взгляд. Он знал эту способность ее уходить в себя и знал, что это бывает только тогда, когда она па что-нибудь решилась про себя, не сообщая ему своих планов. Он боялся этого; но ему так хотелось избежать сцены, что он сделал вид и отчасти искренно поверил тому, чему ему хотелось верить, — ее благоразумию. — Надеюсь, ты не будешь скучать? — Надеюсь, — сказала Анна. — Я вчера получила ящик книг от Готье. Нет, я не буду скучать. «Она хочет взять этот тон, и тем лучше, — подумал он,— а то все одно и то же». И так и не вызвав ее на откровенное объяснение, он уехал на выборы. Это было еще в первый раз с начала их связи, что он расставался с нею, не объяснившись до конца. С одной стороны, это беспокоило его, с другой стороны. 8 л. и. Толстой, т. 9 225

когда выписываемое или устраиваемое было самое новое, в России еще неизвестное, могущее возбудить удивление. Кроме того, он решался на большой расход только тогда, когда были лишние деньги, и, делая этот расход, доходил до всех подробностей и настаивал на том, чтоб иметь самое лучшее за свои деньги. Так что по тому, как он повел дела, было ясно, что он не расстроил, а увеличил свое состояние.

В октябре месяце были дворянские выборы в Кашинской губернии, где были имения Вронского, Свияжского, Кознышева, Облонского и маленькая часть Левина.

Выборы эти, по многим обстоятельствам и лицам, участвовавшим в них, обращали на себя общественное внимание. О них много говорили и к ним готовились. Московские, петербургские и заграничные жители, никогда не бывавшие на выборах, съехались на эти выборы.

Вронский давно уже обещал Свияжскому ехать на них.

Пред выборами Свияжский, часто навещавший Воздвиженское, заехал за Вронским.

Накануне еще этого дня между Вронским и Анной произошла почти ссора за эту предполагаемую поездку. Было самое тяжелое, скучное в деревне осеннее время, и потому Вронский, готовясь к борьбе, со строгим и холодным выражением, как он никогда прежде не говорил с Анной, объявил ей о своем отъезде. Но, к его удивлению, Анна приняла это известие очень спокойно и спросила только, когда он вернется. Он внимательно посмотрел на нее, не понимая этого спокойствия. Она улыбнулась на его взгляд. Он знал эту способность ее уходить в себя и знал, что это бывает только тогда, когда она на что-нибудь решилась про себя, не сообщая ему своих планов. Он боялся этого; но ему так хотелось избежать сцены, что он сделал вид и отчасти искренно поверил тому, чему ему хотелось верить, — ее благоразумию.

— Надеюсь, ты не будешь скучать?

— Надеюсь,— сказала Анна.— Я вчера получила ящик книг от Готье. Нет, я не буду скучать.

«Она хочет взять этот тон, и тем лучше, — подумал он,— а то все одно и то же».

И так и не вызвав ее на откровенное объяснение, он уехал на выборы. Это было еще в первый раз с начала их связи, что он расставался с нею, не объяснившись до конца

on находил, что это лучше. «Сначала будет, как теперь, что-то неясное, затаенное, а потом она привыкнет. Во всяком случае, я все могу отдать ей, но не свою мужскую независимость»,— думал он. XXVI В сентябре Левин переехал в Москву для родов Кити. Он уже жил без дела целый месяц в Москве, когда Сергей Иванович, имевший именье в Кашинской губернии и принимавший живое участие в вопросе предстояш,их выборов, собрался ехать на выборы. Он звал с собою п брата, у .которого был шар по Селезневскому уезду. Кроме этого, у Левина было в Кашине крайне нужное для сестры его, явившей за границей, дело по опеке и по получению денег выкупа. Левин все еще был в нерешительности, но Кити, видевшая, что он скучает в Москве, и советовавшая ему ехать, помимо его заказала ему дворянский мундир, стоивший восемьдесят рублей. И эти восемьдесят рублей, заплаченные за мундир, были главной причиной, побудившей Левина ехать. Он поехал в Кашин. Левин был в Кашине уже шестой день, посещая каждый день собрание и хлопоча по делу сестры, которое все не ладилось. Предводители все были заняты выборами, и нельзя было добиться того самого простого дела, которое зависело от опеки. Другое же дело — получение денег — точно так же встречало препятствия. После долгих хлопот о снятии запрещения деньги были готовы к выдаче; но нотариус, услужливейший человек, не мог выдать талона, потому что нужна была подпись председателя, а председатель, не сдав должности, был на сессии. Все эти хлопоты, хождения из места в место, разговоры с очень добрыми, хорошими людьми, понимающими вполне неприятность положения просителя, но не могущими пособить ему,— все это напряжение, не дающее никаких результатов, произвело в Левине чувство мучительное, подобное тому досадному бессилию, которое испытываешь во сне, когда хочешь употребить физическую силу. Он испытывал это часто, разговаривая со своим добродушнейшим поверенным. Этот поверенный делал, казалось, все возможное и напрягал все свои умственные силы, чтобы вывести Левина из затруднения. «Вот что попробуй-) 226

он находил, что это лучше. «Сначала будет, как теперь, что-то неясное, затаенное, а потом она привыкнет. Во всяком случае, я все могу отдать ей, но не свою мужскую независимость»,— думал он.

XXVI

В сентябре Левин переехал в Москву для родов Кити. Он уже жил без дела целый месяц в Москве, когда Сергей Иванович, имевший именье в Кашинской губернии и принимавший живое участие в вопросе предстоящих выборов, собрался ехать на выборы. Он звал с собою и брата, у .которого был шар по Селезневскому уезду. Кроме этого, у Левина было в Кашине крайне нужное для сестры его, жившей за границей, дело по опеке и по получению денег выкупа.

Левин все еще был в нерешительности, но Кити, видевшая, что он скучает в Москве, и советовавшая ему ехать, помимо его заказала ему дворянский мундир, стоивший восемьдесят рублей. И эти восемьдесят рублей, заплаченные за мундир, были главной причиной, побудившей Левина ехать. Он поехал в Кашин.

Левин был в Кашине уже шестой день, посещая каждый день собрание и хлопоча по делу сестры, которое все не ладилось. Предводители все были заняты выборами, и нельзя было добиться того самого простого дела, которое зависело от опеки. Другое же дело — получение денег — точно так же встречало препятствия. После долгих хлопот о снятии запрещения деньги были готовы к выдаче; но нотариус, услужливейший человек, не мог выдать талона, потому что нужна была подпись председателя, а председатель, не сдав должности, был на сессии. Все эти хлопоты, хождения из места в место, разговоры с очень добрыми, хорошими людьми, понимающими вполне неприятность положения просителя, но не могущими пособить ему,— все это напряжение, не дающее никаких результатов, произвело в Левине чувство мучительное, подобное тому досадному бессилию, которое испытываешь во сне, когда хочешь употребить физическую силу. Он испытывал это часто, разговаривая со своим добродушнейшим поверенным. Этот поверенный делал, казалось, все возможное и напрягал все свои умственные силы, что-

те,— ue раз говорил он,— съездите туда-то и туда-то», и поверенный делал целый план, как обойти то роковое начало, которое метало всему. Но тотчас же прибавлял: «Все-таки задерятт; однако попробуйте». И Левин пробовал, ходил, ездил. Все были добры и любезны, но оказывалось, что обойденное вырастало опять на конце и опять преграждало путь. В особенности было обидно то, что Левин не мог никак попять, с кем он борется, кому выгода оттого, что его дело не кончается. Этого, казалось, никто не знал; не знал и поверенный. Если б Левин мог понять, как он понимал, почему подходить к кассе на железной дороге нельзя иначе, как становясь в ряд, ему бы не было обидно и досадно; но в препятствиях, которые он встречал по делу, никто не мог объяснить ему, для чего они супі;ествуют. Но Левин много изменился со времени своей женитьбы; он был терпелив и если не понимал, для чего все это так устроено, то говорил себе, что, не зная всего, он не может судить, что, вероятно, так надобно, и старался не возмуіцаться. Теперь, присутствуя на выборах и участвуя в них, он старался также не осуждать, не спорить, а сколько возможно понять то дело, которым с такою серьезностью и увлечением занимались уважаемые им честные и хорошие люди. С тех пор как он женился, Левину открылось столько новых, серьезных сторон, прежде, по легкомысленному к ним отношению, казавшихся ничтожными, что и в деле выборов он предполагал и искал серьезного значения. Сергей Иванович объяснил ему смысл и значение предполагавшегося на выборах переворота. Губернский предводитель, в руках которого по закону находилось столько важных общественных дел, — и опеки (те самые, от которых страдал теперь Левин), и дворянские огромные суммы, и гимназии женская, мужская и военная, и народное образование по новому положению, и, наконец, земство, — губернский предводитель Снетков был человек старого дворянского склада, проживший огромное состояние, добрый человек, честный в своем роде, но совершенно не понимавший потребностей нового времени. Он во всем всегда держал сторону дворянства, он прямо противодействовал распространению народного образования и придавал земству, долженствующему иметь такое громадное значение, сословный характер. Нужно было на его 8* 227

те,— не раз говорил он,— съездите туда-то и туда-то», и поверенный делал целый план, как обойти то роковое начало, которое мешало всему. Но тотчас же прибавлял: «Все-таки задержат; однако попробуйте». И Левин пробовал, ходил, ездил. Все были добры и любезны, но оказывалось, что обойденное вырастало опять на конце и опять преграждало путь. В особенности было обидно то, что Левин не мог никак понять, с кем он борется, кому выгода оттого, что его дело не кончается. Этого, казалось, никто не знал; не знал и поверенный. Если б Левин мог понять, как он понимал, почему подходить к кассе на железной дороге нельзя иначе, как становясь в ряд, ему бы не было обидно и досадно; но в препятствиях, которые он встречал по делу, никто не мог объяснить ему, для чего они существуют.

Но Левин много изменился со времени своей женитьбы; он был терпелив и если не понимал, для чего все это так устроено, то говорил себе, что, не зная всего, он не может судить, что, вероятно, так надобно, и старался не возмущаться.

Теперь, присутствуя на выборах и участвуя в них, он старался также не осуждать, не спорить, а сколько возможно понять то дело, которым с такою серьезностью и увлечением занимались уважаемые им честные и хорошие люди. С тех пор как он женился, Левину открылось столько новых, серьезных сторон, прежде, по легкомысленному к ним отношению, казавшихся ничтожными, что и в деле выборов он предполагал и искал серьезного значения.

Сергей Иванович объяснил ему смысл и значение предполагавшегося на выборах переворота. Губернский предводитель, в руках которого по закону находилось столько важных общественных дел, — и опеки (те самые, от которых страдал теперь Левин), и дворянские огромные суммы, и гимназии женская, мужская и военная, и народное образование по новому положению, и, наконец, земство, — губернский предводитель Снетков был человек старого дворянского склада, проживший огромное состояние, добрый человек, честный в своем роде, но совершенно не понимавший потребностей нового времени. Он во всем всегда держал сторону дворянства, он прямо противодействовал распространению народного образования

место поставить свежего, современного, дельного человека, совершенно нового, и повести дело так, чтоб извлечь из всех дарованных дворянству, не как дворянству, а как элементу земства, прав те выгоды самоуправления, какие только могли быть извлечены. В богатой Кашинской губернии, всегда шедшей во всем впереди других, теперь набрались такие силы, что дело, поведенное здесь как следует, могло послужить образцом для других губерний, для всей России. И потому все дело имело большое значение. Предводителем на место Снеткова предполагалось поставить или Свияжского, или, еіце лучше. Неведовского, бывшего профессора, замечательно умного человека и большого приятеля Сергея Ивановича. Собрание открыл губернатор, который сказал речь дворянам, чтоб они выбирали должностных лиц не по лицеприятию, а по заслугам и для блага отечества, и что он надеется, что кашинское благородное дворянство, как и в прежние выборы, свято исполнит свой долг и оправдает высокое доверие монарха. Окончив речь, губернатор пошел из залы, и дворяне шумно и оживленно, некоторые даже восторженно, последовали за ним и окружили его в то время, как он надевал шубу и дружески разговаривал с губернским предводителем. Левин, желая во все вникнуть и ничего не пропустить, стоял тут же в толпе и слышал, как губернатор сказал: «Пожалуйста, передайте Марье Ивановне, что жена очень сол^алеет, что она едет в приют». И вслед за тем дворяне весело разобрали шубы, и все поехали в собор. В соборе Левин, вместе с другими поднимая руку и повторяя слова протопопа, клялся самыми страшными клятвами исполнять все то, на что надеялся губернатор. Церковная служба всегда имела влияние на Левина, и когда он произносил слова «целую крест» и оглянулся на толпу этих молодых и старых людей, повторявших то же самое, он почувствовал себя тронутым. На второй и третий день шли дела о суммах дворянских и о женской гимназии, не имевшие, как объяснил Сергей Иванович, никакой важности, и Левин, занятый своим хождением по делам, не следил за ними. На четвертый день за губернским столом шла поверка губернских сумм. И тут в первый раз произошло столкновение новой партии со старою. Комиссия, которой поручено было поверить суммы, доложила собранию, что суммы были все в целости. Губернский предводитель встал, благодаря дво228

место поставить свежего, современного, дельного человека, совершенно нового, и повести дело так, чтоб извлечь из всех дарованных дворянству, не как дворянству, а как элементу земства, прав те выгоды самоуправления, какие только могли быть извлечены. В богатой Кашинской губернии, всегда шедшей во всем впереди других, теперь набрались такие силы, что дело, поведенное здесь как следует, могло послужить образцом для других губерний, для всей России. И потому все дело имело большое значение. Предводителем на место Снеткова предполагалось поставить или Свияжского, или, еще лучше, Неведовского, бывшего профессора, замечательно умного человека и большого приятеля Сергея Ивановича.

Собрание открыл губернатор, который сказал речь дворянам, чтоб они выбирали должностных лиц не по лицеприятию, а по заслугам и для блага отечества, и что он надеется, что кашинское благородное дворянство, как и в прежние выборы, свято исполнит свой долг и оправдает высокое доверие монарха.

Окончив речь, губернатор пошел из залы, и дворяне шумно и оживленно, некоторые даже восторженно, последовали за ним и окружили его в то время, как он надевал шубу и дружески разговаривал с губернским предводителем. Левин, желая во все вникнуть и ничего не пропустить, стоял тут же в толпе и слышал, как губернатор сказал: «Пожалуйста, передайте Марье Ивановне, что жена очень сожалеет, что она едет в приют». И вслед за тем дворяне весело разобрали шубы, и все поехали в собор.

В соборе Левин, вместе с другими поднимая руку и повторяя слова протопопа, клялся самыми страшными клятвами исполнять все то, на что надеялся губернатор. Церковная служба всегда имела влияние на Левина, и когда он произносил слова «целую крест» и оглянулся на толпу этих молодых и старых людей, повторявших то же самое, он почувствовал себя тронутым.

На второй и третий день шли дела о суммах дворянских и о женской гимназии, не имевшие, как объяснил Сергей Иванович, никакой важности, и Левин, занятый своим хождением по делам, не следил за ними. На четвертый день за губернским столом шла поверка губернских сумм. И тут в первый раз произошло столкновение новой партии со старою. Комиссия, которой поручено было поверить суммы, доложила собранию, что суммы были все

ряиство за доверие, и прослезился. Дворяне громко приветствовали его и жали ему руку. Но в это время один дворянин из партии Сергея Ивановича сказал, что он слышал, что комиссия не поверяла сумм, считая поверку оскорблением губернскому предводителю. Один из членов комиссии неосторожно подтвердил это. Тогда один маленький, очень молодой на вид, но очень ядовитый господин стал говорить, что губернскому предводителю, вероятно, было бы приятно дать отчет в суммах и что излишняя деликатность членов комиссии лишает его этого нравственного удовлетворения. Тогда члены комиссии отказались от своего заявления, и Сергей Иванович начал логически доказывать, что надо или признать, что суммы ими поверены, или не поверены, и подробно развил эту дилемму. Сергею Ивановичу возражал говорун противной партии. Потом говорил Свияжский и опять ядовитый господин. Прения шли долго и ничем не кончились. Левин был удивлен, что об этом так долго спорили, в особенности потому, что, когда он спросил у Сергея Ивановича, предполагает ли он, что суммы растрачены, Сергей Иванович отвечал: — О нет! Он честный человек. Но этот старинный прием отеческого семейного управления дворянскими делами падо было поколебать. На пятый день были выборы уездных предводителей. Этот день был довольно бурный в некоторых уездах. В Селезневском уезде Свияжский был выбран без баллотирования единогласно, и у него был в этот день обед. XXVII На шестой день были назначены губернские выборы. Залы большие и малые были полны дворян в разных мундирах. Многие приехали только к этому дню. Давно не видавшиеся знакомые, кто из Крыма, кто из Петербурга, кто из-за границы, встречались в залах. У губернского стола, под портретом государя, шли прения. Дворяне и в большой и в малой зале группировались лагерями, и, по враждебности и недоверчивости взглядов, IЮ замолкавшему при приближении чуждых лиц говору, по тому, что некоторые, шепчась, уходили даже в дальний коридор, было видно, что калчдая сторона имела тайны от другой. По наружному виду дворяне резко разделя229

рянство за доверие, и прослезился. Дворяне громко приветствовали его и жали ему руку. Но в это время один дворянин из партии Сергея Ивановича сказал, что он слышал, что комиссия не поверяла сумм, считая поверку оскорблением губернскому предводителю. Один из членов комиссии неосторожно подтвердил это. Тогда один маленький, очень молодой на вид, но очень ядовитый господин стал говорить, что губернскому предводителю, вероятно, было бы приятно дать отчет в суммах и что излишняя деликатность членов комиссии лишает его этого нравственного удовлетворения. Тогда члены комиссии отказались от своего заявления, и Сергей Иванович начал логически доказывать, что надо или признать, что суммы ими поверены, или не поверены, и подробно развил эту дилемму. Сергею Ивановичу возражал говорун противной партии. Потом говорил Свияжский и опять ядовитый господин. Прения шли долго и ничем не кончились. Левин был удивлен, что об этом так долго спорили, в особенности потому, что, когда он спросил у Сергея Ивановича, предполагает ли он, что суммы растрачены, Сергей Иванович отвечал:

— О нет! Он честный человек. Но этот старинный прием отеческого семейного управления дворянскими делами надо было поколебать.

На пятый день были выборы уездных предводителей. Этот день был довольно бурный в некоторых уездах. В Селезневском уезде Свияжский был выбран без баллотирования единогласно, и у него был в этот день обед.

XXVII

На шестой день были назначены губернские выборы. Залы большие и малые были полны дворян в разных мундирах. Многие приехали только к этому дню. Давно не видавшиеся знакомые, кто из Крыма, кто из Петербурга, кто из-за границы, встречались в залах. У губернского стола, под портретом государя, шли прения.

Дворяне и в большой и в малой зале группировались лагерями, и, по враждебности и недоверчивости взглядов, по замолкавшему при приближении чуждых лиц говору, по тому, что некоторые, шепчась, уходили даже в дальний коридор, было видно, что каждая сторона имела тайны

лись на два сорта: на старых и новых. Старые были большею частью или в дворянских старых застегнутых мундирах, со шпагами и шляпами, или в своих особенных, флотских, кавалерийских, пехотных, выслуженных мундирах. Мундиры старых дворян были сшиты по-старинному, с буфочками на плечах; они были очевидно малы, коротки в талиях и узки, как будто носители их выросли из них. Молодые же были в дворянских расстегнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах, с белыми жилетами, или в мундирах с черными воротниками и лаврами, шитьем министерства юстиции. К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где украшавшие толпу. Но деление на молодых и старых не совпадало с делением партий. Некоторые из молодых, по наблюдениям Левина, принадлежали к старой партии, и некоторые, напротив, самые старые дворяне шептались со Свияжским и, очевидно, были горячими сторонниками новой партии. Левин стоял в маленькой зале, где курили и закусывали, подле группы своих, прислушиваясь к тому, что говорили, и тщетно напрягая свои умственные силы, чтобы понять, что говорилось. Сергей Иванович был центром, около которого группировались другие. Он теперь слушал Свияя^ского и Хлюстова, предводителя другого уезда, принадлежащего к их партии. Хлюстов не соглашался идти со своим уездом просить Снеткова баллотироваться, а Свияжский уговаривал его сделать это, и Сергей Иванович одобрял этот план. Левин не понимал, зачем было враждебной партии просить баллотироваться того предводителя, которого они хотели забаллотировать. Степан Аркадыіч, только что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с каемками платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире. — Занимаем позицию, — сказал он, расправляя обе бакенбарды, — Сергей Иваныч! И, прислушавшись к разговору, он подтвердил мнение Свияя^ского. — Довольно одного уезда, а Свияжский уже, очевидно, оппозиция, — сказал он всем, кроме Левина, понятные слова. — Что, Костя, и ты вошел, кажется, во вкус? — прибавил он, обращаясь к Левину, и взял его под руку. Левин и рад был бы войти во вкус, но не мог понять, в чем дело, и, отойдя несколько шагов от говоривших, выразил 230

лись на два сорта: на старых и новых. Старые были большею частью или в дворянских старых застегнутых мундирах, со шпагами и шляпами, или в своих особенных, флотских, кавалерийских, пехотных, выслуженных мундирах. Мундиры старых дворян были сшиты по-старинному, с буфочками на плечах; они были очевидно малы, коротки в талиях и узки, как будто носители их выросли из них. Молодые же были в дворянских расстегнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах, с белыми жилетами, или в мундирах с черными воротниками и лаврами, шитьем министерства юстиции. К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где украшавшие толпу.

Но деление на молодых и старых не совпадало с делением партий. Некоторые из молодых, по наблюдениям Левина, принадлежали к старой партии, и некоторые, напротив, самые старые дворяне шептались со Свияжским и, очевидно, были горячими сторонниками новой партии.

Левин стоял в маленькой зале, где курили и закусывали, подле группы своих, прислушиваясь к тому, что говорили, и тщетно напрягая свои умственные силы, чтобы понять, что говорилось. Сергей Иванович был центром, около которого группировались другие. Он теперь слушал Свияжского и Хлюстова, предводителя другого уезда, принадлежащего к их партии. Хлюстов не соглашался идти со своим уездом просить Снеткова баллотироваться, а Свияжский уговаривал его сделать это, и Сергей Иванович одобрял этот план. Левин не понимал, зачем было враждебной партии просить баллотироваться того предводителя, которого они хотели забаллотировать.

Степан Аркадьич, только что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с каемками платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире.

— Занимаем позицию,— сказал он, расправляя обе бакенбарды,— Сергей Иваныч!

И, прислушавшись к разговору, он подтвердил мнение Свияжского.

— Довольно одного уезда, а Свияжский уже, очевидно, оппозиция,— сказал он всем, кроме Левина, понятные слова.

— Что, Костя, и ты вошел, кажется, во вкус? — прибавил он, обращаясь к Левину, и взял его под руку. Левин и рад был бы войти во вкус, но не мог понять, в чем

Степану Аркадьичу свое недоумение, зачем было просить губернского предводителя. — O sancta simplicitas! ^ — сказал Степан Аркадьич и кратко и ясно растолковал Левину, в чем дело. Если бы, как в прошлые выборы, все уезды просили губернского предводителя, то его выбрали бы всеми белыми. Этого не нужно было. Теперь же восемь уездов согласны просить; если же два откая^утся просить, то Снетков может отказаться от баллотировки. И тогда старая партия может выбрать другого из своих, так как расчет весь будет потерян. Но если только один уезд Свияжского не будет просить. Снетков будет баллотироваться. Его даже выберут и нарочно перелоя^ат ему, так что противная партия собьется со счета, и, когда выставят кандидата из наших, они же ему переложат. Левин понял, но не совсем, и хотел еще сделать несколько вопросов, когда вдруг все заговорили, зашумели и двинулись в большую залу. — Что такое? что? кого? — Доверенность? кому? что? — Опровергают? — Не доверенность. — Флерова не допускают. Что же, что под судом? — Этак никого не допустят. Это подло. — Закон! — слышал Левин с разных сторон и вместе со всеми, торопившимися куда-то и боявшимися что-то пропустить, направился в большую залу и, теснимый дворянами, приблизился к губернскому столу, у которого что-то горячо спорили губернский предводитель, Свияжский и другие коноводы. XXVIII Левин стоял довольно далеко. Тяжело, с хрипом дышавший подле него один дворянин и другой, скрипевший толстыми подошвами, мешали ему ясно слышать. Он издалека слышал только мягкий голос предводителя, потом визгливый голос ядовитого дворянина и потом голос Свияжского. Они спорили, сколько он мог понять, о значении статьи закона и о значении слов: находившегося под следствием. Толпа раздалась, чтобы дать дорогу подходившему к столу Сергею Ивановичу. Сергей Иванович, выждав окончания речи ядовитого дворянина, сказал, что ему ка* O святая простота! (лат.) 231

Степану Аркадьичу свое недоумение, зачем было просить губернского предводителя.

— O sancta simplicitas! [1] — сказал Степан Аркадьич и кратко и ясно растолковал Левину, в чем дело.

Если бы, как в прошлые выборы, все уезды просили губернского предводителя, то его выбрали бы всеми белыми. Этого не нужно было. Теперь же восемь уездов согласны просить; если же два откажутся просить, то Снетков может отказаться от баллотировки. И тогда старая партия может выбрать другого из своих, так как расчет весь будет потерян. Но если только один уезд Свияжского не будет просить, Снетков будет баллотироваться. Его даже выберут и нарочно переложат ему, так что противная партия собьется со счета, и, когда выставят кандидата из наших, они же ему переложат.

Левин понял, но не совсем, и хотел еще сделать несколько вопросов, когда вдруг все заговорили, зашумели и двинулись в большую залу.

— Что такое? что? кого? — Доверенность? кому? что? — Опровергают? — Не доверенность. — Флерова не допускают. Что же, что под судом? — Этак никого не допустят. Это подло.— Закон! — слышал Левин с разных сторон и вместе со всеми, торопившимися куда-то и боявшимися что-то пропустить, направился в большую залу и, теснимый дворянами, приблизился к губернскому столу, у которого что-то горячо спорили губернский предводитель, Свияжский и другие коноводы.

XXVIII

Левин стоял довольно далеко. Тяжело, с хрипом дышавший подле него один дворянин и другой, скрипевший толстыми подошвами, мешали ему ясно слышать. Он издалека слышал только мягкий голос предводителя, потом визгливый голос ядовитого дворянина и потом голос Свияжского. Они спорили, сколько он мог понять, о значении статьи закона и о значении слов: *находившегося под следствием.*

Толпа раздалась, чтобы дать дорогу подходившему к столу Сергею Ивановичу. Сергей Иванович, выждав окончания речи ядовитого дворянина, сказал, что ему ка-

жется, что вернее всего было бы справиться со статьей закона, и попросил секретаря найти статью. В статье было сказано, что в случае разногласия надо баллотировать. Сергей Иванович прочел статью и стал объяснять ее значение, но тут один высокий, толстый, сутуловатый, с крашеными усами, в узком мундире с подпиравшим ему сзади шею воротником помещик перебил его. Он подошел к столу и, ударив по нем перстнем, громко закричал: — Баллотировать! На шары! Нечего разговаривать! На шары! Тут вдруг заговорило несколько голосов, и высокий дворянин с перстнем, все более и более озлобляясь, кричал громче и громче. Но нельзя было разобрать, что он говорил. Он говорил то самое, что предлагал Сергей Иванович; но, очевидно, он ненавидел его и всю его партию, и это чувство ненависти сообщилось всей партии и вызвало отпор такого же, хотя и более приличного озлобления с другой стороны. Поднялись крики, и на минуту все смешалось, так что губернский предводитель должен был просить о порядке. — Баллотировать, баллотировать! Кто дворянин, тот понимает. Мы кровь проливаем... Доверие монарха... Не считать предводителя, он не приказчик... Да не в том дело... Позвольте, на шары! Гадость!..— слышались озлобленные, неистовые крики со всех сторон. Взгляды и лица были еще озлобленнее и неистовее речи. Они выражали непримиримую ненависть. Левин совершенно не понимал, в чем было дело, и удивлялся той страстности, с которою разбирался вопрос о том, баллотировать или не баллотировать мнение о Флерове. Он забывал, как ему потом разъяснил Сергей Иванович, тот силлогизм, что для общего блага нужно было свергнуть губернского предводителя; для свержения же предводителя нужно было большинство шаров; для большинства же шаров нужно было дать Флерову право голоса; для признания же Флерова способным надо было объяснить, как понимать статью закона. — А один голос может решить все дело, и надо быть серьезным и последовательным, если хочешь служить общественному делу, — заключил Сергей Иванович. Но Левин забыл это, и ему было тяжело видеть этих уважаемых им, хороших людей в таком неприятном, злом возбуждении. Чтоб избавиться от этого тяжелого чувства, он, не дождавшись конца прений, ушел в залу, где никого 232

жется, что вернее всего было бы справиться со статьей закона, и попросил секретаря найти статью. В статье было сказано, что в случае разногласия надо баллотировать.

Сергей Иванович прочел статью и стал объяснять ее значение, но тут один высокий, толстый, сутуловатый, с крашеными усами, в узком мундире с подпиравшим ему сзади шею воротником помещик перебил его. Он подошел к столу и, ударив по нем перстнем, громко закричал:

— Баллотировать! На шары! Нечего разговаривать! На шары!

Тут вдруг заговорило несколько голосов, и высокий дворянин с перстнем, все более и более озлобляясь, кричал громче и громче. Но нельзя было разобрать, что он говорил.

Он говорил то самое, что предлагал Сергей Иванович; но, очевидно, он ненавидел его и всю его партию, и это чувство ненависти сообщилось всей партии и вызвало отпор такого же, хотя и более приличного озлобления с другой стороны. Поднялись крики, и на минуту все смешалось, так что губернский предводитель должен был просить о порядке.

— Баллотировать, баллотировать! Кто дворянин, тот понимает. Мы кровь проливаем... Доверие монарха... Не считать предводителя, он не приказчик... Да не в том дело... Позвольте, на шары! Гадость!..— слышались озлобленные, неистовые крики со всех сторон. Взгляды и лица были еще озлобленнее и неистовее речи. Они выражали непримиримую ненависть. Левин совершенно не понимал, в чем было дело, и удивлялся той страстности, с которою разбирался вопрос о том, баллотировать или не баллотировать мнение о Флерове. Он забывал, как ему потом разъяснил Сергей Иванович, тот силлогизм, что для общего блага нужно было свергнуть губернского предводителя; для свержения же предводителя нужно было большинство шаров; для большинства же шаров нужно было дать Флерову право голоса; для признания же Флерова способным надо было объяснить, как понимать статью закона.

— А один голос может решить все дело, и надо быть серьезным и последовательным, если хочешь служить общественному делу,— заключил Сергей Иванович.

Но Левин забыл это, и ему было тяжело видеть этих уважаемых им, хороших людей в таком неприятном, злом возбуждении. Чтоб избавиться от этого тяжелого чувства,

ne было, кроме лакеев около буфета. Увидав хлоиотавшлх лакеев над перетиркой посуды и расстановкой тарелок и рюмок, увидав их спокойные, оживленные лица, Левин испытал неожиданное чувство облегчения, точно из смрадной комнаты он вышел на чистый воздух. Он стал ходить взад и вперед, с удовольствием глядя на лакеев. Ему очень понравилось, как один лакей с седыми бакенбардахми, выказывая презрение к другим, молодым, которые над ним подтрунивали, учил их, как надо складывать салфетки. Левин только что собирался вступить в разговор со старым лакеем, как секретарь дворянской опеки, старичок, имевший специальность знать всех дворян губернии по имени и отчеству, развлек его. — Пожалуйте, Константин Дмитрия,— сказал он ему, — вас братец ищут. Баллотируется мнение. Левин вошел в залу, получил беленький шарик и вслед за братом Сергеем Ивановичем подошел к столу, у которого стоял с значительным и ироническим лицом, собирая в кулак бороду и нюхая ее, Свияжский. Сергей Иванович вложил руку в ящик, положил куда-то свой шар и, дав место Левину, остановился тут же. Левин подошел, но, совершенно забыв, в чем дело, и смутившись, обратился к Сергею Ивановичу с вопросом: «Куда класть?» Он спросил тихо, в то время как вблизи говорили, так что он надеялся, что его вопрос не услышат. Но говорившие замолкли, и неприличный вопрос его был услышан. Сергей Иванович нахмурился. — Это дело убеждения каждого, — сказал он строго. Некоторые улыбнулись. Левин покраснел, поспешно сунул под сукно руку и iioло5кил направо, так как шар был в правой руке. Положив, он вспомнил, что надо было засунуть в левую руку, и засунул ее, но уже поздно, и, еще более сконфузившись, поскорее ушел в самые задние ряды. — Сто двадцать шесть избирательных! Девяносто восемь неизбирательных! — прозвучал не выговаривающий букву р голос секретаря. Потом послышался смех: пуговица и два ореха нашлись в ящике. Дворянин был допудщн, и новая партия победила. Но старая партия не считала себя побел^денною. Левин услыхал, что Снеткова просят баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предводителя, который говорил что-то. Левин подошел ближе. Отвечая дворянам, Снетков говорил о доверии дворянства. 233

не было, кроме лакеев около буфета. Увидав хлопотавших лакеев над перетиркой посуды и расстановкой тарелок и рюмок, увидав их спокойные, оживленные лица, Левин испытал неожиданное чувство облегчения, точно из смрадной комнаты он вышел на чистый воздух. Он стал ходить взад и вперед, с удовольствием глядя на лакеев. Ему очень понравилось, как один лакей с седыми бакенбардами, выказывая презрение к другим, молодым, которые над ним подтрунивали, учил их, как надо складывать салфетки. Левин только что собирался вступить в разговор со старым лакеем, как секретарь дворянской опеки, старичок, имевший специальность знать всех дворян губернии по имени и отчеству, развлек его.

— Пожалуйте, Константин Дмитрич,— сказал он ему,— вас братец ищут. Баллотируется мнение.

Левин вошел в залу, получил беленький шарик и вслед за братом Сергеем Ивановичем подошел к столу, у которого стоял с значительным и ироническим лицом, собирая в кулак бороду и нюхая ее, Свияжский. Сергей Иванович вложил руку в ящик, положил куда-то свой шар и, дав место Левину, остановился тут же. Левин подошел, но, совершенно забыв, в чем дело, и смутившись, обратился к Сергею Ивановичу с вопросом: «Куда класть?» Он спросил тихо, в то время как вблизи говорили, так что он надеялся, что его вопрос не услышат. Но говорившие замолкли, и неприличный вопрос его был услышан. Сергей Иванович нахмурился.

— Это дело убеждения каждого,— сказал он строго.

Некоторые улыбнулись. Левин покраснел, поспешно сунул под сукно руку и положил направо, так как шар был в правой руке. Положив, он вспомнил, что надо было засунуть в левую руку, и засунул ее, но уже поздно, и, еще более сконфузившись, поскорее ушел в самые задние ряды.

— Сто двадцать шесть избирательных! Девяносто восемь неизбирательных! — прозвучал не выговаривающий букву *р* голос секретаря. Потом послышался смех: пуговица и два ореха нашлись в ящике. Дворянин был допущен, и новая партия победила.

Но старая партия не считала себя побежденною. Левин услыхал, что Снеткова просят баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предво-

о любви к нему, которой он не стоит, ибо вся заслуга его состоит в преданности дворянству, которому он посвятил двенадцать лет службы. Несколько раз он повторял слова: «Служил сколько было сил, верой и правдой, ценю и благодарю», — и вдруг остановился от дупіивших его слез и вышел из залы. Происходили ли эти слезы от сознания несправедливости к нему, от любви к дворянству или от натянутости положения, в котором он находился, чувствуя себя окруженным врагами, по волнение сообш;илось, большинство дворян было тронуто, и Левин почувствовал нежность к Снеткову. В дверях губернский предводитель столкнулся с Левиным. — Виноват, извините, пожалуйста, — сказал он, как незнакомому; но, узнав Левина, робко улыбнулся. Левину показалось, что он хотел сказать что-то, но не мог от волнения. Выражение его лица и всей фигуры в мундире, крестах и белых с галунами панталонах, как он торопливо шел, напомнило Левину травимого зверя, который видит, что дело его плохо. Это выражение в лице предводителя было особенно трогательно Левину, потому что вчера только он по делу опеки был у него дома и видел его во всем величии доброго и семейного человека. Большой дом со старою семейною мебелью; не п^еголеватые, грязноватые, но почтительные старые лакеи, очевидно еще из прежних крепостных, не переменившие хозяина; толстая, добродушная жена в чепчике с кружевами и турецкой шали, ласкавшая хорошенькую внучку, дочь дочери; молодчик сын, гимназист шестого класса, приехавший из гимназии и, здороваясь с отцом, поцеловавший его большую руку; внушительные ласковые речи и жесты хозяина — все это вчера возбудило в Левине невольное уважение и сочувствие. Левину трогателен и жалок был теперь этот старик, и ему хотелось сказать ему что-нибудь приятное. — Стало быть, вы опять наш предводитель,— сказал он. — Едва ли,— испуганно оглянувшись, сказал предводитель. — Я устал, уж стар. Есть достойнее и моложе меня, пусть послуя^ат. И предводитель скрылся в боковую дверь. Наступила самая торжественная минута. Тотчас надо было приступить к выборам. Коноводы той и другой партии по пальцам высчитывали белые и черные. 234

о любви к нему, которой он не стóит, ибо вся заслуга его состоит в преданности дворянству, которому он посвятил двенадцать лет службы. Несколько раз он повторял слова: «Служил сколько было сил, верой и правдой, ценю и благодарю»,— и вдруг остановился от душивших его слез и вышел из залы. Происходили ли эти слезы от сознания несправедливости к нему, от любви к дворянству или от натянутости положения, в котором он находился, чувствуя себя окруженным врагами, но волнение сообщилось, большинство дворян было тронуто, и Левин почувствовал нежность к Снеткову.

В дверях губернский предводитель столкнулся с Левиным.

— Виноват, извините, пожалуйста,— сказал он, как незнакомому; но, узнав Левина, робко улыбнулся. Левину показалось, что он хотел сказать что-то, но не мог от волнения. Выражение его лица и всей фигуры в мундире, крестах и белых с галунами панталонах, как он торопливо шел, напомнило Левину травимого зверя, который видит, что дело его плохо. Это выражение в лице предводителя было особенно трогательно Левину, потому что вчера только он по делу опеки был у него дома и видел его во всем величии доброго и семейного человека. Большой дом со старою семейною мебелью; не щеголеватые, грязноватые, но почтительные старые лакеи, очевидно еще из прежних крепостных, не переменившие хозяина; толстая, добродушная жена в чепчике с кружевами и турецкой шали, ласкавшая хорошенькую внучку, дочь дочери; молодчик сын, гимназист шестого класса, приехавший из гимназии и, здороваясь с отцом, поцеловавший его большую руку; внушительные ласковые речи и жесты хозяина — все это вчера возбудило в Левине невольное уважение и сочувствие. Левину трогателен и жалок был теперь этот старик, и ему хотелось сказать ему что-нибудь приятное.

— Стало быть, вы опять наш предводитель,— сказал он.

— Едва ли,— испуганно оглянувшись, сказал предводитель. — Я устал, уж стар. Есть достойнее и моложе меня, пусть послужат.

И предводитель скрылся в боковую дверь.

Наступила самая торжественная минута. Тотчас надо было приступить к выборам. Кандидаты той и другой пар-

Прения о Флерове дали новой партии не только один шар Флерова, но еще и выигрыш времени, так что могли быть привезены три дворянина, кознями старой партии лишенные возможности участвовать в выборах. Двух дворян, имевших слабость к вину, напоили пьяными клевреты Снеткова, а у третьего увезли мундирную одежду« Узнав об этом, новая пратия успела во время прении о Флерове послать на извозчике своих обмундировать дворянина и из двух напоенных привезти одного в собрание. — Одного привез, водой отлил,— проговорил ездивший за ним помещик, подходя к Свияя^скому. — Ничего, годится. — Не очень пьян, не упадет? — покачивая головой, сказал Свияжский. — Нет, молодцом. Только бы тут не подпоили... Я сказал буфетчику, чтобы не давал ни под каким видом. XXIX Узкая зала, в которой курили и закусывали, была полна дворянами. Волнение все увеличивалось, и на всех лицах было заметно беспокойство. В особенности сильно волновались коноводы, знающие все подробности и счет всех, шаров. Это были распорядители предстоящего сражения. Остальные же, как рядовые пред сражением, хотя и готовились к бою, но покамест искали развлечений. Одни закусывали, стоя или присев к столу; другие ходили, куря папиросы, взад и вперед по длинной комнате и разговаривали с давно не виденными приятелями. Левину не хотелось есть, он не курил; сходиться со своими, то есть с Сергеем Ивановичем, Степаном Аркадьпчем, Свияжским и другими, не хотел, потому что с ними вместе в оживленной беседе стоял Вронский в шталмей^ стерском мундире. Еще вчера Левин увидал его на выборах и старательно обходил, не желая с ним встретиться. Он подошел к окну и сел, оглядывая группы и прислу-» шиваясь к тому, что говорилось вокруг него. Ему было грустно в особенности потому, что все, как он видел, были оя^ивлены, озабочены и заняты, и лишь он один со старым-старым, беззубым старичком во флотском мундире, шамкавшим губами, присевшим около него, был без инте-^ реса и без дела. 235

Прения о Флерове дали новой партии не только один шар Флерова, но еще и выигрыш времени, так что могли быть привезены три дворянина, кознями старой партии лишенные возможности участвовать в выборах. Двух дворян, имевших слабость к вину, напоили пьяными клевреты Снеткова, а у третьего увезли мундирную одежду.

Узнав об этом, новая пратия успела во время прений о Флерове послать на извозчике своих обмундировать дворянина и из двух напоенных привезти одного в собрание.

— Одного привез, водой отлил,— проговорил ездивший за ним помещик, подходя к Свияжскому.— Ничего, годится.

— Не очень пьян, не упадет? — покачивая головой, сказал Свияжский.

— Нет, молодцом. Только бы тут не подпоили... Я сказал буфетчику, чтобы не давал ни под каким видом.

XXIX

Узкая зала, в которой курили и закусывали, была полна дворянами. Волнение все увеличивалось, и на всех лицах было заметно беспокойство. В особенности сильно волновались коноводы, знающие все подробности и счет всех шаров. Это были распорядители предстоящего сражения. Остальные же, как рядовые пред сражением, хотя и готовились к бою, но покамест искали развлечений. Одни закусывали, стоя или присев к столу; другие ходили, куря папиросы, взад и вперед по длинной комнате и разговаривали с давно не виденными приятелями.

Левину не хотелось есть, он не курил; сходиться со своими, то есть с Сергеем Ивановичем, Степаном Аркадьичем, Свияжским и другими, не хотел, потому что с ними вместе в оживленной беседе стоял Вронский в шталмейстерском мундире. Еще вчера Левин увидал его на выборах и старательно обходил, не желая с ним встретиться. Он подошел к окну и сел, оглядывая группы и прислушиваясь к тому, что говорилось вокруг него. Ему было грустно в особенности потому, что все, как он видел, были оживлены, озабочены и заняты, и лишь он один со старым-старым, беззубым старичком во флотском мундире,

— Это такая шельма! Я ему говорил, так нет. PîaK же! Он в три года не мог собрать, — энергически говорил сутуловатый невысокий помещик с помаженными волосами, лежавшими на вышитом воротнике его мундира, стуча крепко каблуками новых, очевидно для выборов надеваемых сапог. И помещик, кинув недовольный взгляд на Левина, круто повернулся. — Да, нечистое дело, что и говорить, — проговорил тоненьким голосом маленький помещик. Вслед за этими целая толпа помещиков, окружавшая толстого генерала, поспешно приблизилась к Левину. Помещики, очевидно, искали места переговорить так, чтоб их не слышали. — Как он смеет говорить, что я велел украсть у него брюки! Он их пропил, я думаю. Мне плевать на него с его княжеством. Он не смей говорить, это свинство! — Да ведь позвольте! Они на статье основываются, — говорили в другой группе, — жена должна быть записана дворянкой. — А черта мне в статье! Я говорю по душе. На то благородные дворяне. Имей доверие. — Ваше превосходительство, пойдем, fine champagne К Другая толпа следом ходила за что-то громко кричавшим дворянином: это был один из трех напоенных. — Я Марье Семеновне всегда советовал сдать в аренду, потому что она не выгадает,— приятным голосом говорил помещик с седыми усами, в полковничьем мундиро старого генерального штаба. Это был тот самый помещик, которого Левин встретил у Свияжского. Он тотчас узнал его- Помещик тоже пригляделся к Левину, и они поздоровались. — Очень приятно. Как же! Очень хорошо помню. В прошлом году у Николая Ивановича, предводителя. — Ну, как идет ваше хозяйство? — спросил Левин. — Да все так же, в убыток,— с покорной улыбкой, но с выражением спокойствия и убеждения, что это так и надо, отвечал помещик, останавливаясь подле. — А вы как же в нашу губернию попали? — спросил он. — Приехали принять участие в нашем coup d’état? ^ — сказал он, твердо, по дурно выговаривая французские слова.— * коньяку ((франц.). ^ государственном перевороте? (франц.) 23G

— Это такая шельма! Я ему говорил, так нет. Как же! Он в три года не мог собрать,— энергически говорил сутуловатый невысокий помещик с помаженными волосами, лежавшими на вышитом воротнике его мундира, стуча крепко каблуками новых, очевидно для выборов надеваемых сапог. И помещик, кинув недовольный взгляд на Левина, круто повернулся.

— Да, нечистое дело, что и говорить, — проговорил тоненьким голосом маленький помещик.

Вслед за этими целая толпа помещиков, окружавшая толстого генерала, поспешно приблизилась к Левину. Помещики, очевидно, искали места переговорить так, чтоб их не слышали.

— Как он смеет говорить, что я велел украсть у него брюки! Он их пропил, я думаю. Мне плевать на него с его княжеством. Он не смей говорить, это свинство!

— Да ведь позвольте! Они на статье основываются,— говорили в другой группе,— жена должна быть записана дворянкой.

— А черта мне в статье! Я говорю по душе. На то благородные дворяне. Имей доверие.

— Ваше превосходительство, пойдем, fine champagne [1].

Другая толпа следом ходила за что-то громко кричавшим дворянином: это был один из трех напоенных.

— Я Марье Семеновне всегда советовал сдать в аренду, потому что она не выгадает,— приятным голосом говорил помещик с седыми усами, в полковничьем мундире старого генерального штаба. Это был тот самый помещик, которого Левин встретил у Свияжского. Он тотчас узнал его. Помещик тоже пригляделся к Левину, и они поздоровались.

— Очень приятно. Как же! Очень хорошо помню. В прошлом году у Николая Ивановича, предводителя.

— Ну, как идет ваше хозяйство? — спросил Левин.

— Да все так же, в убыток,— с покорной улыбкой, но с выражением спокойствия и убеждения, что это так и надо, отвечал помещик, останавливаясь подле. — А вы как же в нашу губернию попали? — спросил он.— Приехали принять участие в нашем coup d'état? [2] — сказал он, твердо, но дурно выговаривая французские слова.—

Вся Россия съехалась: и камергеры и чуть не министры. — Он указал на представительную фигуру Степана Аркадьича в белых панталонах и камергерском мундире, ходившего с генералом. — Я должен вам признаться, что я очень плохо понимаю значение дворянских выборов,— сказал Левин. Помещик посмотрел на пего. — Да что ж тут понимать? Значения нет никакого. Упавшее учреждение, продолжающее свое движение только по силе инерции. Посмотрите, мундиры — и эти говорят вам: это собрание мировых судей, непременных членов и так далее, а не дворян. — Так зачем вы ездите? — спросил Левин. — По привычке, одно. Потом связи нужно поддержать. Нравственная обязанность в некотором роде. А потом, если правду сказать, есть свой интерес. Зять желает баллотироваться в непременные члены. Они люди небогатые, и нужно провести его. Вот эти господа для чего ездят? — сказал он, указывая па того ядовитого господина, который говорил за губернским столом. — Это новое поколение дворянства. — Новое-то повое. Но не дворянство. Это землевладельцы, а мы помещики. Они как дворяне налагают сами на себя руки. — Да ведь вы говорите, что это отжившее учреждение. — Отжившее-то отжившее, а все бы с ним надо обращаться поуважительнее. Хоть бы Снетков... Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете, придется если вам пред домом разводить садик, планировать, и растет у вас на этом месте столетнее дерево... Оно хотя и корявое и старое, а всё вы для клумбочек цветочных не срубите старика, а так клумбочки распланируете, чтобы воспользоваться деревом. Его в год не вырастишь, — сказал он осторожно и тотчас же переменил разговор.— Ну, а ваше хозяйство как? — Да нехорошо. Процентов пять. — Да, но вы себя не считаете. Вы тоже что-нибудь да стоите? Вот я про себя скажу. Я до тех пор, пока не хозяйничал, получал на службе три тысячи. Теперь я работаю больше, чем на службе, и, так же как вы, получаю пять процентов, и то дай бог. А свои труды задаром. — Так зачем же вы это делаете? Если прямой убыток?

Вся Россия съехалась: и камергеры и чуть не министры.— Он указал на представительную фигуру Степана Аркадьича в белых панталонах и камергерском мундире, ходившего с генералом.

— Я должен вам признаться, что я очень плохо понимаю значение дворянских выборов,— сказал Левин.

Помещик посмотрел на него.

— Да что ж тут понимать? Значения нет никакого. Упавшее учреждение, продолжающее свое движение только по силе инерции. Посмотрите, мундиры — и эти говорят вам: это собрание мировых судей, непременных членов и так далее, а не дворян.

— Так зачем вы ездите? — спросил Левин.

— По привычке, одно. Потом связи нужно поддержать. Нравственная обязанность в некотором роде. А потом, если правду сказать, есть свой интерес. Зять желает баллотироваться в непременные члены. Они люди небогатые, и нужно провести его. Вот эти господа для чего ездят? — сказал он, указывая на того ядовитого господина, который говорил за губернским столом.

— Это новое поколение дворянства.

— Новое-то новое. Но не дворянство. Это землевладельцы, а мы помещики. Они как дворяне налагают сами на себя руки.

— Да ведь вы говорите, что это отжившее учреждение.

— Отжившее-то отжившее, а все бы с ним надо обращаться поуважительнее. Хоть бы Снетков... Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете, придется если вам пред домом разводить садик, планировать, и растет у вас на этом месте столетнее дерево... Оно хотя и корявое и старое, а всё вы для клумбочек цветочных не срубите старика, а так клумбочки распланируете, чтобы воспользоваться деревом. Его в год не вырастишь,— сказал он осторожно и тотчас же переменил разговор.— Ну, а ваше хозяйство как?

— Да нехорошо. Процентов пять.

— Да, но вы себя не считаете. Вы тоже что-нибудь да сто́ите? Вот я про себя скажу. Я до тех пор, пока не хозяйничал, получал на службе три тысячи. Теперь я работаю больше, чем на службе, и, так же как вы, получаю пять процентов, и то дай бог. А свои труды задаром.

— А вот делаешь! Что прикажете? Привычка, и знаешь, что так надо. Больше вам скажу,— облокачиваясь об окно и разговорившись, продолжал помеш;ик,— сын но имеет никакой охоты к хозяйству. Очевидно, ученый будет. Так что некому будет продолжать. А все делаешь. Вот нынче сад насадил. — Да, да, — сказал Левин, — это совершенно справедливо. Я всегда чувствую, что нет настоящего расчета в моем хозяйстве, а делаешь... Какую-то обязанность чувствуешь к земле. — Да вот я вам скажу,— продолжал помещик.— Сосед купец был у меня. Мы прошлись по хозяйству, по саду. «Нет, говорит, Степан Васильич, все у вас в порядке идет, но садик в забросе». А он у меня в порядке. «На мой разум, я бы эту липу срубил. Только в сок надо. Ведь их тысяча лип, из каждой два хороших лубка выйдет. А нынче лубок в цене, и струбов бы липовенышх нарубил». — А на эти деньги он бы накупил скота или землицу купил бы за бесценок и мужикам роздал бы внаймы, — с улыбкой докончил Левин, очевидно не раз уже сталкивавшийся с подобными расчетами. — И он составит себе состояние. А вы и я — только дай бог нам свое удержать и деткам оставить. — Вы женаты, я слышал? — сказал помещик. — Да, — с гордым удовольствием отвечал Левин. — Да, это что-то странно, — продолжал он. — Так мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь какой-то. Помещик усмехнулся под белыми усами. — Есть из нас тоже, вот хоть бы наш приятель Николай Иваныч или теперь граф Вронский поселился, те хотят промышленность агрономическую вести; ну это до сих пор, кроме как капитал убить, ни к чему не ведет. — Но для чего же мы не делаем как купцы? На лубок не срубаем сад? — возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин. — Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах, а там, в своем углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот мужики тоже, посмотрю на них другой раз: как хороший муяшк, так хватает земли нанять сколько может. Какая 238

— А вот делаешь! Что прикажете? Привычка, и знаешь, что так надо. Больше вам скажу,—облокачиваясь об окно и разговорившись, продолжал помещик,— сын не имеет никакой охоты к хозяйству. Очевидно, ученый будет. Так что некому будет продолжать. А все делаешь. Вот нынче сад насадил.

— Да, да,— сказал Левин,— это совершенно справедливо. Я всегда чувствую, что нет настоящего расчета в моем хозяйстве, а делаешь... Какую-то обязанность чувствуешь к земле.

— Да вот я вам скажу,— продолжал помещик.— Сосед купец был у меня. Мы прошлись по хозяйству, по саду. «Нет, говорит, Степан Васильич, все у вас в порядке идет, но садик в забросе». А он у меня в порядке. «На мой разум, я бы эту липу срубил. Только в сок надо. Ведь их тысяча лип, из каждой два хороших лубка выйдет. А нынче лубок в цене, и струбов бы липовеньких нарубил».

— А на эти деньги он бы накупил скота или землицу купил бы за бесценок и мужикам роздал бы внаймы,— с улыбкой докончил Левин, очевидно не раз уже сталкивавшийся с подобными расчетами.— И он составит себе состояние. А вы и я — только дай бог нам свое удержать и деткам оставить.

— Вы женаты, я слышал? — сказал помещик.

— Да,— с гордым удовольствием отвечал Левин.— Да, это что-то странно,— продолжал он.— Так мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь какой-то.

Помещик усмехнулся под белыми усами.

— Есть из нас тоже, вот хоть бы наш приятель Николай Иваныч или теперь граф Вронский поселился, те хотят промышленность агрономическую вести; ну это до сих пор, кроме как капитал убить, ни к чему не ведет.

— Но для чего же мы не делаем как купцы? На лубок не срубаем сад? — возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин.

— Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах, а там, в своем углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот му-

ни будь плохая земля, все пашет. Тоже без расчета. Прямо в убыток. — Так так и мы, — сказал Левин. — Очень, очень приятно встретиться,— прибавил он, увидав подходившего к нему Свияжского. — А мы вот встретились в первый раз после как у вас,— сказал помещик, — да и заговорились. — Что ж, побранили новые порядки? — с улыбкой сказал Свияжский. — Не без того. — Душу отводили. XXX Свияжский взял под руку Левина и пошел с ним к своим. Теперь уж нельзя было миновать Вронского. Он стоял со Степаном Аркадьичем и Сергеем Ивановичем и смотрел прямо на подходившего Левина. — Очень рад. Кажется, я имел удовольствие встретить... у княгини Щербацкой,— сказал он, подавая руку Левину. — Да, я очень помню нашу встречу,— сказал Левин и, багрово покраснев, тотчас же отвернулся и заговорил с братом. Слегка улыбнувшись, Вронский продолжал говорить со Свияжским, очевидно не имея никакого желания вступать в разговор с Левиным; но Левин, говоря с братом, беспрестанно оглядывался на Вронского, придумывая, о чем бы заговорить с ним, чтобы загладить свою грубость. — За чем же теперь дело? — спросил Левин, оглядыва-^ ясь на Свияжского и Вронского. — За Снетковым. Надо, чтоб он отказался или согласился, — отвечал Свияжский. — Да что же он, согласился или нет? — В том-то и дело, что ни то ни се,— сказал Вронский. — А если откажется, кто же будет баллотироваться? — спросил Левин, поглядывая на Вронского. — Кто хочет,— сказал Свияжский. — Вы будете? — спросил Левин. — Только не я,— смутившись и бросив испуганный взгляд на стоявшего подле с Сергеем Ивановичем ядовитого господина, сказал Свияжский.

ни будь плохая земля, все пашет. Тоже без расчета. Прямо в убыток.

— Так так и мы, — сказал Левин. — Очень, очень приятно встретиться,— прибавил он, увидав подходившего к нему Свияжского.

— А мы вот встретились в первый раз после как у вас,— сказал помещик,— да и заговорились.

— Что ж, побранили новые порядки? — с улыбкой сказал Свияжский.

— Не без того.

— Душу отводили.

XXX

Свияжский взял под руку Левина и пошел с ним к своим.

Теперь уж нельзя было миновать Вронского. Он стоял со Степаном Аркадьичем и Сергеем Ивановичем и смотрел прямо на подходившего Левина.

— Очень рад. Кажется, я имел удовольствие встретить... у княгини Щербацкой,— сказал он, подавая руку Левину.

— Да, я очень помню нашу встречу,— сказал Левин и, багрово покраснев, тотчас же отвернулся и заговорил с братом.

Слегка улыбнувшись, Вронский продолжал говорить со Свияжским, очевидно не имея никакого желания вступать в разговор с Левиным; но Левин, говоря с братом, беспрестанно оглядывался на Вронского, придумывая, о чем бы заговорить с ним, чтобы загладить свою грубость.

— За чем же теперь дело?— спросил Левин, оглядываясь на Свияжского и Вронского.

— За Снетковым. Надо, чтоб он отказался или согласился,— отвечал Свияжский.

— Да что же он, согласился или нет?

— В том-то и дело, что ни то ни се,— сказал Вронский.

— А если откажется, кто же будет баллотироваться? — спросил Левин, поглядывая на Вронского.

— Кто хочет,— сказал Свияжский.

— Вы будете? — спросил Левин.

— Только не я,— смутившись и бросив испуганный

— Так кто же? Иеведовскип? — сказал Левин, чувствуя, что он запутался. Но это было еще хуже. Неведовский и Свияжский были два кандидата. — Уж я-то ни в каком случае,— ответил ядовитый господин. Это был сам Неведовский. Свияжский познакомил с ним Левина. — Что, и тебя забрало за яшвое? — сказал Степан Аркадьич, подмигивая Вронскому. — Это вроде скачек. Пари можно. — Да, это забирает за живое, — сказал Вронский. — И, раз взявшись за дело, хочется его сделать. Борьба! — сказал он, нахмурившись и сжав свои сильные скулы. — Что за делец Свияжский! Так ясно у него все. — О да, — рассеянно сказал Вронский. Наступило молчание, во время которого Вронский,— так как надо же смотреть на что-нибудь, — посмотрел на Левина, на его ноги, на его мундир, потом на его лицо и, заметив мрачные, направленные на себя глаза, чтобы сказать что-нибудь, сказал: — А как это вы, — постоянный деревенский житель,— не мировой судья? Вы не в мундире мирового судьи. — Оттого, что я считаю, что мировой суд есть дураціюе учреждение,— отвечал мрачно Левин, все время ждавший случая разговориться с Вронским, чтобы загладить свою грубость при первой встрече. — Я этого не полагаю, напротив, — со спокойным удивлением сказал Вронский. — Это игрушка,— перебил его Левин. — Мировые судьи нам не нуя^ны. Я в восемь лет не имел ни одного дела. А какое имел, то было решено навыворот. Мировой судья от меня в сорока верстах. Я доля^ен о деле в два рубля посылать поверенного, который стоит пятнадцать. И он рассказал, как мужик украл у мельника муку, и когда мельник сказал ему это, то мужик подал иск судье в клевете. Все это было некстати и глупо, и Левин, в то время как говорил, сам чувствовал это. — О, это такой оригинал! — сказал Степан Аркадьич со своею самою миндальною улыбкой. — Пойдемте, однако; кажется, баллотируют... И они разошлись. — Я не понимаю,— сказал Сергей Иванович, заметивший неловкую выходку брата, — я не понимаю, как моя^ио

— Так кто же? Неведовский? — сказал Левин, чувствуя, что он запутался.

Но это было еще хуже. Неведовский и Свияжский были два кандидата.

— Уж я-то ни в каком случае,— ответил ядовитый господин.

Это был сам Неведовский. Свияжский познакомил с ним Левина.

— Что, и тебя забрало за живое? — сказал Степан Аркадьич, подмигивая Вронскому.— Это вроде скачек. Пари можно.

— Да, это забирает за живое, — сказал Вронский. — И, раз взявшись за дело, хочется его сделать. Борьба! — сказал он, нахмурившись и сжав свои сильные скулы.

— Что за делец Свияжский! Так ясно у него все.

— О да,— рассеянно сказал Вронский.

Наступило молчание, во время которого Вронский,— так как надо же смотреть на что-нибудь,— посмотрел на Левина, на его ноги, на его мундир, потом на его лицо и, заметив мрачные, направленные на себя глаза, чтобы сказать что-нибудь, сказал:

— А как это вы,— постоянный деревенский житель,— не мировой судья? Вы не в мундире мирового судьи.

— Оттого, что я считаю, что мировой суд есть дурацкое учреждение,— отвечал мрачно Левин, все время ждавший случая разговориться с Вронским, чтобы загладить свою грубость при первой встрече.

— Я этого не полагаю, напротив,— со спокойным удивлением сказал Вронский.

— Это игрушка,— перебил его Левин.—Мировые судьи нам не нужны. Я в восемь лет не имел ни одного дела. А какое имел, то было решено навыворот. Мировой судья от меня в сорока верстах. Я должен о деле в два рубля посылать поверенного, который стоит пятнадцать.

И он рассказал, как мужик украл у мельника муку, и когда мельник сказал ему это, то мужик подал иск судье в клевете. Все это было некстати и глупо, и Левин, в то время как говорил, сам чувствовал это.

— О, это такой оригинал! — сказал Степан Аркадьич со своею самою миндальною улыбкой.— Пойдемте, однако; кажется, баллотируют...

И они разошлись.

— Я не понимаю, — сказал Сергей Иванович, заметив

быть до такой степени лишенным всякого политического такта. Вот чего мы, русские, не имеем. Губернский предводитель — наш противник, ты с ним ami cochon ’ и просишь его баллотироваться. А граф Вронский... я друга себе из пего не сделаю; он звал обедать, я не поеду к нему; но он наш, зачем же делать из него врага? Потом, ты спрашиваешь Неведовского, будет ли он баллотироваться. Это не делается. — Ах, я ничего не понимаю! И все это пустяки, — мрачно отвечал Левин. — Вот ты говоришь, что все это пусяки, а возьмешься, так все путаешь. Левин замолчал, и они вместе вошли в большую залу. Губернский предводитель, несмотря на то, что он чувствовал в воздухе приготовляемый ему подвох, и несмотря на то, что не все просили его, все-таки решился баллотироваться. Все в зале замолкло, секретарь громогласно объявил, что баллотируется в губернские предводители ротмистр гвардии Михаил Степанович Снетков. Уездные предводители заходили с тарелочками, в которых были шары, от своих столов к губернскому, и начались выборы. — Направо клади, — шепнул Степан Аркадыіч Левину, когда он вместе с братом вслед за предводителем подошел к столу. Но Левин забыл теперь тот расчет, который объясняли ему, и боялся, не ошибся ли Степан Аркадыіч, сказав «направо». Ведь Снетков был враг. Подойдя к ящику, он держал шар в правой, но, подумав, что ошибся, перед самым ящиком переложил шар в левую руку и, очевидно, потом положил налево. Знатоі« дела, стоявший у ящика, по одному движению локтя узнававший, кто куда положит, недовольно поморщился. Ему не на чем было упражнять свою проницательность. Все замолкло, и послышался счет шаров. Потом одинокий голос провозгласил число избирательных и неизбирательных. Предводитель был выбран значительным большинством. Все зашумело и стремительно бросилось к двери. Снетков вошел, и дворянство окружило его, поздравляя. — Ну, теперь кончено? — снросил Левин у Сергея Ивановича. ‘ запанибрата (Франц.),

быть до такой степени лишенным всякого политического такта. Вот чего мы, русские, не имеем. Губернский предводитель — наш противник, ты с ним ami cochon [1] и просишь его баллотироваться. А граф Вронский... я друга себе из него не сделаю; он звал обедать, я не поеду к нему; но он наш, зачем же делать из него врага? Потом, ты спрашиваешь Неведовского, будет ли он баллотироваться. Это не делается.

— Ах, я ничего не понимаю! И все это пустяки,— мрачно отвечал Левин.

— Вот ты говоришь, что все это пусяки, а возьмешься, так все путаешь.

Левин замолчал, и они вместе вошли в большую залу.

Губернский предводитель, несмотря на то, что он чувствовал в воздухе приготовляемый ему подвох, и несмотря на то, что не все просили его, все-таки решился баллотироваться. Все в зале замолкло, секретарь громогласно объявил, что баллотируется в губернские предводители ротмистр гвардии Михаил Степанович Снетков.

Уездные предводители заходили с тарелочками, в которых были шары, от своих столов к губернскому, и начались выборы.

— Направо клади,— шепнул Степан Аркадьич Левину, когда он вместе с братом вслед за предводителем подошел к столу. Но Левин забыл теперь тот расчет, который объясняли ему, и боялся, не ошибся ли Степан Аркадьич, сказав «направо». Ведь Снетков был враг. Подойдя к ящику, он держал шар в правой, но, подумав, что ошибся, перед самым ящиком переложил шар в левую руку и, очевидно, потом положил налево. Знаток дела, стоявший у ящика, по одному движению локтя узнававший, кто куда положит, недовольно поморщился. Ему не на чем было упражнять свою проницательность.

Все замолкло, и послышался счет шаров. Потом одинокий голос провозгласил число избирательных и неизбирательных.

Предводитель был выбран значительным большинством. Все зашумело и стремительно бросилось к двери. Снетков вошел, и дворянство окружило его, поздравляя.

— Ну, теперь кончено? — спросил Левин у Сергея Ивановича.

— Только начинается, — улыбаясь, сказал за Сергея Ивановича Свияжский.— Кандидат предводителя может получить больше шаров. Левин совсем опять забыл про это. Он вспомнил только теперь, что тут была какая-то тонкость, но ему скучно было вспоминать, в чем она состояла. На него нашло уныние, и захотелось выбраться из этой толпы. Так как никто не обрап]i;ал на него внимания и он, казалось, никому не был нужен, он потихоньку направился в маленькую залу, где закусывали, и почувствовал большое облегчение, опять увидав лакеев. Старичок лакей предложил ему покушать, и Левин согласился. Съев котлетку с фасолью и поговорив с лакеем о прежних господах, Левин, не желая входить в залу, где ему было так неприятно, пошел пройтись на хоры. Хоры были полны нарядных дам, перегибавшихся через перила и старавшихся не проронить ни одного слова из того, что говорилось внизу. Около дам сидели и стояли элегантные адвокаты, учителя гимназии в очках и офицеры. Везде говорилось о выборах и о том, как измучился предводитель и как хороши были прения; в одной группе Левин слышал похвалу своему брату. Одна дама говорила адвокату: — Как я рада, что слышала Кознышева! Это стоит, чтобы поголодать. Прелесть! Как ясно. И слышно все! Вот у вас в суде никто так не говорит. Только один Майдель, и то он далеко не так красноречив. Найдя свободное место у перил, Левин перегнулся и стал смотреть и слушать. Все дворяне сидели за перегородочками в своих уездах. Посередине залы стоял человек в мундире и тошшм, громким голосом провозглашал: — Баллотируется в кандидаты губернского предводителя дворянства штаб-ротмистр Евгений Иванович Опухтин! Наступило мертвое молчание, и послышался один слабый старческий голос: — Отказался! — Баллотируется надворный советник Петр Петрович Боль, — начинал опять голос. — Отказался! — раздавался молодой визгливый голос. Опять начиналось то же, и опять «отказался». Так продолжалось около часа. Левин, облокотившись на перила, 242

— Только начинается,— улыбаясь, сказал за Сергея Ивановича Свияжский.— Кандидат предводителя может получить больше шаров.

Левин совсем опять забыл про это. Он вспомнил только теперь, что тут была какая-то тонкость, но ему скучно было вспоминать, в чем она состояла. На него нашло уныние, и захотелось выбраться из этой толпы.

Так как никто не обращал на него внимания и он, казалось, никому не был нужен, он потихоньку направился в маленькую залу, где закусывали, и почувствовал большое облегчение, опять увидав лакеев. Старичок лакей предложил ему покушать, и Левин согласился. Съев котлетку с фасолью и поговорив с лакеем о прежних господах, Левин, не желая входить в залу, где ему было так неприятно, пошел пройтись на хоры.

Хоры были полны нарядных дам, перегибавшихся через перила и старавшихся не проронить ни одного слова из того, что говорилось внизу. Около дам сидели и стояли элегантные адвокаты, учителя гимназии в очках и офицеры. Везде говорилось о выборах и о том, как измучился предводитель и как хороши были прения; в одной группе Левин слышал похвалу своему брату. Одна дама говорила адвокату:

— Как я рада, что слышала Кознышева! Это стоит, чтобы поголодать. Прелесть! Как ясно. И слышно все! Вот у вас в суде никто так не говорит. Только один Майдель, и то он далеко не так красноречив.

Найдя свободное место у перил, Левин перегнулся и стал смотреть и слушать.

Все дворяне сидели за перегородочками в своих уездах. Посередине залы стоял человек в мундире и тонким, громким голосом провозглашал:

— Баллотируется в кандидаты губернского предводителя дворянства штаб-ротмистр Евгений Иванович Опухтин!

Наступило мертвое молчание, и послышался один слабый старческий голос:

— Отказался!

— Баллотируется надворный советник Петр Петрович Боль,— начинал опять голос.

— Отказался! — раздавался молодой визгливый голос. Опять начиналось то же, и опять «отказался». Так про-

смотрел и слушал. Сначала он удивлялся и хотел понять, что это значило; потом, убедившись, что понять этого он не может, ему стало скучно. Потом, вспомнив все то волнение и озлобление, которые он видел на всех лицах, ему стало грустно: он решился уехать и пошел вниз. Проходя через сени хор, он встретил ходившего взад и вперед унылого гимназиста с подтекшими глазами. На лестнице же ему встретилась пара: дама, быстро бежавшая на каблучках, и легкий товарищ прокурора. — Я говорил вам, что не опоздаете, — сказал прокурор в то время, как Левин посторонился, пропуская даму. Левин уже был на выходной лестнице и доставал из жилетного кармана нумерок своей шубы, когда секретарь поймал его. — Пожалуйте, Константин Дмитрия, баллотируют. В кандидаты баллотировался так решительно отказавшийся Неведовский. Левин подошел к двери в залу: она была заперта. Секретарь постучался, дверь отворилась, и навстречу Левину проюркнули два раскрасневшиеся помещика. — Мочи моей нет, — сказал один раскрасневшийся помещик. Вслед за помещиком высунулось лицо губернского предводителя. Лицо это было страшно от изнеможения и страха. — Я тебе сказал не выпускать! — крикнул он сторожу. — Я впустил, ваше превосходительство! — Господи! — и, тяжело вздохнув, губернский предводитель, устало шмыгая в своих белых панталонах, опустив голову, пошел по средине залы к большому столу. Неведовскому переложили, как и было рассчитано, и он был губернским предводителем. Многие были веселы, многие были довольны, счастливы, многие в восторге, многие недовольны и несчастливы. Губернский предводитель был в отчаянии, которого он не мог скрыть. Когда Неведовский пошел из залы, толпа окружила его и восторженно следовала за ним, так же как она следовала в первый день за губернатором, открывшим выборы, и так же как она следовала за Снетковым, когда тот был выбран. 243

смотрел и слушал. Сначала он удивлялся и хотел понять, что это значило; потом, убедившись, что понять этого он не может, ему стало скучно. Потом, вспомнив все то волнение и озлобление, которые он видел на всех лицах, ему стало грустно: он решился уехать и пошел вниз. Проходя через сени хор, он встретил ходившего взад и вперед унылого гимназиста с подтекшими глазами. На лестнице же ему встретилась пара: дама, быстро бежавшая на каблучках, и легкий товарищ прокурора.

— Я говорил вам, что не опоздаете,— сказал прокурор в то время, как Левин посторонился, пропуская даму.

Левин уже был на выходной лестнице и доставал из жилетного кармана нумерок своей шубы, когда секретарь поймал его.— Пожалуйте, Константин Дмитрич, баллотируют.

В кандидаты баллотировался так решительно отказавшийся Неведовский.

Левин подошел к двери в залу: она была заперта. Секретарь постучался, дверь отворилась, и навстречу Левину проюркнули два раскрасневшиеся помещика.

— Мочи моей нет,— сказал один раскрасневшийся помещик.

Вслед за помещиком высунулось лицо губернского предводителя. Лицо это было страшно от изнеможения и страха.

— Я тебе сказал не выпускать! — крикнул он сторожу.

— Я впустил, ваше превосходительство!

— Господи! — и, тяжело вздохнув, губернский предводитель, устало шмыгая в своих белых панталонах, опустив голову, пошел по средине залы к большому столу.

Неведовскому переложили, как и было рассчитано, и он был губернским предводителем. Многие были веселы, многие были довольны, счастливы, многие в восторге, многие недовольны и несчастливы. Губернский предводитель был в отчаянии, которого он не мог скрыть. Когда Неведовский пошел из залы, толпа окружила его и восторженно следовала за ним, так же как она следовала в первый день за губернатором, открывшим выборы, и так же как она следовала за Снетковым, когда тот был

XXXI Вновь избранный губернский предводитель и многие из торжествующей партии новых обедали в этот день у Вронского. Вронский приехал на выборы и потому, что ему было скучно в деревне и нужно было заявить свои права на свободу пред Анной, и для того, чтоб отплатить Свиял^скому поддерл^кой на выборах за все его хлопоты для Вронского на земских выборах, и более всего для того, чтобы строго исполнять все обязанности того положения дворянина и землевладельца, которые он себе избрал. Но он никак не ожидал, чтоб это дело выборов так заняло его, так забрало за живое и чтоб он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибался, думая, что приобрел уже влияние мелщу дворянами. Влиянию его содействовало: его богатство и знатность; прекрасное помещение в городе, которое уступил ему старый знакомый, Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине; отличный повар Вронского, привезенный из деревни; дружба с губернатором, который был товарищем, и еще покровительствуемым товарищем Вронского; а более всего — простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что, кроме этого шального господина, женатого па Кити Щербацкой, который à propos de bottes * с смешной злобой наговорил ему кучу ни к чему нейдущпх глупостей, каждый дворянин, с которым он знакомился, делался его сторонником. Он ясно видел, и другие признавали это, что успеху Неведовского очень много содействовал он. И теперь у себя за столом, празднуя выбор Неведовского, он испытывал приятное чувство торжества за своего избранника. Самые выборы так заманили его, что, если он будет женат к будущему трехлетию, он и сам подумывал баллотироваться,— вроде того, как после выигрыша приза чрез жокея ему захотелось скакать самому. Теперь же праздновался выигрыш жокея. Вронский сидел в голове стола, по правую руку его сидел молодой, губернатор, свитский генерал. Для всех это был хозяин ^ ни с того ни с сего (Франц.),

XXXI

Вновь избранный губернский предводитель и многие из торжествующей партии новых обедали в этот день у Вронского.

Вронский приехал на выборы и потому, что ему было скучно в деревне и нужно было заявить свои права на свободу пред Анной, и для того, чтоб отплатить Свияжскому поддержкой на выборах за все его хлопоты для Вронского на земских выборах, и более всего для того, чтобы строго исполнять все обязанности того положения дворянина и землевладельца, которые он себе избрал. Но он никак не ожидал, чтоб это дело выборов так заняло его, так забрало за живое и чтоб он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибался, думая, что приобрел уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовало: его богатство и знатность; прекрасное помещение в городе, которое уступил ему старый знакомый, Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине; отличный повар Вронского, привезенный из деревни; дружба с губернатором, который был товарищем, и еще покровительствуемым товарищем Вронского; а более всего — простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что, кроме этого шального господина, женатого на Кити Щербацкой, который à propos de bottes[1] с смешной злобой наговорил ему кучу ни к чему нейдущих глупостей, каждый дворянин, с которым он знакомился, делался его сторонником. Он ясно видел, и другие признавали это, что успеху Неведовского очень много содействовал он. И теперь у себя за столом, празднуя выбор Неведовского, он испытывал приятное чувство торжества за своего избранника. Самые выборы так заманили его, что, если он будет женат к будущему трехлетию, он и сам подумывал баллотироваться,— вроде того, как после выигрыша приза чрез жокея ему захотелось скакать самому.

Теперь же праздновался выигрыш жокея. Вронский сидел в голове стола, по правую руку его сидел молодой губернатор, свитский генерал. Для всех это был хозяин

губернии, торжественно открывавший выборы, говоривший речь и возбул^давший и уважение и раболепность в некоторых, как видел Вронский; для Вронского это был Маслов Катька, — такое было у него прозвище в Пажеском корпусе, — конфузившийся пред ним, и которого Вронский старался mettre à son aise К По левую руку сидел Неведовский со своим юным, непоколебимым и ядовитым лицом. С ним Вронский был прост и уважителен. Свияжский переносил свою неудачу весело. Это даже не была неудача для него, как он сам сказал, с бокалом обращаясь к Неведовскому: лучше нельзя было найти представителя того нового направления, которому доллшо последовать дворянство. II потому все честное, как он сказал, стояло на стороне нынешнего успеха и торжс твовало его. Степан Аркадьич был также рад, что весело провел время и что все довольны. За прекрасным обедом перебирались эпизоды выборов. Свияжский комически передал слезную речь предводителя и заметил, обращаясь к Неведовскому, что его превосходительству придется избрать другую, более сложную, чем слезы, поверку сумм. Другой шутливый дворянин рассказал, как выписаны были лакеи в чулках для бала губернского предводителя и как теперь их придется отослать назад, если новый губернский предводитель не даст бала с лакеями в чулках. Беспрестанно во время обеда, обращаясь к Неведовскому, говорили ему: «наш губернский предводитель» и «ваше превосходительство». Это говорилось с тем же удовольствием, с каким молодую женщину называют «madame» и по имени мужа. Неведовский делал вид, что он не только равнодушен, но и презирает это звание, но очевидно было, что он счастлив и держит себя под уздцы, чтобы не выразить восторга, не подобающего той новой, либеральной среде, в которой все находились. За обедом было послано несколько телеграмм людям, интересовавшимся ходом выборов. И Степан Аркадьич, которому было очень весело, послал Дарье Александровне телеграмму такого содержания: «Неведовский выбран двенадцатью шарами. Поздравляю. Передай». Он продиктовал ее вслух, заметив: «Надо их порадовать». Дарья же ^ ободрить (Франц.).

губернии, торжественно открывавший выборы, говоривший речь и возбуждавший и уважение и раболепность в некоторых, как видел Вронский; для Вронского это был Маслов Катька,— такое было у него прозвище в Пажеском корпусе,— конфузившийся пред ним, и которого Вронский старался mettre à son aise[1]. По левую руку сидел Неведовский со своим юным, непоколебимым и ядовитым лицом. С ним Вронский был прост и уважителен.

Свияжский переносил свою неудачу весело. Это даже не была неудача для него, как он сам сказал, с бокалом обращаясь к Неведовскому: лучше нельзя было найти представителя того нового направления, которому должно последовать дворянство. И потому все честное, как он сказал, стояло на стороне нынешнего успеха и торжествовало его.

Степан Аркадьич был также рад, что весело провел время и что все довольны. За прекрасным обедом перебирались эпизоды выборов. Свияжский комически передал слезную речь предводителя и заметил, обращаясь к Неведовскому, что его превосходительству придется избрать другую, более сложную, чем слезы, поверку сумм. Другой шутливый дворянин рассказал, как выписаны были лакеи в чулках для бала губернского предводителя и как теперь их придется отослать назад, если новый губернский предводитель не даст бала с лакеями в чулках.

Беспрестанно во время обеда, обращаясь к Неведовскому, говорили ему: «наш губернский предводитель» и «ваше превосходительство».

Это говорилось с тем же удовольствием, с каким молодую женщину называют «madame» и по имени мужа. Неведовский делал вид, что он не только равнодушен, но и презирает это звание, но очевидно было, что он счастлив и держит себя под уздцы, чтобы не выразить восторга, не подобающего той новой, либеральной среде, в которой все находились.

За обедом было послано несколько телеграмм людям, интересовавшимся ходом выборов. И Степан Аркадьич, которому было очень весело, послал Дарье Александровне телеграмму такого содержания: «Неведовский выбран двенадцатью шарами. Поздравляю. Передай». Он продиктовал ее вслух, заметив: «Надо их порадовать». Дарья же

Александровна, получив депешу, только вздохнула о рубле за телеграмму и поняла, что дело было в конце обеда. Она знала, что Стива имеет слабость в конце хороших обедов «faire jouer le télégraphe» ^ Все было, вместе с отличным обедом и винами не от русских виноторговцев, а прямо заграничной разливки, очень благородно, просто и весело. Кружок людей в двадцать человек был подобран Свияжским из единомышленных, либеральных, новых деятелей и вместе остроумных и порядочных. Пили тосты, тоже полушутливые, и за нового губернского предводителя, и за губернатора, и за директора банка, и за «любезного нашего хозяина». Вронский был доволен. Он никак не ожидал такого милого тона в провинции. конце обеда стало еще веселее. Губернатор просил Вронского ехать в концерт в пользу братии, который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться. — Там будет бал, и ты увидишь нашу красавицу, В самом деле замечательно. — Not in my line^, — отвечал Вронский, любивший это выра^ение, но улыбнулся и обещал приехать. Уже пред выходом из-за стола, когда все закурили, камердинер Вронского подошел к нему с письмом на подносе. — Из Воздвиженского с нарочным, — сказал он с значительным выражением. — Удивительно, как он похож на товарища прокурора Свентицкого, — сказал один из гостей по-французски про камердинера, в то время как Вронский, хмурясь, читал письмо. Письмо было от Анны. Еще прежде чем он прочел письмо, он уя^е знал его содержание. Предполагая, что выборы кончатся в пять дней, он обещал вернуться в пятницу. Нынче была суббота, и он знал, что содержанием письма были упреки в том, что он не вернулся вовремя. Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не дошло еще. Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была неожиданная и особенно неприятная ему. «Ани очень больна, доктор говорил, что может быть воспаление. Я одна теряю голову. Княжна Варвара не помощница, ^ злоупотреблять телеграфом (франц.)^ * Не по моей части (англ.). 246

Александровна, получив депешу, только вздохнула о рубле за телеграмму и поняла, что дело было в конце обеда. Она знала, что Стива имеет слабость в конце хороших обедов «faire jouer le télégraphe» [1].

Все было, вместе с отличным обедом и винами не от русских виноторговцев, а прямо заграничной разливки, очень благородно, просто и весело. Кружок людей в двадцать человек был подобран Свияжским из единомышленных, либеральных, новых деятелей и вместе остроумных и порядочных. Пили тосты, тоже полушутливые, и за нового губернского предводителя, и за губернатора, и за директора банка, и за «любезного нашего хозяина».

Вронский был доволен. Он никак не ожидал такого милого тона в провинции.

В конце обеда стало еще веселее. Губернатор просил Вронского ехать в концерт в пользу *братии,* который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться.

— Там будет бал, и ты увидишь нашу красавицу. В самом деле замечательно.

— Not in my line [2], — отвечал Вронский, любивший это выражение, но улыбнулся и обещал приехать.

Уже пред выходом из-за стола, когда все закурили, камердинер Вронского подошел к нему с письмом на подносе.

— Из Воздвиженского с нарочным,— сказал он с значительным выражением.

— Удивительно, как он похож на товарища прокурора Свентицкого,— сказал один из гостей по-французски про камердинера, в то время как Вронский, хмурясь, читал письмо.

Письмо было от Анны. Еще прежде чем он прочел письмо, он уже знал его содержание. Предполагая, что выборы кончатся в пять дней, он обещал вернуться в пятницу. Нынче была суббота, и он знал, что содержанием письма были упреки в том, что он не вернулся вовремя. Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не дошло еще.

Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была неожиданная и особенно неприятная ему. «Ани очень больна, доктор говорил, что может быть воспаление. Я одна теряю голову. Княжна Варвара не помощница,

---

1 злоупотребить телеграфом (*франц.*).

а помеха. Я ждала тебя третьего дня, вчера и теперь посылаю узнать, где ты и что ты? Я сама хотела ехать, но раздумала, зная, что это будет тебе неприятно. Дай ответ какой-нибудь, чтоб я знала, что делать». Ребенок болен, а она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон. Это невинное веселье выборов и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своею противоположностью. Но надо было ехать, и он по первому поезду, в ночь, уехал к себе. XXXII Перед отъездом Вронского на выборы, обдумав то, что те сцепы, которые повторялись между ними при каждом его отъезде, могут только охладить, а не привязать его, Апиа решилась сделать над собой все возможные усилия, чтобы спокойно переносить разлуку с ним. Но тот холодный, строгий взгляд, которым он посмотрел на нее, когда пришел объявить о своем отъезде, оскорбил ее, и еще он не уехал, как спокойствие ее уже было разрушено. В одиночестве потом передумывая этот взгляд, который выражал право на свободу, она пришла, как и всегда, к одному — к сознанию своего унижения. «Он имеет право уехать, когда и куда он хочет. Не только уехать, но оставить меня. Он имеет все права, я не имею никаких. Но, зная это, он не должен был этого делать. Однако что же он сделал?.. Он посмотрел на меня с холодным, строгим выражением. Разумеется, это неопределимо, неосязаемо, но этого не было прежде, и этот взгляд многое значит,— думала она. — Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение». И хотя она убедилась, что начинается охлаждение, ей все-таки нечего было делать, нельзя было ни в чем изменить своих отношений к нему. Точно так же как прежде, одною любовью и привлекательностью она могла удержать его. И так же как прежде, занятиями днем и морфином по ночам она могла заглушать страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее. Правда, было еще одно средство: не удерживать его,— для этого она не хотела ничего другого, кроме его любви, — но сблизиться с ним, быть в таком положении, чтобы он не покидал ее. Это средство было развод и брак. И она стала л^елать 247

а помеха. Я ждала тебя третьего дня, вчера и теперь посылаю узнать, где ты и что ты? Я сама хотела ехать, но раздумала, зная, что это будет тебе неприятно. Дай ответ какой-нибудь, чтоб я знала, что делать».

Ребенок болен, а она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон.

Это невинное веселье выборов и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своею противоположностью. Но надо было ехать, и он по первому поезду, в ночь, уехал к себе.

XXXII

Перед отъездом Вронского на выборы, обдумав то, что те сцены, которые повторялись между ними при каждом его отъезде, могут только охладить, а не привязать его, Анна решилась сделать над собой все возможные усилия, чтобы спокойно переносить разлуку с ним. Но тот холодный, строгий взгляд, которым он посмотрел на нее, когда пришел объявить о своем отъезде, оскорбил ее, и еще он не уехал, как спокойствие ее уже было разрушено.

В одиночестве потом передумывая этот взгляд, который выражал право на свободу, она пришла, как и всегда, к одному — к сознанию своего унижения. «Он имеет право уехать, когда и куда он хочет. Не только уехать, но оставить меня. Он имеет все права, я не имею никаких. Но, зная это, он не должен был этого делать. Однако что же он сделал?.. Он посмотрел на меня с холодным, строгим выражением. Разумеется, это неопределимо, неосязаемо, но этого не было прежде, и этот взгляд многое значит,— думала она.— Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение».

И хотя она убедилась, что начинается охлаждение, ей все-таки нечего было делать, нельзя было ни в чем изменить своих отношений к нему. Точно так же как прежде, одною любовью и привлекательностью она могла удержать его. И так же как прежде, занятиями днем и морфином по ночам она могла заглушать страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее. Правда, было еще одно средство: не удерживать его,— для этого она не хотела ничего другого, кроме его любви,— но сблизиться

этого и решилась согласиться в первый же раз, как он или Стива заговорят ей об этом. В таких мыслях она провела без него пять дней, те самые, которые он должен был находиться в отсутствии. Прогулки, беседы с княжной Варварой, посепдения больницы, а главное, чтение, чтение одной книги за другой, занимали ее время. Но на шестой день, когда кучер вернулся без него, она почувствовала, что уже не в силах кичем заглушать мысль о нем и о том, что он там делает. В это самое время дочь ее заболела. Анна взялась ходить за нею, но и это не развлекло ее, тем более, что болезнь не была опасна. Как она ни старалась, она не могла любить эту девочку, а притворяться в любви она не могла. К вечеру этого дня, оставшись одна, Анна почувствовала такой страх за него, что решилась было ехать в город, но, раздумав хорошенько, написала то противоречивое письмо, которое получил Вронский, и, не перечтя его, послала с нарочным. На другое утро она получила его письмо и раскаялась в своем. Она с ужасом ожидала повторения того строгого взгляда, который он бросил на нее, уезжая, особенно когда он узнает, что девочка не была опасно больна. Но все-таки она была рада, что написала ему. Теперь Анна уж признавалась себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросит свою свободу, чтобы вернуться к ней, и, несмотря на то, она рада была, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с нею, чтоб она видела его, знала его каждое движение. Она сидела в гостиной, под лампой, с новою книгой Тэна и читала, прислушиваясь к звукам ветра на дворе и ожидая каждую минуту приезда экипажа. Несколько раз ей казалось, что она слышала звуки колес, но она ошибалась; наконец послышались не только звуки колее, но и покрик кучера и глухой звук в крытом подъезде. Даже княжна Варвара, делавшая пасьянс, подтвердила это, и Анна, вспыхнув, встала, но, вместо того чтоб идти вниз, как она прежде два раза ходила, она остановилась. Ей вдруг стало стыдно за свой обман, но более всего страшно за то, как он примет ее. Чувство оскорбления уже прошло; она только боялась выражения его неудовольствия. Она вспомнила, что дочь уже второй день была совсем здорова. Ей дан^е досадно стало на нее за то, что она оправилась как раз в то время, как было послано письмо. Потом она вспомішла его, что он тут, весь, со 248

этого и решилась согласиться в первый же раз, как он или Стива заговорят ей об этом.

В таких мыслях она провела без него пять дней, те самые, которые он должен был находиться в отсутствии.

Прогулки, беседы с княжной Варварой, посещения больницы, а главное, чтение, чтение одной книги за другой, занимали ее время. Но на шестой день, когда кучер вернулся без него, она почувствовала, что уже не в силах ничем заглушать мысль о нем и о том, что он там делает. В это самое время дочь ее заболела. Анна взялась ходить за нею, но и это не развлекло ее, тем более, что болезнь не была опасна. Как она ни старалась, она не могла любить эту девочку, а притворяться в любви она не могла. К вечеру этого дня, оставшись одна, Анна почувствовала такой страх за него, что решилась было ехать в город, но, раздумав хорошенько, написала то противоречивое письмо, которое получил Вронский, и, не перечтя его, послала с нарочным. На другое утро она получила его письмо и раскаялась в своем. Она с ужасом ожидала повторения того строгого взгляда, который он бросил на нее, уезжая, особенно когда он узнает, что девочка не была опасно больна. Но все-таки она была рада, что написала ему. Теперь Анна уж признавалась себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросит свою свободу, чтобы вернуться к ней, и, несмотря на то, она рада была, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с нею, чтоб она видела его, знала его каждое движение.

Она сидела в гостиной, под лампой, с новою книгой Тэна и читала, прислушиваясь к звукам ветра на дворе и ожидая каждую минуту приезда экипажа. Несколько раз ей казалось, что она слышала звуки колес, но она ошибалась; наконец послышались не только звуки колес, но и покрик кучера и глухой звук в крытом подъезде. Даже княжна Варвара, делавшая пасьянс, подтвердила это, и Анна, вспыхнув, встала, но, вместо того чтоб идти вниз, как она прежде два раза ходила, она остановилась. Ей вдруг стало стыдно за свой обман, но более всего страшно за то, как он примет ее. Чувство оскорбления уже прошло; она только боялась выражения его неудовольствия. Она вспомнила, что дочь уже второй день была совсем здорова. Ей даже досадно стало на нее за то, что она оправилась как раз в то время, как было послано

своими глазами, руками. Она услыхала его голос. И, забыв все, радостно побежала ему навстречу. — Ну, что Ани? — робко сказал он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну. Он сидел на стуле, и лакей стаскивал с него теплый сапог. — Ничего, ей лучше. — А ты? — сказал он, отряхиваясь. Она взяла его обеими руками за руку и потянула ее к своей талии, не спуская с него глаз. — Ну, я очень рад,— сказал он, холодно оглядывая ее, ее прическу, ее платье, которое он знал, что она надела для него. Все это нравилось ему, но уже столько раз нравилось! И то строго-каменное выражение, которого она так боялась, остановилось на его лице. — Ну, я очень рад. А ты здорова? — сказал он, отерев платком мокрую бороду и целуя ее руку. «Все равно, — думала она, — только бы он был тут, а когда он тут, он не может, не смеет не любить меня». Вечер прошел счастливо и весело при княжне Варваре, которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин. — Что ж делать? Я не могла спать... Мысли мешали. При нем я никогда не принимаю. Почти никогда. Он рассказал про выборы, и Анна умела вопросами вызвать его на то самое, что веселило его, — на его успех. Она рассказала ему все, что интересовало его дома. М все сведения ее были самые веселые. Но поздно вечером уже, когда они' остались одни, Анна, видя, что она опять вполне овладела им, захотела стереть то тяжелое впечатление взгляда за письмо. Она сказала: — А признайся, тебе досадно было получить письмо, и ты не поверил мне? Только что она сказала это, она поняла, что, как ни любовно он был теперь расположен к ней, он этого не простил ей. — Да,— сказал он.— Письмо было такое странное. То Ани больна, то ты сама хотела приехать. — Это все было правда. — Да я и не сомневаюсь. — Нет, ты сомневаешься. Ты недоволен, я вижу.

своими глазами, руками. Она услыхала его голос. И, забыв все, радостно побежала ему навстречу.

— Ну, что Ани? — робко сказал он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну.

Он сидел на стуле, и лакей стаскивал с него теплый сапог.

— Ничего, ей лучше.

— А ты? — сказал он, отряхиваясь.

Она взяла его обеими руками за руку и потянула ее к своей талии, не спуская с него глаз.

— Ну, я очень рад,— сказал он, холодно оглядывая ее, ее прическу, ее платье, которое он знал, что она надела для него.

Все это нравилось ему, но уже столько раз нравилось! И то строго-каменное выражение, которого она так боялась, остановилось на его лице.

— Ну, я очень рад. А ты здорова? — сказал он, отерев платком мокрую бороду и целуя ее руку.

«Все равно,— думала она,— только бы он был тут, а когда он тут, он не может, не смеет не любить меня».

Вечер прошел счастливо и весело при княжне Варваре, которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин.

— Что ж делать? Я не могла спать... Мысли мешали. При нем я никогда не принимаю. Почти никогда.

Он рассказал про выборы, и Анна умела вопросами вызвать его на то самое, что веселило его,— на его успех. Она рассказала ему все, что интересовало его дома. И все сведения ее были самые веселые.

Но поздно вечером уже, когда они остались одни, Анна, видя, что она опять вполне овладела им, захотела стереть то тяжелое впечатление взгляда за письмо. Она сказала:

— А признайся, тебе досадно было получить письмо, и ты не поверил мне?

Только что она сказала это, она поняла, что, как ни любовно он был теперь расположен к ней, он этого не простил ей.

— Да,— сказал он.— Письмо было такое странное. То Ани больна, то ты сама хотела приехать.

— Это все было правда.

— Ни одной минуты, я только недоволен, это правда, тем, что ты как будто не хочешь допустить, что есть обязанности... — Обязанности ехать в концерт... — Но не будем говорить, — сказал он. — Почему же не говорить? — сказала она. — Я только хочу сказать, что могут встретиться дела, необходимость. Вот теперь мне надо будет ехать в Москву, по делу дома... Ах, Анна, почему ты так раздражаешься? Разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить? — А если так,— сказала Анна вдруг изменившимся голосом, — то ты тяготишься этою жизнью... Да, ты приедешь на день и уедешь, как поступают... — Анна, это жестоко. Я всю жизнь готов отдать... Но опа не слушала его. — Если ты поедешь в Москву, то и я поеду. Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе. — Ведь ты знаешь, что это одно мое желанье. Но для этого... — Надо развод? Я напишу ему. Я вижу, что я не могу так жить... Но я поеду с тобой в Москву. — Точно ты угрожаешь мне. Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою,— улыбаясь, сказал Вронский. Но не только холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова. Она видела этот взгляд и верно угадала его значение. «Если так, то это несчастно!» — говорил этот его взгляд. Это было минутное впечатление, по она никогда уже не забыла его. Анна написала письмо мужу, прося его о разводе, и в конце ноября, расставшись с княжной Варварой, которой надо было ехать в Петербург, вместе с Вронским переехала в Москву. Ожидая каждый день ответа Алексея Александровича и вслед за тем развода, они поселились теперь супружески вместе.

— Ни одной минуты. Я только недоволен, это правда, тем, что ты как будто не хочешь допустить, что есть обязанности...

— Обязанности ехать в концерт...

— Но не будем говорить,— сказал он.

— Почему же не говорить? — сказала она.

— Я только хочу сказать, что могут встретиться дела, необходимость. Вот теперь мне надо будет ехать в Москву, по делу дома... Ах, Анна, почему ты так раздражаешься? Разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить?

— А если так,— сказала Анна вдруг изменившимся голосом,— то ты тяготишься этою жизнью... Да, ты приедешь на день и уедешь, как поступают...

— Анна, это жестоко. Я всю жизнь готов отдать...

Но она не слушала его.

— Если ты поедешь в Москву, то и я поеду. Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе.

— Ведь ты знаешь, что это одно мое желанье. Но для этого...

— Надо развод? Я напишу ему. Я вижу, что я не могу так жить... Но я поеду с тобой в Москву.

— Точно ты угрожаешь мне. Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою,— улыбаясь, сказал Вронский.

Но не только холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова.

Она видела этот взгляд и верно угадала его значение.

«Если так, то это несчастие!» — говорил этот его взгляд. Это было минутное впечатление, но она никогда уже не забыла его.

Анна написала письмо мужу, прося его о разводе, и в конце ноября, расставшись с княжной Варварой, которой надо было ехать в Петербург, вместе с Вронским переехала в Москву. Ожидая каждый день ответа Алексея Александровича и вслед за тем развода, они поселились теперь супружески вместе.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ I Левины жили уже третий месяц в Москве. Уже давно прошел тот срок, когда, по самым верным расчетахМ людей, знаіош,их эти дела, Кити должна была родить; а она все еще носила, и ни по чему не было заметно, чтобы время было ближе теперь, чем два месяца назад. И доктор, и акушерка, и Долли, и мать, и в особенности Левин, без ужаса не могший подумать о приближавшемся, начинали испытывать нетерпение и беспокойство; одна Кити чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою. Она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству. Он теперь уже не был вполне частью ее, а иногда жил и своею независимою от нее жизнью. Часто ей бывало больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой радости. Все, кого она любила, были с нею, и все были так добры к ней, так ухаживали за нею, так одно приятное во всем предоставлялось ей, что если б она не знала и не чувствовала, что это должно скоро кончиться, она бы и не йселала лучшей и приятнейшей жизни. Одно, что портило ей прелесть этой жизни, было то, что муж ее был не тот, каким она любила его и каким он бывал в деревне. Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно казался беспокоен и настороже, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. Там, в деревне, он, очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в городе, он постоянно торопился, как бы не пропустить чего-то, и делать ему 251

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Левины жили уже третий месяц в Москве. Уже давно прошел тот срок, когда, по самым верным расчетам людей, знающих эти дела, Кити должна была родить; а она все еще носила, и ни по чему не было заметно, чтобы время было ближе теперь, чем два месяца назад. И доктор, и акушерка, и Долли, и мать, и в особенности Левин, без ужаса не могший подумать о приближавшемся, начинали испытывать нетерпение и беспокойство; одна Кити чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою.

Она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству. Он теперь уже не был вполне частью ее, а иногда жил и своею независимою от нее жизнью. Часто ей бывало больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой радости.

Все, кого она любила, были с нею, и все были так добры к ней, так ухаживали за нею, так одно приятное во всем предоставлялось ей, что если б она не знала и не чувствовала, что это должно скоро кончиться, она бы и не желала лучшей и приятнейшей жизни. Одно, что портило ей прелесть этой жизни, было то, что муж ее был не тот, каким она любила его и каким он бывал в деревне.

Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно казался беспокоен и настороже, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. Там, в деревне, он, очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в городе, он постоян-

было нечего. И ей было жалко его. Для других, она знала, он не представлялся жалким; напротив, когда Кити в обществе смотрела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь видеть его как будто чулюго, чтоб определить себе то впечатление, которое он производит на других, она видела, со страхом даже для своей ревности, что он не только не жалок, но очень привлекателен своего порядочностью, несколько старомодною, застенчивою велшивостыо с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей казалось, выразительным лицом. Но она видела его не извне, а изнутри; она видела, что он здесь не настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние. Иногда она в душе упрекала его за то, что он не умеет жить в городе; иногда л^е сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здесь свою Лvизіть так, чтобы быть ею довольным. В самом деле, что ему было делать? В карты он не любил играть. В клуб не ездил. С веселыми мужчинами вроде Облонского водиться, она уже знала теперь, что значило... это значило пить и ехать после питья куда-то. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мулшииы. Ездить в свет? Но она знала, что для этого надо находить удовольствие в сближении с женщинами молодыми, и она не могла желать этого. Сидеть дома с нею, с матерью и сестрами? Но, как ни были ей приятны и веселы одни и те же разговоры, — «АлиныНадины», каі^ называл эти разговоры между сестрами старый князь, — она знала, что ему должно быть это скучно. Что же ему оставалось делать? Продолжать писать свою книгу? Он и попытался это делать и ходил сначала в библиотеку заниматься выписками и справками для своей книги; но, как он говорил ей, чем больше он ничего не делал, тем меньше у него оставалось времени. И, кроме того, он жаловался ей, что слишком много разговаривал здесь о своей книге и что потому все мысли о ней спутались у него и потеряли интерес. Одна выгода этой городской жизни была та, что ссор здесь, в городе, между ними никогда не было. Оттого ли, что условия городские другие, или оттого, что они оба стали осторожнее и благоразумнее в этом отношении, в Москве у них не было ссор из-за ревности, которых они так боялись, переезжая в город. В этом отношении случилось даже одно очень важное для них обоих событие, именно встреча Кити с Вронским. 252

было печего. И ей было жалко его. Для других, она знала, он не представлялся жалким; напротив, когда Кити в обществе смотрела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь видеть его как будто чужого, чтоб определить себе то впечатление, которое он производит на других, она видела, со страхом даже для своей ревности, что он не только не жалок, но очень привлекателен своею порядочностью, несколько старомодною, застенчивою вежливостью с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей казалось, выразительным лицом. Но она видела его не извне, а изнутри; она видела, что он здесь не настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние. Иногда она в душе упрекала его за то, что он не умеет жить в городе; иногда же сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здесь свою жизнь так, чтобы быть ею довольным.

В самом деле, что ему было делать? В карты он не любил играть. В клуб не ездил. С веселыми мужчинами вроде Облонского водиться, она уже знала теперь, что́ значило... это значило пить и ехать после питья куда-то. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мужчины. Ездить в свет? Но она знала, что для этого надо находить удовольствие в сближении с женщинами молодыми, и она не могла желать этого. Сидеть дома с нею, с матерью и сестрами? Но, как ни были ей приятны и веселы одни и те же разговоры,— «Алины-Надины», как называл эти разговоры между сестрами старый князь,— она знала, что ему должно быть это скучно. Что же ему оставалось делать? Продолжать писать свою книгу? Он и попытался это делать и ходил сначала в библиотеку заниматься выписками и справками для своей книги; но, как он говорил ей, чем больше он ничего не делал, тем меньше у него оставалось времени. И, кроме того, он жаловался ей, что слишком много разговаривал здесь о своей книге и что потому все мысли о ней спутались у него и потеряли интерес.

Одна выгода этой городской жизни была та, что ссор здесь, в городе, между ними никогда не было. Оттого ли, что условия городские другие, или оттого, что они оба стали осторожнее и благоразумнее в этом отношении, в Москве у них не было ссор из-за ревности, которых они так боялись, переезжая в город.

В этом отношении случилось даже одно очень важное

Старуха княгиня Марья Борисовна, крестная мать Кити, всегда очень ее любившая, пожелала непременно видеть ее. Кити, никуда по своему положению не ездивпіая, поехала с отцом к почтенной старухе и встретила у ней Вронского. Кити при этой встрече могла упрекнуть себя только в том, что на мгновение, когда она узнала в штатском платье столь знакомые ей когда-то черты, у ней прервалось дыхание, кровь прилила к сердцу, и яркая краска, она чувствовала это, выступила на лицо. Но это продолжалось лишь несколько секунд. Еш,е отец, нарочно громко заговоривший с Вронским, не кончил своего разговора, как она была уже вполне готова смотреть на Вронского, говорить с ним, если нужно, точно так же, как она говорила с княгиней Марьей Борисовной, и, главное, так, чтобы все до последней интонации и улыбки было одобрено мужем, которого невидимое присутствие она как будто чувствовала над собой в эту минуту. Она сказала с ним несколько слов, даже спокойно улыбнулась на его шутку о выборах, которые он назвал «наш парламент». (Надо было улыбнуться, чтобы показать, что она поняла шутку.) Но тотчас же она отвернулась к княгине Марье Борисовне и ни разу не взглянула на него, пока он не встал, прощаясь; тут она посмотрела па него, но, очевидно, только потому, что неучтиво пе смотреть на человека, когда он кланяется. Она благодарна была отцу за то, что он ничего не сказал ей о встрече с Вронским; но она видела по особенной нежности его после визита, во время обычной прогулки, что он был доволен ею. Она сама была довольна собою. Она никак не ожидала, чтоб у нее нашлась эта сила задержать где-то в глубине души все воспоминания прежнего чувства к Вронскому и не только казаться, но и быть к нему вполне равнодушною и спокойною. Левин покраснел гораздо больше ее, когда она сказала ему, что встретила Вронского у княгини Марьи Борисовны. Ей очень трудно было сказать это ему, но еще труднее было продолжать говорить о подробностях встречи, так как он не спрашивал ее, а только, нахмурившись, смотрел на нее. — Мне очень жаль, что тебя не было, — сказала она. — Не то, что тебя не было в комнате... я бы не была так естественна при тебе... Я теперь краснею гораздо 253

Старуха княгиня Марья Борисовна, крестная мать Кити, всегда очень ее любившая, пожелала непременно видеть ее. Кити, никуда по своему положению не ездившая, поехала с отцом к почтенной старухе и встретила у ней Вронского.

Кити при этой встрече могла упрекнуть себя только в том, что на мгновение, когда она узнала в штатском платье столь знакомые ей когда-то черты, у ней прервалось дыхание, кровь прилила к сердцу, и яркая краска, она чувствовала это, выступила на лицо. Но это продолжалось лишь несколько секунд. Еще отец, нарочно громко заговоривший с Вронским, не кончил своего разговора, как она была уже вполне готова смотреть на Вронского, говорить с ним, если нужно, точно так же, как она говорила с княгиней Марьей Борисовной, и, главное, так, чтобы все до последней интонации и улыбки было одобрено мужем, которого невидимое присутствие она как будто чувствовала над собой в эту минуту.

Она сказала с ним несколько слов, даже спокойно улыбнулась на его шутку о выборах, которые он назвал «наш парламент». (Надо было улыбнуться, чтобы показать, что она поняла шутку.) Но тотчас же она отвернулась к княгине Марье Борисовне и ни разу не взглянула на него, пока он не встал, прощаясь; тут она посмотрела на него, но, очевидно, только потому, что неучтиво не смотреть на человека, когда он кланяется.

Она благодарна была отцу за то, что он ничего не сказал ей о встрече с Вронским; но она видела по особенной нежности его после визита, во время обычной прогулки, что он был доволен ею. Она сама была довольна собою. Она никак не ожидала, чтоб у нее нашлась эта сила задержать где-то в глубине души все воспоминания прежнего чувства к Вронскому и не только казаться, но и быть к нему вполне равнодушною и спокойною.

Левин покраснел гораздо больше ее, когда она сказала ему, что встретила Вронского у княгини Марьи Борисовны. Ей очень трудно было сказать это ему, но еще труднее было продолжать говорить о подробностях встречи, так как он не спрашивал ее, а только, нахмурившись, смотрел на нее.

— Мне очень жаль, что тебя не было,—сказала

больше, гораздо, гораздо больше, — говорила она, краснея до слез.— Но что ты не мог видеть в ш,елку. Правдивые глаза сказали Левину, что она была довольна собой, и он, несмотря на то, что она краснела, тотчас же успокоился и стал расспрашивать ее, чего только она и хотела. Когда он узнал все, даже до той подробности, что она только в первую секунду не могла не покраснеть, но что потом ей было так же просто и легко, как с первым встречным, Левин совершенно повеселел и сказал, что он очень рад этому и теперь уже не поступит так глупо, как на выборах, а постарается при первой встрече с Вронским быть как можно дружелюбнее. — Так мучительно думать, что есть человек почти враг, с которым тяжело встречаться, — сказал Левин.— Я очень, очень рад. II — Так заезжай, пожалуйста, к Болям, — сказала Кити мужу, когда он в одиннадцать часов, пред тем как уехать из дома, зашел к ней.— Я знаю, что ты обедаешь в клубе, папа тебя записал. А утро что ты делаешь? — Як Катавасову только, — отвечал Левин. — Что же так рано? — Он обеіцал меня познакомить с Метровым. Мне хотелось поговорить с ним о моей работе, это известный ученый петербургский,— сказал Левин. — Да, это его статью ты так хвалил? Ну, а потом? — сказала Кити. — Еш;е в суд, может быть, заеду по делу сестры. — А в концерт? — спросила она. — Да что я поеду один! — Нет, поезжай; там дают эти новые вещи... Это тебя так интересовало. Я бы непременно поехала. — Ну, во всяком случае, я заеду домой пред обедом,— сказал он, глядя на часы. — Надень же сюртук, чтобы прямо заехать к графине Боль. — Да разве это непременно нужно? — Ах, непременно! Он был у нас. Ну что тебе стоит? Заедешь, сядешь, поговоришь пять минут о погоде, встанешь и уедешь. — Ну, ты не поверишь, я так от этого отвык, что этото мне и совестно. Как это? Пришел чужой человек, сел. 254

больше, гораздо, гораздо больше,— говорила она, краснея до слез.— Но что ты не мог видеть в щелку.

Правдивые глаза сказали Левину, что она была довольна собой, и он, несмотря на то, что она краснела, тотчас же успокоился и стал расспрашивать ее, чего только она и хотела. Когда он узнал все, даже до той подробности, что она только в первую секунду не могла не покраснеть, но что потом ей было так же просто и легко, как с первым встречным, Левин совершенно повеселел и сказал, что он очень рад этому и теперь уже не поступит так глупо, как на выборах, а постарается при первой встрече с Вронским быть как можно дружелюбнее.

— Так мучительно думать, что есть человек почти враг, с которым тяжело встречаться,— сказал Левин.— Я очень, очень рад.

II

— Так заезжай, пожалуйста, к Болям,— сказала Кити мужу, когда он в одиннадцать часов, пред тем как уехать из дома, зашел к ней.— Я знаю, что ты обедаешь в клубе, папа тебя записал. А утро что ты делаешь?

— Я к Катавасову только,— отвечал Левин.

— Что же так рано?

— Он обещал меня познакомить с Метровым. Мне хотелось поговорить с ним о моей работе, это известный ученый петербургский,— сказал Левин.

— Да, это его статью ты так хвалил? Ну, а потом? — сказала Кити.

— Еще в суд, может быть, заеду по делу сестры.

— А в концерт? — спросила она.

— Да что я поеду один!

— Нет, поезжай; там дают эти новые вещи... Это тебя так интересовало. Я бы непременно поехала.

— Ну, во всяком случае, я заеду домой пред обедом,— сказал он, глядя на часы.

— Надень же сюртук, чтобы прямо заехать к графине Боль.

— Да разве это непременно нужно?

— Ах, непременно! Он был у нас. Ну что тебе стоит? Заедешь, сядешь, поговоришь пять минут о погоде, встанешь и уедешь.

— Ну, ты не поверишь, я так от этого отвык, что это-

посидел безо всякого дела, им помешал, себя расстроил и ушел. Кити засмеялась, — Да ведь ты делал визиты холостым? — сказала она. — Делал, но всегда бывало совестно, а теперь так отвык, что, ей-богу, лучше два дня не обедать вместо этого визита. Так совестно! Мне все кажется, что они обидятся, скажут: зачем это ты приходил без дела? — Нет, не обидятся. Уж я за это тебе отвечаю, — сказала Кити, со смехом глядя на его лицо. Она взяла его за руку.— Ну, прош,ай... Поезжай, пожалуйста. Он уже хотел уходить, поцеловав руку жены, когда она остановила его. — Костя, ты знаешь, что у меня уж остается только пятьдесят рублей. — Ну что ж, я заеду возьму из банка. Сколько? — > сказал он с знакомым ей выражением неудовольствия. — Нет, ты постой.— Она удержала его за руку.— Поговорим, меня это беспокоит. Я, кажется, ничего лишнего не плачу, а деньги так и плывут. Что-нибудь мы не так делаем. — Нисколько, — сказал он, откашливаясь и глядя па нее исподлобья. Это откашливанье она знала. Это был признак его сильного недовольства, не на нее, а на самого себя. Он действительно был недоволен, но не тем, что денег вышло много, а что ему напоминают то, о чем он, зная, что в этом что-то неладно, желает забыть. — Я велел Соколову продать пшеницу и за мельницу взять вперед. Деньги будут, во всяком случае. — Нет, но я боюсь, что вообш;е много... — Нисколько, нисколько, — повторял он. — Ну, прощай, душенька. — Нет, право, я иногда жалею, что послушалась мама. Как бы хорошо было в деревне! А то я вас всех измучала, и деньги мы тратим... — Нисколько, нисколько. Ни разу еще не было с тех пор, как я женат, чтоб я сказал, что лучше было бы иначе, чем как есть... — Правда? — сказала она, глядя ему в глаза. Он сказал это не думая, только чтоб утешить ее. Но когда он, взглянув на нее, увидал, что эти правдивые милые глаза вопросительно устремлены на него, он повторил то же уже от всей души. «Я решительно забываю 255

посидел безо всякого дела, им помешал, себя расстроил и ушел.

Кити засмеялась.

— Да ведь ты делал визиты холостым? — сказала она.

— Делал, но всегда бывало совестно, а теперь так отвык, что, ей-богу, лучше два дня не обедать вместо этого визита. Так совестно! Мне все кажется, что они обидятся, скажут: зачем это ты приходил без дела?

— Нет, не обидятся. Уж я за это тебе отвечаю,— сказала Кити, со смехом глядя на его лицо. Она взяла его за руку.— Ну, прощай... Поезжай, пожалуйста.

Он уже хотел уходить, поцеловав руку жены, когда она остановила его.

— Костя, ты знаешь, что у меня уж остается только пятьдесят рублей.

— Ну что ж, я заеду возьму из банка. Сколько? — сказал он с знакомым ей выражением неудовольствия.

— Нет, ты постой.— Она удержала его за руку.— Поговорим, меня это беспокоит. Я, кажется, ничего лишнего не плачу, а деньги так и плывут. Что-нибудь мы не так делаем.

— Нисколько,— сказал он, откашливаясь и глядя на нее исподлобья.

Это откашливанье она знала. Это был признак его сильного недовольства, не на нее, а на самого себя. Он действительно был недоволен, но не тем, что денег вышло много, а что ему напоминают то, о чем он, зная, что в этом что-то неладно, желает забыть.

— Я велел Соколову продать пшеницу и за мельницу взять вперед. Деньги будут, во всяком случае.

— Нет, но я боюсь, что вообще много...

— Нисколько, нисколько,— повторял он.— Ну, прощай, душенька.

— Нет, право, я иногда жалею, что послушалась мама. Как бы хорошо было в деревне! А то я вас всех измучала, и деньги мы тратим...

— Нисколько, нисколько. Ни разу еще не было с тех пор, как я женат, чтоб я сказал, что лучше было бы иначе, чем как есть...

— Правда? — сказала она, глядя ему в глаза.

Он сказал это не думая, только чтоб утешить ее. Но когда он, взглянув на нее, увидал, что эти правдивые милые глаза вопросительно устремлены на него, он не

ее», — подумал он. И он вспомнил то, что так скоро ожидало их. — А скоро? Как ты чувствуешь? — прошептал он, взяв ее за обе руки. — Я столько раз думала, что теперь ничего не думаю и не знаю. — И не страшно? Она презрительно усмехнулась. — Ни капельки, — сказала она. — Так если что, я буду у Катавасова. — Нет, ничего не будет, и не думай. Я поеду с папа гулять на бульвар. Мы заедем к Долли. Пред обедом тебя жду. Ах, да! Ты знаешь, что положение Долли становится решительно невозможным? Она кругом должна, денег у нее нет. Мы вчера говорили с мама и с Арсением (так она звала мужа сестры Львовой) и решили тебя с ним напустить на Стиву. Это решительно невозможно. С папа нельзя говорить об этом... Но если бы ты и он... — Ну что й^е мы можем? — сказал Левин. — Все-таки, ты будешь у Арсения, поговори с ним; он тебе скажет, что мы решили. — Ну, с Арсением я вперед на все согласен. Так я заеду к нему. Кстати, если в концерт, то я с Натали и поеду. Ну, прош,ай. На крыльце старый, еще холостой жизни, слуга Кузьма, заведывавший городским хозяйством, остановил Левина. — Красавчика (это была лошадь, левая дышловая, приведенная из деревни) перековали, а все хромает, — сказал он.— Как прикажете? Первое время в Москве Левина занимали лошадіг, приведенные из деревни. Ему хотелось устроить эту часть как можно лучше и дешевле; но оказалось, что свои лошади обходились дороже извозчичьих, и извозчика всетаки брали. — Вели за коновалом послать, наминка, может быть. — Ну, а для Катерины Александровны? — спросил Кузьма. Левина уже не поражало теперь, как в первое время его жизни в Москве, что для переезда с Воздвиженки на Сивцев Вражек нужно было запрягать в тяжелую карету пару сильных лошадей, провезти эту карету по снежному месиву четверть версты и стоять там четыре часа, запла256

ее»,— подумал он. И он вспомнил то, что так скоро ожидало их.

— А скоро? Как ты чувствуешь? — прошептал он, взяв ее за обе руки.

— Я столько раз думала, что теперь ничего не думаю и не знаю.

— И не страшно?

Она презрительно усмехнулась.

— Ни капельки,— сказала она.

— Так если что, я буду у Катавасова.

— Нет, ничего не будет, и не думай. Я поеду с папа гулять на бульвар. Мы заедем к Долли. Пред обедом тебя жду. Ах, да! Ты знаешь, что положение Долли становится решительно невозможным? Она кругом должна, денег у нее нет. Мы вчера говорили с мама и с Арсением (так она звала мужа сестры Львовой) и решили тебя с ним напустить на Стиву. Это решительно невозможно. С папа нельзя говорить об этом... Но если бы ты и он...

— Ну что же мы можем? — сказал Левин.

— Все-таки, ты будешь у Арсения, поговори с ним; он тебе скажет, что мы решили.

— Ну, с Арсением я вперед на все согласен. Так я заеду к нему. Кстати, если в концерт, то я с Натали и поеду. Ну, прощай.

На крыльце старый, еще холостой жизни, слуга Кузьма, заведывавший городским хозяйством, остановил Левина.

— Красавчика (это была лошадь, левая дышловая, приведенная из деревни) перековали, а все хромает,— сказал он.— Как прикажете?

Первое время в Москве Левина занимали лошади, приведенные из деревни. Ему хотелось устроить эту часть как можно лучше и дешевле; но оказалось, что свои лошади обходились дороже извозчичьих, и извозчика все-таки брали.

— Вели за коновалом послать, наминка, может быть.

— Ну, а для Катерины Александровны? — спросил Кузьма.

Левина уже не поражало теперь, как в первое время его жизни в Москве, что для переезда с Воздвиженки на Сивцев Вражек нужно было запрягать в тяжелую карету пару сильных лошадей, провезти эту карету по снежному

тив за это пять рублей. Теперь уже это казалось ему натурально. — Вели извозчику привести пару в нашу карету,— сказал он. — СлушаЮ“С. И, так просто и легко разрешив благодаря городским условиям затруднение, которое в деревне потребовало бы столько личного труда и внимания, Левин вышел на крыльцо и, кликнув извозчика, сел и поехал на Никитскую. Дорогой он уже не думал о деньгах, а размышлял о том, как он познакомится с петербургским ученым, занимающимся социологией, и будет говорить с ним о своей книге. Только в самое первое время в Москве те странные деревенскому жителю, непроизводительные, но неизбежные расходы, которые потребовались от него со всех сторон, поражали Левина. Но теперь он уже привык к ним. С ним случилось в этом отношении то, что, говорят, случается с пьяницами: первая рюмка — колом, вторая соколом, а после третьей — мелкими пташечками. Когда Левин разменял первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, он невольно сообразил, что эти никому не нужные ливреи, но неизбежно необходимые, судя по тому, как удивились княгиня и Кити при намеке, что без ливреи можно бы обойтись, — что эти ливреи будут стоить двух летних работников, то есть около трехсот рабочих дней от святой до заговень, и каждый день тяжкой работы с раннего утра до позднего вечера, — и эта сторублевая бумажка еще шла колом. Но следующая, размененная на покупку провизии к обеду для родных, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала в Левине воспоминание о том, что двадцать восемь рублей — это десять четвертей овса, который, потея и кряхтя, косили, вязали, возили, молотили, веяли, подсевали и насыпали, — эта следующая прошла все-таки легче. А теперь разменяваемые бумажки уже давно не вызывали таких соображений и летели мелкими пташечками. Соответствует ли труд, полол^енный на приобретание денег, тому удовольствию, которое доставляет покупаемое на них, — это сообрал^ение уж давно было потеряно. Расчет хозяйственный о том, что есть известная цена, ниже которой нельзя продать известный хлеб, тоже был забыт. Рожь, цену на которую он так долго выдерживал, была продана пятьюдесятью копейками на четверть дешевле. 9 л. Н. Толстой, т. 9 257

тив за это пять рублей. Теперь уже это казалось ему натурально.

— Вели извозчику привести пару в нашу карету,— сказал он.

— Слушаю-с.

И, так просто и легко разрешив благодаря городским условиям затруднение, которое в деревне потребовало бы столько личного труда и внимания, Левин вышел на крыльцо и, кликнув извозчика, сел и поехал на Никитскую. Дорогой он уже не думал о деньгах, а размышлял о том, как он познакомится с петербургским ученым, занимающимся социологией, и будет говорить с ним о своей книге.

Только в самое первое время в Москве те странные деревенскому жителю, непроизводительные, но неизбежные расходы, которые потребовались от него со всех сторон, поражали Левина. Но теперь он уже привык к ним. С ним случилось в этом отношении то, что, говорят, случается с пьяницами: первая рюмка — колóм, вторая соколóм, а после третьей — мелкими пташечками. Когда Левин разменял первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, он невольно сообразил, что эти никому не нужные ливреи, но неизбежно необходимые, судя по тому, как удивились княгиня и Кити при намеке, что без ливреи можно бы обойтись,— что эти ливреи будут стоить двух летних работников, то есть около трехсот рабочих дней от святой до заговень, и каждый день тяжкой работы с раннего утра до позднего вечера,— и эта сторублевая бумажка еще шла колóм. Но следующая, размененная на покупку провизии к обеду для родных, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала в Левине воспоминание о том, что двадцать восемь рублей — это десять четвертей овса, который, потея и кряхтя, косили, вязали, возили, молотили, веяли, подсевали и насыпали,— эта следующая прошла все-таки легче. А теперь разменяваемые бумажки уже давно не вызывали таких соображений и летели мелкими пташечками. Соответствует ли труд, положенный на приобретание денег, тому удовольствию, которое доставляет покупаемое на них, — это соображение уж давно было потеряно. Расчет хозяйственный о том, что есть известная цена, ниже которой нельзя продать известный хлеб, тоже был забыт.

чем за нее давали месяц тому назад. Даже и расчет, что при таких расходах невозможно будет прожить весь год без долга, — и этот расчет уже не имел никакого значения. Только одно требовалось: иметь деньги в банке, не спрашивая, откуда они, так, чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этот расчет до сих пор у него соблюдался: у него всегда были деньги в банке. Но теперь деньги в банке вышли, и он не знал хорошенько, откуда взять их. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгах, расстроило его; но ему некогда было думать об этом. Он ехал, размышляя о Катавасове и предстоящем знакомстве с Метровым. III Левин в этот свой приезд сошелся опять близко G бывшим товарищем по университету, профессором Катавасовым, с которым он не видался со времени своей женитьбы. Катавасов был ему приятен ясностию и простотой своего миросозерцания. Левин думал, что ясность миросозерцания Катавасова вытекала из бедности его натуры, Катавасов же думал, что непоследовательность мысли Левина вытекала из недостатка дисциплины его ума; но ясность Катавасова была приятна Левину, и обилие недисциплинированных мыслей Левина было приятно Катавасову, и они любили встречаться и спорить. Левин читал Катавасову некоторые места из своего сочинения, и они понравились ему. Вчера, встретив Левина на публичной лекции, Катавасов сказал ему, что известный Метров, которого статья так понравилась Левину, находится в Москве и очень заинтересован тем, что ему сказал Катавасов о работе Левина, и что Метров будет у него завтра в одиннадцать часов и очень рад познакомиться с ним. — Решительно исправляетесь, батюшка, приятно видеть,— сказал Катавасов, встречая Левина в маленькой гостиной. — Я слышу звонок и думаю: не может быть, чтобы вовремя... Ну что, каковы черногорцы? По породе воины. — А что? — спросил Левин. Катавасов в коротких словах передал ему последнее известие и, войдя в кабинет, познакомил Левина с невысоким, плотным, очень приятной наружности человеком. Это был Метров. Разговор остановился на короткое время 258

чем за нее давали месяц тому назад. Даже и расчет, что при таких расходах невозможно будет прожить весь год без долга,— и этот расчет уже не имел никакого значения. Только одно требовалось: иметь деньги в банке, не спрашивая, откуда они, так, чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этот расчет до сих пор у него соблюдался: у него всегда были деньги в банке. Но теперь деньги в банке вышли, и он не знал хорошенько, откуда взять их. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгах, расстроило его; но ему некогда было думать об этом. Он ехал, размышляя о Катавасове и предстоящем знакомстве с Метровым.

III

Левин в этот свой приезд сошелся опять близко с бывшим товарищем по университету, профессором Катавасовым, с которым он не видался со времени своей женитьбы. Катавасов был ему приятен ясностию и простотой своего миросозерцания. Левин думал, что ясность миросозерцания Катавасова вытекала из бедности его натуры, Катавасов же думал, что непоследовательность мысли Левина вытекала из недостатка дисциплины его ума; но ясность Катавасова была приятна Левину, и обилие недисциплинированных мыслей Левина было приятно Катавасову, и они любили встречаться и спорить.

Левин читал Катавасову некоторые места из своего сочинения, и они понравились ему. Вчера, встретив Левина на публичной лекции, Катавасов сказал ему, что известный Метров, которого статья так понравилась Левину, находится в Москве и очень заинтересован тем, что ему сказал Катавасов о работе Левина, и что Метров будет у него завтра в одиннадцать часов и очень рад познакомиться с ним.

— Решительно исправляетесь, батюшка, приятно видеть,— сказал Катавасов, встречая Левина в маленькой гостиной.— Я слышу звонок и думаю: не может быть, чтобы вовремя... Ну что, каковы черногорцы? По породе воины.

— А что? — спросил Левин.

Катавасов в коротких словах передал ему последнее известие и, войдя в кабинет, познакомил Левина с невысоким, плотным, очень приятной наружности человеком.

Ба политике и на том, как смотрят в высших сферах в Петербурге на последние события. Метров передал известные ему из верного источника слова, будто бы сказанные по этому случаю государем и одним из министров. Катавасов же слышал тоже за верное, что государь сказал совсем другое. Левин постарался придумать такое положение, в котором и те и другие слова могли быть сказаны, и разговор на эту тему прекратился. — Да вот написал почти книгу об естественных условиях рабочего в отношении к земле, — сказал Катавасов.— Я не специалист, но мне понравилось, как естественнику, то, что он не берет человечества как чего-то вне зоологических законов, а, напротив, видит зависимость его от среды и в этой зависимости отыскивает законы развития. — Это очень интересно,— сказал Метров. — Я, собственно, начал писать сельскохозяйственную книгу, но невольно, занявшись главным орудием сельского хозяйства, рабочим, — сказал Левин, краснея, — пришел к результатам совершенно неожиданным. И Левин стал осторожно, как бы ош;упывая почву, излагать свой взгляд. Он знал, что Метров написал статью против обш;епринятого политико-экономического учения, но до какой степени он мог надеяться на сочувствие в нем к своим новым взглядам, он не знал и не мог догадаться по умному и спокойному лицу ученого. — Но в чем же вы видите особенные свойства русского рабочего? — сказал Метров. — В зоологических, так сказать, его свойствах или в тех условиях, в которых он находится? Левин видел, что в вопросе этом уже высказывалась мысль, с которою он был несогласен; но он продолжал излагать свою мысль, состояш;ую в том, что русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю. И чтобы доказать это положение, он поторопился прибавить, что, по его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке. — Легко быть введену в заблуждение, делая заключение об обгцем призвании народа,— сказал Метров, перебивая Левина.— Состояние рабочего всегда будет зависеть от его отношения к земле и капиталу. И уже не давая Левину досказать свою мысль, Метров начал излагать ему особенность своего учения. 9* 259

на политике и на том, как смотрят в высших сферах в Петербурге на последние события. Метров передал известные ему из верного источника слова, будто бы сказанные по этому случаю государем и одним из министров. Катавасов же слышал тоже за верное, что государь сказал совсем другое. Левин постарался придумать такое положение, в котором и те и другие слова могли быть сказаны, и разговор на эту тему прекратился.

— Да вот написал почти книгу об естественных условиях рабочего в отношении к земле,— сказал Катавасов.— Я не специалист, но мне понравилось, как естественнику, то, что он не берет человечества как чего-то вне зоологических законов, а, напротив, видит зависимость его от среды и в этой зависимости отыскивает законы развития.

— Это очень интересно,— сказал Метров.

— Я, собственно, начал писать сельскохозяйственную книгу, но невольно, занявшись главным орудием сельского хозяйства, рабочим,— сказал Левин, краснея,— пришел к результатам совершенно неожиданным.

И Левин стал осторожно, как бы ощупывая почву, излагать свой взгляд. Он знал, что Метров написал статью против общепринятого политико-экономического учения, но до какой степени он мог надеяться на сочувствие в нем к своим новым взглядам, он не знал и не мог догадаться по умному и спокойному лицу ученого.

— Но в чем же вы видите особенные свойства русского рабочего? — сказал Метров.— В зоологических, так сказать, его свойствах или в тех условиях, в которых он находится?

Левин видел, что в вопросе этом уже высказывалась мысль, с которою он был несогласен; но он продолжал излагать свою мысль, состоящую в том, что русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю. И чтобы доказать это положение, он поторопился прибавить, что, по его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке.

— Легко быть введену в заблуждение, делая заключение об общем призвании народа,— сказал Метров, перебивая Левина.— Состояние рабочего всегда будет зависеть от его отношения к земле и капиталу.

И уже не давая Левину досказать свою мысль, Метров

в чем состояла особенность его учения, Левин не понял, потому что и не трудился понимать: он видел, что Метров, так же как и другие, несмотря на свою статью, в которой он опровергал учение экономистов, смотрел всетаки на положение русского рабочего только с точки зрения капитала, заработной платы и ренты. Хотя он и должен был признать, что в восточной, самой большой части России рента ещ,е нуль, что заработная плата выражается для девяти десятых восьмидесятимиллионного русского населения только пропитанием самих себя и что капитал еш,е не суш;ествует иначе, как в виде самых первобытных орудий, — но он только с этой точки зрения рассматривал всякого рабочего, хотя во многом и не соглашался с экономистами и имел свою новую теорию о заработной плате, которую он и изложил Левину. Левин слушал неохотно и сначала возражал. Ему хотелось перебить Метрова, чтобы сказать свою мысль, которая, по его мнению, должна была сделать излишним дальнейшее изложение. Но потом, убедившись, что они до такой степени различно смотрят на дело, что никогда не поймут друг друга, он уже и не противоречил и только слушал. Несмотря на то, что ему теперь уж вовсе не было интересно то, что говорил Метров, он испытывал, однако, некоторое удовольствие, слушая его. Самолюбие его было польш;еко тем, что такой ученый человек так охотно, с таким вниманием и доверием к знанию предмета Левиным, иногда одним намеком указывая на целую сторону дела, высказывал ему свои мысли. Он приписывал это своему достоинству, не зная того, что Метров, переговорив со всеми своими близкими, особенно охотно говорил об этом предмете с каждым новым человеком, да и вообще охотно говорил со всеми о занимавшем его, неясном еще ему самому предмете. — Однако мы опоздаем, — сказал Катавасов, взглянув на часы, как только Метров кончил свое изложение. — Да, нынче заседание в Обществе любителей в память пятидесятилетнего юбилея Свинтича, — сказал Катавасов на вопрос Левина.— Мы собирались с Петром Иванычем. Я обещал прочесть об его трудах по зоологии. Поедем с нами, очень интересно. — Да, и в самом деле пора, — сказал Метров.— Поедемте с нами, а оттуда, если угодно, ко мне. Я бы очень желал прослушать ваш труд. 260

В чем состояла особенность его учения, Левин не понял, потому что и не трудился понимать: он видел, что Метров, так же как и другие, несмотря на свою статью, в которой он опровергал учение экономистов, смотрел все-таки на положение русского рабочего только с точки зрения капитала, заработной платы и ренты. Хотя он и должен был признать, что в восточной, самой большой части России рента еще нуль, что заработная плата выражается для девяти десятых восьмидесятимиллионного русского населения только пропитанием самих себя и что капитал еще не существует иначе, как в виде самых первобытных орудий,— но он только с этой точки зрения рассматривал всякого рабочего, хотя во многом и не соглашался с экономистами и имел свою новую теорию о заработной плате, которую он и изложил Левину.

Левин слушал неохотно и сначала возражал. Ему хотелось перебить Метрова, чтобы сказать свою мысль, которая, по его мнению, должна была сделать излишним дальнейшее изложение. Но потом, убедившись, что они до такой степени различно смотрят на дело, что никогда не поймут друг друга, он уже и не противоречил и только слушал. Несмотря на то, что ему теперь уж вовсе не было интересно то, что говорил Метров, он испытывал, однако, некоторое удовольствие, слушая его. Самолюбие его было польщено тем, что такой ученый человек так охотно, с таким вниманием и доверием к знанию предмета Левиным, иногда одним намеком указывая на целую сторону дела, высказывал ему свои мысли. Он приписывал это своему достоинству, не зная того, что Метров, переговорив со всеми своими близкими, особенно охотно говорил об этом предмете с каждым новым человеком, да и вообще охотно говорил со всеми о занимавшем его, неясном еще ему самому предмете.

— Однако мы опоздаем,— сказал Катавасов, взглянув на часы, как только Метров кончил свое изложение.

— Да, нынче заседание в Обществе любителей в память пятидесятилетнего юбилея Свинтича,— сказал Катавасов на вопрос Левина.— Мы собирались с Петром Иванычем. Я обещал прочесть об его трудах по зоологии. Поедем с нами, очень интересно.

— Да, и в самом деле пора,— сказал Метров.— Поедемте с нами, а оттуда, если угодно, ко мне. Я бы очень

— Нет, что ж. Это так еще, не кончено. Но в заседание я очень рад. — Что ж, батюшка, слышали? Подал отдельное мнение,— сказал Катавасов, в другой комнате надевавший фрак. И начался разговор об университетском вопросе. Университетский вопрос был очень важным событием в эту зиму в Москве. Три старые профессора в совете не приняли мнения молодых; молодые подали отдельное мнение. Мнение это, по суждению одних, было ужасное, по суждению других, было самое простое и справедливое мнение, и профессора разделились на две партии. Одни, к которым принадлежал Катавасов, видели в противной стороне подлог, донос и обман; другие — мальчишество и неуважение к авторитетам. Левин, хотя и не принадлежавший к университету, несколько раз уже в свою бытность в Москве много слышал и говорил об этом деле и имел свое составленное на этот счет мнение; он принял участие в разговоре, продолжавшемся и на улице, пока все трое дошли до здания старого университета. Заседание уже началось... У стола, покрытого сукном, за который сели Катавасов и Метров, сидело шесть человек, и один из них, близко пригибаясь к рукописи, читал что-то. Левин сел на один из пустых стульев, стоявших вокруг стола, и шепотом спросил у сидевшего тут студента, что читают. Студент, недовольно оглядев Левина, сказал: — Биография. Хотя Левин и не интересовался биографией ученого, но невольно слушал и узнал кое-что интересного и нового о жизни знаменитого ученого. Когда чтец кончил, председатель поблагодарил его и прочел присланные ему стихи поэта Мента на этот юбилей и несколько слов в благодарность стихотворцу. Потом Катавасов своим громким, крикливым голосом прочел свою записку об ученых трудах юбиляра. Когда Катавасов кончил, Левин посмотрел на часы, увидал, что уже второй час, и подумал, что он не успеет до концерта прочесть Метрову свое сочинение, да теперь ему уж и не хотелось этого. Он во время чтения думал тоже о бывшем разговоре. Ему теперь ясно было, что хотя мысли Метрова, может быть, и имеют значение, но и его мысли также имеют значение; мысли эти могут уясниться и привести к чему-нибудь, только когда каждый будет 261

— Нет, что ж. Это так еще, не кончено. Но в заседание я очень рад.

— Что ж, батюшка, слышали? Подал отдельное мнение,— сказал Катавасов, в другой комнате надевавший фрак.

И начался разговор об университетском вопросе.

Университетский вопрос был очень важным событием в эту зиму в Москве. Три старые профессора в совете не приняли мнения молодых; молодые подали отдельное мнение. Мнение это, по суждению одних, было ужасное, по суждению других, было самое простое и справедливое мнение, и профессора разделились на две партии.

Одни, к которым принадлежал Катавасов, видели в противной стороне подлог, донос и обман; другие — мальчишество и неуважение к авторитетам. Левин, хотя и не принадлежавший к университету, несколько раз уже в свою бытность в Москве много слышал и говорил об этом деле и имел свое составленное на этот счет мнение; он принял участие в разговоре, продолжавшемся и на улице, пока все трое дошли до здания старого университета.

Заседание уже началось... У стола, покрытого сукном, за который сели Катавасов и Метров, сидело шесть человек, и один из них, близко пригибаясь к рукописи, читал что-то. Левин сел на один из пустых стульев, стоявших вокруг стола, и шепотом спросил у сидевшего тут студента, что читают. Студент, недовольно оглядев Левина, сказал:

— Биография.

Хотя Левин и не интересовался биографией ученого, но невольно слушал и узнал кое-что интересного и нового о жизни знаменитого ученого.

Когда чтец кончил, председатель поблагодарил его и прочел присланные ему стихи поэта Мента на этот юбилей и несколько слов в благодарность стихотворцу. Потом Катавасов своим громким, крикливым голосом прочел свою записку об ученых трудах юбиляра.

Когда Катавасов кончил, Левин посмотрел на часы, увидал, что уже второй час, и подумал, что он не успеет до концерта прочесть Метрову свое сочинение, да теперь ему уж и не хотелось этого. Он во время чтения думал тоже о бывшем разговоре. Ему теперь ясно было, что хотя мысли Метрова, может быть, и имеют значение, но и его

отдельно работать на избранном пути, а из сообщения этих мыслей ничего выйти не может. И, решившись отказаться от приглашения Метрова, Левин в конце заседания подошел к нему. Метров познакомил Левина с председателем, с которым он говорил о политической новости. При этом Метров рассказал председателю то же, что он рассказывал Левину, а Левин сделал те же, замечания, которые он уже делал нынче утром, но для разнообразия высказал и свое новое мнение, которое тут же пришло ему в голову. После этого начался разговор опять об университетском вопросе. Так как Левин уже все это слышал, он поторопился сказать Метрову, что сожалеет, что не может воспользоваться его приглашением, раскланялся и поехал ко Львову. IV Львов, женатый на Натали, сестре Кити, всю свою жизнь провел в столицах и за границей, где он и воспитывался и служил дипломатом. В прошлом году он оставил дипломатическую службу, не по неприятности (у него никогда ни с кем не было неприятностей), и перешел на службу в дворцовое ведомство в Москву, для того чтобы дать наилучшее воспитание своим двум мальчикам. Несмотря на самую резкую противоположность в привычках и во взглядах и на то, что Львов был старше Левина, они в эту зиму очень сошлись и полюбили друг друга. Львов был дома, и Левин без доклада вошел к нему. Львов в длинном сюртуке с поясом и замшевых ботинках сидел на кресле и в pince-nez с синими стеклами читал книгу, стоявшую на пюпитре, осторожно на отлете дерЖа красивою рукой до половины испеплившуюся сигару. Прекрасное, тонкое и молодое еще лицо его, которому курчавые блестящие серебряные волосы придавали еще более породистое выражение, просияло улыбкой, когда он увидел Левина. — Отлично! А я хотел к вам посылать. Ну, что Кити? Садитесь сюда, спокойнее... — Он встал и подвинул качалку. — Читали последний циркуляр в «Journal de St-Pétersbourg»? Я нахожу — прекрасно, — сказал он с несколько французским акцентом. 262

отдельно работать на избранном пути, а из сообщения этих мыслей ничего выйти не может. И, решившись отказаться от приглашения Метрова, Левин в конце заседания подошел к нему. Метров познакомил Левина с председателем, с которым он говорил о политической новости. При этом Метров рассказал председателю то же, что он рассказывал Левину, а Левин сделал те же замечания, которые он уже делал нынче утром, но для разнообразия высказал и свое новое мнение, которое тут же пришло ему в голову. После этого начался разговор опять об университетском вопросе. Так как Левин уже все это слышал, он поторопился сказать Метрову, что сожалеет, что не может воспользоваться его приглашением, раскланялся и поехал ко Львову.

IV

Львов, женатый на Натали, сестре Кити, всю свою жизнь провел в столицах и за границей, где он и воспитывался и служил дипломатом.

В прошлом году он оставил дипломатическую службу, не по неприятности (у него никогда ни с кем не было неприятностей), и перешел на службу в дворцовое ведомство в Москву, для того чтобы дать наилучшее воспитание своим двум мальчикам.

Несмотря на самую резкую противоположность в привычках и во взглядах и на то, что Львов был старше Левина, они в эту зиму очень сошлись и полюбили друг друга.

Львов был дома, и Левин без доклада вошел к нему.

Львов в длинном сюртуке с поясом и замшевых ботинках сидел на кресле и в pince-nez с синими стеклами читал книгу, стоявшую на пюпитре, осторожно на отлете держа красивою рукой до половины испеплившуюся сигару.

Прекрасное, тонкое и молодое еще лицо его, которому курчавые блестящие серебряные волосы придавали еще более породистое выражение, просияло улыбкой, когда он увидел Левина.

— Отлично! А я хотел к вам посылать. Ну, что Кити? Садитесь сюда, спокойнее...— Он встал и подвинул качалку.— Читали последний циркуляр в *«Journal de St.-Pétersbourg»*? Я нахожу — прекрасно,— сказал он с не-

Левин рассказал слышанное от Катавасова о том, что говорят в Петербурге, и, поговорив о политике, рассказал про свое знакомство с Метровым и поездку в заседание. Львова это очень заинтересовало. — Вот я завидую вам, что у вас есть входы в этот интересный ученый мир, — сказал он. И, разговорившись, как обыкновенно, тотчас же перешел на более удобный ему французский язык. — Правда, что мне и некогда. Моя и служба и занятия детьми лишают меня этого; а потом я не стыжусь сказать, что мое образование слишком недостаточно. — Этого я не думаю, — сказал Левин с улыбкой и, как всегда, умиляясь на его низкое мнение о себе, отнюдь не напугценное на себя из желания казаться или даже быть скромным, но совершенно искреннее. — Ах, как же! Я теперь чувствую, как я мало образован. Мне для воспитания детей даже нужно много освежить в памяти и просто выучиться. Потому, что мало того, чтобы были учителя, нужно, чтобы был наблюдатель, как в вашем хозяйстве нужны работники и надсмотрш,ик. Вот я читаю,— он показал грамматику Буслаева, лежавшую на пюпитре,— требуют от Миши, и это так трудно... Ну вот объясните мне. Здесь он говорит... Левин хотел объяснить ему, что понять этого нельзя, а надо учить; но Львов не соглашался с ним. — Да, вот вы над этим смеетесь! — Напротив, вы не можете себе представить, как, глядя на вас, я всегда учусь тому, что мне предстоит, — именно воспитанию детей. — Ну, уж учиться-то нечему, — сказал Львов. — Я только знаю, — сказал Левин, — что я не видал лучше воспитанных детей, чем ваши, и не желал бы детей лучше ваших. Львов, видимо, хотел удержаться, чтобы не высказать своей радости, но так и просиял улыбкой. — Только бы были лучше меня. Вот все, чего я желаю. Вы не знаете еш;е всего труда,— начал он, — с мальчиками, которые, как мои, были запущены этою жизнью за границей. — Это все нагоните. Они такие способные дети. Главное — нравственное воспитание. Вот чему я учусь, глядя на ваших детей. — Вы говорите — нравственное воспитание. Нельзя себе представить, как это трудно! Только что вы побороли 263

Левин рассказал слышанное от Катавасова о том, что говорят в Петербурге, и, поговорив о политике, рассказал про свое знакомство с Метровым и поездку в заседание. Львова это очень заинтересовало.

— Вот я завидую вам, что у вас есть входы в этот интересный ученый мир,— сказал он. И, разговорившись, как обыкновенно, тотчас же перешел на более удобный ему французский язык.— Правда, что мне и некогда. Моя и служба и занятия детьми лишают меня этого; а потом я не стыжусь сказать, что мое образование слишком недостаточно.

— Этого я не думаю,— сказал Левин с улыбкой и, как всегда, умиляясь на его низкое мнение о себе, отнюдь не напущенное на себя из желания казаться или даже быть скромным, но совершенно искреннее.

— Ах, как же! Я теперь чувствую, как я мало образован. Мне для воспитания детей даже нужно много освежить в памяти и просто выучиться. Потому, что мало того, чтобы были учителя, нужно, чтобы был наблюдатель, как в вашем хозяйстве нужны работники и надсмотрщик. Вот я читаю,— он показал грамматику Буслаева, лежавшую на пюпитре,— требуют от Миши, и это так трудно... Ну вот объясните мне. Здесь он говорит...

Левин хотел объяснить ему, что понять этого нельзя, а надо учить; но Львов не соглашался с ним.

— Да, вот вы над этим смеетесь!

— Напротив, вы не можете себе представить, как, глядя на вас, я всегда учусь тому, что мне предстоит,— именно воспитанию детей.

— Ну, уж учиться-то нечему,— сказал Львов.

— Я только знаю,— сказал Левин,— что я не видал лучше воспитанных детей, чем ваши, и не желал бы детей лучше ваших.

Львов, видимо, хотел удержаться, чтобы не высказать своей радости, но так и просиял улыбкой.

— Только бы были лучше меня. Вот все, чего я желаю. Вы не знаете еще всего труда,— начал он,— с мальчиками, которые, как мои, были запущены этою жизнью за границей.

— Это все нагоните. Они такие способные дети. Главное — нравственное воспитание. Вот чему я учусь, глядя на ваших детей.

одну сторону, другие вырастают, и опять борьба. Если не иметь опоры в религии, — помните, мы с вами говорили,— то никакой отец одними своими силами без этой помощи не мог бы воспитывать. Интересовавший всегда Левина разговор этот был прерван вошедшею, одетою уже для выезда, красавицей Натальей Александровной. — А я не знала, что вы здесь,— сказала она, очевидно не только не сожалея, но даже радуясь, что перебила этот давно известный ей и наскучивший разговор.— Ну, что Кити? Я обедаю у вас нынче. Вот что, Арсений,— обратилась она к мужу,— ты возьмешь карету... И между мужем и женой началось суждение, как они проведут день. Так как мужу надо было ехать встречать кого-то по службе, а жене в концерт и публичное заседание юго-восточного комитета, то надо было много решить и обдумать. Левин, как свой человек, должен был принимать участие в этих планах. Решено было, что Левин поедет с Натали в концерт и на публичное заседание, а оттуда карету пришлют в контору за Арсением, и он заедет за ней и свезет ее к Кити; или же если он не кончит дел, то пришлет карету, и Левин поедет с нею. — Вот он меня портит, — сказал Львов ячене,— уверяет меня, что наши дети прекрасные, когда я знаю, что в них столько дурного. — Арсений доходит до крайности, я всегда говорю, — сказала жена. — Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен. И правду говорит папа, что, когда нас воспитывали, была одна крайность — нас держали в антресолях, а родители жили в бельэтаже; теперь напротив — родителей в чулан, а детей в бельэтая^. Родители уж теперь не должны яшть, а все для детей. — Что ж, если это приятнее? — сказал Львов, улыбаясь своею красивою улыбкой и дотрогиваясь до ее руки. — Кто тебя не знает, подумает, что ты не мать, а мачеха. — Нет, крайность ни в чем не хороша, — спокойно сказала Натали, укладывая его разрезной ножик на стол в определенное место. — Ну вот, подите сюда, совершенные дети,— сказал он входившим красавцам мальчикам, которые, поклонившись Левину, подошли к отцу, очевидно желая о чем-то спросить его. 264

одну сторону, другие вырастают, и опять борьба. Если не иметь опоры в религии,— помните, мы с вами говорили,— то никакой отец одними своими силами без этой помощи не мог бы воспитывать.

Интересовавший всегда Левина разговор этот был прерван вошедшею, одетою уже для выезда, красавицей Натальей Александровной.

— А я не знала, что вы здесь,— сказала она, очевидно не только не сожалея, но даже радуясь, что перебила этот давно известный ей и наскучивший разговор.— Ну, что Кити? Я обедаю у вас нынче. Вот что, Арсений,— обратилась она к мужу,— ты возьмешь карету...

И между мужем и женой началось суждение, как они проведут день. Так как мужу надо было ехать встречать кого-то по службе, а жене в концерт и публичное заседание юго-восточного комитета, то надо было много решить и обдумать. Левин, как свой человек, должен был принимать участие в этих планах. Решено было, что Левин поедет с Натали в концерт и на публичное заседание, а оттуда карету пришлют в контору за Арсением, и он заедет за ней и свезет ее к Кити; или же если он не кончит дел, то пришлет карету, и Левин поедет с нею.

— Вот он меня портит,— сказал Львов жене,— уверяет меня, что наши дети прекрасные, когда я знаю, что в них столько дурного.

— Арсений доходит до крайности, я всегда говорю,— сказала жена. — Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен. И правду говорит папа, что, когда нас воспитывали, была одна крайность — нас держали в антресолях, а родители жили в бельэтаже; теперь напротив — родителей в чулан, а детей в бельэтаж. Родители уж теперь не должны жить, а все для детей.

— Что ж, если это приятнее? — сказал Львов, улыбаясь своею красивою улыбкой и дотрогиваясь до ее руки.— Кто тебя не знает, подумает, что ты не мать, а мачеха.

— Нет, крайность ни в чем не хороша,— спокойно сказала Натали, укладывая его разрезной ножик на стол в определенное место.

— Ну вот, подите сюда, совершенные дети,— сказал он входившим красавцам мальчикам, которые, поклонившись Левину, подошли к отцу, очевидно желая о чем-то

Левину хотелось поговорить с ними, послушать, что они скажут отцу, но Натали заговорила с ним, и тут же вошел в комнату товарищ Львова по службе, Махотин, в придворном мундире, чтобы ехать вместе встречать кого-то, и начался уж неумолкаемый разговор о Герцеговине, о княжие Корзинской, о думе и скоропостия^ной смерти Апраксиной. Левин и забыл про данное ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю. — Ах, Кити мне поручила что-то переговорить с вами об Облонском, — сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его. — Да, да, maman хочет, чтобы мы, les beaux-frères \ напали на него, — сказал он, краснея и улыбаясь. — И потом, почему же я? — Так я же нападу на него,— улыбаясь, сказала Львова, дожидавшаяся конца разговора в своей белой собачьей ротонде. — Ну, поедемте. V В утреннем концерте давались две очень интересные вещи. Одна была фантазия «Король Лир в степи», другая был квартет, посвященный памяти Баха. Обе вещи были новые и в новом духе, и Левину хотелось составить о них свое мнение. Проводив свояченицу к ее креслу, он стал у колонны и решился как можно внимательнее и добросовестнее слушать. Он старался не развлекаться и не портить себе впечатления, глядя на махание руками белогалстучного капельмейстера, всегда так неприятно развлекающее музыкальное внимание, на дам в шляпах, старательно для концерта завязавших себе уши лентами, и на все эти лица, или ничем не занятые, или занятые самыми разнообразными интересами, но только не музыкой. Он старался избегать встреч со знатоками музыки и говорунами, а стоял, глядя вниз перед собой, и слушал. Но чем более он слушал фантазию Короля Лира, тем далее он чувствовал себя от возможности составить себе какое-нибудь определенное мнение. Беспрестанно начиналось, как будто собиралось музыкальное выражение чув^ свояки (Франц,), 265

Левину хотелось поговорить с ними, послушать, что они скажут отцу, но Натали заговорила с ним, и тут же вошел в комнату товарищ Львова по службе, Махотин, в придворном мундире, чтобы ехать вместе встречать кого-то, и начался уж неумолкаемый разговор о Герцеговине, о княжне Корзинской, о думе и скоропостижной смерти Апраксиной.

Левин и забыл про данное ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю.

— Ах, Кити мне поручила что-то переговорить с вами об Облонском, — сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его.

— Да, да, maman хочет, чтобы мы, les beaux-frères [1], напали на него,— сказал он, краснея и улыбаясь.— И потом, почему же я?

— Так я же нападу на него,— улыбаясь, сказала Львова, дожидавшаяся конца разговора в своей белой собачьей ротонде.— Ну, поедемте.

V

В утреннем концерте давались две очень интересные вещи.

Одна была фантазия *«Король Лир в степи»,* другая был квартет, посвященный памяти Баха. Обе вещи были новые и в новом духе, и Левину хотелось составить о них свое мнение. Проводив свояченицу к ее креслу, он стал у колонны и решился как можно внимательнее и добросовестнее слушать. Он старался не развлекаться и не портить себе впечатления, глядя на махание руками белогалстучного капельмейстера, всегда так неприятно развлекающее музыкальное внимание, на дам в шляпах, старательно для концерта завязавших себе уши лентами, и на все эти лица, или ничем не занятые, или занятые самыми разнообразными интересами, но только не музыкой. Он старался избегать встреч со знатоками музыки и говорунами, а стоял, глядя вниз перед собой, и слушал.

Но чем более он слушал фантазию Короля Лира, тем далее он чувствовал себя от возможности составить себе какое-нибудь определенное мнение. Беспрестанно начиналось, как будто собиралось музыкальное выражение чув-

ства, но тотчас же оно распадалось на обрывки новых начал музыкальных выражений, а иногда просто на ничем, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Но и самые отрывки этих музыкальных выражений, иногда хороших, были неприятны, потому что были совершенно неожиданны и ничем не приготовлены. Веселость, и грусть, и отчаяние, и нежность, и торжество являлись безо всякого на то права, точно чувства сумасшедшего. И, так же как у сумасшедшего, чувства эти проходили неожиданно. Левин во все время исполнения испытывал чувство глухого, смотрящего на танцующих. Он был в совершенном недоумении, когда кончилась пиеса, и чувствовал большую усталость от напряженного и ничем не вознагражденного внимания. Со всех сторон послышались громкие рукоплескания. Все встали, заходили, заговорили. Желая разъяснить по впечатлению других свое недоумение, Левин пошел ходить, отыскивая знатоков, и рад был, увидав одного из известных знатоков в разговоре со знакомым ему Песцовым. — Удивительно! — говорил густой бас Песцова. — Здравствуйте, Константин Дмитрия. В особенности образно и скульптурно, так сказать, и богато красками то место, где вы чувствуете приближение Корделии, где женщина, das ewig Weibliche ^ вступает в борьбу с роком. Не правда ли? — То есть почему же тут Корделия? — робко спросил Левин, совершенно забыв, что фантазия изображала короля Лира в степи. — Является Корделия... вот! — сказал Песцов, ударяя пальцами по атласной афише, которую он держал в руке, и передавая ее Левину. Тут только Левин вспомнил заглавие фантазии и поспешил прочесть в русском переводе стихи Шекспира, напечатанные на обороте афиши. — Без этого нельзя следить,— сказал Песцов, обращаясь к Левину, так как собеседник его ушел и поговорить ему больше не с кем было. В антракте между Левиным и Песцовым завязался спор о достоинствах и недостатках вагнеровского направления музыки. Левин доказывал, что ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка хочет пере^ вечная женственность (нем.). 266

ства, но тотчас же оно распадалось на обрывки новых начал музыкальных выражений, а иногда просто на ничем, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Но и самые отрывки этих музыкальных выражений, иногда хороших, были неприятны, потому что были совершенно неожиданны и ничем не приготовлены. Веселость, и грусть, и отчаяние, и нежность, и торжество являлись безо всякого на то права, точно чувства сумасшедшего. И, так же как у сумасшедшего, чувства эти проходили неожиданно.

Левин во все время исполнения испытывал чувство глухого, смотрящего на танцующих. Он был в совершенном недоумении, когда кончилась пиеса, и чувствовал большую усталость от напряженного и ничем не вознагражденного внимания. Со всех сторон послышались громкие рукоплескания. Все встали, заходили, заговорили. Желая разъяснить по впечатлению других свое недоумение, Левин пошел ходить, отыскивая знатоков, и рад был, увидав одного из известных знатоков в разговоре со знакомым ему Песцовым.

— Удивительно! — говорил густой бас Песцова.— Здравствуйте, Константин Дмитрич. В особенности образно и скульптурно, так сказать, и богато красками то место, где вы чувствуете приближение Корделии, где женщина, das ewig Weibliche [1], вступает в борьбу с роком. Не правда ли?

— То есть почему же тут Корделия? — робко спросил Левин, совершенно забыв, что фантазия изображала короля Лира в степи.

— Является Корделия... вот! — сказал Песцов, ударяя пальцами по атласной афише, которую он держал в руке, и передавая ее Левину.

Тут только Левин вспомнил заглавие фантазии и поспешил прочесть в русском переводе стихи Шекспира, напечатанные на обороте афиши.

— Без этого нельзя следить,— сказал Песцов, обращаясь к Левину, так как собеседник его ушел и поговорить ему больше не с кем было.

В антракте между Левиным и Песцовым завязался спор о достоинствах и недостатках вагнеровского направления музыки. Левин доказывал, что ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка хочет пере-

ходить в область чужого искусства, что так же ошибается поэзия, когда описывает черты лиц, что должна делать живопись, и, как пример такой ошибки, он привел скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, восстающие вокруг фигуры поэта на пьедестале. «Тени эти так мало тени у скульптора, что они даже держатся о лестницу», — сказал Левин. Фраза эта понравилась ему, но он не помнил, не говорил ли он прежде эту же самую фразу и именно Песцову, и, сказав это, он смутился. Песцов же доказывал, что искусство одно и что оно может достигнуть высших своих проявлений только в соединении всех родов. Второй нумер концерта Левин уже не мог слушать. Песцов, остановившись подле него, почти все время говорил с ним, осуждая эту пиесу за ее излишнюю, приторную напущенную простоту и сравнивая ее с простотой прерафаелитов в живописи. При выходе Левин встретил еще много знакомых, с которыми он поговорил и о политике, и о музыке, и об общих знакомых; между прочим, встретил графа Боля, про визит к которому он совсем забыл. — Ну, так поезжайте сейчас, — сказала ему Львова, которой он передал это, — может быть, вас не примут, а потом заезжайте за мной в заседание. Вы застанете еще. VI — Может быть, не принимают?— сказал Левин, входя в сени дома графини Боль. — Принимают, пожалуйте,— сказал швейцар, решительно снимая с него шубу. «Экая досада, — думал Левин, со вздохом снимая одну перчатку и расправляя шляпу.— Ну, зачем я иду? ну, что мне с ними говорить?» Проходя через первую гостиную, Левин встретил в дверях графиню Боль, с озабоченным и строгим лицом что-то приказывавшую слуге. Увидав Левина, она улыбнулась и попросила его в следующую маленькую гостиную, из которой слышались голоса. В этой гостиной сидели на креслах две дочери графини и знакомый Левину московский полковник. Левин подошел к ним, поздоровался и сел подле дивана, держа шляпу на колене. 267

ходить в область чужого искусства, что так же ошибается поэзия, когда описывает черты лиц, что должна делать живопись, и, как пример такой ошибки, он привел скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, восстающие вокруг фигуры поэта на пьедестале. «Тени эти так мало тени у скульптора, что они даже держатся о лестницу»,— сказал Левин. Фраза эта понравилась ему, но он не помнил, не говорил ли он прежде эту же самую фразу и именно Песцову, и, сказав это, он смутился.

Песцов же доказывал, что искусство одно и что оно может достигнуть высших своих проявлений только в соединении всех родов.

Второй нумер концерта Левин уже не мог слушать. Песцов, остановившись подле него, почти все время говорил с ним, осуждая эту пиесу за ее излишнюю, приторную напущенную простоту и сравнивая ее с простотой прерафаелитов в живописи. При выходе Левин встретил еще много знакомых, с которыми он поговорил и о политике, и о музыке, и об общих знакомых; между прочим, встретил графа Боля, про визит к которому он совсем забыл.

— Ну, так поезжайте сейчас,— сказала ему Львова, которой он передал это,— может быть, вас не примут, а потом заезжайте за мной в заседание. Вы застанете еще.

VI

— Может быть, не принимают?— сказал Левин, входя в сени дома графини Боль.

— Принимают, пожалуйте,— сказал швейцар, решительно снимая с него шубу.

«Экая досада,— думал Левин, со вздохом снимая одну перчатку и расправляя шляпу.— Ну, зачем я иду? ну, что мне с ними говорить?»

Проходя через первую гостиную, Левин встретил в дверях графиню Боль, с озабоченным и строгим лицом что-то приказывавшую слуге. Увидав Левина, она улыбнулась и попросила его в следующую маленькую гостиную, из которой слышались голоса. В этой гостиной сидели на креслах две дочери графини и знакомый Левину

— Как здоровье вашей жены? Вы были в концерте? Мы не могли. Мама долита была быть на панихиде. — Да, я слышал... Какая скоропостижная смерть,— сказал Левин. Пришла графиня, села на диван и спросила тоже про жену и про концерт. Левин ответил и повторил вопрос про скоропостижность смерти Апраксиной. — Она всегда, впрочем, была слабого здоровья. — Вы были вчера в опере? — Да, я был. — Очень хороша была Лукка. — Да, очень хороша, — сказал он и начал, так как ему совершенно было все равно, что о нем подумают, повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы. Графиня Боль притворялась, что слушала. Потом, когда он достаточно поговорил и замолчал, полковник, молчавший до сих пор, начал говорить. Полковник заговорил тоя^е про оперу и про освеш;ение. Наконец, сказав про предполагаемую folle journée ^ у Тюрина, полковник засмеялся, зашумел, встал и ушел. Левин тоже встал, но по лицу графини он заметил, что ему еш,е не пора уходить. Егце минуты две надо. Он се.л. Но так как он все думал о том, как это глупо, то и по находил предмета разговора и молчал. — Вы не едете на публичное заседание? Говорят, очень интересно, — начала графиня. — Нет, я обеш;ал моей belle-soeur ^ заехать за ней, — сказал Левин. Наступило молчание. Мать с дочерью еще раз переглянулись. «Ну, кая^ется, теперь пора»,— подумал Левин и встал. Дамы пожали ему руку и просили передать mille choses ^ жене. Швейцар спросил его, подавая шубу: — Где изволите стоять? — и тотчас ят записал в* большую, хорошо переплетенную книяту. «Разумеется, мне все равно, но все-таки совестно и ужасно глупо»,— подумал Левин, утешая себя тем, что все это делают, и поехал в публичное заседание комитета, * безумный день (франц.), ^ свояченице (франц.), * тысячу поклонов (Франц.). 268

— Как здоровье вашей жены? Вы были в концерте? Мы не могли. Мама должна была быть на панихиде.

— Да, я слышал... Какая скоропостижная смерть,— сказал Левин.

Пришла графиня, села на диван и спросила тоже про жену и про концерт.

Левин ответил и повторил вопрос про скоропостижность смерти Апраксиной.

— Она всегда, впрочем, была слабого здоровья.

— Вы были вчера в опере?

— Да, я был.

— Очень хороша была Лукка.

— Да, очень хороша, — сказал он и начал, так как ему совершенно было все равно, что о нем подумают, повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы. Графиня Боль притворялась, что слушала. Потом, когда он достаточно поговорил и замолчал, полковник, молчавший до сих пор, начал говорить. Полковник заговорил тоже про оперу и про освещение. Наконец, сказав про предполагаемую folle journée [1] у Тюрина, полковник засмеялся, зашумел, встал и ушел. Левин тоже встал, но по лицу графини он заметил, что ему еще не пора уходить. Еще минуты две надо. Он сел.

Но так как он все думал о том, как это глупо, то и не находил предмета разговора и молчал.

— Вы не едете на публичное заседание? Говорят, очень интересно,— начала графиня.

— Нет, я обещал моей belle-soeur [2] заехать за ней,— сказал Левин.

Наступило молчание. Мать с дочерью еще раз переглянулись.

«Ну, кажется, теперь пора»,— подумал Левин и встал. Дамы пожали ему руку и просили передать mille choses [3] жене.

Швейцар спросил его, подавая шубу:

— Где изволите стоять? — и тотчас же записал в большую, хорошо переплетенную книжку.

«Разумеется, мне все равно, но все-таки совестно и ужасно глупо»,— подумал Левин, утешая себя тем, что все это делают, и поехал в публичное заседание комитета,

---

[1] безумный день *(франц.)*.

[2] свояченица *(франц.)*.

где он должен был найти свояченицу, чтобы с ней вместе ехать домой. В публичном заседании комитета было много народа и почти все общество. Левин застал еще обзор, который, как все говорили, был очень интересен. Когда кончилось чтение обзора, общество сошлось, и Левин встретил и Свияжского, звавшего его нынче вечером непременно в Общество сельского хозяйства, где будет читаться знаменитый доклад, и Степана Аркадьича, который только что приехал с бегов, и еще много других знакомых, и Левин еще поговорил и послушал разные суждения о заседании, о новой пиесе и о процессе. Но, вероятно, вследствие усталости внимания, которую он начинал испытьь вать, говоря о процессе, он ошибся, и ошибка эта потом несколько раз с досадой вспоминалась ему. Говоря о предстоящем наказании иностранцу, судившемуся в России, и о том, как было бы неправильно наказать его высылкой за границу, Левин повторил то, что он слышал вчера в разговоре от одного знакомого. — Я думаю, что выслать его за границу, — все равно что наказать щуку, пустив ее в воду,-— сказал Левин. Уже потом он вспомнил, что эта, как будто выдаваемая им за свою, мысль, услышанная им от знакомого, была из басни Крылова и что знакомый повторил эту мысль из фельетона газеты. Заехав со свояченицей домой и застав Кити веселою и благополучною, Левин поехал в клуб. VII Левин приехал в клуб в самое время. Вместе с ним подъезжали гости и члены. Левин не был в клубе очень давно, с тех пор как он еще по выходе из университета жил в Москве и ездил в свет. Он помнил клуб, внешние подробности его устройства, но совсем забыл то впечатление, которое он в прежнее время испытывал в клубе. Но только что, въехав на широкий полукруглый двор и слезши с извозчика, он вступил на крыльцо и навстречу ему швейцар в перевязи беззвучно отворил дверь и поклонился; только что он увидал в швейцарской калоши и шубы членов, сообразивших, что менее труда снимать калоши внизу, чем вносить их наверх; только что он услыхал таинственный, предшествующий ему звонок 269

где он должен был найти свояченицу, чтобы с ней вместе ехать домой.

В публичном заседании комитета было много народа и почти все общество. Левин застал еще обзор, который, как все говорили, был очень интересен. Когда кончилось чтение обзора, общество сошлось, и Левин встретил и Свияжского, звавшего его нынче вечером непременно в Общество сельского хозяйства, где будет читаться знаменитый доклад, и Степана Аркадьича, который только что приехал с бегов, и еще много других знакомых, и Левин еще поговорил и послушал разные суждения о заседании, о новой пиесе и о процессе. Но, вероятно, вследствие усталости внимания, которую он начинал испытывать, говоря о процессе, он ошибся, и ошибка эта потом несколько раз с досадой вспоминалась ему. Говоря о предстоящем наказании иностранцу, судившемуся в России, и о том, как было бы неправильно наказать его высылкой за границу, Левин повторил то, что он слышал вчера в разговоре от одного знакомого.

— Я думаю, что выслать его за границу,— все равно что наказать щуку, пустив ее в воду,— сказал Левин. Уже потом он вспомнил, что эта, как будто выдаваемая им за свою, мысль, услышанная им от знакомого, была из басни Крылова и что знакомый повторил эту мысль из фельетона газеты.

Заехав со свояченицей домой и застав Кити веселою и благополучною, Левин поехал в клуб.

VII

Левин приехал в клуб в самое время. Вместе с ним подъезжали гости и члены. Левин не был в клубе очень давно, с тех пор как он еще по выходе из университета жил в Москве и ездил в свет. Он помнил клуб, внешние подробности его устройства, но совсем забыл то впечатление, которое он в прежнее время испытывал в клубе. Но только что, въехав на широкий полукруглый двор и слезши с извозчика, он вступил на крыльцо и навстречу ему швейцар в перевязи беззвучно отворил дверь и поклонился; только что он увидал в швейцарской калоши и шубы членов, сообразивших, что менее труда снимать

и увидал, входя по отлогой ковровой лестнице, статую на площадке и в верхних дверях третьего, состарившегося знакомого швейцара в клубной ливрее, неторопливо и не медля отворявшего дверь и оглядывавшего гостя, — Левыпа охватило давнишнее впечатление клуба, впечатление отдыха, довольства и приличия. — Пожалуйте шляпу, — сказал швейцар Левину, забывшему правило клуба оставлять шляпы в швейцарской. — Давно не бывали. Князь вчера еще записали вас. Князя Степана Аркадьича нету еще. Швейцар знал не только Левина, но и все его связи и родство и тотчас же упомянул о близких ему людях. Пройдя первую проходную залу с ширмами и направо перегороженную комнату, где сидит фруктовщик, Левин, перегнав медленно шедшего старика, вошел в шумевшую народом столовую. Он прошел вдоль почти занятых уже столов, оглядывая гостей. То там, то сям попадались ему самые разнообразные, и старые и молодые, и едва знакомые и близкие, люди. Ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили в швейцарской с шапками свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Тут был и Свияжский, и Ш,ербацкий, и Неведовский, и старый князь, и Вронский, и Сергей Иванович. — А! что ж опоздал? — улыбаясь, сказал князь, подавая ему руку через плечо. — Что Кити? — прибавил он, поправляя салфетку, которую заткнул себе за пуговицу жилета. — Ничего, здорова; они втроем дома обедают. — А, Алины-Надины. Ну, у нас места нет. А иди к тому столу да занимай скорее место, — сказал князь и, отвернувшись, осторожно принял тарелку с ухою из налимов. — Левин, сюдаі — крикнул несколько дальше добродушный голос. Это был Туровцын. Он сидел с молодым военным, и подле них были два перевернутые стула. Левин с радостью подошел к ним. Он и всегда любил добродушного кутилу Туровцына, — с ним соединялось воспоминание объяснения с Кити, — но нынче, после всех напряженно умных разговоров, добродушный вид Туровцына был ему особенно приятен. *— Это вам и Облонскому. Он сейчас будет. 270

и увидал, входя по отлогой ковровой лестнице, статую на площадке и в верхних дверях третьего, состарившегося знакомого швейцара в клубной ливрее, неторопливо и не медля отворявшего дверь и оглядывавшего гостя,— Левина охватило давнишнее впечатление клуба, впечатление отдыха, довольства и приличия.

— Пожалуйте шляпу,— сказал швейцар Левину, забывшему правило клуба оставлять шляпы в швейцарской.— Давно не бывали. Князь вчера еще записали вас. Князя Степана Аркадьича нету еще.

Швейцар знал не только Левина, но и все его связи и родство и тотчас же упомянул о близких ему людях.

Пройдя первую проходную залу с ширмами и направо перегороженную комнату, где сидит фруктовщик, Левин, перегнав медленно шедшего старика, вошел в шумевшую народом столовую.

Он прошел вдоль почти занятых уже столов, оглядывая гостей. То там, то сям попадались ему самые разнообразные, и старые и молодые, и едва знакомые и близкие, люди. Ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили в швейцарской с шапками свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Тут был и Свияжский, и Щербацкий, и Неведовский, и старый князь, и Вронский, и Сергей Иванович.

— А! что ж опоздал? — улыбаясь, сказал князь, подавая ему руку через плечо.— Что Кити? — прибавил он, поправляя салфетку, которую заткнул себе за пуговицу жилета.

— Ничего, здорова; они втроем дома обедают.

— А, Алины-Надины. Ну, у нас места нет. А иди к тому столу да занимай скорее место,— сказал князь и, отвернувшись, осторожно принял тарелку с ухою из налимов.

— Левин, сюда! — крикнул несколько дальше добродушный голос. Это был Туровцын. Он сидел с молодым военным, и подле них были два перевернутые стула. Левин с радостью подошел к ним. Он и всегда любил добродушного кутилу Туровцына,— с ним соединялось воспоминание объяснения с Кити,— но нынче, после всех напряженно умных разговоров, добродушный вид Туровцына был ему особенно приятен.

Очень прямо державшийся военный с веселыми, все-# гда смеюш,имися глазами был петербуржец Гагин. Туровцын познакомил их. — Облонский вечно опоздает. — А, вот и он. — Ты только что приехал? — сказал Облонский, быстро подходя к ним. — Здорово. Пил водку? Ну, пойдем. Левин встал и пошел с ним к большому столу, уставленному водками и самыми разнообразными закусками. Казалось, из двух десятков закусок можно было выбрать^ что было по вкусу, но Степан Аркадьич потребовал какую-то особенную, и один из стоявших ливрейных лакеев тотчас принес требуемое. Они выпили по рюмке и вернулись к столу. Сейчас же, еще за ухой, Гагину подали шампанского, и он велел наливать в четыре стакана. Левин не отказался от предлагаемого вина и спросил другую бутылку. Он проголодался и ел и пил с большим удовольствием и еще с большим удовольствием принимал участие в веселых и простых разговорах собеседников. Гагин, понизив голос, рассказал новый петербургский анекдот, и анекдот, хотя неприличный и глупый, был так смешон, что Левин расхохотался так громко, что на него оглянулись соседи. — Это в том же роде, как: «Я этого-то и терпеть не могу!» Ты знаешь? — спросил Степан Аркадьич. — А:, это прелесть! Подай еще бутылку, — сказал он лакею и начал расказывать. — Петр Ильич Виновский просят, — перебил старичо г лакей Степана Аркадьича, поднося два тоненькие стакана доигрывающего шампанского и обращаясь к Степану Арка дьичу и к Левину. Степан Аркадьич взял стакан переглянувшись на другой конец стола с плешивым ры-» жим усатым мужчиной, помахал ему, улыбаясь, головой. — Кто это? — спросил Левин. — Ты его у меня встретил раз, помнишь? Добрый малый. Левин сделал то же, что Степан Аркадьич, и взял стакан. Анекдот Степана Аркадьича был тоже очень забавен. Левин рассказал свой анекдот, который тоже понравился. Потом зашла речь о лошадях, о бегах нынешнего дня и о том, как лихо Атласный Вронского выиграл первый приз* Левин не заметил, как прошел обед. 271

Очень прямо державшийся военный с веселыми, всегда смеющимися глазами был петербуржец Гагин. Туровцын познакомил их.

— Облонский вечно опоздает.

— А, вот и он.

— Ты только что приехал? — сказал Облонский, быстро подходя к ним.— Здорово. Пил водку? Ну, пойдем.

Левин встал и пошел с ним к большому столу, уставленному водками и самыми разнообразными закусками. Казалось, из двух десятков закусок можно было выбрать, что было по вкусу, но Степан Аркадьич потребовал какую-то особенную, и один из стоявших ливрейных лакеев тотчас принес требуемое. Они выпили по рюмке и вернулись к столу.

Сейчас же, еще за ухой, Гагину подали шампанского, и он велел наливать в четыре стакана. Левин не отказался от предлагаемого вина и спросил другую бутылку. Он проголодался и ел и пил с большим удовольствием и еще с бóльшим удовольствием принимал участие в веселых и простых разговорах собеседников. Гагин, понизив голос, рассказал новый петербургский анекдот, и анекдот, хотя неприличный и глупый, был так смешон, что Левин расхохотался так громко, что на него оглянулись соседи.

— Это в том же роде, как: «Я этого-то и терпеть не могу!» Ты знаешь? — спросил Степан Аркадьич.— Ах, это прелесть! Подай еще бутылку,— сказал он лакею и начал расказывать.

— Петр Ильич Виновский просят,—перебил старичок лакей Степана Аркадьича, поднося два тоненькие стакана доигрывающего шампанского и обращаясь к Степану Аркадьичу и к Левину. Степан Аркадьич взял стакан и, переглянувшись на другой конец стола с плешивым рыжим усатым мужчиной, помахал ему, улыбаясь, головой.

— Кто это? — спросил Левин.

— Ты его у меня встретил раз, помнишь? Добрый малый.

Левин сделал то же, что Степан Аркадьич, и взял стакан.

Анекдот Степана Аркадьича был тоже очень забавен. Левин рассказал свой анекдот, который тоже понравился. Потом зашла речь о лошадях, о бегах нынешнего дня и о

— А! вот и они! — в конце уже обеда сказал Степан Аркадьич, перегибаясь через спинку стула и протягивая руку шедшему к нему Вронскому с высоким гвардейским полковником. В лице Вронского светилось тоже обш;ее клубное веселое добродушие. Он весело облокотился на плечо Степану Аркадьичу, что-то шепча ему, и с тою же веселою улыбкой протянул руку Левину. — Очень рад встретиться, — сказал он. — А я вас тогда искал на выборах, но мне сказали, что вы уже уехали, — сказал он ему. — Да, я в тот же день уехал. Мы только что говорили об вашей лошади. Поздравляю вас, — сказал Левин.— Это очень быстрая езда. — Да ведь у вас тоже лошади. — Нет, у моего отца были; но я помню и знаю. — Ты где обедал? — спросил Степан Аркадьич. — Мы за вторым столом, за колоннами. — Его поздравляли, — сказал высокий полковник. — Второй императорский приз; кабы мне такое счастио в карты, как ему на лошадей. — Ну, что же золотое время терять. Я иду в инфернальную, — сказал полковник и отошел от стола. — Это Яшвин,— отвечал Туровцыну Вронский и присел на освободившееся подле них место. Выпив предложенный бокал, он спросил бутылку. Под влиянием ли клубного впечатления, или выпитого вина Левин разговорился с Вронским о лучшей породе скота и был очень рад, что не чувствует никакой враяадебности к этому человеку. Он даже сказал ему между прочим, что слышал от жены, что она встретила его у княгини Марьи Борисовны. — Ах, княгиня Марья Борисовна, это прелесть! — сказал Степан Аркадьич и рассказал про нее анекдот, который всех насмешил. В особенности Вронский так добродушно расхохотался, что Левин почувствовал себя совсем примиренным с ним. — Что ж, кончили? — сказал Степан Аркадьич, вставая и улыбаясь. — Пойдем! VIII Выйдя из-за стола, Левин, чувствуя, что у него на ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки, пошел с Гагиным через высокие комнаты к бильярдной. Проходя .через большую залу, он столкнулся с тестем. 272

— А! вот и они! — в конце уже обеда сказал Степан Аркадьич, перегибаясь через спинку стула и протягивая руку шедшему к нему Вронскому с высоким гвардейским полковником. В лице Вронского светилось тоже общее клубное веселое добродушие. Он весело облокотился на плечо Степану Аркадьичу, что-то шепча ему, и с тою же веселою улыбкой протянул руку Левину.

— Очень рад встретиться,— сказал он.— А я вас тогда искал на выборах, но мне сказали, что вы уже уехали,— сказал он ему.

— Да, я в тот же день уехал. Мы только что говорили об вашей лошади. Поздравляю вас,— сказал Левин.— Это очень быстрая езда.

— Да ведь у вас тоже лошади.

— Нет, у моего отца были; но я помню и знаю.

— Ты где обедал? — спросил Степан Аркадьич.

— Мы за вторым столом, за колоннами.

— Его поздравляли, — сказал высокий полковник. — Второй императорский приз; кабы мне такое счастие в карты, как ему на лошадей.

— Ну, что же золотое время терять. Я иду в инфернальную,— сказал полковник и отошел от стола.

— Это Яшвин,— отвечал Туровцыну Вронский и присел на освободившееся подле них место. Выпив предложенный бокал, он спросил бутылку. Под влиянием ли клубного впечатления, или выпитого вина Левин разговорился с Вронским о лучшей породе скота и был очень рад, что не чувствует никакой враждебности к этому человеку. Он даже сказал ему между прочим, что слышал от жены, что она встретила его у княгини Марьи Борисовны.

— Ах, княгиня Марья Борисовна, это прелесть! — сказал Степан Аркадьич и рассказал про нее анекдот, который всех насмешил. В особенности Вронский так добродушно расхохотался, что Левин почувствовал себя совсем примиренным с ним.

— Что ж, кончили? — сказал Степан Аркадьич, вставая и улыбаясь.— Пойдем!

VIII

Выйдя из-за стола, Левин, чувствуя, что у него на ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки, пошел с Гагиным через высокие комнаты к бильярдной. Проходя

— Ну, что? Как тебе нравится наш храм праздности? — сказал князь, взяв его под руку.— Пойдем пройдемся. — Я и то хотел походить, посмотреть. Это интересно. — Да, тебе интересно. Но мне интерес уж другой, чем тебе. Ты вот смотришь на этих старичков, — сказал он, указывая на сгорбленного члена с отвислою губой, который, чуть передвигая ноги в мягких сапогах, прошел им навстречу,— и думаешь, что они так родились шлюпиками. — Как шлюпиками? — Ты вот и не знаешь этого названия. Это наш клубный термин. Знаешь, как яйца катают, так когда много катают, то сделается шлюпик. Так и наш брат: ездишьездишь в клуб и сделаешься шлюпиком. Да, вот ты смеешься, а наш брат уже смотрит, когда сам в шлюпики попадет. Ты знаешь князя Чеченского? — спросил князь, и Левин видел по лицу, что он собирается рассказать чтото смешное. — Нет, не знаю. — Ну, как же! Ну, князь Чеченский, известный. Ну, все равно. Вот он всегда на бильярде играет. Он еще года три тому назад не был в шлюпиках и храбрился. И сам других шлюпиками называл. Только приезжает он раз, а швейцар наш... ты знаешь, Василий? Ну, этот толстый. Он бонмотист большой. Вот и спрашивает князь Чеченский у него: «Ну что, Василий, кто да кто приехал? А шлюпики есть?» А он ему говорит: «Вы третий». Да, брат, так-то! Разговаривая и здороваясь со встречавшимися знакомыми, Левин с князем прошел все комнаты: большую, где стояли уже столы и играли в небольшую игру привычные партнеры; диванную, где играли в шахматы и сидел Сергей Иванович, разговаривая с кем-то; бильярдную, где на изгибе комнаты у дивана составилась веселая партия с шампанским, в которой участвовал Гагин; заглянули и в инфернальную, где у одного стола, за который уже сел Яшвии, толпилось много державших. Стараясь не шуметь, они вошли и в темную читальную, где под лампами с абажурами сидел один молодой человек с сердитым лицом, перехватывавший один л^урнал за другим, и плешигвый генерал, углубленный в чтение. Вошли и в ту комнату, которую князь называл умною. В этой комнате трое 273

— Ну, что? Как тебе нравится наш храм праздности? — сказал князь, взяв его под руку.— Пойдем пройдемся.

— Я и то хотел походить, посмотреть. Это интересно.

— Да, тебе интересно. Но мне интерес уж другой, чем тебе. Ты вот смотришь на этих старичков,— сказал он, указывая на сгорбленного члена с отвислою губой, который, чуть передвигая ноги в мягких сапогах, прошел им навстречу,— и думаешь, что они так родились шлюпиками.

— Как шлюпиками?

— Ты вот и не знаешь этого названия. Это наш клубный термин. Знаешь, как яйца катают, так когда много катают, то сделается шлюпик. Так и наш брат: ездишь-ездишь в клуб и сделаешься шлюпиком. Да, вот ты смеешься, а наш брат уже смотрит, когда сам в шлюпики попадет. Ты знаешь князя Чеченского? — спросил князь, и Левин видел по лицу, что он собирается рассказать что-то смешное.

— Нет, не знаю.

— Ну, как же! Ну, князь Чеченский, известный. Ну, все равно. Вот он всегда на бильярде играет. Он еще года три тому назад не был в шлюпиках и храбрился. И сам других шлюпиками называл. Только приезжает он раз, а швейцар наш... ты знаешь, Василий? Ну, этот толстый. Он бонмотист большой. Вот и спрашивает князь Чеченский у него: «Ну что, Василий, кто да кто приехал? А шлюпики есть?» А он ему говорит: «Вы третий». Да, брат, так-то!

Разговаривая и здороваясь со встречавшимися знакомыми, Левин с князем прошел все комнаты: большую, где стояли уже столы и играли в небольшую игру привычные партнеры; диванную, где играли в шахматы и сидел Сергей Иванович, разговаривая с кем-то; бильярдную, где на изгибе комнаты у дивана составилась веселая партия с шампанским, в которой участвовал Гагин; заглянули и в инфернальную, где у одного стола, за который уже сел Яшвин, толпилось много державших. Стараясь не шуметь, они вошли и в темную читальную, где под лампами с абажурами сидел один молодой человек с сердитым лицом, перехватывавший один журнал за другим, и плешивый генерал, углубленный в чтение. Вошли и в ту комна-

господ горячо говорили о последней политической новости. — Князь, пожалуйте, готово,— сказал один из его партнеров, найдя его тут, и князь ушел. Левин посидел, послушал; но, вспомнив все разговоры нынешнего утра, ему вдруг стало ужасно скучно. Он поспешно встал и пошел искать Облонского и Туровцына, с которыми было весело. Туровцын сидел с кружкой пктья на высоком диване в бильярдной, и Степан Аркадьич с Вронским о чем-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты. — Она не то что скучает, но эта неопределенность, нерешительность положения, — слышал Левин и хотел поспешно отойти; но Степан Аркадьич подозвал его. — Левин! — сказал Степан Аркадьич, и Левин заметил, что у него на глазах были не слезы, а влажность, как это всегда бывало у него, или когда он выпил, или когда он расчувствовался. Нынче было то и другое.— Левин, не уходи, — сказал он и крепко сжал его руку за локоть, очевидно ни за что не желая выпустить его. — Это мой искренний, едва ли не лучший друг,— сказал он Вронскому. — Ты для меня тоже еш,е более близок и дорог. И я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, потому что вы оба хорошие люди. — Что ж, нам остается только поцеловаться, — добродушно шутя, сказал Вронский, подавая руку. Он быстро взял протянутую руку и крепко пожал ее. — Я очень, очень рад, — сказал Левин, пожимая его руку. — Человек, бутылку шампанского, — сказал Степан Аркадьич. — Ия очень рад, — сказал Вронский. Но, несмотря на желание Степана Аркадьича и их взаимное желание, им говорить было нечего, и оба это чувствовали. — Ты знаешь, что он не знаком с Анной? — сказал Степан Аркадьич Вронскому. — И я непременно хочу свозить его к ней. Поедем, Левин! — Неужели? — сказал Вронский. — Она будет очень рада. Я бы сейчас поехал домой, — прибавил он, — но Яшвин меня беспокоит, и я хочу побыть тут, пока он кончит. — А что, плохо? — Все проигрывает, и я только один могу его удержать. 274

господ горячо говорили о последней политической новости.

— Князь, пожалуйте, готово,— сказал один из его партнеров, найдя его тут, и князь ушел. Левин посидел, послушал; но, вспомнив все разговоры нынешнего утра, ему вдруг стало ужасно скучно. Он поспешно встал и пошел искать Облонского и Туровцына, с которыми было весело.

Туровцын сидел с кружкой питья на высоком диване в бильярдной, и Степан Аркадьич с Вронским о чем-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты.

— Она не то что скучает, но эта неопределенность, нерешительность положения,— слышал Левин и хотел поспешно отойти; но Степан Аркадьич подозвал его.

— Левин! — сказал Степан Аркадьич, и Левин заметил, что у него на глазах были не слезы, а влажность, как это всегда бывало у него, или когда он выпил, или когда он расчувствовался. Нынче было то и другое.— Левин, не уходи,— сказал он и крепко сжал его руку за локоть, очевидно ни за что не желая выпустить его.

— Это мой искренний, едва ли не лучший друг,— сказал он Вронскому.— Ты для меня тоже еще более близок и дорог. И я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, потому что вы оба хорошие люди.

— Что ж, нам остается только поцеловаться,— добродушно шутя, сказал Вронский, подавая руку.

Он быстро взял протянутую руку и крепко пожал ее.

— Я очень, очень рад,— сказал Левин, пожимая его руку.

— Человек, бутылку шампанского,— сказал Степан Аркадьич.

— И я очень рад,— сказал Вронский.

Но, несмотря на желание Степана Аркадьича и их взаимное желание, им говорить было нечего, и оба это чувствовали.

— Ты знаешь, что он не знаком с Анной? — сказал Степан Аркадьич Вронскому.— И я непременно хочу свозить его к ней. Поедем, Левин!

— Неужели? — сказал Вронский.— Она будет очень рада. Я бы сейчас поехал домой,— прибавил он,— но Яшвин меня беспокоит, и я хочу побыть тут, пока он кончит.

— А что, плохо?

— Все проигрывает, и я только один могу его удер-

— Так что ж, пирамидку? Левин, будешь играть? Ну, и прекрасно, — сказал Степан Аркадьич. — Ставь пирамидку,— обратился он к маркеру. — Давно готово, — отвечал маркер, уже уставивший в треугольник шары и для развлечения перекатывавший красный. — Ну, давайте. После партии Вронский и Левин подсели к столу Гагина, и Левин стал по предложению Степана Аркадьича держать на тузы. Вронский то сидел у стола, окруженный беспрестанно подходившими к нему знакомыми, то ходил в инфернальную проведывать Яшвина. Левин испытывал приятный отдых от умственной усталости утра. Его радовало прекращение враждебности с Вронским, и впечатление спокойствия, приличия и удовольствия не оставляло его. Когда партия кончилась, Степан Аркадьич взял Левина под руку. — Ну, так поедем к Анне. Сейчас? А? Она дома. Я давно обещал ей привезти тебя. Ты куда собирался вечером? — Да никуда особенно. Я обещал Свияжскому в Общество сельского хозяйства. Пожалуй, поедем, — сказал Левин. — Отлично, едем! Узнай, приехала ли моя карета,— обратился Степан Аркадьич к лакею. Левин подошел к столу, заплатил проигранные им на тузы сорок рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу. IX — Облонского карету! — сердитым басом прокричал швейцар. Карета подъехала, и оба сели. Только первое время, пока карета выезжала из ворот клуба, Левин продолжал испытывать впечатление клубного покоя, удовольствия и несомненной приличности окружающего; но как только карета выехала на улицу и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик встречного извозчика, увидел при неярком освещении красную вывеску кабака и лавочки, впечатление это разрушилось, и он начал обдумывать свои поступки

— Так что ж, пирамидку? Левин, будешь играть? Ну, и прекрасно,— сказал Степан Аркадьич.— Ставь пирамидку,— обратился он к маркеру.

— Давно готово, — отвечал маркер, уже уставивший в треугольник шары и для развлечения перекатывавший красный.

— Ну, давайте.

После партии Вронский и Левин подсели к столу Гагина, и Левин стал по предложению Степана Аркадьича держать на тузы. Вронский то сидел у стола, окруженный беспрестанно подходившими к нему знакомыми, то ходил в инфернальную проведывать Яшвина. Левин испытывал приятный отдых от умственной усталости утра. Его радовало прекращение враждебности с Вронским, и впечатление спокойствия, приличия и удовольствия не оставляло его.

Когда партия кончилась, Степан Аркадьич взял Левина под руку.

— Ну, так поедем к Анне. Сейчас? А? Она дома. Я давно обещал ей привезти тебя. Ты куда собирался вечером?

— Да никуда особенно. Я обещал Свияжскому в Общество сельского хозяйства. Пожалуй, поедем,— сказал Левин.

— Отлично, едем! Узнай, приехала ли моя карета,— обратился Степан Аркадьич к лакею.

Левин подошел к столу, заплатил проигранные им на тузы сорок рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.

IX

— Облонского карету! — сердитым басом прокричал швейцар. Карета подъехала, и оба сели. Только первое время, пока карета выезжала из ворот клуба, Левин продолжал испытывать впечатление клубного покоя, удовольствия и несомненной приличности окружающего; но как только карета выехала на улицу и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик встречного извозчика, увидел при неярком освеще-

и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет к Анне. Что скажет Кити? Но Степан Аркадьич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их. — Как я рад, — сказал он, — что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее и бывает. Хоть она мне и сестра, — продолжал Степан Аркадьич, — я смело могу сказать, что это замечательпая женщ,ина. Вот ты увидишь. Положение ее очень тяжело, в особенности теперь. — Почему же в особенности теперь? — У нас идут переговоры с ее мужем о разводе. И он согласен; но тут есть затруднения относительно сына, и дело это, которое должно было кончиться давно уже, вот тянется три месяца. Как только будет развод, она выйдет за Вронского. Как это глупо, этот старый обычай кружения, «Исаия ликуй», в который никто не верит и который мешает счастью людей! — вставил Степан Аркадьич. — Ну, и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое. — В чем же затруднение? — сказал Левин. — Ах, это длинная и скучная история! Все это так неопределенно у нас. Но дело в том, — она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет три месяца; никуда не выезжает, никого не видит из женщин, кроме Долли, потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости; эта дура княжна Варвара — и та уехала, считая это неприличным. Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же, вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойна, достойна. Налево, в переулок, против церкви! — крикнул Степан Аркадьич, перегибаясь в окно кареты. — Фу, как жарко! — сказал он, несмотря на двенадцать градусов мороза распахивая еще больше свою и так распахнутую шубу. — Да ведь у ней дочь; верно, она ею занята? — сказал Левин. — Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только самкой, une couveuse ^ — сказал Степан Аркадьич. — Занята, то непременно детьми. Нет, она прекрасно воспитывает ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишет детскую ^ наседкой (франц.). 276

и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет к Анне. Что скажет Кити? Но Степан Аркадьич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их.

— Как я рад,— сказал он,— что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее и бывает. Хоть она мне и сестра,— продолжал Степан Аркадьич,— я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение ее очень тяжело, в особенности теперь.

— Почему же в особенности теперь?

— У нас идут переговоры с ее мужем о разводе. И он согласен; но тут есть затруднения относительно сына, и дело это, которое должно было кончиться давно уже, вот тянется три месяца. Как только будет развод, она выйдет за Вронского. Как это глупо, этот старый обычай кружения, «Исаия ликуй», в который никто не верит и который мешает счастью людей! — вставил Степан Аркадьич.— Ну, и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое.

— В чем же затруднение? — сказал Левин.

— Ах, это длинная и скучная история! Все это так неопределенно у нас. Но дело в том,— она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет три месяца; никуда не выезжает, никого не видит из женщин, кроме Долли, потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости; эта дура княжна Варвара — и та уехала, считая это неприличным. Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же, вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойна, достойна. Налево, в переулок, против церкви! — крикнул Степан Аркадьич, перегибаясь в окно кареты.— Фу, как жарко! — сказал он, несмотря на двенадцать градусов мороза распахивая еще больше свою и так распахнутую шубу.

— Да ведь у ней дочь; верно, она ею занята? — сказал Левин.

— Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только самкой, une couveuse [1],— сказал Степан Аркадьич.— Занята, то непременно детьми. Нет, она прекрасно воспитывает ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишет детскую

книгу и никому не говорит про это, но мне читала, и я давал рукопись Воркуеву... знаешь, этот издатель... и сам он писатель, кажется. Он знает толк, и он говорит, что это замечательная веш;ь. Но ты думаешь, что это женщ,ина-автор? Нисколько. Она прежде всего женщина с сердцем, ты вот увидишь. Теперь у ней девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята. — Что же, это филантропическое что-нибудь? — Вот ты все хочешь видеть дурное. Не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер-англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, delirium tremens \ и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ее руках; да не так, свысока, деньгами, а она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее. Карета въехала на двор, и Степан Аркадьич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И, не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркадьич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно оп делает. Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен; но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьичем. Наверху, у поклонившегося, как близкому человеку, лакея Степан Аркадьич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Воркуев. — Где они? — В кабинете. Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела па стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьич заходил за трельяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удиви^ белая горячка (лат.). 277

книгу и никому не говорит про это, но мне читала, и я давал рукопись Воркуеву... знаешь, этот издатель... и сам он писатель, кажется. Он знает толк, и он говорит, что это замечательная вещь. Но ты думаешь, что это женщина-автор? Нисколько. Она прежде всего женщина с сердцем, ты вот увидишь. Теперь у ней девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята.

— Что же, это филантропическое что-нибудь?

— Вот ты все хочешь видеть дурное. Не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер-англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, delirium tremens [1], и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ее руках; да не так, свысока, деньгами, а она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее.

Карета въехала на двор, и Степан Аркадьич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани.

И, не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркадьич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает.

Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен; но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьичем. Наверху, у поклонившегося, как близкому человеку, лакея Степан Аркадьич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Воркуев.

— Где они?

— В кабинете.

Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьич заходил за трельяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удиви-

тельного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. — Я очень рада, — услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трельяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье, не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете. X Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его. И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую и энергическую руку и познакомила его с Воркуевым и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своею воспитанницей, были знакомые и приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной. — Очень, очень рада, — повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особенное значение.— Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой и за вашу жену... я знала ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уж скоро будет матерью! Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата, и Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее, и ему с нею тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее. — Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея, — сказала она, отвечая Степану Аркадьичу на его вопрос, можно ли курить, — именно затем, чтобы 278

тельного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая.

— Я очень рада,— услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трельяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье, не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете.

X

Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его. И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую и энергическую руку и познакомила его с Воркуевым и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своею воспитанницей, были знакомые и приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной.

— Очень, очень рада,— повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особенное значение.— Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой и за вашу жену... я знала ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уж скоро будет матерью!

Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата, и Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее, и ему с нею тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее.

— Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея,— сказала она, отвечая Степану Аркадьичу на

курить, — и, взглянув на Левина, вместо вопроса: курит ли он? подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула пахитоску, — Как твое здоровье нынче? — спросил ее брат. — Ничего. Нервы, как всегда. — Не правда ли, необыкновенно хорош? — сказал Степан Аркадьич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. — Я не видал лучше портрета. — И необыкновенно похоже, не правда ли? — сказал Воркуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел и, чтобы скрыть свое смуш;ение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну; но в то же время Анна заговорила: — - Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах ВаШ;енкова. Вы видели их? — Да, я видел, — отвечал Левин. — Но виновата, я вас перебила, вы хотели сказать... Левин спросил, давно ли она видела Долли. — Вчера она была у меня, она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему. — Да, я видел картины. Они мне не очень понравились,— вернулся Левин к начатому ею разговору. Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение. И говорить с ней было приятно, еп];е приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника. Разговор зашел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художником. Воркуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму. В том, что они уже не лгут, они видят поэзию. Никогда еще ни одна умная вещь, сказанная Левиным, не доставляла ему такого удовольствия, как эта. 279

курить, — и, взглянув на Левина, вместо вопроса: курит ли он? подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула пахитоску.

— Как твое здоровье нынче? — спросил ее брат.

— Ничего. Нервы, как всегда.

— Не правда ли, необыкновенно хорош? — сказал Степан Аркадьич, заметив, что Левин взглядывал на портрет.

— Я не видал лучше портрета.

— И необыкновенно похоже, не правда ли? — сказал Воркуев.

Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну; но в то же время Анна заговорила:

— Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенкова. Вы видели их?

— Да, я видел,— отвечал Левин.

— Но виновата, я вас перебила, вы хотели сказать...

Левин спросил, давно ли она видела Долли.

— Вчера она была у меня, она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему.

— Да, я видел картины. Они мне не очень понравились,— вернулся Левин к начатому ею разговору.

Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение. И говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее.

Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника.

Разговор зашел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художником. Воркуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму. В том, что они уже не лгут, они видят поэзию.

Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась. — Я смеюсь, — сказала она, — как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет. То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу: Zola, Daudet. Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои conceptions ^ из выдуманных, условных фигур, а потом — все combinaisons ^ сделаны, выдуманные фигуры надоели, и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры. — Вот это совершенно верно! — сказал Воркуев. — Так вы были в клубе? — обратилась она к брату. «Да, да, вот женщина!» — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем опа говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии, ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая что-то. — Ну, да, впрочем, это никому не интересно, — сказала она и обратилась к англичанке: — Please, order the tea in the drawing-room ^ Девочка поднялась и вышла. — Ну что же, она выдержала экзамен? — спросил Степан Аркадьич. — Прекрасно. Очень способная девочка, и милый характер. — Кончится тем, что ты ее будешь любить больше своей. — Вот мужчина говорит. В любви нет больше и меньше. Люблю дочь одною любовью, ее — другою. — Я вот говорю Анне Аркадьевне, — сказал Воркуев, — что если б она положила одну сотую хоть той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую опа кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое, полезное дело. — Да вот что хотите, я не могла. Граф Алексей Кириллыч очень поощрял меня (произнося слова граф Алек' концепции (Франц.). ^ комбинации (Франц.). ^ Пожалуйста, прикажите подать чай в гостиной (англ.). 280

Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась.

— Я смеюсь,— сказала она,— как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет. То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу: Zola, Daudet. Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои conceptions [1] из выдуманных, условных фигур, а потом — все combinaisons [2] сделаны, выдуманные фигуры надоели, и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры.

— Вот это совершенно верно! — сказал Воркуев.

— Так вы были в клубе? — обратилась она к брату.

«Да, да, вот женщина!» — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии, ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая что-то.

— Ну, да, впрочем, это никому не интересно,— сказала она и обратилась к англичанке:

— Please, order the tea in the drawing-room [3].

Девочка поднялась и вышла.

— Ну что же, она выдержала экзамен? — спросил Степан Аркадьич.

— Прекрасно. Очень способная девочка, и милый характер.

— Кончится тем, что ты ее будешь любить больше своей.

— Вот мужчина говорит. В любви нет больше и меньше. Люблю дочь одною любовью, ее — другою.

— Я вот говорю Анне Аркадьевне,— сказал Воркуев,— что если б она положила одну сотую хоть той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое, полезное дело.

— Да вот что хотите, я не могла. Граф Алексей Кириллыч очень поощрял меня (произнося слова *граф Алек-*

---

[1] концепции *(франц.)*.

сей Кириллыч, она просительно-робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом) — поощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите — энергию. Энергия основана на любви. А любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем. И она опять взглянула на Левина. И улыбка и взгляд ее — все говорило ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга. — Я совершенно это понимаю,— отвечал Левин. — На школу и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердца, и от этого, думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов. Она помолчала, потом улыбнулась. — Да, да,— подтвердила она.— Я никогда не могла. Je п’ai pas le coeur assez large \ чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Cela ne m’a jamais réussi Столько есть женщин, которые из этого делают position sociale И теперь тем более, — сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, толькок Левину.— И теперь, когда мне так нужно какое-нибудь занятие, я не могу. — И, вдруг нахмурившись (Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя) , она переменила разговор. — Я знаю про вас, — сказала она Левину, — что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела. — Как же вы меня защищали? — Смотря по нападениям. Впрочем, не угодно ли чаю? — Она поднялась и взяла в руку переплетенную сафьянную книгу. — Дайте мне, Анна Аркадьевна,— сказал Воркуев, указывая на книгу. — Это очень стоит того. — О нет, это все так неотделано. — Я ему сказал, — обратился Степан Аркадьич к сестре, указывая на Левина. — Напрасно сделал. Мое писанье — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала, бывало, ^ У меня не настолько широкое сердце (франц.), ^ Это мне никогда не удавалось (франц.). ^ общественное положение (франц.). 281

сей Кириллыч, она просительно-робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом) — поощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите — энергию. Энергия основана на любви. А любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем.

И она опять взглянула на Левина. И улыбка и взгляд ее — все говорило ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга.

— Я совершенно это понимаю,— отвечал Левин.— На школу и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердца, и от этого, думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов.

Она помолчала, потом улыбнулась.

— Да, да,— подтвердила она.— Я никогда не могла. Je n'ai pas le coeur assez large [1], чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Cela ne m'a jamais réussi [2]. Столько есть женщин, которые из этого делают position sociale [3]. И теперь тем более, — сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину.— И теперь, когда мне так нужно какое-нибудь занятие, я не могу. — И, вдруг нахмурившись (Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя), она переменила разговор. — Я знаю про вас, — сказала она Левину, — что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела.

— Как же вы меня защищали?

— Смотря по нападениям. Впрочем, не угодно ли чаю? — Она поднялась и взяла в руку переплетенную сафьянную книгу.

— Дайте мне, Анна Аркадьевна,— сказал Воркуев, указывая на книгу.— Это очень стоит того.

— О нет, это все так неотделано.

— Я ему сказал,— обратился Степан Аркадьич к сестре, указывая на Левина.

— Напрасно сделал. Мое писанье — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала, бывало,

---

[1] У меня не настолько широкое сердце *(франц.)*.

Лиза Мерцалова из острогов. Она заведывала острогами в этом обществе, — обратилась она к Левину.— И эти несчастные делали чудеса терпения. И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, опа вздохнула, и лицо ее, вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лицо она была еще красивее, чем прежде; но это выражение было новое; оно было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним в высокие двери, и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Воркуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. «О разводе, о Вронском, о том, что он делает в клубе, обо мне?» — думал Левин. И его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Воркуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей. За чаем продолжался тот же приятный, полный содержания разговор. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскивать предмет для разговора, но, напротив, чувствовалось, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что ни говорили, не только она сама, но Воркуев, Степан Аркадьич,— все получило, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею — и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В одиннадцатом часу, когда Степан Аркадьич поднялся, чтоб уезжать (Воркуев еще раньше уехал), Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал. — ■ Прощайте, — сказала она ему, удерживая его за

Лиза Мерцалова из острогов. Она заведывала острогами в этом обществе,— обратилась она к Левину.— И эти несчастные делали чудеса терпения.

И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее, вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде; но это выражение было новое; оно было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним в высокие двери, и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого.

Она попросила Левина и Воркуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. «О разводе, о Вронском, о том, что он делает в клубе, обо мне?» — думал Левин. И его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Воркуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей.

За чаем продолжался тот же приятный, полный содержания разговор. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскивать предмет для разговора, но, напротив, чувствовалось, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что ни говорили, не только она сама, но Воркуев, Степан Аркадьич,— все получило, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение.

Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею — и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В одиннадцатом часу, когда Степан Аркадьич поднялся, чтоб уезжать (Воркуев еще раньше уехал), Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал.

руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. — • Я очень рада, que Ia glace est rompue K Она выпустила его руку и прищурилась. — Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее бог. — Непременно, да, я передам... — краснея, говорил Левин. XI «Какая удивительная, милая и жалкая женщина», — думал он, выходя со Степаном Аркадьичем на морозный воздух. — Ну, что? Я говорил тебе, — сказал ему Степан Аркадьич, видя, что Левин был совершенно побежден. — Да, — задумчиво отвечал Левин, — необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее! — Теперь, бог даст, скоро все устроится. Ну то-то, вперед не суди,— сказал Степан Аркадьич, отворяя дверцы кареты.— Прощай, нам не по дороге. Не переставая думать об Анне, о всех тех самых простых разговорах, которые были с нею, и вспоминая при этом все подробности выражения ее лица, все более и более входя в ее положение и чувствуя к ней жалость, Левин приехал домой. Дома Кузьма передал Левину, что Катерина Александровна здоровы, что недавно только уехали от них сестрицы, и подал два письма. Левин тут же, в передней, чтобы потом не развлекаться, прочел их. Одно было от Соколова, приказчика. Соколов писал, что пшеницу нельзя продать, дают только пять с половиной рублей, а денег больше взять неоткудова. Другое письмо было от сестры. Она упрекала его за то, что дело ее все еще не было сделано. «Ну, продадим за пять с полтиной, коли не дают больше», — тотчас же с необыкновенною легкостью решил Левин первый вопрос, прежде казавшийся ему столь трудным. «Удивительно, как здесь все время занято», — поду^ что лед сломан (франц.). 283

руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. — Я очень рада, que la glace est rompue [1].

Она выпустила его руку и прищурилась.

— Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее бог.

— Непременно, да, я передам...— краснея, говорил Левин.

XI

«Какая удивительная, милая и жалкая женщина»,— думал он, выходя со Степаном Аркадьичем на морозный воздух.

— Ну, что? Я говорил тебе,— сказал ему Степан Аркадьич, видя, что Левин был совершенно побежден.

— Да,— задумчиво отвечал Левин,— необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!

— Теперь, бог даст, скоро все устроится. Ну то-то, вперед не суди,— сказал Степан Аркадьич, отворяя дверцы кареты.— Прощай, нам не по дороге.

Не переставая думать об Анне, о всех тех самых простых разговорах, которые были с нею, и вспоминая при этом все подробности выражения ее лица, все более и более входя в ее положение и чувствуя к ней жалость, Левин приехал домой.

Дома Кузьма передал Левину, что Катерина Александровна здоровы, что недавно только уехали от них сестрицы, и подал два письма. Левин тут же, в передней, чтобы потом не развлекаться, прочел их. Одно было от Соколова, приказчика. Соколов писал, что пшеницу нельзя продать, дают только пять с половиной рублей, а денег больше взять неоткудова. Другое письмо было от сестры. Она упрекала его за то, что дело ее все еще не было сделано.

«Ну, продадим за пять с полтиной, коли не дают больше», — тотчас же с необыкновенною легкостью решил Левин первый вопрос, прежде казавшийся ему столь трудным. «Удивительно, как здесь все время занято»,— поду-

мал он о втором письме. Он чувствовал себя виноватым пред сестрой за то, что до сих пор не сделал того, о чем она просила его. «Нынче опять не поехал в суд, но нынче уж точно было некогда». И, решив, что он это непременно сделает завтра, пошел к жене. Идя к ней, Левин воспоминанием быстро пробежал весь проведенный день. Все события дня были разговоры: разговоры, которые он слушал и в которых участвовал. Все разговоры были о таких предметах, которыми он, если бы был один и в деревне, никогда бы не занялся, а здесь они были очень интересны. И все разговоры были хорошие; только в двух местах было не совсем хорошо. Одно то, что он сказал про ш,уку, другое — что было что-то не то в нежной жалости, которую он испытывал к Анне. Левин застал жену грустною и скучающею. Обед трех сестер удался бы очень весело, но потом его ждали, ждали, всем стало скучно, сестры разъехались, и она осталась одна. — Ну, а ты что делал? — спросила она, глядя ему в глаза, что-то особенно подозрительно блестевшие. Но, чтобы не помешать ему все рассказать, она скрыла свое внимание и с одобрительною улыбкой слушала его рассказ о том, как он провел вечер. — Ну, я очень рад был, что встретил Вронского. Мпе очень легко и просто было с ним. Понимаешь, теперь я постараюсь никогда не видаться с ним, но чтоб эта неловкость была кончена, — сказал он, и, вспомнив, что он, стараясь никогда не видаться, тотчас же поехал к Анне, он покраснел. — Вот мы говорим, что народ пьет; не знаю, кто больше пьет, народ или наше сословие; народ хоть в праздник, ко... Но Кити неинтересно было рассуждение о том, как пьет народ. Она видела, что он покраснел, и желала знать, почему. — Ну, потом где ж ты был? — Стива ужасно упрашивал меня поехать к Анне Аркадьевне. И, сказав это, Левин покраснел еще больше, и сомнения его о том, хорошо ли, или дурно он сделал, поехав к Анне, были окончательно разрешены. Он знал теперь, что этого не надо было делать. Глаза Кити особенно раскрылись и блеснули при имени Анны, но, сделав усилие над собой, она скрыла свое волнение и обманула его. 284

мал он о втором письме. Он чувствовал себя виноватым пред сестрой за то, что до сих пор не сделал того, о чем она просила его. «Нынче опять не поехал в суд, но нынче уж точно было некогда». И, решив, что он это непременно сделает завтра, пошел к жене. Идя к ней, Левин воспоминанием быстро пробежал весь проведенный день. Все события дня были разговоры: разговоры, которые он слушал и в которых участвовал. Все разговоры были о таких предметах, которыми он, если бы был один и в деревне, никогда бы не занялся, а здесь они были очень интересны. И все разговоры были хорошие; только в двух местах было не совсем хорошо. Одно то, что́ он сказал про щуку, другое — что было что-то *не то* в нежной жалости, которую он испытывал к Анне.

Левин застал жену грустною и скучающею. Обед трех сестер удался бы очень весело, но потом его ждали, ждали, всем стало скучно, сестры разъехались, и она осталась одна.

— Ну, а ты что делал? — спросила она, глядя ему в глаза, что-то особенно подозрительно блестевшие. Но, чтобы не помешать ему все рассказать, она скрыла свое внимание и с одобрительною улыбкой слушала его рассказ о том, как он провел вечер.

— Ну, я очень рад был, что встретил Вронского. Мне очень легко и просто было с ним. Понимаешь, теперь я постараюсь никогда не видаться с ним, но чтоб эта неловкость была кончена,— сказал он, и, вспомнив, что он, *стараясь никогда не видаться,* тотчас же поехал к Анне, он покраснел.— Вот мы говорим, что народ пьет; не знаю, кто больше пьет, народ или наше сословие; народ хоть в праздник, но...

Но Кити неинтересно было рассуждение о том, как пьет народ. Она видела, что он покраснел, и желала знать, почему.

— Ну, потом где ж ты был?

— Стива ужасно упрашивал меня поехать к Анне Аркадьевне.

И, сказав это, Левин покраснел еще больше, и сомнения его о том, хорошо ли, или дурно он сделал, поехав к Анне, были окончательно разрешены. Он знал теперь, что этого не надо было делать.

Глаза Кити особенно раскрылись и блеснули при имени Анны, но, сделав усилие над собой, она скрыла свое

— А! -г- только сказала она. — Ты, верно, не будешь сердиться, что я поехал. Стива просил, и Долли л^елала этого,— продолжал Левин. — О нет,— сказала она, но в глазах ее он видел усилие над собой, не обеш,авшее ему ничего доброго. — Она очень милая, очень, очень жалкая, хорошая Лхенщина,— говорил он, рассказывая про Анну, ее занятия и про то, что она велела сказать. — Да, разумеется, она очень л^алкая,— сказала Кити, когда он кончил. — От кого ты письмо получил? Он сказал ей и, поверив ее спокойному тону, пошел раздеваться. Вернувшись, он застал Кити на том же кресле. Когда он подошел к ней, она взглянула на него и зарыдала. — Что? что? — спрашивал он, уж зная вперед, что. — Ты влюбился в эту гадкую женш,ину, она обворолшла тебя. Я видела по твоим глазам. Да, да! Что ж может выйти из этого? Ты в клубе пил, пил, играл и потом поехал... к кому? Нет, уедем... Завтра я уеду. Долго Левин не мог успокоить л^ену. Наконец он успокоил ее, только признавшись, что чувство л^алости в соединении с вином сбили его и он поддался хитрому влиянию Анны и что он будет избегать ее. Одно, в чем он искреннее всего признавался, было то, что, живя так долго в Москве, за одними разговорами, едой и питьем, он ошалел. Они проговорили до трех часов ночи. Только в три часа они настолько примирились, что могли заснуть. XII Проводив гостей, Анна, не садясь, стала ходить взад, и вперед по комнате. Хотя она бессознательно (как она действовала в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам) целый вечер делала все возможное для того, чтобы возбудить в Левине чувство любви к себе, и хотя она знала, что она достигла этого, насколько это возможно в отношении к женатому честному человеку и в один вечер, и хотя он очень понравился ей (несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчины, между Вронским и Левиным, она, как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского и Левина), как только он вышел из комнаты, она перестала думать о нем. 285

— А! — только сказала она.

— Ты, верно, не будешь сердиться, что я поехал. Стива просил, и Долли желала этого,— продолжал Левин.

— О нет,— сказала она, но в глазах ее он видел усилие над собой, не обещавшее ему ничего доброго.

— Она очень милая, очень, очень жалкая, хорошая женщина,— говорил он, рассказывая про Анну, ее занятия и про то, что она велела сказать.

— Да, разумеется, она очень жалкая,— сказала Кити, когда он кончил.— От кого ты письмо получил?

Он сказал ей и, поверив ее спокойному тону, пошел раздеваться.

Вернувшись, он застал Кити на том же кресле. Когда он подошел к ней, она взглянула на него и зарыдала.

— Что? что? — спрашивал он, уж зная вперед, *что*.

— Ты влюбился в эту гадкую женщину, она обворожила тебя. Я видела по твоим глазам. Да, да! Что ж может выйти из этого? Ты в клубе пил, пил, играл и потом поехал... к кому? Нет, уедем... Завтра я уеду.

Долго Левин не мог успокоить жену. Наконец он успокоил ее, только признавшись, что чувство жалости в соединении с вином сбили его и он поддался хитрому влиянию Анны и что он будет избегать ее. Одно, в чем он искреннее всего признавался, было то, что, живя так долго в Москве, за одними разговорами, едой и питьем, он ошалел. Они проговорили до трех часов ночи. Только в три часа они настолько примирились, что могли заснуть.

XII

Проводив гостей, Анна, не садясь, стала ходить взад и вперед по комнате. Хотя она бессознательно (как она действовала в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам) целый вечер делала все возможное для того, чтобы возбудить в Левине чувство любви к себе, и хотя она знала, что она достигла этого, насколько это возможно в отношении к женатому честному человеку и в один вечер, и хотя он очень понравился ей (несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчины, между Вронским и Левиным, она, как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского и Ле-

Одна и одна мысль неотвязно в разных видах преследовала ее. «Если я так действую на других, на этого семейного, любящего человека, отчего же он так холоден ко мне?., и не то что холоден, он любит меня, я это знаю. Но что-то новое теперь разделяет нас. Отчего нет его целый вечер? Он велел сказать со Стивой, что не может оставить Яшвина и должен следить за его игрой. Что за дитя ЯшЕип? Но положим, что это правда. Он никогда не говорит неправды. Но в этой правде есть другое. Он рад случаю показать мне, что у него есть другие обязанности. Я это знаю, я с этим согласна. Но зачем доказывать мне это? Он хочет доказать мне, что его любовь ко мне не должна мешать его свободе. Но мне не нужны доказательства, мне нужна любовь. Он бы должен был попять всю тяжесть этой жизни моей здесь, в Москве. Разве я живу? Я не живу, а ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается. Ответа опять нетi И Стива говорит, что он не может ехать к Алексею Александровичу. А я не могу писать еще. Я ничего не могу делать, ничего начинать, ничего изменять, я сдерживаю себя, жду, выдумывая себе забавы — семейство англичанина, писание, чтение, но все это только обман, все это тот я^е морфин. Он бы должен пожалеть меня», — говорила она, чувствуя, как слезы ятлости о себе выступают ей на глаза. Она услыхала порывистый звонок Вронского и поспешно утерла эти слезы, и не только утерла слезы, но села к лампе и развернула книгу, притворившись спокойною. Надо было показать ему, что она недовольна тем, что он не вернулся, как обещал, только недовольна, но никак не показывать ему своего горя и, главное, жалости о себе. Ей можно было жалеть о себе, но не ему о ней. Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положение борьбы. — Ну, ты не скучала? — сказал он, оживленно и весело подходя к ней. — Что за страшная страсть — игра! — ■ Нет, я не скучала и давно уж выучилась не скучать. Стива был и Левин. — Да, они хотели к тебе ехать. Ну, как тебе понравился Левин? — сказал он, садясь подле нее. — Очень. Они недавно уехали. Что же сделал Яшвин? — Был в выигрыше, семнадцать тысяч. Я его звал. Он совсем было уж поехал. Но вернулся опять и теперь в проигрыше. 286

Одна и одна мысль неотвязно в разных видах преследовала ее. «Если я так действую на других, на этого семейного, любящего человека, отчего же *он* так холоден ко мне?.. и не то что холоден, он любит меня, я это знаю. Но что-то новое теперь разделяет нас. Отчего нет его целый вечер? Он велел сказать со Стивой, что не может оставить Яшвина и должен следить за его игрой. Что за дитя Яшвин? Но положим, что это правда. Он никогда не говорит неправды. Но в этой правде есть другое. Он рад случаю показать мне, что у него есть другие обязанности. Я это знаю, я с этим согласна. Но зачем доказывать мне это? Он хочет доказать мне, что его любовь ко мне не должна мешать его свободе. Но мне не нужны доказательства, мне нужна любовь. Он бы должен был понять всю тяжесть этой жизни моей здесь, в Москве. Разве я живу? Я не живу, а ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается. Ответа опять нет! И Стива говорит, что он не может ехать к Алексею Александровичу. А я не могу писать еще. Я ничего не могу делать, ничего начинать, ничего изменять, я сдерживаю себя, жду, выдумывая себе забавы — семейство англичанина, писание, чтение, но все это только обман, все это тот же морфин. Он бы должен пожалеть меня»,— говорила она, чувствуя, как слезы жалости о себе выступают ей на глаза.

Она услыхала порывистый звонок Вронского и поспешно утерла эти слезы, и не только утерла слезы, но села к лампе и развернула книгу, притворившись спокойною. Надо было показать ему, что она недовольна тем, что он не вернулся, как обещал, только недовольна, но никак не показывать ему своего горя и, главное, жалости о себе. Ей можно было жалеть о себе, но не ему о ней. Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положение борьбы.

— Ну, ты не скучала? — сказал он, оживленно и весело подходя к ней.— Что за страшная страсть — игра!

— Нет, я не скучала и давно уж выучилась не скучать. Стива был и Левин.

— Да, они хотели к тебе ехать. Ну, как тебе понравился Левин? — сказал он, садясь подле нее.

— Очень. Они недавно уехали. Что же сделал Яшвин?

— Был в выигрыше, семнадцать тысяч. Я его звал. Он совсем было уж поехал. Но вернулся опять и теперь

— Так для чего же ты оставался? — спросила она, вдруг подняв на него глаза. Выражение ее лица было холодное и неприязненное. — Ты сказал Стиве, что останешься, чтоб увезти Яшвина. А ты оставил же его. То же выражение холодной готовности к борьбе выразилось и на его лице. — Во-первых, я его ничего не просил передавать тебе, во-вторых, я никогда не говорю неправды. А главное, я хотел остаться и остался, — сказал он, хмурясь. — Анна, зачем, зачем? — сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в нее свою. Она была рада этому вызову к нежности. Но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться. — Разумеется, ты хотел остаться и остался. Ты делаешь все, что ты хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? — говорила она, все более разгорячаясь. — Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть правым, и будь прав. Рука его закрылась, он отклонился, и лицо его приняло еще более, чем прежде, упорное выражение. — Для тебя это дело упрямства,— сказала она, пристально поглядев на него и вдруг найдя название этому раздражавшему ее выражению лица,— именно упрямства. Для тебя вопрос, останешься ли ты победителем со мной, а для меня...— Опять ей стало жалко себя, и она чуть не заплакала.— Если бы ты знал, в чем для меня дело! Когда я чувствую, как теперь, что ты враждебно, именно враждебно относишься ко мне, если бы ты знал, что это для меня значит! Если бы ты знал, как я близка к несчастию в эти минуты, как я боюсь, боюсь себя! — И она отвернулась, скрывая рыдания. — Да о чем мы? — сказал он, ужаснувшись пред выражением ее отчаянья и опять перегнувшись к ней и взяв ее руку и целуя ее.— За что? Разве я ищу развлечения вне дома? Разве я не избегаю общества женщин? — Еще бы! — сказала она. — Ну, скажи, что я должен делать, чтобы ты была покойна? Я все готов сделать для того, чтобы ты была счастлива, — говорил он, тронутый ее отчаянием, — чего же я не сделаю, чтоб избавить тебя от горя какого-то, как теперь, Анна! — сказал он. 287

— Так для чего же ты оставался? — спросила она, вдруг подняв на него глаза. Выражение ее лица было холодное и неприязненное.— Ты сказал Стиве, что останешься, чтоб увезти Яшвина. А ты оставил же его.

То же выражение холодной готовности к борьбе выразилось и на его лице.

— Во-первых, я его ничего не просил передавать тебе, во-вторых, я никогда не говорю неправды. А главное, я хотел остаться и остался,— сказал он, хмурясь.— Анна, зачем, зачем? — сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в нее свою.

Она была рада этому вызову к нежности. Но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться.

— Разумеется, ты хотел остаться и остался. Ты делаешь все, что ты хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? — говорила она, все более разгорячаясь.— Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть правым, и будь прав.

Рука его закрылась, он отклонился, и лицо его приняло еще более, чем прежде, упорное выражение.

— Для тебя это дело упрямства,— сказала она, пристально поглядев на него и вдруг найдя название этому раздражавшему ее выражению лица,— именно упрямства. Для тебя вопрос, останешься ли ты победителем со мной, а для меня...— Опять ей стало жалко себя, и она чуть не заплакала.— Если бы ты знал, в чем для меня дело! Когда я чувствую, как теперь, что ты враждебно, именно враждебно относишься ко мне, если бы ты знал, что это для меня значит! Если бы ты знал, как я близка к несчастию в эти минуты, как я боюсь, боюсь себя! — И она отвернулась, скрывая рыдания.

— Да о чем мы? — сказал он, ужаснувшись пред выражением ее отчаянья и опять перегнувшись к ней и взяв ее руку и целуя ее.— За что? Разве я ищу развлечения вне дома? Разве я не избегаю общества женщин?

— Еще бы! — сказала она.

— Ну, скажи, что я должен делать, чтобы ты была покойна? Я все готов сделать для того, чтобы ты была счастлива,— говорил он, тронутый ее отчаянием,— чего

— Ничего, ничего! — - сказала она.— Я сама не знаю: одинокая ли жизнь, нервы... Ну, не будем говорить. Что ж бега? ты мне не рассказал, — спросила она, стараясь скрыть торжество победы, которая все-таки была на ее стороне. Он спросил ужинать и стал рассказывать ей подробности бегов; но в тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно: «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя», — поняла, что оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца. XIII Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающше его живут так же. Левин не поверил бы три месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он был нынче; чтобы, живя бесцельною, бестолковою жизнию, притом жизнию сверх средств, после пьянства (иначе он не мог назвать того, что было в клубе), нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать, как потерянною, и после увлечения своего этою женщиной и огорчения жены — чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В пять часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подло него. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги. — Что?., что? — проговорил он спросонья. — Кити! Что? — Ничего, — сказала она, со свечой в руке выходя изза перегородки. — Ничего. Мне нездоровилось,— сказала она, улыбаясь особенно милою и значительною улыбкой. 288

— Ничего, ничего! — сказала она.— Я сама не знаю: одинокая ли жизнь, нервы... Ну, не будем говорить. Что ж бега? ты мне не рассказал,— спросила она, стараясь скрыть торжество победы, которая все-таки была на ее стороне.

Он спросил ужинать и стал рассказывать ей подробности бегов; но в тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно: «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя»,— поняла, что оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца.

XIII

Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что *все* окружающие его живут так же. Левин не поверил бы три месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он был нынче; чтобы, живя бесцельною, бестолковою жизнию, притом жизнию сверх средств, после пьянства (иначе он не мог назвать того, что было в клубе), нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать, как потерянною, и после увлечения своего этою женщиной и огорчения жены — чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно.

В пять часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги.

— Что?.. что? — проговорил он спросонья.— Кити! Что?

— Ничего,— сказала она, со свечой в руке выходя из-за перегородки.— Ничего. Мне нездоровилось,— сказала

— Что? началось, началось? — испуганно проговорил он. — Надо послать, — и он торопливо стал одеваться. — Нет, нет, — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой.— Наверное, ничего. Мне нездоровилось только немного. Но теперь прошло. И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишина ее как будто сдерживаемого дыханья и более всего выражение особенной нежности и возбужденности, с которою она, выходя из-за перегородки, сказала ему «ничего», ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыханья и понял все, что происходило в ее дорогой милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В семь часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним. — Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется... Надо послать за Лизаветой Петровной. Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязанье, которым она занималась последние дни. — Пожалуйста, не пугайся, ничего. Я не боюсь нисколько, — увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам. Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но он не мог оторваться от ее взгляда. Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда, но он никогда не видал ее такою. Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее, пред нею, какою она была теперь! Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью. Как ни мало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажалось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее. Она, улыбаясь, смотрела на него; но вдруг бровь ее дрогнула, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. 10 л, Н. Толстой, т. 9 289

— Что? началось, началось? — испуганно проговорил он.— Надо послать,— и он торопливо стал одеваться.

— Нет, нет, — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой.— Наверное, ничего. Мне нездоровилось только немного. Но теперь прошло.

И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишина ее как будто сдерживаемого дыханья и более всего выражение особенной нежности и возбужденности, с которою она, выходя из-за перегородки, сказала ему «ничего», ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыханья и понял все, что происходило в ее дорогой милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В семь часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним.

— Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется... Надо послать за Лизаветой Петровной.

Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязанье, которым она занималась последние дни.

— Пожалуйста, не пугайся, ничего. Я не боюсь нисколько, — увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам.

Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но он не мог оторваться от ее взгляда. Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда, но он никогда не видал ее такою. Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее, пред нею, какою она была теперь! Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью.

Как ни мало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажалось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее. Она, улыбаясь, смотрела на него; но вдруг бровь ее дрогнула, она подняла

Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страданья. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания. «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. Хоть и нет виновника, то нельзя ли просто помочь ей, избавить ее, но и этого нельзя было, не нужно было. Она страдала, жаловалась, и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их. Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что? — он не мог понять. Это было выше его понимания. — Я послала к мама. А ты поезжай скорей за Лизаветой Петровной... Костя!.. Ничего, прошло. Она отошла от него и позвонила. — Ну, вот иди теперь, Паша идет. Мне ничего. И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязанье, которое она принесла ночью, и опять стала вязать. В то время как Левин выходил в одну дверь, он слышал, как в другую входила девушка. Он остановился у двери и слышал, как Кити отдавала подробные приказания девушке и сама с нею стала передвигать кровать. Он оделся и, пока закладывали лошадей, так как извозчиков еш;е не было, опять вбежал в спальню и не на цыпочках, а на крыльях, как ему казалось. Две девушки озабоченно перестанавливали что-то в спальне. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась. — Я сейчас еду к доктору. За Лизаветой Петровной поехали, но я еще заеду. Не нужно ли что? Да, к Долли? Она посмотрела на него, очевидно не слушая того, что он говорил. — Да, да. Иди, иди,— быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой. Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный, тотчас же затихший стон раздался из спальни. Он остановился и долго не мог понять. «Да, это она», — сказал он сам себе и, схватившись за голову, побежал вниз. — Господи, помилуй! прости, помоги! — твердил он как-то вдруг неожиданно пришедшие на уста ему слова. И он, неверующий человек, повторял эти слова не одними устами. Теперь, в эту минуту, он знал, что все не только 290

Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страданья. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания. «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. Хоть и нет виновника, то нельзя ли просто помочь ей, избавить ее, но и этого нельзя было, не нужно было. Она страдала, жаловалась, и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их. Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что? — он не мог понять. Это было выше его понимания.

— Я послала к мама. А ты поезжай скорей за Лизаветой Петровной... Костя!.. Ничего, прошло.

Она отошла от него и позвонила.

— Ну, вот иди теперь, Паша идет. Мне ничего.

И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязанье, которое она принесла ночью, и опять стала вязать.

В то время как Левин выходил в одну дверь, он слышал, как в другую входила девушка. Он остановился у двери и слышал, как Кити отдавала подробные приказания девушке и сама с нею стала передвигать кровать.

Он оделся и, пока закладывали лошадей, так как извозчиков еще не было, опять вбежал в спальню и не на цыпочках, а на крыльях, как ему казалось. Две девушки озабоченно перестанавливали что-то в спальне. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась.

— Я сейчас еду к доктору. За Лизаветой Петровной поехали, но я еще заеду. Не нужно ли что? Да, к Долли?

Она посмотрела на него, очевидно не слушая того, что он говорил.

— Да, да. Иди, иди,— быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой.

Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный, тотчас же затихший стон раздался из спальни. Он остановился и долго не мог понять.

«Да, это она»,— сказал он сам себе и, схватившись за голову, побежал вниз.

— Господи, помилуй! прости, помоги! — твердил он как-то вдруг неожиданно пришедшие на уста ему слова. И он, неверующий человек, повторял эти слова не одними

сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к тому, в чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь? Лошадь не была еще готова, но, чувствуя в себе особенное напряжение и физических сил и внимания к тому, что предстояло делать, чтобы не потерять ни одной минуты, он, не дожидаясь лошади, вышел пешком и приказал Кузьме догонять себя. На углу он встретил спешившего ночного извозчика. На маленьких санках, в бархатном салопе, повязанная платком, сидела Лизавета Петровна. «Слава богу, слава богу!» — проговорил он, с восторгом узнав ее, теперь имевшее особенно серьезное, даже строгое выражение, маленькое белокурое лицо. Не приказывая останавливаться извозчику, он побежал назад рядом с нею. — Так часа два. Не больше, — сказала она. — Вы застанете Петра Дмитрича, только не торопите его. Да возьмите опиуму в аптеке. — Так вы думаете, что может быть благополучно? Господи, прости и помоги! — проговорил Левин, увидав свою выезжавшую из ворот лошадь. Вскочив в сани рядом с Кузьмой, он велел ехать к доктору. XIV Доктор еще не вставал, и лакей сказал, что «поздно легли и не приказали будить, а встанут скоро». Лакей чистил ламповые стекла и казался очень занят этим. Эта внимательность лакея к стеклам и равнодушие к совершавшемуся у Левина сначала изумили его, но тотчас, одумавшись, он понял, что никто не знает и не обязан знать его чувств и что тем более надо действовать спокойно, обдуманно и решительно, чтобы пробить эту стену равнодушия и достигнуть своей цели. «Не торопиться и ничего не упускать», — говорил себе Левин, чувствуя все больший и больший подъем физических сил и внимания ко всему тому, что предстояло сделать. Узнав, что доктор еще не вставал, Левин из разных планов, представлявшихся ему, остановился на следующем: Кузьме ехать с запиской к другому доктору, а са10* 291

сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к тому, в чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?

Лошадь не была еще готова, но, чувствуя в себе особенное напряжение и физических сил и внимания к тому, что предстояло делать, чтобы не потерять ни одной минуты, он, не дожидаясь лошади, вышел пешком и приказал Кузьме догонять себя.

На углу он встретил спешившего ночного извозчика. На маленьких санках, в бархатном салопе, повязанная платком, сидела Лизавета Петровна. «Слава богу, слава богу!» — проговорил он, с восторгом узнав ее, теперь имевшее особенно серьезное, даже строгое выражение, маленькое белокурое лицо. Не приказывая останавливаться извозчику, он побежал назад рядом с нею.

— Так часа два. Не больше, — сказала она. — Вы застанете Петра Дмитрича, только не торопите его. Да возьмите опиуму в аптеке.

— Так вы думаете, что может быть благополучно? Господи, прости и помоги! — проговорил Левин, увидав свою выезжавшую из ворот лошадь. Вскочив в сани рядом с Кузьмой, он велел ехать к доктору.

XIV

Доктор еще не вставал, и лакей сказал, что «поздно легли и не приказали будить, а встанут скоро». Лакей чистил ламповые стекла и казался очень занят этим. Эта внимательность лакея к стеклам и равнодушие к совершавшемуся у Левина сначала изумили его, но тотчас, одумавшись, он понял, что никто не знает и не обязан знать его чувств и что тем более надо действовать спокойно, обдуманно и решительно, чтобы пробить эту стену равнодушия и достигнуть своей цели. «Не торопиться и ничего не упускать»,— говорил себе Левин, чувствуя все больший и больший подъем физических сил и внимания ко всему тому, что предстояло сделать.

Узнав, что доктор еще не вставал, Левин из разных планов, представлявшихся ему, остановился на самом

мому ехать в аптеку за опиумом, а если, когда он вернется, доктор еще не встанет, то, подкупив лакея или насильно, если тот не согласится, будить доктора во что бы то ни стало. В аптеке худощавый провизор с тем же равнодушием, с каким лакей чистил стекла, печатал облаткой порошки для дожидавшегося кучера и отказал в опиуме. Стараясь не торопиться и не горячиться, назвав имена доктора и акушерки и объяснив, для чего нужен опиум, Левин стал убеждать его. Провизор спросил по-немецки совета, отпустить ли, и, получив из-за перегородки согласие, достал пузырек, воронку, медленно отлил из большого в маленький, наклеил ярлычок, запечатал, несмотря на просьбы Левина не делать этого, и хотел еще завертывать. Этого Левин уже не мог выдержать; он решительно вырвал у него из рук пузырек и побежал в большие стеклянные двери. Доктор не вставал еще, и лакей, занятый теперь постилкой ковра, отказался будить. Левин не торопясь достал десятирублевую бумажку и, медленно выговаривая слова, но и не теряя времени, подал ему бумажку и объяснил, что Петр Дмитрич (как велик и значителен казался теперь Левину прежде столь неважный Петр Дмитрич!) обещал быть во всякое время, что он, наверно, не рассердится, и потому чтобы он будил сейчас. Лакей согласился, пошел наверх и попросил Левина в приемную. Левину слышно было за дверью, как кашлял, ходил, мылся и что-то говорил доктор. Прошло минуты три; Левину казалось, что прошло больше часа. Он не мог более дожидаться. — Петр Дмитрич, Петр Дмитрич! — умоляющим голосом заговорил он в отворенную дверь. — Ради бога, простите меня. Примите меня, как есть. Уже два часа. — Сейчас, сейчас! — отвечал голос, и Левин с изумлением слышал, что доктор говорил это улыбаясь. — На одну минутку... — Сейчас. Прошло еще две минуты, пока доктор надевал сапоги, и еще две минуты, пока доктор надевал платье и чесал голову. — Петр Дмитрич! — жалостным голосом начал было опять Левин, но в это время вышел доктор, одетый и причесанный. «Нет совести в этих людях, — подумал Левин. — Чесаться, пока мы погибаем!» 292

мому ехать в аптеку за опиумом, а если, когда он вернется, доктор еще не встанет, то, подкупив лакея или насильно, если тот не согласится, будить доктора во что бы то ни стало.

В аптеке худощавый провизор с тем же равнодушием, с каким лакей чистил стекла, печатал облаткой порошки для дожидавшегося кучера и отказал в опиуме. Стараясь не торопиться и не горячиться, назвав имена доктора и акушерки и объяснив, для чего нужен опиум, Левин стал убеждать его. Провизор спросил по-немецки совета, отпустить ли, и, получив из-за перегородки согласие, достал пузырек, воронку, медленно отлил из большого в маленький, наклеил ярлычок, запечатал, несмотря на просьбы Левина не делать этого, и хотел еще завертывать. Этого Левин уже не мог выдержать; он решительно вырвал у него из рук пузырек и побежал в большие стеклянные двери. Доктор не вставал еще, и лакей, занятый теперь постилкой ковра, отказался будить. Левин не торопясь достал десятирублевую бумажку и, медленно выговаривая слова, но и не теряя времени, подал ему бумажку и объяснил, что Петр Дмитрич (как велик и значителен казался теперь Левину прежде столь неважный Петр Дмитрич!) обещал быть во всякое время, что он, наверно, не рассердится, и потому чтобы он будил сейчас.

Лакей согласился, пошел наверх и попросил Левина в приемную.

Левину слышно было за дверью, как кашлял, ходил, мылся и что-то говорил доктор. Прошло минуты три; Левину казалось, что прошло больше часа. Он не мог более дожидаться.

— Петр Дмитрич, Петр Дмитрич! — умоляющим голосом заговорил он в отворенную дверь.— Ради бога, простите меня. Примите меня, как есть. Уже два часа.

— Сейчас, сейчас! — отвечал голос, и Левин с изумлением слышал, что доктор говорил это улыбаясь.

— На одну минутку...

— Сейчас.

Прошло еще две минуты, пока доктор надевал сапоги, и еще две минуты, пока доктор надевал платье и чесал голову.

— Петр Дмитрич! — жалостным голосом начал было опять Левин, но в это время вышел доктор, одетый и причесанный. «Нет совести в этих людях,— подумал

— Доброе утро! — подавая ему руку и точно дразня его своим спокойствием, сказал ему доктор. — Не торопитесь. Ну-с? Стараясь как можно быть обстоятельнее, Левин начал рассказывать все ненужные подробности о положении жены, беспрестанно перебивая свой рассказ просьбами о том, чтобы доктор сейчас я^е с ним поехал. — Да вы не торопитесь. Ведь вы знаете, я и не нужен, наверное, но я обещал и, пожалуй, приеду. Но спеху нет. Вы садитесь, пожалуйста. Не угодно ли кофею? Левин посмотрел на него, спраінивая взглядом, смеется ли он над ним. Но доктор и не думал смеяться. — Знаю-с, знаю,— сказал доктор, улыбаясь,— я сам семейный человек; но мы, муя^ья, в эти минуты самые жалкие люди. У меня есть пациентка, так ее муя^ при этом всегда убегает в конюшню. — Но как вы думаете, Петр Дмитрия? Вы думаете, что может быть благополучно? — Все данные за благополучный исход. — Так вы сейчас приедете? — сказал Левин, со злобой глядя на слугу, вносившего кофей. — Через часик. — Нет, ради бога! — Ну, так дайте кофею напьюсь. Доктор взялся за кофей. Оба помолчали. — Однако турок-то бьют решительно. Вы читали вчерашнюю телеграмму? — сказал доктор, пережевывая булку. — Нет, я не могу! — сказал Левин, вскакивая.— Так через четверть часа вы будете? — Через полчаса. — Честное слово? Когда Левин вернулся домой, он съехался с княгиней, и они вместе подошли к двери спальни. У княгини были слезы на глазах, и руки ее дрожали. Увидав Левина, она обняла его и заплакала. — Ну что, душенька Лизавета Петровна, — сказала опа, хватая за руку вышедшую им навстречу с сияющим и озабоченным лицом Лизавету Петровну. — Идет хорошо, — сказала она, — уговорите ее лечь. Легче будет. С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все свои мысли и чувства. 293

— Доброе утро! — подавая ему руку и точно дразня его своим спокойствием, сказал ему доктор.— Не торопитесь. Ну-с?

Стараясь как можно быть обстоятельнее, Левин начал рассказывать все ненужные подробности о положении жены, беспрестанно перебивая свой рассказ просьбами о том, чтобы доктор сейчас же с ним поехал.

— Да вы не торопитесь. Ведь вы знаете, я и не нужен, наверное, но я обещал и, пожалуй, приеду. Но спеху нет. Вы садитесь, пожалуйста. Не угодно ли кофею?

Левин посмотрел на него, спрашивая взглядом, смеется ли он над ним. Но доктор и не думал смеяться.

— Знаю-с, знаю,— сказал доктор, улыбаясь,— я сам семейный человек; но мы, мужья, в эти минуты самые жалкие люди. У меня есть пациентка, так ее муж при этом всегда убегает в конюшню.

— Но как вы думаете, Петр Дмитрич? Вы думаете, что может быть благополучно?

— Все данные за благополучный исход.

— Так вы сейчас приедете? — сказал Левин, со злобой глядя на слугу, вносившего кофей.

— Через часик.

— Нет, ради бога!

— Ну, так дайте кофею напьюсь.

Доктор взялся за кофей. Оба помолчали.

— Однако турок-то бьют решительно. Вы читали вчерашнюю телеграмму? — сказал доктор, пережевывая булку.

— Нет, я не могу! — сказал Левин, вскакивая.— Так через четверть часа вы будете?

— Через полчаса.

— Честное слово?

Когда Левин вернулся домой, он съехался с княгиней, и они вместе подошли к двери спальни. У княгини были слезы на глазах, и руки ее дрожали. Увидав Левина, она обняла его и заплакала.

— Ну что, душенька Лизавета Петровна,— сказала она, хватая за руку вышедшую им навстречу с сияющим и озабоченным лицом Лизавету Петровну.

— Идет хорошо,— сказала она,— уговорите ее лечь. Легче будет.

С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин [illegible]

твердо, не расстраивая жену, а, напротив, успокоивая II поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять, и ему это казалось возможно. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости и помоги», вздыхать и поднимать голову кверху; и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было. А прошел только час. Но после этого часа прошел еще час, два, три, все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все то же; и он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что сердце его вот-вот сейчас разорвется от сострадания. Но проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более. Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина. Он потерял сознание времени. То минуты, — те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенною силой, то отталкивающую его руку, — казались ему часами, то часы казались ему минутами. Он был удивлен, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами и он узнал, что было уже пять часов вечера. Если б ему сказали, что теперь только десять часов утра, он так же мало был бы удивлен. Где он был в это время, он так же мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню, красную, напряженную, с распустившимися буклями седых волос и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы, видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы, и Лизавету Петровну, с твердым, решительным и успокаивающим лицом, и старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом. Но как они приходили и выходили, где они были, он не знал. Княгиня была то с доктором в спальне, то в кабинете, где очутился накрытый стол; то не она была, а была Долли. Потом Левин помнил, что его 294

твердо, не расстраивая жену, а, напротив, успокоивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять, и ему это казалось возможно. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости и помоги», вздыхать и поднимать голову кверху; и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было. А прошел только час.

Но после этого часа прошел еще час, два, три, все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все то же; и он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что сердце его вот-вот сейчас разорвется от сострадания.

Но проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более.

Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина. Он потерял сознание времени. То минуты,— те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенною силой, то отталкивающую его руку, — казались ему часами, то часы казались ему минутами. Он был удивлен, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами и он узнал, что было уже пять часов вечера. Если б ему сказали, что теперь только десять часов утра, он так же мало был бы удивлен. Где он был в это время, он так же мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню, красную, напряженную, с распустившимися буклями седых волос и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы, видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы, и Лизавету Петровну, с твердым, решительным и успокаивающим лицом, и старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом. Но как они приходили и выходили, где они были, он не знал. Княгиня была то с доктором в спальне, то в кабинете, где опутился накрытый стол; то

посылали куда-то. Раз его послали перенести стол и диван. Он с усердием сделал это, думая, что это для нее нужно, и потом только узнал, что это он для себя готовил ночлег. Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что-то. Доктор ответил и потом заговорил о беспорядках в Думе. Потом посылали его в спальню к княгине принесть образ в серебряной золоченой ризе, и он со старою горничной княгини лазил на шкапчик доставать и разбил лампадку, и горничная княгини успокаивала его о жене и о лампадке, и он принес образ и поставил в головах Кити, старательно засунув его за подушки. Но где, когда и зачем это все было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поесть и уводила из комнаты, и даже доктор серьезно и с соболезнованием смотрел на него и предлагал капель. Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, — это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и но понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею. «Господи, прости и помоги», — не переставая твердил он себе, несмотря па столь долгое и казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к богу точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости. Все это время у него были два раздельные настроения. Одно — вне ее присутствия, с доктором, курившим одну толстую папироску за другою и тушившим их о край полной пепельницы, с Долли и с князем, где шла речь об обеде, о политике, о болезни Марьи Петровны и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило, и чувствовал себя точно проснувшимся, и другое настроение — в ее присутствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться и все не разрывалось от сострадания, и он не переставая молился богу. И калщый раз, когда из минуты забвения его выводил долетавший из спальни крик, он 295

посылали куда-то. Раз его послали перенести стол и диван. Он с усердием сделал это, думая, что это для нее нужно, и потом только узнал, что это он для себя готовил ночлег. Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что-то. Доктор ответил и потом заговорил о беспорядках в Думе. Потом посылали его в спальню к княгине принесть образ в серебряной золоченой ризе, и он со старою горничной княгини лазил на шкапчик доставать и разбил лампадку, и горничная княгини успокаивала его о жене и о лампадке, и он принес образ и поставил в головах Кити, старательно засунув его за подушки. Но где, когда и зачем это все было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поесть и уводила из комнаты, и даже доктор серьезно и с соболезнованием смотрел на него и предлагал капель.

Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, — это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею.

«Господи, прости и помоги»,— не переставая твердил он себе, несмотря на столь долгое и казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к богу точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости.

Все это время у него были два раздельные настроения. Одно — вне ее присутствия, с доктором, курившим одну толстую папироску за другою и тушившим их о край полной пепельницы, с Долли и с князем, где шла речь об обеде, о политике, о болезни Марьи Петровны и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило, и чувствовал себя точно проснувшимся, и другое настроение — в ее присутствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться и все не разрывалось от сострадания, и он не переставая молился богу. И каждый раз, когда из минуты

подпадал под то же самое странное заблуждение, которое в первую минуту нашло на него; каждый раз, услыхав крик, он вскакивал, бея^ал оправдываться, вспоминал дорогой, что он не виноват, и ему хотелось защитить, помочь. Но, глядя на нее, он опять видел, что помочь нельзя, и приходил в ужас и говорил: «Господи, прости и помоги». И чем дальше шло время, тем сильнее становились оба настроения: тем спокойнее, совершенно забывая ее, он становился вне ее присутствия, и тем мучительнее становились и самые ее страдания и чувство беспомощности пред ними. Он вскакивал, желал убежать куда-нибудь, и бежал к ней. Иногда, когда опять и опять она призывала его, он обвинял ее. Но, увидав ее покорное, улыбающееся лицо и услыхав ее слова: «Я измучала тебя», он обвинял бога, но, вспомнив о боге, он тотчас просил его простить и помиловать. XV Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин сидел, слушая рассказы доктора о шарлатане-магнетизере, и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже ие вскочил, но, не переводя дыхание, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. «Верно, так надо», — подумал он и продолжал сидеть. Чей это был крик? Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню и стал на свое место, у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь. Что — он не видел и не понимал и не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Лизаветы Петровны: лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити с прилипшею к потному лицу прядью волос было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив пот296

подпадал под то же самое странное заблуждение, которое в первую минуту нашло на него; каждый раз, услыхав крик, он вскакивал, бежал оправдываться, вспоминал дорогой, что он не виноват, и ему хотелось защитить, помочь. Но, глядя на нее, он опять видел, что помочь нельзя, и приходил в ужас и говорил: «Господи, прости и помоги». И чем дальше шло время, тем сильнее становились оба настроения: тем спокойнее, совершенно забывая ее, он становился вне ее присутствия, и тем мучительнее становились и самые ее страдания и чувство беспомощности пред ними. Он вскакивал, желал убежать куда-нибудь, и бежал к ней.

Иногда, когда опять и опять она призывала его, он обвинял ее. Но, увидав ее покорное, улыбающееся лицо и услыхав ее слова: «Я измучала тебя», он обвинял бога, но, вспомнив о боге, он тотчас просил его простить и помиловать.

XV

Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин сидел, слушая рассказы доктора о шарлатане-магнетизере, и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхание, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. «Верно, так надо»,— подумал он и продолжал сидеть. Чей это был крик? Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню и стал на свое место, у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь. Что — он не видел и не понимал и не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Лизаветы Петровны: лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити с прилипшею к потному лицу прядью волос было обращено к нему и искало

ными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу. — Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! — быстро говорила она. — Мама, возьмите сережки. Они мне мешают. Ты не боишься? Скоро, скоро, Лизавета Петровна... Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться. Но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя. — Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди! — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик. Левин схватился за голову и выбежал из комнаты. — Ничего, ничего, все хорошо! — проговорила ему вслед Долли. Но, что б они ни говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда не слыханное им: визг, рев, и он знал, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекрагцения этих ужасных страданий. — Доктор! Что же это? Что ж это? Боже мой! — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора. — Кончается, — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял пон-^ чается в смысле — умирает. Не помня себя, он вбежал в спальню. Первое, что он увидал, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннее и строже. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено». Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться. И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа,

ными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу.

— Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! — быстро говорила она.— Мама, возьмите сережки. Они мне мешают. Ты не боишься? Скоро, скоро, Лизавета Петровна...

Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться. Но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя.

— Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди! — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик.

Левин схватился за голову и выбежал из комнаты.

— Ничего, ничего, все хорошо! — проговорила ему вслед Долли.

Но, что б они ни говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда не слыханное им: визг, рев, и он знал, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий.

— Доктор! Что же это? Что ж это? Боже мой! — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора.

— Кончается,— сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял *кончается* в смысле — умирает.

Не помня себя, он вбежал в спальню. Первое, что он увидал, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннее и строже. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено».

Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться.

И вдруг на того таинственного и ужасного, незримого

мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить. Упав на колени пред постелью, он дер^кал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет яніть и плодить себе подобных. — Жив! Жив! Да еще мальчик! Не беспокойтесь! — услыхал Левин голос Лизаветы Петровны, шлепавшей дрожавшею рукой спину ребенка. — Мама, правда? — - сказал голос Кити. Только всхлипыванья княгини отвечали ей. И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа. Преяще, если бы Левину сказали, что Кити умерла, и что он умер с нею вместе, и что у них дети ангелы, что бог тут пред ними, — он ничему бы не удивился; но теперь, вернувшись в мир действительности, он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова и что так отчаянно визжавшее существо есть сын его. Кити была жива, страдания кончились. И он был невыразимо счастлив. Это он понимал и этим был вполне счастлив. Но ребенок? Откуда, зачем, кто он?.. Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чем-то излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть. XVI В десятом часу старый князь, Сергей Иванович и Степан Аркадьич сидели у Левина и, поговорив о родильнице, разговаривали и о посторонних предметах. Левин слушал кх и, невольно при этих разговорах вспоминая прошедшее, то, что было до нынешнего утра, вспоминал и себя, 298

мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.

Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных.

— Жив! Жив! Да еще мальчик! Не беспокойтесь! — услыхал Левин голос Лизаветы Петровны, шлепавшей дрожавшею рукой спину ребенка.

— Мама, правда? — сказал голос Кити.

Только всхлипыванья княгини отвечали ей.

И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа.

Прежде, если бы Левину сказали, что Кити умерла, и что он умер с нею вместе, и что у них дети ангелы, что бог тут пред ними,— он ничему бы не удивился; но теперь, вернувшись в мир действительности, он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова и что так отчаянно визжавшее существо есть сын его. Кити была жива, страдания кончились. И он был невыразимо счастлив. Это он понимал и этим был вполне счастлив. Но ребенок? Откуда, зачем, кто он?.. Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чем-то излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть.

XVI

В десятом часу старый князь, Сергей Иванович и Степан Аркадьич сидели у Левина и, поговорив о родильнице, разговаривали и о посторонних предметах. Левин слушал их и, невольно при этих разговорах вспоминая прошед-

каким он был вчера до этого. Точно сто лет прошло с тех пор. Он чувствовал себя на какой-то недосягаемой высоте, с которой он старательно спускался, чтобы не обидеть тех, с кем говорил. Он говорил и не переставая думал о жене, о подробностях ее теперешнего состояния и о сыне, к мысли о суш,ествовании которого он старался приучить себя. Весь мир женский, получивший для него новое, неизвестное ему значение после того, как он женился, теперь в его понятиях поднялся так высоко, что он не мог воображением обнять его. Он слушал разговор о вчерашнем обеде в клубе и думал: «Что теперь делает она, заснула ли? Как ей? Что она думает? Кричит ли сын Дмитрий?» И в средине разговора, в средине фразы он вскочил и пошел из комнаты. — Пришли мне сказать, можно ли к ней, — сказал князь. — Хорошо, сейчас, — отвечал Левин и, не останавливаясь, пошел к ней. Она не спала, а тихо разговаривала с матерью, делая планы о будуш;их крестинах. Убранная, причесанная, в нарядном чепчике с чем-то голубым, выпростав руки на одеяло, она лежала на спине и, встретив его взглядом, взглядом притягивала к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников; но там прощание, здесь встреча. Опять волнение, подобное тому, какое он испытал в минуту родов, подступило ему к сердцу. Она взяла его руку и спросила, спал ли он. Он не мог отвечать и отворачивался, убедясь в своей слабости. — А я забылась. Костя! — сказала она ему.— И мне так хорошо теперь. Она смотрела на него, но вдруг выражение ее изменилось. — Дайте мне его,— сказала она, услыхав писк ребенка.- Дайте, Лизавета Петровна, и он посмотрит. — Ну вот, пускай папа посмотрит, — сказала Лизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное, странное и колеблющееся. — Постойте, мы прежде уберемся, — и Лизавета Петровна положила это колеблющееся и красное на кровать, стала развертывать и завертывать ребенка, одним пальцем поднимая и переворачивая его и чем-то посыпая. 299

каким он был вчера до этого. Точно сто лет прошло с тех пор. Он чувствовал себя на какой-то недосягаемой высоте, с которой он старательно спускался, чтобы не обидеть тех, с кем говорил. Он говорил и не переставая думал о жене, о подробностях ее теперешнего состояния и о сыне, к мысли о существовании которого он старался приучить себя. Весь мир женский, получивший для него новое, неизвестное ему значение после того, как он женился, теперь в его понятиях поднялся так высоко, что он не мог воображением обнять его. Он слушал разговор о вчерашнем обеде в клубе и думал: «Что теперь делает она, заснула ли? Как ей? Что она думает? Кричит ли сын Дмитрий?» И в средине разговора, в средине фразы он вскочил и пошел из комнаты.

— Пришли мне сказать, можно ли к ней,— сказал князь.

— Хорошо, сейчас,— отвечал Левин и, не останавливаясь, пошел к ней.

Она не спала, а тихо разговаривала с матерью, делая планы о будущих крестинах.

Убранная, причесанная, в нарядном чепчике с чем-то голубым, выпростав руки на одеяло, она лежала на спине и, встретив его взглядом, взглядом притягивала к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников; но там прощание, здесь встреча. Опять волнение, подобное тому, какое он испытал в минуту родов, подступило ему к сердцу. Она взяла его руку и спросила, спал ли он. Он не мог отвечать и отворачивался, убедясь в своей слабости.

— А я забылась, Костя! — сказала она ему.— И мне так хорошо теперь.

Она смотрела на него, но вдруг выражение ее изменилось.

— Дайте мне его,— сказала она, услыхав писк ребенка.— Дайте, Лизавета Петровна, и он посмотрит.

— Ну вот, пускай папа посмотрит,— сказала Лизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное, странное и колеблющееся.— Постойте, мы прежде уберемся,— и Лизавета Петровна положила это колеблющееся и красное на кровать, стала развертывать и завертывать ребенка, одним пальцем поднимая и переворачивая его

Левин, глядя па это іфоіпечное жалкое существо, делал тщетные усилия, чтобы пайти в своей душе какиенибудь признаки к нему отеческого чувства. Он чувствовал к нему только гадливость. Но когда его обнажили и мелькнули тоненькие-тоненькие ручки, ножки, шафранные, тоже с пальчиками, и даже с большим пальцем, отличающимся от других, и когда он увидал, как, точно мягкие пружинки, Лизавета Петровна прижимала эти таращившиеся ручки, заключая их в полотняные одежды, на него нашла такая жалость к этому существу и такой страх, что она повредит ему, что он удержал ее за руку. Лизавета Петровна засмеялась. — Не бойтесь, не бойтесь! Когда ребенок был убран и превращен в твердую куколку, Лизавета Петровна перекачнула его, как бы гордясь своею работой, и отстранилась, чтобы Левин мог видеть сына во всей его красоте. Кити, не спуская глаз, косясь, глядела туда же. — Дайте, дайте! — сказала она и даже поднялась было. — Что вы, Катерина Александровна, это нельзя такие движения! Погодите, я подам. Вот мы папаше покажем, какие мы молодцы! И Лизавета Петровна подняла к Левину на одной руке (другая только пальцами подпирала качающийся затылок) это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже нос, косившие глаза и чмокающие губы. — Прекрасный ребенок! — сказала Лизавета Петровна. Левин с огорчением вздохнул. Этот прекрасный ребенок внушал ему только чувство гадливости и жалости. Это было совсем не то чувство, которого он ожидал. Он отвернулся, пока Лизавета Петровна устраивала его к непривычной груди. Вдруг смех заставил его поднять голову. Это засмеялась Кити. Ребенок взялся за грудь. — Ну, довольно, довольно! — говорила Лизавета Петровна, но Кити не отпускала его. Он заснул на ее руках. — Посмотри теперь, — сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул. Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин поцеловал жену и вышел из темной комнаты. 300

Левин, глядя на это крошечное жалкое существо, делал тщетные усилия, чтобы найти в своей душе какие-нибудь признаки к нему отеческого чувства. Он чувствовал к нему только гадливость. Но когда его обнажили и мелькнули тоненькие-тоненькие ручки, ножки, шафранные, тоже с пальчиками, и даже с большим пальцем, отличающимся от других, и когда он увидал, как, точно мягкие пружинки, Лизавета Петровна прижимала эти таращившиеся ручки, заключая их в полотняные одежды, на него нашла такая жалость к этому существу и такой страх, что она повредит ему, что он удержал ее за руку.

Лизавета Петровна засмеялась.

— Не бойтесь, не бойтесь!

Когда ребенок был убран и превращен в твердую куколку, Лизавета Петровна перекачнула его, как бы гордясь своею работой, и отстранилась, чтобы Левин мог видеть сына во всей его красоте.

Кити, не спуская глаз, косясь, глядела туда же.

— Дайте, дайте! — сказала она и даже поднялась было.

— Что вы, Катерина Александровна, это нельзя такие движения! Погодите, я подам. Вот мы папаше покажем, какие мы молодцы!

И Лизавета Петровна подняла к Левину на одной руке (другая только пальцами подпирала качающийся затылок) это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже нос, косившие глаза и чмокающие губы.

— Прекрасный ребенок! — сказала Лизавета Петровна.

Левин с огорчением вздохнул. Этот прекрасный ребенок внушал ему только чувство гадливости и жалости.

Это было совсем не то чувство, которого он ожидал.

Он отвернулся, пока Лизавета Петровна устраивала его к непривычной груди.

Вдруг смех заставил его поднять голову. Это засмеялась Кити. Ребенок взялся за грудь.

— Ну, довольно, довольно! — говорила Лизавета Петровна, но Кити не отпускала его. Он заснул на ее руках.

— Посмотри теперь, — сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул.

Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин

Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которое он испытал, когда ребенок чихнул. XVII Дела Степана Аркадыіча находились в дурном положении. Деньги за две трети леса были уже прожиты, и, за вычетом десятрі процентов, он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег, тем более что в эту же зиму Дарья Александровна, в первый раз прямо заявив права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получении денег за последнюю треть леса. Все жалованье уходило на домашние расходы и на уплату мелких непереводившихся долгов. Денег совсем не было. Это было неприятно, неловко и не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадыіча. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалованья. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо пять лет тому назад, но теперь уж было не то. Петров, дріректором банка, получал двенадцать тысяч; Свентицкий — членом общества — получал семнадцать тысяч; Митин, основав банк, получал пятьдесят тысяч. «Очевидно, я заснул, и меня забыли»,— думал про себя Степан Аркадыіч. И он стал прислушиваться, приглядываться и к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку, сначала из Москвы, через теток, дядей, приятелей, а потом, когда дело созрело, весной сам поехал в Петербург. Это было одно из тех мест, которых теперь, всех размеров, от тысячи до пятидесяти тысяч в год жалованья, стало больше, чем прежде было теплых взяточных мест; это было место члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковых учреждений. Место это, как и все такие места, требовало таких огром301

Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которое он испытал, когда ребенок чихнул.

XVII

Дела Степана Аркадьича находились в дурном положении.

Деньги за две трети леса были уже прожиты, и, за вычетом десяти процентов, он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег, тем более что в эту же зиму Дарья Александровна, в первый раз прямо заявив права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получении денег за последнюю треть леса. Все жалованье уходило на домашние расходы и на уплату мелких непереводившихся долгов. Денег совсем не было.

Это было неприятно, неловко и не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадьича. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалованья. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо пять лет тому назад, но теперь уж было не то. Петров, директором банка, получал двенадцать тысяч; Свентицкий — членом общества — получал семнадцать тысяч; Митин, основав банк, получал пятьдесят тысяч. «Очевидно, я заснул, и меня забыли»,— думал про себя Степан Аркадьич. И он стал прислушиваться, приглядываться и к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку, сначала из Москвы, через теток, дядей, приятелей, а потом, когда дело созрело, весной сам поехал в Петербург. Это было одно из тех мест, которых теперь, всех размеров, от тысячи до пятидесяти тысяч в год жалованья, стало больше, чем прежде было теплых взяточных мест; это было место члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного

пых знаний и деятельности, которые трудно было соединить в одном человеке. А так как человека, соединяющего эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы место это занимал честный, чем нечестный человек. А Степан Аркадьич был не только человек честный (без ударения), но он был честный человек (с ударением), с тем особенным значением, которое в Москве имеет это слово, когда говорят: чёстный деятель, чёстный писатель, чёстный журнал, чёстное учреждение, чёстное направление, и которое означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и способны при случае подпустить шпильку правительству. Степан Аркадьич вращался в Москве в тех кругах, где введено было это слово, считался там чёстным человеком и потому имел более, чем другие, прав па этом место. Место это давало от семи до десяти тысяч в год, и Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от двух министров, от одной дамы и от двух евреев; и всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьичу надо было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьич обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе. И, выпросив у Долли пятьдесят рублей, он уехал в Петербург. Сидя в кабинете Каренина и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и об Анне. — Да, это очень верно, — сказал он, когда Алексей Александрович, сняв pince-nez, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего шурина, — это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени — свобода. — Да, но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы, — сказал Алексей Александровріч, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять pince-nez, чтобы вновь прочесть слушателю то место, где это самое было сказано. И, перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись, Алексей Александрович вновь прочел убедительное место. — Я не хочу протекционной системы не для выгоды частных лиц, но для общего блага — и для низших и для высших классов одинаково, • — говорил он, поверх pince302

ных знаний и деятельности, которые трудно было соединить в одном человеке. А так как человека, соединяющего эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы место это занимал честный, чем нечестный человек. А Степан Аркадьич был не только человек честный (без ударения), но он был чéстный человек (с ударением), с тем особенным значением, которое в Москве имеет это слово, когда говорят: чéстный деятель, чéстный писатель, чéстный журнал, чéстное учреждение, чéстное направление, и которое означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и способны при случае подпустить шпильку правительству. Степан Аркадьич вращался в Москве в тех кругах, где введено было это слово, считался там чéстным человеком и потому имел более, чем другие, прав на этом место.

Место это давало от семи до десяти тысяч в год, и Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от двух министров, от одной дамы и от двух евреев; и всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьичу надо было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьич обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе. И, выпросив у Долли пятьдесят рублей, он уехал в Петербург.

Сидя в кабинете Каренина и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и об Анне.

— Да, это очень верно,— сказал он, когда Алексей Александрович, сняв pince-nez, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего шурина, — это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени — свобода.

— Да, но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы,— сказал Алексей Александрович, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять pince-nez, чтобы вновь прочесть слушателю то место, где это самое было сказано.

И, перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись, Алексей Александрович вновь прочел убедительное место.

— Я не хочу протекционной системы не для выгоды частных лиц, но для общего блага — и для низших и для

nez глядя на Облонского. — Но они не могут понять этого, они заняты только личными интересами и увлекаются фразами. Степан Аркадыіч знал, что когда Каренин начинал говорить о том, что делают и думают они, те самые, которые не хотели принимать его проектов и были причиной всего зла в России, что тогда уже близко было к концу; и потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился. Алексей Александрович замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись. — Ах, кстати,— сказал Степан Аркадьич, — я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открываюпі;еся место члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог. Степану Аркадьичу название этого места, столь близкого его сердцу, уже было привычно, и он, не ошибаясь, быстро выговаривал его. Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Он соображал, нет ли в деятельности этой комиссии чего-нибудь противоположного его проектам. Но, так как деятельность этого нового учреждения была очень сложна и проекты его обнимали очень большую область, он не мог сразу сообразить этого и, снимая pince-nez, сказал: — Без сомнения, я могу сказать ему; но для чего ты, собственно, желаешь занять это место? — Жалованье хорошее, до девяти тысяч, а мои средства... — Девять тысяч, — повторил Алексей Александрович и нахмурился. Высокая цифра этого жалованья напомнила ему, что с этой стороны предполагаемая деятельность Степана Аркадьича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии. — Я нахожу, и написал об этом записку, что в нате время эти огромные жалованья суть признаки ложной экономической assiette ^ нашего управления. — Да как же ты хочешь? — сказал Степан Аркадьич. — Ну, положим, директор банка получает десять тысяч, — ведь он стоит этого. Или инженер получает двадцать тысяч. Живое дело, как хочешь! ^ политики (Франц,), 303

nez глядя на Облонского. — Но *они* не могут понять этого, *они* заняты только личными интересами и увлекаются фразами.

Степан Аркадьич знал, что когда Каренин начинал говорить о том, что делают и думают *они,* те самые, которые не хотели принимать его проектов и были причиной всего зла в России, что тогда уже близко было к концу; и потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился. Алексей Александрович замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись.

— Ах, кстати,— сказал Степан Аркадьич,— я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог.

Степану Аркадьичу название этого места, столь близкого его сердцу, уже было привычно, и он, не ошибаясь, быстро выговаривал его.

Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Он соображал, нет ли в деятельности этой комиссии чего-нибудь противоположного его проектам. Но, так как деятельность этого нового учреждения была очень сложна и проекты его обнимали очень большую область, он не мог сразу сообразить этого и, снимая pince-nez, сказал:

— Без сомнения, я могу сказать ему; но для чего ты, собственно, желаешь занять это место?

— Жалованье хорошее, до девяти тысяч, а мои средства...

— Девять тысяч,— повторил Алексей Александрович и нахмурился. Высокая цифра этого жалованья напомнила ему, что с этой стороны предполагаемая деятельность Степана Аркадьича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии.

— Я нахожу, и написал об этом записку, что в наше время эти огромные жалованья суть признаки ложной экономической assiette [1] нашего управления.

— Да как же ты хочешь? — сказал Степан Аркадьич. — Ну, положим, директор банка получает десять тысяч, —ведь он стоит этого. Или инженер получает двадцать тысяч. Живое дело, как хочешь!

— я полагаю, что жалованье есть плата за товар, Її оно должно подлежать закону требованья и предложенья. Если же назначение жалованья отступает от этого закона, как, например, когда я вижу, что выходят из института два инженера, оба одинаково знающие и способные, и один получает сорок тысяч, а другой довольствуется двумя тысячами; или что в директоры банков общества определяют с огромным жалованьем правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалованье назначается не по закону требования и предложения, а прямо по лицеприятию. И тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю... Степан Аркадьич поспешил перебить зятя. — Да, но ты согласись, что открывается новое, несомненно полезное учреждение. Как хочешь, живое дело! Дорожат в особенности тем, чтобы дело ведено было честно, — сказал Степан Аркадьич с ударением. Но московское значение честного было непонятно для Алексея Александровича. — Честность есть только отрицательное свойство,— сказал он. — Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки, — сказал Степан Аркадьич, — замолвив словечко Поморскому. Так, между разговором... — Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется, — сказал Алексей Александрович. — Болгаринов с своей стороны совершенно согласен, — сказал Степан Аркадьич, краснея. Степан Аркадьич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятное воспоминание. Степан Аркадьич твердо знал, что дело, которому он хотел служить, было новое, живое и честное дело; но нынче утром, когда Болгаринов, очевидно нарочно, заставил его два часа дожидаться с другими просителями в приемной, ему вдруг стало неловко. То ли ему было неловко, что он, потомок Рюрика, князь Облонский, ждал два часа в приемной у жида, или то, что в первый раз в жизни он не следовал только примеру предков, служа правительству, а выступал на новое ігоприще, но ему было очень неловко. В эти два часа ожидания у Болгаринова Степан Аркадьич, бойко проха

— Я полагаю, что жалованье есть плата за товар, и оно должно подлежать закону требованья и предложенья. Если же назначение жалованья отступает от этого закона, как, например, когда я вижу, что выходят из института два инженера, оба одинаково знающие и способные, и один получает сорок тысяч, а другой довольствуется двумя тысячами; или что в директоры банков общества определяют с огромным жалованьем правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалованье назначается не по закону требования и предложения, а прямо по лицеприятию. И тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю...

Степан Аркадьич поспешил перебить зятя.

— Да, но ты согласись, что открывается новое, несомненно полезное учреждение. Как хочешь, живое дело! Дорожат в особенности тем, чтобы дело ведено было чéстно,— сказал Степан Аркадьич с ударением.

Но московское значение *честного* было непонятно для Алексея Александровича.

— Честность есть только отрицательное свойство,— сказал он.

— Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки,— сказал Степан Аркадьич,— замолвив словечко Поморскому. Так, между разговором...

— Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется,— сказал Алексей Александрович.

— Болгаринов с своей стороны совершенно согласен,— сказал Степан Аркадьич, краснея.

Степан Аркадьич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятное воспоминание. Степан Аркадьич твердо знал, что дело, которому он хотел служить, было новое, живое и честное дело; но нынче утром, когда Болгаринов, очевидно нарочно, заставил его два часа дожидаться с другими просителями в приемной, ему вдруг стало неловко.

То ли ему было неловко, что он, потомок Рюрика, князь Облонский, ждал два часа в приемной у жида, или то, что в первый раз в жизни он не следовал только примеру предков, служа правительству, а выступал на новое поприще, но ему было очень неловко. В эти два часа

ншваясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговор с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет о том, как он у жида дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемое чувство. Но ему во все это время было неловко и досадно, он сам не знал отчего: оттого ли, что ничего не выходило из каламбура: «было дело до жида, и я дожида-жя» , или от чего-нибудь другого. Когда же, наконец, Болгаринов с чрезвычайною учтивостью принял его, очевидно торжествуя его унижением, и почти отказал ему, Степан Аркадьич поторопился как можно скорее забыть это. И, теперь только вспомнив, покраснел. XVIII — Теперь у меня еще дело, и ты знаешь какое. Об Анне, — сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьич. Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось: вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность. — Что, собственно, вы хотите от меня? — повертываясь на кресле и защелкивая свой pince-nez, сказал он. — Решения, какого-нибудь решения, Алексей Александрович. Я обращаюсь к тебе теперь («не как к оскорбленному мужу», — хотел сказать Степан Аркадьич, но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами:) не как к государственному человеку (что вышло некстати), а просто как к человеку, и доброму человеку и христианину. Ты должен пожалеть ее,— сказал он. — То есть в чем же, собственно? — тихо сказал Каренин. — Да, пояшлеть ее. Если бы ты ее видел, как я,— я провел всю зиму с нею, — ты бы сжалился над нею. Полонсение ее ужасно, именно ужасно. — Мне казалось, — отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом, — что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. — Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекрпминаций! Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего опа н^елает и ящет,— развода.

живаясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговор с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет о том, как он у жида дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемое чувство.

Но ему во все это время было неловко и досадно, он сам не знал отчего: оттого ли, что ничего не выходило из каламбура: «было дело *до жида*, и я *дожида*-лся», или от чего-нибудь другого. Когда же, наконец, Болгаринов с чрезвычайною учтивостью принял его, очевидно торжествуя его унижением, и почти отказал ему, Степан Аркадьич поторопился как можно скорее забыть это. И, теперь только вспомнив, покраснел.

XVIII

— Теперь у меня еще дело, и ты знаешь какое. Об Анне,— сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьич.

Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось: вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность.

— Что, собственно, вы хотите от меня? — повертываясь на кресле и защелкивая свой pince-nez, сказал он.

— Решения, какого-нибудь решения, Алексей Александрович. Я обращаюсь к тебе теперь («не как к оскорбленному мужу», — хотел сказать Степан Аркадьич, но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами:) не как к государственному человеку (что вышло некстати), а просто как к человеку, и доброму человеку и христианину. Ты должен пожалеть ее,— сказал он.

— То есть в чем же, собственно? — тихо сказал Каренин.

— Да, пожалеть ее. Если бы ты ее видел, как я,— я провел всю зиму с нею,— ты бы сжалился над нею. Положение ее ужасно, именно ужасно.

— Мне казалось, — отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом,— что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела.

— Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать [illegible]

— Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так и отвечал и думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным, — взвизгнул Алексей Александрович. — Но, ради бога, не горячись,— сказал Степан Аркадьич, дотрогиваясь до коленки зятя. — Дело не кончено. Если ты позволишь мне рекапитюлировать, дело было так: когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным; ты отдал ей все — свободу, развод даже. Она оценила это. Нет, ты не думай. Именно оценила. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину пред тобой, она не обдумала и не могла обдумать всего. Она от всего отказалась. Но действительность, время показали, что ее положение мучительно и невозможно. — Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня, — перебил Алексей Александрович, поднимая брови. — Позволь мне не верить, — мягко возразил Степан Аркадьич. — Положение ее и мучительно для нее и безо всякой выгоды для кого бы то ни было. Она заслужила его, ты скажешь. Она знает это и не просит тебя; она прямо говорит, что она ничего не смеет просить. Но я, мы все родные, все любяш;ие ее просим, умоляем тебя. За что она мучается? Кому от этого лучше? — Позвольте, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого, — проговорил Алексей Александрович. — Да нет, да нет, нисколько, ты пойми меня, — опять дотрогиваясь до его руки, сказал Степан Аркадьич, как будто он был уверен, что это прикосновение смягчает зятя. — Я только говорю одно: ее положение мучительно, и оно может быть облегчено тобой, и ты ничего не потеряешь. Я тебе все так устрою, что ты не заметишь. Ведь ты обещал. — Обещание дано было прежде. И я полагал, что вопрос о сыне решал дело. Кроме того, я надеялся, что у Анны Аркадьевны достанет великодушия... — с трудом, трясущимися губами, выговорил побледневший Алексей Александрович. — Она и предоставляет все твоему великодушию. Она просит, умоляет об одном — вывести ее из того невозможного положения, в котором она находится. Она уже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее, в ее положении, вопрос жизни и смерти. Если бы ты 306

— Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так и отвечал и думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным,— взвизгнул Алексей Александрович.

— Но, ради бога, не горячись,— сказал Степан Аркадьич, дотрогиваясь до коленки зятя.— Дело не кончено. Если ты позволишь мне рекапитюлировать, дело было так: когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным; ты отдал ей все — свободу, развод даже. Она оценила это. Нет, ты не думай. Именно оценила. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину пред тобой, она не обдумала и не могла обдумать всего. Она от всего отказалась. Но действительность, время показали, что ее положение мучительно и невозможно.

— Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня,— перебил Алексей Александрович, поднимая брови.

— Позволь мне не верить,— мягко возразил Степан Аркадьич.— Положение ее и мучительно для нее и безо всякой выгоды для кого бы то ни было. Она заслужила его, ты скажешь. Она знает это и не просит тебя; она прямо говорит, что она ничего не смеет просить. Но я, мы все родные, все любящие ее просим, умоляем тебя. За что она мучается? Кому от этого лучше?

— Позвольте, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого,— проговорил Алексей Александрович.

— Да нет, да нет, нисколько, ты пойми меня,— опять дотрогиваясь до его руки, сказал Степан Аркадьич, как будто он был уверен, что это прикосновение смягчает зятя.— Я только говорю одно: ее положение мучительно, и оно может быть облегчено тобой, и ты ничего не потеряешь. Я тебе все так устрою, что ты не заметишь. Ведь ты обещал.

— Обещание дано было прежде. И я полагал, что вопрос о сыне решал дело. Кроме того, я надеялся, что у Анны Аркадьевны достанет великодушия...— с трудом, трясущимися губами, выговорил побледневший Алексей Александрович.

— Она и предоставляет все твоему великодушию. Она просит, умоляет об одном — вывести ее из того невозможного положения, в котором она находится. Она уже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для

не обещал прежде, она бы помирилась с своим положением, жила бы в деревне. Но ты обещал, она написала тебе и переехала в Москву. И вот в Москве, где каждая встреча ей нож в сердце, опа живет шесть месяцев, с каждым днем ожидая решения. Ведь это все равно, что приговоренного к смерти держать месяцы с петлей на шее, обеіцая, может быть, смерть, может быть, помилование. Сжалься над ней, и потом я берусь все так устроить... Vos scrupules... ^ — Я не говорю об этом, об этом... — гадливо перебил его Алексей Александрович. — Но, может быть, я обещал то, чего я не имел права обещать. — Так ты отказываешь в том, что обещал? — Я никогда не отказывал в исполнении возможного, но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно. — Нет, Алексей Александрович! — вскакивая, заговорил Облонский, — я не хочу верить этому! Она так несчастна, как только moîkct быть несчастна женщина, и ты не можешь отказать в такой... — Насколько обещанное возможно. Vous professez d'être un libre penseur Но я, как человек верующий, не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону. — Но в христианских обществах и у нас, сколько я знаю, развод допущен, — сказал Степан Аркадьич. — Развод допущен и нашею церковью. И мы видим... — Допущен, но не в этом смысле. — Алексей Александрович, я не узнаю тебя, — помолчав, сказал Облонский. — Не ты ли (и мы ли не оценили этого?) все простил и, движимый именно христианским чувством, готов был всем пожертвовать? Ты сам сказал: отдать кафтан, когда берут рубашку, и теперь... — Я прошу, — вдруг вставая на ноги, бледный и с трясущеюся челюстью, пискливым голосом заговорил Алексей Александрович, — прошу вас прекратить, прекратить... этот разговор. — Ах нет! Ну, прости, прости меня, если я огорчил тебя, — сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадьич, протягивая руку, — но я все-таки, как посол, только передавал свое поручение. ^ Твоя щепетильность... ((ßpaui^.) * Ты слывешь человеком свободомыслящим (фраиц.)^ 307

не обещал прежде, она бы помирилась с своим положением, жила бы в деревне. Но ты обещал, она написала тебе и переехала в Москву. И вот в Москве, где каждая встреча ей нож в сердце, она живет шесть месяцев, с каждым днем ожидая решения. Ведь это все равно, что приговоренного к смерти держать месяцы с петлей на шее, обещая, может быть, смерть, может быть, помилование. Сжалься над ней, и потом я берусь все так устроить... Vos scrupules... [1]

— Я не говорю об этом, об этом...— гадливо перебил его Алексей Александрович. — Но, может быть, я обещал то, чего я не имел права обещать.

— Так ты отказываешь в том, что обещал?

— Я никогда не отказывал в исполнении возможного, но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно.

— Нет, Алексей Александрович! — вскакивая, заговорил Облонский,— я не хочу верить этому! Она так несчастна, как только может быть несчастна женщина, и ты не можешь отказать в такой...

— Насколько обещанное возможно. Vous professez d'être un libre penseur [2]. Но я, как человек верующий, не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону.

— Но в христианских обществах и у нас, сколько я знаю, развод допущен, — сказал Степан Аркадьич. — Развод допущен и нашею церковью. И мы видим...

— Допущен, но не в этом смысле.

— Алексей Александрович, я не узнаю тебя,— помолчав, сказал Облонский.— Не ты ли (и мы ли не оценили этого?) все простил и, движимый именно христианским чувством, готов был всем пожертвовать? Ты сам сказал: отдать кафтан, когда берут рубашку, и теперь...

— Я прошу,— вдруг вставая на ноги, бледный и с трясущеюся челюстью, пискливым голосом заговорил Алексей Александрович,— прошу вас прекратить, прекратить... этот разговор.

— Ах нет! Ну, прости, прости меня, если я огорчил тебя,— сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадьич, протягивая руку,— но я все-таки, как посол, только передавал свое поручение.

Алексей Александрович подал свою руку, задумался и проговорил: — Я должен обдумать и поискать указаний. Послезавтра я дам вам решительный ответ, — сообразив что-то, сказал он. XIX Степан Аркадьич хотел уже уходить, когда Корней пришел доложить: — Сергей Алексеич! — Кто это Сергей Алексеич? — начал было Степан Аркадьич, но тотчас же вспомнил. — Ах, Сережа! — сказал он.-— «Сергей Алексеич» — я думал, директор департамента. «Анна и просила меня повидать его», — вспомнил он. И он вспомнил то робкое, жалостное выражение, с которым Анна, отпуская его, сказала: «Все-таки ты увидь его. Узнай подробно, где он, кто при нем. И, Стива... если бы возможно! Ведь возможно?» Степан Аркадьич понял, что означало это «если бы возможно» — если бы возможно сделать развод так, чтоб отдать ей сына... Теперь Степан Аркадьич видел, что об этом и думать нечего, но всетаки рад был увидеть племянника. Алексей Александрович напомнил шурину, что сыну никогда не говорят про мать и что он просит его ни слова не упоминать про нее. — Он был очень болен после того свидания с матерью, которое мы не пре-ду-смотрели, — сказал Алексей Александрович. — Мы боялись даже за его жизнь. Но разумное лечение и морские купанья летом исправили его здоровье, и теперь я по совету доктора отдал его в школу. Действительно, влияние товариш,ей оказало на него хорошее действие, и он совершенно здоров и учится хорошо. — Экой молодец стал! И то, не Сережа, а целый Сергей Алексеич! — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич, глядя на бойко и развязно вошедшего красивого широкого мальчика в синей курточке и длинных панталонах. Мальчик имел вид здоровый и веселый. Он поклонился дяде, как чужому, но, узнав его, покраснел и, точно обиженный и рассерженный чем-то, поспешно отвернулся от него. Мальчик подошел к отцу и подал ему записку о баллах, полученных в школе. — Ну, это порядочно,— сказал отец,— можешь идти. 308

Алексей Александрович подал свою руку, задумался и проговорил:

— Я должен обдумать и поискать указаний. Послезавтра я дам вам решительный ответ,— сообразив что-то, сказал он.

XIX

Степан Аркадьич хотел уже уходить, когда Корней пришел доложить:

— Сергей Алексеич!

— Кто это Сергей Алексеич? — начал было Степан Аркадьич, но тотчас же вспомнил.

— Ах, Сережа! — сказал он.— «Сергей Алексеич» — я думал, директор департамента. «Анна и просила меня повидать его»,— вспомнил он.

И он вспомнил то робкое, жалостное выражение, с которым Анна, отпуская его, сказала: «Все-таки ты увидь его. Узнай подробно, где он, кто при нем. И, Стива... если бы возможно! Ведь возможно?» Степан Аркадьич понял, что означало это «если бы возможно» — если бы возможно сделать развод так, чтоб отдать ей сына... Теперь Степан Аркадьич видел, что об этом и думать нечего, но все-таки рад был увидеть племянника.

Алексей Александрович напомнил шурину, что сыну никогда не говорят про мать и что он просит его ни слова не упоминать про нее.

— Он был очень болен после того свидания с матерью, которое мы не пре-ду-смотрели,— сказал Алексей Александрович.— Мы боялись даже за его жизнь. Но разумное лечение и морские купанья летом исправили его здоровье, и теперь я по совету доктора отдал его в школу. Действительно, влияние товарищей оказало на него хорошее действие, и он совершенно здоров и учится хорошо.

— Экой молодец стал! И то, не Сережа, а целый Сергей Алексеич! — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич, глядя на бойко и развязно вошедшего красивого широкого мальчика в синей курточке и длинных панталонах. Мальчик имел вид здоровый и веселый. Он поклонился дяде, как чужому, но, узнав его, покраснел и, точно обиженный и рассерженный чем-то, поспешно отвернулся от него. Мальчик подошел к отцу и подал ему записку о баллах, полученных в школе.

— Он похудел и вырос и перестал быть ребенком, стал мальчишкой; я это люблю, — сказал Степан Аркадьич. — Да ты помнишь меня? Мальчик быстро оглянулся на отца. — Помню, mon oncle \ — отвечал он, взглянув на дядю, и опять потупился. Дядя подозвал мальчика и взял его за руку. — Ну что ж, как дела? — сказал он, желая разговориться и не зная, что сказать. Мальчик, краснея и не отвечая, осторожно потягивал свою руку из руки дяди. Как только Степан Аркадьич выпустил его руку, он, как птица, выпущенная на волю, вопросительно взглянув на отца, быстрым шагом вышел из комнаты. Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою мать. С того времени он никогда не слыхал более про нее. И в этот же год он был отдан в школу и узнал и полюбил товарищей. Те мечты и воспоминания о матери, которые после свидания с нею сделали его больным, теперь уже не занимали его. Когда они приходили, он старательно отгонял их от себя, считая их стыдными и свойственными только девочкам, а не мальчику и товарищу. Он знал, что между отцом и матерью была ссора, разлучившая их, знал, что ему суждено оставаться с отцом, и старался привыкнуть к этой мысли. Увидать дядю, похожего на мать, ему было неприятно, потому что это вызывало в нем те самые воспоминания, которые он считал стыдными. Это было ему teivi более неприятно, что по некоторым словам, которые он слышал, дожидаясь у двери кабинета, и в особенности по выражению лица отца и дяди он догадывался, что между ними должна была идти речь о матери. И чтобы не осуждать того отца, с которым он жил и от которого зависел, и, главное, не предаваться чувствительности, которую он считал столь унизительною, Сережа старался не смотреть па этого дядю, приехавшего нарушать его спокойствие, и не думать про то, что он напоминал. Но когда вышедший вслед за ним Степан Аркадьич, увидав его па лестнице, подозвал к себе и спросил, как он в школе проводит время между классами, Сережа, вне присутствия отца, разговорился с ним. 1 дядя (Франц.) 309

— Он похудел и вырос и перестал быть ребенком, стал мальчишкой; я это люблю, — сказал Степан Аркадьич.— Да ты помнишь меня?

Мальчик быстро оглянулся на отца.

— Помню, mon oncle [1], — отвечал он, взглянув на дядю, и опять потупился.

Дядя подозвал мальчика и взял его за руку.

— Ну что ж, как дела? — сказал он, желая разговориться и не зная, что сказать.

Мальчик, краснея и не отвечая, осторожно потягивал свою руку из руки дяди. Как только Степан Аркадьич выпустил его руку, он, как птица, выпущенная на волю, вопросительно взглянув на отца, быстрым шагом вышел из комнаты.

Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою мать. С того времени он никогда не слыхал более про нее. И в этот же год он был отдан в школу и узнал и полюбил товарищей. Те мечты и воспоминания о матери, которые после свидания с нею сделали его больным, теперь уже не занимали его. Когда они приходили, он старательно отгонял их от себя, считая их стыдными и свойственными только девочкам, а не мальчику и товарищу. Он знал, что между отцом и матерью была ссора, разлучившая их, знал, что ему суждено оставаться с отцом, и старался привыкнуть к этой мысли.

Увидать дядю, похожего на мать, ему было неприятно, потому что это вызывало в нем те самые воспоминания, которые он считал стыдными. Это было ему тем более неприятно, что по некоторым словам, которые он слышал, дожидаясь у двери кабинета, и в особенности по выражению лица отца и дяди он догадывался, что между ними должна была идти речь о матери. И чтобы не осуждать того отца, с которым он жил и от которого зависел, и, главное, не предаваться чувствительности, которую он считал столь унизительною, Сережа старался не смотреть на этого дядю, приехавшего нарушать его спокойствие, и не думать про то, что он напоминал.

Но когда вышедший вслед за ним Степан Аркадьич, увидав его на лестнице, подозвал к себе и спросил, как он в школе проводит время между классами, Сережа, вне присутствия отца, разговорился с ним.

— у нас теперь идет железная дорога, — сказал он, отвечая на его вопрос. — Это, видите ли, вот как: двое садятся на лавку. Это пассаяаіры. А один становится стоя на лавку же. И все запрягаются. Можно и руками, можно и поясами, и пускаются чрез все залы. Двери уже вперед отворяются. Ну, и тут кондуктором очень трудно быть! — Это который стоя? — спросил Степан Аркадьич, улыбаясь. — Да, тут надо и смелость и ловкость, особенно как вдруг остановятся или кто-нибудь упадет. — Да, это не шутка, — сказал Степан Аркадьич, с грустью вглядываясь в эти оживленные, материнские глаза, теперь уж не ребячьи, не вполне уже невинные. И, хотя он и обепі,ал Алексею Александровичу не говорить про Анну, он не вытерпел. — А ты помнишь мать? — вдруг сказал он. — Нет, не помню, — быстро проговорил Сережа и, багрово покраснев, потупился. И уже дядя ничего более но мог добиться от него. Славянин-гувернер через полчаса нашел своего воспитанника на лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет. — Что ж, верно, ушиблись, когда упали, — сказал гувернер. — Я говорил, что это опасная игра. И надо сказать директору. — Если б и ушибся, так никто бы не заметил. Уж это наверно. — Ну так что же? — Оставьте меня! Помню, не помню... Какое ему дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое! — обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету. XX Степан Аркадьич, как и всегда, не праздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел: развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои cafés chantants и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго 310

— У нас теперь идет железная дорога, — сказал он, отвечая на его вопрос. — Это, видите ли, вот как: двое садятся на лавку. Это пассажиры. А один становится стоя на лавку же. И все запрягаются. Можно и руками, можно и поясами, и пускаются чрез все залы. Двери уже вперед отворяются. Ну, и тут кондуктором очень трудно быть!

— Это который стоя? — спросил Степан Аркадьич, улыбаясь.

— Да, тут надо и смелость и ловкость, особенно как вдруг остановятся или кто-нибудь упадет.

— Да, это не шутка,— сказал Степан Аркадьич, с грустью вглядываясь в эти оживленные, материнские глаза, теперь уж не ребячьи, не вполне уже невинные. И, хотя он и обещал Алексею Александровичу не говорить про Анну, он не вытерпел.

— А ты помнишь мать? — вдруг сказал он.

— Нет, не помню, — быстро проговорил Сережа и, багрово покраснев, потупился. И уже дядя ничего более не мог добиться от него.

Славянин-гувернер через полчаса нашел своего воспитанника на лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет.

— Что ж, верно, ушиблись, когда упали, — сказал гувернер. — Я говорил, что это опасная игра. И надо сказать директору.

— Если б и ушибся, так никто бы не заметил. Уж это наверно.

— Ну так что же?

— Оставьте меня! Помню, не помню... Какое ему дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое! — обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету.

XX

Степан Аркадьич, как и всегда, не праздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел: развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости.

Москва, несмотря на свои cafés chantants и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьич. Пожив в Москве, особенно в близости

безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным располоя^ением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей слуячбы; даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он врапа;ался, где жили, именно яшли, а не прозябали, как в Москве, и тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена?.. Нынче только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была я^ена и семья — взрослые пажи дети, и была другая, незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья была тоже хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью п рассказывал Степану Аркадьичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве? Дети? В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого, распространяющегося в Москве — Львов, например, — дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Служба? Служба здесь тоже была не та упорная, безнаградная лямка, которую тянули в Москве; здесь был интерес в службе. Встреча, услуга, меткое слово, уменье представлять в лицах разные штуки — и человек вдруг делал карьеру, как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадыіч и который был первый сановник теперь. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьича. Бартпянский, проживающий по крайней мере пятьдесят тысяч по тому train \ который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово. Пред обедом, разговорившись, Степан Аркадьич сказал Бартнянскому: — Ты, кажется, близок с Мордвинским; ты мне можешь оказать услугу, скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять. Членом агентства... ^ образу жизни (Франц.). 311

безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы; даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали, как в Москве, и тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня.

Жена?.. Нынче только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была жена и семья — взрослые пажи дети, и была другая, незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья была тоже хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве?

Дети? В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого, распространяющегося в Москве — Львов, например,— дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек.

Служба? Служба здесь тоже была не та упорная, безнаградная лямка, которую тянули в Москве; здесь был интерес в службе. Встреча, услуга, меткое слово, уменье представлять в лицах разные штуки — и человек вдруг делал карьеру, как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьич и который был первый сановник теперь. Эта служба имела интерес.

В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьича. Бартнянский, проживающий по крайней мере пятьдесят тысяч по тому train [1], который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово.

Пред обедом, разговорившись, Степан Аркадьич сказал Бартнянскому:

— Ты, кажется, близок с Мордвинским; ты мне можешь оказать услугу, скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять. Членом агентства...

— Ну, я все равно не запомню... Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами?.. Как хочешь, все-таки гадость! Степан Аркадыіч не сказал ему, что это было живое дело; Бартнянский бы не понял этого. — Деньги нуя^ны, жить нечем. — - Живешь же? — Живу, но долги. — Что ты? Много? — с соболезнованием сказал Бартнянский. — Очень много, тысяч двадцать. Бартнянский весело расхохотался. — О, счастливый человек! — сказал он. — У меня полтора миллиона и ничего нет, и, как видишь, жить егце можно! И Степан Аркадыіч не на одних словах, на деле видел справедливость этого. У Живахова было триста тысяч долгу и ни копейки за душой, и он жил же, да еще как! Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский прожил пять миллионов и жил все точно так же й даже заведовал финансами и получал двадцать тысяч жалованья. Но, кроме этого, Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьича. Он молодил его. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, потягивался, шагом, тяжело дыша, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал десять лет с костей. Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему вчера еще шестидесятилетний князь Облонский, Петр, только что вернувшийся из-за границы. — Мы здесь не умеем жить,— говорил Петр Облонский. — Поверишь ли, я провел лето в Бадене; ну, право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Пообедаешь, выпьешь слегка — сила, бодрость. Приехал в Россию, — надо было к жене да еще в деревню, — ну, не поверишь, через две недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать! Совсем стал старик. Только душу спасать остается. Поехал в Париж — опять справился. Степан Аркадьич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Облонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если бы пожить там долго, дошел бы, чего доброго, и до спасения души; в Петербурге же он чувство^ вал себя опять порядочным человеком. 312

— Ну, я все равно не запомню... Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами?.. Как хочешь, все-таки гадость!

Степан Аркадьич не сказал ему, что это было живое дело; Бартнянский бы не понял этого.

— Деньги нужны, жить нечем.

— Живешь же?

— Живу, но долги.

— Что ты? Много? — с соболезнованием сказал Бартнянский.

— Очень много, тысяч двадцать.

Бартнянский весело расхохотался.

— О, счастливый человек! — сказал он.— У меня полтора миллиона и ничего нет, и, как видишь, жить еще можно!

И Степан Аркадьич не на одних словах, на деле видел справедливость этого. У Живахова было триста тысяч долгу и ни копейки за душой, и он жил же, да еще как! Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский прожил пять миллионов и жил все точно так же и даже заведовал финансами и получал двадцать тысяч жалованья. Но, кроме этого, Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьича. Он молодил его. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, потягивался, шагом, тяжело дыша, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал десять лет с костей.

Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему вчера еще шестидесятилетний князь Облонский, Петр, только что вернувшийся из-за границы.

— Мы здесь не умеем жить,— говорил Петр Облонский.— Поверишь ли, я провел лето в Бадене; ну, право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Пообедаешь, выпьешь слегка — сила, бодрость. Приехал в Россию,— надо было к жене да еще в деревню,— ну, не поверишь, через две недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать! Совсем стал старик. Только душу спасать остается. Поехал в Париж — опять справился.

Степан Аркадьич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Облонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если бы пожить там долго, дошел бы, чего доброго, и до спасения души; в Петербурге же он чувство-

Между княгиней Бетси Тверской и Степаном Аркадьичем существовали давнишние, весьма странные отношения. Степан Аркадьич всегда шутя ухаживал за ней и говорил ей, тоже шутя, самые неприличные вещи, зная, что это более всего ей нравится. На другой день после своего разговора с Карениным Степан Аркадьич, заехав к ней, чувствовал себя столь молодым, что в этом шуточном ухаживанье и вранье зашел нечаянно так далеко, что уже не знал, как выбраться назад, так как, к несчастью, она не только не нравилась, но противна была ему. Тон же этот установился потому, что он очень нравился ей. Так что он уя{е был очень рад приезду княгини Мягкой, вовремя прекратившей их уединение вдвоем. — А, и вы тут, — сказала она, увидав его. — Ну, что ваша бедная сестра? Вы не смотрите на меня так,— прибавила она.— С тех пор как все набросились на нее, все те, которые хуже ее во сто тысяч раз, я нахоя^у, что она сделала прекрасно. И не могу простить Вронскому, что он не дал мне знать, когда она была в Петербурге. Я бы поехала к ней и с ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну расскажите мне про нее. — Да, ее положение тяжело, она... — начал было рассказывать Степан Аркадьич, в простоте душевной приняв за настоящую монету слова княгини Мягкой «расскажите про вашу сестру». Княгиня Мягкая тотчас же по своей привычке перебила его и стала сама рассказывать. — Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают; а сна не хотела обманывать и сделала прекрасно. И еще лучше сделала, потому что бросила этого полоумного вашего зятя. Вы меня извините. Все говорили, что он умен, умен, одна я говорила, что он глуп. Теперь, когда он связался с Лидией и с Landau, все говорят, что он полоумный, и я бы и рада не соглашаться со всеми, но на этот раз не могу. — Да объясните мне, пожалуйста, — сказал Степан Аркадьич, — что это такое значит? Вчера я был у него по делу сестры и просил решительного ответа. Он не дал мне ответа и сказал, что подумает, а нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер к графине Лидии Ивановне. — Ну так, так! — с радостью заговорила княгиня Мягкая. — Они спросят у Landau, что он скажет. — Как у Landau? Зачем? Что такое Landau? 313

Между княгиней Бетси Тверской и Степаном Аркадьичем существовали давнишние, весьма странные отношения. Степан Аркадьич всегда шутя ухаживал за ней и говорил ей, тоже шутя, самые неприличные вещи, зная, что это более всего ей нравится. На другой день после своего разговора с Карениным Степан Аркадьич, заехав к ней, чувствовал себя столь молодым, что в этом шуточном ухаживанье и вранье зашел нечаянно так далеко, что уже не знал, как выбраться назад, так как, к несчастью, она не только не нравилась, но противна была ему. Тон же этот установился потому, что он очень нравился ей. Так что он уже был очень рад приезду княгини Мягкой, вовремя прекратившей их уединение вдвоем.

— А, и вы тут,— сказала она, увидав его.— Ну, что ваша бедная сестра? Вы не смотрите на меня так,— прибавила она.— С тех пор как все набросились на нее, все те, которые хуже ее во сто тысяч раз, я нахожу, что она сделала прекрасно. И не могу простить Вронскому, что он не дал мне знать, когда она была в Петербурге. Я бы поехала к ней и с ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну расскажите мне про нее.

— Да, ее положение тяжело, она...— начал было рассказывать Степан Аркадьич, в простоте душевной приняв за настоящую монету слова княгини Мягкой «расскажите про вашу сестру». Княгиня Мягкая тотчас же по своей привычке перебила его и стала сама рассказывать.

— Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают; а она не хотела обманывать и сделала прекрасно. И еще лучше сделала, потому что бросила этого полоумного вашего зятя. Вы меня извините. Все говорили, что он умен, умен, одна я говорила, что он глуп. Теперь, когда он связался с Лидией и с Landau, все говорят, что он полоумный, и я бы и рада не соглашаться со всеми, но на этот раз не могу.

— Да объясните мне, пожалуйста,— сказал Степан Аркадьич,— что это такое значит? Вчера я был у него по делу сестры и просил решительного ответа. Он не дал мне ответа и сказал, что подумает, а нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер к графине Лидии Ивановне.

— Ну так, так! — с радостью заговорила княгиня Мягкая. —Они спросят у Landau, что он скажет.

— Как, вы не знаете Jules Landau, le fameux Jules Landau, le clair-voyant? ^ Он тоже полоумный, но от него зависит судьба вашей сестры. Вот что происходит от жизни в провинции, вы ничего не знаете. Landau, видите ли, commis ^ был в магазине в Париже и пришел к доктору. У доктора в приемной он заснул и во сне стал всем больным давать советы. И удивительные советы. Потом Юрия Мелединского — знаете, больного? — жена узнала про этого Landau и взяла его к мужу. Он мужа ее лечит. И никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он все такой же расслабленный, но они в него веруют и возят с собой. И привезли в Россию. Здесь все на него набросились, и он всех стал лечить. Графиню Беззубову вылечил, и она так полюбила его, что усыновила. — Как усыновила? — Так, усыновила. Он теперь не Landau больше, а граф Беззубов. Но дело не в том, а Лидия,— я ее очень люблю, но у нее голова не на месте, — разумеется, накинулась теперь на этого Landau, и без него ни у нее, пи у Алексея Александровича ничего не решается, и поэтому судьба вашей сестры теперь в руках этого Landau, иначе графа Беззубова. XXI После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бартиянского, Степан Аркадыіч, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ивановне. — Кто егце у графини? Француз? — спросил Степан Аркадьич швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное, наивное пальто с застежками. — Алексей Александрович Каренин и граф Беззубов,— строго отвечал швейцар. «Княгиня Мягкая угадала,— подумал Степан Аркадьич, входя на лестницу. — Странно! Однако хорошо было бы сблизиться с ней. Она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко Поморскому, то уже верно». Было епі,е совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ивановны с опущ,енными шторами уже горели лампы. ‘ Жюля Ландо, знаменитого }Кюля Ландо, ясновидящего? (Франц.) ^ приказчиком (франц.). 814

— Как, вы не знаете Jules Landau, le fameux Jules Landau, le clair-voyant? [1] Он тоже полоумный, но от него зависит судьба вашей сестры. Вот что происходит от жизни в провинции, вы ничего не знаете. Landau, видите ли, commis [2] был в магазине в Париже и пришел к доктору. У доктора в приемной он заснул и во сне стал всем больным давать советы. И удивительные советы. Потом Юрия Мелединского — знаете, больного? — жена узнала про этого Landau и взяла его к мужу. Он мужа ее лечит. И никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он все такой же расслабленный, но они в него веруют и возят с собой. И привезли в Россию. Здесь все на него набросились, и он всех стал лечить. Графиню Беззубову вылечил, и она так полюбила его, что усыновила.

— Как усыновила?

— Так, усыновила. Он теперь не Landau больше, а граф Беззубов. Но дело не в том, а Лидия,— я ее очень люблю, но у нее голова не на месте, — разумеется, накинулась теперь на этого Landau, и без него ни у нее, ни у Алексея Александровича ничего не решается, и поэтому судьба вашей сестры теперь в руках этого Landau, иначе графа Беззубова.

XXI

После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бартнянского, Степан Аркадьич, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ивановне.

— Кто еще у графини? Француз? — спросил Степан Аркадьич швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное, наивное пальто с застежками.

— Алексей Александрович Каренин и граф Беззубов,— строго отвечал швейцар.

«Княгиня Мягкая угадала,— подумал Степан Аркадьич, входя на лестницу.— Странно! Однако хорошо было бы сблизиться с ней. Она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко Поморскому, то уже верно».

Было еще совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ивановны с опущенными шторами уже горели лампы.

---

[1] Жюля Ландо, знаменитого Жюля Ландо, ясновидящего? *(франц.)*

у круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий, худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый, с блестящими прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротнике его сюртука, стоял на другом конце, оглядывая стену с портретами. Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадьич невольно взглянул еще раз на незнакомого человека. — Monsieur Landau! — обратилась к нему графиня с поразившею Облонского мягкостью и осторожностью. И она познакомила их. Landau поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадьича неподвилшую потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись. — Я очень рада видеть вас, в особенности нынче, — сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадьичу место подле Каренина. — Я вас познакомила с ним как с Landau, — сказала она тихим голосом, взглянув на француза и потом тотчас на Алексея Александровича, — но он, собственно, граф Беззубов, как вы, вероятно, знаете. Только он не любит этого титула. — Да, я слышал, — отвечал Степан Аркадьич, — говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову. — Она была нынче у меня, она так жалка! — обратилась графиня к Алексею Александровичу.— Разлука эта для нее ужасна. Для нее это такой удар! — А он положительно едет? — спросил Алексей Александрович. — Да, он едет в Париж. Он вчера слышал голос, — сказала графиня Лидия Ивановна, глядя на Степана Аркадьича. — Ах, голос! — повторил Облонский, чувствуя, что надо быть как можно осторожнее в этом обществе, в котором происходит или должно происходить что-^то особенное, к чему он не имеет еще ключа. Наступило минутное молчание, после которого графиня Лидия Ивановна, как бы приступая к главному предмету разговора, с тонкою улыбкой сказала Облонскому: 315

У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий, худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый, с блестящими прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротнике его сюртука, стоял на другом конце, оглядывая стену с портретами. Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадьич невольно взглянул еще раз на незнакомого человека.

— Monsieur Landau! — обратилась к нему графиня с поразившею Облонского мягкостью и осторожностью. И она познакомила их.

Landau поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадьича неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись.

— Я очень рада видеть вас, в особенности нынче,— сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадьичу место подле Каренина.

— Я вас познакомила с ним как с Landau, — сказала она тихим голосом, взглянув на француза и потом тотчас на Алексея Александровича, — но он, собственно, граф Беззубов, как вы, вероятно, знаете. Только он не любит этого титула.

— Да, я слышал,— отвечал Степан Аркадьич,— говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову.

— Она была нынче у меня, она так жалка! — обратилась графиня к Алексею Александровичу.— Разлука эта для нее ужасна. Для нее это такой удар!

— А он положительно едет? — спросил Алексей Александрович.

— Да, он едет в Париж. Он вчера слышал голос,— сказала графиня Лидия Ивановна, глядя на Степана Аркадьича.

— Ах, голос! — повторил Облонский, чувствуя, что надо быть как можно осторожнее в этом обществе, в котором происходит или должно происходить что-то особенное, к чему он не имеет еще ключа.

Наступило минутное молчание, после которого графиня Лидия Ивановна, как бы приступая к главному

— я вас давно знаю и очень рада узнать вас ближе. Les amis de nos amis sont nos amis ^ Но для того чтобы быть другом, надо вдумываться в состояние души друга, а я боюсь, что вы этого не делаете в отношении к Алексею Александровичу. Вы понимаете, о чем я говорю,— сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза. — Отчасти, графиня, я понимаю, что положение Алексея Александровича... — сказал Облонский, не понимая хорошенько, в чем дело, и потому желая оставаться в общ;ем. — Перемена не во внешнем положении, — строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим к Landau Алексеем Александровичем, — сердце его изменилось, ему дано новое сердце, и я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нем. — То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену. Мы всегда были дружны, и теперь... — отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьич, соображая, с кем из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придется просить ее. — Та перемена, которая произошла в нем, не может ослабить его чувства любви к ближним; напротив, перемена, которая произошла в нем, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю? — сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай. — Не совсем, графиня. Разумеется, его несчастье... — Да, несчастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое, исполнилось им,— сказала она, влюбленно глядя на Степана Аркадьича. «Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим», — думал Степан Аркадьич. — О, конечно, графиня, — сказал он, — но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить. — Напротив! Мы должны говорить и помогать друг Другу. — Да, без сомнения, но бывает такая разница убеящепий, и притом... — с мягкою улыбкой сказал Облонский. — Не моя^ет быть разницы в деле святой истины. ^ Друзья наших друзей — наши друзья (франц.). 316

— Я вас давно знаю и очень рада узнать вас ближе. Les amis de nos amis sont nos amis [1]. Но для того чтобы быть другом, надо вдумываться в состояние души друга, а я боюсь, что вы этого не делаете в отношении к Алексею Александровичу. Вы понимаете, о чем я говорю,— сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза.

— Отчасти, графиня, я понимаю, что положение Алексея Александровича...— сказал Облонский, не понимая хорошенько, в чем дело, и потому желая оставаться в общем.

— Перемена не во внешнем положении,— строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим к Landau Алексеем Александровичем,— сердце его изменилось, ему дано новое сердце, и я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нем.

— То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену. Мы всегда были дружны, и теперь...— отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьич, соображая, с кем из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придется просить ее.

— Та перемена, которая произошла в нем, не может ослабить его чувства любви к ближним; напротив, перемена, которая произошла в нем, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю? — сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай.

— Не совсем, графиня. Разумеется, его несчастье...

— Да, несчастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое, исполнилось им,— сказала она, влюбленно глядя на Степана Аркадьича.

«Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим»,— думал Степан Аркадьич.

— О, конечно, графиня,— сказал он,— но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить.

— Напротив! Мы должны говорить и помогать друг другу.

— Да, без сомнения, но бывает такая разница убеждений, и притом...— с мягкою улыбкой сказал Облонский.

— Не может быть разницы в деле святой истины.

— о да, конечно, но... — И, смутившись, Степан Аркадьич замолчал. Он понял, что дело шло о религии. — Мне кажется, он сейчас заснет, — значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне. Степан Аркадьич оглянулся. Landau сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обраш;енные на него взгляды, он поднял голову и улыбнулся детски-наивною улыбкой. — Не обращайте внимания, — сказала Лидия Ивановна и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу.— Я замечала... — начала она что-то, как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку и, извинившись, с чрезвычайною быстротой написала и отдала ответ и вернулась к столу.— Я замечала, — продолжала она начатый разговор, — что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди. — О нет, графріня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми, — отвечал Степан Аркадьич. — Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных, — с усталою улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович. — Как можно быть равнодушным! — сказала Лидия Ивановна. — Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании,— сказал Степан Аркадьич с своею самою смягчающей улыбкой.— Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов. Алексей Александрович и Лидия Ивановна переглянулись. — Мы не мо^кем знать никогда, наступило или нет ДЛЯ нас время, — сказал Алексей Александрович строго. — Мы не должны думать о том, готовы ли мы, или не готовы: благодать не руководствуется человеческими соображениями; она иногда не сходит на трудящихся и сходит на неприготовленных, как на Савла. — Нет, кажется, ие теперь еще, — сказала Лидия Ивановна, следившая в это время за движениями француза. Landau встал и подошел к ним. — Вы мне позволите слушать? — спросил он. — О да, я не хотела вам мешать, — нежно глядя на пего, сказала Лидия Ивановна, — садитесь с нами. 317

— О да, конечно, но... — И, смутившись, Степан Аркадьич замолчал. Он понял, что дело шло о религии.

— Мне кажется, он сейчас заснет,— значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне.

Степан Аркадьич оглянулся. Landau сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обращенные на него взгляды, он поднял голову и улыбнулся детски-наивною улыбкой.

— Не обращайте внимания,— сказала Лидия Ивановна и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу.— Я замечала...— начала она что-то, как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку и, извинившись, с чрезвычайною быстротой написала и отдала ответ и вернулась к столу.— Я замечала,— продолжала она начатый разговор,— что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди.

— О нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми, — отвечал Степан Аркадьич.

— Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных,— с усталою улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович.

— Как можно быть равнодушным! — сказала Лидия Ивановна.

— Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании,— сказал Степан Аркадьич с своею самою смягчающей улыбкой.—Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов.

Алексей Александрович и Лидия Ивановна переглянулись.

— Мы не можем знать никогда, наступило или нет для нас время,— сказал Алексей Александрович строго.— Мы не должны думать о том, готовы ли мы, или не готовы: благодать не руководствуется человеческими соображениями; она иногда не сходит на трудящихся и сходит на неприготовленных, как на Савла.

— Нет, кажется, не теперь еще, — сказала Лидия Ивановна, следившая в это время за движениями француза.

Landau встал и подошел к ним.

— Вы мне позволите слушать? — спросил он.

— Надо только не закрывать глаз, чтобы не лишиться света, — продолжал Алексей Александрович. — Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе! — сказала графиня Лидия Ивановна, блаженно улыбаясь. — Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту,— сказал Степан Аркадькч, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем свободомыслии перед особой, которая одним словом Поморскому может доставить ему желаемое место. — То есть вы хотите сказать, что грех мешает ему? — сказала Лидия Ивановна.— Но это ложное мнение. Греха пет для верующ,их, грех уже искуплен. Pardon,— прибавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила: — Завтра у великой княгини, скажите. — Для верующ;его нет греха, — продолжала она разговор. — Да, но вера без дел мертва есть,— сказал Степан Аркадыіч, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой уже отстаивая свою независимость. — Вот оно, из послания апостола Иакова, — сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком обращаясь к Лидии Ивановне, очевидно как о деле, о котором они не раз уже говорили. — Сколько вреда сделало ложное толкование этого места! Ничто так не отталкивает от веры, как это толкование. «У меня нет дел, я не могу верить», тогда как это нигде не сказано. А сказано обратное. — Трудиться для бога, трудами, постом спасать душу, — с гадливым презрением сказала графиня Лидия Ивановна, — это дикие понятия наших монахов... Тогда как это нигде не сказано. Это гораздо проще и легче,— прибавила она, глядя на Облонского с тою самою ободряющею улыбкой, с которою она при дворе ободряла молодых, смущенных новою обстановкой фрейлин. — Мы спасены Христом, пострадавшим за нас. Мы спасены верой, — одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович. — Vous comprenez l’anglais? ^ — спросила Лидия Ивановна и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать па полочке книги. ^ Вы понимаете по английски? (Франц.) 318

— Надо только не закрывать глаз, чтобы не лишиться света,— продолжал Алексей Александрович.

— Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе! — сказала графиня Лидия Ивановна, блаженно улыбаясь.

— Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту,— сказал Степан Аркадьич, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем свободомыслии перед особой, которая одним словом Поморскому может доставить ему желаемое место.

— То есть вы хотите сказать, что грех мешает ему? — сказала Лидия Ивановна.— Но это ложное мнение. Греха нет для верующих, грех уже искуплен. Pardon,— прибавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила: — Завтра у великой княгини, скажите.— Для верующего нет греха,— продолжала она разговор.

— Да, но вера без дел мертва есть,— сказал Степан Аркадьич, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой уже отстаивая свою независимость.

— Вот оно, из послания апостола Иакова,— сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком обращаясь к Лидии Ивановне, очевидно как о деле, о котором они не раз уже говорили. — Сколько вреда сделало ложное толкование этого места! Ничто так не отталкивает от веры, как это толкование. «У меня нет дел, я не могу верить», тогда как это нигде не сказано. А сказано обратное.

— Трудиться для бога, трудами, постом спасать душу,— с гадливым презрением сказала графиня Лидия Ивановна,— это дикие понятия наших монахов... Тогда как это нигде не сказано. Это гораздо проще и легче,— прибавила она, глядя на Облонского с тою самою ободряющею улыбкой, с которою она при дворе ободряла молодых, смущенных новою обстановкой фрейлин.

— Мы спасены Христом, пострадавшим за нас. Мы спасены верой,— одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович.

— Vous comprenez l'anglais? [1] — спросила Лидия Ивановна и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги.

— я хочу прочесть «Safe and Happy» \ или «Under the wing»?^ — сказала она, вопросительно взглянув па Каренина. И, найдя книгу и опять сев на место, она открыла ее. — Это очень коротко. Тут описан путь, которым приобретается вера, и то счастье превыше всего земного, которое при этом наполняет душу. Человек веруюш;ий не может быть несчастлив, потому что он не один. Да вот вы увидите. — Она собралась уже читать, как опять вошел лакей. — Бороздина? Скажите, завтра в два часа. — Да, — сказала она, заложив пальцем место в книге и со вздохом взглянув пред собой задумчивыми прекрасными глазами. — Вот как действует вера настояш^ая. Вы знаете Санину Мари? Вы знаете ее несчастье? Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянье. Ну, и что ж? Она нашла этого друга, и она благодарит бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера! — О да, это очень... — сказал Степан Аркадьич, довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться. «Нет, уж, видно, лучше ни о чем не просить ее нынче,— думал он, — только бы, не напутав, выбраться отсюда». — Вам будет ску^іно, — сказала графиня Лидия Ивановна, обраш;аясь к Landau, — вы не знаете по-английски, по это коротко. — О, я пойму, — сказал с той же улыбкой Landau п закрыл глаза. Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение. XXII Степан Аркадьич чувствовал себя совершенно озадаченным теми новыми для него странными речами, которые он слышал. Усложненность петербургской жизни вообпд;е возбудительно действовала на него, выводя его из московского застоя; но эти усложнения он любил и понимал в сферах, ему близких и знакомых; в этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные или плутовские — он сам ^ «Спасеппый и счастливый» (англ.). ^ «Под крылом» 319

— Я хочу прочесть «Safe and Happy» [1], или «Under the wing»? [2] — сказала она, вопросительно взглянув на Каренина. И, найдя книгу и опять сев на место, она открыла ее.— Это очень коротко. Тут описан путь, которым приобретается вера, и то счастье превыше всего земного, которое при этом наполняет душу. Человек верующий не может быть несчастлив, потому что он не один. Да вот вы увидите.— Она собралась уже читать, как опять вошел лакей.— Бороздина? Скажите, завтра в два часа.— Да,— сказала она, заложив пальцем место в книге и со вздохом взглянув пред собой задумчивыми прекрасными глазами. — Вот как действует вера настоящая. Вы знаете Санину Мари? Вы знаете ее несчастье? Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянье. Ну, и что ж? Она нашла этого друга, и она благодарит бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера!

— О да, это очень...— сказал Степан Аркадьич, довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться. «Нет, уж, видно, лучше ни о чем не просить ее нынче,— думал он,— только бы, не напутав, выбраться отсюда».

— Вам будет скучно,— сказала графиня Лидия Ивановна, обращаясь к Landau, — вы не знаете по-английски, но это коротко.

— О, я пойму, — сказал с той же улыбкой Landau и закрыл глаза.

Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение.

XXII

Степан Аркадьич чувствовал себя совершенно озадаченным теми новыми для него странными речами, которые он слышал. Усложненность петербургской жизни вообще возбудительно действовала на него, выводя его из московского застоя; но эти усложнения он любил и понимал в сферах, ему близких и знакомых; в этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные или плутовские — он сам

не знал — глаза Landau, Степан Аркадьил начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове. «Мари Санина радуется тому, что у ней умер ребенок... Хорошо бы покурить теперь... Чтобы спастись, нужно только верить, и монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Лидия Ивановна... И отчего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или оттого, что уж очень все это странно? Я все-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал. Но все-таки просить ее уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться. Как бы меня не заставили. Это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо. Landau — Беззубов. Отчего он Беззубов?» Вдруг Степан Аркадьич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться па зевок. Он поправил бакенбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал: «Он спит». Степан Аркадьич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и уличенным. Но тотчас же он утешился, увидав, что слова «он спит» относились не к нему, а к Landau. Француз заснул так же, как Степан Аркадьич. Но сон Степана Аркадьича, как он думал, обидел бы их (впрочем, он и этого не думал, так уж ему все казалось странно), а сон Landau обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. — Mon ami сказала Лидия Ивановна, осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем называя уже Каренина не Алексеем Александровичем, а «mon ami», — donnez lui la main. Vous voyez? ^ Шш! — зашикала она на вошедшего опять лакея. — Не принимать. Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла, и потною рукой, лежавшею на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на ^ Друг мой (Франц.). ^ дайте ему руку. Видите? (франц.) 320

не знал — глаза Landau, Степан Аркадьич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове.

Самые разнообразные мысли путались у него в голове. «Мари Санина радуется тому, что у ней умер ребенок... Хорошо бы покурить теперь... Чтобы спастись, нужно только верить, и монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Лидия Ивановна... И отчего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или оттого, что уж очень все это странно? Я все-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал. Но все-таки просить ее уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться. Как бы меня не заставили. Это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо. Landau — Беззубов. Отчего он Беззубов?» Вдруг Степан Аркадьич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил бакенбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал: «Он спит».

Степан Аркадьич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и уличенным. Но тотчас же он утешился, увидав, что слова «он спит» относились не к нему, а к Landau. Француз заснул так же, как Степан Аркадьич. Но сон Степана Аркадьича, как он думал, обидел бы их (впрочем, он и этого не думал, так уж ему все казалось странно), а сон Landau обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну.

— Mon ami [1],— сказала Лидия Ивановна, осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем называя уже Каренина не Алексеем Александровичем, а «mon ami», — donnez lui la main. Vous voyez? [2] Шш! — зашикала она на вошедшего опять лакея.— Не принимать.

Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла, и потною рукой, лежавшею на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на

---

1 Друг мой (*франц.*).

того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо. — Que Ia personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande, qu'elle sorte! Qu'elle sorte! ^ — проговорил француз, не открывая глаз. — Vous m'excuserez, ,mais vous voyez... Revenez vers dix heures, encore mieux demain — Qu'elle sorte! — нетерпеливо повторил француз. — C'est moi, n'est ce pas? ^ И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Ивановну, забыв и о деле сестры, с одним желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и, как из зараженного дома, выбеятл на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство. Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским Степан Аркадьич отдышался немножко свойственным ему воздухом. Но все-таки в этот вечер ему было очень не по себе. Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он останавливался в Петербурге, Степан Аркадьич нашел записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает докончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморш,иться над ней, как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжелое. Степан Аркадьич вышел посмотреть. Это был помолодевший Петр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу; но он велел себя поставить на ноги, увидав Степана Аркадыіча, и, уцепившись за него, пошел с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провел вечер, и тут же заснул. Степан Аркадьич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он ни вспоминал, все было гадко, но гаже всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечер у графини Лидии Ивановны. ^ Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть ои выйдет! Пусть выйдет! (франц.) ^ Извините меня, но вы видите... Приходите к десяти часам, еще лучше — завтра (франц.). ^ Это относится ко мне, не так ли? (франц.) 1 1 Л. Н. Толстой, т. 9

того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо.

— Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande, qu'elle sorte! Qu'elle sorte! [1] — проговорил француз, не открывая глаз.

— Vous m'excuserez, mais vous voyez... Revenez vers dix heures, encore mieux demain [2].

— Qu'elle sorte! — нетерпеливо повторил француз.

— C'est moi, n'est ce pas? [3]

И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Ивановну, забыв и о деле сестры, с одним желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и, как из зараженного дома, выбежал на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство.

Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским Степан Аркадьич отдышался немножко свойственным ему воздухом. Но все-таки в этот вечер ему было очень не по себе.

Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он останавливался в Петербурге, Степан Аркадьич нашел записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает докончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморщиться над ней, как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжелое.

Степан Аркадьич вышел посмотреть. Это был помолодевший Петр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу; но он велел себя поставить на ноги, увидав Степана Аркадьича, и, уцепившись за него, пошел с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провел вечер, и тут же заснул.

Степан Аркадьич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он ни вспоминал, все было гадко, но гаже всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечер у графини Лидии Ивановны.

---

[1] Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет! Пусть выйдет! *(франц.)*

[2] Извините меня, но вы видите... Приходите к десяти часам,

На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ в развэде Анны и понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своем настоящем или притворном сне. XXIII Для того чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято. Многие семьи по годам остаются на старых местах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия. И Вронскому и Анне московская жизнь в жару и пыли, когда солнце светило уже не по-весеннему, а по-летнему, и все деревья на бульварах давно уже были в листьях, и листья были уже покрыты пылью, была невыносима; но они, не переезжая в Воздвиженское, как это давно было решено, продолжали жить в опостылевшей им обоим Москве, потому что в последнее время согласия не было между ними. Раздражение, разделявшее их, не имело никакой внешней причины, и все попытки объяснения не только не устраняли, но увеличивали его. Это было раздражение внутреннее, имевшее для нее основанием уменьшение его любви, для него — раскаяние в том, что он поставил себя ради ее в тяжелое положение, которое она, вместо того чтоб облегчить, делает еще более тяягелым. Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг другу. Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно — любовь к женщинам, и эта любовь, которая, по ее чувству, должна была быть вся сосредоточена на пей одной, любовь эта уменьшилась; следовательно, по ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину, — и опа ревновала. Она ревновала его не к какой-нибудь женщине, а к уменьшению его любви. Не имея еще предмета для ревности, она отыскивала его. По малейшему намеку она переносила 322

На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ в развэде Анны и понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своем настоящем или притворном сне.

XXIII

Для того чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято.

Многие семьи по годам остаются на старых местах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия.

И Вронскому и Анне московская жизнь в жару и пыли, когда солнце светило уже не по-весеннему, а по-летнему, и все деревья на бульварах давно уже были в листьях, и листья были уже покрыты пылью, была невыносима; но они, не переезжая в Воздвиженское, как это давно было решено, продолжали жить в опостылевшей им обоим Москве, потому что в последнее время согласия не было между ними.

Раздражение, разделявшее их, не имело никакой внешней причины, и все попытки объяснения не только не устраняли, но увеличивали его. Это было раздражение внутреннее, имевшее для нее основанием уменьшение его любви, для него — раскаяние в том, что он поставил себя ради ее в тяжелое положение, которое она, вместо того чтоб облегчить, делает еще более тяжелым. Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг другу.

Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно — любовь к женщинам, и эта любовь, которая, по ее чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной, любовь эта уменьшилась; следовательно, по ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину,— и она ревновала. Она ревновала его не к какой-нибудь женщине, а к уменьшению его любви. Не имея еще предмета для ревности, она

свою ревность с одного предмета на другой. То она ревновала его к тем грубым женщинам, с которыми благодаря своим холостым связям он так легко мог войти в сношения; то она ревновала его к светским женщинам, с которыми он мог встретиться; то она ревновала его к воображаемой девушке, на которой он хотел, разорвав с ней связь, жениться. И эта последняя ревность более всего мучила ее, в особенности потому, что он сам неосторожно в откровенную минуту сказал ей, что его мать так мало понимает его, что позволила себе уговаривать его жениться па княжне Сорокиной. И, ревнуя его, Анна негодовала па него и отыскивала во всем поводы к негодованию. Во всем, что было тяжелого в ее положении, она обвиняла его. Мучительное состояние ожидания, которое она между небом и землей прожила в Москве, медленность и нерешительность Алексея Александровича, свое уединение — она все приписывала ему. Если б он любил, он понимал бы всю тяжесть ее положения и вывел бы ее из него. В том, что она жила в Москве, а не в деревне, он же был виноват. Он не мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. Ему, необходимо было общество, и он поставил ее в это ужасное положение, тяжесть которого он не хотел понимать. И опять он же был виноват в том, что она навеки разлучена с сыном. Даже те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, не успокоивали ее: в нежности его теперь она видела оттенок спокойствия, уверенности, которых не было прежде п которые раздражали ее. Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету (комната, где менее был слышен шум мостовой) и во всех подробностях передумывала выражения вчерашней ссоры. Возвращаясь все назад от памятных оскорбительных слов спора к тому, что было их поводом, она добралась наконец до начала разговора. Она долго не могла поверить тому, чтобы раздор начался с такого безобидного, не близкого ничьему сердцу разговора. А действительно, это было так. Все началось с того, что он посмеялся пад женскими гимназиями, считая их ненужными, а она заступилась за них. Он неуважительно отнесся к женскому образованию вообще и сказал, что Ганна, покровительствуемая Анной англичанка, вовсе но нуждалась в знании физики. 11* 323

свою ревность с одного предмета на другой. То она ревновала его к тем грубым женщинам, с которыми благодаря своим холостым связям он так легко мог войти в сношения; то она ревновала его к светским женщинам, с которыми он мог встретиться; то она ревновала его к воображаемой девушке, на которой он хотел, разорвав с ней связь, жениться. И эта последняя ревность более всего мучила ее, в особенности потому, что он сам неосторожно в откровенную минуту сказал ей, что его мать так мало понимает его, что позволила себе уговаривать его жениться на княжне Сорокиной.

И, ревнуя его, Анна негодовала на него и отыскивала во всем поводы к негодованию. Во всем, что было тяжелого в ее положении, она обвиняла его. Мучительное состояние ожидания, которое она между небом и землей прожила в Москве, медленность и нерешительность Алексея Александровича, свое уединение — она все приписывала ему. Если б он любил, он понимал бы всю тяжесть ее положения и вывел бы ее из него. В том, что она жила в Москве, а не в деревне, он же был виноват. Он не мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. Ему необходимо было общество, и он поставил ее в это ужасное положение, тяжесть которого он не хотел понимать. И опять он же был виноват в том, что она навеки разлучена с сыном.

Даже те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, не успокоивали ее: в нежности его теперь она видела оттенок спокойствия, уверенности, которых не было прежде и которые раздражали ее.

Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету (комната, где менее был слышен шум мостовой) и во всех подробностях передумывала выражения вчерашней ссоры. Возвращаясь все назад от памятных оскорбительных слов спора к тому, что было их поводом, она добралась наконец до начала разговора. Она долго не могла поверить тому, чтобы раздор начался с такого безобидного, не близкого ничьему сердцу разговора. А действительно, это было так. Все началось с того, что он посмеялся над женскими гимназиями, считая их ненужными, а она заступилась за них. Он неуважительно отнесся к женскому образованию вообще и сказал, что

Это раздражило Анну. Она видела в этом презрительный намек на свои занятия. И она придумала и сказала такую фразу, которая бы отплатила ему за сделанную ей боль. — Я не жду того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, как может их помнить любяпдий человек, но я ожидала просто деликатности, — сказала она. И действительно, он покраснел от досады и что-то сказал неприятное. Она не помнила, что она ответила ему, ко только тут к чему-то он, очевидно с желанием тоже сделать ей больно, сказал: — Мне неинтересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально. Эта жестокость его, с которою он разрушал мир, с таким трудом состроенный ею себе, чтобы переносить свою тяжелую жизнь, эта несправедливость его, с которою он обвинял ее в притворстве, в ненатуральности, взорвали ее. — Очень жалею, что одно грубое и материальное вам понятно и натурально, — сказала она и вышла из комнаты. Когда вчера вечером он пришел к ней, они не поминали о бывшей ссоре, но оба чувствовали, что ссора заглая^ена, а не прошла. Нынче он целый день не был дома, и ей было так одиноко и тяжело чувствовать себя с ним в ссоре, что она хотела все забыть, простить и примириться с ним, хотела обвинить себя и оправдать его. «Я сама виновата. Я раздражительна, я бессмысленно ревнива. Я примирюсь с ним, и уедем в деревню, там я буду спокойнее», — говорила она себе. «Ненатурально»,— вспомнила она вдруг более всего оскорбившее ее не столько слово, сколько намерение сделать ей больно. «Я знаю, что он хотел сказать; он хотел сказать: ненатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка. Что он понимает в любви к детям, в моей любви к Сереже, которым я для него пожертвовала? Но это желание сделать мне больно! Нет, он любит другую женщину, это пе моясет быть иначе». И, увидав, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько раз уже пройденный ею круг и вернулась к прежнему раздражению, она ужаснулась па самое себя. «Неужели нельзя? Неужели я не могу взять на себя? — 324

Это раздражило Анну. Она видела в этом презрительный намек на свои занятия. И она придумала и сказала такую фразу, которая бы отплатила ему за сделанную ей боль.

— Я не жду того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, как может их помнить любящий человек, но я ожидала просто деликатности, — сказала она.

И действительно, он покраснел от досады и что-то сказал неприятное. Она не помнила, что она ответила ему, но только тут к чему-то он, очевидно с желанием тоже сделать ей больно, сказал:

— Мне неинтересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально.

Эта жестокость его, с которою он разрушал мир, с таким трудом состроенный ею себе, чтобы переносить свою тяжелую жизнь, эта несправедливость его, с которою он обвинял ее в притворстве, в ненатуральности, взорвали ее.

— Очень жалею, что одно грубое и материальное вам понятно и натурально,— сказала она и вышла из комнаты.

Когда вчера вечером он пришел к ней, они не поминали о бывшей ссоре, но оба чувствовали, что ссора заглажена, а не прошла.

Нынче он целый день не был дома, и ей было так одиноко и тяжело чувствовать себя с ним в ссоре, что она хотела все забыть, простить и примириться с ним, хотела обвинить себя и оправдать его.

«Я сама виновата. Я раздражительна, я бессмысленно ревнива. Я примирюсь с ним, и уедем в деревню, там я буду спокойнее»,— говорила она себе.

«Ненатурально»,— вспомнила она вдруг более всего оскорбившее ее не столько слово, сколько намерение сделать ей больно.

«Я знаю, что он хотел сказать; он хотел сказать: ненатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка. Что он понимает в любви к детям, в моей любви к Сереже, которым я для него пожертвовала? Но это желание сделать мне больно! Нет, он любит другую женщину, это не может быть иначе».

И, увидав, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько раз уже пройденный ею круг и вернулась к прежнему раздражению, она ужаснулась на самое себя.

сказала опа себе и начала опять сначала.— Оя правдив, он честен, он любит меня. Я люблю его, на днях выйдет развод. Чего же еще нужно? Нул^но спокойствие и доверие, и я возьму па себя. Да, теперь, как он придет, я скалку, что я была виновата, хотя я и не была виновата, и мы уедем». И чтобы не думать более и не поддаваться раздражению, она позвонила и велела внести сундуки для укладки вещей в деревню. В десять часов Вронский приехал. XXIV — Что ж, весело было? — спросила опа, с виноватым и кротким выражением на лице выходя к нему навстречу. — Как обыкновенно, — отвечал он, тотчас же по одному взгляду на нее поняв, что опа в одном из своих хороших располол^ний. Он уже привык к этим переходам и нынче был особенно рад ему, потому что сам был в самом хорошем расположении духа. — Что я вижу! Вот это хорошо! — сказал он, указывая на сундуки в передней. — Да, надо ехать. Я ездила кататься, и так хорошо, что в деревню захотелось. Ведь тебя ничто не задерживает? — Только одного желаю. Сейчас я приду и поговорим, только переоденусь. Вели чаю дать. И он прошел в свой кабинет. Было что-то оскорбительное в том, что он сказал: «Вот это хорошо», как говорят ребенку, когда он перестал капризничать; и еще более была оскорбительна та противоположность между ее виноватым и его самоуверенным тоном; и она на мгновение почувствовала в себе поднимающееся люлание борьбы; но, сделав усилие над собой, она подавила его и встретила Вронского так же весело. Когда он вышел к ней, она рассказала ему, отчасти повторяя приготовленные слова, свой день и свои планы на отъезд. — Знаешь, на меня нашло точно вдохновение, — говорила опа. — Зачем ждать здесь развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу ничего слышать про развод. Я решила, что это не будет больше иметь влияния и а мою л^изпь. И ты согласен? 325

сказала она себе и начала опять сначала.— Он правдив, он честен, он любит меня. Я люблю его, на днях выйдет развод. Чего же еще нужно? Нужно спокойствие и доверие, и я возьму на себя. Да, теперь, как он придет, я скажу, что я была виновата, хотя я и не была виновата, и мы уедем».

И чтобы не думать более и не поддаваться раздражению, она позвонила и велела внести сундуки для укладки вещей в деревню.

В десять часов Вронский приехал.

XXIV

— Что ж, весело было? — спросила она, с виноватым и кротким выражением на лице выходя к нему навстречу.

— Как обыкновенно,— отвечал он, тотчас же по одному взгляду на нее поняв, что она в одном из своих хороших расположений. Он уже привык к этим переходам и нынче был особенно рад ему, потому что сам был в самом хорошем расположении духа.

— Что я вижу! Вот это хорошо! — сказал он, указывая на сундуки в передней.

— Да, надо ехать. Я ездила кататься, и так хорошо, что в деревню захотелось. Ведь тебя ничто не задерживает?

— Только одного желаю. Сейчас я приду и поговорим, только переоденусь. Вели чаю дать.

И он прошел в свой кабинет.

Было что-то оскорбительное в том, что он сказал: «Вот это хорошо», как говорят ребенку, когда он перестал капризничать; и еще более была оскорбительна та противоположность между ее виноватым и его самоуверенным тоном; и она на мгновение почувствовала в себе поднимающееся желание борьбы; но, сделав усилие над собой, она подавила его и встретила Вронского так же весело.

Когда он вышел к ней, она рассказала ему, отчасти повторяя приготовленные слова, свой день и свои планы на отъезд.

— Знаешь, на меня нашло точно вдохновение,— говорила она.— Зачем ждать здесь развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу ничего слышать про развод. Я решила, что это не будет больше иметь влияния на мою жизнь

— о да! — сказал ои, с беспокойством взглянув в ее взволнованное лицо. — Что же вы там делали, кто был? — сказала она, помолчав. Вронский назвал гостей. — Обед был прекрасный, и гонка лодок, и все это было довольно мило, но в Москве не Moryt без ridicu^ le К Явилась какая-то дама, учительница плаванья шведской королевы, и показывала свое искусство. — Как? плавала? — хмурясь, спросила Анна. — В каком-то красном costume de natation 2, старая, безобразная. Так когда же едем? — Что за глупая фантазия! Что ;ке, она особенно какнибудь плавает? — не отвечая, сказала Анна. — Решительно ничего особенного. Я и говорю, глупо ужасно. Так когда же ты думаешь ехать? Анна встряхнула головой, как бы желая отогнать неприятную мысль. — Когда ехать? Да чем раньше, тем лучше. Завтра не успеем. Послезавтра. — Да... нет, постой. Послезавтра воскресенье, мне надо быть у maman, — сказал Вронский, смутившись, потому что, как только он произнес имя матери, он почувствовал на себе пристальный подозрительный взгляд. Смущение его подтвердило ей ее подозрения. Она вспыхнула и отстранилась от него. Теперь уже не учительница шведской королевы, а княжна Сорокина, которая жила в подмосковной деревне вместе с графиней Вронской, представ вилась Анне. — Ты можешь поехать завтра? — сказала она. — Да нет же! По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получатся завтра, — отвечал ои. — Если так, то мы не уедем совсем. — Да отчего же? — Я не поеду позднее. В понедельник или никогда! — Почему же? — как бы с удивлением сказал Вронский. — Ведь это не имеет смысла! — Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Одно, что меня занимало здесь, — Ганна. Ты гово^ ^ смешного (Франц.). ^ купальном костюме (франц.). 326

— О да! — сказал он, с беспокойством взглянув в ее взволнованное лицо.

— Что же вы там делали, кто был? — сказала она, помолчав.

Вронский назвал гостей.

— Обед был прекрасный, и гонка лодок, и все это было довольно мило, но в Москве не могут без ridicule [1]. Явилась какая-то дама, учительница плаванья шведской королевы, и показывала свое искусство.

— Как? плавала? — хмурясь, спросила Анна.

— В каком-то красном costume de natation [2], старая, безобразная. Так когда же едем?

— Что за глупая фантазия! Что же, она особенно как-нибудь плавает? — не отвечая, сказала Анна.

— Решительно ничего особенного. Я и говорю, глупо ужасно. Так когда же ты думаешь ехать?

Анна встряхнула головой, как бы желая отогнать неприятную мысль.

— Когда ехать? Да чем раньше, тем лучше. Завтра не успеем. Послезавтра.

— Да... нет, постой. Послезавтра воскресенье, мне надо быть у maman, — сказал Вронский, смутившись, потому что, как только он произнес имя матери, он почувствовал на себе пристальный подозрительный взгляд. Смущение его подтвердило ей ее подозрения. Она вспыхнула и отстранилась от него. Теперь уже не учительница шведской королевы, а княжна Сорокина, которая жила в подмосковной деревне вместе с графиней Вронской, представилась Анне.

— Ты можешь поехать завтра? — сказала она.

— Да нет же! По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получатся завтра, — отвечал он.

— Если так, то мы не уедем совсем.

— Да отчего же?

— Я не поеду позднее. В понедельник или никогда!

— Почему же? — как бы с удивлением сказал Вронский. — Ведь это не имеет смысла!

— Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Одно, что меня занимало здесь, — Ганна. Ты гово-

---

[1] смешного (*франц.*)

рить, что это притворство. Ты ведь говорил вчера, что я не люблю дочь, а притворяюсь, что люблю эту англичанку, что это ненатурально; я бы желала знать, какая жизнь для меня здесь может быть натуральна! На мгновенье она очнулась и ужаснулась тому, что изменила своему намерению. Но и зная, что она губит себя, она не могла воздержаться, не могла не показать вхму, как он был неправ, не могла покориться ему. — Я никогда не говорил этого; я говорил, что не сочувствую этой внезапной любви. — Отчего ты, хвастаясь своею прямотой, не говоришь правду? — Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду, — сказал он тихо, удерживая поднимавшийся в нем гнев. — Очень жаль, если ты не уважаешь... — Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты не любишь меня, то лучше и честнее это сказать. — Нет, это становится невыносимо! — вскрикнул Вронский, вставая со стула. И, остановившись пред ней, он медленно выговорил: — Для чего ты испытываешь мое терпение? — сказал он с таким видом, как будто мог бы сказать епі,е многое, но удерживался.— Оно имеет пределы. — Что вы хотите этим сказать? — вскрикнула она, с ужасом вглядываясь в явное выражение ненависти, которое было во всем лице и в особенности в жестоких, грозных глазах. — Я хочу сказать... — начал было он, но остановился. — Я должен спросить, чего вы от меня хотите. — Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете, — сказала она, поняв все то, чего он не досказал. — Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено! Она направилась к двери. — Постой! По. ..стой! — сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку. — В чем дело? Я сказал, что отъезд надо отложить на три дня, ты мне сказала, что я лгу, и нечестный человек. — Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, — сказала опа, вспоминая слова еще прежней ссоры, — что это хуже, чем нечестный человек,— это человек без сердца. 327

ришь, что это притворство. Ты ведь говорил вчера, что я не люблю дочь, а притворяюсь, что люблю эту англичанку, что это ненатурально; я бы желала знать, какая жизнь для меня здесь может быть натуральна!

На мгновенье она очнулась и ужаснулась тому, что изменила своему намерению. Но и зная, что она губит себя, она не могла воздержаться, не могла не показать ему, как он был неправ, не могла покориться ему.

— Я никогда не говорил этого; я говорил, что не сочувствую этой внезапной любви.

— Отчего ты, хвастаясь своею прямотой, не говоришь правду?

— Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду,— сказал он тихо, удерживая поднимавшийся в нем гнев.— Очень жаль, если ты не уважаешь...

— Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты не любишь меня, то лучше и честнее это сказать.

— Нет, это становится невыносимо! — вскрикнул Вронский, вставая со стула. И, остановившись пред ней, он медленно выговорил: — Для чего ты испытываешь мое терпение? — сказал он с таким видом, как будто мог бы сказать еще многое, но удерживался.— Оно имеет пределы.

— Что вы хотите этим сказать? — вскрикнула она, с ужасом вглядываясь в явное выражение ненависти, которое было во всем лице и в особенности в жестоких, грозных глазах.

— Я хочу сказать... — начал было он, но остановился. — Я должен спросить, чего вы от меня хотите.

— Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете, — сказала она, поняв все то, чего он не досказал. — Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено!

Она направилась к двери.

— Постой! По...стой! — сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку.— В чем дело? Я сказал, что отъезд надо отложить на три дня, ты мне сказала, что я лгу, и нечестный человек.

— Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня,— сказала она,

— Нет, есть границы терпению! — вскрикнул он и быстро выпустил ее руку. «Он ненавидит меня, это ясно»,— подумала опа и молча, не оглядываясь, неверными шагами вышла из комнаты. «Он любит другую женщину, это еще яснее, — говорила она себе, входя в свою комнату. — Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено, — повторила она сказанные ею слова, — и надо кончить». «Но как?» — спросила она себя и села на кресло пред зеркалом. Мысли о том, куда опа поедет теперь —к тетке ли, у которой она воспитывалась, к Долли, или просто одна за границу, и о том, что он делает теперь один в кабинете, окончательная ли это ссора, или возможно еще примирение, и о том, что теперь будут говорить про нее все ее петербургские бывшие знакомые, как посмотрит на это Алексей Александрович, и много других мыслей о том, что будет теперь, после разрыва, приходили ей в голову, но она не всею душой отдавалась этим мыслям. В душе ее была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее сознать. Вспомнив еще раз об Алексее Александровиче, она вспомнила и время своей болезни после родов и то чувство, которое тогда не оставляло ее. «Зачем я не умерла?» — вспомнились ей тогдашние ее слова и тогдашнее ее чувство. И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все. «Да, умереть!..» «И стыд и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд — все спасается смертью. Умереть — и он будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня». С остановившеюся улыбкой сострадания к себе она сидела на кресле, снимая и надевая кольца с левой руки, живо с разных сторон представляя себе его чувства после ее смерти. Приближающиеся шаги, его шаги, развлекли ее. Как бы занятая укладыванием своих колец, она не обратилась дал^е к нему. Он подошел к ней и, взяв ее за руку, тихо сказал: — Анна, поедем послезавтра, если хочешь. Я па все согласен. Она молчала. — Что же? — спросил он. 328

— Нет, есть границы терпению! — вскрикнул он и быстро выпустил ее руку.

«Он ненавидит меня, это ясно»,—подумала она и молча, не оглядываясь, неверными шагами вышла из комнаты.

«Он любит другую женщину, это еще яснее, — говорила она себе, входя в свою комнату. — Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено,— повторила она сказанные ею слова,— и надо кончить».

«Но как?» — спросила она себя и села на кресло пред зеркалом.

Мысли о том, куда она поедет теперь —к тетке ли, у которой она воспитывалась, к Долли, или просто одна за границу, и о том, что *он* делает теперь один в кабинете, окончательная ли это ссора, или возможно еще примирение, и о том, что теперь будут говорить про нее все ее петербургские бывшие знакомые, как посмотрит на это Алексей Александрович, и много других мыслей о том, что будет теперь, после разрыва, приходили ей в голову, но она не всею душой отдавалась этим мыслям. В душе ее была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее сознать. Вспомнив еще раз об Алексее Александровиче, она вспомнила и время своей болезни после родов и то чувство, которое тогда не оставляло ее. «Зачем я не умерла?» — вспомнились ей тогдашние ее слова и тогдашнее ее чувство. И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все. «Да, умереть!..»

«И стыд и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд — все спасается смертью. Умереть — и он будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня». С остановившеюся улыбкой сострадания к себе она сидела на кресле, снимая и надевая кольца с левой руки, живо с разных сторон представляя себе его чувства после ее смерти.

Приближающиеся шаги, его шаги, развлекли ее. Как бы занятая укладываньем своих колец, она не обратилась даже к нему.

Он подошел к ней и, взяв ее за руку, тихо сказал:

— Анна, поедем послезавтра, если хочешь. Я на все согласен.

Она молчала.

— Ты сам знаешь, — сказала она, и в ту же минуту, не в силах удерживаться более, она зарыдала. — Брось меня, брось! — выговаривала она между рыданьями.— Я уеду завтра... Я больше сделаю. Кто я? развратная женщина. Камень на твоей шее. Я не хочу мучать тебя, не хочу! Я освобожу тебя. Ты не любишь, ты любишь другую! Вронский умолял ее успокоиться и уверял, что нет признака основания ее ревности, что он никогда не переставал и не перестанет любить ее, что он любит больше, чем прежде. — Анна, за что так мучать себя и меня? — говорил он, целуя ее руки. В лице его теперь выражалась нежность, и ей казалось, что она слышала ухом звук слез в его голосе и на руке своей чувствовала их влагу. II мгновенно отчаянная ревность Анны перешла в отчаянную, страстную нежность; она обнимала его, покрытвала поцелуями его голову, шею, руки. XXV Чувствуя, что примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за приготовление к отъезду. Хотя и не было решено, едут ли они в понедельник, или во вторник, так как оба вчера уступали один другому, Анна деятельно приготавливалась к отъезду, чувствуя себя теперь совершенно равнодушной к тому, что они уедут днем раньше или позже. Она стояла в своей комнате над открытым сундуком, отбирая вещи, когда он, уже одетый, раньше обыкновенного вошел к ней. — Я сейчас съезжу к maman, она может прислать мне деньги чрез Егорова. И завтра я готов ехать, — сказал он. Как ни хорошо она была настроена, упоминание о поездке на дачу к матери кольнуло ее. — Нет, я и сама не успею, — сказала она и тотчас же подумала: «Стало быть, можно было устроиться так, чтобы сделать, как я хотела». — Нет, как ты хотел, так и делай. Иди в столовую, я сейчас приду, только отобрать эти ненужные вещи,— сказала она, передавая на руку Аннушки, на которой уже лежала гора тряпок, еще что-то. Вронский ел свой бифстек, когда она вышла в столовую. 329

— Ты сам знаешь,— сказала она, и в ту же минуту, не в силах удерживаться более, она зарыдала.

— Брось меня, брось! — выговаривала она между рыданьями.— Я уеду завтра... Я больше сделаю. Кто я? развратная женщина. Камень на твоей шее. Я не хочу мучать тебя, не хочу! Я освобожу тебя. Ты не любишь, ты любишь другую!

Вронский умолял ее успокоиться и уверял, что нет признака основания ее ревности, что он никогда не переставал и не перестанет любить ее, что он любит больше, чем прежде.

— Анна, за что так мучать себя и меня? — говорил он, целуя ее руки. В лице его теперь выражалась нежность, и ей казалось, что она слышала ухом звук слез в его голосе и на руке своей чувствовала их влагу. И мгновенно отчаянная ревность Анны перешла в отчаянную, страстную нежность; она обнимала его, покрывала поцелуями его голову, шею, руки.

XXV

Чувствуя, что примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за приготовление к отъезду. Хотя и не было решено, едут ли они в понедельник, или во вторник, так как оба вчера уступали один другому, Анна деятельно приготавливалась к отъезду, чувствуя себя теперь совершенно равнодушной к тому, что они уедут днем раньше или позже. Она стояла в своей комнате над открытым сундуком, отбирая вещи, когда он, уже одетый, раньше обыкновенного вошел к ней.

— Я сейчас съезжу к maman, она может прислать мне деньги чрез Егорова. И завтра я готов ехать, — сказал он.

Как ни хорошо она была настроена, упоминание о поездке на дачу к матери кольнуло ее.

— Нет, я и сама не успею,— сказала она и тотчас же подумала: «Стало быть, можно было устроиться так, чтобы сделать, как я хотела».— Нет, как ты хотел, так и делай. Иди в столовую, я сейчас приду, только отобрать эти ненужные вещи,— сказала она, передавая на руку Аннушки, на которой уже лежала гора тряпок, еще что-то.

Вронский ел свой бифштек, когда она вышла в сто-

Ты не поверишь, как мне опостылели эти комнаты, — сказала она, садясь подле него к своему кофею. — Ничего пет ужаснее этих chambres garnies ^ Нет выражения лица в них, пет души. Эти часы, гардины, главное обои — кошмар. Я думаю о Воздвиженском, как об обетованной земле. Ты не отсылаешь еіде лошадей? — Нет, они поедут после пас. А ты куда-нибудь едешь? — Я хотела съездить к Вильсон. Мне ей свезти платья. Так решительно завтра? — сказала она веселым голосом; но вдруг лицо ее изменилось. Камердинер Вронского пришел спросить расписку па телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного в получении Вронским депеши, но он, как бы желал скрыть что-то от нее, сказал, что расписка в кабинете, и поспешно обратился к ней. — Непременно завтра я все кончу. — От кого депеша? — спросила она, не слушая его. — От Стивы, — отвечал он неохотно. — Отчего же ты не показал мне? Какая же может быть тайна между Стивой и мной? Вронский воротил камердинера и велел принесть депешу. — Я не хотел показывать потому, что Стива имеет страсть телеграфировать; что ж телеграфировать, когда ничего не решено? — О разводе? — Да, но он пишет: ничего епде не мог добиться. На днях обещал решительный ответ. Да вот прочти. Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал Вронский. В конце еще было прибавлено: надежды мало, но я сделаю все возможное и невозможное. — Я вчера сказала, что мне совершенно все равно, когда я получу и даже получу ли развод,— сказала она, покраснев. — Не было никакой надобности скрывать от меня. — «Так он может скрыть и скрывает от меня свою переписку с женщинами», — подумала она. — А Яшвин хотел приехать нынче утром с Войтовым,— сказал Вронский,— кажется, что он выиграл с Певцова все, и даже больше того, что тот может заплатить, — около шестидесяти тысяч. ^ меблированных комнат (франц.)п 330

— Ты не поверишь, как мне опостылели эти комнаты,— сказала она, садясь подле него к своему кофею.— Ничего нет ужаснее этих chambres garnies [1]. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы, гардины, главное обои — кошмар. Я думаю о Воздвиженском, как об обетованной земле. Ты не отсылаешь еще лошадей?

— Нет, они поедут после нас. А ты куда-нибудь едешь?

— Я хотела съездить к Вильсон. Мне ей свезти платья. Так решительно завтра? — сказала она веселым голосом; но вдруг лицо ее изменилось.

Камердинер Вронского пришел спросить расписку на телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного в получении Вронским депеши, но он, как бы желая скрыть что-то от нее, сказал, что расписка в кабинете, и поспешно обратился к ней.

— Непременно завтра я все кончу.

— От кого депеша? — спросила она, не слушая его.

— От Стивы,— отвечал он неохотно.

— Отчего же ты не показал мне? Какая же может быть тайна между Стивой и мной?

Вронский воротил камердинера и велел принесть депешу.

— Я не хотел показывать потому, что Стива имеет страсть телеграфировать; что ж телеграфировать, когда ничего не решено?

— О разводе?

— Да, но он пишет: ничего еще не мог добиться. На днях обещал решительный ответ. Да вот прочти.

Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал Вронский. В конце еще было прибавлено: надежды мало, но я сделаю все возможное и невозможное.

— Я вчера сказала, что мне совершенно все равно, когда я получу и даже получу ли развод,— сказала она, покраснев.— Не было никакой надобности скрывать от меня.— «Так он может скрыть и скрывает от меня свою переписку с женщинами»,— подумала она.

— А Яшвин хотел приехать нынче утром с Войтовым,— сказал Вронский,— кажется, что он выиграл с Певцова все, и даже больше того, что тот может заплатить,— около шестидесяти тысяч.

— Нет,— сказала она, раздражаясь тем, что он так очевидно этой переменой разговора показывал ей, что она раздражена, — почему же ты думаешь, что это известие так интересует меня, что надо даже скрывать? Я сказала, что не хочу об этом думать, и желала бы, чтобы ты этим так же мало интересовался, как и я. — Я интересуюсь потому, что люблю ясность, — сказал он. — Ясность не в форме, а в любви, — сказала она, все более и более раздражаясь не словами, а тоном холодного спокойствия, с которым он говорил. — Для чего ты желаешь этого? «Боже мой, опять об любви», — подумал он, морщась. — Ведь ты знаешь для чего: для тебя и для детей, которые будут, — сказал он. — Детей не будет. — Это очень жалко, — сказал он. — Тебе это нужно для детей, а обо мне ты не думаешь? — сказала она, совершенно забыв и не слыхав, что он сказал: «для тебя и для детей». Вопрос о возможности иметь детей был давно спорный и раздражавший ее. Его желание иметь детей она объясняла себе тем, что он не дорожил ее красотой. — Ах, я сказал: для тебя. Более всего для тебя, — морщась, точно от боли, повторил он,— потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения. «Да, вот он перестал теперь притворяться, и видна вся его холодная ненависть ко мне», — подумала она, не слушая его слов, но с ужасом вглядываясь в того холодного и жестокого судью, который, дразня ее, смотрел из его глаз. — Причина не та,— сказала она,— и я даже не понимаю, как причиной моего, как ты называешь, раздражения может быть то, что я нахожусь совершенно в твоей власти. Какая же тут неопределенность полол^ения? Напротив. — Очень яшлею, что ты не хочешь понять, — перебил ои ее, с упорством прелая высказать свою мысль, — неопределенность состоит в том, что тебе кажется, что я свободен. — Насчет этого ты можешь быть совершенно спокоен,- сказала она и, отвернувшись от него, стала пить кофей. 331

— Нет,— сказала она, раздражаясь тем, что он так очевидно этой переменой разговора показывал ей, что она раздражена,— почему же ты думаешь, что это известие так интересует меня, что надо даже скрывать? Я сказала, что не хочу об этом думать, и желала бы, чтобы ты этим так же мало интересовался, как и я.

— Я интересуюсь потому, что люблю ясность,— сказал он.

— Ясность не в форме, а в любви,— сказала она, все более и более раздражаясь не словами, а тоном холодного спокойствия, с которым он говорил.— Для чего ты желаешь этого?

«Боже мой, опять об любви»,— подумал он, морщась.

— Ведь ты знаешь для чего: для тебя и для детей, которые будут,— сказал он.

— Детей не будет.

— Это очень жалко,— сказал он.

— Тебе это нужно для детей, а обо мне ты не думаешь? — сказала она, совершенно забыв и не слыхав, что он сказал: «*для тебя* и для детей».

Вопрос о возможности иметь детей был давно спорный и раздражавший ее. Его желание иметь детей она объясняла себе тем, что он не дорожил ее красотой.

— Ах, я сказал: для тебя. Более всего для тебя, — морщась, точно от боли, повторил он,— потому что я уверен, что бóльшая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения.

«Да, вот он перестал теперь притворяться, и видна вся его холодная ненависть ко мне»,— подумала она, не слушая его слов, но с ужасом вглядываясь в того холодного и жестокого судью, который, дразня ее, смотрел из его глаз.

— Причина не та,— сказала она,— и я даже не понимаю, как причиной моего, как ты называешь, раздражения может быть то, что я нахожусь совершенно в твоей власти. Какая же тут неопределенность положения? Напротив.

— Очень жалею, что ты не хочешь понять,— перебил он ее, с упорством желая высказать свою мысль,— неопределенность состоит в том, что тебе кажется, что я свободен.

— Насчет этого ты можешь быть совершенно спокоен,— сказала она и, отвернувшись от него, стала пить

Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и по выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука, и жест, и звук, который она производила губами. — Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя, — сказала она, дрожащею рукой ставя чашку. — Но мы не об этом говорим. — Нет, об этом самом. II поверь, что для меня женщина, без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чуя^ая, не интересна, и я ее знать не хочу. — Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери. — Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той женщины нет сердца. — Я повторяю свою просьбу: не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю, — сказал он, возвышая голос и строго глядя на нее. Она не отвечала. Пристально глядя па него, на его лицо, руки, она вспоминала со всеми подробностями сцену вчерашнего примирения и его страстные ласки. «Эти, точно такие же ласки он расточал и будет и хочет расточать другим женщинам!» — думала она. — Ты не любишь мать. Это все фразы, фразы и фразы! — с ненавистью глядя на него, сказала она. — А если так, то надо... — Надо решиться, и я решилась, — сказала ока и хотела уйти, но в это время в комнату вошел Яшвип. Анна поздоровалась с ним и остановилась. Зачем, когда в душе у нее была буря и она чувствовала, что стоит на повороте жизни, который может иметь ужасные последствия, зачем ей в эту минуту надо было притворяться пред чужим человеком, который рано или поздно узнает же все, — она не знала; но, тотчас же смирив в себе внутреннюю бурю, она села и стала говорить с гостем. — Ну, что ваше дело? получили долг? — спросила опа Яшвина. — Да ничего; кажется, что я не получу всего, а в середу надо ехать. А вы когда? — сказал Яшвин, жмурясь поглядывая на Вронского п, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре. — Кан^ется, послезавтра, — сказал Вронский.

Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и по выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука, и жест, и звук, который она производила губами.

— Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя,— сказала она, дрожащею рукой ставя чашку.

— Но мы не об этом говорим.

— Нет, об этом самом. И поверь, что для меня женщина, без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, не интересна, и я ее знать не хочу.

— Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери.

— Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той женщины нет сердца.

— Я повторяю свою просьбу: не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю,— сказал он, возвышая голос и строго глядя на нее.

Она не отвечала. Пристально глядя на него, на его лицо, руки, она вспоминала со всеми подробностями сцену вчерашнего примирения и его страстные ласки. «Эти, точно такие же ласки он расточал и будет и хочет расточать другим женщинам!» — думала она.

— Ты не любишь мать. Это все фразы, фразы и фразы! — с ненавистью глядя на него, сказала она.

— А если так, то надо...

— Надо решиться, и я решилась,— сказала она и хотела уйти, но в это время в комнату вошел Яшвин. Анна поздоровалась с ним и остановилась.

Зачем, когда в душе у нее была буря и она чувствовала, что стоит на повороте жизни, который может иметь ужасные последствия, зачем ей в эту минуту надо было притворяться пред чужим человеком, который рано или поздно узнает же все,— она не знала; но, тотчас же смирив в себе внутреннюю бурю, она села и стала говорить с гостем.

— Ну, что ваше дело? получили долг? — спросила она Яшвина.

— Да ничего; кажется, что я не получу всего, а в середу надо ехать. А вы когда? — сказал Яшвин, жмурясь поглядывая на Вронского и, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре.

— Вы, впрочем, уже давно собираетесь. — Но теперь уже решительно, — сказала Апиа, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения. — Неужели же вам не жалко этого несчастного Певцова? — продолжала она разговор с Яшвияым. — Никогда не спрашивал себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно как па войне не спрашиваешь, жалко іілп не жалко. Ведь мое все состояние тут, — он показал на боковой карман, — и теперь я богатый человек; а нынче поеду в клуб и, может быть, выйду нищим. Ведь кто со мной садится — тоже хочет оставить меня без рубашки, а я его. Ну, и мы боремся, и в этом-то удовольствие. — Ну, а если бы вы были женаты, — сказала Анна, — каково бы вашей жене? Яшвин засмеялся. — Затем, видно, и не женился и никогда не собирался. — А Гельсингфорс? — сказал Вронский, вступая в разговор, и взглянул на улыбнувшуюся Анну. Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодко-строгое выражение, как будто она говорила ему: «Нс забыто. Все то же». — Неужели вы были влюблены? — сказала она ЯшБииу. — - О господи! сколько раз! Но, понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время rendez-vous Ч А мне можно любовью заниматься, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так и устраиваю. — Нет, я не про то спрагпиваю, а про настоящее. — Она хотела сказать Гельсингфорс; но не хотела сказать слово, сказанное Вронским. Приехал Войтов, покупавший жеребца; Анна встала и вышла из комнаты. Пред тем как уезжать из дома, Вронский вошел к ней. Она хотела притвориться, что ищет что-нибудь на столе, но, устыдившись притворства, прямо взглянула ему в лицо холодным взглядом. — Что вам надо? — спросила она его по-французски. — Взять аттестат на Гамбетту, я продал его, — сказал ^ свидания (Франц.), 333

— Вы, впрочем, уже давно собираетесь.

— Но теперь уже решительно,— сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения.

— Неужели же вам не жалко этого несчастного Певцова? — продолжала она разговор с Яшвиным.

— Никогда не спрашивал себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно как на войне не спрашиваешь, жалко или не жалко. Ведь мое все состояние тут,— он показал на боковой карман,— и теперь я богатый человек; а нынче поеду в клуб и, может быть, выйду нищим. Ведь кто со мной садится — тоже хочет оставить меня без рубашки, а я его. Ну, и мы боремся, и в этом-то удовольствие.

— Ну, а если бы вы были женаты,— сказала Анна,— каково бы вашей жене?

Яшвин засмеялся.

— Затем, видно, и не женился и никогда не собирался.

— А Гельсингфорс? — сказал Вронский, вступая в разговор, и взглянул на улыбнувшуюся Анну.

Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодно-строгое выражение, как будто она говорила ему: «Не забыто. Все то же».

— Неужели вы были влюблены? — сказала она Яшвину.

— О господи! сколько раз! Но, понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время rendez-vous [1]. А мне можно любовью заниматься, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так и устраиваю.

— Нет, я не про то спрашиваю, а про настоящее. — Она хотела сказать *Гельсингфорс;* но не хотела сказать слово, сказанное Вронским.

Приехал Войтов, покупавший жеребца; Анна встала и вышла из комнаты.

Пред тем как уезжать из дома, Вронский вошел к ней. Она хотела притвориться, что ищет что-нибудь на столе, но, устыдившись притворства, прямо взглянула ему в лицо холодным взглядом.

— Что вам надо? — спросила она его по-французски.

— Взять аттестат на Гамбетту, я продал его, — сказал

on таким тоном, который выражал яснее слов: «Объясняться мне некогда, п ни к чему не поведет». «Я пи в чем не виноват пред нею, — думал он. — Если она хочет себя наказывать, tant pis pour elle» К Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от сострадания к ней. — Что, Анна? — спросил он. — Я ничего, — отвечала она так я^е холодно и спокойно. — «Л ничего, так tant pis», — подумал он, опять похолодев, повернулся и пошел. Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дроя^аш,ими губами. Он и хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прелюде чем он придумал, что сказать. Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно, девушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болит голова и опа просила не входить к ней. XXVI Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве мояшо было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно-спокойным лицом? Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую я{енш,ину, — это было ясно. И, вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, и все более и более раздражалась. «Я вас не дерябу,— мог сказать он.— Вы можете идти, куда хотите. Вы не хотели разводиться с вашим мужем, вероятно, чтобы вернуться к нему. Вернитесь. Если вам нужны деньги, я дам вам. Сколько нужно вам рублей?» Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их. ^ тем хуже для нее (франц.). 334

он таким тоном, который выражал яснее слов: «Объясняться мне некогда, и ни к чему не поведет».

«Я ни в чем не виноват пред нею, — думал он. — Если она хочет себя наказывать, tant pis pour elle» [1]. Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от сострадания к ней.

— Что, Анна? — спросил он.

— Я ничего,— отвечала она так же холодно и спокойно.

— «А ничего, так tant pis», — подумал он, опять похолодев, повернулся и пошел. Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Он и хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прежде чем он придумал, что сказать. Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно, девушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болит голова и она просила не входить к ней.

XXVI

Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно-спокойным лицом? Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую женщину,— это было ясно.

И, вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, и все более и более раздражалась.

«Я вас не держу,— мог сказать он.— Вы можете идти, куда хотите. Вы не хотели разводиться с вашим мужем, вероятно, чтобы вернуться к нему. Вернитесь. Если вам нужны деньги, я дам вам. Сколько нужно вам рублей?»

Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их.

«А разве ne вчера только on клялся в любви, он, правдивый и честный человек? Разве я не отчаивалась напрасно уже много раз?» — вслед за тем говорила она себе. Весь этот день, за исключением поездки к Вильсон, которая заняла у нее два часа, Анна провела в сомнениях о том, все ли кончено или есть надежда примирения и надо ли ей сейчас уехать пли еще раз увидать его. Она ждала его целый день и вечером, уходя в свою комнату, приказав передать ему, что у нее голова болит, загадала себе: «Если он придет, несмотря на слова горничной, то, значит, он еще любит. Если же нет, то значит, все кончено, и тогда я решу, что мне делать!..» Она вечером слышала остановившийся стук его ко-ляски, его звонок, его шаги и разговор с девушкой: он поверил тому, что ему сказали, не хотел больше ничего узнавать и пошел к себе. Стало быть, все было кончено, И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. Теперь было все равно: ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод — все было ненужно. Нужно было одно — наказать его. Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучаться, раскаиваться п любить ее память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тень от ширмы, и яаіво представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет и она будет для него только одно воспомпнанпе. «Как мог я сказать ей эти жестокие слова? — будет говорить он. — Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего. Но теперь ее уж нет. Она навсегда ушла от нас. Она там...» Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть!» —подумала она. Н такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дро;кащими руками найти спички и зажечь другую свечу 335

«А разве не вчера только он клялся в любви, он, правдивый и честный человек? Разве я не отчаивалась напрасно уже много раз?» — вслед за тем говорила она себе.

Весь этот день, за исключением поездки к Вильсон, которая заняла у нее два часа, Анна провела в сомнениях о том, все ли кончено или есть надежда примирения и надо ли ей сейчас уехать или еще раз увидать его. Она ждала его целый день и вечером, уходя в свою комнату, приказав передать ему, что у нее голова болит, загадала себе: «Если он придет, несмотря на слова горничной, то, значит, он еще любит. Если же нет, то значит, все кончено, и тогда я решу, что мне делать!..»

Она вечером слышала остановившийся стук его коляски, его звонок, его шаги и разговор с девушкой: он поверил тому, что ему сказали, не хотел больше ничего узнавать и пошел к себе. Стало быть, все было кончено.

И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей.

Теперь было все равно: ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод — все было ненужно. Нужно было одно — наказать его.

Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучаться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет и она будет для него только одно воспоминание. «Как мог я сказать ей эти жестокие слова? — будет говорить он.— Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего. Но теперь ее уж нет. Она навсегда ушла от нас. Она там...» Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть!» —подумала она. И такой ужас нашел на нее,

вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, все — только жить! Ведь я люблю его. Ведь он любит меня! Это было и пройдет», — говорила она, чувствуя что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам. И, чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет ІЇ нему. Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему п, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности; но она знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что, прежде чем говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя. Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять II разбудил ее. Старичок-мужичок с взлохмаченною бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею, что-то страшное делает над ней. И опа проснулась в холодном поту. Когда она встала, ей, как в тумане, вспомнился вчерашний день. «Была ссора. Было то, что бывало уже несколько раз. Я сказала, что у меня голова болит, и он не входил. Завтра мы едем, надо видеть его и готовиться к отъезду»,— сказала она себе. И, узнав, что он в кабинете, она пошла к нему. Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъезда остановился экипаж, и, выглянув в окно, увидала карету, из которой высовывалась молодая девушка в лиловой шляпке, что-то приказывая звонившему лакею. После переговоров в передней кто-то вошел наверх, и рядом с гостиной послышались шаги Вронского. Он быстрыми шагами сходил по лестнице. Анна опять подошла к окну. Вот он вышел без шляпы на крыльцо и подошел к карете. Молодая девушка в лиловой шляпке передала ему пакет. Вронский, улыбаясь, сказал ей что-то. Карета отъехала; он быстро взбежал назад по лестнице. 336

вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, все — только жить! Ведь я люблю его. Ведь он любит меня! Это было и пройдет», — говорила она, чувствуя что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам. И, чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет к нему.

Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему и, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности; но она знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что, прежде чем говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя.

Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок-мужичок с взлохмаченною бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею, что-то страшное делает над ней. И она проснулась в холодном поту.

Когда она встала, ей, как в тумане, вспомнился вчерашний день.

«Была ссора. Было то, что бывало уже несколько раз. Я сказала, что у меня голова болит, и он не входил. Завтра мы едем, надо видеть его и готовиться к отъезду», — сказала она себе. И, узнав, что он в кабинете, она пошла к нему. Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъезда остановился экипаж, и, выглянув в окно, увидала карету, из которой высовывалась молодая девушка в лиловой шляпке, что-то приказывая звонившему лакею. После переговоров в передней кто-то вошел наверх, и рядом с гостиной послышались шаги Вронского. Он быстрыми шагами сходил по лестнице. Анна опять подошла к окну. Вот он вышел без шляпы на крыльцо и подошел к карете. Молодая девушка в лиловой шляпке передала ему пакет. Вронский, улыбаясь, сказал ей что-то. Карета отъехала;

Туман, застилавший все в ее душе, вдруг рассеялся. Вчерашние чувства с новой болью заш;емили больное сердце. Опа не могла понять теперь, как она могла унизиться до того, чтобы пробыть целый день с ним в его доме. Она вошла к нему в кабинет, чтоб объявить ему свое решение. — Это Сорокина с дочерью заезжала и привезла мне деньги и бумаги от maman. Я вчера не мог получить. Как твоя голова, лучше? — сказал он спокойно, не желая видеть п понимать мрачного и торжественного выражения ее лица. Она молча пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты. Он взглянул на нее, на мгновенье нахмурился п продолжал читать письмо. Она повернулась и медленно пошла из комнаты. Он еще мог вернуть ее, но она дошла до двери, он все молчал, и слышен был только звук шуршания перевертываемого листа бумаги. — Да, кстати, — сказал он в то время, когда она была уже в дверях, — завтра мы едем решительно? Не правда ли? — Вы, но не я, — сказала она, оборачиваясь к нему. — Анна, эдак невозмолшо жить... — Вы, но не я, — повторила она. — Это становится невыносимо! — Вы... вы раскаетесь в этом,— сказала она и вышла. Испуганный тем отчаянным выражением, с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел белчать за нею, но, опомнившись, опять сел и, крепко сжав зубы, нахмурился. Это неприличная, как он находил, угроза чего-то раздражила его. «Я пробовал все, — подумал он, — остается одно — не обращать внимания», и он стал собираться ехать в город и опять к матери, от которой надо было получить подпись на доверенности. Она слышала звуки его шагов по кабинету и столовой. У гостиной он остановился. Но он не повернул к ней, он только отдал приказание о том, чтоб отпустили без него Войтову жеребца. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел опять. Но вот он опять вошел в сени, и кто-то взбежал наверх. Это камердинер вбегал за забытыми перчатками. Она подошла к окну и видела, как он не глядя взял перчатки и, тронув рукой спину кучера, что-то сказал ему. Потом, не глядя в окна, он сел в свою обычную позу в коляске, заложив догу па ногу, и, надевая перчатку, скрылся за углом. 337

Туман, застилавший все в ее душе, вдруг рассеялся. Вчерашние чувства с новой болью защемили больное сердце. Она не могла понять теперь, как она могла унизиться до того, чтобы пробыть целый день с ним в его доме. Она вошла к нему в кабинет, чтоб объявить ему свое решение.

— Это Сорокина с дочерью заезжала и привезла мне деньги и бумаги от maman. Я вчера не мог получить. Как твоя голова, лучше? — сказал он спокойно, не желая видеть и понимать мрачного и торжественного выражения ее лица.

Она молча пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты. Он взглянул на нее, на мгновенье нахмурился и продолжал читать письмо. Она повернулась и медленно пошла из комнаты. Он еще мог вернуть ее, но она дошла до двери, он все молчал, и слышен был только звук шуршания перевертываемого листа бумаги.

— Да, кстати,— сказал он в то время, когда она была уже в дверях, — завтра мы едем решительно? Не правда ли?

— Вы, но не я,— сказала она, оборачиваясь к нему.

— Анна, эдак невозможно жить...

— Вы, но не я,— повторила она.

— Это становится невыносимо!

— Вы... вы раскаетесь в этом,— сказала она и вышла.

Испуганный тем отчаянным выражением, с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел бежать за нею, но, опомнившись, опять сел и, крепко сжав зубы, нахмурился. Это неприличная, как он находил, угроза чего-то раздражила его. «Я пробовал все,— подумал он,— остается одно — не обращать внимания», и он стал собираться ехать в город и опять к матери, от которой надо было получить подпись на доверенности.

Она слышала звуки его шагов по кабинету и столовой. У гостиной он остановился. Но он не повернул к ней, он только отдал приказание о том, чтоб отпустили без него Войтову жеребца. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел опять. Но вот он опять вошел в сени, и кто-то взбежал наверх. Это камердинер вбегал за забытыми перчатками. Она подошла к окну и видела, как он не глядя взял перчатки и, тронув рукой спину кучера, что-то сказал ему. Потом, не глядя

XXVII «Уехал! Кончено!» — сказала себе Анна, стоя у окна; и в ответ на этот вопрос впечатления мрака при потухшей свече и страшного спа, сливаясь в одно, холодным ужасом наполнили ее сердце. «Нет, это не мол^ет быть!» — вскрикнула она и, перейдя комнату, крепко позвонила. Ей так страшно было теперь оставаться одной, что, не дожидаясь прихода человека, она пошда навстречу ему. — Узнайте, куда поехал граф, — сказала она. Человек отвечал, что граф поехал в конюшни. — Они приказали доложить, что если вам угодно выехать, то коляска сейчас вернется. — Хорошо. Постойте. Сейчас я напишу записку. Пошлите Михайлу с запиской в конюшни. Поскорее. Она села и написала: «Я виновата. Вернись домой, надо объясниться. Ради бога, приезл^ай, мне страшно». Опа запечатала и отдала человеку. Она боялась оставаться одна теперь и вслед за человеком вышла из комнаты и пошла в детскую. «Что ж, это не то, это не он! Где его голубые глаза, милая и робкая улыбка?» — была первая мысль ее, когда она увидала свою пухлую, румяную девочку с черными волосами, вместо Серелаі, которого она, при запутанности своих мыслей, ожидала видеть в детской. Девочка, сидя у стола, упорно и крепко хлопала по нем пробкой и бессмысленно глядела на мать двумя смородинами — черными глазами. Ответив англичанке, что она совсем здорова и что завтра уезжает в деревню, Анна подсела к девочке и стала пред нею вертеть пробку с графина. Но громкий, звонкий смех ребенка и движение, которое она сделала бровью, так живо ей напомнили Вронского, что, удерживая рыдания, она поспешно встала и вышла. «Неужели все кончено? Нет, это не может быть, — думала она. — Он вернется. Но как он объяснит мне эту улыбку, это оживление после того, как он говорил с ней? Но и не объяснит, все-таки поверю. Если я не поверю, то мне остается одно, — а я не хочу». Она посмотрела на часы. Прошло двенадцать минут. «Теперь уж он получил записку и едет назад. Недолго, 338

XXVII

«Уехал! Кончено!» — сказала себе Анна, стоя у окна; и в ответ на этот вопрос впечатления мрака при потухшей свече и страшного сна, сливаясь в одно, холодным ужасом наполнили ее сердце.

«Нет, это не может быть!» — вскрикнула она и, перейдя комнату, крепко позвонила. Ей так страшно было теперь оставаться одной, что, не дожидаясь прихода человека, она пошла навстречу ему.

— Узнайте, куда поехал граф,— сказала она.

Человек отвечал, что граф поехал в конюшни.

— Они приказали доложить, что если вам угодно выехать, то коляска сейчас вернется.

— Хорошо. Постойте. Сейчас я напишу записку. Пошлите Михайлу с запиской в конюшни. Поскорее.

Она села и написала:

«Я виновата. Вернись домой, надо объясниться. Ради бога, приезжай, мне страшно».

Она запечатала и отдала человеку.

Она боялась оставаться одна теперь и вслед за человеком вышла из комнаты и пошла в детскую.

«Что ж, это не то, это не он! Где его голубые глаза, милая и робкая улыбка?» — была первая мысль ее, когда она увидала свою пухлую, румяную девочку с черными волосами, вместо Сережи, которого она, при запутанности своих мыслей, ожидала видеть в детской. Девочка, сидя у стола, упорно и крепко хлопала по нем пробкой и бессмысленно глядела на мать двумя смородинами — черными глазами. Ответив англичанке, что она совсем здорова и что завтра уезжает в деревню, Анна подсела к девочке и стала пред нею вертеть пробку с графина. Но громкий, звонкий смех ребенка и движение, которое она сделала бровью, так живо ей напомнили Вронского, что, удерживая рыдания, она поспешно встала и вышла. «Неужели все кончено? Нет, это не может быть,— думала она.— Он вернется. Но как он объяснит мне эту улыбку, это оживление после того, как он говорил с ней? Но и не объяснит, все-таки поверю. Если я не поверю, то мне остается одно,— а я не хочу».

Она посмотрела на часы. Прошло двенадцать минут.

еще десять минут... Но что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Я пойду ухмоюсь. Да, да, чесалась я, или пет?» — спросила она себя. И не могла вспомнить. Она ощупала голову рукой. «Да, я причесана, но когда, решительно не помню». Она даже не верила своей руке п подошла к трюмо, чтоб увидать, причесана ли она в самом деле, или нет? Она была причесана и не могла вспомнить, когда она это делала. «Кто это?» — думала она, глядя в зеркало на воспаленное лицо со странно блестящими глазами, испуганно смотревшими па нее. «Да это я», — вдруг поняла опа, и оглядывая себя всю, она почувствовала на себе его поцелуи и, содрогаясь, двинула плечами. Потом подняла руку к губам и поцеловала ее. «Что это, я с ума схожу», — и она пошла в спальню, где Аниушка убирала комнату. — Аннушка, — - сказала она, останавливаясь пред ней и глядя на горничную, сама не зная, что скажет ей. — К Дарье Александровне вы хотели ехать,— как бы понимая, сказала горничная. — К Дарье Александровне? Да, я поеду. «Пятнадцать минут туда, пятнадцать назад. Он едет уже, он приедет сейчас. — Она вынула часы и посмотрела на них. — Но как он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мною?» Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. По времени он уже мог вернуться. Но расчет мог быть неверен, и она вновь стала вспоминать, когда он уехал, и считать минуты. В то время как она отходила к большим часам, чтобы проверить свои, кто-то подъехал. Взглянув из окна, она увидала его коляску. Но пикто не шел на лестницу, и внизу слышны были голоса. Это был посланный, вернувшийся в коляске. Она сошла к нему. — Графа не застали. Опи уехали на Нижегородскую дорогу. — Что тебе? Что?..— обратилась она к румяному, веселому Михайле, подавшему ей назад ее записку. «Да ведь он не получил ее», — вспомнила она. — Поезжай с этой же запиской в деревню к графине Вронской, знаешь? И тотчас же привези ответ,— сказала она посланному. 339

еще десять минут... Но что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Я пойду умоюсь. Да, да, чесалась я, или нет?» — спросила она себя. И не могла вспомнить. Она ощупала голову рукой. «Да, я причесана, но когда, решительно не помню». Она даже не верила своей руке и подошла к трюмо, чтоб увидать, причесана ли она в самом деле, или нет? Она была причесана и не могла вспомнить, когда она это делала. «Кто это?» — думала она, глядя в зеркало на воспаленное лицо со странно блестящими глазами, испуганно смотревшими на нее. «Да это я», — вдруг поняла она, и оглядывая себя всю, она почувствовала на себе его поцелуи и, содрогаясь, двинула плечами. Потом подняла руку к губам и поцеловала ее.

«Что это, я с ума схожу»,— и она пошла в спальню, где Аннушка убирала комнату.

— Аннушка, — сказала она, останавливаясь пред ней и глядя на горничную, сама не зная, что скажет ей.

— К Дарье Александровне вы хотели ехать,— как бы понимая, сказала горничная.

— К Дарье Александровне? Да, я поеду.

«Пятнадцать минут туда, пятнадцать назад. Он едет уже, он приедет сейчас.— Она вынула часы и посмотрела на них.— Но как он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мною?» Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. По времени он уже мог вернуться. Но расчет мог быть неверен, и она вновь стала вспоминать, когда он уехал, и считать минуты.

В то время как она отходила к большим часам, чтобы проверить свои, кто-то подъехал. Взглянув из окна, она увидала его коляску. Но никто не шел на лестницу, и внизу слышны были голоса. Это был посланный, вернувшийся в коляске. Она сошла к нему.

— Графа не застали. Они уехали на Нижегородскую дорогу.

— Что тебе? Что?..— обратилась она к румяному, веселому Михайле, подавшему ей назад ее записку.

«Да ведь он не получил ее»,— вспомнила она.

— Поезжай с этой же запиской в деревню к графине

«А я сама, что же я буду делать? — подумала опа.— Да, я поеду к Долли, это правда, а то я с ума сойду. Да, я могу еще телеграфировать». И она написала депешу: «Мне необходимо переговорить, сейчас приезжайте». Отослав телеграмму, она пошла одеваться. Уже одетая и в шляпе, она опять взглянула в глаза потолстевшей, спокойной Аннушки. Явное сострадание было видно в этих маленьких добрых серых глазах. — Аннушка, милая, что мне делать? — рыдая, проговорила Анна, беспомощно опускаясь на кресло. — Что же так беспокоиться, Анна Аркадьевна! Ведь это бывает. Вы поезн^айте, рассеетесь, — сказала горничная. — Да, я поеду,— опоминаясь и вставая, сказала Анна. — А если без меня будет телеграмма, прислать к Дарье Александровне... Нет, я сама вернусь. «Да, не надо думать, надо делать что-пибудь, ехать, главное уехать из этого дома», — сказала она, с ужасом прислушиваясь к страшному клокотанью, происходившему в ее сердце, и поспешно вышла и села в коляску. — Куда прикажете? — спросил Петр, пред тем как садиться на козлы. — На Знаменку, к Облонским. XXVПI Погода была ясная. Все утро шел частый, мелкий дождик, и теперь недавно прояснило. Железные кровли, плиты тротуаров, голыши мостовой, колеса и кожи, медь и жесть экипажей — все ярко блестело на майском солнце. Было три часа и самое оживленное время на улицах. Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна, при несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлениях на чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, увидала свое положение совсем иным, чем каким оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей более так страшна и ясна, и самая смерть не представлялась более неизбежною. Теперь она упрекала себя за то унижение, до которого она спустилась. «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему. Признала себя виноватою. Зачем? Разве я не могу 340

«А я сама, что же я буду делать? — подумала она.— Да, я поеду к Долли, это правда, а то я с ума сойду. Да, я могу еще телеграфировать». И она написала депешу:

«Мне необходимо переговорить, сейчас приезжайте».

Отослав телеграмму, она пошла одеваться. Уже одетая и в шляпе, она опять взглянула в глаза потолстевшей, спокойной Аннушки. Явное сострадание было видно в этих маленьких добрых серых глазах.

— Аннушка, милая, что мне делать? — рыдая, проговорила Анна, беспомощно опускаясь на кресло.

— Что же так беспокоиться, Анна Аркадьевна! Ведь это бывает. Вы поезжайте, рассеетесь,— сказала горничная.

— Да, я поеду,— опоминаясь и вставая, сказала Анна.— А если без меня будет телеграмма, прислать к Дарье Александровне... Нет, я сама вернусь.

«Да, не надо думать, надо делать что-нибудь, ехать, главное уехать из этого дома»,— сказала она, с ужасом прислушиваясь к страшному клокотанью, происходившему в ее сердце, и поспешно вышла и села в коляску.

— Куда прикажете? — спросил Петр, пред тем как садиться на козлы.

— На Знаменку, к Облонским.

XXVIII

Погода была ясная. Все утро шел частый, мелкий дождик, и теперь недавно прояснило. Железные кровли, плиты тротуаров, голыши мостовой, колеса и кожи, медь и жесть экипажей — все ярко блестело на майском солнце. Было три часа и самое оживленное время на улицах.

Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна, при несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлениях на чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, увидала свое положение совсем иным, чем каким оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей более так страшна и ясна, и самая смерть не представлялась более неизбежною. Теперь она упрекала себя за то унижение, до которого она

жить без него?» И, не отвечая на вопрос, как Ьна будет жить без него, опа стала читать вывески. «Контора II склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую се совету. Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А мытщенские колодцы и блины». И она вспомнила, как давно, давно, когда ей было еіце семнадцать лет, она ездила с теткой к Троице. «На лошадях еіце. Неужели это была я, с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унил^ения? Как он будет горд п доволен, получив мою записку! Но я докажу ему... Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы», — читала она. Мужчина поклонился ей. Это был муж Аннушки. «Наши паразиты, — вспомнила она, как это говорил Вронский. — Наши? почему паши? Улшсно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего. Нельзя вырвать, но моніно скрыть память о нем. И я скрою». И тут она вспомнила о прошедшем с Алексеем Александровичем, о том, как она изгладила его из своей памяти. «Долли подумает, что я оставляю второго мул^а и что я поэтому, наверное, неправа. Разве я хочу быть правой! Я не могу!» — проговорила она, и ей захотелось плакать. Но она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки. «Верно, о любви? Они не знают, как это невесело, как низко... Бульвар и дети. Три мальчика бегут, играя в лошадки. Сережа! И я все потеряю и не возвращ,у его. Да, все потеряю, если он не вернется. Он, может быть, опоздал на поезд и уже вернулся теперь. Опять хочешь унижения! — сказала она самой себе. — Нет, я войду к Долли и прямо скажу ей: я несчастна, я стою ,того, я виновата, но я все-таки несчастна, помоги мне. Эти лошади, эта коляска — как я отвратительна себе в этой коляске — все его; но я больше не увшку их». Придумывая те слова, в которых она все скажет Долли, и умышленно растравляя свое сердце, Анна вошла па лестницу. — Есть кто-нибудь? — спросила она в передней. — Катерина Александровна Левина,— отвечал лакей.

жить без него?» И, не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, она стала читать вывески. «Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее совету. Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А мытищенские колодцы и блины». И она вспомнила, как давно, давно, когда ей было еще семнадцать лет, она ездила с теткой к Троице. «На лошадях еще. Неужели это была я, с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения? Как он будет горд и доволен, получив мою записку! Но я докажу ему... Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы»,— читала она. Мужчина поклонился ей. Это был муж Аннушки. «Наши паразиты,— вспомнила она, как это говорил Вронский. — Наши? почему наши? Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего. Нельзя вырвать, но можно скрыть память о нем. И я скрою». И тут она вспомнила о прошедшем с Алексеем Александровичем, о том, как она изгладила его из своей памяти. «Долли подумает, что я оставляю второго мужа и что я поэтому, наверное, неправа. Разве я хочу быть правой! Я не могу!» — проговорила она, и ей захотелось плакать. Но она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки. «Верно, о любви? Они не знают, как это невесело, как низко... Бульвар и дети. Три мальчика бегут, играя в лошадки. Сережа! И я все потеряю и не возвращу его. Да, все потеряю, если он не вернется. Он, может быть, опоздал на поезд и уже вернулся теперь. Опять хочешь унижения! — сказала она самой себе.— Нет, я войду к Долли и прямо скажу ей: я несчастна, я стою того, я виновата, но я все-таки несчастна, помоги мне. Эти лошади, эта коляска — как я отвратительна себе в этой коляске — все его; но я больше не увижу их».

Придумывая те слова, в которых она все скажет Долли, и умышленно растравляя свое сердце, Анна вошла на лестницу.

Есть ли кто-нибудь? — спросила она в передней

«Кити! та самая Кити, в которую был влюблен Вронский, — подумала Анна, — та самая, про которую он вспоминал с любовью. Он жалеет, что не женился па ней. А обо мне он вспоминает с ненавистью и жалеет, что сошелся со мной». Между сестрами, в то время как приехала Анна, шло соБеш,ание о кормлении. Долли одна вышла встретить гостью, в эту минуту мешавшую их беседе. — А ты не уехала еще? Я хотела сама быть у тебя, — сказала она, — нынче я получила письмо от Стивы. — Мы тоже получили депешу,— отвечала Анна, оглядываясь, чтоб увидать Кити. — Он пишет, что не может понять, чего именно хочет Алексей Александрович, но что он не уедет без ответа. — Я думала, у тебя есть кто-то. Можно прочесть письмо? — Да, Кити, — смутившись, сказала Долли,— она в детской осталась. Она была очень больна. — Я слышала. Можно прочесть письмо? — Я сейчас принесу. Но он не отказывает; напротив, Стива надеется, — сказала Долли, останавливаясь в дверях. — Я не надеюсь, да и не желаю, — сказала Анна. «Что ж это, Кити считает для себя унизительным встретиться со мной? — думала Анна, оставшись одна. — Может быть, она и права. Но не ей, той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это, хотя это и правда. Я знаю, что меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Я знаю, что с той первой минуты я пожертвовала ему всем! И вот награда! О, как я ненавижу его! И зачем я приехала сюда? Мне еще хуже, еще тяжелее. — Она слышала из другой комнаты голоса переговаривавшріхся сестер. — И что ж я буду говорить теперь Долли? Утешать Кити тем, что я несчастна, подчиняться ее покровительству? Нет, да и Долли ничего не поймет. И мне нечего говорить ей. Интересно было бы только видеть Кити и показать ей, как я всех и все презираю, как мне все равно теперь». Долли вошла с письмом. Анна прочла и молча передала его. — Я все это знала, — сказала опа. — И это меня нисколько не интересует. — Да отчего же? Я, напротив, надеюсь, — сказала Долли, с любопытством глядя на Анну. Она никогда не ви342

«Кити! та самая Кити, в которую был влюблен Вронский,— подумала Анна,— та самая, про которую он вспоминал с любовью. Он жалеет, что не женился на ней. А обо мне он вспоминает с ненавистью и жалеет, что сошелся со мной».

Между сестрами, в то время как приехала Анна, шло совещание о кормлении. Долли одна вышла встретить гостью, в эту минуту мешавшую их беседе.

— А ты не уехала еще? Я хотела сама быть у тебя,— сказала она,— нынче я получила письмо от Стивы.

— Мы тоже получили депешу,— отвечала Анна, оглядываясь, чтоб увидать Кити.

— Он пишет, что не может понять, чего именно хочет Алексей Александрович, но что он не уедет без ответа.

— Я думала, у тебя есть кто-то. Можно прочесть письмо?

— Да, Кити,— смутившись, сказала Долли,— она в детской осталась. Она была очень больна.

— Я слышала. Можно прочесть письмо?

— Я сейчас принесу. Но он не отказывает; напротив, Стива надеется, — сказала Долли, останавливаясь в дверях.

— Я не надеюсь, да и не желаю,— сказала Анна.

«Что ж это, Кити считает для себя унизительным встретиться со мной? — думала Анна, оставшись одна.— Может быть, она и права. Но не ей, той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это, хотя это и правда. Я знаю, что меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Я знаю, что с той первой минуты я пожертвовала ему всем! И вот награда! О, как я ненавижу его! И зачем я приехала сюда? Мне еще хуже, еще тяжелее. — Она слышала из другой комнаты голоса переговаривавшихся сестер.— И что ж я буду говорить теперь Долли? Утешать Кити тем, что я несчастна, подчиняться ее покровительству? Нет, да и Долли ничего не поймет. И мне нечего говорить ей. Интересно было бы только видеть Кити и показать ей, как я всех и все презираю, как мне все равно теперь».

Долли вошла с письмом. Анна прочла и молча передала его.

— Я все это знала, — сказала она. — И это меня нисколько не интересует.

— Да отчего же? Я, напротив, надеюсь,— сказала До-

дала ее в таком странном раздраженном состоянии.— Ты когда едешь? — спросила она. Анна, сощурившись, смотрела пред собой и не отвечала ей. — Что ж Кити прячется от меня? — сказала она, глядя на дверь и краснея. — Ах, какие пустяки! Она кормит, и у нее не ладится дело, я ей советовала... Она очень рада. Она сейчас придет, — неловко, не умея говорить неправду, говорила Долли. — Да вот и она. Узнав, что приехала Анна, Кити хотела не выходить; но Долли уговорила ее. Собравшись с силами, Кити вышла и, краснея, подошла к ней и подала руку. — Я очень рада, — сказала она дрожащим голосом. Кити была смущена тою борьбой, которая происходила в пей, между враждебностью к этой дурной женщине и желанием быть снисходительною к ней; по как только она увидала красивое, симпатичное лицо Анны, вся враждебность тотчас же исчезла. — Я бы не удивилась, если бы вы и не хотели встретиться со мною. Я ко всему привыкла. Вы были больны? Да, вы переменились, — сказала Анна. Кити чувствовала, что Анна враждебно смотрит на нее. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней прежде покровительствовавшая ей Анна, и ей стало жалко ее. Они поговорили про болезнь, про ребенка, про Стиву, но, очевидно, ничто не интересовало Анну. — - Я заехала проститься с тобой, — сказала она, вставая. — Когда же вы едете? Но Анна опять, не отвечая, обратилась к Кити. — Да, я очень рада, что увидала вас,— сказала она с улыбкой. — Я слышала о вас столько со всех сторон, дая^е от вашего мужа. Он был у меня, и он мне очень понравился, — очевидно с дурным намерением прибавила она.— Где он? — Он в деревню поехал,— краснея, сказала Кити. — Кланяйтесь ему от меня, непременно кланяйтесь. — Непременно! — наивно повторила Кпти, соболезнующе глядя ей в глаза. — Так прощай, Долли! — И, поцеловав Долли и пояшв руку Кити, Анна поспешно вышла343

дала ее в таком странном раздраженном состоянии.— Ты когда едешь? — спросила она.

Анна, сощурившись, смотрела пред собой и не отвечала ей.

— Что ж Кити прячется от меня? — сказала она, глядя на дверь и краснея.

— Ах, какие пустяки! Она кормит, и у нее не ладится дело, я ей советовала... Она очень рада. Она сейчас придет,— неловко, не умея говорить неправду, говорила Долли.— Да вот и она.

Узнав, что приехала Анна, Кити хотела не выходить; но Долли уговорила ее. Собравшись с силами, Кити вышла и, краснея, подошла к ней и подала руку.

— Я очень рада,— сказала она дрожащим голосом.

Кити была смущена тою борьбой, которая происходила в ней, между враждебностью к этой дурной женщине и желанием быть снисходительною к ней; но как только она увидала красивое, симпатичное лицо Анны, вся враждебность тотчас же исчезла.

— Я бы не удивилась, если бы вы и не хотели встретиться со мною. Я ко всему привыкла. Вы были больны? Да, вы переменились,— сказала Анна.

Кити чувствовала, что Анна враждебно смотрит на нее. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней прежде покровительствовавшая ей Анна, и ей стало жалко ее.

Они поговорили про болезнь, про ребенка, про Стиву, но, очевидно, ничто не интересовало Анну.

— Я заехала проститься с тобой, — сказала она, вставая.

— Когда же вы едете?

Но Анна опять, не отвечая, обратилась к Кити.

— Да, я очень рада, что увидала вас,— сказала она с улыбкой.— Я слышала о вас столько со всех сторон, даже от вашего мужа. Он был у меня, и он мне очень понравился,— очевидно с дурным намерением прибавила она.— Где он?

— Он в деревню поехал,— краснея, сказала Кити.

— Кланяйтесь ему от меня, непременно кланяйтесь.

— Непременно! — наивно повторила Кити, соболезнующе глядя ей в глаза.

— Все такая же и так же привлекательна. Очень хороша! — сказала Кити, оставшись одна с сестрой. — Но что-то жалкое есть в ней! Ужасно жалкое! — Нет, нынче в ней что-то особенное, — сказала Долли. — Когда я ее провожала в передней, мне показалось, что она хочет плакать. XXIX Анна села в коляску в еш,е худшем состоянии, чем то, в каком она была, уезжая из дома. К прежним мучениям присоединилось теперь чувство оскорбления и отверженности, которое она ясно почувствовала при встрече с Кити. — Куда прикажете? Домой? — спросил Петр. — Да, домой, — сказала она, теперь и не думая о том, куда она едет. «Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотрели на меня. О чем он может с таким жаром рассказывать другому? — думала она, глядя на двух пешеходов. — Разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та еще бы более была рада. Как я ее всю вижу насквозь! Она знает, что я больше, чем обыкновенно, любезна была к ее мужу. И она ревнует и ненавидит меня. И презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина. Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя ее мужа... если бы хотела. Да я и хотела. Вот этот доволен собой,— -подумала она о толстом, румяном господине, проехавшем навстречу, принявшем ее за знакомую и приподнявшем лоснящуюся шляпу над лысою лоснящеюся головой и потом убедившемся, что он ошибся. — Он думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают наверное, — думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженика, который снимал с головы кадку и утирал концом полотенца потное лицо. — Всем нам хочется сладкого, вкусного. 344

— Все такая же и так же привлекательна. Очень хороша! — сказала Кити, оставшись одна с сестрой. — Но что-то жалкое есть в ней! Ужасно жалкое!

— Нет, нынче в ней что-то особенное,— сказала Долли.— Когда я ее провожала в передней, мне показалось, что она хочет плакать.

XXIX

Анна села в коляску в еще худшем состоянии, чем то, в каком она была, уезжая из дома. К прежним мучениям присоединилось теперь чувство оскорбления и отверженности, которое она ясно почувствовала при встрече с Кити.

— Куда прикажете? Домой? — спросил Петр.

— Да, домой,— сказала она, теперь и не думая о том, куда она едет.

«Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотрели на меня. О чем он может с таким жаром рассказывать другому? — думала она, глядя на двух пешеходов.—Разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та еще бы более была рада. Как я ее всю вижу насквозь! Она знает, что я больше, чем обыкновенно, любезна была к ее мужу. И она ревнует и ненавидит меня. И презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина. Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя ее мужа... если бы хотела. Да я и хотела. Вот этот доволен собой,—подумала она о толстом, румяном господине, проехавшем навстречу, принявшем ее за знакомую и приподнявшем лоснящуюся шляпу над лысою лоснящеюся головой и потом убедившемся, что он ошибся.— Он думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают наверное,— думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженика, который снимал с головы кадку и утирал концом полотен-

Нет конфет, то грязного мороженого. И Кити так же: не Вронский, то Левин. И она завидует мне. И ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. Тютькин, coiffeur... Je me fais coiffer par Тютькин... ^ Я это скажу ему, когда он приедет, — подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего сметного. — Да и ничего сметного, веселого нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот как аккуратно крестится! — точно боится выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бранятся. Яшвин говорит: ои хочет меня оставить без рубатки, а я его. Вот это правда!» На этих мыслях, которые завлекли ее так, что она перестала даже думать о своем положении, ее застала остановка у крыльца своего дома. Увидав вышедтего ей навстречу твейцара, она только вспомнила, что посылала записку и телеграмму. — Ответ есть? — спросила она. — Сейчас посмотрю, — отвечал твейцар и, взглянув на конторке, достал и подал ей квадратный тонкий конверт телеграммы. «Я не могу приехать раньте десяти часов. Вронский», — прочла она. — А посланный не возвращался? — Никак нет, — отвечал твейцар. «А, если так, то я знаю, что мне делать, — сказала она, и, чувствуя поднимающийся в себе неопределенный гнев и потребность мести, опа взбежала наверх. — Я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!» — думала она. Увидав его тляпу на веталке, она содрогнулась от отвращения. Она не соображала того, что его телеграмма была ответ на ее телеграмму и что он не получал еще ее записки. Она представляла его себе теперь спокойно разговаривающим с матерью и с Сорокиной и радующимся ее страданиям. «Да, надобно ехать скорее», — сказала она себе, еще не зная, куда ехать. Ей хотелось поскорее уйти от тех чувств, которые она испытывала в этом уя^асном доме. Прислуга, стены, вещи в этом доме — все вызывало в ней отвращение и злобу и давило ее какою-то тяжестью. ^ парикліахер. Я причесываюсь у Тютькина... (франц.) 345

Нет конфет, то грязного мороженого. И Кити так же: не Вронский, то Левин. И она завидует мне. И ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. Тютькин, coiffeur... Je me fais coiffer par Тютькин...[1] Я это скажу ему, когда он приедет,— подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смешного.— Да и ничего смешного, веселого нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот как аккуратно крестится! — точно боится выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бранятся. Яшвин говорит: он хочет меня оставить без рубашки, а я его. Вот это правда!»

На этих мыслях, которые завлекли ее так, что она перестала даже думать о своем положении, ее застала остановка у крыльца своего дома. Увидав вышедшего ей навстречу швейцара, она только вспомнила, что посылала записку и телеграмму.

— Ответ есть? — спросила она.

— Сейчас посмотрю,— отвечал швейцар и, взглянув на конторке, достал и подал ей квадратный тонкий конверт телеграммы. «Я не могу приехать раньше десяти часов. Вронский»,— прочла она.

— А посланный не возвращался?

— Никак нет,— отвечал швейцар.

«А, если так, то я знаю, что мне делать,— сказала она, и, чувствуя поднимающийся в себе неопределенный гнев и потребность мести, она взбежала наверх.— Я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!» — думала она. Увидав его шляпу на вешалке, она содрогнулась от отвращения. Она не соображала того, что его телеграмма была ответ на ее телеграмму и что он не получал еще ее записки. Она представляла его себе теперь спокойно разговаривающим с матерью и с Сорокиной и радующимся ее страданиям. «Да, надобно ехать скорее»,— сказала она себе, еще не зная, куда ехать. Ей хотелось поскорее уйти от тех чувств, которые она испытывала в этом ужасном доме. Прислуга, стены, вещи в этом доме — все вызывало в ней отвращение и злобу и давило ее какою-то тяжестью.

«Да, надо ехать на станцию яюлезкой дороги, а если пет, то поехать туда и улилить его». Липа посмотрела в газетах расписание поездов. Вечером отходит в восемь часов две минуты. «Да, я поспею». Она велела заложить других лошадей и занялась укладкой в дорожную сумку необходимых на несколько дней вещей. Она знала, что не вернется более сюда. Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, что после того, что произойдет там на станции пли в именье графини, она поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там. Обед стоял на столе; опа подошла, понюхала хлеб и сыр и, убедившись, что запах всего съестного ей противен, велела подавать коляску и вышла. Дом уже бросал тень чрез всю улицу, и был ясный, еще теплый на солнце вечер. И провожавшая ее с вещами Аннушка, и Петр, клавший вещи в коляску, и кучер, очевидно недовольный, — все были противны ей и раздражали ее своими словами и движепиями. — Мне тебя не нуяшо, Петр. — А как же билет? — Ну, как хочешь, мне все равно, — с досадой сказала она. Петр вскочил на козлы и, подбоченившись, приказал ехать на вокзал. XXX «Вот она опять! Опять я понимаю все», — сказала себе Анна, как только коляска тронулась и, покачиваясь, загремела по мелкой мостовой, и опять одно за другим стали сменяться впечатления. «Да, о чем я последнем так хорошо думала? — старалась вспомнить она. — Тютькин, coiffeur? Нет, не то. Да, про то, что говорит Яшвин: борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете, — мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город.— И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете». Кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертвопьяного фабричного с качающеюся головой, которого вез куда-то городовой. «Вот этот — скорее, — подумала она.

«Да, надо ехать на станцию железной дороги, а если нет, то поехать туда и уличить его». Анна посмотрела в газетах расписание поездов. Вечером отходит в восемь часов две минуты. «Да, я поспею». Она велела заложить других лошадей и занялась укладкой в дорожную сумку необходимых на несколько дней вещей. Она знала, что не вернется более сюда. Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, что после того, что произойдет там на станции или в именье графини, она поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там.

Обед стоял на столе; она подошла, понюхала хлеб и сыр и, убедившись, что запах всего съестного ей противен, велела подавать коляску и вышла. Дом уже бросал тень чрез всю улицу, и был ясный, еще теплый на солнце вечер. И провожавшая ее с вещами Аннушка, и Петр, клавший вещи в коляску, и кучер, очевидно недовольный,— все были противны ей и раздражали ее своими словами и движениями.

— Мне тебя не нужно, Петр.

— А как же билет?

— Ну, как хочешь, мне все равно,— с досадой сказала она.

Петр вскочил на козлы и, подбоченившись, приказал ехать на вокзал.

XXX

«Вот она опять! Опять я понимаю все»,— сказала себе Анна, как только коляска тронулась и, покачиваясь, загремела по мелкой мостовой, и опять одно за другим стали сменяться впечатления.

«Да, о чем я последнем так хорошо думала? — старалась вспомнить она.— Тютькин, coiffeur? Нет, не то. Да, про то, что говорит Яшвин: борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете,— мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город.— И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете». Кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертвопьяного фабричного с качающеюся головой, которого вез куда-то

с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя II много ол^идали от него». И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним, о которых прежде она избегала думать. «Чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тіцеславия». Она вспоминала его слова, выражение лица его, напоминаюп^ее покорную лягавую собаку, в первое время их связи. И все теперь подтверждало это. «Да, в нем было торжество тіцеславного успеха. Разумеется, была и любовь, ко большая доля была гордость успеха. Он хвастался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему. Он тяготится мною и старается не быть в отношении меня бесчестным. Он проговорился вчера,— он хочет развода и женитьбы, чтобы сжечь свои корабли. Он любит меня — но как? The zest is gone Ч Этот хочет всех удивить и очень доволен собой,— подумала она, глядя на румяного приказчика, ехавшего на манежной лошади. — Да, того вкуса уж нет для пего во мне. Если я уеду от него, он в глубине души будет рад». Это было не предположение, — она ясно видела это Б том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни п людских отношений. «Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее, а его все гаснет п гаснет, и вот отчего мы расходимся, — продолжала она думать. — И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, п я требую, чтоб он весь больше п больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И измеБить этого нельзя. Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива, п я говорила себе, что я бессмысленно ревнива; по это неправда. Я не ревнива, а я недовольна. Но... — Она открыла рот и переместилась в коляске от волнения, возбужденного в ней пришедшею ей вдруг мыслью. — Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любяіцей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим. И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это ие может быть иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что піі не имеет видов на Сорокину, что он не влюблен в Кити, Вкус притупился (англ.). 347

с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него». И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним, о которых прежде она избегала думать. «Чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия». Она вспоминала его слова, выражение лица его, напоминающее покорную лягавую собаку, в первое время их связи. И все теперь подтверждало это. «Да, в нем было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была и любовь, но бóльшая доля была гордость успеха. Он хвастался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему. Он тяготится мною и старается не быть в отношении меня бесчестным. Он проговорился вчера,— он хочет развода и женитьбы, чтобы сжечь свои корабли. Он любит меня — но как? The zest is gone [1]. Этот хочет всех удивить и очень доволен собой,— подумала она, глядя на румяного приказчика, ехавшего на манежной лошади.— Да, того вкуса уж нет для него во мне. Если я уеду от него, он в глубине души будет рад».

Это было не предположение,— она ясно видела это в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений.

«Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот отчего мы расходимся,— продолжала она думать.— И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И изменить этого нельзя. Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива, и я говорила себе, что я бессмысленно ревнива; но это неправда. Я не ревнива, а я недовольна. Но... — Она открыла рот и переместилась в коляске от волнения, возбужденного в ней пришедшею ей вдруг мыслью. — Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим. И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это не может быть иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что он не имеет видов на Сорокину, что он не влюблен в Кити,

что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче. Если он, не любя меня, из долга будет добр, ниячен ко мне, а того не будет, чего я хочу,— да это хуже в тысячу раз даже, чем злоба! Это — ад! А это-то и есть. Он уж давно не любит меня. А где кончается любовь, там начинается ненависть. Этих улиц я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома... И в домах все люди, люди... Сколько их, конца нет, и все ненавидят друг друга. Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну? Я получаю развод, Алексей Александрович отдает мне Сережу, и я выхожу замуж за Вронского». Вспомнив об Алексее Александровиче, она тотчас с необыкновенною живостью представила себе его, как живого, пред собой, с его кроткими, безжизненными, потухшими глазами, синими жилами на белых руках, интонацияхми и треском пальцев, и, вспомнив то чувство, которое было между ними и которое то;ке называлось любовью, вздрогнула от отвращения. «Ну, я получу развод и буду женой Вронского. Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое я?е я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уяю, а только не мученье? Нет и нет! — ответила она себе теперь без малейшего колебания. — Невозмояшо! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, он мое, и переделать ни его, ИИ меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился. Да, нищая с ребенком. Она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя и других? Гимназисты идут, смеются. Сережа? — вспомнила она. — Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». И она с отвращением вспоминала про то, что называла той любовью. И ясность, с которою она видела теперь свою и всех людей жизнь, радовала ее. «Так и я, и Петр, и кучер Федор, и этот купец, и все те люди, которые живут там по Волге, куда приглашают эти объявления, и везде, и всегда», — думала ока, когда уже подъехала к низкому строению Нижегородской станции и к ней навстречу выбежали артельщикп. — Прикажете до Обираловки? — сказал Петр. 348

что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче. Если он, не любя меня, из *долга* будет добр, нежен ко мне, а того не будет, чего я хочу,— да это хуже в тысячу раз даже, чем злоба! Это — ад! А это-то и есть. Он уж давно не любит меня. А где кончается любовь, там начинается ненависть. Этих улиц я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома... И в домах все люди, люди... Сколько их, конца нет, и все ненавидят друг друга. Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну? Я получаю развод, Алексей Александрович отдает мне Сережу, и я выхожу замуж за Вронского». Вспомнив об Алексее Александровиче, она тотчас с необыкновенною живостью представила себе его, как живого, пред собой, с его кроткими, безжизненными, потухшими глазами, синими жилами на белых руках, интонациями и треском пальцев, и, вспомнив то чувство, которое было между ними и которое тоже называлось любовью, вздрогнула от отвращения. «Ну, я получу развод и буду женой Вронского. Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет! — ответила она себе теперь без малейшего колебания.— Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, он мое, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился. Да, нищая с ребенком. Она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя и других? Гимназисты идут, смеются. Сережа? — вспомнила она. — Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». И она с отвращением вспоминала про то, что называла той любовью. И ясность, с которою она видела теперь свою и всех людей жизнь, радовала ее. «Так и я, и Петр, и кучер Федор, и этот купец, и все те люди, которые живут там по Волге, куда приглашают эти объявления, и везде, и всегда», — думала она, когда уже подъехала к низкому строению Нижегородской станции и к ней навстречу выбежали артельщики.

Она совсем забыла, куда и зачем она ехала, и только с большим усилием могла понять вопрос. — Да, — сказала она ему, подавая кошелек с деньгами, и, взяв на руку маленький красный мешочек, вышла из коляски. Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась. И опять то надежда, то отчаяние по старым наболевшим местам стали растравлять раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она, с отвращением глядя на входивших и выходивших (все они были противны ей), думала то о том, как она приедет на станцию, напишет ему записку и что она напишет ему, то о том, как он теперь жалуется матери (не понимая ее страданий) на свое положение, и как она войдет в комнату, и что она скажет ему. То она думала о том, как жизнь могла бы быть еще счастлива, и как мучительно она ллюбит и ненавидит его, и как страшно бьется ее сердце. XXXI Раздался звонок, прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, наглые и торопливые и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили; прошел и Петр через залу в своей ливрее и штиблетах, с тупым укивотным лицом, и подошел к ней, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо их по платформе, и один что-то шепнул об ней другому, разумеется что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный испачканный, когда-то белый диван. Мешок, вздрогнув на пружинах, улегся. Петр с дурацкой улыбкой приподнял у окна в знак прощания свою шляпу с галуном, наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду. Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие), и девочка, ненатурально смеясь, пробежали внизу. — У Катерины Андреевны, все у нее, та tante! ^ — прокричала девочка. * тетя! (фрапц.) 349

Она совсем забыла, куда и зачем она ехала, и только с большим усилием могла понять вопрос.

— Да,— сказала она ему, подавая кошелек с деньгами, и, взяв на руку маленький красный мешочек, вышла из коляски.

Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась. И опять то надежда, то отчаяние по старым наболевшим местам стали растравлять раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она, с отвращением глядя на входивших и выходивших (все они были противны ей), думала то о том, как она приедет на станцию, напишет ему записку и что́ она напишет ему, то о том, как он теперь жалуется матери (не понимая ее страданий) на свое положение, и как она войдет в комнату, и что́ она скажет ему. То она думала о том, как жизнь могла бы быть еще счастлива, и как мучительно она любит и ненавидит его, и как страшно бьется ее сердце.

XXXI

Раздался звонок, прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, наглые и торопливые и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили; прошел и Петр через залу в своей ливрее и штиблетах, с тупым животным лицом, и подошел к ней, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо их по платформе, и один что-то шепнул об ней другому, разумеется что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный испачканный, когда-то белый диван. Мешок, вздрогнув на пружинах, улегся. Петр с дурацкой улыбкой приподнял у окна в знак прощания свою шляпу с галуном, наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду. Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие), и девочка, ненатурально смеясь, пробежали внизу.

— У Катерины Андреевны, все у нее, ma tante![1] — прокричала девочка.

<<Девочка — и та изуродована и кривляется»,— подумала Анна. Чтобы не видать никого, она быстро встала и села к противоположному окну в пустом вагоне. Испачканный уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, пропiел мимо этого окна, нагибаясь к колесам вагона. «Что-то знакомое в этом безобразном мужике», — подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой. — Вам выйти угодно? Анна не ответила. Кондуктор и входившие не заметили под вуалем ужаса на ее лице. Она вернулась в свой угол и села. Чета села с противоположной стороны, внимательно, но скрытно оглядывая ее платье. И муЖ и жена казались отвратительны Анне. Муж спросил: позволит ли она курить, очевидно не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить с нею. Получив ее согласие, он заговорил с женой по-французски о том, что ему еш;е менее, чем курить, нужно было говорить. Они говорили, притворяясь, глупости, только для того, чтобы она слышала. Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов. Послышался второй звонок и вслед за ним продвиженье багажа, шум, крик и смех. Анне было так ясно, что никому нечему было радоваться, что этот смех раздражил ее до боли, и ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слыхать его. Наконец прозвенел третий звонок, раздался свисток, визг паровика: рванулась цепь, и муж перекрестился. «Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим», — с злобой взглянув на него, подумала Анна. Она смотрела мимо дамы в окно на точно как будто катившихся назад людей, провожавших поезд и стоявших на платформе. Равномерно вздрагивая на стычках рельсов, вагон, в котором сидела Анна, прокатился мимо платформы, каменной стены, диска, мимо других вагонов; колеса плавнее и маслянее, с легким звоном зазвучали по рельсам, окно осветилось ярким вечерним солнцем, и ветерок заиграл занавеской. Анна забыла о своих соседях в вагоне и, на легкой качке езды вдыхая в себя свежий воздух, опять стала думать. «Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы мучаться, и что 350

«Девочка — и та изуродована и кривляется»,— подумала Анна. Чтобы не видать никого, она быстро встала и села к противоположному окну в пустом вагоне. Испачканный уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо этого окна, нагибаясь к колесам вагона. «Что-то знакомое в этом безобразном мужике»,— подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой.

— Вам выйти угодно?

Анна не ответила. Кондуктор и входившие не заметили под вуалем ужаса на ее лице. Она вернулась в свой угол и села. Чета села с противоположной стороны, внимательно, но скрытно оглядывая ее платье. И муж и жена казались отвратительны Анне. Муж спросил: позволит ли она курить, очевидно не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить с нею. Получив ее согласие, он заговорил с женой по-французски о том, что ему еще менее, чем курить, нужно было говорить. Они говорили, притворяясь, глупости, только для того, чтобы она слышала. Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов.

Послышался второй звонок и вслед за ним продвиженье багажа, шум, крик и смех. Анне было так ясно, что никому нечему было радоваться, что этот смех раздражил ее до боли, и ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слыхать его. Наконец прозвенел третий звонок, раздался свисток, визг паровика: рванулась цепь, и муж перекрестился. «Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим»,— с злобой взглянув на него, подумала Анна. Она смотрела мимо дамы в окно на точно как будто катившихся назад людей, провожавших поезд и стоявших на платформе. Равномерно вздрагивая на стычках рельсов, вагон, в котором сидела Анна, прокатился мимо платформы, каменной стены, диска, мимо других вагонов; колеса плавнее и маслянее, с легким звоном зазвучали по рельсам, окно осветилось ярким вечерним солнцем, и ветерок заиграл занавеской. Анна забыла о своих соседях в вагоне и, на легкой качке езды вдыхая в себя свежий воздух, опять стала думать.

«Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы му-

мы все зиаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?» — На то дан человеку разум, чтоб избавиться от того, что его беспокоит, — сказала по-французски дама, очевидно довольная своею фразой и гримасничая языком. Эти слова как будто ответили на мысль Анны. «Избавиться от того, что беспокоит», — повторяла Анна. И, взглянув на краснош,екого мужа и худую жену, она поняла, что болезненная жена считает себя непонятою жекіциной и муя^ обманывает ее и поддерживает в ней это мнение о себе. Анна как будто видела их историю и все закоулки их души, перенеся свет на них. Ыо интересного тут ничего не было, и она продолжала свою мысль. «Да, очень беспокоит меня, и на то дан разум, чтоб избавиться; стало быть, надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше нечего, когда гадко смотреть на все это? Но как? Зачем этот кондуктор пробежал по жердочке, зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? Зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..» Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров и, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена была делать. Все, что ей казалось возможно прежде, теперь так трудно было сообразить, особенно в шумящей толпе всех этих безобразных людей, не оставлявших ее в покое. То артельщики подбегали к ней, предлагая ей свои услуги, то молодые люди, стуча каблуками по доскам платформы и громко разговаривая, оглядывали ее, то встречные сторошлись пе в ту сторону. Вспомнив, что она хотела ехать дальше, если нет ответа, она остановила одного артельщика и спросила, нет ли тут кучера с запиской к графу Вронскому. — Граф Вронский? От них сейчас тут были. Встречали княгиню Сорокину с дочерью. А кучер какой из себя? В то время как она говорила с артельщиком, кучер Михайла, румяный, веселый, в синей щегольской поддевке и цепочке, очевидно гордый тем, что он так хорошо исполнил поручение, подошел к ней и подал записку. Она распечатала, и сердце ее сжалось еще прежде, чем она прочла. 351

мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?»

— На то дан человеку разум, чтоб избавиться от того, что его беспокоит,— сказала по-французски дама, очевидно довольная своею фразой и гримасничая языком.

Эти слова как будто ответили на мысль Анны.

«Избавиться от того, что беспокоит»,— повторяла Анна. И, взглянув на краснощекого мужа и худую жену, она поняла, что болезненная жена считает себя непонятою женщиной и муж обманывает ее и поддерживает в ней это мнение о себе. Анна как будто видела их историю и все закоулки их души, перенеся свет на них. Но интересного тут ничего не было, и она продолжала свою мысль.

«Да, очень беспокоит меня, и на то дан разум, чтоб избавиться; стало быть, надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше нечего, когда гадко смотреть на все это? Но как? Зачем этот кондуктор пробежал по жердочке, зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? Зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..»

Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров и, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена была делать. Все, что ей казалось возможно прежде, теперь так трудно было сообразить, особенно в шумящей толпе всех этих безобразных людей, не оставлявших ее в покое. То артельщики подбегали к ней, предлагая ей свои услуги, то молодые люди, стуча каблуками по доскам платформы и громко разговаривая, оглядывали ее, то встречные сторонились не в ту сторону. Вспомнив, что она хотела ехать дальше, если нет ответа, она остановила одного артельщика и спросила, нет ли тут кучера с запиской к графу Вронскому.

— Граф Вронский? От них сейчас тут были. Встречали княгиню Сорокину с дочерью. А кучер какой из себя?

В то время как она говорила с артельщиком, кучер Михайла, румяный, веселый, в синей щегольской поддевке и цепочке, очевидно гордый тем, что он так хорошо исполнил поручение, подошел к ней и подал записку. Она

«Очень жалею, что записка не застала меня. Я буду в десять часов», — небрежным почерком пріcал Вронский. «Так! Я этого ждала!» — сказала она себе с злою усмешкой. — Хорошо, так поезжай домой, — тихо проговорила она, обраш,аясь к Михайле. Она говорила тихо, потому что быстрота биения сердца мешала ей дышать. «Нет, я не дам тебе мучать себя», — подумала она, обраш;аясь с угрозой не к нему, не к самой себе, а к тому, кто заставлял ее мучаться, и пошла по платформе мимо станции. Две горничные, ходившие ко платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете: «Настояш,ие», — сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они опять, заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик, продавец квасу, не спускал с нее глаз. «Боже мой, куда мне?» — все дальше и дальше уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходяіцего поезда. Она смотрела на ПИЗ вагонов, на винты и цепи и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будет против нее. «Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона, па смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы,— туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя». Она хотела упасть под поравнявшийся с пей серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать следующего ваго

«Очень жалею, что записка не застала меня. Я буду в десять часов»,— небрежным почерком писал Вронский.

«Так! Я этого ждала!» — сказала она себе с злою усмешкой.

— Хорошо, так поезжай домой,— тихо проговорила она, обращаясь к Михайле. Она говорила тихо, потому что быстрота биения сердца мешала ей дышать. «Нет, я не дам тебе мучать себя»,— подумала она, обращаясь с угрозой не к нему, не к самой себе, а к тому, кто заставлял ее мучаться, и пошла по платформе мимо станции.

Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете: «Настоящие»,—сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они опять, заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик, продавец квасу, не спускал с нее глаз. «Боже мой, куда мне?» — все дальше и дальше уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять.

И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что́ ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будет против нее.

«Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы,— туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя».

Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно:

на. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновенно она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла. 12 л. II. Толстой, т. 9

на. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ I Прошло почти дв’а месяца. Была уже половина жаркого лета, а Сергей Иванович только теперь собрался выехать из Москвы. В жизни Сергея Ивановича происходили за это время свои события. Уже с год тому назад была кончена его книга, плод шестилетнего труда, озаглавленная: «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России». Некоторые отделы этой книги и введение были печатаемы в повременных изданиях, и другие части были читаны Сергеем Ивановичем людям своего круга, так что мысли этого сочинения не могли быть уже совершенной новостью для публики; но все-таки Сергей Иванович ожидал, что книга его появлением своим должна будет произвести серьезное впечатление на обш;ество и если не переворот в науке, то во всяком случае, сильное волнение в ученом мире. Книга эта после тщательной отделки была издана в прошлом году и разослана книгопродавцам. Ни у кого не спрашивая о ней, неохотно и притворноравнодушно отвечая на вопросы своих друзей о том, как идет его книга, не спрашивая даже у книгопродавцев, как покупается она, Сергей Иванович зорко, с напряженным вниманием следил за тем первым впечатлением, какое произведет его книга в обществе и в литературе. Но прошла неделя, другая, третья, и в обществе не было заметно никакого впечатления; друзья его, специалисты и ученые, иногда, очевидно из учтивости, заговаривали о ней. Остальные же его знакомые, не интересуясь книгой ученого содержания, вовсе не говорили с ним о ней. И в обществе, в особенности теперь занятом другим, было совершенное равнодушие. В литературе тоже в продолікение месяца не было ни слова о книге. 354

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

Прошло почти два месяца. Была уже половина жаркого лета, а Сергей Иванович только теперь собрался выехать из Москвы.

В жизни Сергея Ивановича происходили за это время свои события. Уже с год тому назад была кончена его книга, плод шестилетнего труда, озаглавленная: *«Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России»*. Некоторые отделы этой книги и введение были печатаемы в повременных изданиях, и другие части были читаны Сергеем Ивановичем людям своего круга, так что мысли этого сочинения не могли быть уже совершенной новостью для публики; но все-таки Сергей Иванович ожидал, что книга его появлением своим должна будет произвести серьезное впечатление на общество и если не переворот в науке, то во всяком случае, сильное волнение в ученом мире.

Книга эта после тщательной отделки была издана в прошлом году и разослана книгопродавцам.

Ни у кого не спрашивая о ней, неохотно и притворно-равнодушно отвечая на вопросы своих друзей о том, как идет его книга, не спрашивая даже у книгопродавцев, как покупается она, Сергей Иванович зорко, с напряженным вниманием следил за тем первым впечатлением, какое произведет его книга в обществе и в литературе.

Но прошла неделя, другая, третья, и в обществе не было заметно никакого впечатления; друзья его, специалисты и ученые, иногда, очевидно из учтивости, заговаривали о ней. Остальные же его знакомые, не интересуясь книгой ученого содержания, вовсе не говорили с ним о ней. И в обществе, в особенности теперь занятом дру-

Сергей Иванович рассчитывал до подробности время, нужное на написание рецензии, но прошел месяц, другой, было то же молчание. Только в «Северном жупе» в шуточном фельетоне о певце Драбанти, спавшем с голоса, было кстати сказано несколько презрительных слов о книге Козпышева, показывавших, что книга эта уже давно осуждена всеми и предана на всеобщее посмеяние. Наконец на третий месяц в серьезном журнале появилась критическая статья. Сергей Иванович знал и автора статьи. Он встретил его раз у Голубцова. Автор статьи был очень молодой и больной фельетонист, очень бойкий как писатель, но чрезвычайно мало образованный и робкий в отношениях личных. Несмотря на совершенное презрение свое к автору, Сергей Иванович с совершенным уважением приступил к чтению статьи. Статья была ужасна. Очевидно, нарочно фельетонист понял всю книгу так, как невозможно было понять ее. Но он так ловко подобрал выписки, что для тех, которые не читали книги (а очевидно, почти никто не читал ее), совершенно было ясно, что вся книга была не что иное, как набор высокопарных слов, да еще некстати употребленных (что показывали вопросительные знаки), и что автор книги был человек совершенно невежественный. И все это было так остроумно, что Сергей Иванович сам бы не отказался от такого остроумия; но это-то было ужасно. Несмотря на совершенную добросовестность, с которою Сергей Иванович проверял справедливость доводов рецензента, он ни на минуту не остановился на недостатках и ошибках, которые были осмеиваемы,— было слишком очевидно, что все это подобрано нарочно, — но тотчас же невольно он до малейших подробностей стал вспоми-^ нать свою встречу и разговор с автором статьи. «Не обидел ли я его чем-нибудь?» — спрашивал себя Сергей Иванович. И, вспомнив, как он при встрече поправил этого моло^ дого человека в выказывавшем его невежество слове, Сергей Иванович нашел объяснение смысла статьи. После этой статьи наступило мертвое, и печатное и изустное, молчание о книге, и Сергей Иванович видел, что его шестилетнее произведение, выработанное с такою любовью и трудом, прошло бесследно. 12* 355

Сергей Иванович рассчитывал до подробности время, нужное на написание рецензии, но прошел месяц, другой, было то же молчание.

Только в *«Северном жуке»* в шуточном фельетоне о певце Драбанти, спавшем с голоса, было кстати сказано несколько презрительных слов о книге Кознышева, показывавших, что книга эта уже давно осуждена всеми и предана на всеобщее посмеяние.

Наконец на третий месяц в серьезном журнале появилась критическая статья. Сергей Иванович знал и автора статьи. Он встретил его раз у Голубцова.

Автор статьи был очень молодой и больной фельетонист, очень бойкий как писатель, но чрезвычайно мало образованный и робкий в отношениях личных.

Несмотря на совершенное презрение свое к автору, Сергей Иванович с совершенным уважением приступил к чтению статьи. Статья была ужасна.

Очевидно, нарочно фельетонист понял всю книгу так, как невозможно было понять ее. Но он так ловко подобрал выписки, что для тех, которые не читали книги (а очевидно, почти никто не читал ее), совершенно было ясно, что вся книга была не что иное, как набор высокопарных слов, да еще некстати употребленных (что показывали вопросительные знаки), и что автор книги был человек совершенно невежественный. И все это было так остроумно, что Сергей Иванович сам бы не отказался от такого остроумия; но это-то было ужасно.

Несмотря на совершенную добросовестность, с которою Сергей Иванович проверял справедливость доводов рецензента, он ни на минуту не остановился на недостатках и ошибках, которые были осмеиваемы,— было слишком очевидно, что все это подобрано нарочно,— но тотчас же невольно он до малейших подробностей стал вспоминать свою встречу и разговор с автором статьи.

«Не обидел ли я его чем-нибудь?» — спрашивал себя Сергей Иванович.

И, вспомнив, как он при встрече поправил этого молодого человека в выказывавшем его невежество слове, Сергей Иванович нашел объяснение смысла статьи.

После этой статьи наступило мертвое, и печатное и изустное, молчание о книге, и Сергей Иванович видел,

Положение Сергея Ивановича было еще тяжелее оттого, что, окончив книгу, он не имел более кабинетной работы, занимавшей прежде большую часть его времени. Сергей Иванович был умен, образован, здоров, деятелен и не знал, куда употребить всю свою деятельность. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комитетах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени; но он, давнишний городской житель, не позволял себе уходить всему в разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве; оставалось еще много досуга и умственных сил. На его счастье, в это самое тяжелое для него по причине неудачи его книги время на смену вопросов иноверцев, американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма стал славянский вопрос, прежде только тлевшийся в обществе, и Сергей Иванович, и прежде бывший одним из возбудителей этого вопроса, весь отдался ему. В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о чем другом не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской войне. Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам. Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей Иванович был не согласен в подробностях. Он видел, что славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия; видел и то, что много было людей, с корыстными, тщеславными целями занимавшихся этим делом. Он признавал, что газеты печатали много ненужного и преувеличенного, с одною целью — обратить на себя внимание и перекричать других. Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные: главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партий без партизанов. Он впдел, что много тут было легкомысленного и смешного; но он видел и признавал несомненный, все разраставшийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, бо356

Положение Сергея Ивановича было еще тяжелее оттого, что, окончив книгу, он не имел более кабинетной работы, занимавшей прежде бóльшую часть его времени.

Сергей Иванович был умен, образован, здоров, деятелен и не знал, куда употребить всю свою деятельность. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комитетах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени; но он, давнишний городской житель, не позволял себе уходить всему в разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве; оставалось еще много досуга и умственных сил.

На его счастье, в это самое тяжелое для него по причине неудачи его книги время на смену вопросов иноверцев, американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма стал славянский вопрос, прежде только тлевшийся в обществе, и Сергей Иванович, и прежде бывший одним из возбудителей этого вопроса, весь отдался ему.

В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о чем другом не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской войне. Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам.

Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей Иванович был не согласен в подробностях. Он видел, что славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия; видел и то, что много было людей, с корыстными, тщеславными целями занимавшихся этим делом. Он признавал, что газеты печатали много ненужного и преувеличенного, с одною целью — обратить на себя внимание и перекричать других. Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные: главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партий без партизанов. Он видел, что много тут было легкомысленного и смешного; но он видел и признавал несомненный, все разраставшийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование

рющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом. Но притом было другое, радостное для Сергея Ивановича явление: это было проявление общественного мнения. Общество определенно выразило свое желание. Народная душа получила выражение, как говорил Сергей Иванович. И чем более он занимался этим делом, тем очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху. Он посвятил всего себя на служение этому великому делу и забыл думать о своей книге. Все врөхмя его теперь было занято, так что он не успевал отвечать на все обращаемые к нему письма и требования. Проработав всю весну и часть лета, он только в июле месяце собрался поехать в деревню к брату. Он ехал и отдохнуть на две недели и в самой святая святых народа, в деревенской глуши, насладиться видом того поднятия народного духа, в котором он и все столичные и городские жители были вполне убеждены. Катавасов, давно собиравшийся исполнить данное Левину обещание побывать у него, поехал с ним вместе. II Едва Сергей Иванович с Катавасовым успели подъехать к особенно оживленной нынче народом станции Курской л^елезной дороги и, выйдя из кареты, осмотреть подъезя^авшего сзади с вещами лакея, как подъехали и добровольцы на четырех извозчиках. Дамы с букетами встретили их и в сопровождении хлынувшей за ними толпы вошли в станцию. Одна из дам, встречавших добровольцев, выходя из залы, обратилась к Сергею Ивановичу. — Вы тоже приехали проводить? — спросила она пофранцузски. — Нет, я сам еду, княгиня. Отдохнуть к брату. А вы всегда провожаете? — с чуть заметной улыбкой сказал Сергей Иванович. — Да нельзя же! — отвечала княгиня.— Правда, что от нас отправлено уж восемьсот? Мне не верил Мальвинский. — Больше восьмисот. Если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, ул^е более тысячи,— сказал Сергей Иваныч. 357

рющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом.

Но притом было другое, радостное для Сергея Ивановича явление: это было проявление общественного мнения. Общество определенно выразило свое желание. Народная душа получила выражение, как говорил Сергей Иванович. И чем более он занимался этим делом, тем очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху.

Он посвятил всего себя на служение этому великому делу и забыл думать о своей книге.

Все время его теперь было занято, так что он не успевал отвечать на все обращаемые к нему письма и требования.

Проработав всю весну и часть лета, он только в июле месяце собрался поехать в деревню к брату.

Он ехал и отдохнуть на две недели и в самой святая святых народа, в деревенской глуши, насладиться видом того поднятия народного духа, в котором он и все столичные и городские жители были вполне убеждены. Катавасов, давно собиравшийся исполнить данное Левину обещание побывать у него, поехал с ним вместе.

II

Едва Сергей Иванович с Катавасовым успели подъехать к особенно оживленной нынче народом станции Курской железной дороги и, выйдя из кареты, осмотреть подъезжавшего сзади с вещами лакея, как подъехали и добровольцы на четырех извозчиках. Дамы с букетами встретили их и в сопровождении хлынувшей за ними толпы вошли в станцию.

Одна из дам, встречавших добровольцев, выходя из залы, обратилась к Сергею Ивановичу.

— Вы тоже приехали проводить? — спросила она по-французски.

— Нет, я сам еду, княгиня. Отдохнуть к брату. А вы всегда провожаете? — с чуть заметной улыбкой сказал Сергей Иванович.

— Да нельзя же! — отвечала княгиня.— Правда, что от нас отправлено уж восемьсот? Мне не верил Мальвинский.

— Больше восьмисот. Если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, уже более тысячи, — ска-

— Иу вот. Я и говорила! — радостно подхватила Яама. — И ведь правда, что пожертвований теперь около миллиона? — Больше, княгиня. — А какова нынешняя телеграмма? Опять разбили турок. — Да, я читал, — отвечал Сергей Иваныч. Они говорили о последней телеграмме, подтверждавшей то, что три дня сряду турки были разбиты на всех пунктах и бежали и что назавтра ожидалось решительное сражение. — Ах, да, знаете, один молодой человек, прекрасный, просился. Не знаю, почему сделали затруднение. Я хотела просить вас, я его знаю, напишите, пожалуйста, записку. Он от графини Лидии Ивановны прислан. Расспросив подробности, которые знала княгиня о просившемся молодом человеке, Сергей Иванович, пройдя в первый класс, написал записку к тому, от кого это зависело, и передал княгине. — Вы знаете, граф Вронский, известный... едет с этим поездом, — сказала княгиня с торжествующею и многозначительною улыбкой, когда он опять нашел ее и передал ей записку. — Я слышал, что он едет, но не знал когда. С этим поездом? — Я видела его. Он здесь; одна мать провожает его. Все-таки это — лучшее, что он мог сделать. — О да, разумеется. В то время как они говорили, толпа хлынула мимо них к обеденному столу. Они тоже подвинулись и услыхали громкий голос одного господина, который с бокалом в руке говорил речь добровольцам. «Послужить за веру, за человечество, за братьев наших, — все возвышая голос, говорил господин. — На великое дело благословляет вас матушка Москва. Живио!» — громко и слезно заключил он. Все закричали живио! и еще новая толпа хлынула в залу и чуть не сбила с ног княгиню. — А! княгиня, каково! — сияя радостной улыбкой, сказал Степан Аркадьич, вдруг появившийся в середине толпы. — Не правда ли, славно, тепло сказал? Браво! И Сергей Иваныч! Вот вы бы сказали от себя так — несколько слов, знаете, ободрение; вы так это хорошо, — прибавил он с нежной, уваяпітельной и осторожной улыбкой, слегка за руку подвигая Сергея Ивановича, — Нет, я еду сейчас.

— Ну вот. Я и говорила! — радостно подхватила дама. — И ведь правда, что пожертвований теперь около миллиона?

— Больше, княгиня.

— А какова нынешняя телеграмма? Опять разбили турок.

— Да, я читал, — отвечал Сергей Иваныч. Они говорили о последней телеграмме, подтверждавшей то, что три дня сряду турки были разбиты на всех пунктах и бежали и что назавтра ожидалось решительное сражение.

— Ах, да, знаете, один молодой человек, прекрасный, просился. Не знаю, почему сделали затруднение. Я хотела просить вас, я его знаю, напишите, пожалуйста, записку. Он от графини Лидии Ивановны прислан.

Расспросив подробности, которые знала княгиня о просившемся молодом человеке, Сергей Иванович, пройдя в первый класс, написал записку к тому, от кого это зависело, и передал княгине.

— Вы знаете, граф Вронский, известный... едет с этим поездом,— сказала княгиня с торжествующею и многозначительною улыбкой, когда он опять нашел ее и передал ей записку.

— Я слышал, что он едет, но не знал когда. С этим поездом?

— Я видела его. Он здесь; одна мать провожает его. Все-таки это — лучшее, что он мог сделать.

— О да, разумеется.

В то время как они говорили, толпа хлынула мимо них к обеденному столу. Они тоже подвинулись и услыхали громкий голос одного господина, который с бокалом в руке говорил речь добровольцам. «Послужить за веру, за человечество, за братьев наших,— все возвышая голос, говорил господин.— На великое дело благословляет вас матушка Москва. *Живио!*» — громко и слезно заключил он.

Все закричали *живио!* и еще новая толпа хлынула в залу и чуть не сбила с ног княгиню.

— А! княгиня, каково! — сияя радостной улыбкой, сказал Степан Аркадьич, вдруг появившийся в середине толпы.— Не правда ли, славно, тепло сказал? Браво! И Сергей Иваныч! Вот вы бы сказали от себя так — несколько слов, знаете, ободрение; вы так это хорошо,— прибавил он с нежной, уважительной и осторожной улыбкой, слегка за руку подвигая Сергея Ивановича.

— Куда? — В деревню, к брату,— отвечал Сергей Иванович. — Так вы жену мою увидите. Я писал ей, но вы пре^ жде увидите; пожалуйста, скажите, что меня видели и что all right ^ Она поймет. А впрочем, скажите ей, будьте добры, что я назначен членом комиссии соединенного... Ну, да она поймет! Знаете, les petites misères de la vie humaine — как бы извиняясь, обратился он к княгине. — А Мягкая-то, не Лиза, а Бибиш, посылает-таки тысячу ружей и двенадцать сестер. Я вам говорил? — Да, я слышал, — неохотно отвечал Кознышев. — А жаль, что вы уезжаете,— сказал Степан Аркадьич.— Завтра мы даем обед двум отъезжаюп];им — ДимерБартнянский из Петербурга и наш Веселовский, Гриша. Оба едут. Веселовский недавно женился. Вот молодец! Не правда ли, княгиня? — обратился он к даме. Княгиня, не отвечая, посмотрела на Кознышева. Но то, что Сергей Иваныч и княгиня как будто желали отделаться от него, нисколько не смупі;ало Степана Аркадьича. Он, улыбаясь, смотрел то на перо шляпы княгини, то по сторонам, как будто припоминая что-то. Увидав проходившую даму с кружкой, он подозвал ее к себе и положил пятирублевую бумажку. — Не могу видеть этих крул^ек спокойно, пока у меня есть деньги,— сказал он.— А какова нынешняя депеша? Молодцы черногорцы! — Что вы говорите! — вскрикнул он, когда княгиня сказала ему, что Вронский едет в этом поезде. На мгновение лицо Степана Аркадьича выразило грусть, но через минуту, когда, слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого приятеля. — Со всеми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости, — сказала княгиня Сергею Ивановичу, как только Облонский отошел от них. — Вот именно вполне русская, славянская натура! Только я боюсь, что Вронскому будет неприятно его видеть. Как ни говорите, меня трогает судьба этого человека. Поговорите с ним дорогой,— сказала княгиня. ^ все в порядке (англ.). * маленькие неприятности человеческой жизни (Франц. 359

— Куда?

— В деревню, к брату,— отвечал Сергей Иванович.

— Так вы жену мою увидите. Я писал ей, но вы прежде увидите; пожалуйста, скажите, что меня видели и что all right [1]. Она поймет. А впрочем, скажите ей, будьте добры, что я назначен членом комиссии соединенного... Ну, да она поймет! Знаете, les petites misères de la vie humaine [2],— как бы извиняясь, обратился он к княгине.— А Мягкая-то, не Лиза, а Бибиш, посылает-таки тысячу ружей и двенадцать сестер. Я вам говорил?

— Да, я слышал,— неохотно отвечал Кознышев.

— А жаль, что вы уезжаете,— сказал Степан Аркадьич.— Завтра мы даем обед двум отъезжающим — Димер-Бартнянский из Петербурга и наш Веселовский, Гриша. Оба едут. Веселовский недавно женился. Вот молодец! Не правда ли, княгиня? — обратился он к даме.

Княгиня, не отвечая, посмотрела на Кознышева. Но то, что Сергей Иваныч и княгиня как будто желали отделаться от него, нисколько не смущало Степана Аркадьича. Он, улыбаясь, смотрел то на перо шляпы княгини, то по сторонам, как будто припоминая что-то. Увидав проходившую даму с кружкой, он подозвал ее к себе и положил пятирублевую бумажку.

— Не могу видеть этих кружек спокойно, пока у меня есть деньги,— сказал он.— А какова нынешняя депеша? Молодцы черногорцы!

— Что вы говорите! — вскрикнул он, когда княгиня сказала ему, что Вронский едет в этом поезде. На мгновение лицо Степана Аркадьича выразило грусть, но через минуту, когда, слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого приятеля.

— Со всеми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости,— сказала княгиня Сергею Ивановичу, как только Облонский отошел от них.— Вот именно вполне русская, славянская натура! Только я боюсь, что Вронскому будет неприятно его видеть. Как ни говорите, меня трогает судьба этого человека. Поговорите с ним дорогой,— сказала княгиня.

— Да, моя^ет быть, если придется. — Я никогда не любила его. Но это выкупает многое. Он не только едет сам, но эскадрон ведет на свой счет. — Да, я слышал. Послышался звонок. Все затолпились к дверям. — Вот он! — проговорила княгиня, указывая на Вронского, в длинном пальто и с широкими полями червой шляпе шедшего под руку с матерью. Облонский шел подле него, что-то ояшвленно говоря. Вронский, нахмурившись, смотрел перед собою, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадьич. Вероятно, по указанию Облонского он оглянулся в ту сторону, где стояли княгиня и Сергей Иванович, и молча приподнял шляпу. Постаревшее и вырая^:авшее страдание лицо его казалось окаменелым. Выйдя на платформу, Вронский молча, пропустив мать, скрылся в отделении вагона. На платформе раздалось Боже, царя храни, потом крики: ура! и оісивио! Один из добровольцев, высокий, очень молодой человек с ввалившеюся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочною шляпой и букетом. За ним высовывались, кланяясь тоже, два офицера и пожилой человек с большой бородой, в засаленной фуражке. III Простившись с княгиней, Сергей Иваныч вместе с подошедшим Катавасовым вошел в битком набитый вагон, и поезд тронулся. На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергей Иванович не обраш,ал на них внимания; он столько имел дел с добровольцами, что уже знал их общий тип, и это не интересовало его. Катавасов же, за своими учеными занятиями не имевший случая наблюдать добровольцев, очень интересовался ими и расспрашивал про них Сергея Ивановича. Сергей Иванович посоветовал ему пройти во второй класс поговорить самому с ними. На следующей станции Катавасов исполнил этот совет. На первой остановке оп перешел во второй класс и познакомился с добровольцами. Они сидели отдельно

— Да, может быть, если придется.

— Я никогда не любила его. Но это выкупает многое. Он не только едет сам, но эскадрон ведет на свой счет.

— Да, я слышал.

Послышался звонок. Все затолпились к дверям.

— Вот он! — проговорила княгиня, указывая на Вронского, в длинном пальто и с широкими полями черной шляпе шедшего под руку с матерью. Облонский шел подле него, что-то оживленно говоря.

Вронский, нахмурившись, смотрел перед собою, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадьич.

Вероятно, по указанию Облонского он оглянулся в ту сторону, где стояли княгиня и Сергей Иванович, и молча приподнял шляпу. Постаревшее и выражавшее страдание лицо его казалось окаменелым.

Выйдя на платформу, Вронский молча, пропустив мать, скрылся в отделении вагона.

На платформе раздалось *Боже, царя храни,* потом крики: *ура!* и *живио!* Один из добровольцев, высокий, очень молодой человек с ввалившеюся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочною шляпой и букетом. За ним высовывались, кланяясь тоже, два офицера и пожилой человек с большой бородой, в засаленной фуражке.

III

Простившись с княгиней, Сергей Иваныч вместе с подошедшим Катавасовым вошел в битком набитый вагон, и поезд тронулся.

На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергей Иванович не обращал на них внимания; он столько имел дел с добровольцами, что уже знал их общий тип, и это не интересовало его. Катавасов же, за своими учеными занятиями не имевший случая наблюдать добровольцев, очень интересовался ими и расспрашивал про них Сергея Ивановича.

Сергей Иванович посоветовал ему пройти во второй класс поговорить самому с ними. На следующей станции Катавасов исполнил этот совет.

На первой остановке он перешел во второй класс

в углу вагона, громко разговаривая и, очевидно, зная, что внимание пассажиров и вошедшего Катавасова обращено на них. Громче всех говорил высокий, со впалою грудью юноша. Он, очевидно, был пьян и рассказывал про какуюто случившуюся в их заведении историю. Против него сидел уже немолодой офицер в австрийской военной фуфайке гвардейского мундира. Он, улыбаясь, слушал рассказчика и останавливал его. Третий, в артиллерийском мундире, сидел на чемодане подле них. Четвертый спал. Вступив в разговор с юношей, Катавасов узнал, что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до двадцати двух лет. Он не понравился Катавасову тем, что был изнежен, избалован и слаб здоровьем; он, очевидно, был уверен, в особенности теперь, выпив, что он совершает геройский поступок, и хвастался самым неприятным образом. Другой, отставной офицер, тоже произвел неприятное впечатление на Катавасова. Это был, как видно, человек, попробовавший всего. Он был и на железной дороге, и управляющим, и сам заводил фабрики, и говорил обо всем, без всякой надобности и невпопад употребляя ученые слова. Третий, артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову. Это был скромный, тихий человек, очевидно преклонявшийся пред знанием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца и сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал: — Да что ж, все едут. Надо тоже помочь и сербам. Жалко. — Да, в особенности ваших артиллеристов там мало, — сказал Катавасов. — Я ведь недолго служил в артиллерии; может, и в пехоту или в кавалерию назначат. — Как же в пехоту, когда нуждаются в артиллеристах более всего,— сказал Катавасов, соображая по годам артиллериста, что он должен быть уже в значительном чине. — Я не много служил в артиллерии, я юнкером в отставке,— сказал он и начал объяснять, почему он не выдержал экзамена. Все это вместе произвело на Катавасова неприятное впечатление, и когда добровольцы вышли на станцию выпить, Катавасов хотел в разговоре с кем-нибудь поверить 361

в углу вагона, громко разговаривая и, очевидно, зная, что внимание пассажиров и вошедшего Катавасова обращено на них. Громче всех говорил высокий, со впалою грудью юноша. Он, очевидно, был пьян и рассказывал про какую-то случившуюся в их заведении историю. Против него сидел уже немолодой офицер в австрийской военной фуфайке гвардейского мундира. Он, улыбаясь, слушал рассказчика и останавливал его. Третий, в артиллерийском мундире, сидел на чемодане подле них. Четвертый спал.

Вступив в разговор с юношей, Катавасов узнал, что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до двадцати двух лет. Он не понравился Катавасову тем, что был изнежен, избалован и слаб здоровьем; он, очевидно, был уверен, в особенности теперь, выпив, что он совершает геройский поступок, и хвастался самым неприятным образом.

Другой, отставной офицер, тоже произвел неприятное впечатление на Катавасова. Это был, как видно, человек, попробовавший всего. Он был и на железной дороге, и управляющим, и сам заводил фабрики, и говорил обо всем, без всякой надобности и невпопад употребляя ученые слова.

Третий, артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову. Это был скромный, тихий человек, очевидно преклонявшийся пред знанием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца и сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал:

— Да что ж, все едут. Надо тоже помочь и сербам. Жалко.

— Да, в особенности ваших артиллеристов там мало, — сказал Катавасов.

— Я ведь недолго служил в артиллерии; может, и в пехоту или в кавалерию назначат.

— Как же в пехоту, когда нуждаются в артиллеристах более всего,— сказал Катавасов, соображая по годам артиллериста, что он должен быть уже в значительном чине.

— Я не много служил в артиллерии, я юнкером в отставке,— сказал он и начал объяснять, почему он не выдержал экзамена.

Все это вместе произвело на Катавасова неприятное впечатление, и когда добровольцы вышли на станцию вы-

свое невыгодное впечатление. Один проезжающий старичок в военном пальто все время прислушивался разговору Катавасова с добровольцами. Оставшись с ним один на один, Катавасов обратился к нему. — Да, какое разнообразие положений всех этих людей, отправляющихся туда, — неопределенно сказал Катавасов, желая высказать свое мнение и вместе с тем выведать мнение старичка. Старичок был военный, делавший две кампании. Он знал, что такое военный человек, и, по виду и разговору этих господ, по ухарству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных. Кроме того, он был житель уездного города, и ему хотелось рассказать, как из его города пошел только один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники. Но, по опыту зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Катавасова. — Что ж, там нужны люди. Говорят, сербские офицеры никуда не годятся. — О, да, а эти будут лихие, — сказал Катавасов, смеясь глазами. И они заговорили о последней военной новости, и оба друг перед другом скрыли свое недоумение о том, с кем назавтра ожидается сражение, когда турки, по последнему известию, разбиты на всех пунктах. И так, оба не высказав своего мнения, они разошлись. Катавасов, войдя в свой вагон, невольно кривя душой, рассказал Сергею Ивановичу свои наблюдения над добровольцами, из которых оказывалось, что они были отличные ребята. На большой станции в городе опять пение и крики встретили добровольцев, опять явились с кружками сборщицы и сборщики, и губернские дамы поднесли букеты добровольцам и пошли за ними в буфет; но все это было уже гораздо слабее и меньше, чем в Москве. IV Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошел в буфет, а стал ходить взад и вперед по платформе. Проходя в первый раз мимо отделения Вронского, он 362

свое невыгодное впечатление. Один проезжающий старичок в военном пальто все время прислушивался к разговору Катавасова с добровольцами. Оставшись с ним один на один, Катавасов обратился к нему.

— Да, какое разнообразие положений всех этих людей, отправляющихся туда,— неопределенно сказал Катавасов, желая высказать свое мнение и вместе с тем выведать мнение старичка.

Старичок был военный, делавший две кампании. Он знал, что такое военный человек, и, по виду и разговору этих господ, по ухарству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных. Кроме того, он был житель уездного города, и ему хотелось рассказать, как из его города пошел только один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники. Но, по опыту зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Катавасова.

— Что ж, там нужны люди. Говорят, сербские офицеры никуда не годятся.

— О, да, а эти будут лихие,— сказал Катавасов, смеясь глазами. И они заговорили о последней военной новости, и оба друг перед другом скрыли свое недоумение о том, с кем назавтра ожидается сражение, когда турки, по последнему известию, разбиты на всех пунктах. И так, оба не высказав своего мнения, они разошлись.

Катавасов, войдя в свой вагон, невольно кривя душой, рассказал Сергею Ивановичу свои наблюдения над добровольцами, из которых оказывалось, что они были отличные ребята.

На большой станции в городе опять пение и крики встретили добровольцев, опять явились с кружками сборщицы и сборщики, и губернские дамы поднесли букеты добровольцам и пошли за ними в буфет; но все это было уже гораздо слабее и меньше, чем в Москве.

IV

Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошел в буфет, а стал ходить взад и вперед по платформе.

заметил, что окно было задернуто. Но, проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подозвала к себе Кознышева. Вот еду, провожаю его до Курска,— сказала она. — Да, я слышал, — сказал Сергей Иванович, останавливаясь у ее окна и заглядывая в него. — Какая прекрасная черта с его стороны! — прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было. — Да после его несчастия что ж ему было делать? — Какое ужасное событие! — сказал Сергей Иванович. — Ах, что я пережила! Да заходите... Ах, что я пережила! — повторила она, когда Сергей Иванович вошел и сел с ней рядом на диване. — Этого нельзя себе представить! Шесть недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя; мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее же, — сказала она, и брови старушки нахмурились при этом воспоминании. — Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую. — Не нам судить, графиня,— со вздохом сказал Сергей Иванович,— но я понимаю, как для вас это было тяжело. — Ах, не говорите! Я жила у себя в именье, и он был у меня. Приносят записку. Он написал ответ и отослал. Мы ничего не знали, что она тут же была на станции. Вечером, я только ушла к себе, мне моя Мери говорит, что на станции дама бросилась под поезд. Меня как чтото ударило! Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала: не говорить ему. Но они уж сказали ему. Кучер его там был и все видел. Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой — страшно было смотреть на него. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мертвого. Я бы не узнала его. Prostration complète ^ говорил доктор. Потом началось почти бешенство. — Ах, что говорить! — сказала графиня, махнув рукой.— Ужасное время! Нет, как ни говорите, дурная жен^ Полная прострация ('ўр а« Л 363

заметил, что окно было задернуто. Но, проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подозвала к себе Кознышева.

— Вот еду, провожаю его до Курска,— сказала она.

— Да, я слышал,— сказал Сергей Иванович, останавливаясь у ее окна и заглядывая в него.— Какая прекрасная черта с его стороны! — прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было.

— Да после его несчастия что ж ему было делать?

— Какое ужасное событие! — сказал Сергей Иванович.

— Ах, что я пережила! Да заходите... Ах, что я пережила! — повторила она, когда Сергей Иванович вошел и сел с ней рядом на диване.— Этого нельзя себе представить! Шесть недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя; мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее же,— сказала она, и брови старушки нахмурились при этом воспоминании.— Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую.

— Не нам судить, графиня,— со вздохом сказал Сергей Иванович,— но я понимаю, как для вас это было тяжело.

— Ах, не говорите! Я жила у себя в именье, и он был у меня. Приносят записку. Он написал ответ и отослал. Мы ничего не знали, что она тут же была на станции. Вечером, я только ушла к себе, мне моя Мери говорит, что на станции дама бросилась под поезд. Меня как что-то ударило! Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала: не говорить ему. Но они уж сказали ему. Кучер его там был и все видел. Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой — страшно было смотреть на него. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мертвого. Я бы не узнала его. Prostration complète [1], говорил доктор. Потом началось почти бешенство.

— Ах, что говорить! — сказала графиня, махнув рукой.— Ужасное время! Нет, как ни говорите, дурная жен-

іцина. Ну, что это за страсти какие-то отчаянные! Это все что-то особенное доказать. Вот она и доказала. Себя погубила и двух прекрасных людей — своего муя^а и моего несчастного сына. — А что ее муж? — спросил Сергей Иванович. — Он взял ее дочь. Алеша в первое время на все был согласен. Но теперь его ужасно мучает, что он отдал чужому человеку свою дочь. Но взять назад слово он не моя^ет. Каренин приезя^ал на похороны. Но мы старались, чтоб он не встретился с Алешей. Для него, для мужа, это все-таки легче. Она развязала его. Но бедный сын мой отдался весь ей. Бросил все — карьеру, меня, и тут-то она еще не пожалела его, а нарочно убила его совсем. Нет, как ни говорите, самая смерть ее — смерть гадкой женщины без религии. Прости меня бог, но я не могу не ненавидеть память ее, глядя на погибель сына. — Но теперь как он? — Это бог нам помог — эта сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно; и главное, говорят, ce n’est pas très bien vu à Pétersbourg *. Но что же делать! Одно это могло его поднять. Яшвин — его приятель — он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к пому и уговорил его. Теперь это занимает его. Вы, пожалуйста, поговорите с ним, мне хочется его развлечь. Он так грустен. Да на беду еще у него зубы разболелись. А вам он будет очень рад. Пожалуйста, поговорите с ним, он ходит с этой стороны. Сергей Иванович сказал, что он очень рад, и перешел на другую сторону поезда. V В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил, как зверь в клетке, на двадцати шагах быстро поворачиваясь. Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это ^ ыа это косо смотрят в Петербурге (франц.)^ 364

щина. Ну, что это за страсти какие-то отчаянные! Это все что-то особенное доказать. Вот она и доказала. Себя погубила и двух прекрасных людей — своего мужа и моего несчастного сына.

— А что ее муж? — спросил Сергей Иванович.

— Он взял ее дочь. Алеша в первое время на все был согласен. Но теперь его ужасно мучает, что он отдал чужому человеку свою дочь. Но взять назад слово он не может. Каренин приезжал на похороны. Но мы старались, чтоб он не встретился с Алешей. Для него, для мужа, это все-таки легче. Она развязала его. Но бедный сын мой отдался весь ей. Бросил все — карьеру, меня, и тут-то она еще не пожалела его, а нарочно убила его совсем. Нет, как ни говорите, самая смерть ее — смерть гадкой женщины без религии. Прости меня бог, но я не могу не ненавидеть память ее, глядя на погибель сына.

— Но теперь как он?

— Это бог нам помог — эта сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно; и главное, говорят, ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg [1]. Но что же делать! Одно это могло его поднять. Яшвин — его приятель — он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его. Вы, пожалуйста, поговорите с ним, мне хочется его развлечь. Он так грустен. Да на беду еще у него зубы разболелись. А вам он будет очень рад. Пожалуйста, поговорите с ним, он ходит с этой стороны.

Сергей Иванович сказал, что он очень рад, и перешел на другую сторону поезда.

V

В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил, как зверь в клетке, на двадцати шагах быстро поворачиваясь. Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это

было все равно. Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему. Вронский остановртлся, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу Сергею Ивановичу, крепкокрепко пожал его руку. — Может быть, вы и не желали со мной видеться, — сказал Сергей Иваныч, — но не могу ли я вам быть полезным? — Ии с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. — Извините меня. Приятного в жизни мне нет. — Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги, — сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского.— Не нужно ли вам письмо к Ристичу, к Милану? — О нет! — как будто с трудом понимая, сказал Вронский.— Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас; для того чтоб умереть, не нужно рекомендаций. Нешто к туркам...— сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито-страдающее выражение. — Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным. Впрочем, как хотите. Я очень рад был успышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении. — Я, как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, — это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится. — PI он сделал нетерпеливое движение скулой от неперестающей, ноющей боли зуба, мешавшей ему дая^е говорить с тем вырая^ением, с которым он хотел. — Вы возродитесь, предсказываю вам, — сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. — Избавление своих братьев от ига есть цель, достойная и смерти и яшз-.

было все равно. Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским.

В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему.

Вронский остановился, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу Сергею Ивановичу, крепко-крепко пожал его руку.

— Может быть, вы и не желали со мной видеться,— сказал Сергей Иваныч,— но не могу ли я вам быть полезным?

— Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. — Извините меня. Приятного в жизни мне нет.

— Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги,— сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского.— Не нужно ли вам письмо к Ристичу, к Милану?

— О нет! — как будто с трудом понимая, сказал Вронский.— Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас; для того чтоб умереть, не нужно рекомендаций. Нешто к туркам...—сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито-страдающее выражение.

— Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным. Впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении.

— Я, как человек,— сказал Вронский,— тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь,— это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится.— И он сделал нетерпеливое движение скулой от неперестающей, ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел.

— Вы возродитесь, предсказываю вам,— сказал Сер-

ни. Дай вам бог успеха внешнего — и внутреннего мира,-— прибавил он и протянул руку. Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. — Да, как орудие, я могу годиться на что-нибудь. Но, как человек, я — развалина, — с расстановкой проговорил он. Щемяш;ая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастия, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции: на столе казармы бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах, выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово — о том, что он раскается,— которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственною, прелестной, любящею, ищущею и дающею счастье, а не жестоко-мстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собой, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу: — Вы не имели телеграммы после вчерашней? Да, разбиты в третий раз, но назавтра ожидается решительное сражение. 366

ни. Дай вам бог успеха внешнего — и внутреннего мира,— прибавил он и протянул руку.

Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича.

— Да, как орудие, я могу годиться на что-нибудь. Но, как человек, я — развалина,— с расстановкой проговорил он.

Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера.

И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастия, ему вдруг вспомнилась *она,* то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции: на столе казармы бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах, выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово — о том, что он раскается,— которое она во время ссоры сказала ему.

И он старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственною, прелестной, любящею, ищущею и дающею счастье, а не жестоко-мстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо.

Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собой, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу:

— Вы не имели телеграммы после вчерашней? Да, разбиты в третий раз, но назавтра ожидается решитель-

и, поговорив еп^е о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка. П Не зная, когда ему можно будет выехать из Москвы, Сергей Иванович не телеграфировал брату, чтобы высылать за ним. Левина не было дома, когда Катавасов и Сергей Иванович на тарантасике, взятом на станции, запыленные, как арапы, в двенадцатом часу дня подъехали к крыльцу Покровского дома. Кити, сидевшая на балконе с отцом и сестрой, узнала деверя и сбежала вниз встретить его. — Как вам не совестно не дать знать, — сказала она, подавая руку Сергею Ивановичу и подставляя ему лоб. — Мы прекрасно доехали и вас не беспокоили, — отвечал Сергей Иванович. — Я так пылен, что и боюсь дотронуться. Я был так занят, что и не знал, когда вырвусь. А вы по-старому, — сказал он, улыбаясь, — наслаждаетесь тихим счастьем вне течений в своем тихом затоне. Вот и наш приятель Федор Васильич собрался наконец. — Но я не негр, я вымоюсь — буду похож на человека, — сказал Катавасов с своею обычною шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестяш,имп из-за черного лица зубами. — Костя будет очень рад. Он пошел на хутор. Ему бы пора прийти. — Все занимается хозяйством. Вот именно в затоне, — сказал Катавасов. — А нам в городе, кроме сербской войны, ничего не видно. Ну, как мой приятель относится? Верно, что-нибудь не как люди? — Да он так, ничего, как все, — несколько сконфуженно оглядываясь на Сергея Ивановича, отвечала Кити. — Так я пошлю за ним. А у нас папа гостит. Он недавно из-за границы приехал. И, распорядившись послать за Левиным и о том, чтобы провести запыленных гостей умываться, одного в кабинет, другого в бывшую Доллину комнату, и о завтраке гостям, она, пользуясь нравом быстрых движений, кото8G7

И, поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.

VI

Не зная, когда ему можно будет выехать из Москвы, Сергей Иванович не телеграфировал брату, чтобы высылать за ним. Левина не было дома, когда Катавасов и Сергей Иванович на тарантасике, взятом на станции, запыленные, как арапы, в двенадцатом часу дня подъехали к крыльцу покровского дома. Кити, сидевшая на балконе с отцом и сестрой, узнала деверя и сбежала вниз встретить его.

— Как вам не совестно не дать знать, — сказала она, подавая руку Сергею Ивановичу и подставляя ему лоб.

— Мы прекрасно доехали и вас не беспокоили, — отвечал Сергей Иванович. — Я так пылен, что и боюсь дотронуться. Я был так занят, что и не знал, когда вырвусь. А вы по-старому, — сказал он, улыбаясь, — наслаждаетесь тихим счастьем вне течений в своем тихом затоне. Вот и наш приятель Федор Васильич собрался наконец.

— Но я не негр, я вымоюсь — буду похож на человека, — сказал Катавасов с своею обычною шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестящими из-за черного лица зубами.

— Костя будет очень рад. Он пошел на хутор. Ему бы пора прийти.

— Все занимается хозяйством. Вот именно в затоне, — сказал Катавасов. — А нам в городе, кроме сербской войны, ничего не видно. Ну, как мой приятель относится? Верно, что-нибудь не как люди?

— Да он так, ничего, как все, — несколько сконфуженно оглядываясь на Сергея Ивановича, отвечала Кити. — Так я пошлю за ним. А у нас папа гостит. Он недавно из-за границы приехал.

И, распорядившись послать за Левиным и о том, чтобы провести запыленных гостей умываться, одного в ка-

рых она была лишена во время своей беременности, вбежала на балкон. — Это Сергей Иванович и Катавасов, профессор,— сказала она. — Ох, в жар тяжело! — сказал князь. — Нет, папа, он очень милый, и Костя его очень любит, — как будто упрашивая его о чем-то, улыбаясь, сказала Кити, заметившая выражение насмешливости на лице отца. — Да я ничего. — Ты поди, душенька, к ним, — обратилась Кити к сестре, — и займи их. Они видели Стиву на станции, он здоров. А я побегу к Мите. Как на беду, не кормила уж с самого чая. Он теперь проснулся и, верно, кричит. — И она, чувствуя прилив молока, скорым шагом пошла в детскую. Действительно, она не то что угадала (связь ее с ребенком не была ещ,е порвана), она верно узнала по приливу молока у себя недостаток пищи у него. Она знала, что он кричит, еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал. Она услышала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый. — Давно, няня, давно? — поспешно говорила Кити, садясь на стул и приготовляясь к кормлению. — Да дайте же мне его скорее. Ах, няня, какая вы скучная, ну, после чепчик завяжете! Ребенок надрывался от жадного крика. — Да нельзя же, матушка, — отвечала Агафья Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской. — Надо в порядке его убрать. Агу, агу! — распевала она над ним, не обращая внимания на мать. Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от неяшости лицом. — Знает, знает. Вот верьте богу, матушка Катерина Александровна, узнал меня! — перекрикивала Агафья Михайловна ребенка. Но Кити не слушала ее слов. Ее нетерпение шло так я^е возрастая, как и нетерпение ребенка. От нетерпения дело долго не могло уладиться. Ребенок хватал не то, что надо, и сердился. Наконец после отчаянного задыхающегося вскрика, пустого захлебываиітд дело уладилось, и мать и ребе

рых она была лишена во время своей беременности, вбежала на балкон.

— Это Сергей Иванович и Катавасов, профессор,— сказала она.

— Ох, в жар тяжело! — сказал князь.

— Нет, папа, он очень милый, и Костя его очень любит,— как будто упрашивая его о чем-то, улыбаясь, сказала Кити, заметившая выражение насмешливости на лице отца.

— Да я ничего.

— Ты поди, душенька, к ним,— обратилась Кити к сестре,— и займи их. Они видели Стиву на станции, он здоров. А я побегу к Мите. Как на беду, не кормила уж с самого чая. Он теперь проснулся и, верно, кричит. — И она, чувствуя прилив молока, скорым шагом пошла в детскую.

Действительно, она не то что угадала (связь ее с ребенком не была еще порвана), она верно узнала по приливу молока у себя недостаток пищи у него.

Она знала, что он кричит, еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал. Она услышала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый.

— Давно, няня, давно? — поспешно говорила Кити, садясь на стул и приготовляясь к кормлению.— Да дайте же мне его скорее. Ах, няня, какая вы скучная, ну, после чепчик завяжете!

Ребенок надрывался от жадного крика.

— Да нельзя же, матушка, — отвечала Агафья Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской.— Надо в порядке его убрать. Агу, агу! — распевала она над ним, не обращая внимания на мать.

Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом.

— Знает, знает. Вот верьте богу, матушка Катерина Александровна, узнал меня! — перекрикивала Агафья Михайловна ребенка.

Но Кити не слушала ее слов. Ее нетерпение шло так же возрастая, как и нетерпение ребенка.

От нетерпения дело долго не могло уладиться. Ребенок хватал не то, что надо, и сердился.

нок одновременно почувствовали себя успокоенными и оба затихли. — Однако и он, бедняжка, весь в поту,— шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка. — Вы почему же думаете, что он узнает? — прибавила она, косясь на плутовски, как ей казалось, смотревшие из-под надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручку с красною ладонью, которою он выделывал кругообразные движения. — Не может быть! Уж если б узнавал, так меня бы узнал, — сказала Кити па утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась. Она улыбалась тому, что, хотя она и говорила, что он не может узнавать, сердцем она знала, что не только он узнает Агафью Михайловну, “но что он все знает и понимает, и знает и понимает еще много такого, чего никто не знает и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны, для няни, для деда, для отца даже, Митя был живое существо, требующее за собой только материального ухода; но для матери он уже давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений. — А вот проснется, бог даст, сами увидите. Как вот этак сделаю, он так и просияет, голубчик. Так и просияет, как денек ясный,— говорила Агафья Михайловна. — Ну, хорошо, хорошо, тогда увидим,— прошептала Кити.— Теперь идите, он засыпает. VII Агафья Михайловна вышла на цыпочках; няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося о стекла рамы, и села, махая березовою вянущею веткой над матерью и ребенком. — Жара-то, жара! Хоть бы бог дождичка дал,— проговорила она. — Да, да, ш-ш-ш... — только отвечала Кити, слегка покачиваясь и нежно прижимая как будто перетянутую в кисти ниточкой пухлую ручку, которою Митя все слабо махал, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка смущала Кити: ей хотелось поцеловать эту ручку, но она боялась сделать это, чтобы не разбудить ребенка. Ручка 309

нок одновременно почувствовали себя успокоенными и оба затихли.

— Однако и он, бедняжка, весь в поту,— шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка.— Вы почему же думаете, что он узнает? — прибавила она, косясь на плутовски, как ей казалось, смотревшие из-под надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручку с красною ладонью, которою он выделывал кругообразные движения.

— Не может быть! Уж если б узнавал, так меня бы узнал,— сказала Кити на утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась.

Она улыбалась тому, что, хотя она и говорила, что он не может узнавать, сердцем она знала, что не только он узнает Агафью Михайловну, но что он все знает и понимает, и знает и понимает еще много такого, чего никто не знает и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны, для няни, для деда, для отца даже, Митя был живое существо, требующее за собой только материального ухода; но для матери он уже давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений.

— А вот проснется, бог даст, сами увидите. Как вот этак сделаю, он так и просияет, голубчик. Так и просияет, как денек ясный,— говорила Агафья Михайловна.

— Ну, хорошо, хорошо, тогда увидим,— прошептала Кити.— Теперь идите, он засыпает.

VII

Агафья Михайловна вышла на цыпочках; няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося о стекла рамы, и села, махая березовою вянущею веткой над матерью и ребенком.

— Жара-то, жара! Хоть бы бог дождичка дал,— проговорила она.

— Да, да, ш-ш-ш...— только отвечала Кити, слегка покачиваясь и нежно прижимая как будто перетянутую в кисти ниточкой пухлую ручку, которою Митя все слабо махал, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка сму-

наконец перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изредка, продолжая свое дело, ребенок, приподнимая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете казавшимися черными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот Катавасова. «Верно, разговорились без меня, — думала Кити,— а все-таки досадно, что Кости нет. Верно, опять зашел на пчельник. Хоть и грустно, что он часто бывает там, я всетаки рада. Это развлекает его. Теперь он стал все веселее и лучше, чем весною. А то он так был мрачен и так мучался, что мне становилось страшно за него. И какой он смешной!» — прошептала она, улыбаясь. Она знала, что мучало ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что, если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будуш,ей жизни он, если не поверит, будет погублен, она бы должна была согласиться, что он будет погублен, — его неверие не делало ее несчастья; и она, признававшая то, что для неверуюьцего не может быть спасения, и любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. «Для чего он целый год все читает философии какието? — думала она. — Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить. Так отчего ж он не верит? Верно, оттого, что много думает? А много думает от уединения. Все один, один. С нами нельзя ему всего говорить. Я думаю, гости эти будут приятны ему, особенно Катавасов. Он любит рассуждать с ним», — подумала она и тотчас же перенеслась мыслью к тому, где удобнее положить спать Катавасова, — отдельно или вместе с Сергеем Иванычем. И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее. «Прачка, кажется, не приносила еще белья, а для гостей постельное белье все в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергею Иванычу стеленное белье», — и при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо Кити. «Да, я распоряжусь»,— решила она и, возвращаясь к прежним мыслям, вспомнила, что что-то важное душев-^ нос было не додумано еще, и она стала вспоминать что. 370

наконец перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изредка, продолжая свое дело, ребенок, приподнимая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете казавшимися черными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот Катавасова.

«Верно, разговорились без меня,— думала Кити,— а все-таки досадно, что Кости нет. Верно, опять зашел на пчельник. Хоть и грустно, что он часто бывает там, я все-таки рада. Это развлекает его. Теперь он стал все веселее и лучше, чем весною.

А то он так был мрачен и так мучался, что мне становилось страшно за него. И какой он смешной!» — прошептала она, улыбаясь.

Она знала, что́ мучало ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что, если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она бы должна была согласиться, что он будет погублен,— его неверие не делало ее несчастья; и она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасения, и любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной.

«Для чего он целый год все читает философии какие-то? — думала она.— Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить. Так отчего ж он не верит? Верно, оттого, что много думает? А много думает от уединения. Все один, один. С нами нельзя ему всего говорить. Я думаю, гости эти будут приятны ему, особенно Катавасов. Он любит рассуждать с ним», — подумала она и тотчас же перенеслась мыслью к тому, где удобнее положить спать Катавасова,— отдельно или вместе с Сергеем Иванычем. И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее. «Прачка, кажется, не приносила еще белья, а для гостей постельное белье все в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергею Иванычу стеленное белье»,— и при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо Кити.

«Да, я распоряжусь»,— решила она и, возвращаясь к прежним мыслям, вспомнила, что что-то важное душев-

«Да, Костя неверующий», — опять с улыбкой вспомнила она. «Ну, неверующий! Лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь или какою я хотела быть тогда за границей. Нет, он уже не станет притворяться». И недавняя черта его доброты живо возникала пред ней. Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянье, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть своего имения. После этого Кити с невольною улыбкой умиленрія вспомнила сконфуженность своего мужа, его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу и как он, наконец, придумав одно-единствеиное средство, не оскорбив, помочь Долли, предложил Кити отдать ей свою часть именья, о чем она прежде не догадалась. «Какой же он неверующий? С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка! Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости — быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить». «Да, только будь таким, как твой отец, только таким», — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке. VIII С той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него, в период от двадцати до тридцати четырех лет, заменили его детские и юношеские верования, — он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей; но для жизни они ничего не давали, 371

«Да, Костя неверующий», — опять с улыбкой вспомнила она.

«Ну, неверующий! Лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь или какою я хотела быть тогда за границей. Нет, он уже не станет притворяться».

И недавняя черта его доброты живо возникала пред ней. Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянье, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть своего имения. После этого Кити с невольною улыбкой умиления вспомнила сконфуженность своего мужа, его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу и как он, наконец, придумав одно-единственное средство, не оскорбив, помочь Долли, предложил Кити отдать ей свою часть именья, о чем она прежде не догадалась.

«Какой же он неверующий? С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка! Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости — быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить».

«Да, только будь таким, как твой отец, только таким»,— проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке.

VIII

С той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него, в период от двадцати до тридцати четырех лет, заменили его детские и юношеские верования,— он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова

и Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду и который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем сугцеством своим убедился бы, что он все равно что голый и что он неминуемо должен мучительно погибнуть. С той минуты, хотя и не отдавая себе в том отчета и продоля^ая жить по-прежнему, Левин не переставал чувствовать этот страх за свое незнание. Кроме того, он смутно чувствовал, что то, что он называл своими убеждениями, было не только незнание, но что это был такой склад мысли, при котором невозможно было знание того, что ему нужно было. Первое время женитьба, новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли; но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину все чаш,е и чаще, настоятельнее и настоятельнее стал представляться требовавший разрешения вопрос. Вопрос для него состоял в следующем: «Если я но признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни, то какие я признаю ответы?» И он никак не мог найти во всем арсенале своих убеждений не только каких-нибудь ответов, но ничего похожего на ответ. Он был в положенирі человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках. Невольно, бессознательно для себя, он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их. Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прелшие верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса, Левина мучали еще другие вопросы: искренни ли эти люди? не притворяются ли они? или не иначе ли как-нибудь, яснее, чем он, понимают они те ответы, которые дает наука на занимающие его вопросы? И он старательно изучал и мнения этих людей и книги, которые выражали эти ответы. Одно, что он нашел с тех пор, как вопросы эти стали занимать его, это было то, что он ошибался, предполагая 372

и Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду и который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что голый и что он неминуемо должен мучительно погибнуть.

С той минуты, хотя и не отдавая себе в том отчета и продолжая жить по-прежнему, Левин не переставал чувствовать этот страх за свое незнание.

Кроме того, он смутно чувствовал, что то, что он называл своими убеждениями, было не только незнание, но что это был такой склад мысли, при котором невозможно было знание того, что ему нужно было.

Первое время женитьба, новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли; но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину все чаще и чаще, настоятельнее и настоятельнее стал представляться требовавший разрешения вопрос.

Вопрос для него состоял в следующем: «Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни, то какие я признаю ответы?» И он никак не мог найти во всем арсенале своих убеждений не только каких-нибудь ответов, но ничего похожего на ответ.

Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках.

Невольно, бессознательно для себя, он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их.

Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежние верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса, Левина мучали еще другие вопросы: искренни ли эти люди? не притворяются ли они? или не иначе ли как-нибудь, яснее, чем он, понимают они те ответы, которые дает наука на занимающие его вопросы? И он старательно изучал и мнения этих людей и книги, которые выражали эти ответы.

Одно, что он нашел с тех пор, как вопросы эти стали

по воспоминаниям своего юношеского, университетского круга, что религия уж отжила свое время и что ее более не суш;ествует. Все хорошие по жизни, близкие ему люди верили. И старый князь, и Львов, так полюбившийся ему, и Сергей Иваныч, и все женщины верили, и жена его верила так, как он верил в первом детстве, и девяносто девять сотых русского народа, весь тот народ, жизнь которого внушала ему наибольшее уважение, верили. Другое было то, что, прочтя много книг, он убедился, что люди, разделявшие с ним одинокие воззрения, ничего другого не подразумевали под ними и что они, ничего не объясняя, только отрицали те вопросы, без ответа на которые он чувствовал, что не мог жить, а старались разрешить совершенно другие, не могущие интересовать его вопросы, как, например, о развитии организмов, о механическом объяснении души и т. п. Кроме того, во время родов я?ены с ним случилось необыкновенное для него событие. Он, неверующий, стал молиться и в ту минуту, как молился, верил. Но прошла эта минуту, и он не мог дать этому тогдашнему настроению никакого места в своей жизни. Он не мог признать, что он тогда знал правду, а теперь ошибается; потому что, как только он начинал думать спокойно об этом, все распадалось вдребезги; не мог II признать того, что он тогда ошибался, потому что дорожил тогдашним душевным настроением, а признавая его данью слабости, он бы осквернял те минуты. Он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него. IX Мысли эти томили и мучали его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели. В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера — тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь. Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержения против других уче373

по воспоминаниям своего юношеского, университетского круга, что религия уж отжила свое время и что ее более не существует. Все хорошие по жизни, близкие ему люди верили. И старый князь, и Львов, так полюбившийся ему, и Сергей Иваныч, и все женщины верили, и жена его верила так, как он верил в первом детстве, и девяносто девять сотых русского народа, весь тот народ, жизнь которого внушала ему наибольшее уважение, верили.

Другое было то, что, прочтя много книг, он убедился, что люди, разделявшие с ним одинакие воззрения, ничего другого не подразумевали под ними и что они, ничего не объясняя, только отрицали те вопросы, без ответа на которые он чувствовал, что не мог жить, а старались разрешить совершенно другие, не могущие интересовать его вопросы, как, например, о развитии организмов, о механическом объяснении души и т. п.

Кроме того, во время родов жены с ним случилось необыкновенное для него событие. Он, неверующий, стал молиться и в ту минуту, как молился, верил. Но прошла эта минуту, и он не мог дать этому тогдашнему настроению никакого места в своей жизни.

Он не мог признать, что он тогда знал правду, а теперь ошибается; потому что, как только он начинал думать спокойно об этом, все распадалось вдребезги; не мог и признать того, что он тогда ошибался, потому что дорожил тогдашним душевным настроением, а признавая его данью слабости, он бы осквернял те минуты. Он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него.

IX

Мысли эти томили и мучали его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели.

В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера — тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь.

ВИЙ, в особенности против материалистического; но как только он читал или сам придумывал разрешения вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как дух, воля, свобода, суб^ станция, нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити, — и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же переставленных слов, независимо от чего-то более важного в й^изни, чем разум. Одно время, читая Шопенгауера, он подставил на место его воли — любовь, и эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его; но опа точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее, и оказалась кисейною, негреющею одеждой. Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том сочинений Хомякова и, несмотря на оттолкнувший его сначала полемический, элегантный и остроумный тон, был поражен в них учением о церкви. Его поразила сначала мысль о том, что постижение божественных истин не дано человеку, но дано совокупности людей, соединенных любовью, — церкви. Его обрадовала мысль о том, как легче было поверить в существующую, теперь живущую церковь, составляющую все верования людей, имеющую во главе бога и потому святую и непогрешимую, и от нее уже принять верования в бога, в творение, в падение, в искупление, чем начинать с бога, далекого, таинственного бога, творения и т. д. Но, прочтя потом историю церкви католического писателя и историю церкви православного писателя и увидав, что обе церкви, непогрешрімые по сущности своей, отрицают одна другую, он разочаровался и в хомяковском учении о церкви, и это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки. Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты. «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А зиять я этого не могу, следовательно, нельзя жить»і — говорил себе Левин.

ний, в особенности против материалистического; но как только он читал или сам придумывал разрешения вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как *дух, воля, свобода, субстанция,* нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити,— и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же переставленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум.

Одно время, читая Шопенгауера, он подставил на место его *воли — любовь,* и эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его; но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее, и оказалась кисейною, негреющею одеждой.

Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том сочинений Хомякова и, несмотря на оттолкнувший его сначала полемический, элегантный и остроумный тон, был поражен в них учением о церкви. Его поразила сначала мысль о том, что постижение божественных истин не дано человеку, но дано совокупности людей, соединенных любовью,— церкви. Его обрадовала мысль о том, как легче было поверить в существующую, теперь живущую церковь, составляющую все верования людей, имеющую во главе бога и потому святую и непогрешимую, и от нее уже принять верования в бога, в творение, в падение, в искупление, чем начинать с бога, далекого, таинственного бога, творения и т. д. Но, прочтя потом историю церкви католического писателя и историю церкви православного писателя и увидав, что обе церкви, непогрешимые по сущности своей, отрицают одна другую, он разочаровался и в хомяковском учении о церкви, и это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки.

Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты.

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя

«в бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот — я». Это была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении. Это было то последнее верование, на котором строились все, почти во всех отраслях, изыскания человеческой мысли. Это было царствующее убеждение, и Левин из всех других объяснений, как все-таки более ясное, невольно, сам не зная когда и как, усвоил именно это. Но это не только была неправда, это была жестокая насмешка какой-то злой силы, злой, противной и такой, которой нельзя было подчиняться. Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство — смерть. И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить. X Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаянье; но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил; даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде. Вернувшись в начале июня в деревню, он вернулся и к своим обычным занятиям. Хозяйство сельское, отношения с мужиками и соседями, домашнее хозяйство,, дела сестры и брата, которые были у него на руках, отношения с женою, родными, заботы о ребенке, новая пчелиная охота, которою он увлекся с нынешней весны, занимали все его время. Дела эти занимали его не потому, чтоб он оправдывал их для себя какими-нибудь общими взглядами, как 375

«В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот — я».

Это была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении.

Это было то последнее верование, на котором строились все, почти во всех отраслях, изыскания человеческой мысли. Это было царствующее убеждение, и Левин из всех других объяснений, как все-таки более ясное, невольно, сам не зная когда и как, усвоил именно это.

Но это не только была неправда, это была жестокая насмешка какой-то злой силы, злой, противной и такой, которой нельзя было подчиняться.

Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство — смерть.

И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.

Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить.

X

Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаянье; но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил; даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде.

Вернувшись в начале июня в деревню, он вернулся и к своим обычным занятиям. Хозяйство сельское, отношения с мужиками и соседями, домашнее хозяйство, дела сестры и брата, которые были у него на руках, отношения с женою, родными, заботы о ребенке, новая пчелиная охота, которою он увлекся с нынешней весны, занимали все его время.

он это делывал прежде; напротив, теперь, с одной стороны, разочаровавшись неудачей прежних предприятий для обш.ей пользы, с другой стороны, слишком занятый своими мыслями и самым количеством дел, которые со всех сторон наваливались на него, он совершенно оставил всякие соображения об общ,ей пользе, и дела эти занимали его только потому, что ему казалось, что он должен был делать то, что он делал, — что он не мог иначе. Прежде (это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости), когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для губернии, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необходимо нуяшо, и сама деятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет; теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прелчде, и что оно все становится больше и больше. Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды. Жить семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех я^е условиях образования и в тех я^е воспитывать детей, было, несомненно, нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется; и для этого так же нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в Покровском так, чтобы были дохо-, ды. Так я^е несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком полоя^ении, чтобы сын, получив ее в наследство, сказал так же спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за все то, что он настроил и насадил. И для этого нуяшо было не отдавать землю внаймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать леса. Нельзя было не делать дел Сергея Ивановича, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребенка, которого держишь уже на руках. Нуя^но было позаботиться об удоб376

он это делывал прежде; напротив, теперь, с одной стороны, разочаровавшись неудачей прежних предприятий для общей пользы, с другой стороны, слишком занятый своими мыслями и самым количеством дел, которые со всех сторон наваливались на него, он совершенно оставил всякие соображения об общей пользе, и дела эти занимали его только потому, что ему казалось, что он должен был делать то, что он делал,— что он не мог иначе.

Прежде (это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости), когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для губернии, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необходимо нужно, и сама деятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет; теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно все становится больше и больше.

Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды.

Жить семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех же условиях образования и в тех же воспитывать детей, было, несомненно, нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется; и для этого так же нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в Покровском так, чтобы были доходы. Так же несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын, получив ее в наследство, сказал так же спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за все то, что он настроил и насадил. И для этого нужно было не отдавать землю внаймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навóзить поля, сажать леса.

Нельзя было не делать дел Сергея Ивановича, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребенка, которого держишь

ствах приглашенной свояченицы с детьми и жены с ребенком, и нельзя было не быть с ними хоть малую часть дня. И все это вместе с охотой за дичью и новой пчелиной охотой наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имела для него никакого смысла, когда он думал. Но кроме того, что Левин твердо знал, что ему надо делать, он точно так же знал, кап ему надо все это делать и какое дело важнее другого. Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле; но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу муя«икам солому можно было, хотя и жалко было их; но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. За порубку лесов надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафов, и хотя это и огорчало караульщиков и уничтол^ало страх, нельзя было не отпускать загнанную скотину. Петру, плативщему ростовщику десять процентов в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикамиеплательщикам. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не был скошен и трава пропала задаром; но нельзя было и косить восемьдесят десятин, на которых был посал^ен молодой лес. Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер, как ни л^алко было его, и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы; но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым. Левин знал тоже, что, возвращаясь домой, надо было прелще всего идти к жене, которая была нездорова; а муЛчикам, дол^идавшимся его уже три часа, можно было еще подолщать; и знал, что, несмотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было лишиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике. Хорошо ли, дурно ли он поступал, он не знал и не только не стал бы теперь доказывать, но избегал разговоров и мыслей об этом. 377

ствах приглашенной свояченицы с детьми и жены с ребенком, и нельзя было не быть с ними хоть малую часть дня.

И все это вместе с охотой за дичью и новой пчелиной охотой наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имела для него никакого смысла, когда он думал.

Но кроме того, что Левин твердо знал, *что́* ему надо делать, он точно так же знал, *как* ему надо все это делать и какое дело важнее другого.

Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле; но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно было, хотя и жалко было их; но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. За порубку лесов надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафов, и хотя это и огорчало караульщиков и уничтожало страх, нельзя было не отпускать загнанную скотину.

Петру, платившему ростовщику десять процентов в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не был скошен и трава пропала задаром; но нельзя было и косить восемьдесят десятин, на которых был посажен молодой лес. Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер, как ни жалко было его, и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы; но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым.

Левин знал тоже, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти к жене, которая была нездорова; а мужикам, дожидавшимся его уже три часа, можно было еще подождать; и знал, что, несмотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было лишиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике.

Хорошо ли, дурно ли он поступал, он не знал и не

Рассуждения приводили его в сомнения и метали ему видеть, что должно и что не должно. Когда же он иѳ думал, а жил, он не переставая чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже; и как только он поступал не так как надо, он тотчас же чувствовал это. Так он жил, не зная и не видя возмолшости знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни. XI В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней. Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни и которое высоко ценимо бы было, если бы люди, проявляюп],ие эти качества, сами ценили бы их, если б оно не повторялось каждый год и если бы последствия этого напряжения не были так просты. Скосить и сжать рожь и овес и свезти, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимое — все это кажется просто и обыкновенно; а чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали не переставая в эти три-четыре недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черныіЛі хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более двух-трех часов в сутки. И каждый год это делается по всей России. Проживя большую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это обш;ее народное возбуждение сообщается и ему. С утра он ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и, вернувшись домой к вставанью жены и свояченицы, напился с ними кофею и ушел пеш378

Рассуждения приводили его в сомнения и мешали ему видеть, что́ должно и что́ не должно. Когда же он не думал, а жил, он не переставая чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже; и как только он поступал не так как надо, он тотчас же чувствовал это.

Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни.

XI

В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней.

Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни и которое высоко ценимо бы было, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если б оно не повторялось каждый год и если бы последствия этого напряжения не были так просты.

Скосить и сжать рожь и овес и свезти, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимое — все это кажется просто и обыкновенно; а чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали не переставая в эти три-четыре недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более двух-трех часов в сутки. И каждый год это делается по всей России.

Проживя бо́льшую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это общее народное возбуждение сообщается и ему.

С утра он ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и, вернувшись домой к вставанью

ком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян. Целый день этот Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками и дома разговаривая с женою, с Долли, с детьми ее, с тестем, думал об одном и одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отношения к своему вопросу: «Что же я такое? и где я? и зачем я здесь?» Стоя в холодке вновь покрытой риги с необсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника, прижатого к облупленным свежим осиновым слегам соломенной крыши, Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молотьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и, трепля крыльями, останавливавшихся в просветах ворот, то на народ, копошившийся в темной и пыльной риге, и думал странные мысли. «Зачем все это делается? — думал он. — Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они все хлопочут и стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? (Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала матица), — думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорелыми босыми ногами по неровному жесткому току. — Тогда она выздоровела; но не нынчезавтра, через десять лет, ее закопают, и ничего не останется ни от нее, ни от этой щеголихи в красной паневе, которая таким ловким, нежным движением отбивает из мякины колос. И ее закопают, и пегого мерина этого очень скоро, — думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклонному колесу.— И ее закопают, и Федора подавальщика с его курчавой, полною мякины бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывает снопы, и чтото командует, и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе. И главное, не только их, но меня закопают, и ничего не останется. К чему?» Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотят в час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. 379

ком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян.

Целый день этот Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками и дома разговаривая с женою, с Долли, с детьми ее, с тестем, думал об одном и одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отношения к своему вопросу: «Что же я такое? и где я? и зачем я здесь?»

Стоя в холодке вновь покрытой риги с необсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника, прижатого к облупленным свежим осиновым слегам соломенной крыши, Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молотьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и, трепля крыльями, останавливавшихся в просветах ворот, то на народ, копошившийся в темной и пыльной риге, и думал странные мысли.

«Зачем все это делается? — думал он.— Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они все хлопочут и стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? (Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала матица),— думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорелыми босыми ногами по неровному жесткому току.— Тогда она выздоровела; но не нынче-завтра, через десять лет, ее закопают, и ничего не останется ни от нее, ни от этой щеголихи в красной паневе, которая таким ловким, нежным движением отбивает из мякины колос. И ее закопают, и пегого мерина этого очень скоро, — думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклонному колесу.— И ее закопают, и Федора подавальщика с его курчавой, полною мякины бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывает снопы, и что-то командует, и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе. И главное, не только их, но меня закопают, и ничего не останется. К чему?»

Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы

«Скоро уж час, а только начали третью копну»,-— подумал Левин, подошел к подавальш,ику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал. — Помногу подаешь, Федор! Видишь — запирается, оттого не споро. Разравнивай! Почерневший от липнувшей к потному лицу пыли Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так, как хотелось Левину. Левин, подойдя к барабану, отстранил Федора и сахЛі взялся подавать. Проработав до обеда мужицкого, до которого уже оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из риги и разговорился, остановившись подле сложенного на току для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи. Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале. Теперь она была отдана дворнику внаймы. Левин разговорился с подавальщиком Федоpoivi об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни. — Цена дорога, Платону не выручить, Константин Дмитрии, — отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи. — Да как же Кириллов выручает? — Митюхе (так презрительно назвал мужик дворника), Константин Дмитрии, как не выручить! Этот нажмет, да свое выберет. Он хрестьянина не пожалеет. А дядя Фоканыч (так он звал старика Платона) разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где и спустит. Ап и не доберет. Тоже человеком. — Да зачем же он будет спускать? — Да так, значит — люди разные; один человек только для нуящы своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит. — Как бога помнит? Как для души живет? — почтивскрикнул Левин. — Известно как, по правде, по-божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека... — Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. 380

«Скоро уж час, а только начали третью копну»,— подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал.

— Помногу подаешь, Федор! Видишь — запирается, оттого не споро. Разравнивай!

Почерневший от липнувшей к потному лицу пыли Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так, как хотелось Левину.

Левин, подойдя к барабану, отстранил Федора и сам взялся подавать.

Проработав до обеда мужицкого, до которого уже оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из риги и разговорился, остановившись подле сложенного на току для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи.

Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале. Теперь она была отдана дворнику внаймы.

Левин разговорился с подавальщиком Федором об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни.

— Цена дорога, Платону не выручить, Константин Дмитрич,— отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи.

— Да как же Кириллов выручает?

— Митюхе (так презрительно назвал мужик дворника), Константин Дмитрич, как не выручить! Этот нажмет, да свое выберет. Он хрестьянина не пожалеет. А дядя Фоканыч (так он звал старика Платона) разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где и спустит. Ан и не доберет. Тоже человеком.

— Да зачем же он будет спускать?

— Да так, значит — люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит.

— Как бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.

— Известно как, по правде, по-божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека...

— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро

Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по-божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом. XII Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям (он не мог еще разобрать их), сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному. Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не переставáвших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его и в то время, когда он говорил об отдаче земли. Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое. «Не для нужд своих жить, а для бога. Для какого бога? Для бога. И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для бога, которого никто ни понять, пи определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными? Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны. Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для бога, и я с намека понимаю его! И я и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом и мудрецы, думав381

Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по-божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом.

XII

Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям (он не мог еще разобрать их), сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному.

Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его и в то время, когда он говорил об отдаче земли.

Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое.

«Не для нужд своих жить, а для бога. Для какого бога? Для бога. И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными?

Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны.

Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для бога, и я с намека понимаю его!

шие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие то же, — мы все согласны в этом одном: для чего надо жить и что хорошо. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом — оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий. Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий. И его-то я знаю, и все мы знаем. А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я замечал его! Какое же может быть чудо больше этого? Неужели я нашел разрешение всего, неужели кончены теперь мои страдания?» — думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись па руку, па сочную, лопушистую лесную траву. «Да, надо опомниться и обдумать, — думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки. — Все сначала,— говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. — Что радует меня? Что я открыл? Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы и этой букашки (вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела) совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами, и с облаками, и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? во что? Бесконечное развитие и борьба?.. Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном! И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение мысли по этому пути, мне все-таки не открывается смысл жизни, смысл моих побуждений и стремлений. А смысл

шие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие то же,— мы все согласны в этом одном: для чего надо жить и что́ хорошо. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом — оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий.

Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий.

И его-то я знаю, и все мы знаем.

А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я замечал его!

Какое же может быть чудо больше этого?

Неужели я нашел разрешение всего, неужели кончены теперь мои страдания?» — думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную, лопушистую лесную траву.

«Да, надо опомниться и обдумать,— думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки.— Все сначала,— говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее.— Что радует меня? Что я открыл?

Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы и этой букашки (вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела) совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами, и с облаками, и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? во что? Бесконечное развитие и борьба?.. Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном! И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение

моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем, и я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для бога, для души. Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина». И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние два года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого безнадежно больного брата. В первый раз тогда поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать и даже в это самое время женился и испытал много радостей и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни. Что ж это значило? Зто значило, что он жил хорошо, но думал дурно. Он жил (не сознавая этого) теми духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих истин, но старательно обходя их. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан. «Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня». И, делая самые большие усилия воображения, он все-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил. «Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, — она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь, в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его. Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали 383

моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем, и я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для бога, для души.

Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина».

И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние два года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого безнадежно больного брата.

В первый раз тогда поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться.

Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать и даже в это самое время женился и испытал много радостей и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни.

Что ж это значило? Это значило, что он жил хорошо, но думал дурно.

Он жил (не сознавая этого) теми духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих истин, но старательно обходя их.

Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан.

«Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня». И, делая самые большие усилия воображения, он все-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил.

«Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль,— она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь, в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, *дано* потому, что я ниоткуда не мог взять его.

это в детстве, и я радостно поверил, потому ято мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за суш;ествование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно». «Да, гордость», — сказал он себе, переваливаясь на живот и начиная завязывать узлом стебли трав, стараясь не сломать их. «И не только гордость ума, а глупость ума. А главное — плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума»,— повторил он. XIII И Левину вспомнилась недавняя сцепа с Долли и ее детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть и они умрут с голода. II Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объема того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут. «Это все само собой, — думали они, — и интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет. И всегда все одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово; а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем но хуже, чем пить из чашек». «Разве не то же самое делаем мы, делал я, разумом отыскивая значение сил природы и смысл лшзпи человека?» — продолжал он думать.

это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно».

«Да, гордость»,— сказал он себе, переваливаясь на живот и начиная завязывать узлом стебли трав, стараясь не сломать их.

«И не только гордость ума, а глупость ума. А главное — плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума»,— повторил он.

XIII

И Левину вспомнилась недавняя сцена с Долли и ее детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть и они умрут с голода.

И Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объема того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут.

«Это все само собой,— думали они,— и интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет. И всегда все одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово; а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем не хуже, чем пить из чашек».

«Разве не то же самое делаем мы, делал я, разумом

«и разве не то же делают все теории философские, путем мысли, странным, не свойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без этого и жить бы не мог? Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его, главный смысл жизни и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно? Ну-ка, пустить одних детей, чтоб они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином боге и творце! Или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь! Мы только разрушаем, потому что мы духовно сыты. Именно дети! Откуда у меня радостное, общее с мужиком знание, которое одно дает мне спокойствие души? Откуда взял я это? Я, воспитанный в понятии бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство, преисполненный весь и живущий этими благами, я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу. А как только наступает важная минута жизни, как дети, когда им холодно и голодно, я иду к нему, и еще менее, чем дети, которых мать бранит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки с жира беситься не зачитываются мне. Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верою в то главное, что исповедует церковь». «Церковь? Церковь!» — повторил себе Левин, перелег на другую сторону и, облокотившись на руку, стал глядеть вдаль, на сходившее с той стороны к реке стадо. «Но могу ли я верить во все, что исповедует церковь? — думал он испытывая себя и придумывая все то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. — Творение? А я чем же объяснял существование? Сущест13 л. Ы. Толстой, т. О 385

«И разве не то же делают все теории философские, путем мысли, странным, не свойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без этого и жить бы не мог? Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его, главный смысл жизни и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно?

Ну-ка, пустить одних детей, чтоб они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином боге и творце! Или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного.

Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь!

Мы только разрушаем, потому что мы духовно сыты. Именно дети!

Откуда у меня радостное, общее с мужиком знание, которое одно дает мне спокойствие души? Откуда взял я это?

Я, воспитанный в понятии бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство, преисполненный весь и живущий этими благами, я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу. А как только наступает важная минута жизни, как дети, когда им холодно и голодно, я иду к нему, и еще менее, чем дети, которых мать бранит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки с жира беситься не зачитываются мне.

Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верою в то главное, что исповедует церковь».

«Церковь? Церковь!» — повторил себе Левин, перелег на другую сторону и, облокотившись на руку, стал глядеть вдаль, на сходившее с той стороны к реке стадо.

«Но могу ли я верить во все, что исповедует церковь? — думал он испытывая себя и придумывая все то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он наро[illegible]

вованием? Ничем? — Дьявол и грех? — А чем я объясняю зло?.. Искупитель?.. Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми». И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушало главное —■ веру в бога, в добро как единственное назначение человека. Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков — со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим. Лежа на спине, он смотрел теперь в высокое, безоблачное небо. «Разве я не знаю, что это — бесконечное пространство и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я несомненно прав, когда я вижу твердый голубой свод, я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его». Левин перестал уже думать и только как бы прислушивался к таинственным голосам, о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой. «Неужели это вера? подумал он, боясь верить своему счастью. — Боже мой, благодарю тебя!» — проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыданья и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза. XIV Левин смотрел перед собой и видел стадо, потом увидал свою тележку, запряженную Вороным, и кучера, который, подъехав к стаду, поговорил что-то с пастухом; потом он уже вблизи от себя услыхал звук колес и фырканье сытой лошади; по оп так был поглощен своими мыслями, что он и не подумал о том, зачем едет к нему кучер.

ванием? Ничем? — Дьявол и грех? — А чем я объясняю зло?.. Искупитель?..

Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми».

И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушало главное — веру в бога, в добро как единственное назначение человека.

Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков — со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим.

Лежа на спине, он смотрел теперь в высокое, безоблачное небо. «Разве я не знаю, что это — бесконечное пространство и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я несомненно прав, когда я вижу твердый голубой свод, я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его».

Левин перестал уже думать и только как бы прислушивался к таинственным голосам, о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой.

«Неужели это вера? — подумал он, боясь верить своему счастью.— Боже мой, благодарю тебя!» — проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыданья и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза.

XIV

Левин смотрел перед собой и видел стадо, потом увидал свою тележку, запряженную Вороным, и кучера, который, подъехав к стаду, поговорил что-то с пастухом; потом он уже вблизи от себя услыхал звук колес и фырканье сытой лошади; но он так был поглощен своими

On вспомнил это только тогда, когда кучер, уже совсем подъехав к нему, окликнул его. — Барыня послали. Приехали братец и еще какой-то барин. Левин сел в тележку и взял вожжи. Как бы пробудившись от сна, Левин долго пе мог опомниться. Он оглядывал сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шее, где терлись поводки, оглядывал Ивана-кучера, сидевшего подле него, и вспоминал о том, что он ждал брата, что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом. И брат, и жена, и неизвестный гость представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие. «С братом теперь пе будет той отчужденности, которая всегда была между нами, — споров не будет; с Кити никогда не будет ссор; с гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр; с людьми, с Иваном — все будет другое». Сдерживая на тугих вожжах фыркающую от нетерпения и просящую хода добрую лошадь, Левин оглядывался на сидевшего подле себя Ивана, не знавшего, что делать своими оставшимися без работы руками, и беспрестанно прижимавшего свою рубашку, и искал предлога для начала разговора с ним. Он хотел сказать, что напрасно Иван высоко подтянул чересседельню, но это было похоже на упрек, а ему хотелось любовного разговора. Другого жо ничего ему не приходило в голову. — Вы извольте вправо взять, а то пень, — сказал кучер, поправляя за вожжу Левина. — Пожалуйста, не трогай и не учи меня! — сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, такое вмешательство привело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью. Нс доезжая с четверть версты до дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Ташо. — Дядя Костя! И мама идет, и дедушка, и Сергей Иваныч, и еще кто-то, — говорили они, влезая на тележку. • — Да кто? 13* 387

Он вспомнил это только тогда, когда кучер, уже совсем подъехав к нему, окликнул его.

— Барыня послали. Приехали братец и еще какой-то барин.

Левин сел в тележку и взял вожжи.

Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться. Он оглядывал сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шее, где терлись поводки, оглядывал Ивана-кучера, сидевшего подле него, и вспоминал о том, что он ждал брата, что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом. И брат, и жена, и неизвестный гость представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие.

«С братом теперь не будет той отчужденности, которая всегда была между нами,— споров не будет; с Кити никогда не будет ссор; с гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр; с людьми, с Иваном — все будет другое».

Сдерживая на тугих вожжах фыркающую от нетерпения и просящую хода добрую лошадь, Левин оглядывался на сидевшего подле себя Ивана, не знавшего, что делать своими оставшимися без работы руками, и беспрестанно прижимавшего свою рубашку, и искал предлога для начала разговора с ним. Он хотел сказать, что напрасно Иван высоко подтянул чересседельню, но это было похоже на упрек, а ему хотелось любовного разговора. Другого же ничего ему не приходило в голову.

— Вы извольте вправо взять, а то пень,— сказал кучер, поправляя за вожжу Левина.

— Пожалуйста, не трогай и не учи меня! — сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, такое вмешательство привело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью.

Не доезжая с четверть версты до дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Таню.

— Дядя Костя! И мама идет, и дедушка, и Сергей Иваныч, и еще кто-то,— говорили они, влезая на те-

— Ужасно страшный! И вот так руками делает, — сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова. •— Да старый или молодой? — смеясь, сказал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то. «Ах, только бы не неприятный человек!» — подумал Левин. Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстречу, Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе, шедшего, точно так размахивая руками, как представляла Таня. Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией; и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним. И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его. «Нет, уж спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду», — подумал он. Выйдя из тележки и поздоровавшись с братом и Катавасовым, Левин спросил про жену. — Она перенесла Митю в Колок (это был лес около дома). Хотела устроить его там, а то в доме жарко, — сказала Долли. Левин всегда отсоветывал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно. — Носится с ним из места в место, — улыбаясь, сказал князь. — Я ей советовал попробовать снести его на ледник. — Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там. Мы туда идем,— сказала Долли. — Ну, что ты делаешь? — сказал Сергей Иванович, отставая от других и равняясь с братом. — Да ничего особенного. Как всегда, занимаюсь хозяйством, — отвечал Левин. — Что же ты, надолго? Мы тебя давно ждали. — Недельки на две. Очень много дела в Москве. При этих словах глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нем желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать. 388

— Ужасно страшный! И вот так руками делает, — сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова.

— Да старый или молодой? — смеясь, сказал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то.

«Ах, только бы не неприятный человек!» — подумал Левин.

Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстречу, Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе, шедшего, точно так размахивая руками, как представляла Таня.

Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией; и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним.

И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его.

«Нет, уж спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду»,— подумал он.

Выйдя из тележки и поздоровавшись с братом и Катавасовым, Левин спросил про жену.

— Она перенесла Митю в Колок (это был лес около дома). Хотела устроить его там, а то в доме жарко,— сказала Долли.

Левин всегда отсоветывал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно.

— Носится с ним из места в место,— улыбаясь, сказал князь.— Я ей советовал попробовать снести его на ледник.

— Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там. Мы туда идем,— сказала Долли.

— Ну, что ты делаешь? — сказал Сергей Иванович, отставая от других и равняясь с братом.

— Да ничего особенного. Как всегда, занимаюсь хозяйством, — отвечал Левин.— Что же ты, надолго? Мы тебя давно ждали.

— Недельки на две. Очень много дела в Москве.

При этих словах глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нем желание быть в дружеских и, главное, простых отношени-

Перебирая предметы разговора такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, на которые он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича. — Ну что, были рецензии о твоей книге? — спросил он. Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса. — Никто не занят этим, и я менее других, — сказал он.— Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик, — прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушками осин белые тучки. И довольно было этих слов, чтобы то не враждебное, по холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями. Левин подошел к Катавасову. — Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать,— сказал он ему. — Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли? — Нет, не дочел,— сказал Левин. — Впрочем, мне он не нужен теперь. — Как так? Это интересно. Отчего? — То есть я окончательно убедился, что разрешения занимаюш;их меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь... Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился. — Впрочем, после поговорим, — прибавил он. — Если на пчельник, то сюда, по этой тропинке, — обратился он ко всем. Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытой с одной стороны сплошной яркой иван-дамарьей, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокие кусты чемерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок, на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, бояш;ихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда. Стараясь делать как можно меньше быстрых двітжеішй и прислушиваясь к пролетавшим все чаці;е и чаще 389

Перебирая предметы разговора такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, на которые он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича.

— Ну что, были рецензии о твоей книге? — спросил он.

Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса.

— Никто не занят этим, и я менее других,— сказал он.— Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик,— прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушками осин белые тучки.

И довольно было этих слов, чтобы то не враждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями.

Левин подошел к Катавасову.

— Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать,— сказал он ему.

— Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли?

— Нет, не дочел,— сказал Левин.— Впрочем, мне он не нужен теперь.

— Как так? Это интересно. Отчего?

— То есть я окончательно убедился, что разрешения занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь...

Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился.

— Впрочем, после поговорим,— прибавил он.— Если на пчельник, то сюда, по этой тропинке, — обратился он ко всем.

Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытой с одной стороны сплошной яркой иван-да-марьей, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокие кусты чемерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок, на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда.

мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых сеней одна пчела завизжала, запутавшись ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со степы повешенную на колышке свою сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные к кольям лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему, каждый с своей историей, старые ульи, а по стенкам плетня молодые, посаженные в нынешнем году. Перед лётками ульев рябили в глазах кружап];иеся и толкущиеся на одном месте, играюпдіе пчелы и трутни, и среди их, всё в одном направлении, туда, в лес на цветущую липу, и назад, к ульям, пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой. В ушах не переставая отзывались разнообразные звуки то занятой делом, быстро пролетающей рабочей пчелы, то трубящего, празднующего трутня, то встревоженных, оберегающих от врага свое достояние, сбирающихся жалить пчел-караульщпц. На той стороне ограды старик строгал обруч и не видал Левина. Левин, не окликая его, остановился на середине пчельника. Он рад был случаю побыть одному, чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение. Он вспомнил, что уже успел рассердиться па Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым. «Неужели это было только минутное настроение и оно пройдет, не оставив следа?» — подумал он. Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел; по оно было цело в кем. Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг пего, угрожавшие и развлекавшие его, лишая его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их, так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной; но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем, так и цела была вновь сознанная им его духовная сила. 390

мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых сеней одна пчела завизжала, запутавшись ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены повешенную на колышке свою сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные к кольям лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему, каждый с своей историей, старые ульи, а по стенкам плетня молодые, посаженные в нынешнем году. Перед лётками ульев рябили в глазах кружащиеся и толкущиеся на одном месте, играющие пчелы и трутни, и среди их, всё в одном направлении, туда, в лес на цветущую липу, и назад, к ульям, пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой.

В ушах не переставая отзывались разнообразные звуки то занятой делом, быстро пролетающей рабочей пчелы, то трубящего, празднующего трутня, то встревоженных, оберегающих от врага свое достояние, сбирающихся жалить пчел-караульщиц. На той стороне ограды старик строгал обруч и не видал Левина. Левин, не окликая его, остановился на середине пчельника.

Он рад был случаю побыть одному, чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение.

Он вспомнил, что уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым.

«Неужели это было только минутное настроение и оно пройдет, не оставив следа?» — подумал он.

Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел; но оно было цело в нем.

Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие и развлекавшие его, лишая его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их, так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной; но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем, так и цела была вновь сознанная им его духовная

XV — А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехая сюда? — сказала Долли, оделив детей огурцами и медом. — С Вронским! Он едет в Сербию. — Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет! — сказал Катавасов. — Это ему идет, — сказал Левин. — А разве всё едут еще добровольцы? — прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича. Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом-тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед живую еще пчелу. — Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции! — сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец. — Ну, это-то как понять? Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? — спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина. — С турками,— спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставший беспомощно двигавшую ножками, почерневшую от меда пчелу и ссаживая ее с нол^а на крепкий осиновый листок. — Но кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозоз и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь? — Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им,— сказал Сергей Иванович. — Но князь говорит не о помощи, — сказал Левин, заступаясь за тестя, — а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительств. — Костя, смотри, это пчела! Право, нас искусают! — сказала Долли, отмахиваясь от осы. — Да это и не пчела, это оса, — сказал Левин. — Ну-с, ну-с, какая ваша теория? — сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор.— Почему частные люди не имеют права? — Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое, ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять па свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне пеизбеясно. С другой стороны, и по науке, и но 391

XV

— А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда? — сказала Долли, оделив детей огурцами и медом.— С Вронским! Он едет в Сербию.

— Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет! — сказал Катавасов.

— Это ему идет,— сказал Левин.— А разве всё едут еще добровольцы? — прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича.

Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом-тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед живую еще пчелу.

— Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции! — сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец.

— Ну, это-то как понять? Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? — спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина.

— С турками,— спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставший беспомощно двигавшую ножками, почерневшую от меда пчелу и ссаживая ее с ножа на крепкий осиновый листок.

— Но кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?

— Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им,— сказал Сергей Иванович.

— Но князь говорит не о помощи,— сказал Левин, заступаясь за тестя,— а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительств.

— Костя, смотри, это пчела! Право, нас искусают! — сказала Долли, отмахиваясь от осы.

— Да это и не пчела, это оса,— сказал Левин.

— Ну-с, ну-с, какая ваша теория? — сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор.— Почему частные люди не имеют права?

— Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое, ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только

здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли. Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время. — В том-то и штука, батюшка, что может быть случай, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, — сказал Катавасов. Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое: — Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут пет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти уя^асы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы. — Но не убил бы, — сказал Левин. — Нет, ты бы убил. — Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть. — Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, — недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. — В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил. — Может быть, — уклончиво сказал Левин,— но я не вижу этого; я сам народ, и я не чувствую этого. — Вот и я, — сказал князь. — Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами. Вот и Константии — Личные мнения тут ничего не значат, — сказал

здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.

Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.

— В том-то и штука, батюшка, что может быть случай, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, — сказал Катавасов.

Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое:

— Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы.

— Но не убил бы,— сказал Левин.

— Нет, ты бы убил.

— Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.

— Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть,— недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович.— В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.

— Может быть,— уклончиво сказал Левин,— но я не вижу этого; я сам народ, и я не чувствую этого.

— Вот и я,— сказал князь.— Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Рос-

Сергей Иваныч,— нет дела до личных мнений, когда вся Россия — народ выразил свою волю. — Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает, — сказал князь. — Нет, папа... как же нет? А в воскресенье в церкви? — сказала Долли, прислушившаяся к разговору. — Дай, пожалуйста, полотенце, — сказала она старику, с улыбкой смотревшему на детей. — Уж не может быть, чтобы все... — Да что же в воскресенье в церкви? Священнику велели прочесть. Он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди, — продолжал князь. — Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, ну они вынули по копейке и дали. А на что — они сами не знают. — Народ не может не знать; сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, — сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика пчельника. Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать. — Это так точно, — значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича. — Да вот спросите у него. Он ничего не знает и не думает, — сказал Левин. — Ты слышал, Михайлыч, об войне? — обратился он к нему. — Вот что в церкви читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за христиан? — Что ж нам думать? Александра Николаич, император, нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней... Хлебушка не принесть ли еще? Парнишке еще дать? — обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку. — Мне не нужно спрашивать, — сказал Сергей Иванович, — мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все для того, чтобы послужить правому делу, приходят со всех концов России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит? — Значит, по-моему, — сказал начинавший горячиться Левин, — что в восьмидес ’тішиллиопыом народе всегда 393

Сергей Иваныч,— нет дела до личных мнений, когда вся Россия — народ выразил свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает,— сказал князь.

— Нет, папа... как же нет? А в воскресенье в церкви? — сказала Долли, прислушившаяся к разговору.— Дай, пожалуйста, полотенце, — сказала она старику, с улыбкой смотревшему на детей.— Уж не может быть, чтобы все...

— Да что же в воскресенье в церкви? Священнику велели прочесть. Он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди,— продолжал князь.— Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, ну они вынули по копейке и дали. А на что — они сами не знают.

— Народ не может не знать; сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему,— сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика пчельника.

Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать.

— Это так точно,— значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича.

— Да вот спросите у него. Он ничего не знает и не думает,— сказал Левин.— Ты слышал, Михайлыч, об войне? — обратился он к нему.— Вот что в церкви читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за христиан?

— Что ж нам думать? Александра Николаич, император, нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней... Хлебушка не принесть ли еще? Парнишке еще дать? — обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку.

— Мне не нужно спрашивать,— сказал Сергей Иванович,— мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все для того, чтобы послужить правому делу, приходят со всех концов России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит?

найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию... — Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! — сказал Сергей Иваныч с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. — А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю. — Это слово «народ» так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волостные, учителя и из мужиков один па тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же восемьдесят миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли; но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа? XVI Опытный в диалектике Сергей Иванович, не возражая, тотчас же перенес разговор в другую область. — Да, если ты хочешь арифметическим путем узнать дух народа, то, разумеется, достигнуть этого очень трудно. И подача голосов не введена у нас и не мол^ет быть введена, потому что не вырал^ает воли народа; но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю ул«е о тех подводных точениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубежденного человека; взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несет в одном направлении. — Да это газеты все одно говорят,— сказал князь.— Это правда. Да уж так-то всё одно, что точно лягушки перед грозой. Из-за них и не слыхать ничего. — Лягушки ли, не лягушки, — я газет не издаю и заіцищать их не хочу; но я говорю о единомыслии в мире интеллигенции, — сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату. Левин хотел отвечать, но старый князь перебил его. 394

найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...

— Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! — сказал Сергей Иваныч с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние.— А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.

— Это слово «народ» так неопределенно,— сказал Левин.— Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же восемьдесят миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли; но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?

XVI

Опытный в диалектике Сергей Иванович, не возражая, тотчас же перенес разговор в другую область.

— Да, если ты хочешь арифметическим путем узнать дух народа, то, разумеется, достигнуть этого очень трудно. И подача голосов не введена у нас и не может быть введена, потому что не выражает воли народа; но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубежденного человека; взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несет в одном направлении.

— Да это газеты все одно говорят,— сказал князь.— Это правда. Да уж так-то всё одно, что точно лягушки перед грозой. Из-за них и не слыхать ничего.

— Лягушки ли, не лягушки,— я газет не издаю и защищать их не хочу; но я говорю о единомыслии в мире интеллигенции,— сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату.

— Ну, про это единомыслие еще другое можно сказать, — сказал князь. — Вот у меня зятек, Степан Аркадьич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и еще что-то, я не помню. Только делать там нечего — что ж, Долли, это не секрет! — а восемь тысяч жалованья. Попробуйте, спросите у него, полезна ли его служба, — он вам докажет, что самая нужная. PI он правдивый человек, но нельзя же не верить в пользу восьми тысяч. — Да, он просил меня передать о получении места Дарье Александровне, — недовольно сказал Сергей Иванович, полагая, что князь говорит некстати. — Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода. Как н^е им по считать, что судьбы народа и славян... и все это? — Я не люблю газет многих, но это несправедливо,— сказал Сергей Иванович. — Я только бы одно условие поставил,— продолжал кпязь. — Alphonse Karr прекрасно это писал перед войной с Пруссией. «Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну — в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!» — Хороши будут редакторы,— громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе. — Да что ж, они убегут, — сказала Долли,— только помешают. — А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетьми поставить, — сказал князь. — Да это шутка, и нехорошая шутка, извините меня, кпязь, — сказал Сергей Иванович. — Я не вижу, чтобы это была шутка, это...— начал было Левин, но Сергей Иванович перебил его. — Каждый член общества призван делать свое, свойственное ему дело, — сказал он. — И люди мысли исполняют свое дело, выражая общественное мнение. И . единодушное и полное выражение общественного мнения есть заслуга прессы и вместе с тем радостное явление. Двадцать лет тому назад мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетенных братьев; это великий шаг и задаток силы. — Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, — робко сказал Левин.— Народ жертвует и всегда готов 395

— Ну, про это единомыслие еще другое можно сказать, — сказал князь. — Вот у меня зятек, Степан Аркадьич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и еще что-то, я не помню. Только делать там нечего — что ж, Долли, это не секрет! — а восемь тысяч жалованья. Попробуйте, спросите у него, полезна ли его служба,— он вам докажет, что самая нужная. И он правдивый человек, но нельзя же не верить в пользу восьми тысяч.

— Да, он просил меня передать о получении места Дарье Александровне,— недовольно сказал Сергей Иванович, полагая, что князь говорит некстати.

— Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян... и все это?

— Я не люблю газет многих, но это несправедливо,— сказал Сергей Иванович.

— Я только бы одно условие поставил,— продолжал князь. — Alphonse Karr прекрасно это писал перед войной с Пруссией. «Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну — в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!»

— Хороши будут редакторы,— громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе.

— Да что ж, они убегут,— сказала Долли,— только помешают.

— А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетьми поставить, — сказал князь.

— Да это шутка, и нехорошая шутка, извините меня, князь,— сказал Сергей Иванович.

— Я не вижу, чтобы это была шутка, это...— начал было Левин, но Сергей Иванович перебил его.

— Каждый член общества призван делать свое, свойственное ему дело,— сказал он.— И люди мысли исполняют свое дело, выражая общественное мнение. И единодушное и полное выражение общественного мнения есть заслуга прессы и вместе с тем радостное явление. Двадцать лет тому назад мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетенных брать-

жертвовать для своей души, а не для убийства, — прибавил он, невольно связывая разговор с теми мыслями, которые так его занимали. — Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такое душа? — улыбаясь, сказал Катавасов. — Ах, вы знаете! — Вот, ей-богу, пи малейшего понятия не Рімею! — с громким смехом сказал Катавасов. — «Я не мир, а меч принес», говорит Христос, — с своей стороны возразил Сергей Иваныч, просто, как будто самую попятную вещь, приводя то самое место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина. — Это так точно, — опять повторил старик, стоявший около них, отвечая на случайно брошенный на него взгляд. — Нет, батюшка, разбиты, разбиты, совсем разбиты! — весело прокричал Катавасов. Левин покраснел от досады, не па то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить. — «Нет, мне нельзя спорить с ними, — подумал он, — на них непроницаемая броня, а я голый». Он видел, что брата и Катавасова убедить нельзя, и еще менее видел возможности самохму согласиться с ними. То, что они проповедывали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его. Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы красиобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве. Он не мог согласиться с этим, потому что и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде которого он жил, и не находил этих мыслей в себе (а он не мог себя ничем другим считать, как одним из людей, составляющих русский народ), а главное потому, что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт кающему человеку, и потому не мог желать войны и проповедывать для каких бы то ни было общих целей. Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании 39G

жертвовать для своей души, а не для убийства,— прибавил он, невольно связывая разговор с теми мыслями, которые так его занимали.

— Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такое душа? — улыбаясь, сказал Катавасов.

— Ах, вы знаете!

— Вот, ей-богу, ни малейшего понятия не имею! — с громким смехом сказал Катавасов.

— «Я не мир, а меч принес», говорит Христос,— с своей стороны возразил Сергей Иваныч, просто, как будто самую понятную вещь, приводя то самое место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина.

— Это так точно,— опять повторил старик, стоявший около них, отвечая на случайно брошенный на него взгляд.

— Нет, батюшка, разбиты, разбиты, совсем разбиты! — весело прокричал Катавасов.

Левин покраснел от досады, не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить.

— «Нет, мне нельзя спорить с ними, — подумал он, — на них непроницаемая броня, а я голый».

Он видел, что брата и Катавасова убедить нельзя, и еще менее видел возможности самому согласиться с ними. То, что они проповедывали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его. Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве. Он не мог согласиться с этим, потому что и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде которого он жил, и не находил этих мыслей в себе (а он не мог себя ничем другим считать, как одним из людей, составляющих русский народ), а главное потому, что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и потому не мог желать войны и проповедывать для каких бы то ни было

варягов: «Княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем». А теперь народ, по словам Сергей Иванычей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой права. Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян? Но все это были мысли, которые нрічего не могли решить. Одно несомненно можно было видеть — это то, что в настоящую минуту спор раздражал Сергея Ивановича, и потому спорить было дурно; и Левин замолчал и обратил внимание гостей на то, что тучки собрались и что от дождя лучше идти домой. XVII Князь и Сергей Иваныч сели в тележку и поехали; остальное общество, ускорив шаг, пешком пошло домой. Но туча, то белея, то чернея, так быстро надвигалась, что надо было еще прибавить шага, чтобы до дождя поспеть домой. Передовые ее, черные и низкие, как дым с копотью, облака с необыкновенною быстротой бежали по небу. До дома еще было шагов двести, а уже поднялся ветер, и всякую секунду можно было ждать ливня. Дети с испуганным и радостным визгом бежали впереди. Дарья Александровна, с трудом борясь с своими облепившими ее ноги юбками, уже не шла, а бежала, не спуская с глаз детей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими шагами. Они были уже у самого крыльца, как большая капля ударилась и разбилась о край железного желоба. Дети и за ними большие с веселым говором вбежали под защиту крыши. — Катерина Александровна? — спросил Левин у встретившей их в передней Агафьи Михайловны с плащами и пледами. — Мы думали, с вами, — сказала она. — А Митя? — В Колке, должно, и няня с ними. Левин схватил пледы и побежал в Колок. В этот короткий промежуток времени туча уже настолько надвинулась своей серединой на солнце, что 397

варягов: «Княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем». А теперь народ, по словам Сергей Иванычей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой права.

Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян? Но все это были мысли, которые ничего не могли решить. Одно несомненно можно было видеть — это то, что в настоящую минуту спор раздражал Сергея Ивановича, и потому спорить было дурно; и Левин замолчал и обратил внимание гостей на то, что тучки собрались и что от дождя лучше идти домой.

XVII

Князь и Сергей Иваныч сели в тележку и поехали; остальное общество, ускорив шаг, пешком пошло домой.

Но туча, то белея, то чернея, так быстро надвигалась, что надо было еще прибавить шага, чтобы до дождя поспеть домой. Передовые ее, черные и низкие, как дым с копотью, облака с необыкновенною быстротой бежали по небу. До дома еще было шагов двести, а уже поднялся ветер, и всякую секунду можно было ждать ливня.

Дети с испуганным и радостным визгом бежали впереди. Дарья Александровна, с трудом борясь с своими облепившими ее ноги юбками, уже не шла, а бежала, не спуская с глаз детей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими шагами. Они были уже у самого крыльца, как большая капля ударилась и разбилась о край железного желоба. Дети и за ними большие с веселым говором вбежали под защиту крыши.

— Катерина Александровна? — спросил Левин у встретившей их в передней Агафьи Михайловны с плащами и пледами.

— Мы думали, с вами,—сказала она.

— А Митя?

— В Колке, должно, и няня с ними.

Левин схватил пледы и побежал в Колок.

стало темно, как в затмение. Ветер упорно, как бы настаивая на своем, останавливал Левина и, обрывая листья и цвет с лип и безобразно и странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону: акации, цветы, лопухи, траву и макушки дерев. Работавшие в саду девки с визгом пробелчали под крышу людской. Белый занавес проливного дождя уже захватил весь дальний лес и половину ближнего поля и быстро подвигался к Колку. Сырость дождя, разбивавшегося на мелкие капли, слышалась в воздухе. Нагибая вперед голову и борясь с ветром, который вырывал у него платки, Левин уже подбегал к Колку и уже видел что-то белеюш;еся за дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от Колка, с ужасом увидал прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушу знакомого ему дуба в середине леса. «Неул^ели разбило?» — едва успел подумать Левин, как, все убыстряя и убыстряя движение, макуша дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева. Свет молнии, звук грома и ощущение мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ул^аса. — Боже мой! Боже мой, чтоб не на них! — проговорил он. И хотя он тотчас л^е подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтоб они но были убиты дубом, который уже упал теперь, он повторил ее, зная, что лучшө этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать. Добел^ав до того места, где они бывали обыкновенно, он не нашел их. Они были на другом конце леса, под старою липой, и звали его. Две фигуры в темных платьях (они были в светлых), нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Кити и няня. Дождь уже переставал, и начинало светлеть, когда Левин подбел^ал к ним. У няни подол был сух, но па Кити платье промокло насквозь и всю облепило ее. Хотя дождя уже не было, они все еще стояли в том то положении, в которое они стали, когда разразилась гроза. Обе стояли, нагнувшись над тележкой с зеленым зонтиком. — Живы? Целы? Слава богу! — проговорил он, шле398

стало темно, как в затмение. Ветер упорно, как бы настаивая на своем, останавливал Левина и, обрывая листья и цвет с лип и безобразно и странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону: акации, цветы, лопухи, траву и макушки деревь. Работавшие в саду девки с визгом пробежали под крышу людской. Белый занавес проливного дождя уже захватил весь дальний лес и половину ближнего поля и быстро подвигался к Колку. Сырость дождя, разбивавшегося на мелкие капли, слышалась в воздухе.

Нагибая вперед голову и борясь с ветром, который вырывал у него платки, Левин уже подбегал к Колку и уже видел что-то белеющееся за дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от Колка, с ужасом увидал прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушу знакомого ему дуба в середине леса. «Неужели разбило?» — едва успел подумать Левин, как, все убыстряя и убыстряя движение, макуша дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева.

Свет молнии, звук грома и ощущение мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ужаса.

— Боже мой! Боже мой, чтоб не на них! — проговорил он.

И хотя он тотчас же подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтоб они не были убиты дубом, который уже упал теперь, он повторил ее, зная, что лучше этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать.

Добежав до того места, где они бывали обыкновенно, он не нашел их.

Они были на другом конце леса, под старою липой, и звали его. Две фигуры в темных платьях (они были в светлых), нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Кити и няня. Дождь уже переставал, и начинало светлеть, когда Левин подбежал к ним. У няни подол был сух, но на Кити платье промокло насквозь и всю облепило ее. Хотя дождя уже не было, они все еще стояли в том же положении, в которое они стали, когда разразилась гроза. Обе стояли, нагнувшись над тележкой с зеленым зон-

пая по неубравшейся воде сбивавшеюся, полною воды ботпнкой и подбегая к ним. Румяное и мокрое лицо Кити было обраи^ено к нему п робко улыбалось из-под изменившей форму шляпы. — Ну, как тебе не совестно! Я не понимаю, как можно быть такой неосторожной! — с досадой напал он на жену. — Я, ей-богу, не виновата. Только что хотели уйти, тут он развозился. Надо было его переменить. Мы только что...— стала извиняться Кити. Митя был цел, сух и не переставая спал. — Ну, слава богу! Я не знаю, что говорю! Собрали мокрые пеленки; няня вынула ребенка и понесла его. Левин шел подле жены, виновато за свою досаду, потихоньку от няни, пожимая ее руку, XVIII В продолжение всего дня за самыми разнообразными разговорами, в которых он как бы только одной внешней стороной своего ума принимал участие, Левин, несмотря на разочарование в перемене, долженствовавшей произойти в нем, не переставал радостно слышать полноту своего сердца. После дождя было слишком мокро, чтобы идти гулять; притом же и грозовые тучи не сходили с горизонта и то там, то здесь проходили, гремя и чернея, по краям неба. Все общ,ество провело остаток дня дома. Споров более не затевалось, а, напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа. Катавасов сначала смешил дам своими оригинальными шутками, которые всегда так нравились при первом знакомстве с ним, но потом, вызванный Сергеем Ивановичем, рассказал очень интересные свои наблюдения о различии характеров и даже физиономий самок и самцов ішмнатных мух и об их жизни. Сергей Иванович тоже был весел и за чаем, вызванный братом, изложил свой взгляд на будущность восточного вопроса, и так просто и хорошо, что все заслушались его. Только одна Кити не могла дослушать его, — ее позвали мыть Митю. Через несколько минут после ухода Кити и Левина вызвали к ней в детскую. 399

пая по неубравшейся воде сбивавшеюся, полною воды ботинкой и подбегая к ним.

Румяное и мокрое лицо Кити было обращено к нему и робко улыбалось из-под изменившей форму шляпы.

— Ну, как тебе не совестно! Я не понимаю, как можно быть такой неосторожной! — с досадой напал он на жену.

— Я, ей-богу, не виновата. Только что хотели уйти, тут он развозился. Надо было его переменить. Мы только что...— стала извиняться Кити.

Митя был цел, сух и не переставая спал.

— Ну, слава богу! Я не знаю, что говорю!

Собрали мокрые пеленки; няня вынула ребенка и понесла его. Левин шел подле жены, виновато за свою досаду, потихоньку от няни, пожимая ее руку.

XVIII

В продолжение всего дня за самыми разнообразными разговорами, в которых он как бы только одной внешней стороной своего ума принимал участие, Левин, несмотря на разочарование в перемене, долженствовавшей произойти в нем, не переставал радостно слышать полноту своего сердца.

После дождя было слишком мокро, чтобы идти гулять; притом же и грозовые тучи не сходили с горизонта и то там, то здесь проходили, гремя и чернея, по краям неба. Все общество провело остаток дня дома.

Споров более не затевалось, а, напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа.

Катавасов сначала смешил дам своими оригинальными шутками, которые всегда так нравились при первом знакомстве с ним, но потом, вызванный Сергеем Ивановичем, рассказал очень интересные свои наблюдения о различии характеров и даже физиономий самок и самцов комнатных мух и об их жизни. Сергей Иванович тоже был весел и за чаем, вызванный братом, изложил свой взгляд на будущность восточного вопроса, и так просто и хорошо, что все заслушались его.

Только одна Кити не могла дослушать его,— ее позвали мыть Митю.

Оставив свой чай и тоже сожалея о перерыве интереспого разговора и вместе с тем беспокоясь о том, зачем его звали, так как это случалось только при важных случаях, Левин пошел в детскую. Несмотря на то, что недослушанный план Сергея Ивановича о том, как освобожденный сорокамиллиоиный мир славян должен вместе с Россией начать новую эпоху в истории, как нечто совершенно новое для него, очень заинтересовал его, несмотря на то, что и любопытство и беспокойство о том, зачем его звали, тревожили его,— как только он остался один, выйдя из гостиной, он тотчас же вспомнил свои утренние мысли. И все эти соображения о значении славянского элемента во всемирной истории показались ему так ничтожны в сравнении с тем, что делалось в его душе, что он мгновенно забыл все это и перенесся в то самое настроение, в котором он был нынче утром. Он не вспоминал теперь, как бывало прежде, всего хода мысли (этого не нужно было ему). Он сразу перенесся в то чувство, которое руководило им, которое было связано с этими мыслями, и нашел в душе своей это чувство еш,е более сильным и определенным, чем прежде. Теперь с ним не было того, что бывало при прежних придумываемых успокоениях, когда надо было восстановить весь ход мысли для того, чтобы найти чувство. Теперь, напротив, чувство радости и успокоения было живее, чем прежде, а мысль не поспевала за чувством. Он шел через террасу и смотрел на выступавшие две звезды на потемневшем уже небе и вдруг вспомнил: «Да, глядя па небо, я думал о том, что свод, который я вижу, не есть неправда, и при этом что-то я не додумал, что-то я скрыл от себя, — подумал он. — Но что бы там ни было, возражения не моя^т быть. Стоит подумать — и все разъяснится! » Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть его откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одною христианскою церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедуюш;их и делаюгдих добро? Ему казалось, что у него есть ответ на этот вопрос; но он не успел еш,е сам себе выразить его, как уже вошел в детскую. 400

Оставив свой чай и тоже сожалея о перерыве интересного разговора и вместе с тем беспокоясь о том, зачем его звали, так как это случалось только при важных случаях, Левин пошел в детскую.

Несмотря на то, что недослушанный план Сергея Ивановича о том, как освобожденный сорокамиллионный мир славян должен вместе с Россией начать новую эпоху в истории, как нечто совершенно новое для него, очень заинтересовал его, несмотря на то, что и любопытство и беспокойство о том, зачем его звали, тревожили его,— как только он остался один, выйдя из гостиной, он тотчас же вспомнил свои утренние мысли. И все эти соображения о значении славянского элемента во всемирной истории показались ему так ничтожны в сравнении с тем, что делалось в его душе, что он мгновенно забыл все это и перенесся в то самое настроение, в котором он был нынче утром.

Он не вспоминал теперь, как бывало прежде, всего хода мысли (этого не нужно было ему). Он сразу перенесся в то чувство, которое руководило им, которое было связано с этими мыслями, и нашел в душе своей это чувство еще более сильным и определенным, чем прежде. Теперь с ним не было того, что бывало при прежних придумываемых успокоениях, когда надо было восстановить весь ход мысли для того, чтобы найти чувство. Теперь, напротив, чувство радости и успокоения было живее, чем прежде, а мысль не поспевала за чувством.

Он шел через террасу и смотрел на выступавшие две звезды на потемневшем уже небе и вдруг вспомнил: «Да, глядя на небо, я думал о том, что свод, который я вижу, не есть неправда, и при этом что-то я не додумал, что-то я скрыл от себя,— подумал он.— Но что бы там ни было, возражения не может быть. Стоит подумать — и все разъяснится!»

Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть его откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одною христианскою церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро?

Ему казалось, что у него есть ответ на этот вопрос; но

Кити стояла с засученными рукавами у ванны над полоскавшимся в ней ребенком и, заслышав шаги мужа, повернув к нему лицо, улыбкой звала его к себе. Одною рукой она поддерживала под голову плавающего на спине и корячившего ножонки пухлого ребенка, другою она, равномерно напрягая мускул,' выжимала на пего губку* — Ну вот, посмотри, посмотри! — сказала она, когда муж подошел к ней. — Агафья Михайловна права. Узнает. Дело шло о том, что Митя с нынешнего дня, очевидно, несомненно уже узнавал всех своих. Как только Левин подошел к ванне, ему тотчас же был представлен опыт, и опыт вполне удался. Кухарка, нарочно для этого призванная, заменила Кити и нагнулась к ребенку. Он нахмурился и отрицательно замотал головой. Кити нагнулась к нему, — он просиял улыбкой, уперся ручками в губку и запрукал губами, производя такой довольный и странный звуіг, что не только Кити и няня, но и Левин пришел в неожиданное восхищение. Ребенка вынули па одной руке из ванны, окатили водой, окутали простыней, вытерли и после пронзительного крика подали матери. — Ну, я рада, что ты начинаешь любить его, — сказала Кити мужу, после того как она с ребенком у груди спокойно уселась на привычном месте.— Я очень рада. А то это меня уже начинало огорчать. Ты говорил, что ничего к нему не чувствуешь. — Нет, разве я говорил, что я не чувствую? Я только говорил, что я разочаровался. — Как, в нем разочаровался? — Не то что разочаровался в нем, а в своем чувстве; я ждал больше. Я ждал, что, как сюрприз, распустится во мне новое приятное чувство. И вдруг вместо этого — гадливость, л^алость... Она внимательно слушала его через ребенка, надевая на тонкие пальцы кольца, которые она снимала, чтобы мыть Митю. — И главное, что гораздо больше страха и жалости, чем удовольствия. Нынче после этого страха во время грозы я понял, как я люблю его. Кити просияла улыбкой. — А ты очень испугался? — сказала она.— И я тоже, по мне теперь больше страшно, как уж прошло. Я пойду 401

Кити стояла с засученными рукавами у ванны над полоскавшимся в ней ребенком и, заслышав шаги мужа, повернув к нему лицо, улыбкой звала его к себе. Одною рукой она поддерживала под голову плавающего на спине и корячившего ножонки пухлого ребенка, другою она, равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку.

— Ну вот, посмотри, посмотри! — сказала она, когда муж подошел к ней. — Агафья Михайловна права. Узнает.

Дело шло о том, что Митя с нынешнего дня, очевидно, несомненно уже узнавал всех своих.

Как только Левин подошел к ванне, ему тотчас же был представлен опыт, и опыт вполне удался. Кухарка, нарочно для этого призванная, заменила Кити и нагнулась к ребенку. Он нахмурился и отрицательно замотал головой. Кити нагнулась к нему,— он просиял улыбкой, уперся ручками в губку и запрукал губами, производя такой довольный и странный звук, что не только Кити и няня, но и Левин пришел в неожиданное восхищение.

Ребенка вынули на одной руке из ванны, окатили водой, окутали простыней, вытерли и после пронзительного крика подали матери.

— Ну, я рада, что ты начинаешь любить его,— сказала Кити мужу, после того как она с ребенком у груди спокойно уселась на привычном месте.— Я очень рада. А то это меня уже начинало огорчать. Ты говорил, что ничего к нему не чувствуешь.

— Нет, разве я говорил, что я не чувствую? Я только говорил, что я разочаровался.

— Как, в нем разочаровался?

— Не то что разочаровался в нем, а в своем чувстве; я ждал больше. Я ждал, что, как сюрприз, распустится во мне новое приятное чувство. И вдруг вместо этого — гадливость, жалость...

Она внимательно слушала его через ребенка, надевая на тонкие пальцы кольца, которые она снимала, чтобы мыть Митю.

— И главное, что гораздо больше страха и жалости, чем удовольствия. Нынче после этого страха во время грозы я понял, как я люблю его.

Кити просияла улыбкой.

посмотреть дуб. А как мил Катавасов! Да и вообще целый день было так приятно. И ты с Сергеем Иванычем так хорош, когда ты захочешь... Ну, иди к ним. А то после ванны здесь всегда жарко и пар... XIX Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясное. Вместо того чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо. Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При кая^дой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только потухала молния, как будто брошенные какой-то метiсой рукой, опять появлялись на тех же местах. «Ну, что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе. «Да, одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты — что же они такое? — задал он себе тот самый вопрос, который и казался ему опасен. — Неуяшли эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? — Он задумался, но тотчас я^е поправил себя. — Но о чем же я спрашиваю? — сказал он себе. — Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что я>е я делаю? Мне лично, моему сердцу, открыто, несомненно, знание, непостияшмое- разумом, а я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. 402

посмотреть дуб. А как мил Катавасов! Да и вообще целый день было так приятно. И ты с Сергеем Иванычем так хорош, когда ты захочешь... Ну, иди к ним. А то после ванны здесь всегда жарко и пар...

XIX

Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясное.

Вместо того чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо.

Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах.

«Ну, что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе.

«Да, одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты — что же они такое? — задал он себе тот самый вопрос, который и казался ему опасен.

— Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? — Он задумался, но тотчас же поправил себя.— Но о чем же я спрашиваю? — сказал он себе.— Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу, открыто, несом-

Разве я не знаю, что звезды не ходят? — спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. — Но я, глядя на двиЯчение звезд, не могу представить себе вращения земли, и я прав, говоря, что звезды ходят. И разве астрономы могли бы понять п вычислить чтонибудь, если бы они принимали в расчет все сложные разнообразные движения земли? Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной земли, на том самом двияіении, которое теперь передо мной и которое было таким для миллионов людей в продолжение веков и было и будет всегда одинаково и всегда может быть поверено. И точно так же, как праздны и шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту, так праздны и шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено. Вопроса же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить». — А, ты не ушел? • — сказал вдруг голос Кити, шедшей тем же путем в гостиную. — Что, ты ничем не расстроен? — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо. Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если б опять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. «Она понимает, — думал он, — она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже. — Вот что. Костя! Сделай одолжение, — сказала она,— поди в угловую и посмотри, как Сергею Иванович'у все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник? — Хорошо, я пойду непременно, — сказал Левин, вставая и целуя ее. «Нет, не падо говорить, — подумал он, когда она прошла вперед его.— Это тайна, для меня одного нужная, ваяиіая и невыразимая словами. 403

Разве я не знаю, что звезды не ходят? — спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. — Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращения земли, и я прав, говоря, что звезды ходят.

И разве астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь, если бы они принимали в расчет все сложные разнообразные движения земли? Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной земли, на том самом движении, которое теперь передо мной и которое было таким для миллионов людей в продолжение веков и было и будет всегда одинаково и всегда может быть поверено. И точно так же, как праздны и шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту, так праздны и шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено. Вопроса же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить».

— А, ты не ушел? — сказал вдруг голос Кити, шедшей тем же путем в гостиную. — Что, ты ничем не расстроен? — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо.

Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если б опять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему.

«Она понимает,— думал он,— она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже.

— Вот что, Костя! Сделай одолжение,— сказала она,— поди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник?

— Хорошо, я пойду непременно,— сказал Левин, вставая и целуя ее.

«Нет, не надо говорить — подумал он, когда она про-

Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, — так же как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера — не вера — я не знаю, что это такое, — но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, так л^е буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, — но л^изнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что молшт случиться со мной, кал^дая минута ее — не только не бессмысленна, какою была прежде, по имеет несомненный смысл добра, который я властен влолшть в нее!» Конец

Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал,— так же как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера — не вера — я не знаю, что это такое,— но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе.

Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться,— но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»

Конец

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

«АННА КАРЕНИНА» 1 Сто лет назад, в 1875 году, в январском номере журнала «Русский вестник» были напечатаны первые главы «Анны Карениной». После «книги о прошлом», как Толстой называл «Войну и мир», его «роман из современной жизни» поразил читателей «вседневпостью» содержания. «Мне теперь так ясна моя мысль,— говорил Толстой в 1877 году, завершая работу над романом.— Так в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне п мире» любил мысль народную, вследствие войны 12-го года...» ^ Конечно, и в «Войне и мире» есть «семейная хроника», и в «Анне Карениной» есть «картины народной жизни». Толстой был в равной мере историчен и современен в своих произведениях. «Я вывел неотразимое заключение, — признавался Достоевский, — что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой» 2. Каждое новое произведение Толстого было настоящим открытием для читателя, но оно было открытием и для автора. «Содержание того, что я писал, мне было так же ново, как и тем, которые читают» — заметил однажды Толстой (т. 65, с. 18) . В этом смысле его произведения представляют собой род художественного исследования жизни. Его исследования захватывают важнейшие области частного, семейного и общественного быта целой эпохи. В 60-е годы, в эпоху реформ и социального кризиса, он написал «Войну и мир», где «мысль народная» озаряла историю. «Мысль семейная» романа «Анна Каренина», написанного в 70-е годы. ^ «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 37. 2 Ф. М. Достоевский. Письма, т. 3. М. — Л., 1934, с. 203. “ Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч. в 90 томах. В дальнейшем ссылки на это издание даются лить с указанием тома и страницы. 407

«АННА КАРЕНИНА»

1

Сто лет назад, в 1875 году, в январском номере журнала «Русский вестник» были напечатаны первые главы «Анны Карениной». После «книги о прошлом», как Толстой называл «Войну и мир», его «роман из современной жизни» поразил читателей «вседневностью» содержания. «Мне теперь так ясна моя мысль,— говорил Толстой в 1877 году, завершая работу над романом.— Так в «Анне Карениной» я люблю мысль *семейную,* в «Войне и мире» любил мысль *народную,* вследствие войны 12-го года...» [1] Конечно, и в «Войне и мире» есть «семейная хроника», и в «Анне Карениной» есть «картины народной жизни». Толстой был в равной мере историчен и современен в своих произведениях. «Я вывел неотразимое заключение,— признавался Достоевский,— что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой» [2].

Каждое новое произведение Толстого было настоящим открытием для читателя, но оно было открытием и для автора. «Содержание того, что́ я писал, мне было так же ново, как и тем, которые читают» [3], — заметил однажды Толстой (т. 65, с. 18). В этом смысле его произведения представляют собой род художественного исследования жизни. Его исследования захватывают важнейшие области частного, семейного и общественного быта целой эпохи. В 60-е годы, в эпоху реформ и социального кризиса, он написал «Войну и мир», где «мысль народная» озаряла историю. «Мысль семейная» романа «Анна Каренина», написанного в 70-е годы,

---

[1] «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 37.

осветила внутреннюю жизнь русского общества, когда с особенной остротой был поставлен вопрос о будущелі страны и парода. Деятели освобождения, благородные и мужественные «шестидесятники», боровшиеся против крепостного права, верили в возможность и необходимость уничтожения рабства, у них были силы для борьбы и ясное сознание целей. Но десять лет реформ показали, что крепостничество крепко сидит в самом укладе жизни и уживается с новыми формами буржуазного стяжания. Прежней веры в пути и цели борьбы в 70-е годы уже не было. Катастрофы на железных дорогах, самоубийства, крахи банков производили ошеломляющее впечатление. Устои нового времени оказались непрочными. Появилась новая черта общественного сознания, которую Блок метко назвал «семидесятническим недоверием и неверием» К Эту коренную черту общественного сознания* Толстой уловил в психологии современного человека, и она воціла в его роман как характерная примета переходного времени. «Под угрозой отчаяния» — одна из нравственных и социальных формул романа. Вронский стреляется, но неудачно; Левин прячет от себя веревку, чтобы не поддаться искушению самоубийства; Анна кончает жизнь под колесами поезда на станции Обираловка... Вот что такое жизнь «под угрозой отчаяния». Это люди шаткие, жизнь «обирает» их, не оставляя никаких прочных нравственных и общественных «точек опоры». «Все смешалось» — формула лаконичная и многозначная. Она определяет тематическое ядро романа, охватывает общие закономерности эпохи и частные обстоятельства семейного уклада. Рядом с Константином Левиным, который хочет усовершенствовать свое наследственное хозяйство, как мечтает усовершенствовать самого себя, в романе появляется его брат, Николай Левин, который давно отрекся от своего круга. Он и объясняет цели русской революции: «вывести народ из рабства». В том, что революция необходима и неизбежна, он не сомневается. Этот разговор с братом о коммунизме заставил задуматься Константина Левина. «Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». Разговор продолжается и на охоте между Левиным, Облонским и Весловским. Эти сцены привлекали особенное внимание Достоевского. Он находил в них настоящую «злобу дня» По

«энциклопедическому содержанию» роман «Анна Каренина» можно сопоставить лишь с «Евгением Онегиным» Пушкина. 1 А. Б л о к. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М. — Л., ^ 962. с. 236. «Дневник писателя Ф. М. Достоевского за 1877 г.». СПб., 1878, с. 43-54 408

осветила внутреннюю жизнь русского общества, когда с особенной остротой был поставлен вопрос о будущем страны и народа.

Деятели освобождения, благородные и мужественные «шестидесятники», боровшиеся против крепостного права, верили в возможность и необходимость уничтожения рабства, у них были силы для борьбы и ясное сознание целей. Но десять лет реформ показали, что крепостничество крепко сидит в самом укладе жизни и уживается с новыми формами буржуазного стяжания. Прежней веры в пути и цели борьбы в 70-е годы уже не было. Катастрофы на железных дорогах, самоубийства, крахи банков производили ошеломляющее впечатление. Устои нового времени оказались непрочными. Появилась новая черта общественного сознания, которую Блок метко назвал «семидесятническим недоверием и неверием» [1].

Эту коренную черту общественного сознания Толстой уловил в психологии современного человека, и она вошла в его роман как характерная примета переходного времени. «Под угрозой отчаяния» — одна из нравственных и социальных формул романа.

Вронский стреляется, но неудачно; Левин прячет от себя веревку, чтобы не поддаться искушению самоубийства; Анна кончает жизнь под колесами поезда на станции Обираловка... Вот что такое жизнь «под угрозой отчаяния». Это люди шаткие, жизнь «обирает» их, не оставляя никаких прочных нравственных и общественных «точек опоры».

«Все смешалось» — формула лаконичная и многозначная. Она определяет тематическое ядро романа, охватывает общие закономерности эпохи и частные обстоятельства семейного уклада. Рядом с Константином Левиным, который хочет усовершенствовать свое наследственное хозяйство, как мечтает усовершенствовать самого себя, в романе появляется его брат, Николай Левин, который давно отрекся от своего круга. Он и объясняет цели русской революции: «вывести народ из рабства». В том, что революция необходима и неизбежна, он не сомневается. Этот разговор с братом о коммунизме заставил задуматься Константина Левина. «Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». Разговор продолжается и на охоте между Левиным, Облонским и Весловским. Эти сцены привлекали особенное внимание Достоевского. Он находил в них настоящую «злобу дня» [2].

По «энциклопедическому содержанию» роман «Анна Каренина» можно сопоставить лишь с «Евгением Онегиным» Пушкина.

---

[1] А. Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М. — Л., 1962. с. 236.

[2] «Дневник писателя Ф. М. Достоевского за 1877 г.». СПб.

Дело здесь, конечно, не в полноте и не в количестве «примет времени», а в том, что в «Анне Карениной» Толстой вывел художественную формулу целой исторической эпохи. «У нас теперь, когда все переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный в России...» Такова его общая мысль («мне теперь так ясна моя мысль»), которая определяет и замысел романа, и его художественную структуру, п его историческое содержание. По сути дела. Толстой определил этими словами «перевал русской истории» — от падения крепостЕого права до первой русской революции. На эту историческую формулу романа «Анна Каренина» впервые указал В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха». «У нас теперь все это переворотилось и только укладывается», — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов» — пишет В. И. Ленин. 70-е годы, когда был написан роман, постепенно приближали Толстого к разрыву с дворянством, «со всеми привычными взглядами этой среды...» Это подспудное движение чувствуется и в развитии сюжета, и в трактовке характера Левина, который, будучи аристократом по рождению и воспитанию, тянется к опрощению, ищет ответа на свои вопросы в народной жизни. Такова была логика психологического развития не только его, Левина (и самого Толстого), но такова была логика исторического развития, как она отразилась в социально-философском романе «Анна Каренина». 2 В Ясной Поляне в 1873 году, «тихо слабея, кончала свой век любимая тетушка Льва Николаевича, Татьяна Александровна Ергольская,— пишет П. И. Бирюков, первый биограф Толстого.— Она лежала в своей комнате на диване, и старший сын Льва Николаевича, 10-летиий Сергей, читал ей вслух повести Пушкина. Софья Андреевна сидела тут же с работой. Старушка задремала, и чтение остановилось. Книга Пушкина лежала на столе, открытая на той странице, где начинается рассказ «Отрывок». В это время вошел в комнату Лев Николаевич. Увидав книгу, он взял ее и прочел начало отрывка Гости съехались на дачу. «Вот как надо начинать, — сказал вслух Лев Николаевич. — Пушкин — наш учитель. Это сразу вводит читателя в интерес самого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу». Кто-то из присутствующих шутя предложил Льву * В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 20, с. 100. ' Т а iМ ж е, с. 40. 409

Дело здесь, конечно, не в полноте и не в количестве «примет времени», а в том, что в «Анне Карениной» Толстой вывел художественную формулу целой исторической эпохи. «У нас теперь, когда все переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный в России...» Такова его общая мысль («мне теперь так ясна моя мысль»), которая определяет и замысел романа, и его художественную структуру, и его историческое содержание. По сути дела, Толстой определил этими словами «перевал русской истории» — от падения крепостного права до первой русской революции. На эту историческую формулу романа «Анна Каренина» впервые указал В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха». «У нас теперь все это переворотилось и только укладывается»,— трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов» [1], — пишет В. И. Ленин. 70-е годы, когда был написан роман, постепенно приближали Толстого к разрыву с дворянством, «со всеми привычными взглядами этой среды...» [2]. Это подспудное движение чувствуется и в развитии сюжета, и в трактовке характера Левина, который, будучи аристократом по рождению и воспитанию, тянется к опрощению, ищет ответа на свои вопросы в народной жизни. Такова была логика психологического развития не только его, Левина (и самого Толстого), но такова была логика исторического развития, как она отразилась в социально-философском романе «Анна Каренина».

2

В Ясной Поляне в 1873 году, «тихо слабея, кончала свой век любимая тетушка Льва Николаевича, Татьяна Александровна Ергольская,— пишет П. И. Бирюков, первый биограф Толстого.— Она лежала в своей комнате на диване, и старший сын Льва Николаевича, 10-летний Сергей, читал ей вслух повести Пушкина. Софья Андреевна сидела тут же с работой. Старушка задремала, и чтение остановилось. Книга Пушкина лежала на столе, открытая на той странице, где начинается рассказ «Отрывок». В это время вошел в комнату Лев Николаевич. Увидав книгу, он взял ее и прочел начало отрывка *Гости съехались на дачу*. «Вот как надо начинать,— сказал вслух Лев Николаевич.— Пушкин — наш учитель. Это сразу вводит читателя в интерес самого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу». Кто-то из присутствующих шутя предложил Льву

Николаевичу воспользоваться этим началом и написать роман...» ’ Вечером Толстой продолжал читать новые страницы из томика Пушкина вслух. «И под влиянием Пушкина стал писать» — утверждает Софья Андреевна. Впервые мысль о сюжете «Анны Карениной» возникает у Толстого значительно ранее, еш,е в 1870 году. «Вчера вечером он мне сказал,— пишет Софья Андреевна в своем дневнике 24 февраля 1870 года, — что ему представился тип жеііш,ішь!, замужней, из высшего обіцества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женш,ину только жалкой и не виноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женш;яны» Недоставало только какого-то творческого толчка. II вот тогдато кстати, хотя и невольно, в рукп Толстого попал томик пушкинской прозы. И сам Толстой связывал начало работы над «Анной Карепиной» с пушкинскими впечатлениями. «Как всегда (кажется, седьмой раз) перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. По только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не восхищался. Выстрелу Египетские ночи, Капитанская дочка!!! И там есть отрывок «Гости собирались на дачу». Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман» — «роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен» (т. 62, с. 16). Уже в 1873 году ему казалось, что роман «начерно окончен» и нужно всего какие-нибудь две педели, чтобы он был «готов». Однако работа продолжалась, с большими перерывами, еще целых пять лет, до 1878 года, когда, наконец, «Анна Каренина» вышла отдельным изданием. Том, кто близко наблюдал работу Толстого, казалось, что сразу же после прочтения «Отрывка» Толстой написал начало своего романа: «Все смешалось в доме Облонских...» И только позже предпослал этому началу свое рассуждение о счастливых и несчастливых семьях. В действительности, как это показывают новейшие исследователи «творческой истории» романа, к теме пушкинского ^ П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II. М. — П., 1923, с. 96. ^ «Л. Н. Толстой в

воспоминаниях современников», т. 1. М., 1955, с. 148. ^ «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», с. 32.

Николаевичу воспользоваться этим началом и написать роман...»[1] Вечером Толстой продолжал читать новые страницы из томика Пушкина вслух. «И под влиянием Пушкина стал писать»[2], — утверждает Софья Андреевна.

Впервые мысль о сюжете «Анны Карениной» возникает у Толстого значительно ранее, еще в 1870 году. «Вчера вечером он мне сказал,— пишет Софья Андреевна в своем дневнике 24 февраля 1870 года, — что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины»[3].

Недоставало только какого-то творческого толчка. И вот тогда-то кстати, хотя и невольно, в руки Толстого попал томик пушкинской прозы.

И сам Толстой связывал начало работы над «Анной Карениной» с пушкинскими впечатлениями. «Как всегда (кажется, седьмой раз) перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не восхищался. *Выстрел, Египетские ночи, Капитанская дочка!!!* И там есть отрывок *«Гости собирались на дачу»*. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман» — «роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен» (т. 62, с. 16). Уже в 1873 году ему казалось, что роман «начерно окончен» и нужно всего какие-нибудь две недели, чтобы он был «готов». Однако работа продолжалась, с большими перерывами, еще целых пять лет, до 1878 года, когда, наконец, «Анна Каренина» вышла отдельным изданием.

Тем, кто близко наблюдал работу Толстого, казалось, что сразу же после прочтения «Отрывка» Толстой написал начало своего романа: «Все смешалось в доме Облонских...» И только позже предпослал этому началу свое рассуждение о счастливых и несчастливых семьях. В действительности, как это показывают новейшие исследователи «творческой истории» романа, к теме пушкинского

---

[1] П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II. М. — П., 1923, с. 96.

[2] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. М.,

«Отрывка» («Гости съезжались на дачу...») Толстой подошел лишь в шестой главе второй части «Анны Карениной» «Анна Каренина» — пушкинский роман Толстого, в самом глубоком значении этого слова (Пушкин «как будто разрешил все мои сомнения»). Поэтому было бы неверным сводить «влияние Пушкина» в «Анне Карениной» к одному только отрывку «Гости съезжались на дачу,..». Или даже только к одной прозе Пушкина. Ведь сюжет романа в известной мере связан и с пушкинским «романом в стихах». В первоначальных набросках героиню даже звали Татьяной. В молодости, в 1857 году. Толстой слышал от Екатерины Николаевны Мещерской (урожденной Карамзиной) поразивший его рассказ: «А вы знаете, — говорил поэт, — ведь Татьяна-то отказала Онегину и бросила его: этого я от нее не ожидал» В том же 1857 году Толстой перечитывал Белинского и, по его словам, «только теперь понял Пушкина». «Если его могла еще интересовать поэзия страсти, — пишет Белинский об Евгении Онегине,— то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна» \ Что касается Татьяны, то в ее характере Белинского больше всего поражала верность и привязанность к «семейному кругу». Толстой в своем романе дал полный простор и для «поэзии страсти», п для «поэзии брака», соединив оба эти начала своей ікивотрепсщущей «семейной мыслью». Он словно задумался с тревогой над тем, что сталось бы с пушкинской Татьяной, если бы она нарушила свой долг. «Страсти ее погубят», — говорил Пушкин о Вольской, героине отрывка «Гости съезжались на дачу...». Толстой разворачивает эту сюжетную мысль в историю Анны Карениной. При этом он находит не только психологические, но и социальные причины ее гибели. «Разве все мы не брошены па свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя іі других?» — вот ее вопрос, полный отчаяния, страшный вопрос, на который пет у нее никакого ответа, кроме смерти. Не только «страсти ее погубили». Вражда и разъединение, утрата нравственных связей привели Липу к катастрофе. Вот почему нельзя согласиться с теми критиками, которые называли писателя «прокурором» несчастной женщины, или, наоборот, — ее «адвокатом». Но как не вяжутся эти опрс^ См. об этом: В. А. Ж д а н о в и Э. Е. З а й д е н ш н у р. История создания романа «Анна Каренина» — в кн.: Л. Н. Т о л с т о й. Анна

Каренина, «Наука». М., 1970. ^ Д. П. М а к о в и ц к и й. Яснополянские записки, вып. I. М., 1922, с. 99. ^ В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 501, 461. 411

«Отрывка» («Гости съезжались на дачу...») Толстой подошел лишь в шестой главе второй части «Анны Карениной» [1].

«Анна Каренина» — *пушкинский* роман Толстого, в самом глубоком значении этого слова (Пушкин «как будто разрешил все мои сомнения»). Поэтому было бы неверным сводить «влияние Пушкина» в «Анне Карениной» к одному только отрывку «Гости съезжались на дачу...». Или даже только к одной прозе Пушкина. Ведь сюжет романа в известной мере связан и с пушкинским «романом в стихах». В первоначальных набросках героиню даже звали Татьяной. В молодости, в 1857 году, Толстой слышал от Екатерины Николаевны Мещерской (урожденной Карамзиной) поразивший его рассказ: «А вы знаете, — говорил поэт, — ведь Татьяна-то отказала Онегину и бросила его: этого я от нее не ожидал» [2].

В том же 1857 году Толстой перечитывал Белинского и, по его словам, «только теперь понял Пушкина». «Если его могла еще интересовать поэзия страсти,— пишет Белинский об Евгении Онегине,— то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна» [3]. Что касается Татьяны, то в ее характере Белинского больше всего поражала верность и привязанность к «семейному кругу».

Толстой в своем романе дал полный простор и для «поэзии страсти», и для «поэзии брака», соединив оба эти начала своей животрепещущей «семейной мыслью». Он словно задумался с тревогой над тем, что сталось бы с пушкинской Татьяной, если бы она нарушила свой долг. «Страсти ее погубят»,— говорил Пушкин о Вольской, героине отрывка «Гости съезжались на дачу...». Толстой разворачивает эту сюжетную мысль в историю Анны Карениной. При этом он находит не только психологические, но и социальные причины ее гибели.

«Разве все мы не брошены на свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя и других?» — вот ее вопрос, полный отчаяния, страшный вопрос, на который нет у нее никакого ответа, кроме смерти. Не только «страсти ее погубили». Вражда и разъединение, утрата нравственных связей привели Анну к катастрофе. Вот почему нельзя согласиться с теми критиками, которые называли писателя «прокурором» несчастной женщины, или, наоборот, — ее «адвокатом». Но как не вяжутся эти опре-

---

[1] См. об этом: В. А. Жданов и Э. Е. Зайденшнур. История создания романа «Анна Каренина» — в кн.: Л. Н. Толстой. Анна Каренина, «Наука». М., 1970.

[2] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. I. М., 1922, с. 99.

деления с главной мыслью, с «семейной мыслью» романа. Толстой скорбел над судьбой своей героини, жалел и любил ее. Чувства Толстого скорее можно назвать отцовскими. Он сердился и досадовал на нее, как сердятся и досадуют на близкого человека. В одном из писем он говорил, что Анна «оказалась дурного характера», что он «возится с ней» и что она «надоела ему». Он даже называет ее «воспитанницей». Но заканчивает свое рассуждение так: «не говорите мне про нее дурного, или, если хотите, то с menagement, она все-таки усыновлена» (т. 62, с. 257). А когда в 1883 году Г. А. Русанов заговорил об отношении автора к Анне Карениной, Толстой снова сослался на опыт Пушкина. «Говорят, что вы очень жестоко поступили с Анной Карениной, заставив ее умереть под вагоном, что не могла же она всю жизнь сидеть с «этой кислятиной» Алексеем Александровичем»,— сказал Русанов. «Это мнение напоминает мне случай, бывший с Пушкиным, — ответил Толстой. — Однажды он сказал кому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она — замуж вышла! Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообпі;е герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется» \ 3 Журнал «Русский вестник», где печаталась «Анна Каренина», культивировал английский «семейный роман» как «школу добрых нравов». Редактор и издатель журнала М. Н. Катков, будучи последовательным реакционером во всем, что касалось общественной жизни и литературы, противопоставлял респектабельный роман из лшзни высшего общества новому критическому и демократическому направлению, которое возобладало в русской литературе. В этом смысле его надежды на роман Толстого были тщетными. Толстой тяготел к новому направлению, к правде, которая была и оставалась всегда его «любимым героем». Наряду с «семейной мыслью» в его романе естественно и закономерно возникала «мысль народная». Вот почему роман не только ничего общего не имел с литературной программой «Русского вестника», но и был ее неожиданным и полным опровержением. Так что Катков в конце концов отказался печатать в «Русском вестнике» последнюю часть «Анны Карениной» именно по

несогласию с Толстым в оценке и изобра5кении действительности. * «Л. II. Толстой в воспоминаниях современников», т. I, с. 231-232. 412

деления с главной мыслью, с «семейной мыслью» романа. Толстой скорбел над судьбой своей героини, жалел и любил ее. Чувства Толстого скорее можно назвать отцовскими. Он сердился и досадовал на нее, как сердятся и досадуют на близкого человека. В одном из писем он говорил, что Анна «оказалась дурного характера», что он «возится с ней» и что она «надоела ему». Он даже называет ее «воспитанницей». Но заканчивает свое рассуждение так: «не говорите мне про нее дурного, или, если хотите, то с menagement, она все-таки усыновлена» (т. 62, с. 257). А когда в 1883 году Г. А. Русанов заговорил об отношении автора к Анне Карениной, Толстой снова сослался на опыт Пушкина. «Говорят, что вы очень жестоко поступили с Анной Карениной, заставив ее умереть под вагоном, что не могла же она всю жизнь сидеть с «этой кислятиной» Алексеем Александровичем»,— сказал Русанов. «Это мнение напоминает мне случай, бывший с Пушкиным, — ответил Толстой. — Однажды он сказал кому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она — замуж вышла! Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется» [1].

3

Журнал «Русский вестник», где печаталась «Анна Каренина», культивировал английский «семейный роман» как «школу добрых нравов». Редактор и издатель журнала М. Н. Катков, будучи последовательным реакционером во всем, что касалось общественной жизни и литературы, противопоставлял респектабельный роман из жизни высшего общества новому критическому и демократическому направлению, которое возобладало в русской литературе. В этом смысле его надежды на роман Толстого были тщетными. Толстой тяготел к новому направлению, к правде, которая была и оставалась всегда его «любимым героем». Наряду с «семейной мыслью» в его романе естественно и закономерно возникала «мысль народная». Вот почему роман не только ничего общего не имел с литературной программой «Русского вестника», но и был ее неожиданным и полным опровержением. Так что Катков в конце концов отказался печатать в «Русском вестнике» последнюю часть «Анны Карениной» именно по несогласию с Толстым в оценке и изображении действительности.

Толстой любил Диккенса, высоко ценил Антони Троллопа. Тонко пародируя английский «семейный роман» в «Анне Карениной», Толстой тем самым выражал свое несогласие с той социальной ролью, которая была отведена ему на страницах реакционного «Русского вестника». В вагоне поезда, на пути из Москвы в Петербург, Анна Каренина читает новый английский роман: «Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и опа, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать». Здесь Толстой наметил какие-то характерные сюжетные ходы английского романа вроде, например, «Леди Анны», печатавшейся в то время в «Русском вестнике» Ч В традиционном романе главное наперед известно. И Толстой вместе со своей героиней испытывает нетерпение, потому что поезд уносит их обоих в совершенно новую и неизведанную жизнь. Анна не без труда преодолевает привычное обаяние привычного сюжета, словно предчувствуя, что ей уготована иная участь. «Герой романа уже начинал достигать своего английского счастия, баронетства и имения,— пишет Толстой, — и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик». Именно из этого удивления и вырастают новое чувство и новая мысль толстовского романа, где «баронетство и имение» не могло уже быть единственным идеалом «счастия» и где «смысл жизни» получал иную, нравственную трактовку. Пародия на английский роман вовсе не имела у Толстого только литературной и стилистической цели, она служила одним из средств обоснования его собственной романической концепции и указанием на иные цели жизни, открывшейся ему с «новой, полезной и

неизвестной людям стороны». В 1874 году Толстой «говорил про свой роман, что он пишет его нѳ так, как обыкновенно пишут романисты: роман кончается, когда он и она женятся, то есть когда роман должен бы только начинаться. ^ «Русский вестник», 1873, № 5—7. 413

Толстой любил Диккенса, высоко ценил Антони Троллопа. Тонко пародируя английский «семейный роман» в «Анне Карениной», Толстой тем самым выражал свое несогласие с той социальной ролью, которая была отведена ему на страницах реакционного «Русского вестника».

В вагоне поезда, на пути из Москвы в Петербург, Анна Каренина читает новый английский роман: «Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать». Здесь Толстой наметил какие-то характерные сюжетные ходы английского романа вроде, например, «Леди Анны», печатавшейся в то время в «Русском вестнике» [1]. В традиционном романе главное наперед известно. И Толстой вместе со своей героиней испытывает нетерпение, потому что поезд уносит их обоих в совершенно новую и неизведанную жизнь.

Анна не без труда преодолевает привычное обаяние привычного сюжета, словно предчувствуя, что ей уготована иная участь. «Герой романа уже начинал достигать своего английского счастия, баронетства и имения,— пишет Толстой,— и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик». Именно из этого удивления и вырастают новое чувство и новая мысль толстовского романа, где «баронетство и имение» не могло уже быть единственным идеалом «счастия» и где «смысл жизни» получал иную, нравственную трактовку. Пародия на английский роман вовсе не имела у Толстого только литературной и стилистической цели, она служила одним из средств обоснования его собственной романической концепции и указанием на иные цели жизни, открывшейся ему с «новой, полезной и неизвестной людям стороны». В 1874 году Толстой «говорил про свой роман, что он пишет его не так, как обыкновенно пишут романисты: роман кончается, когда он и она женятся, то есть когда роман должен бы только начинаться.

Его роман будет описывать не только то, как они поженплпсь, но и то, что произошло после этого» ^ И «семейный роман» постеиепио преобразовывался в философский и социальный. Заканчивая «Войну и мир», книгу, полную исторического движепия, борьбы и драматического напряжения. Толстой привел однажды старую французскую пословицу: «Les peuples heureux n'ont pas d’histoire» («Счастливые пароды ne имеют истории») 2, Теперь семейная история — «то, что произошло после женитьбы», — под пером Толстого наполнялась борьбой, движением и драматической напряженностью. Что касается счастья, то оно, как особое, исключительное состояние, «не имеет истории». А брак, семья, жизнь — это не только счастье, но и «мудрейшее дело на свете» или «труднейшее и важнейшее дело жизни» (т. 20, с. 51), у которого есть и своя история. Уже приготовляя рукопись романа к печати, Толстой вписал эпиграф к первой части: «Все счастливые семьи похожи друг па друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Далее следовало начало первой главы: «Все спуталось и смешалось в доме Облонских». Затем он решительной чертой на рукописи слил эпиграф с текстом и слегка изменил следующую фразу. Так возникли два кратчайших введения в роман — философское: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» и событийное — «Все смешалось в доме Облонских». «Анна Каренина» отделена от «Войны и мира» десятью годами. За это время многое изменилось в мироощущении Толстого. «Война и мир» — это «апофеоз здоровой, полнозвучной жизни, ее земных радостей и земных чаяний, — пишет Н. К. Гудзий.— ...Совсем другое видим мы в «Анне Карениной». Здесь господствует настроение напряженной тревоги и глубокого внутреннего смятения» Драматическая тема «Анны Карениной» звучала уже в полную силу, когда поезд сделал первую остановку на станции, где «страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов». В купе было тепло и уютно, под руками была недочитанная книжка о семейном счастье. Только сон приснился дурной: какой-то мужик «с длинною талией», может быть, тот самый, который был раздавлен поездом на вокзале, когда Анна приехала мирить своего брата Стиву с его женой Долли, «принялся грызть что-то в степе». И старушка «стала протягивать ноги во всю длину вагона

и наполнила его черным облаком». Мрачная символика дорожного сна Анны Карениной предсказывает ее судьбу. «Потом что-то страшно ‘ С. Л. Т о л с т о й. Очерки былого. Тула, 1965, с. 41. ^ «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой». СПб., 1911, с. 229. ^ Н. К. Г у д З и й. Лев Толстой. М., 1960, с. 113—114. 414

Его роман будет описывать не только то, как они поженились, но и то, что произошло после этого» [1]. И «семейный роман» постепенно преобразовывался в философский и социальный.

Заканчивая «Войну и мир», книгу, полную исторического движения, борьбы и драматического напряжения, Толстой привел однажды старую французскую пословицу: «Les peuples heureux n'ont pas d'histoire» («Счастливые народы не имеют истории») [2]. Теперь семейная история — «то, что произошло после женитьбы», — под пером Толстого наполнялась борьбой, движением и драматической напряженностью. Что касается счастья, то оно, как особое, исключительное состояние, «не имеет истории». А брак, семья, жизнь — это не только счастье, но и «мудрейшее дело на свете» или «труднейшее и важнейшее дело жизни» (т. 20, с. 51), у которого есть и своя история. Уже приготовляя рукопись романа к печати, Толстой вписал эпиграф к первой части: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Далее следовало начало первой главы: «Все спуталось и смешалось в доме Облонских». Затем он решительной чертой на рукописи слил эпиграф с текстом и слегка изменил следующую фразу. Так возникли два кратчайших введения в роман — философское: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» и событийное — «Все смешалось в доме Облонских».

«Анна Каренина» отделена от «Войны и мира» десятью годами. За это время многое изменилось в мироощущении Толстого. «Война и мир» — это «апофеоз здоровой, полнозвучной жизни, ее земных радостей и земных чаяний,— пишет Н. К. Гудзий.— ...Совсем другое видим мы в «Анне Карениной». Здесь господствует настроение напряженной тревоги и глубокого внутреннего смятения» [3].

Драматическая тема «Анны Карениной» звучала уже в полную силу, когда поезд сделал первую остановку на станции, где «страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов». В купе было тепло и уютно, под руками была недочитанная книжка о семейном счастье. Только сон приснился дурной: какой-то мужик «с длинною талией», может быть, тот самый, который был раздавлен поездом на вокзале, когда Анна приехала мирить своего брата Стиву с его женой Долли, «принялся грызть что-то в стене». И старушка «стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком». Мрачная символика дорожного сна Анны Карениной предсказывает ее судьбу. «Потом что-то страшно

---

[1] С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1965, с. 41.

[2] «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой». СПб., 1911,

заскрипело и застучало, как будто раздирали кого*то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной». Это поезд остановился. «Анна почувствовала, что она провалилась». В романе нет случайных слов. И то, что Анна «провалилась», было ясным с самого начала. «Она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери». Этот удивительный спор со стихией составляет внутренний смысл и всей сцены на станции, где она неожиданно для себя встретила Вронского, и всего романа. Не случайно, конечно, и то, что из этой метели возникает Вронский, заслоняющий своей фигурой «свет фонаря». «Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз». «Жизнь вытесняет праздного человека», — замечает Толстой. Его герои оказываются вовлеченными в какой-то лабиринт, в котором постепенно меркнет свет. И жизнь, лишенная оправдания, выходит из повиновения, как та стихия, которая «заспорила с Анной о двери». Так или иначе, но то же чувство испытывают и все другие герои романа. Левин, занятый хозяйством в своем имении, чувствует во всем «присутствие стихийной силы, которая противилась ему». Каренин сознает, что все его начинания не достигают желаемой цели. Вронский растерянно замечает, что жизнь складывается «не по правилам». Что же касается Облонского, то он предпочитает «забываться сном жизни», чтобы просто не думать о том, как и почему «все сметалось» в его доме. Анна, «несмотря на тень», видела выражение лица и глаз Вронского во время метели, когда ничего разглядеть вокруг уже было невозможпо. Тут возникает какое-то особое видение, превышающее физические возможности. Так она видит сама себя. «Поздно, поздно, уж поздно», — прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела». Вронский «проваливается» на скачках, неосторожным движением сломав спину лошади. И эта случайность в романе не случайна. «Моя скачка труднее», — иронически говорит Каренин. «Всякий человек, зная до мельчайших подробностей всю сложность условий, его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не

думает, что другие окружены такою же сложностью своих личных условий, как и он сам...» Это одно из немногих авторских отступлений в «Анне Карениной» объясняет сюжетное и психологическое построение романа. Герои Толстого как бы не ведают, что творят. Они вовлечены в сложные отношения, где личные цели и страсти, «заслоняя фо415

заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной». Это поезд остановился. «Анна почувствовала, что она провалилась». В романе нет случайных слов. И то, что Анна «провалилась», было ясным с самого начала. «Она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери». Этот удивительный спор со стихией составляет внутренний смысл и всей сцены на станции, где она неожиданно для себя встретила Вронского, и всего романа. Не случайно, конечно, и то, что из этой метели возникает Вронский, заслоняющий своей фигурой «свет фонаря». «Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз».

«Жизнь вытесняет праздного человека», — замечает Толстой. Его герои оказываются вовлеченными в какой-то лабиринт, в котором постепенно меркнет свет. И жизнь, лишенная оправдания, выходит из повиновения, как та стихия, которая «заспорила с Анной о двери». Так или иначе, но то же чувство испытывают и все другие герои романа. Левин, занятый хозяйством в своем имении, чувствует во всем «присутствие стихийной силы, которая противилась ему». Каренин сознает, что все его начинания не достигают желаемой цели. Вронский растерянно замечает, что жизнь складывается «не по правилам». Что же касается Облонского, то он предпочитает «забываться сном жизни», чтобы просто не думать о том, как и почему «все смешалось» в его доме. Анна, «несмотря на тень», видела выражение лица и глаз Вронского во время метели, когда ничего разглядеть вокруг уже было невозможно. Тут возникает какое-то особое видение, превышающее физические возможности. Так она видит сама себя. «Поздно, поздно, уж поздно»,— прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела». Вронский «проваливается» на скачках, неосторожным движением сломав спину лошади. И эта случайность в романе не случайна. «Моя скачка труднее», — иронически говорит Каренин. «Всякий человек, зная до мельчайших подробностей всю сложность условий, его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такою же сложностью своих личных условий, как и он сам...» Это одно из немногих авторских отступлений в «Анне Карениной» объясняет сюжетное и психологическое построение романа.

нарь» (а «фонарем» Толстой называл совесть человека), уводят их все дальше и дальше от настоящих целей жизни, пока они, наконец, не «опомнятся», как это сделал Левин. «Сложность условий и трудность их уяснения» и приводила Толстого к мысли о том, что «нет в мире виноватых». Он изображал жизнь во всей сложности ее отношений. В его романе пет «злодеев», как нет добротворов» — этим нарицательным именем он называл вымышленные односторонние характеры, отвергнутые русским романом (т. 51, с. 44). Его герои несвободны в своих делах и мнениях, потому что результаты их усилий осложнены противоборствующими стремлениями и не совпадают с первоначальными целями. Так создается характерная для Толстого детерминированная картина жизни. Кажется, что в романе «Анна Каренина», в противовес идиллическому представлению о «семейном счастье». Толстой задался целью исследовать феноменологию семейного несчастья. В одном из черновиков романа он писал: «Мы любим себе представлять несчастие чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастие никогда не бывает событие, а несчастие есть жизнь, длинная жизнь несчастная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни — потеряны» (т. 20, с. 370). Как характерно для Толстого это отождествление смысла жизни со счастьем и счастья со смыслом жизни! Уже одно это свидетельствует о том, как неосновательно мнение тех критиков, которые склонны рассматривать роман «Анна Каренина» как «пессимистическое произведение». Напротив, сила Толстого именно в том и состоит, что он и в этом трагическом романе был поэтом и певцом жизни. Он говорил, что «цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (т. 61, с. 100). Именно поэтому и характеры и события в его романе и «вседневны», и обобщенны, и, главное, многосторонни. Они не укладываются в простые и однозначные определения. . В разных обстоятельствах каждый из них раскрывается с новой и неожиданной стороны. И при этом Толстой сохраняет строгие контуры исторического, социального и психологического типа. Каренин — это тип «высшего сановника». Человек медлительный, осторожный и методичный, он обо всем успел

составить ясные и недвусмысленные суждения, которых не изменяет никогда, как не изменяет ни своего характера, ни своего мундира. Именно он создал ту «обстановку сч/істья», которая вошла у него в привычку и которая вдруг самым нелогичны^I образом оказалась лишь пустой и ненужной формой, когда и счастье, и с ним вместе смысл жизни оказались потерянными. Он «стоял лицом к лицу с чем-то нелогичным и бестолковым и не знал, что делать», Тол416

нарь» (а «фонарем» Толстой называл совесть человека), уводят их все дальше и дальше от настоящих целей жизни, пока они, наконец, не «опомнятся», как это сделал Левин. «Сложность условий и трудность их уяснения» и приводила Толстого к мысли о том, что «нет в мире виноватых». Он изображал жизнь во всей сложности ее отношений. В его романе нет «злодеев», как нет добротворов» — этим нарицательным именем он называл вымышленные односторонние характеры, отвергнутые русским романом (т. 51, с. 44). Его герои несвободны в своих делах и мнениях, потому что результаты их усилий осложнены противоборствующими стремлениями и не совпадают с первоначальными целями. Так создается характерная для Толстого детерминированная картина жизни.

Кажется, что в романе «Анна Каренина», в противовес идиллическому представлению о «семейном счастье», Толстой задался целью исследовать феноменологию семейного несчастья. В одном из черновиков романа он писал: «Мы любим себе представлять несчастие чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастие никогда не бывает событие, а несчастие есть жизнь, длинная жизнь несчастная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни — потеряны» (т. 20, с. 370). Как характерно для Толстого это отождествление смысла жизни со счастьем и счастья со смыслом жизни! Уже одно это свидетельствует о том, как неосновательно мнение тех критиков, которые склонны рассматривать роман «Анна Каренина» как «пессимистическое произведение». Напротив, сила Толстого именно в том и состоит, что он и в этом трагическом романе был поэтом и певцом жизни. Он говорил, что «цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (т. 61, с. 100). Именно поэтому и характеры и события в его романе и «вседневны», и обобщенны, и, главное, многосторонни. Они не укладываются в простые и однозначные определения. В разных обстоятельствах каждый из них раскрывается с новой и неожиданной стороны. И при этом Толстой сохраняет строгие контуры исторического, социального и психологического типа.

Каренин — это тип «высшего сановника». Человек медлительный, осторожный и методичный, он обо всем успел составить ясные и недвусмысленные суждения, которых не изменяет никогда, как не изменяет ни своего характера, ни своего мундира. Именно он создал ту «обстановку счастья», которая вошла у него в привычку и которая вдруг самым нелогичным образом оказалась лишь пустой и ненужной формой, когда и счастье, и с ним вместе

стой сравнивает Каренина с человеком, который спокойно прошел над пропастью по мосту «и вдруг увидел, что этот мост разобрали и что там пучина». В характере и поступках Каренина есть некоторая безжизненная систематичность, поэтому он долго не замечал «пучины»: «пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович». Выходит, что он не замечал «самой жизни». И жизнь напомнила ему о себе самым жестоким образом. Анна называет его «злой министерской машиной». И в самом деле, в его действиях есть механическая, «заведенная» последовательность, граничащая с равнодушием и жестокостью. Но из этого не следует еще, что Анна была права, называя его в порыве злобы и отчаяния «злой машиной», и что в Каренине нет человеческих чувств. Он готов простить Анну и прощает ее, когда она была при смерти, он протягивает руку примирения Вронскому, берет на себя заботу о доме и детях. И Анна была смущена невольно, когда он запутался на слове «пелестрадал», не будучи в силах выговорить его правильно от душивших его слез. Если бы он был только «злой машиной», Анна не старалась бы так не вспоминать о нем во время своего итальянского путешествия. Кроме того. Толстой замечает, что она ненавидела его за ту вину, которой была виновата перед ним. И в характере Каренина есть своя психологическая динамика, столь характерная для героев Толстого. Не все сцены с Карениным даны в сатирическом освещении. Даже Вронский признает, что в минуту примирения Каренин был «на недосягаемой высоте». Толстой придавал своим героям характерные живые черты. Он нисколько не заботился о внешней идеальности романического персонажа. Вронский, например, у него вовсе не так привлекателен, как это многим кажется. «Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине»,— говорит ему Петрицкий. «Вронский действительно преждевременно начал плешиветь,— добавляет Толстой.— Он весело засмеялся, показывая сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску». Вронский не красноречив, и его речи не столь запоминаются, как его жесты и взгляды. Он больше видит и чувствует, чем слышит и говорит. Так, во время свидания с Анной у дачи Вреде он вдруг заметил, что «глаза ее со страшной злобой смотрели на него из-под вуаля». Вронский

страшный аккуратист, он ненавидит беспорядок, любит «вести свои дела в порядке» — удивительная черта для героя его положения. Он хочет «учесться и уяснить свое положение для того, чтобы не запутаться» именно в то время, когда жизнь его совершенно запутывается. Притом еще Толстой сделал Вронского художником-любителем. Нарисованный им в Италии портрет Анны сохранял лишь видимость и «обстановку счастья», когда

стой сравнивает Каренина с человеком, который спокойно прошел над пропастью по мосту «и вдруг увидел, что этот мост разобрали и что там пучина». В характере и поступках Каренина есть некоторая безжизненная систематичность, поэтому он долго не замечал «пучины»: «пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович». Выходит, что он не замечал «самой жизни». И жизнь напомнила ему о себе самым жестоким образом. Анна называет его «злой министерской машиной». И в самом деле, в его действиях есть механическая, «заведенная» последовательность, граничащая с равнодушием и жестокостью. Но из этого не следует еще, что Анна была права, называя его в порыве злобы и отчаяния «злой машиной», и что в Каренине нет человеческих чувств. Он готов простить Анну и прощает ее, когда она была при смерти, он протягивает руку примирения Вронскому, берет на себя заботу о доме и детях. И Анна была смущена невольно, когда он запутался на слове «пелестрадал», не будучи в силах выговорить его правильно от душивших его слез. Если бы он был только «злой машиной», Анна не старалась бы так не вспоминать о нем во время своего итальянского путешествия. Кроме того, Толстой замечает, что она ненавидела его за ту вину, которой была виновата перед ним. И в характере Каренина есть своя психологическая динамика, столь характерная для героев Толстого. Не все сцены с Карениным даны в сатирическом освещении. Даже Вронский признает, что в минуту примирения Каренин был «на недосягаемой высоте».

Толстой придавал своим героям характерные живые черты. Он нисколько не заботился о внешней идеальности романического персонажа. Вронский, например, у него вовсе не так привлекателен, как это многим кажется. «Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине»,— говорит ему Петрицкий. «Вронский действительно преждевременно начал плешиветь,— добавляет Толстой.— Он весело засмеялся, показывая сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску». Вронский не красноречив, и его речи не столь запоминаются, как его жесты и взгляды. Он больше видит и чувствует, чем слышит и говорит. Так, во время свидания с Анной у дачи Вреде он вдруг заметил, что «глаза ее со страшной злобой смотрели на него из-под вуаля». Вронский страшный аккуратист, он ненавидит беспорядок, любит «вести свои дела в порядке» — удивительная черта для героя его положения. Он хочет «учесться и уяснить свое положение для того, чтобы не запутаться» именно в то время, когда жизнь его совершенно запутывается. Притом еще Толстой сделал Врон-

смысл его был утрачен. Его тень так и не сошла с «фонаря». И в конце романа он должен был признаться, что он «не человек больше». У каждого из героев Толстого есть свое психологическое «движение». Вот Степан Аркадьич Облонский выходит из дома после ссоры с женой. Он успевает прочитать газету, поговорить с детьми, приводит в какой-то порядок свои смятенные чувства. После завтрака им овладевает привычное доброе расположение духа. Теперь можно было ехать в присутствие. «Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть ^ жену. «Ах, да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение». В этом весь Облонский. Он так и проходит через роман, покорно и добродушно опуская голову и не теряя выражения здоровья и красоты. С барской широтой расположился Облонский в романе. Один его обед занял две главы. Ему кажется странным недовольство Левина самим собой. «Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает»,— говорит он. Облонский не моралист. Однако он — единственный из героев романа, кто сознает свою «грешность», никого не осуждает, в меру своих сил старается отойти от зла и примирить враждующих. К тому же Облонский не так прост, как кажется. Именно он беседует с Левиным о социальной справедливости, о собственности и социализме, то есть о том, что составляло «злобу дня» в пореформенную эпоху, когда в том самом обществе, к которому принадлежал Облонский, исчезло равновесие и во всем стала чувствоваться шаткость и неуверенность, как в его собственной жизни. Толстой строго выдерживал логику характеров, определяя возможные варианты разрешения конфликтов. А возможности неожиданных и резких поворотов сюжета возникали на каждом шагу. Они, йак искушение, преследуют и автора, и его героев. Малейшее уклонение в сторону могло повлечь за собою ряд других происшествий, которые бы разрушили всю композицию романа. Когда измена Анны обнаружилась, первое, о чем подумал Вронский, была дуэль. Анна оскорбилась холодным и непроницаемым выражением его лица, но «она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда в голову не приходила мысль о дуэли». О дуэли думает и

Каренин. «Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса не мог подумать о пистолете, на него направленном, и никогда в жизни не употреблял никакого оружия». Тема дуэли 418

смысл его был утрачен. Его тень так и не сошла с «фонаря». И в конце романа он должен был признаться, что он «не человек больше».

У каждого из героев Толстого есть свое психологическое «движение». Вот Степан Аркадьич Облонский выходит из дома после ссоры с женой. Он успевает прочитать газету, поговорить с детьми, приводит в какой-то порядок свои смятенные чувства. После завтрака им овладевает привычное доброе расположение духа. Теперь можно было ехать в присутствие. «Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть — жену. «Ах, да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение». В этом весь Облонский. Он так и проходит через роман, покорно и добродушно опуская голову и не теряя выражения здоровья и красоты. С барской широтой расположился Облонский в романе. Один его обед занял две главы. Ему кажется странным недовольство Левина самим собой. «Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает»,— говорит он. Облонский не моралист. Однако он — единственный из героев романа, кто сознает свою «грешность», никого не осуждает, в меру своих сил старается отойти от зла и примирить враждующих. К тому же Облонский не так прост, как кажется. Именно он беседует с Левиным о социальной справедливости, о собственности и социализме, то есть о том, что составляло «злобу дня» в пореформенную эпоху, когда в том самом обществе, к которому принадлежал Облонский, исчезло равновесие и во всем стала чувствоваться шаткость и неуверенность, как в его собственной жизни.

Толстой строго выдерживал логику характеров, определяя возможные варианты разрешения конфликтов. А возможности неожиданных и резких поворотов сюжета возникали на каждом шагу. Они, как искушение, преследуют и автора, и его героев. Малейшее уклонение в сторону могло повлечь за собою ряд других происшествий, которые бы разрушили всю композицию романа. Когда измена Анны обнаружилась, первое, о чем подумал Вронский, была дуэль. Анна оскорбилась холодным и непроницаемым выражением его лица, но «она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда в голову не приходила мысль о дуэли». О дуэли думает и Каренин. «Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса не мог подумать о пистолете, на него направленном

проходит через роман как одна из важнейших подробностей психологического фона истории о неверной жене. Но в романе происходит нравственная, а не «огнестрельная» дуэль, где жертвами оказываются и Анна, и Каренин, и Вронский. Судьбы героев романа обладают неотвратимостью. Ведь и у Левина есть свои искушения. Он готов был круто изменить жизнь. И тут перед ним возникали различные возможности, хотя у него не было еще готового ответа. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? — опять спрашивал он себя и не находил ответа». Некоторые из этих возможностей стали потом необходимостью. Но смысл толстовского психологического анализа заключается в выборе единственных решений из множества свободных вариантов. Единственно возможный путь оказывается и наиболее характерным. «Характер — это то, в чем обнаруживается направление воли», — говорил Аристотель \ Дарья Александровна Облонская решила покинуть дом своего мужа. Такое решение вполне соответствовало ее настроению, но не характеру. В конце концов она предпочла худой мир доброй ссоре. Она не только осталась дома, но и простила Стиву. Долли называет его «отвратительным, жалким и милым мужем». Но иногда ей кажется, что все могло быть иначе. «Я тогда должна была бросить мужа,— храбро рассуждает Долли, — и начать жить сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше?» Толстой любуется искренностью Долли, не преуменьшая тяжести ее подвига. Роман Анны — «бросить мужа, любить и быть любимой по-настоящему» — не для Долли. Ее искушает мысль о разрыве — Анне является надежда на примирение. «То была не я, то была другая», — говорит она в бреду. Но примирение Анны с Карениным так же невозможно, как невозможен разрыв Долли со Стивой. Они не могли поступить иначе, не поменявшись характерами. В романе Толстого убеждает не только то решение, которое принято, но и то, которое отвергнуто. Кити Щербацкая уверяла себя, что она любит Вронского и даже занемогла, когда он оставил ее. Между тем Долли была всегда уверена, что ее сердце принадлежит Левину, для которого история его отношения к Щербацкой й вся история женитьбы была «мудренейшим делом», где

он сам своим умом ничего решить не мог. И Долли оказалась пророчицей счастья. Самым близким Толстому героем «Анны Карениной» был, конечно, Левин. Он и обликом, и характером, и даже самой историей своей жизни напоминает Толстого. Только что он не пишет рома^ Аристотель. Поэтика. М., 1957, с. 60. 14* 419

проходит через роман как одна из важнейших подробностей психологического фона истории о неверной жене. Но в романе происходит нравственная, а не «огнестрельная» дуэль, где жертвами оказываются и Анна, и Каренин, и Вронский. Судьбы героев романа обладают неотвратимостью. Ведь и у Левина есть свои искушения. Он готов был круто изменить жизнь. И тут перед ним возникали различные возможности, хотя у него не было еще готового ответа. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? — опять спрашивал он себя и не находил ответа». Некоторые из этих возможностей стали потом необходимостью. Но смысл толстовского психологического анализа заключается в выборе единственных решений из множества свободных вариантов. Единственно возможный путь оказывается и наиболее характерным.

«Характер — это то, в чем обнаруживается направление воли», — говорил Аристотель [1]. Дарья Александровна Облонская решила покинуть дом своего мужа. Такое решение вполне соответствовало ее настроению, но не характеру. В конце концов она предпочла худой мир доброй ссоре. Она не только осталась дома, но и простила Стиву. Долли называет его «отвратительным, жалким и милым мужем». Но иногда ей кажется, что все могло быть иначе. «Я тогда должна была бросить мужа,— храбро рассуждает Долли,— и начать жить сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше?» Толстой любуется искренностью Долли, не преуменьшая тяжести ее подвига. Роман Анны — «бросить мужа, любить и быть любимой по-настоящему» — не для Долли. Ее искушает мысль о разрыве — Анне является надежда на примирение. «То была не я, то была другая»,— говорит она в бреду. Но примирение Анны с Карениным так же невозможно, как невозможен разрыв Долли со Стивой. Они не могли поступить иначе, не поменявшись характерами. В романе Толстого убеждает не только то решение, которое принято, но и то, которое отвергнуто. Кити Щербацкая уверяла себя, что она любит Вронского и даже занемогла, когда он оставил ее. Между тем Долли была всегда уверена, что ее сердце принадлежит Левину, для которого история его отношения к Щербацкой и вся история женитьбы была «мудренейшим делом», где он сам своим умом ничего решить не мог. И Долли оказалась пророчицей счастья.

Самым близким Толстому героем «Анны Карениной» был, конечно, Левин. Он и обликом, и характером, и даже самой историей своей жизни напоминает Толстого. Только что он не пишет рома-

нов, а занимается хозяйством и размышляет о «науке хозяйства». Внешне Левин кажется человеком диким и нелюдимым. Знакомые и родные принимают его за неудачника. «Облонский не мог удержать насмешливой улыбки при виде Левина». Казалось, что это какой-то странный помепі;ик, «дикий» человек, который занимается «разведением коров, стрелянием дупелей и постройками». Некоторые даже называли его «бездарным малым», из которого ничего не вышло. Между тем Левин был прежде всего оригинальный и самобытный мыслитель, философ и идеалист. Он чувствует свою обязанность «к семье и к земле». Семья пробуждает в нем «чувство любви к будущ,ему». Он прокладывает в жизни свою определенную дорогу, которая ведет его к сближению с народом. «Под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Как идеалист, Левин был уверен, что перемена эта зависит от него самого. Но жизнь распоряжалась по-своему. И он должен был убедиться, что такая перемена не от одного его желания зависит, потому что в конце концов он думал не только о самом себе. Он должен был задуматься и над вопросом о коренной переделке экономических условий, о чем ему толковал его брат, революционер Николай Левин. «Разговор брата о коммунизме, к которому он тогда легко отнесся, теперь заставил его задуматься». Семидесятые годы, переломная эпоха, должны были создать и создали характер Левина. Его мир неустойчив. Он сравнивает себя с человеком, плывущим в шаткой лодочке, которому «надо грести» и решать, «куда плыть». Роман завершается картиной мощной весенней грозы, когда Левин вдруг ощутил присутствие нравственного закона в своей груди и увидел звездное небо над своей головой. «В этот короткий промежуток времени туча уже настолько надвинулась своей серединой на солнце, что стало темно, как в затмение. Ветер упорно, как бы настаивая на своем, останавливал Левина и, обрывая листья и цвет с лип и безобразно и странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону: акации, цветы, лопухи, траву и макушки дерев... Белый занавес проливного дождя уже захватил весь дальний лес и половину

ближнего поля...» Но когда гроза прошла, Левин с террасы своего дома увидел «знакомый ему треугольник звезд и... проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением». При каждой вспышке молнии яркие звезды исчезали, а потом, «как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах». И Левин чувствовал, что «разреше420

нов, а занимается хозяйством и размышляет о «науке хозяйства». Внешне Левин кажется человеком диким и нелюдимым. Знакомые и родные принимают его за неудачника. «Облонский не мог удержать насмешливой улыбки при виде Левина». Казалось, что это какой-то странный помещик, «дикий» человек, который занимается «разведением коров, стрелянием дупелей и постройками». Некоторые даже называли его «бездарным малым», из которого ничего не вышло. Между тем Левин был прежде всего оригинальный и самобытный мыслитель, философ и идеалист. Он чувствует свою обязанность «к семье и к земле». Семья пробуждает в нем «чувство любви к будущему». Он прокладывает в жизни свою определенную дорогу, которая ведет его к сближению с народом. «Под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Как идеалист, Левин был уверен, что перемена эта зависит от него самого. Но жизнь распоряжалась по-своему. И он должен был убедиться, что такая перемена не от одного его желания зависит, потому что в конце концов он думал не только о самом себе. Он должен был задуматься и над вопросом о коренной переделке экономических условий, о чем ему толковал его брат, революционер Николай Левин. «Разговор брата о коммунизме, к которому он тогда легко отнесся, теперь заставил его задуматься».

Семидесятые годы, переломная эпоха, должны были создать и создали характер Левина. Его мир неустойчив. Он сравнивает себя с человеком, плывущим в шаткой лодочке, которому «надо грести» и решать, «куда плыть».

Роман завершается картиной мощной весенней грозы, когда Левин вдруг ощутил присутствие нравственного закона в своей груди и увидел звездное небо над своей головой. «В этот короткий промежуток времени туча уже настолько надвинулась своей серединой на солнце, что стало темно, как в затмение. Ветер упорно, как бы настаивая на своем, останавливал Левина и, обрывая листья и цвет с лип и безобразно и странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону: акации, цветы, лопухи, траву и макушки дерев... Белый занавес проливного дождя уже захватил весь дальний лес и половину ближнего поля...» Но когда гроза прошла, Левин с террасы своего дома увидел «знакомый ему треугольник звезд и... проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением». При каждой вспышке молнии яркие звезды исчезали, а потом, «как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять

ние его сомнений... уже готово в его душе». И как для Анны Карениной был символическим образ потухшей свечи, при которой прежде она читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла» книгу, так для Левина таким же обобщенным был образ глубоко врезавшегося в почву плуга: «Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды». Трудно представить себе более глубокое и рельефное определение главной идеи романа, чем сопоставление исканий правды и справедливости с распахиванием почвы. Эта метафора — ■ ядро социального и философского смысла «Анны Карениной». Замысел Толстого — сделать Анну Каренину только жалкой и не виноватой — раскрывается в сложной диалектике внешнего и внутреннего мира героини романа. Став свидетелем драматических событий, Левин, прежде осуждавший Анну, почувствовал к ней нежность и жалость. Анна разлюбила или никогда не любила Каренина, но и Вронский разлюбил или никогда не понимал Анну. Вот что понял Левин, и это удивило его, как нечаянное открытие чужой тайны. «Я не виновата, что бог меня создал такою, что мне нужно любить и жить», — говорит о себе Анна, когда совершилась решительная перемена в ее жизни. От той Анны, которой восхищалась Долли («У тебя все в душе ясно п хорошо»), ничего не осталось. Каренин и Вронский были теперь «двумя центрами» жизни. Единства больше не было ни в чем. Анна говорит с Карениным презрительно и насмешливо. Но она упорно и с озлоблением противоречила и Вронскому. И так это продолжалось до конца, потому что Анне уже никогда не удавалось, несмотря на проблески счастья, победить «дьявола», привести свою жизнь к простоте и ясности. Ее чувства и мысли становятся все более сложными, в то время как отношения — все более неясными. В конце романа она становится только жалкой и потерянной, говорит о разуме и прибегает к помощи морфия, чтобы как-то успокоить себя. Толстой освещает все закоулки заблудшей души, «перенося свет на них». И все же он рисует Анну страдающей и искренней душой. В первоначальных набросках Толстой связывал «преступление» Анны с влиянием новейших нигилистических теорий, построенных на отрицании семьи и брака. Однако такое объяснение вины и трагедии Анны должно было казаться Толстому слшпком

внешним, и он отбросил эти варианты. Хотя Анна Каренина в его романе изображена как вполне современная женщина, которую по-своему волнуют новейшие теории образования и независимости. Она, например, становится писательницей,— черта важная, на которую обычно не обращают должного внимания. Анна пишет ро

ние его сомнений... уже готово в его душе». И как для Анны Карениной был символическим образ потухшей свечи, при которой прежде она читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла» книгу, так для Левина таким же обобщенным был образ глубоко врезавшегося в почву плуга: «Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды». Трудно представить себе более глубокое и рельефное определение главной идеи романа, чем сопоставление исканий правды и справедливости с распахиванием почвы. Эта метафора — ядро социального и философского смысла «Анны Карениной».

Замысел Толстого — сделать Анну Каренину только жалкой и не виноватой — раскрывается в сложной диалектике внешнего и внутреннего мира героини романа.

Став свидетелем драматических событий, Левин, прежде осуждавший Анну, почувствовал к ней нежность и жалость. Анна разлюбила или никогда не любила Каренина, но и Вронский разлюбил или никогда не понимал Анну. Вот что понял Левин, и это удивило его, как нечаянное открытие чужой тайны.

«Я не виновата, что бог меня создал такою, что мне нужно любить и жить»,— говорит о себе Анна, когда совершилась решительная перемена в ее жизни. От той Анны, которой восхищалась Долли («У тебя все в душе ясно и хорошо»), ничего не осталось. Каренин и Вронский были теперь «двумя центрами» жизни. Единства больше не было ни в чем. Анна говорит с Карениным презрительно и насмешливо. Но она упорно и с озлоблением противоречила и Вронскому. И так это продолжалось до конца, потому что Анне уже никогда не удавалось, несмотря на проблески счастья, победить «дьявола», привести свою жизнь к простоте и ясности. Ее чувства и мысли становятся все более сложными, в то время как отношения — все более неясными. В конце романа она становится только жалкой и потерянной, говорит о разуме и прибегает к помощи морфия, чтобы как-то успокоить себя. Толстой освещает все закоулки заблудшей души, «перенося свет на них». И все же он рисует Анну страдающей и искренней душой.

В первоначальных набросках Толстой связывал «преступление» Анны с влиянием новейших нигилистических теорий, построенных на отрицании семьи и брака. Однако такое объяснение вины и трагедии Анны должно было казаться Толстому слишком внешним, и он отбросил эти варианты. Хотя Анна Каренина в его романе изображена как вполне современная женщина, которую по-своему волнуют новейшие теории образования и независимости.

ман для детей. Издатель Воркуев уверяет Облонского, что это «замечательная вещь». Писательница — характернейший тип «новой женщины», понимающей самый смысл теории эмансипации. «Женщины читающие (а в деревне Анна получала ящиками книги от Готье, в том числе и только вышедшую в свет книгу Тэна «О разуме»), и тем более пишущие, — отмечал в 1869 году Джон Стюарт Милль,— суть несообразность и элемент вечных смут при существующем порядке» К Это признание публициста тех лет своеобразно освещает те стороны характера и личности Анны, которые часто остаются в тени. Как умная и вполне современная женщина, Анна посвящена во все тревоги, интеллектуальные «смуты» своего века. То, что казалось тогда принадлежащим лишь нигилистической или демократической литературе. Толстой изобразил как веяние времени. Даже ссора Анны и Вронского произошла из-за весьма злободневного вопроса о школьном воспитании и образовании. Правда, Толстой тут же дает понять, что вопрос этот не был никому из них близким, как чувства любви, ненависти и борьбы. «Писание, чтение,— говорит Анна,— все это только обман, все тот же морфин». И думает о Вронском: «он бы должен пожалеть меня...» Толстой жалел Анну и отводил от нее подозрения, которые порою являлись и у него самого. В черновиках романа сохранилась сцена поездки Анны на цветочную выставку с Грабе, приятелем Вронского. Грабе со страхом и удивлением замечает, что она кокетничает с ним, что она «хочет вызвать его» (т. 20, с. 524). Какаято тень порока мелькнула на этих страницах. И Толстой отбросил этот черновик. Такая тень не должна была коснуться Анны. Ее судьба другая. Анна живет в сфере правдивых, искренних и настоящих чувств, где нет никаких подделок и никакой лжи. «Какая удивительная, милая и жалкая женщина»,— думает Левин. А это совсем не то, что думал Грабе по пути на цветочную выставку. 4 Толстой называл «Анну Каренину» «романом широким, свободным». В основе этого определения — пушкинский термин «свободный роман». В «Анне Карениной» нет лирических, философских или публицистических отступлений. Но между романом Пушкина и романом Толстого есть несомненная связь, которая проявляется в жанре, в сюжете и в композиции. Не фабульная завершенность положений, а «творческая концепция» определяет в «Анне Карениной» выбор материала и

открывает простор для развития сюжетных линий. Жанр свободного романа возникал ^ Д.-С. Милль. Подчиненность женщины. СПб., 1869, с. 71. 422

ман для детей. Издатель Воркуев уверяет Облонского, что это «замечательная вещь». Писательница — характернейший тип «новой женщины», понимающей самый смысл теории эмансипации. «Женщины читающие (а в деревне Анна получала ящиками книги от Готье, в том числе и только вышедшую в свет книгу Тэна «О разуме»), и тем более пишущие,— отмечал в 1869 году Джон Стюарт Милль,— суть несообразность и элемент вечных смут при существующем порядке» [1]. Это признание публициста тех лет своеобразно освещает те стороны характера и личности Анны, которые часто остаются в тени. Как умная и вполне современная женщина, Анна посвящена во все тревоги, интеллектуальные «смуты» своего века. То, что казалось тогда принадлежащим лишь нигилистической или демократической литературе, Толстой изобразил как веяние времени. Даже ссора Анны и Вронского произошла из-за весьма злободневного вопроса о школьном воспитании и образовании. Правда, Толстой тут же дает понять, что вопрос этот не был никому из них близким, как чувства любви, ненависти и борьбы. «Писание, чтение,— говорит Анна,— все это только обман, все тот же морфин». И думает о Вронском: «он бы должен пожалеть меня...»

Толстой жалел Анну и отводил от нее подозрения, которые порою являлись и у него самого. В черновиках романа сохранилась сцена поездки Анны на цветочную выставку с Грабе, приятелем Вронского. Грабе со страхом и удивлением замечает, что она кокетничает с ним, что она «хочет вызвать его» (т. 20, с. 524). Какая-то тень порока мелькнула на этих страницах. И Толстой отбросил этот черновик. Такая тень не должна была коснуться Анны. Ее судьба другая. Анна живет в сфере правдивых, искренних и настоящих чувств, где нет никаких подделок и никакой лжи. «Какая удивительная, милая и жалкая женщина»,— думает Левин. А это совсем не то, что думал Грабе по пути на цветочную выставку.

4

Толстой называл «Анну Каренину» «романом широким, свободным». В основе этого определения — пушкинский термин «свободный роман». В «Анне Карениной» нет лирических, философских или публицистических отступлений. Но между романом Пушкина и романом Толстого есть несомненная связь, которая проявляется в жанре, в сюжете и в композиции. Не фабульная завершенность положений, а «творческая концепция» определяет в «Анне Карениной» выбор материала и открывает простор для развития сюжетных линий. Жанр свободного романа возникал

п развивался па основе преодоления литературных схем и условностей. На фабульной завершенности положений строился сюжет в традиционном семейном романе, например, у Диккенса. Именно от этой традиции и отказался Толстой, хотя очень любил Диккенса как писателя. «Я никак не могу и не умею положить вымышленным мною лицам известные границы — как-то женитьба или смерть,— пишет Толстой.— ...Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбунщала интерес к другим лицам и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» (т. 13, с. 55). Новаторство Толстого воспринималось как отклонение от нормы. Оно и было таким по существу, но служило не разрушению жанра, а расширению его законов. Бальзак в «Письмах о литературе» очень точно определил характерные особенности традиционного романа: «Как бы ни было велико количество аксессуаров и множество образов, современный романист должен, как Вальтер Скотт, Гомер этого жанра, сгруппировать их согласно их значению, подчинить их солнцу своей системы — интриге или герою — и вести их, как сверкающее созвездие, в определенном порядке» К Но в «Анне Карениной», так же как в «Войне и мире». Толстой не мог положить своим героям «известные границы». И его роман продолжался после женитьбы Левина и даже после гибели Анны. Солнцем толстовской романической системы является, таким образом, не герой или интрига, а «мысль народная» или «мысль семейная», которая и ведет множество его образов, «как сверкающее созвездие, в определенном порядке». В 1878 году в журнале М. М. Стасюлевича «Вестник Европы» была напечатана статья «Каренина и Левин». Автором этой статьи был А. В. Станкевич, брат известного философа и поэта Н. В. Станкевича. Он доказывал, что Толстой написал вместо одного — два романа. Как «человек сороковых годов», Станкевич откровенно придерживался старозаветных понятий о «правильном» жанре. Он иронически называл «Анну Каренину» романом de longue haleine («романом широкого дыхания»), сравнивая его со средневековыми многотомными повествованиями, которые некогда находили «многочисленных и благодарных читателей». С тех пор философский и литературный вкус «очистился» настолько, что были созданы «непререкаемые нормы», нарушение которых не проходит даром для писателя. Назвав свою

статью «Каренина и Левин», Станкевич доказывал, что сюжетные линии этого романа параллельны, то есть независимы друг от друга. И на этом основании приходил ^ См. об этом в кн.: Б. И. Бурсов. Лев Толстой и русский ромам. М. — Л., 1963, с. 69. 423

и развивался на основе преодоления литературных схем и условностей. На фабульной завершенности положений строился сюжет в традиционном семейном романе, например, у Диккенса. Именно от этой традиции и отказался Толстой, хотя очень любил Диккенса как писателя. «Я никак не могу и не умею положить вымышленным мною лицам известные границы — как-то женитьба или смерть,— пишет Толстой.— ...Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» (т. 13, с. 55).

Новаторство Толстого воспринималось как отклонение от нормы. Оно и было таким по существу, но служило не разрушению жанра, а расширению его законов. Бальзак в «Письмах о литературе» очень точно определил характерные особенности традиционного романа: «Как бы ни было велико количество аксессуаров и множество образов, современный романист должен, как Вальтер Скотт, Гомер этого жанра, сгруппировать их согласно их значению, подчинить их солнцу своей системы — интриге или герою — и вести их, как сверкающее созвездие, в определенном порядке» [1]. Но в «Анне Карениной», так же как в «Войне и мире», Толстой не мог положить своим героям «известные границы». И его роман продолжался после женитьбы Левина и даже после гибели Анны. Солнцем толстовской романической системы является, таким образом, не герой или интрига, а «мысль народная» или «мысль семейная», которая и ведет множество его образов, «как сверкающее созвездие, в определенном порядке».

В 1878 году в журнале М. М. Стасюлевича «Вестник Европы» была напечатана статья «Каренина и Левин». Автором этой статьи был А. В. Станкевич, брат известного философа и поэта Н. В. Станкевича. Он доказывал, что Толстой написал вместо одного — два романа. Как «человек сороковых годов», Станкевич откровенно придерживался старозаветных понятий о «правильном» жанре. Он иронически называл «Анну Каренину» романом de longue haleine («романом широкого дыхания»), сравнивая его со средневековыми многотомными повествованиями, которые некогда находили «многочисленных и благодарных читателей». С тех пор философский и литературный вкус «очистился» настолько, что были созданы «непререкаемые нормы», нарушение которых не проходит даром для писателя. Назвав свою статью «Каренина и Левин», Станкевич доказывал, что сюжетные линии этого романа параллельны, то есть независимы друг от друга. И на этом основании приходил

к выводу, что в романе нет единства ^ Мысль Станкевича много раз, осознанно и бессознательно, повторялась в обширной литературе об «Анне Карениной». Термин «роман широкого дыхания» был хорошо известен Толстому. И он относился к нему без всякой иронии. Еще в 1862 году Толстой признавался: «Так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine — роман» (т. 60, с. 451). И в 1891 году он отметил в своем дневнике: «Стал думать, как бы хорошо писать роман de longue haleine, освещая его теперешним взглядом на вещи» (т. 52, с. 5). И «Анна Каренина» была «романом широкого дыхания», где все события «освещены своеобразным взглядом автора». И термин «роман широкого дыхания», утратив свою ироническую окраску, мог бы войти в литературный оборот, если бы Толстой не определил свой излюбленный жанр проще и яснее — «роман широкий, свободный». В свободном романе есть не только свобода, но и необходимость, не только широта, но и единство. Толстой особенно дорожил художественным единством своего романа, пластической связью идей и философской мыслью, положенной в его основу. В «Анне Карениной» события разворачиваются, как в высокой трагедии, неотвратимо и последовательно. «Тот объем достаточен,— учил Аристотель,— внутри которого, при непрерывном следовании событий по вероятности или необходимости, может произойти перемена от несчастья к счастью, или от счастья к несчастью» 2. Так определяется и объем толстовского романа, где по необходимости и вероятности происходит перемена от несчастья к счастью и от счастья к несчастью в судьбе Левина и Анны Карениной. Необходимость несет в своем потоке их отдельные судьбы. На повсеместное действие закона возмездия Толстой хотел указать и грозным эпиграфом к роману: «Мне отмщение, и Аз воздам». Конечно, в этом эпиграфе, почерпнутом в Библии, сказалось и религиозное мироощущение Толстого. «Я должен повторить,— говорил однажды Толстой,— что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить» Но это слова моралиста, к тому же сказанные через много лет после того, как был написан роман. А в самом романе он увлечен не столько этой

«простой» мыслью, сколько изучением вероятности и необходимости, скрытой в самой действительности. «Во всем возмездие... во всем предел, его же не - «Вестник Европы», 1878, № 4-5. ^ Аристотель. Поэтика, с. 64. ^ В. Вересаев. Воспоминания. М., 1946, с. 498. 424

к выводу, что в романе нет единства [1]. Мысль Станкевича много раз, осознанно и бессознательно, повторялась в обширной литературе об «Анне Карениной». Термин «роман широкого дыхания» был хорошо известен Толстому. И он относился к нему без всякой иронии. Еще в 1862 году Толстой признавался: «Так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine — роман» (т. 60, с. 451). И в 1891 году он отметил в своем дневнике: «Стал думать, как бы хорошо писать роман de longue haleine, освещая его теперешним взглядом на вещи» (т. 52, с. 5). И «Анна Каренина» была «романом широкого дыхания», где все события «освещены своеобразным взглядом автора». И термин «роман широкого дыхания», утратив свою ироническую окраску, мог бы войти в литературный оборот, если бы Толстой не определил свой излюбленный жанр проще и яснее — «роман широкий, свободный».

В свободном романе есть не только свобода, но и необходимость, не только широта, но и единство. Толстой особенно дорожил художественным единством своего романа, пластической связью идей и философской мыслью, положенной в его основу. В «Анне Карениной» события разворачиваются, как в высокой трагедии, неотвратимо и последовательно. «Тот объем достаточен,— учил Аристотель,— внутри которого, при непрерывном следовании событий по вероятности или необходимости, может произойти перемена от несчастья к счастью, или от счастья к несчастью» [2]. Так определяется и объем толстовского романа, где по необходимости и вероятности происходит перемена от несчастья к счастью и от счастья к несчастью в судьбе Левина и Анны Карениной. Необходимость несет в своем потоке их отдельные судьбы. На повсеместное действие закона возмездия Толстой хотел указать и грозным эпиграфом к роману: «Мне отмщение, и Аз воздам». Конечно, в этом эпиграфе, почерпнутом в Библии, сказалось и религиозное мироощущение Толстого. «Я должен повторить,— говорил однажды Толстой,— что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить» [3]. Но это слова моралиста, к тому же сказанные через много лет после того, как был написан роман. А в самом романе он увлечен не столько этой «простой» мыслью, сколько изучением вероятности и необходимости, скрытой в самой действительности. «Во всем возмездие... во всем предел, его же не

---

[1] «Вестник Европы», 1878, № 4-5.

[2] Аристотель. Поэтика, с. 64.

Брейдеши>>, — утверждал Толстой (т. 48, с. 118). Поэтому он иронически изображает Каренина, Лидию Ивановну, когда они хотят судить Анну. В одной из своих позднейших работ он вновь вернулся к главной мысли своего романа: «Много худого люди делают сами себе и друг другу только оттого, что слабые, грешные люди взяли на себя право наказывать других людей. «Мне отмщение, и Аз воздам». Наказывает только бог и то только через самого человека» (т. 44, с. 95). Это и есть настоящий авторский комментарий к одному из труднейших мест романа. Художественный мир Толстого детерминирован. Поэтому глубоко прав был Фет, когда он писал, что в «Анне Карениной» Толстой «указывает на «Аз воздам» не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей» К Морально-религиозные тенденции «Анны Карениной» были чужды Фету, но он ясно чувствовал «карательную силу вещей» в провидческом искусстве Толстого. Это есть «незримый замок свода», если рассматривать роман Толстого как сложное архитектурное построение. К критическим суждениям о своем романе Толстой прислушивался внимательно, но не всегда соглашался с ними. В 1878 году профессор С. А. Рачинский написал письмо, в котором говорил, чтб в романе «Анна Каренина» нет единства, потому что «нет архитектуры» 2. «Суждение ваше об А. Карениной мне кажется неверно,— отвечал Толстой Рачинскому.— Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался». К этому еще он добавил: «Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (т. 62, с. 377). Характеры и круги событий в романе «одноцентренны», как говорил Толстой. Поэтому и смерть Анны Карениной, и жизнь Константина Левина, сумевшего преодолеть «угрозу отчаяния», освещены ярким светом авторского самосознания, его самобытно-нравственным отношением к исторической, социальной и домашней действительности его эпохи, из которой и вырастала «мысль семейная» «Анны Карениной». Д.ля понимания «внутреннего содержания» «Анны Карениной» важно не только то, что это «именно роман», но рі то, что это роман Толстого. «Цельность художественного произведения,— говорил Толстой,— заключается не в единстве заліысла, не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности того отношения самого автора к

жизни, которое пропитывает все произведение» «Роман широкий и свободный» — произведение большой * «Литературное наследство», т. 37/38. М., 1939, с. 234. ^ «Письма Толстого и к Толстому». М. — Л., 1928, с. 223. ^ «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, с. 60. 425

прейдеши», — утверждал Толстой (т. 48, с. 118). Поэтому он иронически изображает Каренина, Лидию Ивановну, когда они хотят судить Анну. В одной из своих позднейших работ он вновь вернулся к главной мысли своего романа: «Много худого люди делают сами себе и друг другу только оттого, что слабые, грешные люди взяли на себя право наказывать других людей. «Мне отмщение, и Аз воздам». Наказывает только бог и то только через самого человека» (т. 44, с. 95). Это и есть настоящий авторский комментарий к одному из труднейших мест романа. Художественный мир Толстого детерминирован. Поэтому глубоко прав был Фет, когда он писал, что в «Анне Карениной» Толстой «указывает на «Аз воздам» не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей» [1]. Морально-религиозные тенденции «Анны Карениной» были чужды Фету, но он ясно чувствовал «карательную силу вещей» в провидческом искусстве Толстого. Это есть «незримый замок свода», если рассматривать роман Толстого как сложное архитектурное построение.

К критическим суждениям о своем романе Толстой прислушивался внимательно, но не всегда соглашался с ними. В 1878 году профессор С. А. Рачинский написал письмо, в котором говорил, что в романе «Анна Каренина» нет единства, потому что «нет архитектуры» [2]. «Суждение ваше об А. Карениной мне кажется неверно,— отвечал Толстой Рачинскому.— Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался». К этому еще он добавил: «Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (т. 62, с. 377). Характеры и круги событий в романе «одноцентренны», как говорил Толстой. Поэтому и смерть Анны Карениной, и жизнь Константина Левина, сумевшего преодолеть «угрозу отчаяния», освещены ярким светом авторского самосознания, его самобытно-нравственным отношением к исторической, социальной и домашней действительности его эпохи, из которой и вырастала «мысль семейная» «Анны Карениной». Для понимания «внутреннего содержания» «Анны Карениной» важно не только то, что это «именно роман», но и то, что это роман Толстого. «Цельность художественного произведения,— говорил Толстой,— заключается не в единстве замысла, не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение» [3]. «Роман широкий и свободный» — произведение большой

---

[1] «Литературное наследство», т. 37/38. М., 1939, с. 234.
[2] «Письма Толстого и к Толстому». М. — Л., 1928, с. 223.

эпической формы. Его объемность определяется содержательностью творческой концепции, а не количеством томов. Толстой однажды обмолвился характерным признанием: «Надо написать кратко большой роман». Соединение таких понятий, как краткость и большой роман, было бы парадоксом, если бы оно не было законом свободного романа. Во всяком случае, Толстой имел все основания сказать об «Анне Карениной»: «Мне кажется, что там нет ничего лишнего...» 5 «Анна Каренина» по выходе в свет имела огромный успех. Всякая новая глава романа «подымала все общество на дыбы, — пишет одна из современниц,— и не было конца толкам, восторгам, пересудам и спорам, как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком» Ч В этом смысле успех «Анны Карениной» далеко превосходил успех «Войны и мира». Ни одно из произведений Толстого, написанных до перелома в мировоззрении, не вызывало таких споров, как этот роман. И мнения разделились самым решительным образом. «Анна Каренина» явилась на сцену, освещенная «зеленой рампой» журнала Каткова. В «Русском вестнике» поспешили дать свое истолкование романа Толстого еще до того, как этот роман был окончен печатанием. Создавалось впечатление, что редакция располагает рукописью в целом и судит о романе как о законченном произведении. Уже в майском номере журнала за 1875 год появилась «полуредакционная» статья «По поводу нового романа Гр. Толстого», подписанная начальной буквой «А». Автором этой статьи был В. Г. Авсеенко, критик и романист катковского круга. Он утверждал, что «Анна Каренина» — это великосветский роман, а Толстой — художник, принадлежащий к школе чистого искусства. Социальный смысл романа Толстого был сведен к воспеванию «наследственности культуры, чего вообще недостает нашему обществу» 2. Статья была написана таким тоном, что Достоевский с некоторым даже удивлением заметил, что «Авсеенко изображает собой писателя, потерявшегося на обожании высшего света» По поводу статьи Авсеенко об «Анне Карениной» Толстой не высказывался. Но все же он однажды заметил, что критики такого рода «если перетолкуют по-своему, то только сами осрамятся» (т. 62, с. 293). ^ «Переписка Л. И. Толстого с А. А. Толстой. 1857—1903». СПб, 1911, с.

273. ^ «Русский вестник», 1875, 5, с. 408. Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч., т. 10. СПб., 1895, с. 133. 426

эпической формы. Его объемность определяется содержательностью творческой концепции, а не количеством томов. Толстой однажды обмолвился характерным признанием: «Надо написать кратко большой роман». Соединение таких понятий, как краткость и большой роман, было бы парадоксом, если бы оно не было законом свободного романа. Во всяком случае, Толстой имел все основания сказать об «Анне Карениной»: «Мне кажется, что там нет ничего лишнего...»

5

«Анна Каренина» по выходе в свет имела огромный успех. Всякая новая глава романа «подымала все общество на дыбы,— пишет одна из современниц,— и не было конца толкам, восторгам, пересудам и спорам, как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком» [1]. В этом смысле успех «Анны Карениной» далеко превосходил успех «Войны и мира». Ни одно из произведений Толстого, написанных до перелома в мировоззрении, не вызывало таких споров, как этот роман. И мнения разделились самым решительным образом. «Анна Каренина» явилась на сцену, освещенная «зеленой рампой» журнала Каткова. В «Русском вестнике» поспешили дать свое истолкование романа Толстого еще до того, как этот роман был окончен печатанием. Создавалось впечатление, что редакция располагает рукописью в целом и судит о романе как о законченном произведении. Уже в майском номере журнала за 1875 год появилась «полуредакционная» статья «По поводу нового романа гр. Толстого», подписанная начальной буквой «А». Автором этой статьи был В. Г. Авсеенко, критик и романист катковского круга. Он утверждал, что «Анна Каренина» — это великосветский роман, а Толстой — художник, принадлежащий к школе чистого искусства. Социальный смысл романа Толстого был сведен к воспеванию «наследственности культуры, чего вообще недостает нашему обществу» [2]. Статья была написана таким тоном, что Достоевский с некоторым даже удивлением заметил, что «Авсеенко изображает собой писателя, потерявшегося на обожании высшего света» [3]. По поводу статьи Авсеенко об «Анне Карениной» Толстой не высказывался. Но все же он однажды заметил, что критики такого рода «если перетолкуют по-своему, то только сами осрамятся» (т. 62, с. 293).

---

[1] «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857—1903». СПб., 1911, с. 273.

[2] «Русский вестник», 1875, № 5, с. 408.

[3] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 10. СПб., 1895

Статья Авсеенко представляла собой вызов демократической журналистике. «Русский вестник» — монархический и великосветский журнал — превозносил новое сочинение графа Толстого. Уже одного этого было достаточно, чтобы вызвать бурю негодования в радикальной прессе. Так и случилось. За дело взялся П. Н. Ткачев, критик и публицист демократического и радикального журнала «Дело», одного из самых распространенных и влиятельных изданий 70-х годов. Если статьи Авсеенко (а он написал серию статей о романе в «Русском вестнике» и в газете «Русский мир») мояшо назвать дифирамбом великосветскому роману, то статьи Ткачева (а он тоже написал серию статей об «Анне Карениной») следовало бы назвать памфлетами на Толстого и на его истолкователя. Кажется при этом, что Ткачев слишком доверял истолкователю и судил о романе главным образом по тому, что о нем писалось в «Русском вестнике». Важнейшая статья Ткачева называется «Салонное художество» К Название весьма характерное, заключающее в себе полную оценку романа и рисующее отношение критика к нему. Ткачев пародирует Авсеенко и называет «Анну Каренину» не великосветским романом, а историей «амурных похождений». Он грозно указывал на «скандальную пустоту содержания» романа. И в этом смысле был готов поставить Толстого рядом с Пушкиным, которого он считал истинным основателем «узкого художественного теоретизма» и эмпиризма. Самым удивительным в этом каскаде резких фраз и сильных определений было то, что Ткачев по существу повторял шаткие утверждения Авсеенко. Только переменился «знак»: то, что было сказано с умилением, повторялось с отвращением; а в том, что это роман из великосветской жизни, написанный по законам «чистого искусства», оба критика были согласны. Казалось, что узкий умысел Авсеенко торжествовал над громадным замыслом Толстого. И Ткачев не сумел разгадать ловкого плана Каткова, который вперед объявлял роман принадлежащим своей фирме, тогда как он ей не принадлежал никогда^ Отношение к роману Толстого в «Отечественных записках» было куда более сложным, чем в журнале «Дело». Некрасов набросал шутливую эпиграмму на «Анну Каренину»: «Толстой! Ты Доказал с уменьем и талантом, что женщине не надобно гулять // Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, // Когда она жена и мать». В

жанре эпиграммы «мысль семейная» романа Толстого могла бы звучать именно так, как она звучит у Некрасова. Михайловского нельзя было обмануть великосветской тематикой. В своих обозрениях, печатавшихся в «Отечественных записках» ^ «Дело», 1878, № 2, 4. 427

Статья Авсеенко представляла собой вызов демократической журналистике. «Русский вестник» — монархический и великосветский журнал — превозносил новое сочинение графа Толстого. Уже одного этого было достаточно, чтобы вызвать бурю негодования в радикальной прессе. Так и случилось. За дело взялся П. Н. Ткачев, критик и публицист демократического и радикального журнала «Дело», одного из самых распространенных и влиятельных изданий 70-х годов. Если статьи Авсеенко (а он написал серию статей о романе в «Русском вестнике» и в газете «Русский мир») можно назвать дифирамбом великосветскому роману, то статьи Ткачева (а он тоже написал серию статей об «Анне Карениной») следовало бы назвать памфлетами на Толстого и на его истолкователя. Кажется при этом, что Ткачев слишком доверял истолкователю и судил о романе главным образом по тому, что о нем писалось в «Русском вестнике». Важнейшая статья Ткачева называется «Салонное художество» [1]. Название весьма характерное, заключающее в себе полную оценку романа и рисующее отношение критика к нему. Ткачев пародирует Авсеенко и называет «Анну Каренину» не великосветским романом, а историей «амурных похождений». Он грозно указывал на «скандальную пустоту содержания» романа. И в этом смысле был готов поставить Толстого рядом с Пушкиным, которого он считал истинным основателем «узкого художественного теоретизма» и эмпиризма. Самым удивительным в этом каскаде резких фраз и сильных определений было то, что Ткачев по существу повторял шаткие утверждения Авсеенко. Только переменился «знак»: то, что было сказано с умилением, повторялось с отвращением; а в том, что это роман из великосветской жизни, написанный по законам «чистого искусства», оба критика были согласны. Казалось, что узкий умысел Авсеенко торжествовал над громадным замыслом Толстого. И Ткачев не сумел разгадать ловкого плана Каткова, который вперед объявлял роман принадлежащим своей фирме, тогда как он ей не принадлежал никогда.

Отношение к роману Толстого в «Отечественных записках» было куда более сложным, чем в журнале «Дело». Некрасов набросал шутливую эпиграмму на «Анну Каренину»: «Толстой! Ты доказал с уменьем и талантом, что женщине не надобно гулять // Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, // Когда она жена и мать». В жанре эпиграммы «мысль семейная» романа Толстого могла бы звучать именно так, как она звучит у Некрасова.

Михайловского нельзя было обмануть великосветской тематикой. В своих обозрениях, печатавшихся в «Отечественных записках»

под названием «Записки профана», он отмеча^ті явное и коренное отличие романа Толстого от общего направления журнала «Русский вестник» и в особенности от статей Авсеенко, которого он называл «пещерным человеком». Ему казалось, что многие критики смотрят на «Анну Каренину» из своей какой-то узкой щели. «Толстому, должно быть, обидно слышать похвалы пещерных людей» \ — писал Михайловский. Он подошел уже и к определению противоречий Толстого, сопоставляя роман «Анна Каренина» с его педагогическими статьями. В этом отношении замечательна его статья «Десница и шуйца Льва Толстого», также напечатанная в «Отечественных записках» в 1875 году Но времени и места для объективного разбора и анализа не оказалось. Журнальная война была в разгаре. Салтыков-Щедрин не склонен был «миндальничать». Он ясно видел, что роман Толстого эксплуатируется в корыстных целях реакцией. И у него поднималось чувство гнева и против «консервативной партии», и против пресловутого романа. Который стал настоящей притчей во языцех журналистики 70-годов. «Меня это волнует ужасно, — писал Салтыков-Щедрин. — Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?» 3 В «Русском вестнике» «Анна Каренина» была истолкована как роман аристократический, а заодно уж и аитинигилистический. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год свидетельствовал уже против «лекарей социалистов», полагая, что и жизнь Анны Карениной, и ее смерть доказывают извечность зла в душе человека 1 Наконец, в 1878 году в «Отечественных записках» появилась редакционная неподписанная статья-рецензия об «Анне Карениной» По существу это был ответ на статью Достоевского. Здесь разбиралось несколько эпизодов из романа — те же самые, что и в «Дневнике писателя»: разговоры Левина с Облонским и Весловским — «злоба дня», встреча с мужиком Фоканычем на переезде. * «Отечественные записки», 1875, Л« 3, с. 326. “Там же, 1875, 5-7. ® Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч. в 20-ти томах, т. 18, кн. I.

М. — Л., 1937, с. 288. ^ «Дневник писателя Ф. М. Достоевского за 1877 г.», СПб., 1878, с. 189. ^ «Отечественные записки», 1877, Яг 8, 428

под названием «Записки профана», он отмечал явное и коренное отличие романа Толстого от общего направления журнала «Русский вестник» и в особенности от статей Авсеенко, которого он называл «пещерным человеком». Ему казалось, что многие критики смотрят на «Анну Каренину» из своей какой-то узкой щели. «Толстому, должно быть, обидно слышать похвалы пещерных людей» [1], — писал Михайловский. Он подошел уже и к определению противоречий Толстого, сопоставляя роман «Анна Каренина» с его педагогическими статьями. В этом отношении замечательна его статья «Десница и шуйца Льва Толстого», также напечатанная в «Отечественных записках» в 1875 году [2]. Но времени и места для объективного разбора и анализа не оказалось. Журнальная война была в разгаре. Салтыков-Щедрин не склонен был «миндальничать». Он ясно видел, что роман Толстого эксплуатируется в корыстных целях реакцией. И у него поднималось чувство гнева и против «консервативной партии», и против пресловутого романа, который стал настоящей притчей во языцех журналистики 70-годов. «Меня это волнует ужасно,— писал Салтыков-Щедрин.— Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы *на одних* половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется *консервативная* партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?» [3] В «Русском вестнике» «Анна Каренина» была истолкована как роман аристократический, а заодно уж и антинигилистический. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год свидетельствовал уже против «лекарей социалистов», полагая, что и жизнь Анны Карениной, и ее смерть доказывают извечность зла в душе человека [4].

Наконец, в 1878 году в «Отечественных записках» появилась редакционная неподписанная статья-рецензия об «Анне Карениной» [5]. По существу это был ответ на статью Достоевского. Здесь разбиралось несколько эпизодов из романа — те же самые, что и в «Дневнике писателя»: разговоры Левина с Облонским и Весловским — «злоба дня», встреча с мужиком Фоканычем на переезде.

---

[1] «Отечественные записки», 1875, № 3, с. 326.

[2] Там же, 1875, № 5-7.

[3] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в 20-ти томах, т. 18, кн. I. М. — Л., 1937, с. 288.

[4] «Дневник писателя Ф. М. Достоевского за 1877 г.». СПб., 1878,

Но все, что восхищало Достоевского, было отвергнуто здесь решительно и твердо. «Если Левин приобрел столько полезных сведений, то вместе с тем потерял всякое право на интерес к нему читателя»,— говорилось в статье. В рассуждениях критика из «Отечественных записок» была своя историческая логика. Журнал, который стремился сохранить революционные и демократические традиции, не мог «уступить» не только консервативной партии, которая «торжествовала», но и морально-этическому направлению Толстого, который склонен был рефлектировать там, где уже возникала необходимость действовать. «Жить иначе или думать иначе!»— вот вопрос, который был поставлен в «Отечественных записках» в связи с «современным романом» Толстого. Вопрос этот был действительно важным. Перед ним останавливался в раздумий и сам Толстой. Но этому еще не склонны были придавать большое значение в «Отечественных записках». «Что и нам за дело до Левина, подававшего надежды и обратившегося в самого обыкновенного пустого человека, — говорилось далее в статье, — примиряющего непримиримое, и довольствующегося стертым пятиалтынным, хотя, может быть, и прекрасного помещика и доброго семьянина? Гора не в первый и не в последний раз родит мышь. Только не графу бы Толстому этими фокусами заниматься» Ч Так заканчивается статья. И это был полный расчет. Но расчет был произведен не только с консервативной партией, но и с Толстым. Оставалось непонятным, почему же Катков прервал публикацию романа — «почему Катков решился опустить шлагбаум перед таким генералом от литературы, как гр. Л. Толстой?» Ответа не было. Создалось удивительное и парадоксальное положение. «Консервативная партия» не знала, как отделаться от неудобного романа Толстого. В 1877 году Катков анонимно напечатал в «Русском вестнике» статью «Что случилось по смерти Анны Карениной» Это был отбой по всем пунктам, отречение от романа. Константин Левин, по мнению издателя «Русского вестника», «просто дурит», а с ним вместе и автор романа. «Идея целого не выработалась... Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель» — такой был приговор «Русского вестника». Итак, роман «нѳ впал» в «Русский вестник». Получалось, что Каткову

словно навязывали «Анну Каренину». Это была тактическая ошибка, которая может быть объяснена только ожесточением журнальной борьбы и отсутствием диалектического понимания противоречий Толстого и самой «переходной эпохи» 70-х годов. «Отечественные записки» ^ «Отечественные записки», 1877, № 8, с. 267—268 . ^ «Русский вестник», 1877, № 7. 429

Но все, что восхищало Достоевского, было отвергнуто здесь решительно и твердо. «Если Левин приобрел столько полезных сведений, то вместе с тем потерял всякое право на интерес к нему читателя»,— говорилось в статье. В рассуждениях критика из «Отечественных записок» была своя историческая логика. Журнал, который стремился сохранить революционные и демократические традиции, не мог «уступить» не только консервативной партии, которая «торжествовала», но и морально-этическому направлению Толстого, который склонен был рефлектировать там, где уже возникала необходимость действовать. «Жить иначе или думать иначе!» — вот вопрос, который был поставлен в «Отечественных записках» в связи с «современным романом» Толстого. Вопрос этот был действительно важным. Перед ним останавливался в раздумии и сам Толстой. Но этому еще не склонны были придавать большое значение в «Отечественных записках». «Чтó и нам за дело до Левина, подававшего надежды и обратившегося в самого обыкновенного пустого человека,— говорилось далее в статье,— примиряющего непримиримое, и довольствующегося стертым пятиалтынным, хотя, может быть, и прекрасного помещика и доброго семьянина? Гора не в первый и не в последний раз родит мышь. Только не графу бы Толстому этими фокусами заниматься» [1]. Так заканчивается статья. И это был полный расчет. Но расчет был произведен не только с консервативной партией, но и с Толстым. Оставалось непонятным, почему же Катков прервал публикацию романа — «почему Катков решился опустить шлагбаум перед таким генералом от литературы, как гр. Л. Толстой?» Ответа не было.

Создалось удивительное и парадоксальное положение. «Консервативная партия» не знала, как отделаться от неудобного романа Толстого. В 1877 году Катков анонимно напечатал в «Русском вестнике» статью «Что случилось по смерти Анны Карениной» [2]. Это был отбой по всем пунктам, отречение от романа. Константин Левин, по мнению издателя «Русского вестника», «просто дурит», а с ним вместе и автор романа. «Идея целого не выработалась... Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель» —такой был приговор «Русского вестника». Итак, роман «не впал» в «Русский вестник». Получалось, что Каткову словно навязывали «Анну Каренину». Это была тактическая ошибка, которая может быть объяснена только ожесточением журнальной борьбы и отсутствием диалектического понимания противоречий Толстого и самой «переходной эпохи» 70-х годов. «Отечественные записки»

без боя уступали «консервативной партии» роман, который, как великая река, спокойно впадал в историю великой русской литературы, словно и не ведая о тех спорах и битвах, которые разгорались на ее берегах. Это не значит, конечно, что Толстой не знал ничего о тех страстях, которые бушевали в журналистике. «Я некогда виделся с Катковым,— говорил Толстой,— и знаю его... Он туп, но умнее прочих...» К Когда Толстого спросили, читал ли он статью об «Анне Карениной» в «Отечественных записках», он ответил: «Нет» 2. Однако по поводу Михайловского заметил, что он «хорошо пишет». Многочисленные фельетоны А. М. Скабичевского, который особенно нападал на «мысль семейную» романа «Анна Каренина» и называл ее «эпопеей барских амуров», повторяли на разные лады общ;ие идеи, которые сложились в полемике журнала «Дело» против «Русского вестника». Одну из статей подобного рода Толстой, по-видимому, прочитал внимательно. И она больно задела его. Это была статья А. С. Суворина, который в 70-е годы придерживался еще либеральных идей. Под псевдонимом «Незнакомец» он напечатал «литературный портрет» Толстого, в котором рисовал автора «Войны и мира» и «Анны Карениной» как «ретрограда», упрекая его в полнейшем индифферентизме к общественным вопросам. Суворин обратил внимание на две сцены романа — бал и обед, в вторых ему не понравилось описание плеч Анны и умение Облонского наслаждаться изысканными блюдами французской кухни. «В новом своем романе Толстой,— писал он,— продолжает вертеться с любовью в том же тюлево-ленточно-кружевном кругу, где обыкновенно говорят всякий вздор» Получалось, что и роман — вздор. Толстой ответил критику на его вызов, правда, не назвав его имени, потому что отождествлял Суворина с другими фельетонистами, писавшими тогда о романе. «И если близорукие критики думают, — писал он, — что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Анны Карениной, то они ошибаются» (т. 62, с. 268—269). Меящу тем роман, столь решительно отвергнутый критикой, «рос в глазах» современников. Фет пишет в 1876 году: «Есть и в «Карениной» скучноватые главы. Мне сканцу т: «Они необходимы для связи целого». Я скажу: «Это не мое дело». Но зато все целое и подробности, — это червонное золото... А небось, чуют они все, что этот роман есть

строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни, от мужика и до говядины <sic!> принца. Чуют, что над ними есть глаз, иначе вооруженныя, чем их слепорожденные ^ «Л. Н. Толстой в воспоміинаниях современников», т. I, с. 239. ^ Там же, с. 30. * Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и замеметок Незнакомца. Кн. 1-2. СПб., 1875, с. 17* 430

без боя уступали «консервативной партии» роман, который, как великая река, спокойно впадал в историю великой русской литературы, словно и не ведая о тех спорах и битвах, которые разгорались на ее берегах. Это не значит, конечно, что Толстой не знал ничего о тех страстях, которые бушевали в журналистике. «Я некогда виделся с Катковым,— говорил Толстой,— и знаю его... Он туп, но умнее прочих...» [1]. Когда Толстого спросили, читал ли он статью об «Анне Карениной» в «Отечественных записках», он ответил: «Нет» [2]. Однако по поводу Михайловского заметил, что он «хорошо пишет». Многочисленные фельетоны А. М. Скабичевского, который особенно нападал на «мысль семейную» романа «Анна Каренина» и называл ее «эпопеей барских амуров», повторяли на разные лады общие идеи, которые сложились в полемике журнала «Дело» против «Русского вестника». Одну из статей подобного рода Толстой, по-видимому, прочитал внимательно. И она больно задела его. Это была статья А. С. Суворина, который в 70-е годы придерживался еще либеральных идей. Под псевдонимом «Незнакомец» он напечатал «литературный портрет» Толстого, в котором рисовал автора «Войны и мира» и «Анны Карениной» как «ретрограда», упрекая его в полнейшем индифферентизме к общественным вопросам. Суворин обратил внимание на две сцены романа — бал и обед, в которых ему не понравилось описание плеч Анны и умение Облонского наслаждаться изысканными блюдами французской кухни. «В новом своем романе Толстой,— писал он,— продолжает вертеться с любовью в том же тюлево-ленточно-кружевном кругу, где обыкновенно говорят всякий вздор» [3]. Получалось, что и роман — вздор. Толстой ответил критику на его вызов, правда, не назвав его имени, потому что отождествлял Суворина с другими фельетонистами, писавшими тогда о романе. «И если близорукие критики думают,— писал он,— что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Анны Карениной, то они ошибаются» (т. 62, с. 268—269).

Между тем роман, столь решительно отвергнутый критикой, «рос в глазах» современников. Фет пишет в 1876 году: «Есть и в «Карениной» скучноватые главы. Мне скажут: «Они необходимы для связи целого». Я скажу: «Это не мое дело». Но зато все целое и подробности, — это червонное золото... А небось, чуют они все, что этот роман есть строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни, от мужика и до говядины ⟨sic!⟩ принца. Чуют, что над ними есть глаз, иначе вооруженный, чем их слепорожденные

---

[1] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I, с. 239.
[2] Там же, с. 30.
[3] Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заме-

гляделки. То, что им кажется несомненным, честным, хорошим, желательным, изящным, завидным, оказывается тупым, грубым, бессмысленным и смешным» К Как дальнозоркий критик, Фет совершенно ясно и точно определил отношение Толстого и к «Русскому вестнику», и к самой действительности 70-х годов: «...роман есть строгий и неподкупный суд всему нашему строю жизни». Стасов в 1877 году пишет в газете «Новое время»: «Лев Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой еще никогда не брала русская литература. Даже у самих Пушкина и Гоголя любовь и страсть но были выражены с такой глубиной и поразительной правдой... Какая сила и красота творчества разлиты в этом романе, какая чудная мощь художественной правды, какие нетронутые глубины тут впервые затрагиваются...» ^ В 1878 году Тургенев говорил: «Он теперь первый писатель не только в России, но и во всем мире. Некоторые его страницы, например, свидание Анны Карениной с сыном,— какое совершенство! Когда я прочитал эту сцену, у меня книга из рук выпала. Да! неужели, говорил я мысленно, можно так хорошо написать?..» ® Нужен был какой-то сильный и авторитетный голос, который бы во всеуслышание теперь сказал об «Анне Карениной» как о великом художественном произведении, далеко еще не понятом и не истолкованном критикой. И такой голос прозвучал. Это был Достоевский, посвятивший роману Толстого статью под названием «Анна Каренина» как факт особого значения». Прежде всего он включает Толстого в плеяду русских романистов, вышедших из Пушкина. И видит в этом не ущербное веяние «чистого искусства», а залог глубокого реализма и жизненной правды. «Вся же плеяда эта (и автор «Анны Карениной» в том числе) вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей», — пишет Достоевский. По его мнению, Пушкин «признал бы» то, что сделано романистами плеяды «с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью». Хотя Достоевский, говоря об «Анне Карениной», преследовал свои определенные художественные и идеологические цели, далеко не совпадающие с идеалами Толстого, все же надо признать, что именно он поднял роман на ту высоту, на которой он остается и по сей день. Было бы неверно сводить всю его статью к тенденциозному истолкованию романа в духе «почвенничества» или проблемы

извечной виновности человека. Достоевский высказал, по крайней мере, два объективных и важных положения относительно Толстого. Во-первых, он, в противовес общему мнению, ^ «Литературное наследство», т. 37/38, с. 219—220. ^ «Новое время», 1877, № 433. ^ Н. Я. Стечькин. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе, СПб., 1903, с. 8.

гляделки. То, что им кажется несомненным, честным, хорошим, желательным, изящным, завидным, оказывается тупым, грубым, бессмысленным и смешным»[1]. Как дальнозоркий критик, Фет совершенно ясно и точно определил отношение Толстого и к «Русскому вестнику», и к самой действительности 70-х годов: «...роман есть строгий и неподкупный суд всему нашему строю жизни». Стасов в 1877 году пишет в газете «Новое время»: «Лев Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой еще никогда не брала русская литература. Даже у самих Пушкина и Гоголя любовь и страсть не были выражены с такой глубиной и поразительной правдой... Какая сила и красота творчества разлиты в этом романе, какая чудная мощь художественной правды, какие нетронутые глубины тут впервые затрагиваются...»[2] В 1878 году Тургенев говорил: «Он теперь первый писатель не только в России, но и во всем мире. Некоторые его страницы, например, свидание Анны Карениной с сыном,— какое совершенство! Когда я прочитал эту сцену, у меня книга из рук выпала. Да! неужели, говорил я мысленно, можно *так* хорошо написать?..»[3]

Нужен был какой-то сильный и авторитетный голос, который бы во всеуслышание теперь сказал об «Анне Карениной» как о великом художественном произведении, далеко еще не понятом и не истолкованном критикой. И такой голос прозвучал. Это был Достоевский, посвятивший роману Толстого статью под названием «Анна Каренина» как факт особого значения». Прежде всего он включает Толстого в плеяду русских романистов, вышедших из Пушкина. И видит в этом не ущербное веяние «чистого искусства», а залог глубокого реализма и жизненной правды. «Вся же плеяда эта (и автор «Анны Карениной» в том числе) вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей»,— пишет Достоевский. По его мнению, Пушкин «признал бы» то, что сделано романистами плеяды «с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью». Хотя Достоевский, говоря об «Анне Карениной», преследовал свои определенные художественные и идеологические цели, далеко не совпадающие с идеалами Толстого, все же надо признать, что именно он поднял роман на ту высоту, на которой он остается и по сей день. Было бы неверно сводить всю его статью к тенденциозному истолкованию романа в духе «почвенничества» или проблемы извечной виновности человека. Достоевский высказал, по крайней мере, два объективных и важных положения относительно Толстого. Во-первых, он, в противовес общему мнению,

---

[1] «Литературное наследство», т. 37/38, с. 219—220.
[2] «Новое время», 1877, № 433.

рассматривал «Анну Каренину)) не как великосветский, а как социально-психологический роман большого исторического значения; а во-вторых, видел в этом романе развитие высоких пушкинских традиций русского реализма. «Анна Каренина»,— пишет Достоевский, — есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться» ^ История подтвердила правоту этой оценки. В русской и мировой истории литературы «Анна Каренина» нашла неоспоримое признание как великий роман, осветивший жизнь русского общества в переломный период его развития. Смысл романа оказался шире этого конкретно-исторического содержания и продолжает привлекать внимание читателей непреходящей силой философских обобщений. Известный немецкий писатель Томас Манн называл «Анну Каренину» «величайшим социальным романом во всей мировой литературе» 2. В противоречиях Толстого, в его борениях с самим собой, в исканиях Левина, который хочет вырваться из той среды, из того круга, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию, запечатлелась целая эпоха. Но, говоря о противоречиях, надо иметь в виду, что «Анна Каренина» отстоит во времени от толстовских идей позднейшей поры его творчества. И хотя субъективно Толстой был далек от революционных течений, он, как правдивый и сильный художник, отразил в своем творчество многие существенные черты ее идеалов и ее исторического развития. Леонид Леонов справедливо пишет, что Толстой «повелением пера внушает читателю любое из спектра человеческих чувств — всегда с оттенком наивного, как при чуде, удивления,— оно неслышно преобразует человеческую душу, делая ее стойче, отзывчивей, непримиримей к злу» Само время произвело отбор оценок и установило истинное значение труда гения. Встреченная при своем появлении насмешливыми фельетонами об «эпопее барских амуров», «Анна Каренина» завоевала признание как великий социальный и философский роман. И замысел, пришедший «благодаря божественному Пушкину» (т. 62, с. 25), как говорил Толстой, осветил жизнь «с новой, необычной и полезной людям стороны». ^ «Дневник писателя Ф. М. Достоевского за 1877 г.». СПб., 1878, с. 187-188. ^ Томас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М.,

1961, с. 264. ^ Леонид Леонов. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., 1972, с. 290. 432

рассматривал «Анну Каренину» не как великосветский, а как социально-психологический роман большого исторического значения; а во-вторых, видел в этом романе развитие высоких пушкинских традиций русского реализма. «Анна Каренина»,— пишет Достоевский,— есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться» [1].

История подтвердила правоту этой оценки. В русской и мировой истории литературы «Анна Каренина» нашла неоспоримое признание как великий роман, осветивший жизнь русского общества в переломный период его развития. Смысл романа оказался шире этого конкретно-исторического содержания и продолжает привлекать внимание читателей непреходящей силой философских обобщений. Известный немецкий писатель Томас Манн называл «Анну Каренину» «величайшим социальным романом во всей мировой литературе» [2]. В противоречиях Толстого, в его борениях с самим собой, в исканиях Левина, который хочет вырваться из той среды, из того круга, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию, запечатлелась целая эпоха. Но, говоря о противоречиях, надо иметь в виду, что «Анна Каренина» отстоит во времени от толстовских идей позднейшей поры его творчества. И хотя субъективно Толстой был далек от революционных течений, он, как правдивый и сильный художник, отразил в своем творчестве многие существенные черты ее идеалов и ее исторического развития. Леонид Леонов справедливо пишет, что Толстой «повелением пера внушает читателю любое из спектра человеческих чувств — всегда с оттенком наивного, как при чуде, удивления,— оно неслышно преобразует человеческую душу, делая ее стойче, отзывчивей, непримиримей к злу» [3]. Само время произвело отбор оценок и установило истинное значение труда гения. Встреченная при своем появлении насмешливыми фельетонами об «эпопее барских амуров», «Анна Каренина» завоевала признание как великий социальный и философский роман. И замысел, пришедший «благодаря божественному Пушкину» (т. 62, с. 25), как говорил Толстой, осветил жизнь «с новой, необычной и полезной людям стороны».

---

[1] «Дневник писателя Ф. М. Достоевского за 1877 г.». СПб., 1878, с. 187—188.

[2] Томас Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., 1961, с. 264.

[3] Леонид Леонов. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., 1972

«Анна Каренина» — современный роман. И современность его заключается не только в актуальности проблематики, но и в живых подробностях эпохи 70-х годов, нашедшей отражение в романе. В «Анне Карениной» есть датированные эпизоды — проводы добровольцев (VIII ч.) — лето 1876 года. Если идти от этой даты к началу романа, то весь хронологический порядок событий прояснится с полной отчетливостью. Недели, месяцы и годы Толстой отмечал с такой последовательностью и точностью, что он мог бы повторить слова Пушкина: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». Анна Каренина приехала в Москву в конце зимы 1873 года (I ч.). Трагедия на станции Обираловка произошла весной 1876 года (VII ч.). Летом того н«ѳ года Вронский уехал в Сербию (VIII ч.). Хронология романа строилась не только на календарной последовательности событий, но и на определенном выборе подробностей из современной жизни. Так появляются в романе упоминания о самарском голоде и Хивинском походе (1873 г.), о всеобщей воинской повинности и воскресных школах (1874 г.), о проекте памятника Пушкину и университетском вопросе (1875 г.), о Милане Обреновиче и русских добровольцах (1876 г.). Именно в эти годы Толстой написал и почти полностью опубликовал свой роман. Не случайно одна из заметок Достоевского об «Анне Карениной» называлась «Злоба дня». Действие в современном романе Толстого было синхронным по отношению к текущей жизни. Хронология указывает и на огромные психологические глубины, скрытые в романе. Если в пятой части романа, вернувшись весной, в мае, в Петербург, Анна всеми силами рвется к Сереже и приходит к нему в день рождения, то в седьмой части она забывает о нем, хотя прошел ровно год после того, как она виделась с ним. И в тот день, когда она покончила с собой, «все ярко блестело на майском солнце...». Это шекспировская подробность из «истории души человеческой»! В годы работы над романом Толстой не вел дневников. «Я все написал в «Анне Карениной», — говорил он, — и ничего не осталось» (т. 62, с. 240). В письмах к друзьям он ссылался на роман как на свой дневник. «Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки «Русского вестника»,— пишет он в письме к Фету (т. 62, с. 272). В этой главе рассказывается о смерти Николая Левина.

Толстой вносил в роман многое из того, что было им самим испытано и пережито. Покровское напоминает Ясную Поляну. Занятия философией, хозяйственные заботы, охота на бекасов и то, как Левин ходил вместе с мужиками косить Калиновый луг,— все это было для Толстого автобиографично, как дневник. Левин писал мелом на ломберном столе начальные буквы тех слов, которые он хотел сказать Кити, а она 433

«Анна Каренина» — современный роман. И современность его заключается не только в актуальности проблематики, но и в живых подробностях эпохи 70-х годов, нашедшей отражение в романе. В «Анне Карениной» есть датированные эпизоды — проводы добровольцев (VIII ч.) — лето 1876 года. Если идти от этой даты к началу романа, то весь хронологический порядок событий прояснится с полной отчетливостью. Недели, месяцы и годы Толстой отмечал с такой последовательностью и точностью, что он мог бы повторить слова Пушкина: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». Анна Каренина приехала в Москву в конце зимы 1873 года (I ч.). Трагедия на станции Обираловка произошла весной 1876 года (VII ч.). Летом того же года Вронский уехал в Сербию (VIII ч.). Хронология романа строилась не только на календарной последовательности событий, но и на определенном выборе подробностей из современной жизни. Так появляются в романе упоминания о самарском голоде и Хивинском походе (1873 г.), о всеобщей воинской повинности и воскресных школах (1874 г.), о проекте памятника Пушкину и университетском вопросе (1875 г.), о Милане Обреновиче и русских добровольцах (1876 г.). Именно в эти годы Толстой написал и почти полностью опубликовал свой роман. Не случайно одна из заметок Достоевского об «Анне Карениной» называлась «Злоба дня». Действие в современном романе Толстого было синхронным по отношению к текущей жизни. Хронология указывает и на огромные психологические глубины, скрытые в романе. Если в пятой части романа, вернувшись весной, в мае, в Петербург, Анна всеми силами рвется к Сереже и приходит к нему в день рождения, то в седьмой части она забывает о нем, хотя прошел ровно год после того, как она виделась с ним. И в тот день, когда она покончила с собой, «все ярко блестело на майском солнце...». Это шекспировская подробность из «истории души человеческой»!

В годы работы над романом Толстой не вел дневников. «Я все написал в «Анне Карениной», — говорил он, — и ничего не осталось» (т. 62, с. 240). В письмах к друзьям он ссылался на роман как на свой дневник. «Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки «Русского вестника»,— пишет он в письме к Фету (т. 62, с. 272). В этой главе рассказывается о смерти Николая Левина. Толстой вносил в роман многое из того, что было им самим испытано и пережито. Покровское напоминает Ясную Поляну. Занятия философией, хозяйственные заботы, охота на бекасов и то, как Левин ходил вместе с мужиками косить Калиновый луг,— все это было для Толстого авто-

угадывала их значение. Примерно так же произошло объяснение Толстого с С. А. Берс. «Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его» ^ — вспоминает С. А. Толстая. Однако в жизни, в отличие от романа, не все было так, как потом изобразил эту сцену Толстой в «Анне Карениной». Во всяком случае, в письме к С. А. Толстой от 9 сентября 1862 года он принужден был изъяс-* нить свою ломберную криптограмму обыкновенными словами: «Второе разъяснение — слова, написанные в Ивицах... Смысл тот* Я бываю мрачен, глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастья» (т. 83, с. 3). А в дневнике того же года Толстой отметил: «Писал напрасно буквами Соне...» (т. 48, с. 41). Самая фамилия Левина образована из имени Толстого: Лев Николаевич — Лёва — Лёв Николаевич (как его называли в домашнем кругу). Фамилия Левина воспринималась современиниками именно в этой транскрипции (ср. упоминание о «Лёвине и Кити» в письме И. Аксакова к Ю. Самарину) 2. Однако ни Толстой, ни его близкие никогда не настаивали на таком именно прочтении. Сходство Левина и Толстого несомненно, но так же несомненно и их различие. Об этом очень удачно сказал Фет: «Левин — это Лев Николаевич (не поэт) » Фамилия эта в литературе тех лет не так уникальна, как может показаться на первый взгляд. Героя повести А. В. Станкевича «Идеалист» также зовут Левин. Повесть эта пользовалась определенным успехом. О ней много размышлял и писал А. Григорьев. Она была связана с воспоминаниями о Н. В. Станкевиче, которого Толстой любил «как брата», и с наследием «идеалистов 40-х годов». Здесь уместно заметить, что и Левин в «Анне Карениной» был нарисован Толстым как тип «русского идеалиста», во многом противостоящего «новейшим веяниям» времени. Реальные факты действительности входили в роман в преобразованной форме, подчиняясь творческой концепции Толстого. Поэтому невозможно полное отождествление героев «Анны Карениной» с их прототипами. И хотя Толстой в черновиках иногда называл романических героев именами близко знакомых ему людей, чтобы яснее видеть их перед собой во время работы, он далеко уходил от того, что принято

называть прототипом. Анна Каренина, по утверждению Т. А. Кузминской, напоминает Марию Александровну Гартунг (1832—1919), дочь Пушкина, но «не характером, не ^ «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 14. 2 См.: «Русская литература», 1960, № 4, с. 155. ® Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., 1962, с. 306. 434

угадывала их значение. Примерно так же произошло объяснение Толстого с С. А. Берс. «Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его» [1], — вспоминает С. А. Толстая. Однако в жизни, в отличие от романа, не все было так, как потом изобразил эту сцену Толстой в «Анне Карениной». Во всяком случае, в письме к С. А. Толстой от 9 сентября 1862 года он принужден был изъяснить свою ломберную криптограмму обыкновенными словами: «Второе разъяснение — слова, написанные в Ивицах... Смысл тот. Я бываю мрачен, глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастья» (т. 83, с. 3). А в дневнике того же года Толстой отметил: «Писал напрасно буквами Соне...» (т. 48, с. 41).

Самая фамилия Левина образована из имени Толстого: Лев Николаевич — Лёва — Лёв Николаевич (как его называли в домашнем кругу). Фамилия Левина воспринималась современниками именно в этой транскрипции (ср. упоминание о «Лёвине и Кити» в письме И. Аксакова к Ю. Самарину) [2]. Однако ни Толстой, ни его близкие никогда не настаивали на таком именно прочтении. Сходство Левина и Толстого несомненно, но так же несомненно и их различие. Об этом очень удачно сказал Фет: «Левин — это Лев Николаевич (не поэт)» [3]. Фамилия эта в литературе тех лет не так уникальна, как может показаться на первый взгляд. Героя повести А. В. Станкевича «Идеалист» также зовут Левин. Повесть эта пользовалась определенным успехом. О ней много размышлял и писал А. Григорьев. Она была связана с воспоминаниями о Н. В. Станкевиче, которого Толстой любил «как брата», и с наследием «идеалистов 40-х годов». Здесь уместно заметить, что и Левин в «Анне Карениной» был нарисован Толстым как тип «русского идеалиста», во многом противостоящего «новейшим веяниям» времени.

Реальные факты действительности входили в роман в преобразованной форме, подчиняясь творческой концепции Толстого. Поэтому невозможно полное отождествление героев «Анны Карениной» с их прототипами. И хотя Толстой в черновиках иногда называл романических героев именами близко знакомых ему людей, чтобы яснее видеть их перед собой во время работы, он далеко уходил от того, что принято называть прототипом. Анна Каренина, по утверждению Т. А. Кузминской, напоминает Марию Александровну Гартунг (1832—1919), дочь Пушкина, но «не характером, не

---

[1] «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, с. 14.

[2] См.: «Русская литература», 1960, № 4, с. 155.

[3] Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М.

жизнью, а наружностью». Толстой встретил М. А. Гартунг в гостях у. генерала Тулубьева в Туле. «Ее легкая походка легко несла ее довольно плотную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней,— рассказывает Т. А. Кузминская.— Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.— М-те Гартунг, дочъ поэта Пушкина.— Да-а...— протянул он, теперь я понимаю... Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые» К В дневнике С. А. Толстой сохранилась заметка «Почему Каренина Анна и что навело на мысль о подобном самоубийстве?». С. А. Толстая рассказывает о трагической судьбе Анны Степановны Пироговой, которую несчастная любовь привела к гибели. Она уехала из дома «с узелком в руке», «вернулась на ближайшую станцию — Ясенки, там бросилась на рельсы под товарный поезд». Все это произошло вблизи от Ясной Поляны в 1872 году. Толстой ездил в железнодорожные казармы, чтобы увидеть несчастную. «Впечатление было ужасное» \ — пишет С. А. Толстая. Но в романе были изменены и мотивировка поступков, и самый характер событий. По свидетельству современников, прототипом Каренина был «рассудительный» Сергей Михайлович Сухотин, камергер, советник Московской дворцовой конторы. В 1868 году его жена, Мария Алексеевна Сухотина, добилась развода и вышла замуж за С. А. Ладыженского. Толстой был дружен с братом Марии Алексеевны — Д. А. Дьяковым и знал об этой «семейной истории», которая отчасти могла послужить материалом для описания драмы Каренина. Фамилия Каренин имеет литературный источник. «Откуда фамилия Каренин?— пишет С. Л. Толстой.— Лев Николаевич начал с декабря 1870 года учиться греческому языку и скоро настолько освоился с ним, что мог восхищаться Гомером в подлиннике... Однажды он сказал мне: «Каренон — у Гомера — голова. Из этого слова у меня вышла фамилия Каренин». Не потому ли он дал такую фамилию мужу Анны, что Каренин — головной человек, что в нем рассудок преобладает над сердцем, то есть чувством?» ^ Не следует при этом забывать, что и Каренин во многих случаях высказывает собственные Льва Николаевича мысли о жизни, о семье и браке. Прототипом Облонского обычно называют (в числе других лиц) Василия Степановича Перфильева, уездного предводителя дворянства,

а затем — в 1878—1887 годах — московского губернатора. В. С. Перфильев был женат на П. Ф. Толстой, троюродной сестре Льва Николаевича. К слухам о том, что Облонский напоминает ^ Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, с. 464—465. ^ «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. с. 153. ® «Литературное наследство», т. 37/38, с. 569. 435

жизнью, а наружностью». Толстой встретил М. А. Гартунг в гостях у генерала Тулубьева в Туле. «Ее легкая походка легко несла ее довольно плотную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней,— рассказывает Т. А. Кузминская.— Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.— M-me Гартунг, дочь поэта Пушкина.— Да-а...— протянул он, теперь я понимаю... Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые» [1]. В дневнике С. А. Толстой сохранилась заметка «Почему Каренина Анна и что навело на мысль о подобном самоубийстве?». С. А. Толстая рассказывает о трагической судьбе Анны Степановны Пироговой, которую несчастная любовь привела к гибели. Она уехала из дома «с узелком в руке», «вернулась на ближайшую станцию — Ясенки, там бросилась на рельсы под товарный поезд». Все это произошло вблизи от Ясной Поляны в 1872 году. Толстой ездил в железнодорожные казармы, чтобы увидеть несчастную. «Впечатление было ужасное» [2],— пишет С. А. Толстая. Но в романе были изменены и мотивировка поступков, и самый характер событий.

По свидетельству современников, прототипом Каренина был «рассудительный» Сергей Михайлович Сухотин, камергер, советник Московской дворцовой конторы. В 1868 году его жена, Мария Алексеевна Сухотина, добилась развода и вышла замуж за С. А. Ладыженского. Толстой был дружен с братом Марии Алексеевны — Д. А. Дьяковым и знал об этой «семейной истории», которая отчасти могла послужить материалом для описания драмы Каренина. Фамилия Каренин имеет литературный источник. «Откуда фамилия Каренин?— пишет С. Л. Толстой.— Лев Николаевич начал с декабря 1870 года учиться греческому языку и скоро настолько освоился с ним, что мог восхищаться Гомером в подлиннике... Однажды он сказал мне: «Каренон — у Гомера — голова. Из этого слова у меня вышла фамилия Каренин». Не потому ли он дал такую фамилию мужу Анны, что Каренин — головной человек, что в нем рассудок преобладает над сердцем, то есть чувством?» [3] Не следует при этом забывать, что и Каренин во многих случаях высказывает собственные Льва Николаевича мысли о жизни, о семье и браке.

Прототипом Облонского обычно называют (в числе других лиц) Василия Степановича Перфильева, уездного предводителя дворянства, а затем — в 1878—1887 годах — московского губернатора. В. С. Перфильев был женат на П. Ф. Толстой, троюродной сестре Льва Николаевича. К слухам о том, что Облонский напоминает

---

[1] Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, с. 464—465.

его своим характером, Перфильев, по утверждению Т. А. Кузминской, отнесся добродушно. Лев Николаевич не опровергал этого слуха. Прочитав сцену утреннего завтрака Облонского, Перфильев однажды сказал Толстому: «Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал!» Эти слова насмешили Льва Николаевича» \ — пишет Т. А. Кузмипская. По свидетельству других современников, Перфильев был недоволен тем, что Толстой «вывел» его в образе Облонского, и отнесся к слухам о сходстве очень болезненно. Большое затруднение представляет для комментария образ Вронского. С. Л. Толстой указывал на известную фамилию Воронцовых, полагая, что она отозвалась в фамилии Вронского. Б. М. Эйхенбаум обратил внимание на то, что эта фамилия встречается у Пушкина в отрывке «На углу маленькой площади»: «женат, кажется, на Вронской» В последнее время большое распространение получила версия о том, что прототипом Вронского был Н. Н. Раевский Однако эта версия не находит подтверждения в бумагах Толстого: ни в черновиках романа, ни в дневниках, ни в письмах имя Н. Н. Раевского не упоминается. Скорее всего, это одна из литературных легенд, возникшая в среде русских офицеров-добровольцев. Заслуживает внимания и другая догадка, высказанная Дмитрием Стремоуховым в его докладе на конференции в Венеции в 1960 году, посвященной Толстому, относительно того, что прообразом Вронского был известный поэт А. К. Толстой Дело не только в сходстве имен и званий: граф Алексей Кириллович Вронский был флигель-адъютантом, так же как граф Алексей Константинович Толстой. В черновиках романа Вронский — художник и артистическая натура, «отец его оставил память благородного русского вельможи», сам он был «прекрасно образован» и «кончил курс кандидатом в Московском университете». Первоначально Вронский был ближайшим другом «идеалиста Левина». Один из героев романа говорит о нем так: «Ты нынче увидишь его. Во-первых, он хорош, во-вторых, он джентльмен в самом высоком смысле этого слова, потом он умен, поэт и славный, славный малый» (т. 20, с. 110). При этом надо иметь в виду, что Толстой относился к стихам А. К. Толстого примерно так же, как он отно* Т. А. К у 3 м и н с к а я. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, с. 322. ^ Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой, Л., 1960, с. 177. * См., например,

главу «Последний бой Вронского» в работе Р. Белоусова «О чем умолчали книги». М., 1971, или статью Ю. Корнилова «Каким был граф Вронский?» — в газете «Советская культура» от 6 апреля 1973 г.
^ «Литературное наследство», т. 75, кн. 2. М., 1965, с. 462. 436

его своим характером, Перфильев, по утверждению Т. А. Кузминской, отнесся добродушно. Лев Николаевич не опровергал этого слуха. Прочитав сцену утреннего завтрака Облонского, Перфильев однажды сказал Толстому: «Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал!» Эти слова насмешили Льва Николаевича» [1], — пишет Т. А. Кузминская. По свидетельству других современников, Перфильев был недоволен тем, что Толстой «вывел» его в образе Облонского, и отнесся к слухам о сходстве очень болезненно.

Большое затруднение представляет для комментария образ Вронского. С. Л. Толстой указывал на известную фамилию Воронцовых, полагая, что она отозвалась в фамилии Вронского. Б. М. Эйхенбаум обратил внимание на то, что эта фамилия встречается у Пушкина в отрывке «На углу маленькой площади»: «женат, кажется, на Вронской» [2]. В последнее время большое распространение получила версия о том, что прототипом Вронского был Н. Н. Раевский [3]. Однако эта версия не находит подтверждения в бумагах Толстого: ни в черновиках романа, ни в дневниках, ни в письмах имя Н. Н. Раевского не упоминается. Скорее всего, это одна из литературных легенд, возникшая в среде русских офицеров-добровольцев. Заслуживает внимания и другая догадка, высказанная Дмитрием Стремоуховым в его докладе на конференции в Венеции в 1960 году, посвященной Толстому, относительно того, что прообразом Вронского был известный поэт А. К. Толстой [4]. Дело не только в сходстве имен и званий: граф Алексей Кириллович Вронский был флигель-адъютантом, так же как граф Алексей Константинович Толстой. В черновиках романа Вронский — художник и артистическая натура, «отец его оставил память благородного русского вельможи», сам он был «прекрасно образован» и «кончил курс кандидатом в Московском университете». Первоначально Вронский был ближайшим другом «идеалиста Левина». Один из героев романа говорит о нем так: «Ты нынче увидишь его. Во-первых, он хорош, во-вторых, он джентльмен в самом высоком смысле этого слова, потом он умен, поэт и славный, славный малый» (т. 20, с. 110). При этом надо иметь в виду, что Толстой относился к стихам А. К. Толстого примерно так же, как он отно-

---

[1] Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, с. 322.

[2] Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой, Л., 1960, с. 177.

[3] См., например, главу «Последний бой Вронского» в работе Р. Белоусова «О чем умолчали книги». М., 1971, или статью Ю. Корнилова «Каким был граф Вронский?» — в газете «Советская куль-

сится к ншвописи Вронского. То, что вместо слитком явного слова «поэт» он пишет «художник», ничуть не меняет дела. В 1862 году Толстой женился на С. А. Берс. А в 1863 году А. К. Толстой женился на С. А. Миллер-Бехметьевой, которая ради него покинула мужа и семью. История эта «наделала шуму в свете». Драматическая история их взаимоотношений отразилась в лирике А. К. Толстого. И некоторые его стихи, например: «Мне в душу, полную ничтожной суеты, // Как бурный вихорь, страсть ворвалася нежданно...» (1852) или «Средь шумного бала, случайно...» (1851) — находят свою параллель в первых главах романа «Анна Каренина». Конечно, прямого отождествления здесь нет и не может быть, но «отражение» вероятно... А. К. Толстой был в фамильном родстве с Львом Николаевичем и считался его троюродным братом. Никто как будто не замечает, что воспоминание Толстого о том, как «начиналась» «Анна Каренина», представляет собой перифраз стихотворения «Средь шумного бала, случайно...»: «Люблю я, усталый, прилечь...», «Я вижу печальные очи, // Я слышу веселую речь...». «Это было так же, как теперь,— вспоминал Толстой...— Я лежал один на этом диване и курил. Задумался ли я очень или боролся с дремотою, не знаю, но только вдруг передо мною промелькнул обнаженный женский локоть изящной аристократической руки. Я невольно начал вглядываться в видение. Появилось плечо, шея и наконец целый образ красивой женщины в бальном костюме, как бы пристально вглядывавшийся в меня грустными глазами. Видение исчезло, но я уже не мог освободиться от его впечатления, оно преследовало меня и дни и ночи, и, чтобы избавиться от него, я должен был искать ему воплощения. Вот начало «Анны Карениной»...» ' Однако имя А. К. Толстого нигде не было названо. В Николае Левине Толстой воспроизвел существенные черты характера своего родного брата — Дмитрия Николаевича Толстого. В юности он ёыл аскетичен и строг, и в семье его прозвали «Ноем». Затем произошел перелом в жизни Дмитрия. «Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, — рассказывал Толстой, — я не видал его в это время... И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к

себе... Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести,— сгубили сразу его могучий организм» ^ В. И с т о м и п. На закате. — «Яснополянский сборник». Тула, 1965, с. 146. ^ П. И. Б и р ю к о в. Биография Л. Н. Толстого, т. I. М., 1923, с. 133. 437

сится к живописи Вронского. То, что вместо слишком явного слова «поэт» он пишет «художник», ничуть не меняет дела. В 1862 году Толстой женился на С. А. Берс. А в 1863 году А. К. Толстой женился на С. А. Миллер-Бехметьевой, которая ради него покинула мужа и семью. История эта «наделала шуму в свете». Драматическая история их взаимоотношений отразилась в лирике А. К. Толстого. И некоторые его стихи, например: «Мне в душу, полную ничтожной суеты, // Как бурный вихорь, страсть ворвалася нежданно...» (1852) или «Средь шумного бала, случайно...» (1851) — находят свою параллель в первых главах романа «Анна Каренина». Конечно, прямого отождествления здесь нет и не может быть, но «отражение» вероятно... А. К. Толстой был в фамильном родстве с Львом Николаевичем и считался его троюродным братом. Никто как будто не замечает, что воспоминание Толстого о том, как «начиналась» «Анна Каренина», представляет собой перифраз стихотворения «Средь шумного бала, случайно...»: «Люблю я, усталый, прилечь...», «Я вижу печальные очи, // Я слышу веселую речь...». «Это было так же, как теперь,— вспоминал Толстой...— Я лежал один на этом диване и курил. Задумался ли я очень или боролся с дремотою, не знаю, но только вдруг передо мною промелькнул обнаженный женский локоть изящной аристократической руки. Я невольно начал вглядываться в видение. Появилось плечо, шея и наконец целый образ красивой женщины в бальном костюме, как бы пристально вглядывавшийся в меня грустными глазами. Видение исчезло, но я уже не мог освободиться от его впечатления, оно преследовало меня и дни и ночи, и, чтобы избавиться от него, я должен был искать ему воплощения. Вот начало «Анны Карениной»...» [1] Однако имя А. К. Толстого нигде не было названо.

В Николае Левине Толстой воспроизвел существенные черты характера своего родного брата — Дмитрия Николаевича Толстого. В юности он был аскетичен и строг, и в семье его прозвали «Ноем». Затем произошел перелом в жизни Дмитрия. «Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, — рассказывал Толстой, — я не видал его в это время... И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе... Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести,— сгубили сразу его могучий организм» [2].

---

[1] В. Истомин. На закате. — «Яснополянский сборник». Тула, 1965, с. 446.

Старый князь Щербацкий, по наблюдениям современников, был похож на Сергея Александровича Щербатова, директора Лосиной фабрики в Москве. К одной из его дочерей, княжне Прасковье Сергеевне Щербатовой, Толстой был неравнодушен в молодости. «В описании семьи Щербацких есть и черты семьи Берсов...— пишет С. Л. Толстой.— Однако семья Берсов не принадлежала к московскому высшему дворянскому обществу» К Агафья Михайловна, Тит, Ермил, Фоканыч — яснополянские жители. Толстой сохранил их имена в романе. Агафья Михайловна — бывшая горничная бабушки Толстого — была ключницей в Ясной Поляне. В 50-е годы Толстой хотел поручить ее заботам свое холостое хозяйство. «Агафья Михайловна имела вид аристократки, пишет С. Л. Толстой, — и есть предположение, что в ней текла кровь князей Горчаковых». Тимофей Фоканыч — управляющий самарским имением Толстого. «Лёвочка может себе позволить роскошь брать негодных управляющих,— говорил брат писателя, Сергей Николаевич Толстой, — например, Тимофей Фоканыч принесет ему убыток в 1000 руб., а Лёвочка опишет его и получит за это описание 2000 руб... Вот я не могу позволить себе такую роскошь» 2. У многих сцен романа также есть свои «прототипы». Это относится, например, к офицерским четырехверстным скачкам в Красном Селе. Конные состязания офицеров в присутствии царской фамилии были крупным событием в придворной жизни. Этим, между прочим, объясняется и то, по-видимому, странное обстоятельство, что на скачки приезжает Каренин и встречает здесь высокопоставленных лиц, с которыми почтительно беседует, пока Анна наблюдает за скачущим Вронским. «В день скачек... весь двор бывал в Красном»,— говорится в одном из черновиков романа (т. 20, с. 224). Назначение скачек объявлялось по войскам, и в газетах печатались особые о том сообщения. В 1873 году в газете «Голос» было помещено следующее известие: «От управления его императорского высочества генерал-инспектора кавалерии объявляется по войскам, что красносельская офицерская четырехверстная скачка с препятствиями, на призы императорской фамилии, будет произведена в конце будущего июля... Для помещения лошадей устроены вблизи ипподрома конюшни, а для офицеров будут разбиты палатки» з. Подробности и обстановку таких скачек передал

Толстому Д. Д. Оболенский, видевший и то, как князь Д. Б. Голицын неосторожным движением сломал спину своей лошади и проиграл скачку А. Д. Милютину, сыну военного министра. В черновиках ^ Литературное наследство», т. 37/38, с. 572. ^ С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, с. 16, 33, ® «Голос», 1873, № 144. 438

Старый князь Щербацкий, по наблюдениям современников, был похож на Сергея Александровича Щербатова, директора Лосиной фабрики в Москве. К одной из его дочерей, княжне Прасковье Сергеевне Щербатовой, Толстой был неравнодушен в молодости. «В описании семьи Щербацких есть и черты семьи Берсов...— пишет С. Л. Толстой.— Однако семья Берсов не принадлежала к московскому высшему дворянскому обществу» [1].

Агафья Михайловна, Тит, Ермил, Фоканыч — яснополянские жители. Толстой сохранил их имена в романе. Агафья Михайловна — бывшая горничная бабушки Толстого — была ключницей в Ясной Поляне. В 50-е годы Толстой хотел поручить ее заботам свое холостое хозяйство. «Агафья Михайловна имела вид аристократки, — пишет С. Л. Толстой, — и есть предположение, что в ней текла кровь князей Горчаковых». Тимофей Фоканыч — управляющий самарским имением Толстого. «Лёвочка может себе позволить роскошь брать негодных управляющих,— говорил брат писателя, Сергей Николаевич Толстой,— например, Тимофей Фоканыч принесет ему убыток в 1000 руб., а Лёвочка опишет его и получит за это описание 2000 руб... Вот я не могу позволить себе такую роскошь» [2].

У многих сцен романа также есть свои «прототипы». Это относится, например, к офицерским четырехверстным скачкам в Красном Селе. Конные состязания офицеров в присутствии царской фамилии были крупным событием в придворной жизни. Этим, между прочим, объясняется и то, по-видимому, странное обстоятельство, что на скачки приезжает Каренин и встречает здесь высокопоставленных лиц, с которыми почтительно беседует, пока Анна наблюдает за скачущим Вронским. «В день скачек... весь двор бывал в Красном»,— говорится в одном из черновиков романа (т. 20, с. 224). Назначение скачек объявлялось по войскам, и в газетах печатались особые о том сообщения. В 1873 году в газете «Голос» было помещено следующее известие: «От управления его императорского высочества генерал-инспектора кавалерии объявляется по войскам, что красносельская офицерская четырехверстная скачка с препятствиями, на призы императорской фамилии, будет произведена в конце будущего июля... Для помещения лошадей устроены вблизи ипподрома конюшни, а для офицеров будут разбиты палатки» [3]. Подробности и обстановку таких скачек передал Толстому Д. Д. Оболенский, видевший и то, как князь Д. Б. Голицын неосторожным движением сломал спину своей лошади и проиграл скачку А. Д. Милютину, сыну военного министра. В черновиках

---

[1] Литературное наследство», т. 37/38, с. 572.

[2] С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, с. 46–33

романа упоминаются и Милютин и Голицын. В окончательном тексте вместо Милютина появляется Махртин, которому Вронский проигрывает скачку, повторив ошибку Голицына, «непростительным движением» сломав спину Фру-Фру \ В черновиках Толстой часто называл героев романа действительными именами близких и знакомых людей. Но это не значит, что он писал их портреты. «Я бы очень сожалел,— говорил Толстой,— ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описывать то или другое действительное лицо... Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип» 2. ЧАСТИ ПЯТАЯ — ВОСЬМАЯ Стр. 13. Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа. — Катавасов цитирует слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума». Стр. 26. Я не люблю этот фаст. — Фаст — избыток, великолепие (от франц. faste). Стр. 32. Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи. — Я^копо Робусти, по прозванию Тинторетто (1518—1594), — итальянский художник венецианской школы. Тинторетто получил признание во второй половине XIX века, когда он был как бы заново открыт. Голенищев выказывает здесь самые модные тогда художественные вкусы. Стр. 33. ...я пишу вторую часть «Двух начал»... — Рассуждения о «двух началах» в истории (католическом и православном, духовном и рациональном) были излюбленными темами славянофилов, с которыми связана и основная идея Голенищева о том, что Россия является «наследницей Византии». Стр. 38. ...ивановско-штраусовско-ренановское отношение к Христу... — Голенищев говорит здесь о новом направлении в истории и искусстве, которое отвергало церковное учение о божественности Христа и рассматривало его как «историческое лицо». Здесь упомянуты немецкий философ Давид Штраус (1808 — 1874), автор книги «Жизнь Иисуса», и французский историк Эрнест Ренан (1823—1892), автор исследования «История происхождения христианства». Голенищев причисляет к этому направлению и знаменитого русского художника Александра Иванова (1806—1858). ^ «Международный толстовский альманах». М., 1909, с. 244. ^ А. Н. Мо шин. Ясная Поляна и Васильевка. СПб., 1901, с. 30—31. 439

романа упоминаются и Милютин и Голицын. В окончательном тексте вместо Милютина появляется Махотин, которому Вронский проигрывает скачку, повторив ошибку Голицына, «непростительным движением» сломав спину Фру-Фру [1].

В черновиках Толстой часто называл героев романа действительными именами близких и знакомых людей. Но это не значит, что он писал их портреты. «Я бы очень сожалел,— говорил Толстой,— ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описывать то или другое действительное лицо... Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип» [2].

ЧАСТИ ПЯТАЯ — ВОСЬМАЯ

Стр. 13. *Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа.* — Катавасов цитирует слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 26. *Я не люблю этот фаст.* — Фаст — избыток, великолепие (от *франц.* faste).

Стр. 32. *Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи.* — Якопо Робусти, по прозванию Тинторетто (1518—1594), — итальянский художник венецианской школы. Тинторетто получил признание во второй половине XIX века, когда он был как бы заново открыт. Голенищев выказывает здесь самые модные тогда художественные вкусы.

Стр. 33. *...я пишу вторую часть «Двух начал»...* — Рассуждения о «двух началах» в истории (католическом и православном, духовном и рациональном) были излюбленными темами славянофилов, с которыми связана и основная идея Голенищева о том, что Россия является «наследницей Византии».

Стр. 38. *...ивановско-штраусовско-ренановское отношение к Христу...* — Голенищев говорит здесь о новом направлении в истории и искусстве, которое отвергало церковное учение о божественности Христа и рассматривало его как «историческое лицо». Здесь упомянуты немецкий философ Давид Штраус (1808—1874), автор книги «Жизнь Иисуса», и французский историк Эрнест Ренан (1823—1892), автор исследования «История происхождения христианства». Голенищев причисляет к этому направлению и знаменитого русского художника Александра Иванова (1806—1858).

---

[1] «Международный толстовский альманах». М., 1909, с. 244.

Стр. 43. .„Студии... дурака прерафаелита... — «Братство прерафаэлитов» (Préraphaélite Brotherhood) возникло в 1848 году. Группа английских художников выступила против академических традиций в зап^иту непосредственности и нравственного содержания в живописи. Они обратились к изучению итальянских мастеров дорафаэлевской эпохи (флорентийская живопись раннего Возрождения). Искусственная реконструкция, архаичность форм и символичность образов стали характерными чертами искусства прерафаэлитов. В художественной критике 70-х годов их часто противопоставляли реалистам и натуралистам нового времени. Этим объясняется и враждебное отношение Михайлова к прерафаэлитам, Стр. 47. А при картине Иванова... — Картина Александра Иванова «Явление Христа народу» (1837—1857). Стр. 58. Что-то стыдное, изнеженное, капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. — Капуя — город вблизи Неаполя. Тит Ливий в «Римской истории» рассказывает о том, что зимняя стоянка Ганнибала во время Второй пунической войны «изнежила воинов телесно и духовно». В Капуе армия утратила свою силу и была затем разбита неприятелем. В публицистике 70-х годов Капуей называли Париж Наполеона III. «Капуйское» — неологизм Толстого (ср. франц. délices de Capone — «наслаждения Капуи»). В своих дневниках Толстой называл Капуей периоды праздности и лени. Стр. 86. Выла влюблена... в Комисарова... — Осип Комиссаров (1838 — 1892) — крестьянин, шапочный мастер из Костромы. Считалось, что это он помешал Каракозову, стрелявшему в Александра II в апреле 1866 года. Комиссаров был объявлен «спасителем» царя, его зачислили по дворянству, и он стал «фон Комиссаровым» (А. И. Герцен. Иркутск и Петербург. — Собр. соч., т. 19. М., 1960, с. 60). Некоторое время о нем всюду говорили и его всюду приглашали. Он стал непременным посетителем салонов, клубов и ученых собраний. Но постепенно Комиссаров стал спиваться и, наконец, совсем потерялся и пропал из виду. Стр. 87. ...в Ристич-Куджицкого... — Ристич Иован (1831—1899), сербский политический деятель, противодействовавший турецкому и австрийскому влиянию на Сербию. Его имя было хорошо известно в России. Ристич был одним из регентов малолетнего князя Милана Обреновича. Стр. 117. Вы, наверно, едете с.гушать Патти... —

Карлотта Патти (1840—1889) — итальянская певица, в 1872—1875 годах гастролировала в России. Стр. 159. Нет, нет, я Автомедон. — Автомедон — возница Ахи.лла. Это имя стало нарицательным и в разговорной речи употреблялось как шутливое прозвание кучера. 440

Стр. 43. *...Студии... дурака прерафаелита...* — «Братство прерафаэлитов» (Preraphaelite Brotherhood) возникло в 1848 году. Группа английских художников выступила против академических традиций в защиту непосредственности и нравственного содержания в живописи. Они обратились к изучению итальянских мастеров дорафаэлевской эпохи (флорентийская живопись раннего Возрождения). Искусственная реконструкция, архаичность форм и символичность образов стали характерными чертами искусства прерафаэлитов. В художественной критике 70-х годов их часто противопоставляли реалистам и натуралистам нового времени. Этим объясняется и враждебное отношение Михайлова к прерафаэлитам.

Стр. 47. *А при картине Иванова...* — Картина Александра Иванова «Явление Христа народу» (1837—1857).

Стр. 58. *Что-то стыдное, изнеженное, капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни.* — Капуя — город вблизи Неаполя. Тит Ливий в «Римской истории» рассказывает о том, что зимняя стоянка Ганнибала во время Второй пунической войны «изнежила воинов телесно и духовно». В Капуе армия утратила свою силу и была затем разбита неприятелем. В публицистике 70-х годов Капуей называли Париж Наполеона III. «Капуйское» — неологизм Толстого (ср. *франц.* délices de Capoue — «наслаждения Капуи»). В своих дневниках Толстой называл Капуей периоды праздности и лени.

Стр. 86. *Была влюблена... в Комисарова...* — Осип Комиссаров (1838—1892) — крестьянин, шапочный мастер из Костромы. Считалось, что это он помешал Каракозову, стрелявшему в Александра II в апреле 1866 года. Комиссаров был объявлен «спасителем» царя, его зачислили по дворянству, и он стал «фон Комиссаровым» (А. И. Герцен. Иркутск и Петербург. — Собр. соч., т. 19. М., 1960, с. 60). Некоторое время о нем всюду говорили и его всюду приглашали. Он стал непременным посетителем салонов, клубов и ученых собраний. Но постепенно Комиссаров стал спиваться и, наконец, совсем потерялся и пропал из виду.

Стр. 87. *...в Ристич-Куджицкого...* — Ристич Иован (1831—1899), сербский политический деятель, противодействовавший турецкому и австрийскому влиянию на Сербию. Его имя было хорошо известно в России. Ристич был одним из регентов малолетнего князя Милана Обреновича.

Стр. 117. *Вы, наверно, едете слушать Патти...* — Карлотта Патти (1840—1889) — итальянская певица, в 1872—1875 годах гастролировала в России.

Стр. 159. *Нет, нет, я Автомедон.* — Автомедон — возница Ахилла. Это имя стало нарицательным и в разговорной речи употребля-

Стр. 190. ...е этом вегикуле... Вегикул — деревенская тяжелая телега (от лат. vehiculum) . Стр. 225. Я вчера получила ящик книг от Готье. — В. Г. Готье владелец старинного московского книжного магазина на Кузнецком мосту. Стр. 242. Кандидат предводителя может получитъ больше ша-^ ров. — Если кандидат предводителя получал больше шаров, то он и становился предводителем, а предводитель, таким образом, становился кандидатом. Стр. 248. Она сидела... с новою книгой Тэна.. — Ипполит Тэи (1828—1893) — французский историк, критик и писатель. В 1870 году вышла в свет его книга «О разуме». Стр. 258. Ну что, каковы черногорцы? — Черногория после войны с Турцией в 1862 году находилась под властью султана, но борьба черногорцев против иноземного владычества не прекращалась. В 1876 году Черногория восстала. Повстанцы объединялись в отряды (четы) и вели в горах партизанскую войну. О событиях в Черногории писали все русские газеты и журналы. Стр. 262. «Journal de St-Pétersboiirg» — русское полуофициальное издание, выходившее в Петербурге с 1842 года на французском языке. Стр. 263. ...он показал грамматику Буслаева... — Речь идет об «Учебной книге русской грамматики, сближенной с церковно-славянской» (1869) академика Ф. И. Буслаева (1818—1897). Стр. 266. ...вагнеровского направления музыки. — Рихард Вагнер (1813 — 1883) — великий немецкий композитор, теоретик и реформатор оперы. Вагнеровское направление Толстой связывал с «программной музыкой», то есть с музыкой, написанной на определенный, например, литературный сюжет («Король Лир в степи»), а также с теорией синтетического искусства («соединение всех родов»). Вагиеризм вызывал ожесточенные споры в России и во Франции. Толстой относился к этому направлению критически. Его высказывания о Вагнере см. в трактате «Что такое искусство?». Стр. 267. ...вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов... — Толстой имеет в виду проект памятника Пушкину работы скульптора М. Антокольского. Пушкин изображен сидящим на скале, а к нему по лестнице поднимаются герои его произведе-^ ПИЙ. Памятник, по мысли скульптора, должен был служить пластической иллюстрацией к стихам Пушкина: «И вот ко мне идет незримый рой гостей, // Знакомцы давние, плоды мечты моей...» Стр. 268. Очень хороша была Лукка... он... начал... повторять

то, что сотни раз слышал об особенности та.шнта певицы. — Паолина Лукка (1841— 1908) — оперная певица. Приезжала в Россию в начале 70-х годов. «Особенностью таланта» певицы, выступавшей 441

Стр. 190. *...в этом вегикуле...* — Вегикул — деревенская тяжелая телега (от *лат.* vehiculum).

Стр. 225. *Я вчера получила ящик книг от Готье.* — В. Г. Готье — владелец старинного московского книжного магазина на Кузнецком мосту.

Стр. 242. *Кандидат предводителя может получить больше шаров.* — Если кандидат предводителя получал больше шаров, то он и становился предводителем, а предводитель, таким образом, становился кандидатом.

Стр. 248. *Она сидела... с новою книгой Тэна..* — Ипполит Тэн (1828—1893) — французский историк, критик и писатель. В 1870 году вышла в свет его книга «О разуме».

Стр. 258. *Ну что, каковы черногорцы?* — Черногория после войны с Турцией в 1862 году находилась под властью султана, но борьба черногорцев против иноземного владычества не прекращалась. В 1876 году Черногория восстала. Повстанцы объединялись в отряды (четы) и вели в горах партизанскую войну. О событиях в Черногории писали все русские газеты и журналы.

Стр. 262. *«Journal de St-Pétersbourg»* — русское полуофициальное издание, выходившее в Петербурге с 1842 года на французском языке.

Стр. 263. *...он показал грамматику Буслаева...* — Речь идет об «Учебной книге русской грамматики, сближенной с церковно-славянской» (1869) академика Ф. И. Буслаева (1818—1897).

Стр. 266. *...вагнеровского направления музыки.* — Рихард Вагнер (1813—1883) — великий немецкий композитор, теоретик и реформатор оперы. Вагнеровское направление Толстой связывал с «программной музыкой», то есть с музыкой, написанной на определенный, например, литературный сюжет («Король Лир в степи»), а также с теорией синтетического искусства («соединение всех родов»). Вагнеризм вызывал ожесточенные споры в России и во Франции. Толстой относился к этому направлению критически. Его высказывания о Вагнере см. в трактате «Что такое искусство?».

Стр. 267. *...вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов...* — Толстой имеет в виду проект памятника Пушкину работы скульптора М. Антокольского. Пушкин изображен сидящим на скале, а к нему по лестнице поднимаются герои его произведений. Памятник, по мысли скульптора, должен был служить пластической иллюстрацией к стихам Пушкина: «И вот ко мне идет незримый рой гостей, // Знакомцы давние, плоды мечты моей...»

Стр. 268. *Очень хороша была Лукка... он... начал... повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы.* — Пао-

с успехом в опере Тома «Миньон», считалась «неугомонная, пылкая жрівость и подвижность». Пела она также партии Церлины в «ДонЖуане» Моцарта и Кармен в опере Бизе «Кармен». .„jolie journée... — По аналогии с комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «безумным днем» называли танцевальный вечер или домашний бал. Стр. 269. О предстояще.ч наказании иностранцу, судившемуся в России... — Речь идет о сенсационном процессе Б. Г. Струсберга в 1875 году. Дело заключалось в том, что директоры московского банка, подкупленные Струсбергом, выдали ему ссуду на 7 миллионов рублей. Для покрытия дефицита были составлены ложные отчеты. Когда подлог обнаружился, к следствию привлекли более 1200 должностных лиц. По решению суда Струсберг был выслан за границу — «и щуку бросили в реку». О скандальном процессе много писали в газетах. Стр. 272. Я иду в инфернальную... — Инфернальная — «адская», игорная зала в английском клубе. Стр. 273. „.бонмотист большой. — Бонмотист — острослов (от Франц, bon mot — острота). Стр. 279. ...новой иллюстрации Библии французским художник ком. — В 1875 году в России рекламировалось новое, «роскошное гальбергеровское издание» Библии с рисунками Гюстава Доре (1832—1883) — французского художника, иллюстратора «Божественной комедии» Данте, «Дон-Кихота» Сервантеса, «Потерянного и возвращенного рая» Мильтона. Толстой находил в ітлюстрациях Доре к Библии лишь эстетическую трактовку образов. Доре, по его мнению, берет сюжет из Библии, как всякий другой, и «заботится только о красоте» («Литературное наследство», т. 37/38, с. 258). Стр. 280. ...французское искусство теперь... — В 70-е годы XIX столетия во Франции сложилось литературное направление — натурализм. Манифест натурализма — «Парижские письма» Эмиля Золя («Экспериментальный роман») напечатан впервые в русском журнале «Вестник Европы». «Первой чертой нового романа», по определению Золя, было «точное воспроизведение жизни и безусловное отсутствие всякого романического вымысла» («Вестник Европы», 1875, № И, с. 402). Натуралисты выступали против «идеальных тенденций» Жорж Санд. «Условности» противопоставлялось «возвращение к реализму». Но «реализм» понимался как точное воспроизведение натуры, как копирование природы: «сцепы сами по себе могут быть первые

попавшиеся», «всякий вымысел изгнан» из искусства. Толстой относился к натурализму отрицательно. Критика эстетической программы натурализма была продолжена им впоследствии в книге «Что такое искусство?». 442

с успехом в опере Тома «Миньон», считалась «неугомонная, пылкая живость и подвижность». Пела она также партии Церлины в «Дон-Жуане» Моцарта и Кармен в опере Бизе «Кармен».

...folle journée... — По аналогии с комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «безумным днем» называли танцевальный вечер или домашний бал.

Стр. 269. *О предстоящем наказании иностранцу, судившемуся в России...* — Речь идет о сенсационном процессе Б. Г. Струсберга в 1875 году. Дело заключалось в том, что директоры московского банка, подкупленные Струсбергом, выдали ему ссуду на 7 миллионов рублей. Для покрытия дефицита были составлены ложные отчеты. Когда подлог обнаружился, к следствию привлекли более 1200 должностных лиц. По решению суда Струсберг был выслан за границу — «и щуку бросили в реку». О скандальном процессе много писали в газетах.

Стр. 272. *Я иду в инфернальную...* — Инфернальная — «адская», игорная зала в английском клубе.

Стр. 273. *...бонмотист большой.* — Бонмотист — острослов (от *франц.* bon mot — острота).

Стр. 279. *...новой иллюстрации Библии французским художником.* — В 1875 году в России рекламировалось новое, «роскошное гальбергеровское издание» Библии с рисунками Гюстава Доре (1832—1883) — французского художника, иллюстратора «Божественной комедии» Данте, «Дон-Кихота» Сервантеса, «Потерянного и возвращенного рая» Мильтона. Толстой находил в иллюстрациях Доре к Библии лишь эстетическую трактовку образов. Доре, по его мнению, берет сюжет из Библии, как всякий другой, и «заботится только о красоте» («Литературное наследство», т. 37/38, с. 258).

Стр. 280. *...французское искусство теперь...* — В 70-е годы XIX столетия во Франции сложилось литературное направление — натурализм. Манифест натурализма — «Парижские письма» Эмиля Золя («Экспериментальный роман») напечатан впервые в русском журнале «Вестник Европы». «Первой чертой нового романа», по определению Золя, было «точное воспроизведение жизни и безусловное отсутствие всякого романического вымысла» («Вестник Европы», 1875, № 11, с. 402). Натуралисты выступали против «идеальных тенденций» Жорж Санд. «Условности» противопоставлялось «возвращение к реализму». Но «реализм» понимался как точное воспроизведение натуры, как копирование природы: «сцены сами по себе могут быть первые попавшиеся», «всякий вымысел изгнан» из искусства. Толстой относился к натурализму отрицательно. Критика эстетической программы натурализма была продолжена им

Стр. 303. „.место члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог. — Название комиссии пародийно; оно составлено из наименований действительно су-« ществовавших в 70-е годы учреждений: «Общество взаимного поземельного кредита» и «Общество Юго-Западных железных дорог». Стр. 305. ...не будем делать рекриминаций! — то есть взаимных обвинений (от ф р а н ц. récrimination) , Стр. 306. Рекапитюлироватъ — ■ то есть повторять (от франц. récapituler) . Стр. 319. «Safe and Happy»... «Under the wing» — «Спасенный и счастливый» и «Под покровом» — названия английских брошюр в духе «нового мистического направления», которое было связано с проповедями лорда Редстока о «спасении посредством веры». В 1874 году он проповедовал в великосветских салонах Петербурга. Основная идея Редстока заключалась в том, что Христос своей гибелью «искупил человечество», поэтому каждый человек — «упасенный» («грех уже искуплен», — говорит Лидия Ивановна), и для того, чтобы быть счастливым, ему нужна только «вера». Интересные сведения о Редстоке сообщила Толстому (по его просьбе) фрейлина двора А. А. Толстая в письме от 28 марта 1876 года, в котором между прочим заметила, что проповедник «природу человеческую вовсе не знает и даже не обращает па нее внимания» («Толстовский музей», т. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб., 1911, с. 267). Стр. 356. ...американских друзей... — В 1866 году, после покушения Каракозова, в Петербург прибыла американская дипломатическая миссия, и царю был поднесен адрес Вашингтонского конгресса с «выражением сочувствия и уважения всей американской нации» («Московские ведомости», 1866, № 159). Делегацию приветствовали шумными встречами, обедами и светскими раутами. ...славянский вопрос... Вопрос освобождения славянских народов от власти турок — один из самых актуальных политических вопросов 70-х годов. В 1874 году началось восстание в Боснии и Герцеговине, в 1876 году восстали черногорцы. В том же году Сербия объявила войну Турции. Назревал военный конфликт в Болгарии. В следующем 1877 году Россия выступила против Турции. Крайние реакционеры требовали похода на Балканы для подавления там революционных настроений, поскольку восставшие вели борьбу не только против турок, но и против местных

феодалов. Многие революционеры-народники приняли участие в повстанческом движении сербов и черногорцев. Толстой понимал значение исторической борьбы славянских народов против иноземного владычества: «Геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже 443

Стр. 303. *...место члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог.* — Название комиссии пародийно; оно составлено из наименований действительно существовавших в 70-е годы учреждений: «Общество взаимного поземельного кредита» и «Общество Юго-Западных железных дорог».

Стр. 305. *...не будем делать рекриминаций!* — то есть взаимных обвинений (от франц. récrimination).

Стр. 306. *Рекапитюлировать* — то есть повторять (от *франц.* récapituler).

Стр. 319. *«Safe and Happy»... «Under the wing»* — «Спасенный и счастливый» и «Под покровом» — названия английских брошюр в духе «нового мистического направления», которое было связано с проповедями лорда Редстока о «спасении посредством веры». В 1874 году он проповедовал в великосветских салонах Петербурга. Основная идея Редстока заключалась в том, что Христос своей гибелью «искупил человечество», поэтому каждый человек — «спасенный» («грех уже искуплен», — говорит Лидия Ивановна), и для того, чтобы быть счастливым, ему нужна только «вера». Интересные сведения о Редстоке сообщила Толстому (по его просьбе) фрейлина двора А. А. Толстая в письме от 28 марта 1876 года, в котором между прочим заметила, что проповедник «природу человеческую вовсе не знает и даже не обращает на нее внимания» («Толстовский музей», т. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб., 1911, с. 267).

Стр. 356. *...американских друзей...* — В 1866 году, после покушения Каракозова, в Петербург прибыла американская дипломатическая миссия, и царю был поднесен адрес Вашингтонского конгресса с «выражением сочувствия и уважения всей американской нации» («Московские ведомости», 1866, № 159). Делегацию приветствовали шумными встречами, обедами и светскими раутами.

...славянский вопрос... — Вопрос освобождения славянских народов от власти турок — один из самых актуальных политических вопросов 70-х годов. В 1874 году началось восстание в Боснии и Герцеговине, в 1876 году восстали черногорцы. В том же году Сербия объявила войну Турции. Назревал военный конфликт в Болгарии. В следующем 1877 году Россия выступила против Турции. Крайние реакционеры требовали похода на Балканы для подавления там революционных настроений, поскольку восставшие вели борьбу не только против турок, но и против местных феодалов. Многие революционеры-народники приняли участие в повстанческом движении сербов и черногорцев. Толстой понимал значение исторической борьбы славянских народов против иноземного владычества: «Геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое

не словом, а делом». Что же касается планов «похода па Константинополь», то эта завоевательная идея не встречала у него никакой поддержки («сербское сумасшествие»). Стр. 365. Милан — Милан Обренович (1854 — 1901) вступил в управление Сербией в 1872 году. Уверенный в поддержке России, Милан в августе 1876 года объявил войну Турции. После долгой борьбы независимость Сербии была признана, и Милан в 1882 году стал королем. Стр. 374. »..Сергей Иванович посоветовал ему прочесть бого-* словские сочинения Хожякова. — А. С. Хомяков (1804—1860) поэт, публицист, крупнейший представитель славянофильства, в своих богословских сочинениях, опубликованных в 1867 году в Праге (во втором томе собрания его трудов) доказывал, что истина «недоступна для отдельного мышления».

не словом, а делом». Что же касается планов «похода на Константинополь», то эта завоевательная идея не встречала у него никакой поддержки («сербское сумасшествие»).

Стр. 365. *Милан* — Милан Обренович (1854—1901) вступил в управление Сербией в 1872 году. Уверенный в поддержке России, Милан в августе 1876 года объявил войну Турции. После долгой борьбы независимость Сербии была признана, и Милан в 1882 году стал королем.

Стр. 374. *...Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова.* — А. С. Хомяков (1804—1860) поэт, публицист, крупнейший представитель славянофильства, в своих богословских сочинениях, опубликованных в 1867 году в Праге (во втором томе собрания его трудов) доказывал, что истина «недоступна для отдельного мышления».

СОДЕРЖАНИЕ АННА КАРЕНИНА Часть пятая . 7 Часть шестая . 127 Часть седьмая . 251 Часть восьмая . 354 Примечания . 407

СОДЕРЖАНИЕ

АННА КАРЕНИНА

Часть пятая 7
Часть шестая 127
Часть седьмая 251
Часть восьмая 354
Примечания 407

Толстой л. Н. Т 53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 9. Анна Каренина. Роман в восьми частях. Части пятая — восьмая. Примеч. Э. Г. Бабаева. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1975. 448 с. В настоящий том включены 5—8 части романа «Анна Каренина». Нравственные искания Толстого той поры отразились в образе Константина Левина с его обязанностью «к семье и к земле», с «чувством любви к будущему», с стремлением к трудовой, чистой жизни. Семейный конфликт в семье Карениных перерастает в социальную трагедию, приводящую к гибели героини. «Этот роман, — писал А. Фет, — есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни, от мужика и до говядины..^ ггринца...»

Толстой Л. Н.

Т 53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 9. Анна Каренина. Роман в восьми частях. Части пятая — восьмая. Примеч. Э. Г. Бабаева. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1975.

448 с.

В настоящий том включены 5—8 части романа «Анна Каренина». Нравственные искания Толстого той поры отразились в образе Константина Левина с его обязанностью «к семье и к земле», с «чувством любви к будущему», с стремлением к трудовой, чистой жизни. Семейный конфликт в семье Карениных перерастает в социальную трагедию, приводящую к гибели героини.

«Этот роман, — писал А. Фет, — есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни, от мужика и до говядины... принца...»

70304—022

Лев Николаевич Толстой Собрание сочинений том 9 Редактор Г. Колосова Художественный редактор С. Данилов Технический редактор О. Ярославцева Корректоры Г. Киселева и О. Наренкова Сдано в набор 20/III 1974 г. Подписано в печать 8/X 1974 г. Бумага типогр. Кі 1, Формат 84X'108V32. 14 печ. л. 23,52 уел, печ. л. 24,995 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ Яв 1335. Цена 1 р. Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26,

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 9

Редактор
Г. Колосова

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
О. Ярославцева

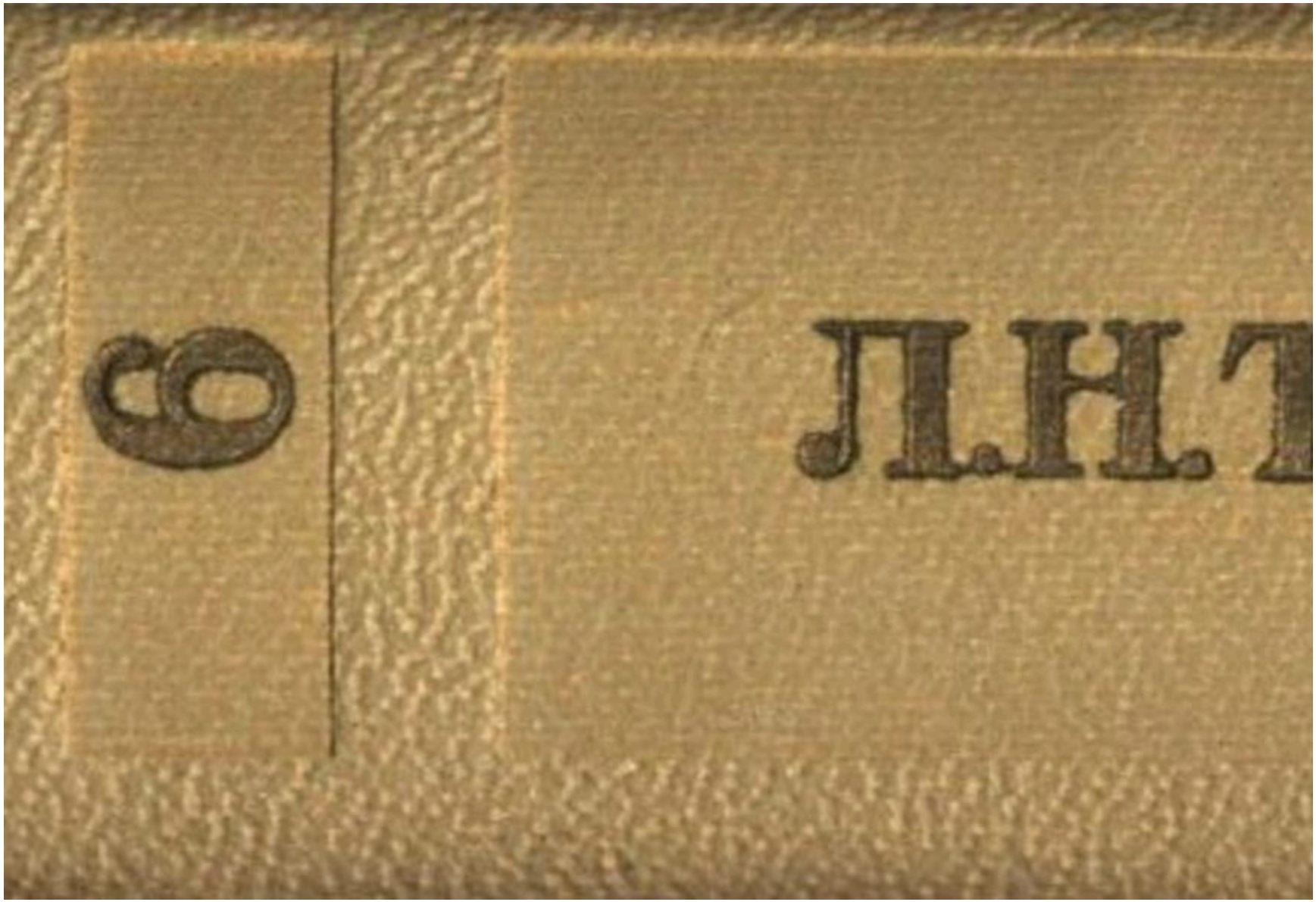
Корректоры
Г. Киселева и *О. Наренкова*

Сдано в набор 20/III 1974 г. Подписано в печать 8/X 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. 14 печ. л. 23,52 усл. печ. л. 24,995 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1335. Цена 1 р.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

ТОЛСТОЙ


Л.Н.Т

